



МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

экономические и социальные перемены

№ 4 (158)
июль — август 2020

СОЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА



ГЕНДЕР, СЕМЬЯ,
СЕКСУАЛЬНОСТЬ



ГОСУДАРСТВО
И ОБЩЕСТВО



ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ИССЛЕДОВАНИЕ

18+

ISSN 2219-5467



9 772219 546006 >

Главный редактор журнала:

Федоров Валерий Валерьевич —
кандидат политических наук, генеральный директор ВЦИОМ,
профессор НИУ ВШЭ

Заместители главного редактора:

Седова Наталья Николаевна —
помощник гендиректора по науке ВЦИОМ

Подвойский Денис Глебович —
кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН, доцент РУДН

Ответственный редактор:

Кулешова Анна Викторовна —
кандидат социологических наук, член российской
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) (Россия)

M77 Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — М.: АО «ВЦИОМ», 2020. — № 4 (158). — 548 с.

ISSN 2219-5467

Объективная, точная, регулярная и свежая информация «Мониторинга» полезна всем, кто принимает управленческие решения, занимается прогнозированием и анализом развития общества. Наш журнал пригодится сотрудникам научных и аналитических центров, работникам органов управления, ученым, преподавателям, молодым исследователям, студентам и аспирантам, журналистам.

Тематика материалов охватывает широкий круг социальных, экономических, политических вопросов, основные рубрики посвящены теории, методам и методологии социологических исследований, вопросам взаимодействия государства и общества, социальной диагностике. Каждый номер журнала содержит двухмесячный дайджест основных результатов еженедельных общероссийских опросов ВЦИОМ.

Мы публикуем статьи специалистов, представляющих ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также ВУЗы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность выступить на его страницах представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные.

Журнал издается с 1992 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

А. Д. Зотьева

О социологических индексах с нормальным законом распределения 4

О. Л. Chernozub

Implicit Factors and Voting Behaviour Inconsistency: from Theoretical Concept to Empirical Phenomenon 17

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

С. Ю. Барсукова, С. Н. Левин

Соотношение административного и финансового ресурсов в ходе избирательных кампаний в современной России: региональная специфика 41

ФРАГМЕНТЫ БУДУЩИХ КНИГ

Д. Г. Подвойский

Лабиринтами Матрицы: осваивая социальный конструкционизм 60

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

V. Shipovskaya

Patterns of Healthy Aging and Household Size Dynamics in Western Europe..... 93

О. А. Парфенова

Вовлечение пожилых в волонтерскую и гражданскую активность как инструмент преодоления социального исключения 119

Е. О. Смолева

Социальная адаптация, социальный капитал и здоровье населения Вологодской области..... 136

МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ

А. Д. Казун

Так ли страшен фейк? Ложные новости и их роль в современном мире 162

D. Yu. Kulchitskaya, A. O. Folts

Between Politics and Show Business: Public Discourse On Social Media Regarding Ksenia Sobchak, the Only Female Candidate in the 2018 Russian Presidential Election 176

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

Мониторинг мнений: июль — август 2020..... 200

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова

Отцовство и поддержка отцов:

тренды современных зарубежных исследований 233

Е. Н. Кузинер

«Пойду домой, домой это значит в подвал»:

повседневные практики и стратегии выживания бездомных женщин..... 273

М. П. Оласиреги Родригес

Профилактика гендерного насилия: множество точек зрения, единый дискурс?

/ пер. с исп. Н. Дормидонтовой, А. Кашина, К. Персовой, Е. Яниной 299

З. А. Хоткина, В. Менжун, О. А. Александрова,

Ю. В. Бурдастова, Ю. С. Ненахова, К. В. Виноградова

Гендерные отношения в медиаотрасли России, Армении и Молдовы:

занятость, перспективы карьерного роста и влияние на контент 321

К. И. Казенин, В. А. Козлов, Е. С. Митрофанова

Как изменения гендерных и межпоколенческих отношений влияют

на демографическое поведение? Случай Ингушетии 342

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. Дремова, Н. Г. Малошонок, Е. А. Терентьев

В поисках справедливости в университете: критика и оправдание практик

академического мошенничества студентами 366

Е. А. Каплан, К. Ю. Ерицян

Работа и учеба у студентов вузов: конфликт или фасилитация? 395

Д. И. Кольгина, А. В. Капуза

Соппротивление переменам среди учителей начальной школы как фактор

использования ими ИКТ 424

Е. В. Быкова, Т. А. Чиркина

Связь характеристик учителя

с академической резильентностью учащихся..... 445

Т. Н. Канонир, А. А. Куликова, Е. А. Орел

Лонгитюдное исследование субъективного благополучия в школе

у учащихся младших классов..... 461

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

*Л. М. Дробижева*Смыслы общероссийской гражданской идентичности
в массовом сознании россиян..... 480*Е. Ю. Щеголькова*

Межэтнические отношения в оценках россиян: социологический анализ 499

*Е. М. Арутюнова*Языковые проблемы в представлениях россиян:
актуализация и новые контексты521**ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИССЛЕДОВАНИЕ**

*Е. Е. Тиникова*Особенности этничности и межэтнических отношений в городской
и сельской среде Хакасии 533

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1253



А. Д. Зотьева

О СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСАХ С НОРМАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Правильная ссылка на статью:

Зотьева А. Д. О социологических индексах с нормальным законом распределения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 4—16. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1253>.

For citation:

Zoteva A. D. (2020) On Sociological Indices with Normal Distribution Law. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 4—16. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1253>. (In Russ.)

О СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСАХ С НОРМАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ЗОТЬЕВА Анна Дмитриевна — студентка Высшей школы современных социальных наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
E-MAIL: anna_zoteva1011@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4888-7731>

Аннотация. В социологии широко применяются индексы, выраженные линейно через доли положительных и отрицательных ответов респондентов. Например, индексы социальных и потребительских настроений, индекс ожиданий безработицы, публикуемые «Левада-центром», индексы социальных оценок от ВЦИОМ. Подобные показатели применяются в различных областях знания помимо социологии (экономика, медицина и т. д.). Вопрос о нормальности их распределений имеет важное значение для анализа и прогнозирования, так как методы математической статистики наиболее эффективны и доступны применительно к нормальным величинам.

В статье выдвинута и теоретически обоснована гипотеза о том, что такие индексы имеют нормальные законы распределения на тех промежутках времени, где они являются квазистационарными. Это условие проявляет себя в том, что сезонная компонента индекса отсутствует, а его тренд является (приблизительно) стационарным. Полученный результат можно использовать для предварительных оценок размеров выборок при опросах, что могло бы снизить расходы на социальный мониторинг.

ON SOCIOLOGICAL INDICES WITH NORMAL DISTRIBUTION LAW

Anna D. ZOTEVA¹ — Student, Higher School of Modern Social Sciences
E-MAIL: anna_zoteva1011@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4888-7731>

¹ Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. Indices expressed linearly through the shares of positive and negative answers of respondents are widely used in sociology. They are indices of social and consumer moods, the unemployment expectations index published by Levada Center, VCIOM's social assessments indices. These indicators are also used in other fields (economy, health care, etc.). The normality of their distributions is an important issue in the analysis and forecasts as the methods of mathematical statistics are more effective and available when applied to normal variables.

The article puts forward and substantiates the hypothesis that indices have normal laws of distribution for those time intervals where they are quasi stationary. This manifests itself in the fact that the index's seasonal component is absent and the index trend is (approximately) stationary. The results obtained can be used in preliminary assessments of sample sizes in surveys which, in turn, could reduce social monitoring costs.

Ключевые слова: социологический индекс, индекс социальных настроений, нормальное распределение, теорема Ляпунова, временной ряд

Keywords: sociological index, index of social moods, normal distribution, Lyapunov theorem, time series, Gaussian distribution

Введение

Социологические показатели (*индексы*) вычисляются на основании опросных данных или иных результатов исследований социальных групп. В настоящей статье изучаются индексы, которые линейно выражаются через частоты ответов респондентов¹. Они являются достаточно распространенными в социологии.

При дополнительном условии квазистационарности разумно предположить, что временные ряды таких индексов имеют нормальные распределения. Вопрос о справедливости этой гипотезы важен в связи с тем, что для нормально распределенных индексов можно найти доверительные интервалы средних значений и среднеквадратических отклонений, а также оценить достаточные размеры выборок. Это позволило бы снизить расходы на социологические опросы. Значительное (многократное) уменьшение размеров выборки, которое благодаря этому становится возможным, помогло бы отобрать вполне случайных респондентов или, во всяком случае, приблизиться к случайности. Последняя необходима для того, чтобы обеспечить репрезентативность и теоретически обосновать полученные статистические данные [Неуман, 1934].

При каких условиях индекс может называться квазистационарным? Допустим, значения $x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_n)$ некоторого социологического индекса X , подсчитанные в последовательные моменты времени t_1, t_2, \dots, t_n , образуют так называемый временной ряд. В нем выделяют тренд $y(t_i)$ (линию регрессии), сезонную и циклическую компоненты $s(t_i)$ и $c(t_i)$, а также ошибку вычислений $e(t_i)$ [Крыштановский, 2000]. Пренебрегая этой ошибкой, предположим, что на промежутке времени $[t_1; t_n]$ тренд $y(t)$ изменяется так медленно, что его можно считать постоянным. В таком случае сезонная компонента $s(t_i)$ отсутствует или незначительна (впрочем, слишком грубый тренд может «срезать» сезонные колебания, пройдя через их средние значения). Соответственно, изменение значений X в основном обусловлено циклической компонентой $c(t_i)$, где $i = 1, \dots, n$. При этих условиях можно предположить, что индекс X определяет случайную величину с почти неизменным во времени законом распределения. Такие индексы мы будем называть *квазистационарными*. Это свойство проявляется лишь на некотором промежутке времени, в ходе которого не происходит резких социальных изменений. При удлинении этого промежутка постепенное изменение ситуации в обществе (или в релевантной социальной группе) приведет к качественным сдвигам.

Многие социологические показатели линейно выражаются через частоты ответов, полученных от респондентов. Например, индексы социальных оценок от ВЦИОМ². В этой статье теоретически доказано, что такой индекс X должен иметь

¹ Для унификации далее мы будем называть изученных респондентами, а метод будем называть опросом, хотя фактически могут быть использованы другие методы.

² Индексы социальных оценок // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_soc_nastroenij/ (дата обращения: 25.08.2020).

приблизительно нормальный закон распределения, параметры которого могут изменяться со временем. При этом опросы должны происходить на случайных выборках, что означает равновероятное попадание в опрос любого представителя релевантной социальной группы. На практике такую равновероятность обеспечить сложно, поэтому в социологии активно применяются методы неслучайных выборок [Отчет рабочей группы ААРОР..., 2016]. Особенность таких методов состоит в том, что выбор респондентов обусловлен прежде всего их доступностью. По-видимому, преобладание неслучайных выборок объясняет то обстоятельство, что для социологии нормальные распределения не характерны [Давыдов, 1995: 113]. Ф. Н. Ильясов, основываясь на мнениях А. О. Крыштановского и А. И. Орлова, утверждает, что идея нормального распределения в социологии не обоснована и такие распределения почти не встречаются на практике [Ильясов, 2014: 37].

При этом отмечается, что многие измерения и подходы к анализу данных в социологии строятся на основании гипотезы о нормальном распределении, несмотря на то, что нельзя говорить о достаточности подтверждений данного предположения, что, в свою очередь, ставит под вопрос основанные на ней методы [Ильясов, 2014: 37]. В данной статье теоретически обосновывается свойство нормальности распределений линейных, квазистационарных индексов социологии при условии, что они вычисляются по данным из случайных выборок. Это позволяет применять к ним методы математической статистики без риска методологических ошибок.

Мнение о том, что временной ряд некорректно соотносить с гауссовым распределением [Ильясов, 2014: 37], несомненно верно в случае, когда соответствующий индекс X не является квазистационарным. Тогда его последовательные значения нельзя рассматривать как независимые измерения случайной величины (имеющей неизменный закон распределения). Однако очевидно, что на коротком промежутке времени $[t_1; t_n]$, на котором индекс X является квазистационарным, числа $x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_n)$ можно считать выборкой значений случайной величины. Последняя может быть (или не быть) нормальной. Настоящая статья посвящена проблеме соотношения нормального распределения с временными рядами и направлена на восполнение пробела в дискуссии на эту тему, а именно математико-статистическому анализу данной проблемы в социологическом контексте.

Линейные социологические индексы

Пусть проводится опрос в социальной группе, при этом членам выборки размера n задают по Q вопросов, на каждый из которых можно дать один из предлагаемых ответов. Пронумеруем респондентов $i = 1, \dots, n$, вопросы $q = 1, \dots, Q$, ответы $r = 1, \dots, R_q$ (число ответов на вопрос № q в общем зависит от q). Обозначим S_{qr} долю ответов № r на вопрос № q , выраженную в % от общего числа полученных ответов, где $r \in \{1, \dots, R_q\}$. Пусть некоторый индекс X , связанный с этим опросом, выражается формулой:

$$X = A + \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} K_{qr} S_{qr}. \quad (1)$$

Постоянные K_{qr} и A определяются при разработке показателя. В этой статье рассматриваются индексы X вида (1), которые мы будем называть линейными.

Примером служит индекс социальных настроений (ИСН³), который ежемесячно публикуется «Левада-Центром». Респондентам из выборки размером $n = 1600$ предлагается по $Q = 12$ вопросов, на каждый из которых нужно дать один из нескольких заданных ответов. ИСН вычисляется как разность между долями положительных и отрицательных ответов, выраженными в % от общего числа ответов, к которой прибавляют 100 для исключения отрицательных значений. Таким образом, если X есть ИСН, то $A = 100$, для положительных ответов $K_{qr} = 1$, для отрицательных $K_{qr} = -1$, для нейтральных $K_{qr} = 0$. Аналогично выражаются индекс потребительских настроений (ИПН), индекс ожидания безработицы (ИБ) от «Левада-Центра», индексы социальных оценок от ВЦИОМ (где $A = 0$).

Чтобы принять во внимание разницу между ответами по важности или степени уверенности респондентов, можно присвоить ответам на вопрос № q уровни значимости l_{q1}, \dots, l_{qP_q} , где P_q — число вариантов положительных ответов, которое равно числу вариантов отрицательных ответов, $q = 1, \dots, Q$. Уровни значимости определяются интуитивно — методом экспертного оценивания, обычно по шкале баллов от 1 до 5 или от 1 до 10, хотя возможны и другие шкалы. Для такого дифференцированного, социального индекса формула (1) приобретает следующий вид:

$$X = A + \sum_{q=1}^Q \sum_{s=1}^{P_q} w_{qs} \cdot (S_{qs}^+ - S_{qs}^-) w_{qs} = \frac{l_{qs} P_q}{l_{q1} + \dots + l_{qP_q}}, \quad (2)$$

где S_{qs}^+ и S_{qs}^- — доли положительных и отрицательных ответов на вопрос № q , имеющих номер s и общий уровень значимости l_{qs} . Как положительные, так и отрицательные ответы пронумерованы от 1 до P_q , нейтральные ответы не принимаются в расчет ($R_q = 2P_q + 1$). При каждом q весовые коэффициенты w_{qs} пропорциональны l_{qs} , где $\sum_{s=1}^{P_q} w_{qs} = P_q$.

Если $l_{q1} = \dots = l_{qP_q}$ для каждого q , то есть все ответы на один вопрос равнозначны (кроме нейтральных), то $w_{qs} = 1$ и формула (2) сводится к следующей:

$$X = A + \sum_{q=1}^Q (S_q^+ - S_q^-) = A + \sum_{q=1}^Q S_q^+ - \sum_{q=1}^Q S_q^-, \quad (3)$$

где S_q^+ и S_q^- — доли положительных и отрицательных ответов на вопрос № q , выраженные в % от числа всех ответов: $S_q^+ = S_{q1}^+ + \dots + S_{qP_q}^+$ и $S_q^- = S_{q1}^- + \dots + S_{qP_q}^-$. Формула (3) отвечает ИСН, ИПН и ИБ от «Левада-Центра», индексам социальных оценок от ВЦИОМ и другим показателям.

Формула (1) может выражать не только социологические индексы. Например, в работе [Дуганов, Калашников, 2001] описан показатель уровня преждевременной смертности от болезней (ПГПЖ). Здесь $Q = 1$ и параметр R_1 на 1 больше так называемого базового возраста, все смерти раньше достижения которого считаются преждевременными, S_{1r} равно доле случаев смерти в возрасте $r - 1$ лет в % от числа N умерших преждевременно, $A = 0$ и $K_{1r} = N(R_1 - r)/100$.

Другой пример связан с композитным индексом I материального благосостояния [Балацкий, Саакянц, 2006]. Он вычисляется по формуле (1) при $Q = 1$ и $R_1 = 5$,

³ Обновленная методика измерения Индекса социальных настроений (ИСН) // Левада-Центр. URL: <https://www.levada.ru/obnovlennaya-metodika-izmereniya-indeksa-sotsialnykh-nastroenii-isan/> (дата обращения: 03.09.2020).

где S_{1r} равно доле в % респондентов, относящих себя к r -й группе благосостояния (определенной в таблице 1 [там же]), $A = 0$, весовые коэффициенты $K_{11} = 0$, $K_{12} = 0,25$, $K_{13} = 0,5$, $K_{14} = 0,75$, $K_{15} = 1$. Примером социологического показателя, не выражаемого формулой (1), является индекс Джини, характеризующий материальное неравенство [там же].

Рассмотрим произвольный индекс X , определяемый формулой (1). Пусть он вычисляется в последовательные моменты времени t_1, t_2, \dots, t_m . Для определенности будем считать, что респонденты нумеруются в порядке занесения ответов в базу данных. Введем случайную величину X_{qr}^i , которая зависит от ответа респондента № i на вопрос № q . Пусть $X_{qr}^i = 1$, если дан ответ № r , и $X_{qr}^i = 0$ при любом другом ответе. Тогда из (1) следует, что

$$X = A + \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} K_{qr} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n X_{qr}^i}{nQ} \cdot 100 = A + 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}, \quad (4)$$

где nQ — общее число полученных ответов и при каждом $i = 1, \dots, n$.

$$X_i = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} K_{qr} X_{qr}^i.$$

Предполагается, что респонденты выбираются случайным образом, поэтому случайные величины X_i/n можно считать независимыми между собой. Поскольку $|X_i/n| \ll |Y|$, величина $Y = \sum_{i=1}^n X_i/n$ имеет близкое к нормальному распределению [Гмурман, 2003: 135]. Отсюда можно сделать вывод о (приблизительной) нормальности временного распределения значений индекса X , так как линейная функция $X = 100 \cdot Y + A$ от нормальной величины Y также является нормальной [там же: 141]. Тогда закон распределения X однозначно определяется параметрами α и $\sigma > 0$, имеющими смысл математического ожидания и среднего отклонения, так что функция плотности распределения имеет вид:

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\alpha)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (5)$$

Параметры α и σ могут зависеть от t , так что $\alpha = \alpha(t)$ и $\sigma = \sigma(t)$. Но на любом промежутке времени, где индекс X является квазистационарным, α и σ можно считать постоянными.

Свойство нормальности статистического показателя X , который линейно выражается через взятые в большом числе независимые, случайные величины, было установлено Р. Фишером еще в начале XX в. [Неуман, 1934: 564]. Чтобы обосновать его теоретически, воспользуемся теоремой Ляпунова.

Каждая величина X_i представляет собой результат измерения, то есть определения в результате опроса респондента № i значения случайной величины.

$$X = \frac{1}{Q} \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} K_{qr} x_{qr}, \quad (6)$$

где $x_{qr} = 1$, если на вопрос № q был дан ответ № r , а при других ответах $x_{qr} = 0$.

Ограничимся промежутком времени, на котором индекс X является квазистационарным. Тогда X — случайная величина, не зависит от времени (приблизительно). Предположим, что респонденты нумеруются индексом i , который изменяется от 1 до бесконечности. Ни одна социальная группа не состоит из бесконечного числа членов. Но если она достаточно велика, то такая идеализация не приведет к ошибке. Рассмотрим последовательность величин $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i/n$, где $n = 1, 2, \dots$ и X_i есть результат измерения показателя χ для i -го респондента. Каждая X_i есть случайная величина, поскольку респонденты выбираются случайным образом. Согласно следствию из теоремы Ляпунова, при $n \rightarrow \infty$ закон распределения величины Y_n неограниченно приближается к нормальному [Ляпунов, 1948: 245].

Условия теоремы Ляпунова также требуют, чтобы для некоторого $\delta > 0$ математическое ожидание величины $|\chi - M(\chi)|^{2+\delta}$ было конечным [там же: 245]. В данном случае это верно для всех $\delta > 0$, так как из (6) следует, что полученное при любом измерении значение x величины χ удовлетворяет неравенству $|x| < \sum_{q=1}^Q \sum_{r=1}^{R_q} |K_{qr}|/Q$. Следовательно, величина $|\chi - M(\chi)|^{2+\delta}$ является ограниченной при любом $\delta > 0$. Поэтому ее математическое ожидание конечно.

Таким образом, условия теоремы Ляпунова выполняются. Следовательно, любой социологический индекс X , определяемый формулой (1), должен иметь приблизительно нормальное распределение на каждом промежутке времени, где его можно считать квазистационарным.

Последствия нормальности

Условие квазистационарности означает, что значения индекса в различные моменты времени определяют случайную величину X , закон распределения которой (почти) не зависит от времени. О выполнении этого условия можно судить по тому, что индекс X не имеет существенной, сезонной компоненты, а его тренд является (приблизительно) константой.

Еще одно важное условие, связанное с квазистационарностью, состоит в том, что каждый опрос проводится среди респондентов, выбираемых случайно в соответствующей социальной группе. Если выборки осуществляются случайно, но условие квазистационарности при $\tau \leq t \leq T$ не выполняется, то нужно разделить промежуток $[\tau; T]$ на N частей $[\tau_j; \tau_{j+1}]$, где $\tau_0 = \tau$ и $\tau_N = T$, так что для каждого $j = 0, \dots, N-1$ индекс X можно считать квазистационарным при $\tau_j \leq t \leq \tau_{j+1}$. Тогда на каждом промежутке времени $[\tau_j; \tau_{j+1}]$ случайная величина X будет иметь (почти) неизменные параметры α и σ нормального распределения (5), где $\alpha = \alpha(\tau_j) \approx \alpha(\tau_{j+1})$ и $\sigma = \sigma(\tau_j) \approx \sigma(\tau_{j+1})$.

Пусть некоторый социологический индекс X является квазистационарным на промежутке $[t_1; t_n]$ и в последовательные моменты времени t_j были вычислены его значения x_j , так что $x_j = x(t_j)$ при $j = 1, 2, \dots, n$. Если известно, что случайная величина X имеет (приблизительно) нормальное распределение с функцией плотности (5) при $t_1 \leq t \leq t_n$, то параметры α и σ определяются по приближенным формулам:

$$a \approx \bar{x}_B = \frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n} \quad \sigma \approx s = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x}_B)^2}{n-1}}. \quad (7)$$

При заданном $0 < p < 1$ можно оценить погрешности приближенных формул (7) с вероятностью ошибки не больше $1 - p$ (уровень значимости). Соответственно, надежность таких оценок будет равна $100p\%$. Они основаны на следующих фактах [Гмурман, 2003].

1. С вероятностью p имеет место:

$$\bar{x}_B - t_{n,p} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{x}_B + t_{n,p} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad (8)$$

где $t_{n,p}$ обозначает $(p + 1)/2$ — квантиль распределения Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы. В пакете EXCEL квантиль $t_{n,p}$ вычисляется как значение функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х с аргументами $1 - p$ и $n - 1$. Проверка правильности вычислений: при $n = 16$ и $p = 0,95$ должно получаться $t_{n,p} \approx 2,13$ [там же: 217].

2. С вероятностью p имеет место:

$$s \cdot (1 - q_{n,p}) < \sigma < s \cdot (1 + q_{n,p}), \quad (9)$$

где $q_{n,p}$ есть относительная погрешность приближения $\sigma \approx s$, выраженная в долях единицы. Величина $q_{n,p}$ определяется из уравнения:

$$F_{\chi^2, n-1} \left(\frac{n-1}{(1-q_{n,p})^2} \right) - F_{\chi^2, n-1} \left(\frac{n-1}{(1+q_{n,p})^2} \right) = p, \quad (10)$$

где $F_{\chi^2, n-1}(x)$ есть функция распределения χ^2 с $n - 1$ степенями свободы [там же: 221]. Уравнение (10) можно решить с помощью процедуры «Поиск решения» в меню «Данные» пакета EXCEL. При этом значения $F_{\chi^2, n-1}(x)$ вычисляются функцией ХИ2.РАСП со значением ИСТИНА аргумента «интегральная». Проверка правильности вычислений: при $n = 25$ и $p = 0,95$ должно получаться $q_{n,p} \approx 0,32$ [там же: 222].

Таким образом, параметры α и σ можно оценить неравенствами (8) и (9) с надежностью $100p\%$. Следует иметь в виду, что при повышении надежности *доверительные интервалы* (8) и (9) растягиваются, то есть растут погрешности оценок. Если подобрать число n таким образом, чтобы неравенства (8) и (9) выполнялись с достаточной надежностью, то размеры доверительных интервалов (8) и (9) определят погрешности в определении α и σ .

В пакете SPSS оценки (7) выдаются автоматически, например, в окне «Анализ → Описательные статистики → Описательные». При этом доверительные интервалы (8) и (9) не определяются, но для оценки параметра α (среднего значения X) в SPSS вычисляется его стандартная ошибка.

Полученный в этой работе результат можно использовать для оценивания размеров выборок, достаточных для измерений линейных, квазистационарных, социологических индексов. Такой теоретический размер может оказаться многократно меньше применяемых на практике. Помимо экономии финансовых ресурсов, это даст возможность проводить более тщательные и подготовленные опросы, что обеспечит стохастичность выборок. В классической работе [Neuman, 1934: 561] отмечалось, что выборки респондентов, не являющиеся случайными,

не позволяют обосновать социологические измерения также надежно, как и стохастические выборы.

Практически следует получить временной ряд значений индекса по случайным выборкам некоторого начального размера, например, 100. Число значений временного ряда может быть равно, например, 30. Таким образом, все исследование при ежедневном опросе займет чуть больше месяца. Затем следует проверить закон распределения индекса во времени, и если он окажется недостаточно нормальным, то размер выборки нужно будет увеличить, например до 500. Далее процесс повторяется, и если тесты на нормальность пройдены успешно, то выборку можно уменьшить и т. д. Разумеется, эти соображения нуждаются в практической проверке, главная сложность которой будет состоять в том, чтобы обеспечить случайный отбор респондентов. Примеры проверки временных рядов на нормальность рассмотрены в следующем параграфе.

Индекс социальных настроений

Используя данные, опубликованные на сайте «Левада-Центра»⁴, проверим гипотезу о нормальности ИСН на промежутке времени с марта 2009 по август 2019 г. (см. рис. 1). Абсолютные значения на сайте не указаны, но даны индексы семьи, России, ожиданий и власти за каждые два месяца. Значения ИСН вычисляются как среднеарифметические этих четырех индексов. Получается ряд всех чисел от 101 до 128, за исключением 103, 121 и 123. По этим данным построена диаграмма (см. рис. 1). Сезонная компонента на рисунке 1 не наблюдается (локальные максимумы и минимумы приходятся как на летние, так и на зимние месяцы).

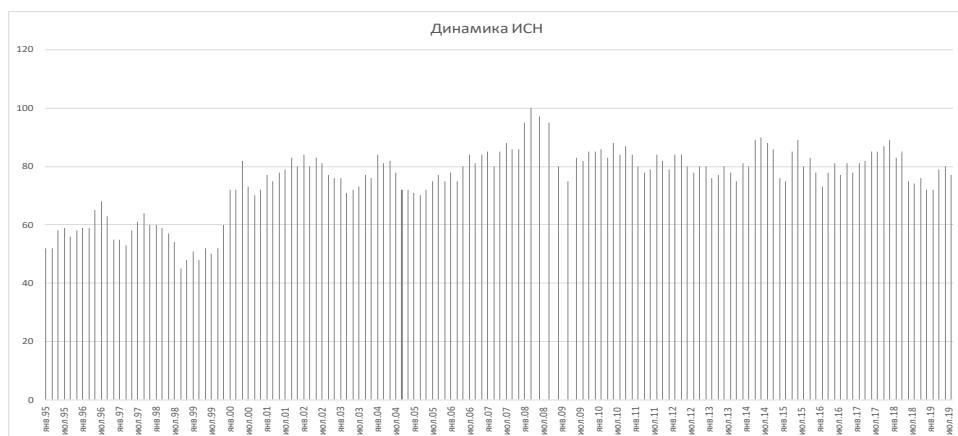


Рис. 1. Значения ИСН с января 1995 по август 2019 г., в % от показателя марта 2008 5

Можно предположить, что с марта 2009 по август 2019 г. ИСН был квазистационарным. Это соответствует официальной точке зрения о том, что за первое

⁴ Социально-экономические индикаторы // Левада-Центр. URL: <https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/> (дата обращения: 25.08.2020).

⁵ Это максимальное значение ИСН за период измерений.

десятилетие XXI века Россия достигла стабильного социально-экономического состояния. Является ли случайная величина X , связанная с ИСН на данном промежутке времени, хотя бы приблизительно нормальной?

Пусть $x_j = 100 + j$ и n_j — частота значения x_j , где $j = 1, \dots, 28$. Число измерений $n = \sum_{j=1}^{28} n_j = 62$. Найдем эмпирическую плотность распределения $f_E(x)$:

$$F_{\chi^2, n-1} \left(\frac{n-1}{(1-q_{n,p})^2} \right) - F_{\chi^2, n-1} \left(\frac{n-1}{(1+q_{n,p})^2} \right) = p, \quad (11)$$

где $f_E(x_j) \cdot (x_{j+1} - x_j)$ приближенно равно вероятности, с которой индекс X принимает значение в полуинтервале $[x_j; x_{j+1})$. Полагаем $x_{29} = 129$ и получаем эмпирические оценки $\bar{x}_B = 113,65$ и $\sigma_B = 6,14$. Принимаем эти числа как параметры α и σ теоретической плотности $f(x)$ распределения величины X (5). Вычислим $f(x)$ в Excel с помощью функции НОРМ.РАСП со значением ЛОЖЬ аргумента «Интегральная».

Для полученных таким образом теоретической $f(x)$ и эмпирической $f_E(x)$ плотностей распределения ИСН построены гистограммы значений в точках x_j (см. рис. 2). Ряду 2 отвечает теоретическая гистограмма (светлые столбики), ряду 3 — эмпирическая (темные столбики). Для проверки согласия между теоретическим и эмпирическим распределениями следует использовать критерий Пирсона [Гмурман, 2003: 329], однако и без вычислений видно, что они не согласованы. Таким образом, выборка значений ИСН с марта 2009 по август 2019 г. не имеет никаких видимых признаков нормального распределения.

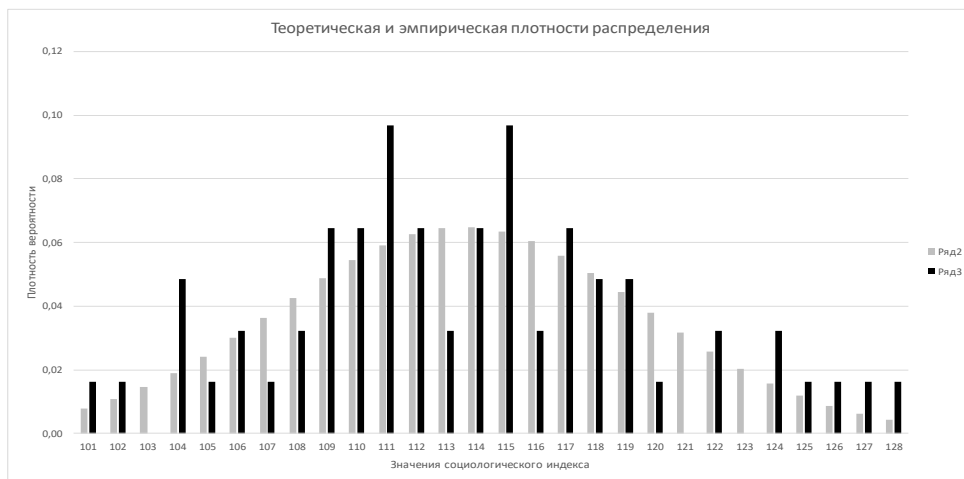


Рис. 2. Теоретическая и эмпирическая плотности распределения ИСН

Отсутствие признаков нормальности на рисунке 2, по-видимому, связано прежде всего с тем, что при вычислении ИСН используются выборки респондентов, которые не являются случайными (квотные выборки и т. п.) [Отчет рабочей группы ААРОР..., 2016]. Квазистационарность в период с марта 2009 по август 2019 г.

является спорным допущением, так как квадратичный тренд данного временного ряда, построенный в пакете STATISTICA, снижается на 22 % от размаха колебаний ИСН (см. рис. 3).

Рассмотрим промежуток времени между отметками 0 и 40, на котором тренд снижается лишь на 6 % от размаха колебаний индекса. Можно предположить, что на этом интервале ИСН является квазистационарным.

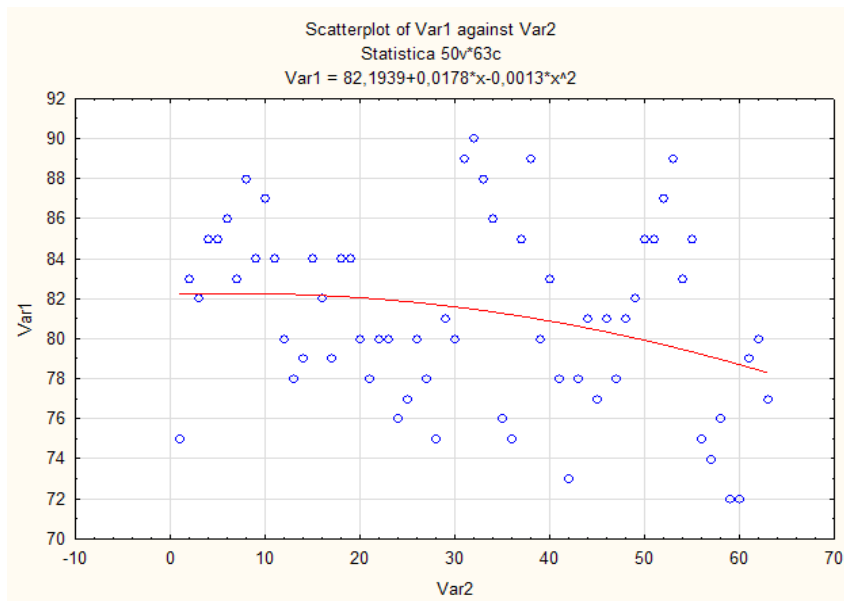


Рис. 3. Квадратичный тренд временного ряда ИСН с марта 2009 по август 2019 г.

Проверим нормальность распределения ИСН на этом интервале времени, используя тест Шапиро-Уилка пакета STATISTICA. Получим так называемую критическую вероятность $p = 0,268$, которая удовлетворяет неравенству $p > 0,05$ и, следовательно, у нас есть *формальное* основание принять нулевую гипотезу о нормальности. Однако этот тест ничего определенного не выражает. Его результат означает следующее: если бы ИСН имел нормальное распределение, то найденное значение статистики Шапиро-Уилка могло быть получено с вероятностью $p = 0,268$. Таким образом, в результате теста наступило событие, которое могло произойти с небольшой, но и не слишком малой вероятностью. Для иллюстрации предположим, что в результате теста было получено значение $p = 0,04 < 0,05$. В случае нормальности ИСН оно имело бы (малую) вероятность 4 %, но, тем не менее, было получено. Отсюда можно сделать вывод, что ИСН не является нормальным. В нашем случае значение критерия $p = 0,268$. Превышение уровня значимости 0,05, который принят в социологии, фактически означает лишь отсутствие весо-вых оснований, чтобы отвергнуть гипотезу о нормальности. Считается, что в этом случае ее можно принять. Но одного результата этого теста недостаточно, чтобы сделать вывод о нормальном распределении ИСН. Действительно, проверка рас-

пределения на равномерность (Rectangular) с помощью теста χ^2 дает критическую вероятность $p = 0,294$. Поэтому временное распределение ИСН можно было бы с таким же основанием считать равномерным.

Таким образом, тесты пакета STATISTICA не позволяют сделать уверенное заключение о нормальности ИСН на данном промежутке времени, хотя и не опровергают ее. По-видимому, свойство нормальности может отсутствовать из-за не вполне случайного характера выборок при социологических опросах. Другим источником «анормальности» закона временного распределения может быть недостаточно обоснованное предположение о квазистационарном характере индекса.

Заключение

В статье теоретически обоснована гипотеза о том, что социологические индексы, вычисляемые по формуле (1), должны иметь нормальные законы распределения на тех промежутках времени, где эти индексы являются квазистационарными. При этом каждый отбор респондентов должен быть стохастическим, т. е., все члены данной социальной группы должны иметь равные вероятности попасть в выборку. Важность последнего условия характеризуется тем фактом, что после 1948 г. случайная выборка стала для США предпочтительным методом по сравнению с квотными выборками, opt-in панелями и т. д. [Отчет рабочей группы AAPOR..., 2016: 22]. Отмечается, что при использовании неслучайных источников для выборки следует избегать претензии на репрезентативность [Отчет рабочей группы AAPOR..., 2016: 24].

Полученный результат может оказаться полезным для оценок размеров выборки при опросах, что поможет бы снизить расходы на социальный мониторинг. Для проверки этого предположения необходимы практические исследования, которые в случае успеха помогут выработать метод определения достаточных размеров выборки для измерения линейного, квазистационарного, социологического индекса, а также алгоритм случайного опроса.

Список литературы

Отчет рабочей группы AAPOR о неслучайных выборках: июнь 2013 / Американская ассоциация исследователей общественного мнения (AAPOR); пер. с англ. Д. М. Рогозина, А. А. Ипатовой. М.: Фонд «Общественное мнение», 2016.

AAPOR (2016) Report of the American Association for Public Opinion Research (AAPOR) Task Force on Non-Probability Sampling. June 2013. Moscow: Public Opinion Foundation (FOM). (In Russ.)

Балацкий Е. В., Саакянц К. М. Индексы социального неравенства // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2006. № 2. С. 122—128.

Balatskiy E. V., Saakyants K. M. (2006) Indices of Social Inequality. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 122—128. (In Russ.)

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. М.: НИУ ВШЭ, 2003.

Gmurman V. E. (2003) *Probability Theory and Mathematical Statistics*. Moscow: National Research University Higher School of Economics. (In Russ.)

Давыдов А. А. Анализ одномерных частотных распределений в социологии: эволюция подходов // Социологические исследования. 1995. № 5. С. 113—116.
Davydov A. A. (1995) Analysis of One-Dimensional Frequency Distributions in Sociology: the Evolution of Approaches. *Sociological Studies*. No. 5. P. 113—116. (In Russ.)

Дуганов М. Д., Калашников К. Н. Методологические подходы к оценке эффективности регионального здравоохранения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2011. № 6. С. 93—105.
Duganov M. D., Kalashnikov K. N. (2011) Methodological Approaches to Assessing the Effectiveness of Regional Health Care. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. No. 6. P. 93—105. (In Russ.)

Ильясов Ф. Н. Типы шкал и распределений в социологии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2014. № 4. С. 24—40. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2014.4.03>.
Iliassov F. N. (2014) Scales and Specific Sociological Measurement. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 24—40. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2014.4.03>. (In Russ.)

Крыштановский А. О. Методы анализа временных рядов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 2. С. 44—51.
Kryshtanovsky A. O. (2000) Methods of Analysis of Time Series. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 44—51. (In Russ.)

Ляпунов А. М. Избранные труды. М.: Издательство АН СССР, 1948.
Lyapunov A. M. (1948) *Selected Works*. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR. (In Russ.)

Neyman J. (1934) On the Two Different Aspects of the Representative Method: The Method of Stratified Sampling and the Method of Purposive Selection. *Journal of the Royal Statistical Society*. Vol. 97. No. 4. P. 558—625. <https://doi.org/10.2307/2342192>.

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1584



O. L. Chernozub

IMPLICIT FACTORS AND VOTING BEHAVIOUR INCONSISTENCY: FROM THEORETICAL CONCEPT TO EMPIRICAL PHENOMENON

For citation:

Chernozub O. L. (2020) Implicit Factors and Voting Behaviour Inconsistency: from Theoretical Concept to Empirical Phenomenon. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 17—40. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1584>.

Правильная ссылка на статью:

Чернозуб О. Л. ИмPLICITные факторы и несогласованность электорального поведения: от теоретической концепции к эмпирическому явлению // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 17—40. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1584>. (In Eng.)

IMPLICIT FACTORS AND VOTING BEHAVIOUR INCONSISTENCY: FROM THEORETICAL CONCEPT TO EMPIRICAL PHENOMENON

Oleg L. CHERNOZUB^{1,2} — *Cand. Sci. (Soc.), Vice-President for CIS Countries; Independent Director — Member of the Board of Directors*

E-MAIL: 9166908616@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-5689-8719>

¹ Global Development Consortium, Moscow, Russia

² HeliSky Inc., Moscow, Russia

Abstract. Several recent elections and referendums were marked by a dramatic failure in pre-election prediction based on large-scale surveys among voters. As a reaction to public anger and discontent among politicians alternative strategies (prediction markets, Implicit Association Test (IAT), expectation-based forecast, etc.) are being developed. The industry of election polling has also made progress: a number of studies have shown that a relatively low accuracy of forecasts was caused by inconsistencies in sample design and implementation. The present article considers another factor behind election forecast errors: insufficiency of data about the declared intentions needed to make an accurate prediction. For this purpose, the author introduces a tool called GATA (Graphic Association Test of Attitude) measuring implicit attitudes/intentions and proposes to add a “stream” of implicit effects to the usual Theory of Reasoned Action (TRA) and the Theory of Planned Behavior (TPB). According to the findings, implicit factors are an actual and clearly detected phenomenon; inconsistency in explicit and implicit attitudes/intentions is typical of many voters.

ИМПЛИЦИТНЫЕ ФАКТОРЫ И НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ К ЭМПИРИЧЕСКОМУ ЯВЛЕНИЮ

ЧЕРНОЗУБ Олег Леонидович — кандидат социологических наук, вице-президент по странам СНГ, Global Development Consortium, Москва, Россия; независимый директор — член совета директоров, HeliSky Inc., Москва, Россия

E-MAIL: 9166908616@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-5689-8719>

Аннотация. Несколько последних выборов и референдумов ознаменовались драматическими провалами предвыборных прогнозов, основанных на массовых опросах избирателей. В ответ на недовольство общественности и политиков развиваются альтернативные подходы, такие как рынки прогнозирования, имплицитный тест отношения (ИАТ), прогнозы на основе ожиданий и т. д.. Индустрия избирательных опросов также не стоит на месте: было проведено ряд исследований, показавших, что несовершенства проектирования и реализации выборки выступили основной причиной относительно низкой точности прогнозов. В настоящей статье рассматривается другой фактор прогнозных ошибок — недостаточность данных о декларируемых намерениях для построения достоверного прогноза. Для этого автор вводит инструмент графического ассоциативного теста отношения (ГАТО), измеряющий имплицитные установки/намерения, и предлагает дополнить типичную модель теории обдуманного поведения (ТОД/ТЗП) «поток»

The present article aims to present this phenomenon. This will be followed by another article (Implicit Factors and Voting Behavior Inconsistency: From an Attitude to Behavior) in the next issue of the *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes* (2020, no. 5) which will highlight behavioral effects of inconsistencies and the results of a combined use of implicit and explicit factors in the election forecast model.

Keywords: electoral behavior, electoral forecast, prediction of behavior, GATA, electoral polls, consistent attitude, behavior factors

имплицитных эффектов. Основные выводы исследования доказывают, что имплицитные факторы — реальный, надежно выявляемый феномен, а несогласованность эксплицитных и имплицитных установок/намерений характерна для многих избирателей.

Описание основных черт этого явления составляет суть настоящей статьи. В следующей статье (Имплицитные факторы и несогласованность электорального поведения: от установки к поведению // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2020. № 5) будут рассмотрены поведенческие эффекты несогласованности и результаты совместного использования как имплицитных, так и эксплицитных факторов в модели электорального прогнозирования.

Ключевые слова: электоральное поведение, электоральные прогнозы, прогнозирование поведения, факторы поведения, согласованность отношения, ГАТО, электоральные опросы

1. Introduction

Political planning and electoral forecasting based on voters' "intentions-based" surveys remain the key method adopted by the main political strategists and pollsters and are supported by electoral participants all around the world. According to the approach that dominates in both academia and industry, the anticipated electoral results and their drivers are assessed on the basis of voters' self-reported intentions to participate in the voting procedure and to vote for a specific candidate or party. Technically, the current mainstream paradigm is based on the explicit declarations of voters about their future behavior, or, more precisely, on two types of variables extracted from their statements constituting the so-called "likelihood to vote — vote intention" model. Although there can be various forecasting strategies using different weighting and correction procedures applied to survey responses, explicitly declared intentions are the core for almost any calculations [Perry, 1960, 1962, 1973, 1979; Erikson, Panagopoulos, Wlezien, 2004; Vermunt, Magidson, 2005]¹.

¹ Newport F. (2008) Who are Likely Voters and When Do they Matter. *Gallup*. July 28th. URL: <http://www.gallup.com/poll/109135/who-likely-voters-when-they-matte.aspx> (accessed: 09.08.2020).

Unfortunately, despite the impressive progress in the pollster industry during the 20th century, its current state can be characterized as rather problematic. Recent events give a lot of examples of nation-wide forecasts fail to correctly predict the election outcomes². The incomplete list of such failures includes:

- 2014 parliamentary elections in Moldova;
- 2015 parliamentary elections in the UK;
- 2015 Knesset elections in Israel;
- 2015 Referendum in Greece;
- 2015 presidential elections in Poland;
- 2015 presidential elections in Belarus;
- 2016 Brexit Referendum in the UK;
- 2016 presidential elections in the USA;
- 2017 parliamentary elections in the UK.

These cases of inaccuracy of electoral forecasts are important not only on their own but as a symptom of an insufficient understanding of voters' decision-making process and its factors³. If a single model of voters does not reflect their actual behavior, it means not only the inaccuracy of the forecast but also the misleading of the political strategy and the electoral campaign, resulting, quite probably, in serious political consequences.

Unsurprisingly, the last decades have brought to life a wide array of alternative models that deliberately evade the pure measurement of intentions. Some of them acquired a reputation as well-founded and quite effective: questioning on expectations [Rothschild, Wolfers, 2012; Graefe, 2014; Ganser, Riordan, 2015], prediction markets [Kou, Sobel, 2004; Arrow et al., 2008; Leigh, Wolfers, 2006; Murr, 2015], economic models [Lewis-Beck, Stegmaier, 2007; Anson, Hellwig, 2015] and social media content analysis [Tumasjan et al., 2010; Gayo-Avello, 2013; Celli et al., 2016]. Studies showed that predictions based on these methods are more accurate compared to those of intention-based surveys [Kou, Sobel, 2004; Metaxas, Mustafaraj, Gayo-Avello, 2011; Rothschild, Wolfers, 2012; Atanasov et al., 2015; Graefe, 2017].

However, these approaches hardly can substitute more widespread intention-based survey methods in the near future. Each of these methods has significant limitations. Some of them are tuned for binary choice situations (prediction markets, expectations, and economic models), some determine winners rather than the actual number of votes (prediction markets and expectations polls), other depend on specific infrastructure (political betting systems), or have manipulation risks (social media content analysis). Most important, these methods do not provide opportunity to gather important additional information on voters' preferences, expectations, attitudes, and behaviors, all of which are crucial for both forecasting and planning political campaigns.

Thus, the surveys remain the main source of information in electoral studies, and this can explain why remarkable failures of the key pollsters during some of the recent

² See, for example: Mercer A., Deane C., McGeeney K. (2016) Why 2016 Election Polls Missed their Mark? *Pew Research Center*. November 9th. URL: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/why-2016-election-polls-missed-their-mark/> (accessed: 17.08.2020); Whiteley P. (2016) Four Reasons Why the Polls Got the U. S. Election Result so Wrong. *Newsweek (US Edition)*. 2016. November 14th. URL: <https://www.newsweek.com/polls-2016-us-elections-trump-potus-hillary-clinton-520291> (accessed: 17.08.2020).

³ Latest overview of corresponding approaches see, in particular: [Lau, Kleiner, Ditonto, 2018].

elections are taken so seriously by the industry and political actors. In some cases, failures to correctly predict the winner of the election led to industry-level investigations. The reports by the Market Research Society and the British Polling Council in the UK and AAPOR in the USA are probably the most prominent examples [Sturgis et al., 2016; Kennedy et al., 2017]. These reports cover a wide range of possible sources of errors including sampling issues, late swing effects, deliberate misreporting, etc. It is worth noting, however, that generally, they do not address the problem of the validity of the intentions-based approach itself⁴.

The proposed perspective looks quite biased. Most pollsters would definitely agree that voters' behavior can and often is determined by factors which are poorly recognized even by the actors and/or are misreported by them. These methodical problems are well-known and usually are referred to as "lack of introspection" and "deliberate misreporting". The current state of affairs is generally taken as an objective limitation of the methodology which, as for now, deemed as unavailable for improvement within mass surveys. This was clearly demonstrated by a study by Rogers and Aida [Rogers, Aida, 2012] who directly compared the data on voters' "intentions to vote" reported in a poll with the actual turnout among the surveyed voters. Studying only the voters for whom they have data on their presence on the voting station, e. g. having the "sample" equal to the "universe", Rogers and Aida eliminated any possible effect of "sampling error". Thus, any mismatch of declarative intention and actual behavior, revealed by them, should be regarded as definitely generated by validity problems. In particular, they demonstrated a dramatic difference between the declared intentions and actual behavior: 13% of those who declare they are "Almost certain" they would vote, have not in fact voted, whereas 55% of those who answered "No", actually came to the polling station. Moreover, the authors found that actual behavior can be relatively reliably predicted by the previous voting experience. As respondents perfectly know whether they voted in the recent election or not, they could effortlessly make an accurate forecast for the next one. But they do not.

In this context, one of the most promising attempts to improve the existing model is to introduce methods which can measure not only voters' explicit attitudes and/or intentions but also the implicit ones. Explicit attitudes are attitudes that are at the conscious level, are deliberately formed and are easy to self-report. On the other hand, implicit attitudes are attitudes that are at the unconscious level, are involuntarily formed and are typically unknown to us. There were several important attempts to use implicit measures as predicting factors of voters' behavior. For example, Greenwald et al. (2009) used the Implicit Association Test (IAT) and the Affect Misattribution Procedure to predict the individual choice between John McCain and Barack Obama during presidential elections on the basis of implicit racial attitudes and independently from explicit intentions. The study by Italian researchers was even more comprehensive. They used the IAT on a large sample ($N = 1377$) to predict actual voters and their choice during the 2006 Italian National Elections [Roccatò, Zogmaister, 2010]. They found the IAT-based prediction to be more accurate than the prediction based on explicit intentions (the prediction error was 1.1 vs 3.9). Interestingly, explicit and

⁴ See for details: [Chernozub, 2017, 2018b].

implicit measures were only marginally correlated thus indicating that they reflect different aspects of voting behavior [ibidem; see also Choma, Hafer, 2009]. The implicit measures not only provide additional information on actual preferences and intentions but also partially solves the problem of “undecided”, i. e. people who report they did not make their choice yet [Arcuri et al., 2008].

The introduction of the IAT caused quite an intensive discussion concerning the relative superiority of explicit or implicit drivers and better predictors of electoral behavior [Greenwald, Poehlman et al., 2009], which perfectly fits into long-term debates of the “dominant” or “true” attitude. According to Devine, the dominant factor of individual behavior is cultural stereotypes prevailing in the individual’s group [Devine, 1989; Devine et al., 1991; Devine, Monteith, 1999]. The variety of real forms of behavior is generated by a personal tendency to follow or oppose to these stereotypes. In contrast to Devine’s dissociation model, MODE (motivation and opportunity as determinants of the attitude-behavior relationship) consider implicit motives as a fundamental factor to control openly-expressed beliefs [Fazio et al., 1995; Dunton, Fazio, 1997]. Therefore, implicit attitudes are considered as valuable predictors for behavior that are difficult to control (spontaneous reactions) or provides little motivation to control. Explicit attitudes should better predict behavior, which is under volitional control [Dovidio et al., 1996]. Finally, the findings of some latest studies show that these explicit and implicit drivers are not necessarily consistent [Choma, Hafer, 2009; Roccato, Zogmaister, 2010].

The study proposes an integrated approach where explicit and implicit factors act simultaneously. They have their own sources of origin and affect behavior in an interactive way; no one should be omitted from analysis. Therefore, we assume explicit and implicit components of an attitude may be consistent (both positive or both negative) or inconsistent (explicit — positive, implicit — negative and vice versa), this way constituting a specific status of the attitude affecting the behavior. Trying to maintain a manageable scale of the problematic field to study, we focused the attention on the single case of inconsistent intentions where the explicit and implicit ones are contradictory. This approach is rather unusual for modern practice; however, as the obtained results show, it leads to some improvement of forecasting models, and, what is more important, a range of meaningful insights concerning voters, their preferences and electoral behavior drivers. In the practical perspective, focusing on inconsistent voters promises a valuable return in both spheres: political planning and electoral forecasting. If one assumes that the preferences and intentions of this group are unstable, the separation of this fraction in the general group of supporters:

- reduces the possibility of misleading in the sphere of expected electoral results;
- reduces uncontrollable distortion this group introduces in political planning.

The remainder of this paper is structured as follows. Section 2 is devoted to the model of inconsistency, the main hypothesis, variables, and data. Section 3 provides a general overview of the inconsistency of the attitude and intentions as an empirical phenomenon, based on the data obtained by the author. Section 4 makes a bridge from the inconsistency of attitude and intentions to the inconsistency of behavior. Section 5 provides an example of the application of the proposed model to electoral forecasting and Section 6 summarizes the main findings and sets up some ideas for practical applications and further studies.

2. Explicit/implicit inconsistency as a concept

2.1. Theoretical background and the general model

Fundamentally, the proposed concept of the inconsistency as a specific status of attitude is based on the expectancy-based model of attitude [Feather, 1979, 1982; Fishbein, 1963, 1967], supported by the classical structural theory of attitude [Rosenberg, 1956, Rosenberg et al., 1960; Festinger, 1957; Kelman, 1958; Festinger, Carlsmith, 1959; Katz, 1960; Kiesler, Collins, Miller, 1969; Himmelfarb, Eagly, 1974; O'Keefe, 1990; Smith, 2003]. According to this generally-accepted approach, the attitude is considered as a predisposition to behave towards a certain object in a favorable or unfavorable manner and depends on the anticipated value of the outcome of endeavoring action. Being the fundamental factors for a behavior, attitudes have as their own basis a set of beliefs which includes both salient and non-salient beliefs. These attitudes are converted into intention, which, being affected by additional factors of perceived norms and perceived behavioral control, finally are implemented in the behavior [Fishbein, Ajzen, 2011].

According to general behavioral science, a person can hold both implicit and explicit attitudes at the same time. An implicit attitude exists as an unrecognized prejudicial attitude, while an explicit one is under conscious control. An implicit attitude is assumed as affecting intentions to behave "automatically". In contrast to it, an explicit attitude requires cognitive effort to be activated. Being retrieved to the cognitive sphere, an implicit attitude becomes an explicit attitude and conscious control can override its initial effect on behavioral intention [Wilson, Lindsey, Schooner, 2000]. Researchers pay a lot of attention to assess which attitude, explicit or implicit, is a "true" and better predictor of behavior.

From this perspective, electoral behavior looks ambivalent. It is obviously willful and should fit perfectly into an expectancy-based model, controlled by explicit factors. At the same time, voting as a specific case of behavior provides very little motivation to control as long as the ballot is secret and voter commands of a vanishingly small portion of the voting result. Therefore, the general assumption for this study accepts simultaneous influence of implicit and explicit attitudes on the voter's behavior. The framework of the structural theory of attitude and the consistency theory of both components [Rosenberg, 1956, 1960] leads us to the assumption that these components normally should be in compliance to enforce the implementation of intention. In contrary, if implicit and explicit attitudes contradict each other, the probability of the intentions' escalation into the real behavior is decreased.

To structure these assumptions, the author created a conceptual model based on the adaptation of the general TRA/TBP⁵ model, enriched with a clear chain of implicit effects (represented in italics).

A set of beliefs is the basic set of drivers affecting the formation of attitudes. Fishbein and Ajzen [Fishbein, Ajzen, 2011: 96] designated this set as "beliefs"; in this paper, the author will adhere to this term, making a reservation that this set of factors can have and most probably has a non-conscious, or "intuitive", or "affective" fraction.

TRA/TBP factors are perceived norms and perceived behavioral control factors.

⁵ Theory of reasoned Action/Theory of Planned Behavior [Fishbein, Ajzen, 2011].

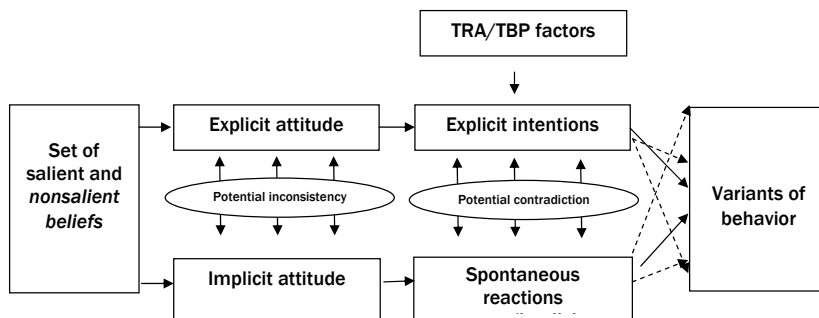


Figure 1. Double-stream model of behavior

An explicit attitude is a conscious attitude, which could be correctly formulated and expressed by the individual.

Explicit intentions are conscious intentions, which could be correctly reported to others.

An implicit attitude is an unconscious attitude; the individual could be unaware of its presence, nature, and valence. According to [Wilson, Lindsey, Schooner, 2000], an implicit attitude activates automatically and may be or may be not overridden by conscious (explicit) factors.

Spontaneous reactions are unconscious drivers to act, “automatically” generated by the implicit attitude; they are sometimes referred to as “**implicit intentions**” despite of the fact that they, being unconscious, are certainly not “true” intentions.

A behavior is the real act, which represents the final result of the interaction of explicit intentions and unconscious impulses.

Thus, the ultimate goal of the current study is to prove or reject the assumption that the inconsistency of explicit and implicit attitudes and intentions is (a) accessible for empirical identification, (b) affects the electoral behavior and (c) being taking into account can improve forecast accuracy and, consequently, political planning.

The tasks of the research are set as follows:

1. To detect the implicit attitudes/intentions to vote based on the empirical data of mass polls and to test whether these implicit factors are not artifacts of the measurement procedure but are logically generated by the “set of beliefs” as their supposed drivers.

2. To identify the voters with inconsistent intentions.

3. To understand whether their peculiarities are a significant factor of electoral behavior.

4. To evaluate whether taking inconsistent intentions into consideration improves electoral forecasting accuracy.

This article is the first of two articles and covers first and the second tasks.

2.2. General goal, Hypothesis and a theoretical contribution

The goal of the study is to test whether implicit factors affect voting behavior, and whether incorporating them into forecasting models improves their accuracy. Therefore, there are three general hypotheses to test.

H₀1: There is no specific (having an independent origin and certain effects) implicit attitude towards candidates. In particular: H₀1.1 Explicit and implicit attitudes always are the same towards each candidate, and/or H₀1.2 An implicit attitude always has the same level and structure of associations with the basic set of beliefs as a variable of the explicit attitude.

H₀2: There is no phenomenon of “inconsistent intentions” as a specific factor of electoral behavior. In particular: H₀2.1 The share of “inconsistent voters” is a constant for every candidate’s electorate, and/or H₀2.2 There are no significant differences between the “consistent”, “non-contradictory” and “inconsistent” groups⁶ of voters in behavior corresponding to choosing electoral options, and/or H₀2.3 The share of “inconsistent voters” does not correlate with the error of explicit intentions-based forecast.

H₀3: Taking into consideration an implicit attitude/intention does not improve forecast accuracy; the error level is the same for explicit-based, implicit-based and combined explicit/implicit-based forecasts.

This article covers H₀1. Successful rejecting of H₀1.1 and H₀1.2 will result in an acceptance of the enriched TRA/TBP model, as a model, applicable towards electoral behaviour despite the fact the last one typically is considering as a “reasoned” and “planned” action. That could be counted as a kind of theoretical impact of this paper.

2.3. Principal variables

General variables were set up as follows.

A set of beliefs (SB) is a variety of variables traditionally used to investigate the drivers of political and electoral preferences. In this study, the author used the typical ANES⁷ sets of “approval”, “trust”, “partisanship”, “political interest” along with special sets of “ideologically biased” declarations. In order to decrease measurement error, all of these variables used a 4-step scale, e. g.: “Totally agree/mainly agree/mainly disagree/totally disagree”. The formulation of ANES-based variables had a common double-end form, for example: “Do you mainly approve or disapprove the activities of President V. Putin at his office”? The formulations for “ideologically biased” declarations are represented in the text. These variables are used as independent in relation to the “Explicit attitude” (EA) and “Implicit attitude” (IA).

Explicit attitude (EA, EAt). According to the expectancy-based model of attitude, EA is measured as respondents’ self-reported estimation of the correspondence or non-correspondence of the candidate to their personal interests. Q: “To what degree does the victory of this candidate match your interests”? A: “Totally matches/mainly matches/mainly mismatches/totally mismatches”. EAt is the same variable but measured using the feeling thermometer technique with an 8-point scale.

Implicit attitude (IA) is measured with a specially invented technique of the Graphic Association Test of Attitude (GATA). See Section 3.1 for details. It is used as a dependent variable in relation to SB and as a factor variable to construct variables of “Consistency groups” (CGs).

⁶ Description of “Consistency groups” (CGs) see in Section 2.3.

⁷ American National Electoral Survey. URL: <https://electionstudies.org/> (accessed: 18.08.2020).

Explicit intention (VI) is measured as the traditional “vote intention” variable. Q: “For whom from this list will you vote, if any”? A: A list of candidates, including “for no one”, “will not vote in this election at all”. It is used as a factor variable to construct variables of “Consistency groups” (CGs).

Implicit intention (II) is assumed to be a form of an “automatically activated” implicit attitude [Fishbein, Ajzen, 2011], so it is, in fact, just a correct name for it. It is used as a factor variable to construct variables of “Consistency groups” (CGs).

“Consistency groups” (CGs) are derived from crossing EA and IA and splitting all the respondents into 6 groups, regarding a single candidate. (1) EA positive and IA positive, (2) EA positive and IA neutral, (3) EA positive and IA negative, (4) EA negative and IA positive, (5) EA negative and IA neutral, (6) EA negative and IA negative. The positive pole of the EA and IA scales is a pole of respective explicit/implicit acceptance of the candidate, negative one — a pole of correspondent rejection.

Actual voting results (VRs). The actual number of voters participating in particular elections and their electoral choices are based on official results published by the Central Election Commission of the Russian Federation (CEC RF). It may be referred to as counts of votes or in percent to total votes balloted. In the study, this variable represents an act of actual behavior at an aggregated level.

2.4. Data

The research is based on the data obtained during several nation-wide and regional election polls conducted within the 2016—2018 Russian’s electoral cycle by VCIOM (one of the largest Russian pollsters).

Study 1. A nation-wide panel-based poll conducted during the 2016 Parliamentary election. The study used CAPI⁸, a multistage sampling of households, with a randomization procedure within households, $N = 2304$. The sample standard error is 2.25%. The sample represents the set of national voters’ corps. Fieldwork was held in August and September and ended a week before the Voting day.

Study 2. Governor elections in one of the regions held in 2018. The study used CAPI, a multistage sampling of households, a randomization procedure within households, $N = 1604$. The sample represents the set of regional voters’ corps. The sample standard error is 3.25%. Fieldwork was held from 3rd to 7th September and ended two days before the Voting day.

Study 3. Inter-election survey for the 2018 presidential elections. The study used CAPI, a multistage sampling of households, with a randomization within households, $N = 1606$. The sample standard error is 3.4%. The sample represents the set of national voters’ corps. Fieldwork was held in March 2017, a year before the voting day.

Study 4. A nation-wide poll during the 2018 presidential elections. The study used CAPI, a multistage sampling of households, a randomization procedure within households, $N = 1629$. The sample represents the set of national voters’ corps. The sample standard error is 3.4%. Fieldwork was held from 10th to 11th of March 10—11, a week before the voting day.

⁸ Computer-assisted personal interview.

Study 5. A set of four separate polls at the governors' elections in four Russian regions in 2017. Every study used CAPI, a multistage sampling of households, and randomization procedure within households, $N = 600$ — 606 (2407 in total). The samples represent each of regional voters' corps. The sample standard error is up to 4.0%. Fieldwork was held in September 2017 and ended two days before the Voting day.

Based on the raw data of these surveys, the author selected single candidates as observations for further analysis. The item for analysis was a person or party that acquired an actual electoral result no less than 5%. Thus, for the selected observations, the standard error of the 5% subsample is no more than 1.1%.

Due to the specifications of the questionnaire design, the data of both presidential election surveys are usable for assessing the structure of intentions and inconsistent intentions for Putin's electorate, but not for other candidates. Meanwhile, these data look meaningful as they present observations of the studied subject divided by one year.

Therefore, for the analysis of "inconsistent intentions", the author uses nine cases (Table 1). In the regional elections of 2018, the incumbent was presented by the United Russia member and pretenders — by representatives of other main national parties. Further, they will be referred to by their party affiliation.

Table 1. Availability of data on inconsistency effects across the studies, number of cases

Candidate/Party	Study 1	Study 2	Study 3	Study 4
United Russia	*	*	NA	NA
Communist Party of the Russian Federation (CPRF)	*	*	DF	DF
Liberal-Democratic Party of Russia (LDPR)	*	*	DF	DF
Fair Russia	*	*	NA	NA
V. Putin	NA	NA	*	*
TOTAL	4	3	1	1

DF — data format incomparable to the main bulk of data.

For the analysis of the effect of inconsistent attitudes and intentions on the forecast accuracy, 10 cases are available (Table 2).

Table 2. Availability of data on the effect of inconsistency on prediction accuracy, number of cases

	Study 1	Study 2	Study 3	Study 4
United Russia	*	DF	NA	NA
Communist Party of the Russian Federation (CPRF)	*	DF	*	*
Liberal-Democratic Party of Russia (LDPR)	*	DF	*	*
Fair Russia	*	DF	NA	NA
V. Putin	NA	DF	*	*
TOTAL	4	0	3	3

DF — data format incomparable to the main bulk of data.

Study 5 incorporates a comparison of implicit attitude data as per the methodology of the Graphic Associative Test of Attitude (GATA, see Section 3.1 for details) vs explicit attitude data as per the “feeling thermometer” technique. These data have been used exclusively to prove the orthogonality of measurement of explicit and implicit attitudes and preliminarily assess the scale of their mismatch.

3. Inconsistency as an empirical phenomenon

The inconsistency of attitudes and intentions is a quite common natural phenomenon organically grounded in the voter’s personality. To analyze the inconsistency of explicit/implicit factors, one has to start with identifying both of them. Revealing an explicit attitude and intentions does not pose a problem, but the implicit ones are less accessible for identification.

3.1. Revealing the implicit attitudes

To detect voters’ implicit components of actual intentions, it is necessary to measure implicit attitudes, which, according to the theory of reasoned action and the theory of planned behavior, are a direct prerequisite for actual intention [Fishbein, Ajzen, 2011]. Taking into account the practical limitations of the poll methodology, a new Graphic Associative Test of Attitude (GATA) was developed [Chernozub, 2018a]. This is a modified Etkind’s Colors Test (ECT) [Etkind, 1987], which, in turn, is a development of the Lüscher color test [Lüscher, 1990]. Initially, ECT was developed for inquiring persons with cognitive dysfunctions who could not understand well the verbal constructs of a questionnaire. Respondents associate simple concepts like relatives, mates, friends with colors of the Lüscher “small” set. Then respondents prioritize colors as pleasing or unpleasing. Thus, an individual preference-rejection scale is developed to measure the participants’ implicit attitude towards the tested concepts.

In politics, colors and color schemes are often meaningful symbols and used for political identification. For this reason, the stimulus set of the original ECT was substituted with 8 graphic shapes of the Markert Test [Markert, 1980]. The shapes of the test have no political connotations and thus can be used to differentiate between electoral alternatives. Figure 2 depicts examples of the stimulus set used in GATA.



Figure 2. Examples of K. Markert’s Test stimuli used in the current study to measure voters’ implicit attitudes

The pilot studies showed that direct association with preference/non-preference almost exclusively refers to three extremum points at every end of the scale. Consequently, for further analysis, three less favorable graphic shapes are considered as an indicator for a negative attitude, three most favorable as a positive attitude, and those in the middle of the individual scale as a neutral attitude.

3.2. Inconsistency of the explicit/implicit attitude: some empirical evidence

Although the fact of the non-correspondence of explicit and implicit attitudes is widely recognized [Kiesler, Collins, Miller, 1969; Himmelfarb, Eagly, 1974; O’Keefe, 1990], it is necessary to test the proposed hypothesis H_0 1.1 “explicit and implicit attitudes are the same towards every single candidate” since the author used a newly introduced and limitedly validated GATA technique.

To understand whether both forms of an attitude are the same entity or not, the author measured the attitude of voters towards several incumbents and pretenders in various 2017 governors’ elections in Russia. The explicit attitude was measured with the “feeling thermometer” technique [Wilcox, Sigelman, Cook, 1989; Jacoby, 1994; Alwin, 1997; LaCour, Green, 2014; Lupton, Jacoby, 2016], the implicit attitude — with GATA [Chernozub, 2018a]. Some typical results are presented in Figures 3—4, where IA matches vs EAT, basing on the data of Study 5.

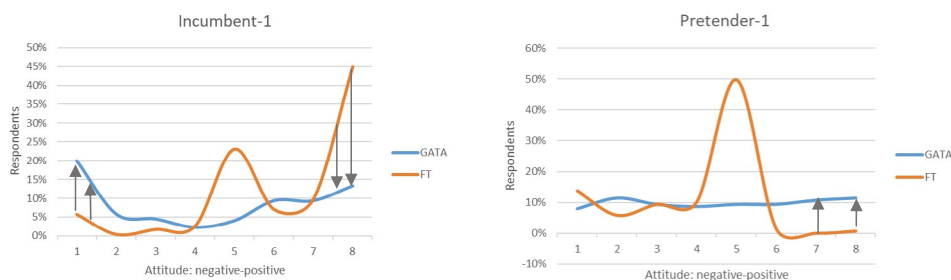


Figure 3. Mismatch of explicit and implicit attitudes towards the incumbent vs pretender: Governor election, 2017, European part of Russia

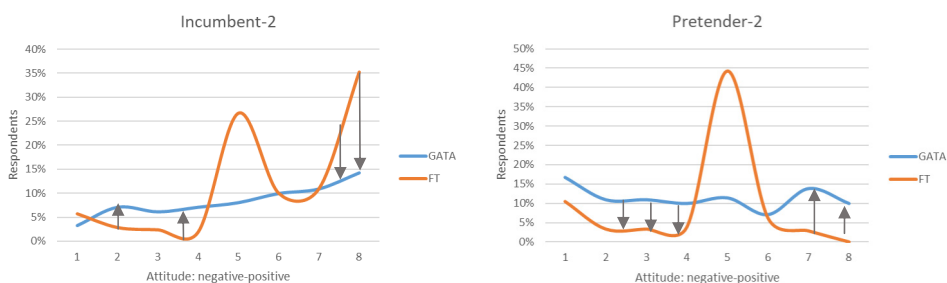


Figure 4. Mismatch of explicit and implicit attitudes towards the incumbent vs pretender: Governor election, 2017, Eastern Siberia

The data presented above show quite a standard picture which reflects peculiarities common for all of the studied cases (4 incumbents, 8 pretenders):

1. For the incumbent, explicit attitudes are shifted towards the positive end of the scale (arrows down), while implicit attitudes — towards the negative end (arrows up).

2. For the pretender, implicit attitudes are demonstrated by circa 30% of respondents shifted towards the positive end of the scale, while the explicit attitude of the very same sample shows almost nothing of the sort.

3. Distribution on the explicit scale is dramatically shifted towards the center, which can represent respondents' intention to hide in a shade of neutral values or their lack of introspection.

In general, the study confirms that the incongruity of explicit and implicit attitudes to the same candidate is not an unusual state for voters' attitude. Therefore, $H_0 1.1$ "explicit and implicit attitudes are always the same towards every single candidate" is to be rejected.

Nevertheless, these data seem to be not enough to accept "inconsistency" detected by the applied instruments as a real-life phenomenon. To test it, let us suppose that if the IA and EA will differ by their sets of independent variables of the SB, then it could be an indicator of separate sources of their origin, which is a quite solid proof for considering their "visual" discrepancy not a simple artifact of measurement.

3.3. Natural origin of inconsistency

The starting hypothesis for assessing whether the measured differences represent natural orthogonality was $H_0 1.2$ "the implicit attitude has the same level and structure of associations with the basic 'set of beliefs' as a variable of the explicit attitude". To test it, the author checked the association of IA and EA with the set of other common ANES-origin variables of Studies 1 and 4. The significance of 0.05 for Chi-square statistics was set as a threshold for the proved association. The aggregated results are presented in Table 3.

Table 3. *Mismatch of the structure of associations for the explicit and implicit components*

Studies 1 and 4 in sum	Politics and social	Economy issues	Demography	Total
Only the explicit component has an association	20	1	6	27
Both have an association	40	5	2	47
Only the implicit component has an association	5	0	0	5
Both have no association	16	1	3	20
TOTAL	82	7	11	99

According to the data above, 47 out of 99 typical ANES-style variables have an association with both variables representing implicit and explicit attitudes. 27 variables have an association with the explicit and have not with implicit ones. 5 more have an association with implicit and have not with explicit variables. It is not surprising that explicit attitudes are deeply rooted in the massive of variables, measured with a conscious-addressing questionnaire, being tied with totally 74 variables. The implicit attitude is associated with the bulk of traditional "cognitive" variables in a relatively poor way with 52 associations. Thus, 32 (27 + 5) variables represent a domain, where

associations are mutually exclusive. Therefore, almost every third of considered association is generated by the forces, acting separately for implicit and explicit attitudes.

The kind of these forces could be assessed with the data structured in Table 3.3.2, where the volumes of Sommers's D for associations are presented. Only the cases are presented where D statistic is 0.05+ higher for the implicit/explicit variable as dependent vs as independent and the significance of statistic is 0.05 or better. The higher part of the table represents variables which are factors for the implicit attitude, lower — for the explicit attitude, the central part — for both. The priority of variables is set up by the difference between Sommers D values for implicit and explicit variables. Blank cells represent the insufficiency of the statistic of the respective association.

The composition of associations revealed by this form of analysis slightly differs from that of Chi-square due to a different input set of variables (only ranked variables may be used for Sommers D) and the natural peculiarities of calculations. All data are from Study 5, dependent variables are IA and EA towards the party of “United Russia” which is referred to here as “UR”. “Ideologically biased” questions (in commas) started with “Do you agree, or disagree...”.

Table 4. Sets of predicting factors for implicit and explicit components of attitudes

Variable to cross	Implicit as dependent Sommers D	Explicit as dependent Sommers D
Do you approve the activity of the Prime Minister	.346	
“UR is able to arrange the country’s development”	.325	
“UR is a party of real deeds”	.306	
Do you approve the activity of the State Duma (parliament)	.260	
“UR fights for common people”	.251	
“Most of UR party’s members are of great moral standards”	.236	
“Real party’s activists took part in UR’s primaries”	.137	
Do you approve the reunification of Crimea with the RF	.077	
Do you pay attention to political parties’ positions towards the Crimea reunification issue	.074	
Do you think Western sanctions were imposed because of Crimea	-.046	
Do you approve the activity of President V. Putin (3 rd wave)	.426	.203
I have been aboard within three years	.043	-.052
Do you trust the Minister of Defense S. Shoigu	.132	.103
Do you think the reunification of Crimea brings more advantages or disadvantages	.128	.107
“Change of the state power should be done only via lawful means”	.111	.100
Do you trust the Minister of Foreign Affairs S. Lavrov	.059	.052
Do you trust President V. Putin	.226	.231
The head of the state should stay at power as long as possible	.203	.204

Variable to cross	Implicit as dependent Sommers D	Explicit as dependent Sommers D
Most of UR's members are row people	.183	.215
Do you approve the activity of President V. Putin (2 nd wave)	.173	.205
Do you approve the activity of President V. Putin (1 st wave)	.149	.260
I have discussed political issues in social media		-.117
I have discussed political issues via Internet forums		-.117
I have read news on the Internet		-.092
I have commented news on the Internet		-.097
I have read news of culture and arts		-.047
In general, do you feel yourself securely or not		.090
I support enforcement of current national law		.148

The data shown in Table 4 support the conclusion of independent sources for implicit and explicit attitudes. Not only the sets of independent variables differ for IA and EA, but also the variables that constitute these sets differ qualitatively.

Most of the variables representing the pool of beliefs affecting the implicit attitude are indicators of “true” beliefs and predispositions: “UR is able to arrange the country’s development”, “UR is a party of real deeds”, etc. Next to this core, one could see two remarkable variables of approving the activity of the Prime Minister (Party’s official leader) and the activity of the State Duma (where United Russia has had a dominant majority for many years). Surprisingly, this dependency is not detectable for the explicit attitude. Crimea affairs are presented well in the set of implicit drivers, but it is a temporary factor and most probably points to the general assumption that a stimulus first affects the unconscious sphere and then is (or is not) introspected by a person.

In contrast to implicit, explicit attitude factors are almost totally presented by self-reports of behavioral patterns: “I have discussed political issues in social media”, “I have read news of culture and arts”, etc.

The main part of common factors is variables of approving/trusting the officials: “Do you approve the activity of President V. Putin”, “Do you trust the Minister of Foreign Affairs S. Lavrov” and so on. This massive is diluted with several indicators of predispositions, as “The head of the state should stay at power as long as possible” and behavioral self-reporting ones: “I have been aboard within three years”. However, these variables look untypical for a “common set”.

Perhaps, one could assume these variables of assessment represent the true nature of this intermediate sector where both implicit and explicit attitudes are commonly affected by the same factors. If so, one comes to a scheme where beliefs and predispositions primarily affect implicit attitudes, assessments — both types, and behavioral patterns — mainly explicit ones. Certainly, the final assay will take more studies and more proofs to be adopted or rejected. However, this scheme looks logical, well fits in the general theoretical model [Fishbein, Ajzen, 2011] and provides a conclusion which is not universal, but reliable within its bounds: there are cases where implicit and

explicit attitudes mismatch and are driven by incongruent sets of factors. Therefore, H01.2 “an implicit attitude always has the same level and structure of associations with the basic ‘set of beliefs’ as an explicit attitude” should be rejected.

3.4. Inconsistency of intentions

As will be seen, data on intentions accurately reproduce the logic of the data described above for attitudes. Tables 5—7, based on the data of Studies 1 and 4, refer to the crossing of VI which represents explicit intention and EI that is supposed to be equal to EA [Wilson, Lindsey, Schooner, 2000]. In this way, consistency groups were created, as described in details in Section 2.3.

Hereafter, UR refers to “United Russia”, CP — to “Communist Party of the Russian Federation”, FR — to “Fair Russia”, LD — to “Liberal-Democratic Party of Russia” or to individual candidates with the respective affiliation. “P” represents V. Putin. Two-digit numbers refer to the year of national elections (Studies 1 and 4) and “g” marks the Governor election of 2018 (Study 2).

Table 5. **Structure of consistency of candidates’ supporters, State Duma election, 2016, % of the voters**

Consistency status	UR 16	CP16	FR 16	LD 16
1. Explicit positive, Implicit positive	28%	9%	6%	6%
2. Explicit positive, Implicit neutral	13%	5%	4%	4%
3. Explicit positive, Implicit negative	6%	2%	1%	2%
4. Explicit negative, Implicit positive	16%	20%	30%	24%
5. Explicit negative, Implicit neutral	20%	32%	34%	30%
6. Explicit negative, Implicit negative	17%	32%	26%	33%

Table 6. **Structure of consistency of the candidates’ supporters, Governor elections, 2018, % of all the voters**

Consistency status	UR 18g	CP18g	LD 18g
1. Explicit positive, Implicit positive	36%	3%	4%
2. Explicit positive, Implicit neutral	7%	2%	2%
3. Explicit positive, Implicit negative	8%	2%	1%
4. Explicit negative, Implicit positive	28%	39%	40%
5. Explicit negative, Implicit neutral	9%	25%	22%
6. Explicit negative, Implicit negative	13%	29%	22%

Table 7. Structure of consistency of the candidates' supporters, President elections, 2018, % of all the voters

Consistency status	P18	CP18	LD18
1. Explicit positive, Implicit positive	69%	13%	12%
2. Explicit positive, Implicit neutral	6%	2%	2%
3. Explicit positive, Implicit negative	7%	2%	5%
4. Explicit negative, Implicit positive	7%	34%	33%
5. Explicit negative, Implicit neutral	9%	15%	13%
6. Explicit negative, Implicit negative	5%	35%	34%

Descriptive statistics are in Table 8. The same in aggregated form and recounted to VI as 100% are in Table 9.

Table 8. Descriptive statistics of the structure of consistency of the candidates' supporters, % of all the voters

Consistency status	Median	Mean	St. deviation	Min	Max
1. Explicit positive, Implicit positive	11%	19%	0.21	3.2%	69.4%
2. Explicit positive, Implicit neutral	4%	4%	0.04	1.6%	13.3%
3. Explicit positive, Implicit negative	2%	4%	0.03	1.1%	7.7%
4. Explicit negative, Implicit positive	29%	27%	0.10	7.4%	39.8%
5. Explicit negative, Implicit neutral	21%	21%	0.09	9.0%	33.7%
6. Explicit negative, Implicit negative	28%	25%	0.10	4.9%	34.6%

Table 9. Descriptive statistics of the structure of consistency of the candidates' supporters for the aggregated group, recounted to VI as 100%

Supporter's grouping options	Median	Mean	St. deviation	Min	Max
VI (Positive explicit total: 1 + 2 + 3)	100%	100%	0.00	100%	100%
Non-contradictory intentions (1 + 2)	82.9%	84.5%	0.07	73%	92%
Consistent intentions (1)	61.5%	58.5%	0.11	49%	84%
Inconsistent intentions (3)	17.1%	15.5%	0.07	8%	27%

The Tables 6—7 show that the inconsistent state of intentions to vote is quite a routine for all the considered samples of voters. As per Tables 8, an average candidate has 2% (median) — 4% (mean) and up to almost 8% out of all the voters' corps as an "inconsistent" fraction of the electorate. Expressed as a share of their "formal"

electorate, measured with VI (Table 9), this group accounts for 17 % (median) — 15 % (mean) and periodically grows up to 27 % (mean).

The same is valid also to inconsistent intention to not vote, represented in Tables 5—7 by the status group 4. “Explicit negative, Implicit positive”. From 7 % (P18) to 40 % (LD18g) of the total number of voters declare they will not intend to vote for the candidate, despite the fact they have quite a positive implicit attitude to one.

Thus, the inconsistency of both attitudes and intentions is a norm for some fractions of the studied electorate of every candidate.

This way, $H_0 2.1$ “The share of ‘inconsistent voters’ is a constant for every candidate’s electorate” has to be discarded.

4. Interim conclusions

Aggregating all the data presented in the article, one has to accept several conclusions.

1. Implicit components of an attitude are an empirical phenomenon.
2. Implicit and explicit components most probably have the separate origin and definitely are under guidance by the distinctive sets of the factors.
3. Implicit and explicit drivers exist simultaneously, and divergent attitudes/intentions status of a single person is a quite common arrangement.

In the theoretical aspect, these findings support the initial concept of the independent nature of implicit and explicit factors of electoral attitudes, intentions, and (probably) behavior. These components may match but may mismatch each other. If so, one has to adopt the “enriched” model of the TRA/TBP scheme as per Section 2.1.

If we accepted the “enriched” model of the TRA/TBP, the next question is quite obvious. Does the implicit “stream” and in particular — via the inconsistent status of explicit/implicit factors affect behavior? That is still unclear. That is why we are going to examine it in the next article.

References

- Alwin D. F. (1997) Feeling Thermometers Versus 7-Point Scales: Which are Better? *Sociological Methods and Research*. Vol. 25. No. 3. P. 318—340. <https://doi.org/10.1177/0049124197025003003>.
- Anson I. G., Hellwig T. T. (2015) Economic Models of Voting. In: *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Arcuri L., Castelli L., Galdi S., Zogmaister C., Amadori, A. (2008) Predicting the Vote: Implicit Attitudes as Predictors of the Future Behavior of Decided and Undecided Voters. *Political Psychology*. Vol. 29. No. 3. P. 369—387. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2008.00635.x>.
- Arrow K., Forsythe R., Gorham M., Hahn R. Hanson R., Ledyard J. O., Levmore S., Litan R., Milgrom P., Nelson F. D., Neumann G. R., Ottaviani M., Schelling T. C., Shiller R. J., Smith V. L., Snowberg E., Sunstein C. R., Tetlock P. C., Tetlock P. E., Varian H. R., Wolfers J., Zitzewitz E. (2008) The Promise of Prediction Markets. *Science*. Vol. 320. No. 5878. P. 877—878. <https://doi.org/10.1126/science.1157679>.

Atanasov P., Rescober P., Stone E., Swift S. A., Servan-Schreiber E., Tetlock P. E., Ungar L., Mellers B. (2015) Distilling the Wisdom of Crowds: Prediction Markets versus Prediction Polls. *Academy of Management Proceedings*. Vol. 2015. No. 1. <https://doi.org/10.5465/AMBPP.2015.15192abstract>.

Carlsmith J. M. (1959) Cognitive Consequences of Forced Compliance. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Vol. 58. No. 2. P. 203—210. <https://doi.org/10.1037/h0041593>.

Celli F., Stepanov E. A., Poesio M., Riccardi G. (2016) Predicting Brexit: Classifying Agreement is Better than Sentiment and Pollsters. In: Nissim M., Patti V., Plank B. (eds.) *Peoples 2016: Proceedings of the Workshop on Computational Modeling of People's Opinions, Personality, and Emotions in Social Media*. Osaka: The COLING 2016 Organizing Committee. P. 110—118.

Choma B. L., Hafer C. L. (2009) Understanding the Relation between Explicitly and Implicitly Measured Political Orientation: The Moderating Role of Political Sophistication. *Personality and Individual Differences*. Vol. 47. No. 8. P. 964—967. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.07.024>.

Chernozub O. L. (2017) Detection of Validity-Related Faults in the Modern Electoral Studies. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 31—48. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.5.03>. (In Russ.)

Чернозуб О. Л. К вопросу о локализации источников эрозии валидности современных электоральных исследований // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 5. С. 31—48. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.5.03>.

Chernozub O. L. (2018a) Affective Components of Electoral Behavior: Design and Validity of Visual Association Test of Attitude. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 3—28. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.01>. (In Russ.)

Чернозуб О. Л. Выявление аффективной компоненты электоральной установки: создание и валидизация графического ассоциативного теста отношения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018a. № 3. С. 3—28. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.01>.

Chernozub O. L. (2018b) Intention-Based Electoral Forecasting: Limits of Accuracy of Conventional Model and its Development Perspectives with Regard to Emotional Factors. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 4—24. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.01>. (In Russ.)

Чернозуб О. Л. Электоральное прогнозирование на основе данных о намерениях: пределы точности конвенциональной модели и перспективы ее развития на основе учета эмоциональных факторов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 4—24. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.01>.

Devine G. P. (1989) Stereotypes and Prejudice: Their Automatic and Controlled Components. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 56. No. 1. P. 5—18. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.1.5>.

- Devine G. P., Monteith M. J., Zuwerink, J. R., Elliot J. A. (1991) Prejudice with and without Compunction. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 60. No. 6. P. 817—830. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.6.817>.
- Devine P. G., Monteith M. J. (1999) Automaticity and Control in Stereotyping. In: Chaiken S., Trope Y. (eds.) *Dual-Process Theories in Social Psychology*. New York, NY: Guilford Press. P. 339—360.
- Dovidio J., Brigham J., Johnson B., Gaertner S. (1996) Stereotyping, Prejudice, and Discrimination: Another Look. In: Macrae C. N., Stangor C., Hewstone M. (eds.) *Stereotypes and Stereotyping*. New York, NY: Guilford Press. P. 1276—1319.
- Dunton B. C., Fazio R. H. (1997) An Individual Difference Measure of Motivation to Control Prejudiced Reactions. *Personality and Social Psychology Bulletin*. Vol. 23. No. 3. P. 316—326. <https://doi.org/10.1177/0146167297233009>.
- Erikson R., Panagopoulos C., Wlezien C. (2004) Likely (and Unlikely) Voters and the Assessment of Campaign Dynamics. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 68. No. 4. P. 588—601. <https://doi.org/10.1093/poq/nfh041>.
- Etkind A. M. (1987) The Color Test of Attitude. In: Bodalev A. A., Stolin V. V. (eds.) *General Psychodiagnosis*. Moscow: Moscow University Press. P. 221—228. (In Russ.)
Эткинд А. М. Цветовой тест отношений // Общая психодиагностика / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. М.: Издательство Московского университета, 1987. С. 221—228.
- Himmelfarb S., Eagly A. H. (1974) Orientations to the Study of Attitudes and Their Change. In: Himmelfarb S., Eagly A. H. (eds.) *Readings in Attitude Change*. New York, NY: John Wiley & Sons. P. 2—49.
- Fazio R. H., Jackson J. R., Dunton C. B., Indiana C. J. W. (1995) Variability in Automatic Activation as an Unobtrusive Measure of Racial Attitudes: A Bona Fide Pipeline? *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 69. No. 6. P. 1013—1027. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.6.1013>.
- Feather N. T. (1979) Values, Expectancy, and Action. *Australian Psychologist*. Vol. 14. No. 3. P. 243—260. <https://doi.org/10.1080/00050067908254353>.
- Feather N. T. (1982) Human Values and the Prediction of Action: An Expectancy-Valence Analysis. In: Feather N. T. (ed.) *Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology*. Hillsdale, NJ: Erlbaum. P. 263—289.
- Festinger L. (1957) A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston, IL: Row, Peterson & Company.
- Festinger L., Carlsmith J. M. (1959) Cognitive Consequences of Forced Compliance. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Vol. 58. No. 2. P. 203—210. <https://doi.org/10.1037/h0041593>.
- Fishbein M. (1963) An Investigation of the Relationship between Beliefs about an Object and the Attitude Toward that Object. *Human Relations*. Vol. 16. No. 3. P. 233—239. <https://doi.org/10.1177/001872676301600302>.

- Fishbein M. (1967) A Behavior Theory Approach to the Relations between Beliefs about an Object and the Attitude Toward the Object. In: Fishbein M. (ed.) *Readings in Attitude Theory and Measurement*. New York, NY: John Wiley & Sons. P. 389—400.
- Fishbein M., Ajzen I. (2010) *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. New York, NY: Psychology Press.
- Ganser C., Riordan P. (2015) Vote Expectations at the Next Level. Trying to Predict Vote Shares in the 2013 German Federal Election by Polling Expectations. *Electoral Studies*. Vol. 40. P. 115—126. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.08.001>.
- Gayo-Avello D. (2013) A Meta-Analysis of State-of-the-Art Electoral Prediction from Twitter Data. *Social Science Computer Review*. Vol. 31. No. 6. P. 649—679. <https://doi.org/10.1177/0894439313493979>.
- Graefe A. (2014) Accuracy of Vote Expectation Surveys in Forecasting Elections. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 78. No. S1. P. 204—232. <https://doi.org/10.1093/poq/nfu008>.
- Graefe A. (2017) Political Markets. In: Arzheimer K., Evans J., Lewis-Beck M. S. (eds.) *The SAGE Handbook of Electoral Behavior*. Vol. 2. London: SAGE. P. 861—882.
- Green D. Ph. (1988) On the Dimensionality of Public Sentiment Toward Partisan and Ideological Groups. *American Journal of Political Science*. Vol. 32. No. 3. P. 758—780. <https://doi.org/10.2307/2111245>.
- Greenwald A. G., Poehlman T. A., Uhlmann E. L., Banaji M. R. (2009) Understanding and Using the Implicit Association Test: III. Meta-Analysis of Predictive Validity. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 97. No. 1. P. 17—41. <https://doi.org/10.1037/a0015575>.
- Greenwald A. G., Smith C. T., Sriram N., Bar-Anan Y., Nosek B. A. (2009) Implicit Race Attitudes Predicted Vote in the 2008 U. S. Presidential Election. *Analyses of Social Issues and Public Policy*. Vol. 9. No. 1. P. 241—253. <https://doi.org/10.1111/j.1530-2415.2009.01195.x>.
- Jacoby W. G. (1994) Feeling Thermometers. In: *Conference Proceedings. Candidate Evaluation Conference*. December 2—3. URL: https://electionstudies.org/wp-content/uploads/2018/03/1994Candidate_Jacoby.pdf (accessed: 09.08.2020).
- Katz D. (1960) The Functional Approach to the Study of Attitudes. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 24. No. 2. P. 163—204. <https://doi.org/10.1086/266945>.
- Kelman H. C. (1958) Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 2. No. 1. P. 51—60. <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>.
- Kennedy C., Blumenthal M., Clement S., Clinton J. D., Durand C., Franklin Ch., McGeeney K., Miringoff L., Olson K., Rivers D., Saad L., Witt E., Wlezien C. (2017) An Evaluation of 2016 Election Polls in the U. S. *American Association for Public Opinion Research*. URL: <http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/An-Evaluation-of-2016-Election-Polls-in-the-U-S.aspx> (accessed: 09.08.2020).

- Kiesler Ch. A., Collins B. E., Miller N. (1969) *Attitude Change. A Critical Analysis of Theoretical Approaches*. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Kou S. G., Sobel M. E. (2004) Forecasting the Vote: A Theoretical Comparison of Election Markets and Public Opinion Polls. *Political Analysis*. Vol. 12. No. 3. P. 277—295. <https://doi.org/10.1093/pan/mp019>.
- LaCour M. J., Green D. P. (2014) When Contact Changes Minds: An Experiment on Transmission of Support for Gay Equality. *Science*. Vol. 346. No. 6215. P. 1366—1369. <https://doi.org/10.1126/science.1256151>.
- Lau R. R., Kleinberg M. S., Ditonto T. M. (2018) Measuring Voter Decision Strategies in Political Behavior and Public Opinion Research. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 82. No. S1. P. 911—936. <https://doi.org/10.1093/poq/nfy004>.
- Leigh A., Wolfers J. (2006) Competing Approaches to Forecasting Elections: Economic Models, Opinion Polling and Prediction Markets. *IZA Discussion Papers*. No. 1972. Bonn: IZA. URL: <http://ftp.iza.org/dp1972.pdf> (accessed: 09.08.2020).
- Lewis-Beck M. S., Stegmaier M. (2007) Economic Models of Voting. In: Dalton R. J., Klingemann H.-D. (eds.) *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press. P. 518—527. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270125.003.0027>.
- Lupton R. N., Jacoby W. G. (2016) The Reliability of the ANES Feeling Thermometers: an Optimistic Assessment. *Presentation at the 2016 Annual Meetings of the Southern Political Science Association*. San Juan, Puerto Rico. January 7th.
- Lüscher M. (1990) *The Lüscher Color Test*. New York, NY: Simon and Schuster.
- Markert C. (1980) *Test Your Emotions*. Wellingborough: Thomas & Co.
- Metaxas P. T., Mustafaraj E., Gayo-Avello D. (2011) How (Not) to Predict Elections. In: *Privacy, Security, Risk and Trust (PASSAT) and 2011 IEEE Third International Conference on Social Computing*. Boston, MA: IEEE. P. 165—171. <https://doi.org/10.1109/PASSAT/SocialCom.2011.98>.
- Murr A. E. (2015) The Wisdom of Crowd: Applying Condorcet's Jury Theorem to Forecasting US Presidential Elections. *International Journal of Forecasting*. Vol. 31. No. 3. P. 916—929. <https://doi.org/10.1016/J.IJFORECAST.2014.12.002>.
- O'Keefe D. J. (1990) *Persuasion: Theory and Research*. Newbury Park, CA: SAGE.
- Perry P. (1960) Election Survey Procedures of the Gallup Poll. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 24. No. 3. P. 531—542. <https://doi.org/10.1086/266966>.
- Perry P. (1962) Living Research: Gallup Poll Election Survey Experience, 1950 to 1960. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 26. No. 2. P. 272—279. <https://doi.org/10.1086/267097>.
- Perry P. (1973) A Comparison of the Voting Preferences of Likely Voters and Likely Nonvoters. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 37. No. 1. P. 99—109. <https://doi.org/10.1086/268063>.

- Perry P. (1979) Certain Problems in Election Survey Methodology. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 43. No. 3. P. 312—325. <https://doi.org/10.1086/268524>.
- Roccatto M., Zogmaister C. (2010) Predicting the Vote Through Implicit and Explicit Attitudes: A Field Research. *Political Psychology*. Vol. 31. No. 2. P. 249—274. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2009.00751.x>.
- Rogers T., Aida M. (2012) Why Bother Asking? The Limited Value of Self-Reported Vote Intention. *HKS Faculty Research Working Paper Series*. No. RWP12—001. URL: <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:7779639> (accessed: 09.08.2020).
- Rosenberg M. J. (1956) Cognitive Structure and Attitudinal Affect. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*. Vol. 53. No. 3. P. 367—372. <https://doi.org/10.1037/h0044579>.
- Rosenberg M. J. (1960) An Analysis of Affective-Cognitive Consistency. In: Rosenberg M. J., Hovland C. I., McGuire W. J., Abelson R. P., Brehm J. W. (eds.) *Attitude Organization and Change*. New Haven, CT: Yale University Press. P. 15—64.
- Rosenberg M. J., Hovland C. I., McGuire W. J., Abelson R. P., Brehm J. W. (eds., 1960) *Attitude Organization and Change*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Rothschild D. M., Wolfers J. (2012) Forecasting Elections: Voter Intentions Versus Expectations. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1884644>.
- Smith M. B. (2003) *For a Significant Social Psychology: The Collected Writings of M. Brewster Smith*. New York, NY: New York University Press.
- Sturgis P., Baker N., Callegaro M., Fisher S., Green J., Jennings W., Kuha J., Lauderdale B., Smith P. (2016) Report of the Inquiry into the 2015 British General Election Opinion Polls. London: Market Research Society; British Polling Council. URL: https://eprints.soton.ac.uk/390588/1/Report_final_revised.pdf (accessed: 09.08.2020).
- Tumasjan A., Sprenger T. O., Sandner P. G., Welpe I. M. (2010) Predicting Elections with Twitter: What 140 Characters Reveal about Political Sentiment. In: *Proceedings of the 4th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media*. Menlo Park, CA: AAAI Press. P. 178—185.
- Vermunt J. K., Magidson J. (2005) Factor Analysis with Categorical Indicators: A Comparison between Traditional and Latent Class Approaches. In: van der Ark L. A., Croon M. A., Sijtsma K. (eds.) *Quantitative Methodology Series. New Developments in Categorical Data Analysis for the Social and Behavioral Sciences*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. P. 41—62.
- Wilcox C., Sigelman L., Cook E. (1989) Some Like It Hot: Individual Differences in Responses to Group Feeling Thermometers. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 53. No. 2. P. 246—257. <https://doi.org/10.1086/269505>.
- Wilson T. D., Lindsey S., Schooler T. Y. (2000) A Model of Dual Attitudes. *Psychological Review*. Vol. 107. No. 1. P. 101—126. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.107.1.101>.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1655



С. Ю. Барсукова, С. Н. Левин

СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО РЕСУРСОВ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Правильная ссылка на статью:

Барсукова С. Ю., Левин С. Н. Соотношение административного и финансового ресурсов в ходе избирательных кампаний в современной России: региональная специфика // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 41—59. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1655>.

For citation:

Barsukova S. Y., Levin S. N. (2020) Ratio Between Administrative and Financial Resources during Election Campaigns in Modern Russia: Regional Specifics. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 41—59. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1655>. (In Russ.)

СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО РЕСУРСОВ В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

БАРСУКОВА Светлана Юрьевна — доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии департамента социологии факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: svbars@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2696-4882>

ЛЕВИН Сергей Николаевич — доктор экономических наук, доцент, Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия
E-MAIL: levin.sergey.n@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3881-3579>

Аннотация. В статье обсуждается вопрос о соотношении административного и финансового ресурсов как условий победы на выборах, а также о степени подконтрольности и автономии российских предпринимателей в их электоральной активности. На основе интервью с лицами, причастными к проведению избирательных кампаний в разных регионах страны (политтехнологи, чиновники, предприниматели), выявлены три модели выборов (жесткая, мягкая и конфликтная) в зависимости от того, какую роль играет финансовый ресурс по отношению к административному — комплементарную или субсидиарную. Административный ресурс представляет собой использование властных полномочий как через избирательное применение формальных норм, так и через форми-

RATIO BETWEEN ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL RESOURCES DURING ELECTION CAMPAIGNS IN MODERN RUSSIA: REGIONAL SPECIFICS

Svetlana Yu. BARSUKOVA¹ — Dr. Sci. (Soc.), Professor at the Department of Economic Sociology, School of Sociology, Faculty of Social Sciences
E-MAIL: svbars@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2696-4882>

Sergei N. LEVIN² — Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor
E-MAIL: levin.sergey.n@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3881-3579>

¹ National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

² Kemerovo State University, Kemerovo, Russia

Abstract. The paper is focused on the ratio between administrative and financial resources as prerequisites for electoral victory, as well as the degree of accountability and autonomy of domestic entrepreneurs involved in electoral activities. Based on interviews with people dealing with electoral campaigns in various regions (political strategists, public officials, entrepreneurs) the authors single out three electoral models (tough, soft and conflict-based) depending on the role the financial resources play in relation to the administrative resources (complementary or subsidiary role). Administrative resource implies both the use of political power by selectively applying the formal norms and non-legal practices related to electoral control. However, the administrative resource alone is not enough to achieve success in electoral

рование специальных внезаконных практик, связанных с контролем над избирательным процессом. Однако одним административным ресурсом кампании не выигрываются. Для этого необходим финансовый ресурс, основным поставщиком которого выступают предприниматели. В статье анализируются особенности региональных моделей с различным соотношением влияния административного и финансового ресурса на результаты выборов. Показано, что финансовые возможности бизнеса могут быть комплементарны административному ресурсу или, наоборот, составлять ему конкуренцию.

Ключевые слова: избирательные кампании, административный ресурс, финансирование выборов, вертикаль власти

Благодарность. Работа выполнена в рамках проекта «Неформальные практики организации и проведения избирательных кампаний в современной России» при поддержке Фонда социальных исследований «Хамовники» (рук. С. Ю. Барсукова).

campaigns. Financial resource provided by entrepreneurs is also essential. The article addresses the specifics of the regional models with different ratios between administrative and financial resources affecting the elections. Financial opportunities provided by business can be complementary to administrative resource, or vice versa, can be considered as a competitor.

Keywords: election campaigns, administrative resource, electoral funding, vertical of power

Acknowledgments. The study is funded under the project “Non-formal practices in organizing and conducting electoral campaigns in modern Russia” supported by the Khamovniki Foundation for Social Research (project manager: S. Yu. Barsukova).

Общим местом рассуждений о выборах в России является признание того, что в избирательных кампаниях ключевую роль играют административный и финансовый ресурс. Кто-то убежден в том, что административный ресурс доминирует, и, даже имея значительные финансовые возможности, невозможно пробить административную защиту. Это связано с тем, что в последние годы чрезвычайно возросла роль партии власти, которая стремится в ходе выборов удержать свои позиции как на федеральном, так и на региональном уровне [Ross, 2015; Gel'man, 2015a]. Хотя исследователи и раньше отмечали использование административного ресурса [Звоновский, 2000]. При этом удержание власти заключается не в явных запретах на участие в выборах оппозиционных партий или кандидатов, а в создании таких условий, при которых исключается возможность поражения действующей власти. Другими словами, избирательные кампании в России превратились в формы демонстрации формальных и неформальных статусных преимуществ представителей партии власти перед оппозицией (системной, а тем более несистемной).

Есть и обратное суждение, которое сводится к тому, что административный ресурс в последнее время потерял былую действенность, а вертикаль власти превратилась в декоративный и декларативный элемент российской политики. В связи с этим финансовый ресурс объявляется ведущим, определяющим результат борьбы в ходе избирательной кампании, другими словами, победу можно «купить». В рамках нашего исследования мы пытались разобраться в том, какая же из этих альтернативных точек зрения ближе к действительности.

Эмпирическая база исследования

Эмпирическую базу исследования составляют 75 глубинных интервью с политтехнологами, представителями региональных и городских администраций, депутатами, а также предпринимателями, вовлеченными в избирательный процесс. Наши респонденты пытались ответить на вопросы о роли административного и финансового ресурсов в ходе избирательных кампаний. Интервью были собраны в период с октября 2018 г. по июль 2019 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Бердске, Екатеринбурге, Ульяновске. Респонденты подбирались с учетом их роли в избирательном процессе, а также регионального разнообразия.

Прежде чем представлять результаты исследования, необходимо сказать несколько слов о степени доверия к ответам респондентов на чувствительную тему. Для снятия естественных в таком случае препятствий коммуникации респондента и исследователя были использованы различные техники интервьюирования для разных групп респондентов. В интервью с политтехнологами хорошо работала коммуникативная схема, в рамках которой исследователь был в образе наивного человека, верящего в политическую конкуренцию в ходе выборов. Это провоцировало желание собеседника (политтехнолога) «раскрыть глаза на реальность», объяснить, как все обстоит «на самом деле». Учитывая, что почти все политтехнологи были мужчинами, в ситуации, когда интервью брала женщина, к позиции интервьюируемого добавлялся оттенок мужской снисходительности, что вынуждало его формулировать свою позицию более остро и цинично.

В интервью с предпринимателями лучше работала иная коммуникативная рамка. Соглашаясь на интервью, бизнесмены почти всегда оговаривали, что у них мало времени и разговор будет коротким. В такой ситуации образ «наивного социолога» мог их раздражать, и коммуникация была бы нарушена. Кроме того, бизнесмены (в отличие от политтехнологов) зависят от местных властей и опасаются говорить о том, как устроены выборы. Поэтому в интервью с предпринимателями социолог демонстрировал осведомленность, после чего предприниматели готовы были вести беседу на равных, видя в собеседнике компетентного специалиста. В итоге продолжительность интервью почти всегда превышала заранее оговоренные лимиты.

Интервью с чиновниками также требовали смены коммуникативной рамки. Практически все встречи с чиновниками начинались со стандартного монолога респондента о четком следовании закону, о нормах демократии, о равных шансах всех кандидатов, то есть респондентами воспроизводилась информация, которую положено транслировать представителям власти. В этой ситуации хорошо рабо-

тала техника провокаций. Интервьюер оглашал факты использования административного капитала в ходе выборов, ссылаясь на материалы СМИ. Речь при этом шла исключительно о других регионах, чтобы не нарушить коммуникацию прямыми обвинениями. Тогда чиновники начинали подозревать в собеседнике «поборника демократии». Коммуникативной рамкой становилось противопоставление взглядов. Чиновники уходили от штампов и начинали (иногда довольно агрессивно) доказывать правоту «государственного подхода» к теме выборов. Выход за рамки штампов был связан с имитацией спора, что вынуждало чиновников более четко и явно выразить свою позицию.

Таким образом, коммуникативные рамки интервью различались в зависимости от ситуации и от категории респондентов. Добавим, что, учитывая деликатность темы, все выходы на респондентов предварялись контактом посредника с респондентом, в ходе которого интервьюер характеризовался как профессионал, который ни разу не нарушил гарантии анонимности интервью.

Помимо разнообразия групп респондентов в зависимости от их роли в избирательном процессе мы ориентировались на получение информации об организации избирательных кампаний в различных регионах России, существенно различающихся показателями электоральной статистики. Такой подход ориентирован на проведение сравнительного анализа, позволяющего выделить различные устойчивые региональные модели соотношения административного и финансового ресурсов.

Нужно отметить, что респонденты также делились на «оседлых» и «кочевых». Первые — предприниматели и чиновники — объясняли свое поведение в ходе электоральной кампании в контексте региональной ситуации. Они описывали свои мотивы и репертуар действий как производную от конфигурации факторов, характеризующих политический и экономический ландшафт в регионе. Политтехнологи в отличие от них «кочуют» по стране. Они проводят выборы в разных регионах с различными моделями управляемости выборов. Соответственно политтехнологи были склонны высказывать суждения обобщающего характера, иллюстрируя их примерами из разных регионов. При этом они признавали важность региональной специфики, утверждая, что «двух одинаковых выборов не бывает».

Результаты исследования

На основе интервью были выделены разные модели организации и проведения избирательных кампаний. Базовое различие сводится к соотношению административного и финансового ресурсов, используемых в политическом пространстве. В зависимости от того, *комплементарными* или *субсидиарными* являются эти ресурсы, можно говорить о трех моделях организации избирательных кампаний: жесткой, мягкой и конфликтной.

Жесткая модель:

финансовый ресурс комплементарен административному

Жесткая модель предполагает широкомасштабное использование административного ресурса на всех этапах избирательной кампании. В этом случае властные структуры используют свои административные полномочия через

избирательное применение формальных норм и формирование специальных внелегальных практик, связанных, например, с контролем над деятельностью избирательных комиссий. Весь комплекс этих практик выступает как административный ресурс, используемый при организации и проведении избирательных кампаний¹. Целью является обязательное достижение запланированных показателей по явке и проценту голосов за представителей партии власти. Типичные примеры — Кемеровская область, Чечня, Татарстан, где эти показатели существенно превышают общероссийские. Так, на выборах президента РФ в 2018 г. явка по стране составила 67,54 % от числа избирателей, а кандидатура действующего президента получила поддержку 76,69 % принявших участие в голосовании россиян². При этом в Кемеровской области последний показатель составил 85,42 %, в Чеченской республике — 91,44 %, Татарстане — 82,09 %. Явка в Кемеровской области составила 83,35 %, в Чечне — 91,54 % (в Татарстане на этих выборах явка оказалась близка к среднероссийской).

Если показатели Чечни близки к тому, что было зафиксировано во многих других национальных республиках (Тыва, республики Северного Кавказа и др.), то Кемеровская область качественно отличается от соседних областей и краев. В Томской и Новосибирской областях, Красноярском крае показатели по явке составили 59,23 %, 60,41 %, 60,43 % соответственно, что ниже среднероссийской явки. Голоса, отданные за действующего президента, также оказались ниже среднероссийских — 71,23 % в Томской области, 71,06 % в Новосибирской области и 74,28 % в Красноярском крае. Рядом с такими соседями показатели Кемеровской области смотрятся особенно впечатляющими.

С нашей точки зрения, именно жесткая модель — базовая для сложившейся в современной России политико-экономической системы, ядром которой является вертикаль власти [Goode, 2011; Gel'man, 2009]. Последняя представляет собой не просто вертикаль административного управления, а пирамиду симбиотически сращенных друг с другом политических и экономических акторов [Barsukova, 2019]. Взаимодействие между ними выступает как сложное и многообразное сочетание процессов «захвата бизнеса» со стороны государства и «захвата государства» со стороны предпринимателей [Нуреев, Шульгин, 2006; Yakovlev, 2006; Левин, 2014]. Интересный анализ многообразных вариантов соотношения этих процессов в крупных городах России был, в частности, проведен в работе О. Бычковой и В. Гельмана [Бычкова, Гельман, 2010]. На основе типологии, построенной на комбинации двух параметров («сильная/слабая власть» и «сильный/слабый бизнес»), они выделили четыре модели их взаимодействия: «государствохищник», «политика невмешательства», «взаимные заложники», «поиск ренты/захват государства».

По сравнению с олигархическим капитализмом 1990-х годов в рамках современной вертикали власти произошло резкое усиление как административ-

¹ Заметим, что манипуляции результатами выборов не сугубо российское явление, однако страны различаются масштабом и формами этого процесса [Simpser, 2013].

² Постановление ЦИК РФ от 23 марта 2018 г. № 152/1255-7 «О результатах выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года» // Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 2018. 23 марта. URL: <http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/39429/> (дата обращения: 04.08.2020).

ного, так и финансового контроля над региональными и местными властными структурами, а также над крупными российскими бизнес-группами и компаниями. Общность между этими двумя этапами развития политико-экономической системы современной России заключается в том, что успешное ведение предпринимательской деятельности в России, особенно на уровне крупного бизнеса, невозможно без наличия индивидуального политического ресурса. В данном случае речь идет о типичном для стран с развивающимися рынками явлении, которое получило отражение в научной литературе под различными названиями, зависящими от подхода авторов и контекста исследований: «захват государства» (state capture), «капитализм приятелей» (crony economy), «политические связи» (political connections), «политически влиятельные фирмы» (politically favored firms), «конкурентный авторитаризм» (competitive authoritarianism) [Hellman, Jones, Kaufman, 2000; Fisman, 2001; Slinko, Zhuravskaya, Yakovlev, 2004; Faccio, 2006; Levitsky, Way, 2010].

Модификация взаимоотношений между властью и бизнесом в рамках вертикали власти заключается в укреплении доминирующих позиций политических акторов и правящей группы по отношению к бизнесу при сохранении автономии последнего и способности предпринимателей извлекать выгоды из отношений с властью. Такую систему еще в начале 2000-х годов А. Радыгин охарактеризовал как «государственный капитализм для своих», что означает гибрид классического государственного капитализма и «капитализма для своих» [Радыгин, 2004]. С тех пор движение в этом направлении стало еще более отчетливым.

Для такой политико-экономической системы принципиальны жесткое ограничение самостоятельности и административная подконтрольность действий предпринимателей в сфере публичной политики. В соответствии с этим базовым принципом в рамках жесткой модели административный ресурс играет ключевую роль. Для реализации модели необходимо, чтобы представители системной оппозиции принимали негласные правила игры и участвовали в выборах на предложенных властью условиях. Представители несистемной оппозиции от выборов отстраняются под тем или иным предлогом. Неслучайно В. Гельман определяет системную оппозицию как стипендиатов и «младших партнеров авторитарных режимов», а несистемную оппозицию — как «явных соперников режима» [Gel'man, 2015b: 178].

Несогласованное с властью использование предпринимателями финансовых ресурсов в ходе избирательных кампаний практически полностью блокируется. Также недопустимы и публичные конфликты по поводу выборов. Фирмы, посмевшие нарушить распоряжение на финансирование политического процесса, могут оказаться в опале, что позже приведет к повышенной активности проверяющих и контролирующих органов, к отлучению от потоков госзаказов и прочим трудностям. В этом случае в качестве инструментов административного давления могут быть задействованы правоохранительные органы.

Если речь идет о финансировании оппозиции, то это потом будет просто компроматом, который потом покажут Администрации президента и скажут: «Смотрите, вот эти фирмы, которые нелояльны губернатору, нелояльны президенту». (Политтехнолог)

Конечно, финансирование избирательных кампаний можно реализовать через подставные фирмы или через взносы физических лиц. Но, во-первых, всегда есть риск разоблачения; во-вторых, в условиях жесткого административного контроля за результатами выборов шансы на победу слишком малы. Проще принять сложившуюся политическую конструкцию и в ее рамках получать преференции власти, демонстрируя полную лояльность.

Власть в рамках жесткой модели массированно использует финансовые и организационные возможности бизнеса, то есть административный ресурс активно конвертируется в финансовое обеспечение выборов. От бизнеса требуют не только финансовых траншей, но и помощи в любой другой доступной форме. Например, кто-то может обеспечить транспортом для развоза агитаторов по области, кто-то — предоставить сотрудников для выполнения различных работ. Крупные предприятия, на которых сосредоточены значительные трудовые ресурсы, в случае необходимости предоставляют свои площадки для ведения агитационных бесед (в рабочее время и, разумеется, без компенсаций для работодателей) [Frye, Reuter, Szakonyi, 2014].

Раньше хотя бы крупный бизнес мог отказаться от того, чтобы агитировать своих работников. С бизнесом пытались договориться, уговорить его, у него была какая-то степень свободы. Сейчас нет, все, никто не сопротивляется. Формально бизнес независимый, а реально — выполняет указания в ходе избирательных кампаний, стимулирует, заставляет своих сотрудников, чтобы они пришли на выборы и правильно проголосовали. (Предприниматель, депутат заксобранья)

В этом случае финансовый ресурс комплементарен доминирующему административному ресурсу, не составляет ему альтернативу и является полностью ему подконтрольным. Финансовые потоки в этой модели сосредотачивают только те игроки политического пространства, кто обладает административным ресурсом. Политические амбиции бизнеса в таких условиях строго подконтрольны и дозированы. Финансовые вливания в избирательные кампании согласованы и обязательны к исполнению, что правильнее трактовать как «квазианалоги», чем инициативное инвестирование предпринимателей в свой политический капитал. Для предпринимателей эти затраты выступают, прежде всего, как часть квазифискальных платежей наряду с обязательствами, кодируемыми как «социальная ответственность бизнеса» [Левин, Курбатова, 2011]. Такие политические «оброки» дополняют широкий спектр неформальных платежей, давно институционализированных в российской практике и описанных как «налоги+» [Олейник, 2008] или «квазианалоги» [Панеях, 2008].

Однако это не означает, что жесткую модель в обязательном порядке отличает низкая доля предпринимателей в выборных органах власти. Количественные показатели в этой ситуации неинформативны. Важно не количество представителей бизнеса, а каналы их попадания в органы власти. Предприниматели на предложенных властью условиях финансируют собственные выборы или выборы своих представителей. Нежелание предпринимателей «дразнить» власть проявляется в том, что они предпочитают выдвигаться по одномандатным округам, что дает

возможность позиционировать себя как хозяйственников, которых нельзя заподозрить в связях с оппозицией, даже с системной [Scott, Sonin, Zhuravskaya, 2010]. Однако, и это принципиально, эта опция доступна не для всех. Никакие финансовые возможности не приведут к депутатскому мандату или креслу мэра, если кандидатура не согласована в административных кругах. В этой модели профессионализм политтехнолога не имеет особой ценности, ведь результат предрешен. Как определил суть процесса политтехнолог: «Я этому катку особо не нужен. Он сам закатит шар в лузу».

Предрешенные выборы представляют собой наиболее предпочтительные заказы для специалистов, срощенных с высокими административными чинами. Такие проекты высоко оплачиваются и, как правило, предполагают вознаграждение тех, кто повлиял на распределение заказа. Кроме того, такие проекты не несут угрозы провала, нежелательные для рейтинга политтехнолога. Многие «звездные» политтехнологи, предъявляющие в качестве доказательства своего профессионализма отсутствие поражений на выборах, получают заказы на проведение кампаний в регионах, в которых партия власти или провластный кандидат практически не имеют шансов проиграть.

Для регионов такая модель зачастую становится способом зарекомендовать себя перед федеральным центром в качестве благонадежного. Особенно это характерно для выборов федерального уровня (президентских или выборов в Госдуму РФ). Демонстрируется, что стараниями региональных властей ситуация находится под контролем. Регионы, имеющие возможность практиковать жесткую модель, включаются в соревнование под условным названием «Кто обгонит Татарстан или Чечню?» в демонстрации электоральной лояльности центру.

Губернатор понимает, что его положение на посту зависит не от отношения с электоратом, а от отношений с первыми лицами государства и структурами, непосредственно отвечающими за реализацию внутренней политики. В данном случае это администрация президента. Электорат вторичен. (Политтехнолог)

Жесткая модель не допускает непредсказуемости результатов голосования. Это обеспечивается в первую очередь тем, что административное сито «просеивает» кандидатов на стадии выдвижения в кандидаты в депутаты. Другими словами, результаты конструируются не в ходе избирательной кампании, а на старте, путем соответствующего подбора участников, допущенных к выборам. Эту ситуацию достаточно четко описал политтехнолог:

Сегодня власть научилась управлять ходом выборов. Причем сейчас это управление сдвигается на фазу выдвижения и регистрации кандидатов. То есть, на самом деле, решается все уже заранее, на подборе. У власти есть хорошие возможности для того, чтобы не зарегистрировать, например, самовыдвиженца, да. Это же тоже ресурс. У тебя может быть сколько угодно денег, но партия тебя не выдвигает, парламентская, например, если она под управлением, под контролем... А в то же время самовыдвиженец просто не регистрируется. Ну, не буду скрывать, был один кандидат, который пришел, обратился к нам, попросил его выдвинуть, да, финансово имеющий ресурсы.

Администрация дала понять, что он нежелателен, человек несистемный, человек опасный для них. И мы отказались от этого, хотя он, наверное, добавил бы немножко остроты в кампанию в своем округе, но нам бы это в общем-то испортило отношение. Я боец, я умею воевать, но если есть... как говорил кто-то из китайских или японских мудрецов, что-то типа: «Лучший воин тот, кто вообще избежал битвы». (Политтехнолог)

Когда у власти появилась возможность фильтровать тех кандидатов, которые допускаются до выборов, с тех пор выборы перестали быть войной коммуникаций, месседжей, смыслов, а стали войной административного ресурса. У нас нет конкурентных выборов, потому что на момент определения кандидатов власть абсолютно контролирует, кого она хочет там видеть. (Вице-губернатор в отставке)

Впрочем, административный ресурс проявляет себя и на последующих стадиях избирательной кампании. Это может быть и уничтожение агитационной продукции, и негласный запрет местным типографиям обслуживать конкурента, и т. д.:

Административный ресурс против меня работал. Мне милиция все билборды сорвала. Ну не самолично, конечно. Но что, у милиции нет возможностей сказать какому-то бомжу — иди, сдирай плакат? (Кандидат в депутаты заксобрания)

Мы с ребятами вынуждены были печатать свои агитки в соседней области. Дурдом? Звоним в типографию, а они врут, что все мощности заняты, не могут мои листовки напечатать. Понятно, что им отмашка была. (Кандидат в депутаты горсовета)

Может возникнуть вопрос, зачем нужны финансовые ресурсы при жесткой модели с абсолютным доминированием административного ресурса. При ответе на этот вопрос политтехнологи демонстрировали редкое единодушие. Суть ответа сводилась к тому, что даже самые «лобовые» избирательные кампании с жесткой административной предзаданностью результатов нуждаются в крупных финансах. Более того, эта потребность в последние годы растет.

Все говорят о бюджетниках как электорате «Единой России». Но это же не солдаты, им нельзя просто отдать приказ. Их надо задабривать как-то... (Политтехнолог)

Что делала «Единая Россия» в 2011—2015 годы? Людей заставляли фотографировать бюллетени как доказательство, что они правильно проголосовали. Сфотал — и отправил своему координатору. Но даже в таком виде этот проект требует серьезной организации, требует бригадиров, а это все деньги. Это тяжелый инфраструктурный проект. И он очень затратный. Тем более что это незаконно и, стало быть, организаторы рискуют. Это дополнительный ценник. (Политтехнолог)

Таким образом, при жесткой модели доминирующую роль в ходе избирательных кампаний играет административный ресурс. Финансовое обеспечение выборов достигается посредством давления на бизнес, а финансовый ресурс является не самостоятельным, а комплементарным административному.

Мягкая модель:

ограниченные возможности «самодеятельного» финансирования выборов

Мягкая модель предполагает расширение окна возможностей для участия в выборах, по крайней мере, для представителей системной оппозиции. По сути, речь идет о модификации жесткой модели. В мягком варианте расширяется возможность использования финансового ресурса и политических технологий для продвижения кандидатов, не согласованных с властными структурами. Однако это не распространяется на выборы губернаторов, а также проходит в рамках общей готовности представителей системной оппозиции признавать правила игры, закрепляющие доминирующее положение партии власти. По сути, это модель дозированной политической конкуренции. Зачастую это способ предоставить возможность общественности «выпустить пар»:

...Сдавливание в обществе имеет какие-то ограничения. Идет обратная реакция. Так что задавить абсолютно невозможно. Тут работает правило: угол давления равен углу отторжения. (Политтехнолог)

В таких условиях у предпринимателей расширяется степень свободы выбора, что означает увеличение значимости мотива добровольного политического инвестирования. Финансовый ресурс может выступать не только компонентом, но и субститутом административного ресурса. Финансы бизнеса не только обеспечивают реализацию электорального сценария власти, но и позволяют предпринимателям вести свою игру, добиваться победы на выборах, инвестируя в свой политический капитал. Финансы уже не только обслуживают административный сценарий, но и составляют ему конкуренцию [Barsukova, Zvyagintsev, 2006]. В рамках этой модели административный ресурс продолжает играть решающую, но не безусловную роль. С точки зрения техники проведения избирательных кампаний существенно возрастает роль политтехнологий и квалификации политтехнологов. На языке политтехнологов ситуация называется «можно побороться».

Административный ресурс привык обращаться с ядерным электоратом, не привлекая нового, то есть максимально усушив явку и приведя на выборы тех, кого можно нагнуть. Моя задача — за счет финансового ресурса привести на выборы дополнительный электорат, которые никогда не ходили на голосование, чтобы они проголосовал за моего кандидата. (Политтехнолог)

Почему региональные власти практикуют мягкую модель, оставляя определенное пространство для политической конкуренции? Экономических и политических причин может быть множество, и каждый регион характеризуется уникальным сочетанием этих факторов. Но в общем виде смещение в сторону мягкой модели связано с появлением сильных политических игроков, игнорирование интересов которых в рамках жесткой модели может привести к конфликтам с нежелательной оглаской в СМИ. Важно подчеркнуть, что в ходе выборов региональные власти должны не просто обеспечить исход голосования, ожидаемый центром, но и достичь этого результата без скандала и публичного резонанса. В ситуации, когда

жесткая модель может вызвать скандал, переход к мягкой модели под риторику сохранения в регионе политической конкуренции может быть целесообразным. Выбор мягкой модели может быть обусловлен также изменениями настроений в обществе. Так, после выступлений на Болотной площади власти стали действовать осторожнее [Robertson, 2013; Greene, 2013].

Сейчас появилась ситуация перелома, и поэтому шансы, конечно, появляются.
(Политтехнолог)

Заметим, что движение в континууме от жесткой к мягкой модели сопровождается повышением стоимости избирательной кампании. Причем как со стороны провластных, так и со стороны оппозиционных сил.

Когда все спокойно, то нет смысла тратиться. Если же появляется шанс, что что-то изменится, то и правящая сила начинает деньги вбрасывать, потому что боится власть потерять. И бизнес готов рискнуть. Тогда это выгодные кампании в денежном смысле.
(Политтехнолог)

Могут возникнуть сомнения относительно того, может ли в принципе возникнуть оппозиция в условиях жесткой модели. Откуда возьмется сила, способствующая дрейфу в сторону мягкого варианта? Наше исследование зафиксировало сценарии, когда региональная оппозиция возникала при непосредственном участии власти. Эта парадоксальная ситуация объясняется довольно просто: жесткая власть нуждалась в образе врага, создающего угрозу стабильности.

Там до смешного доходило. Губернатор, чтобы поднять себе цену, начинает в Москве рассказывать, что у него в регионе оппозиция голову поднимает, и как он с этой ситуацией доблестно справляется. А ему в Администрации президента говорят: «Кончай фантазировать. Мы вдоль и поперек твою область мониторим, нет там ничего». Так лучше, чтобы было, чтобы чуть-чуть, но была угроза режиму, тогда губернатор — герой.
(Политтехнолог)

Нейтрализация угроз является лейтмотивом легитимации жесткой модели как внутри региона, так и в диалоге региональных властей с федеральным центром. Чем выше уровень угроз, тем больше Москва ценит региональное руководство, сдерживающее беспорядки. Образ врага — хорошо работающий инструмент удержания власти в ходе выборов. Как образно описал ситуацию политтехнолог:

Сейчас можно и обезьяну выбрать. Вам кто лучше — родная, предсказуемая обезьяна, которая поддерживает действующую власть, или эти либералы? Люди, но либералы. Которые приведут нам американцев. Обезьяна лучше, нужно только хорошенько напугать (Политтехнолог).

В одной из областей, где мы вели полевое исследование, политические старожилы вспоминают историю одного из самых ярких оппозиционеров и критиков

губернатора. Он был простым врачом и критиковал региональные власти за разрушение медицинской сферы. Его легко можно было поставить на место, припугнув различными неприятностями. Однако на этом этапе он не представлял реальной угрозы. Более того, активный врач был полезен, поскольку демонстрировал наличие политических свобод в регионе. Изображая чувствительность к критике, губернатор добивался кадровых перестановок в правительстве области. Наконец, врач в числе прочих оппозиционеров олицетворял «угрозу стабильности», за которую губернатор отвечал перед центром. Чем выше угроза, тем выше ценятся заслуги по сохранению стабильности в регионе. Нет угроз — нет заслуг. Поэтому врача терпели, давая ему возможность развивать свою критическую позицию. Он стал частью политического ландшафта региона.

Врач быстро перестал работать в больнице, избрался в законодательное собрание области, но не остановился на достигнутом, а продолжил строить политическую карьеру на критике действующей региональной власти. В нем обнаружились ораторские и организаторские способности. Ухудшение экономической ситуации, падение уровня жизни в регионе привели к росту числа его сторонников. В итоге его выбрали депутатом в Госдуму РФ. Тем самым он перешел с регионального уровня политики на федеральный. Критика и постоянные разоблачения губернатора стали его политическим брендом. «Закрыть» его силами региональных властей стало невозможно. Этот случай — яркий пример того, как угроза, необходимая для легитимации строгости власти и добавляющая веса тем, кто ее нейтрализует, вышла из-под контроля.

Таким образом, мягкая модель допускает субъектность бизнеса, но не переводит его диалог с властью в конфликтную плоскость. Степень мягкости определяется тем, насколько бизнес способен противопоставить финансовый ресурс административным сценариям электоральных побед. Мягкая модель представляет собой континуум состояний, полюсами которого являются жесткая и конфликтная модель. При этом любые модификации мягкой модели по своей сути не противостоят базовым принципам жесткой модели, сохраняя целостность сложившейся вертикали власти. В этом ее принципиальное отличие от конфликтной модели, которую мы рассмотрим далее.

Конфликтная модель:

финансовый ресурс как субститут административного

Конфликтная модель возникает в условиях серьезного раскола в вертикали власти, что периодически случается в отдельных регионах. Это подрывает целостную систему применения административного ресурса и во многом его обесценивает. В этих условиях значимость финансового ресурса и квалификации политтехнологов резко возрастает. Предприниматели как акторы, принимающие решения о финансировании избирательных кампаний, выступают уже преимущественно как инвесторы, заинтересованные в наращивании своего индивидуального политического ресурса. Финансовый ресурс становится субститутом административного ресурса.

Напомним, что осенью 2018 г. четыре региона (из 22, где в тот год проходили выборы глав регионов) проголосовали против действующих губернаторов, чле-

нов «Единой России». Эти регионы — Хакасия, Приморский и Хабаровский край, Владимирская область. С 2012 г., когда вернули прямые выборы губернаторов, ни разу не было ситуации, чтобы действующие главы, выдвиженцы от «Единой России», сразу в нескольких регионах не побеждали в первом же туре. В итоге в Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, в Хакасии — представитель КПРФ, а в Приморье итоги второго тура были отменены из-за слишком явного использования при подсчете голосов административного ресурса в пользу прежнего губернатора. Также «Единая Россия» не набрала большинство голосов в парламенты Хакасии, Ульяновской и Иркутской областей, отдав большую часть мандатов КПРФ.

Спустя год, в сентябре 2019 г., сокрушительное поражение «Единой России» произошло в Хабаровском крае. Партия власти практически полностью потеряла свои позиции как в Законодательном собрании края, так и в городских думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Во всех депутатских собраниях устойчивое большинство мест получили представители ЛДПР. При этом в городских думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре «Единая Россия» не смогла получить ни одного мандата. В результате возникла уникальная для современной России ситуация, когда в одном из субъектов РФ представители, безусловно, системной оппозиции в лице ЛДПР контролируют все ветви и уровни публичной власти, а официальная партия власти формально практически не представлена в них.

Важным выводом истории о «строптивых» регионах стало понимание того, что федеральный центр явно недооценивает многообразие сложившихся на различных территориях страны конфигураций политико-экономического взаимодействия. Опрошенные эксперты подтверждают отсутствие тенденции к унификации ситуации в регионах и устойчивое сохранение разнообразных вариантов организации избирательных кампаний. Возникающие конфликтные ситуации демонстрируют, что отсутствие качественной региональной экспертизы может иметь опасные последствия, в том числе для федеральной власти. Яркий пример этого — достаточно мощные и устойчивые протесты в Хабаровском крае, являющиеся реакцией на арест и отстранение от власти губернатора С. Фургала.

В то же время пока такие ситуации в России скорее исключение из правил. Даже победившие на выборах несогласованные с властью кандидаты так или иначе постепенно встраиваются в вертикаль власти или выдавливаются из нее. В первую очередь это касается представителей оппозиции, победивших на губернаторских выборах, поскольку губернаторы выступают центральными акторами вертикали власти в регионах. Другими словами, неожиданные выбросы региональной конфликтной модели нейтрализуются жесткой моделью центральной власти. Пример тому — выборы губернатора Приморья в сентябре 2018 г. Победа незапланированного кандидата от коммунистов была нейтрализована Центральной избирательной комиссией, признавшей выборы несостоявшимися. Спустя два месяца на новых выборах победил назначенец Москвы, в авральном режиме присланный в регион. Яркая деталь этой истории состоит в том, что КПРФ не стала повторно выдвигать кандидатуру бизнесмена, который чуть было не победил в сентябрьских выборах и имел все шансы стать губернатором. Жесткая модель на федеральном уровне призвала КПРФ к порядку. Такая реакция

Москвы, вероятно, объясняется тем, что речь шла о Дальнем Востоке, связь которого с Россией в экономическом плане становится все призрачнее. Фактически регион превращается в сырьевой придаток Китая. Это вызывает тревогу и, как следствие, повышенную политическую опеку со стороны федерального центра. В России есть регионы, где «самодетельность» бизнеса в политической сфере не имеет права на существование. В числе таких регионов — дальневосточные субъекты федерации.

Есть мнение, что «незапланированные» победы стали результатом протестного голосования, когда люди отдали голоса альтернативному кандидату исключительно из желания продемонстрировать протест против действующей власти. Согласно этому мнению, никакой реальной борьбы не было, технические кандидаты победили случайно, исключительно в силу антирейтинга «Единой России». Основания для такой точки зрения, конечно, есть. Так, летом 2018 г. прошла крайне непопулярная у населения пенсионная реформа. По данным «Левада-Центра», недовольство реформой зафиксировано у всех социальных групп, но наиболее высокое недовольство демонстрировали работающие и малоимущие. Однако «две трети россиян не признали наличие связи между пенсионной реформой и их участием в прошедших выборах»³. Наши информанты также не сводили все к реакции на пенсионную реформу, считая, что она, безусловно, оказала эффект на исход борьбы, но не предопределила его.

Скажем, в Приморье четко видно, откуда был нанесен удар. Там игроки не побоялись выступить против федерального центра. Был действующий губернатор, которому Путин дал кредит доверия. А его накрыли. Это уже борьба региональных элит. Фактически региональные элиты пошли войной на федеральный центр. Они осознанно пошли на это, и там платили деньги. Владимирская область — та же самая ситуация. Там были деньги, кампании альтернативных кандидатов реально оплачивались. Это были деньги регионального бизнеса. То есть это не реакция избирателей, которые открыли бюллетени, ничего не знали и вдруг подумали: «А проголосую-ка я против ЕР». Нет, те кандидаты реально вели серьезную избирательную кампанию». (Политтехнолог)

Таким образом, финансы, направленные на избрание несогласованных депутатов, мэров, губернаторов, оказались способными состязаться в эффективности с административным ресурсом. Неожиданным уроком выборов стало то, что административная поддержка не гарантирует результат.

Против административного ресурса активно работают новые цифровые технологии. Информация расходится через телеграм-каналы, контролировать которые администраторы власти не могут. В этом качестве показателен кейс с выборами в Мосгордуму осенью 2019 г. Конфликтную ситуацию создали малоресурсные с точки зрения финансовых возможностей кандидаты. Их недопуск к участию в выборах стал причиной массовых протестов в Москве. Мобилизация протестующих шла преимущественно через социальные сети.

³ «Левада» оценил влияние пенсионной реформы на участие в выборах // Левада-Центр. 2018. 1 октября. URL: <https://www.levada.ru/2018/10/01/levada-otsenil-vliyanie-pensionnoj-reformy-na-uchastie-v-vyborah/> (дата обращения: 13.08.2020).

Кроме того, многолетнее использование административного ресурса привело к «перегреву» бюджетников, главной электоральной базе административной модели выборов. В них зреет недовольство, катализатором чего послужила пенсионная реформа. В этих условиях профессиональная работа политтехнологов, опирающихся на достаточный финансовый ресурс, способна противостоять административному сценарию.

Ключевым условием реализации конфликтной модели является наличие групп интересов, заявляющих о своем желании переопределить политическое пространство. Их финансовый ресурс способен стать субститутом административного ресурса.

Заключение

Общий вывод, полученный в ходе исследования, состоит в отсутствии универсального ответа на вопрос о ранжировании по значимости административного и финансового ресурсов. Этот вывод был сделан на основе сравнительного анализа мнения экспертов. Анализ интервью свидетельствует, что, несмотря на наличие вертикали власти, в разных регионах сложились разные модели организации и проведения избирательных кампаний. Имеет место сложная мозаика региональных различий. Многообразие вариантов жесткой, мягкой и конфликтной моделей организации и проведения избирательных кампаний отражает наличие различных конфигураций политических и экономических акторов в региональном разрезе. При этом особое значение имеет мотивация и степень свободы предпринимателей, выступающих поставщиками финансового ресурса для данных кампаний. Подчеркнем, что их мотивация имеет двойственный характер. С одной стороны, участие в финансировании партии власти выступает как часть квазиалоговых платежей, установленных властными структурами и подкрепленных административным давлением с их стороны. С другой стороны, предприниматели реализуют индивидуальные стратегии политических инвестиций.

Квазиалоговые платежи и политические инвестиции бизнеса не являются противоположностью, а переходят друг в друга. Однако соотношение между этими мотивами существенно меняется в рамках выделенных моделей. В жесткой модели финансирование предпринимателями избирательных кампаний выступает преимущественно как квазиалоговый платеж («оброк»), соответственно, финансовый ресурс является зависимым компонентом административного ресурса. Однако даже в этом случае само согласие финансировать избирательные кампании партии власти служит своеобразной защитной политической инвестицией для бизнесменов. Для одних групп предпринимателей такое вынужденное финансирование становится условием выживания, а другим позволяет получать те или иные преференции, создающие конкурентные преимущества. В рамках мягкой и тем более конфликтной моделей предприниматели в большей степени действуют как акторы, реализующие самостоятельные стратегии политических инвестиций. Это превращает финансовый ресурс из компонента в субститут административного ресурса.

С точки зрения соотношения трех выделенных региональных моделей можно сделать следующие выводы. Жесткая модель является базовой, притом что

в полной мере ее параметрам соответствует ситуация в достаточно узкой группе регионов. В большинстве же регионов сложились различные варианты мягкой модели, представляющей собой континуум состояний. Однако мягкая модель формируется на основе жесткой, существуя преимущественно как ее модификация, и поэтому достаточно бесконфликтно вписывается в сложившуюся вертикаль власти. Возникновение в ряде регионов конфликтной модели подрывает устойчивость сложившейся политико-экономической системы, потенциально угрожая целостности существующей вертикали власти. Однако пока эти ситуации нейтрализуются, как уже отмечалось, жесткой моделью центральной власти.

Список литературы (References)

Бычкова О., Гельман В. Экономические акторы и локальные режимы в крупных городах России // Неприкосновенный запас. 2010. № 2. С. 73—82.

Buchkova O., Gel'man V. (2010) Economic Actors and Local Regimes in Major Russian Cities. *Neprikosnovenniy Zapas*. No. 2. P. 73—82. (In Russ.)

Звоновский В. Административный ресурс: вариант исчисления объема // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 1. С. 35—37.

Zvonovsky V. (2000) Administrative Resource: a Variant of Calculating the Volume. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 35—37. (In Russ.)

Левин С. Н., Курбатова М. В. Сетевые взаимосвязи российского бизнеса: деловая коррупция и органический институт реальной модели институциональной организации российской экономики // Журнал институциональных исследований. 2011. Т. 3. № 2. С. 39—58.

Levin S. N., Kurbatova M. V. (2011) Network Interactions of Russian Business: Business Corruption and Organic Institution of the Real Institutional Organization Model of the Russian Economy. *Journal of Institutional Studies*. Vol. 3. No. 2. P. 39—58. (In Russ.)

Левин С. Н. Рынки власти, режимы прав собственности и политический ресурс предпринимателей в современной России // Мир России. 2014. Т. 23. № 4. С. 35—58.

Levin S. N. (2014) "Markets of Power", Property Rights and Political Resource of Entrepreneurs in Modern Russia. *Universe of Russia (Mir Rossii)*. Vol. 23. No. 4. P. 35—58. (In Russ.)

Нуреев Р. М., Шульгин С. Г. Взаимосвязь экономического и политического монополизма в российских регионах: административный ресурс и формы его проявления // Terra Economicus. 2006. № 3. С. 33—40.

Nureev R. M., Shulgin S. G. (2006) Relationship between Economic and Political Monopolism in Russian Regions: Administrative Resource and Forms of its Manifestations. *Terra Economicus*. No. 3. P. 33—40. (In Russ.)

Олейник А. А. Рынок как механизм воспроизводства власти // Pro et Contra. 2008. № 2—3. С. 88—107.

Oleynik A. A. (2008) Market as a Mechanism of Reproduction of Power. *Pro et Contra*. No. 2—3. P. 88—107. (In Russ.)

Панеях Э. Я. Правила игры для русского предпринимателя. М.: Колибри, 2008.
Paneyakh E. Ya. (2008) Rules of the Game for the Russian Entrepreneur. Moscow: Kolibri. (In Russ.)

Радыгин А. Россия в 2000—2004 годах: на путях к государственному капитализму? // Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 42—65. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2004-4-42-65>.

Radygin A. (2004) Russia in 2000—2004: Heading towards State Capitalism? *Voprosy Ekonomiki*. No. 4. P. 42—65. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2004-4-42-65>. (In Russ.)

Barsukova S. (2019) Informal Practices of Big Business in the Post-Soviet Period: from Oligarchs to “Kings of State Orders”. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*. Vol. 27. No. 1. P. 31—49.

Barsukova S., Zvyagintsev V. (2006) Mechanism of «Political Investment», or How and Why Business Participates in Elections and Funds Party Life. *Social Sciences. A Quarterly Journal of the Russian Academy of Sciences*. Vol. 37. No. 4. P. 76—88.

Faccio M. (2006) Politically Connected Firms. *American Economic Review*. Vol. 96. No. 1. P. 369—386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>.

Fisman R. (2001) Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review*. Vol. 91. No. 4. P. 1095—1102. <https://doi.org/10.1257/aer.91.4.1095>.

Frye T., Reuter O. J., Szakonyi D. (2014) Political Machines at Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace. *World Politics*. Vol. 66. No. 2. P. 195—228. <https://doi.org/10.1017/S004388711400001X>.

Gel'man V. (2009) “Leviathan’s Return? The Policy of Recentralization in Contemporary Russia.” In: Ross C. and Campbell A. (eds.) *Federalism and Local Politics in Russia*. London; New York: Routledge. P. 1—24.

Gel'man V. (2015a) Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

Gel'man V. (2015b) Political Opposition in Russia: A Troubled Transformation. *Europe-Asia Studies*. Vol. 67. No. 2. P. 177—191. <https://doi.org/10.1080/09668136.2014.1001577>.

Goode J. P. (2011) The Decline of Regionalism in Putin’s Russia. London: Routledge.

Greene S. A. (2013) Beyond Bolotnaia: Bridging Old and New in Russia’s Election Protest Movement. *Problems of Post-Communism*. Vol. 60. No. 2. P. 40—52. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216600204>.

Hellman J. S., Jones G., Kaufman D. (2000) “Seize the State, Seize the Day”: State Capture, Corruption, and Influence in Transition. *Policy Research Working Paper*

No. 2444. Washington, DC: World Bank. URL: <http://hdl.handle.net/10986/19784> (accessed: 03.08.2020).

Levitsky S., Way L. A. (2010) Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511781353>.

Robertson G. (2013) Protesting Putinism: The Election Protests of 2011—2012 in Broader Perspective. *Problems of Post-Communism*. Vol. 60. No. 2. P. 11—23. <https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216600202>.

Ross C. (ed.) (2015) Systemic and Non-Systemic Opposition in the Russian Federation. Civil Society Awakens? Farnham; Burlington, VT: Ashgate.

Scott G., Sonin K., Zhuravskaya E. (2010) Businessman Candidates. *American Journal of Political Science*. Vol. 54. No. 3. P. 718—736. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00456.x>.

Simpser A. (2013) Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09781139343824>.

Slinko I., Zhuravskaya E., Yakovlev E. (2004) Laws for Sale: An Empirical Study of the Effects of Regulatory Capture. *CEFIR Discussion Papers*.

Yakovlev A. (2006) the Evolution of Business — State Interaction in Russia: From State Capture to Business Capture? *Europe-Asia Studies*. Vol. 58. No. 7. P. 1033—1056. <https://doi.org/10.1080/09668130600926256>.

ФРАГМЕНТЫ БУДУЩИХ КНИГ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1644



Д. Г. Подвойский

ЛАБИРИНТАМИ МАТРИЦЫ: ОСВАИВАЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ

Правильная ссылка на статью:

Подвойский Д. Г. Лабиринтами Матрицы: осваивая социальный конструкционизм // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 60—92. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1644>.

For citation:

Podvoyskiy D. G. (2020) In the Labyrinth of the Matrix: Learning Social Constructionism. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 60—92. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1644>. (In Russ.)

ЛАБИРИНТАМИ МАТРИЦЫ: ОСВАИВАЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ

ПОДВОЙСКИЙ Денис Глебович — кандидат философских наук, доцент кафедры социологии, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия; ведущий научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия
E-MAIL: dpodvoiski@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7396-1828>

Аннотация. В настоящее время Департамент издательских программ ВЦИОМ завершает подготовку к публикации перевода книги социальных психологов Э. Лока и Т. Стронга «Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice». На русский язык книга выйдет под заголовком «Как устроена матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика». Журнал «Мониторинг общественного мнения» публикует вступительную статью к этому переводу, написанную специально для русскоязычного читателя. В представленном тексте содержится не только вводный комментарий к указанной книге, но и развернутый анализ комплекса «конструкционистских» и «конструктивистских» идей, оказывавших и продолжающих оказывать значительное влияние на развитие социальных и гуманитарных наук во всем мире.

Ключевые слова: социальный конструкционизм, социальный конструктивизм, социальное конструирование реальности, Матрица, субъект, сознание, социальные институты, социальная теория, интерпретативная методология, история социально-гуманитарных наук

IN THE LABYRINTH OF THE MATRIX: LEARNING SOCIAL CONSTRUCTIONISM

Denis G. PODVOYSKIY^{1,2} — *Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor; Leading Researcher*
E-MAIL: dpodvoiski@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7396-1828>

¹ Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

² Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

Abstract. The Publishing Department of WCIOM is currently finalizing the translation of the book *Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice* by social psychologists Andy Lock and Tom Strong. In Russian, the book will be published under the title “How Does the Matrix Work? Social Construction of Reality: Theory and Practice”. The Public Opinion Monitoring Journal releases an introductory article written exclusively for The Russian-speaking readers. This piece not only contains an introductory commentary on the book, but also presents a detailed analysis of the complex of constructionist and constructivist ideas that have been having a significant impact on the development of social sciences and humanities throughout the world.

Keywords: social constructionism, social constructivism, social construction of reality, the Matrix, agency, consciousness, social institutions, social theory, interpretive methodology, history of the social sciences and humanities

И опять эта вездесущая Матрица! Или... в преддверии четвертой серии

Первым делом рискнем ослабить интригу, вмонтированную в название русскоязычного перевода данной книги. В оригинале ее названия слово *матрица* отсутствует. Совместная работа Э. Лока и Т. Стронга (в некотором роде учебное пособие, хотя судить о ее пригодности в этом качестве можно по-разному) вышла в свет в 2010 г. в издательстве Кембриджского университета под заголовком «Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice».

Причем тут, спрашивается, матрица? Чем объясняется избыточная вольность перевода? Стремлением российского издателя через смысловую отсылку к масскультурному и массмедийному образу Матрицы, сформировавшемуся благодаря культовой кинотрилогии¹, привлечь внимание более широкой читательской аудитории (чем та, на которую могла бы рассчитывать книга с более нейтральным и чисто наукообразным названием)? Что это — маркетинговый ход? Отчасти да, но не только! У книги есть содержательные основания быть названной подобным образом. Так что читатель, подкупившийся ее названием, скорее всего, не будет обманут в своих ожиданиях. Почему? Давайте разбираться...

Слову матрица повезло и не повезло одновременно: лишь последние двадцать лет оно вышло в тираж, прорвалось в зону публичного дискурса благодаря популярности одноименного фильма. В биографии слова произошел более или менее случайный семантический зигзаг: из специального термина точных наук и инженерного дела оно превратилось в сильную, хотя и довольно обтекаемую метафору/аллегория невидимой, таинственной Власти-Контроля, осуществляемой над населением планеты средствами виртуозной, но при этом отнюдь не безобидной физической, психологической и социальной инженерии.

Не то чтобы об этих сюжетах не думали раньше. Нет, думали, и много, и не только писатели-фантасты, но и просто писатели, а также публицисты, интеллектуалы разных мастей, философы и социологи. Просто слово пришлось кстати: произошел смысловой перенос, и Матрица стала для миллионов наших современников своего рода символом, нагруженным множественными культурными коннотациями, а не просто техническим или математическим понятием.

Быть вписанным в Матрицу — значит быть пешкой в чужой игре, быть управляемым, причем, как сейчас сказали бы, управляемым эффективно, то есть жить в мире иллюзий, получая свою долю «суррогата счастья». Матрица — не просто темница, где все томятся и страдают, среда обитания, где «жить по-человечески» мешают железные решетки и злые надсмотрщики. Матрица приручила человека, одомашнила его, стены тюремных камер поклеены обоями, в них тепло и комфортно, влечения, желания и потребности колонизированы. В итоге пленник утрачивает побуждение к бегству, он отказывается признавать, что его дом — тюрьма.

Все это, конечно, тоже не ново. История мысли XX века неоднократно диагностировала подобные тенденции. Всевозможные антиутопии в стиле «Дивного нового мира», концепция гегемонии А. Грамши, хайдеггеровское *map*, «Одномерный человек» Г. Маркузе, предостережения философов и социологов техники, западный неомарксизм и постмарксизм разных сортов, экзистенциализм, гума-

¹ В 2019 г. создатели трилогии анонсировали выход четвертой серии фильма, запланированный на 2021 г.

нистическая критика менеджеризма и технократизма, Л. Мэмфорд, Ж. Эллюль, общество спектакля Ги Дебора, общество потребления, симуляции и симулякры Ж. Бодрийяра, макдональдизация Дж. Ритцера, бесчисленные разговоры о роли культуриндустрии, СМИ, и о том, что «пипл хавает» — лишь конкретные примеры рефлексии о «мягком и пушистом» деспотизме Матрицы как знамени времени эпохи высокого модерна.

Чтобы познакомиться с Матрицей, все эти книжки, порой весьма заумные, можно, конечно, не читать. Можно вполне ограничиться продуктами «фальшивого (или искреннего?) самобичевания» современной аудиовизуальной культуры, несущей в массы философию в стиле поп. С другой стороны, неудивительно, что в кадр фильма братьев (ныне сестер) Вачовски попадает стилизованная под Библию обложка бодрийяровских «Симулякров и симуляции».

Не претендуя на ортодоксальность толкования «подлинной», «глубинной» (если таковая имеется) нагрузки понятия матрица в его бытовании в разговорных практиках людей первых десятилетий XXI века, позволим себе указать лишь на некоторые улавливаемые смысловые фрагменты, так сказать, лежащие на поверхности. Очевидно, во всяком случае, что слово это именно в его вольно-переносном значении стало ходовым, и циркулирует оно отнюдь не только в среде знатоков и поклонников трилогии Вачовски. Многие смотрели фильм невнимательно, но словом, ставшим популярным благодаря популярности фильма, пользуются, доверяясь собственной языковой интуиции.

В образе Матрицы сходятся многие социально типические и вместе с тем остро психологически переживаемые тревоги и опасения человека наступающей цифровой эпохи.

Само это слово как бы «пахнет» математикой и информатикой, в том числе, или даже прежде всего — для тех рядовых потребителей благ диджитал-цивилизации, которые мало что смыслят в указанных областях, но готовы перед ними преклоняться как перед чудо-знанием, повсеместно изменяющим мир (в связи с этим вспоминается раннемодерновое кантовское «в каждой науке столько науки, сколько в ней математики»).

В отличие от цифрового профана, компьютерщик, IT-специалист выступает как носитель сакрального знания, жрец новейшей фазы технотронного века, рыцарь, на острие электронного меча которого балансирует судьба человечества. Теперь уже не ученый-экспериментатор в лаборатории и не инженер на производстве (герои недавнего прошлого), а именно парень с бегающими туда-сюда программными кодами в голове, способный одним нажатием кнопки — не выходя на улицу для сражения с драконами или ангелами небесными — спасти или погубить вселенную. Вмешательству его (компьютерного) гения хотя бы отчасти подвластна та странная стихия, которая стандартно визуализируется множеством значков, роящихся на компьютерном экране. Именно так, собственно, и выглядит Матрица, вернее — ее видимое, феноменальное измерение.

И есть ли там вообще что-то внутри, за этими мерцающими значками — не понятно, как и не понятно, есть ли вообще что-то *на самом деле*. Иначе говоря, современного человека не покидает мысль, что воспринимаемый мир, возможно, есть не более чем одна большая фантазмагория, масштабный продукт компью-

терного моделирования, великая химера, иллюзия, которые могут мгновенно исчезнуть, когда чья-то рука (Бога, дьявола или чья-то еще, опять же — не понятно, где пребывающая) просто выдернет шнур из розетки.

Разумеется, всевозможными «иллюзионизмами» знакомого с историей мировой философии читателя удивить и испугать нельзя. Однако в данном случае мы имеем дело с особым рода иллюзионизмом, смешанным с постулированием всеобъемлющей власти электронно-компьютерно-информационно-технологических систем (и здесь хочется попутно спросить: а они, интересно, в каком мире находятся — в «иллюзорном» или «действительном»?).

По мере того как некоторые из самых смелых предположений фантастов входят в нашу жизнь и меняют ее, с новой остротой встают вечные проблемы, прежде всего проблемы онтологические. Что считать истинной реальностью, если везде и всюду мерещится зловещая Матрица? Но ее [Матрицы] онтологический статус также остается под вопросом. Поэтому в тысячный раз приходится спрашивать: подлинная реальность — где она и какая? Материальная, духовная, гибридная? Или их много, или все они неподлинные? Какова здесь роль человеческого(их) сознания(ий), деятельности, отношений между людьми, и т. д.? Понятно, что на единственный вразумительный (тем более «объективно истинный») ответ рассчитывать не приходится.

Параллельно с этим мы становимся свидетелями размывания границ привычных областей опыта: реального и воображаемого, объективного и субъективного, искусственного и естественного, физического и психического, живого и неживого. Кибернетический разум, искусственный интеллект, умный дом, робокопы, терминаторы, разговоры, консультации и переписка с ботами, «киборги заплонили всю планету» — мир людей и мир вещей не просто взаимодействуют, они перепутаны, и образуют порой гремучие смеси.

Говоря на жаргоне Б. Латура, «актанты» превращаются в «актеров», и наоборот. «Нелюди», то есть нечеловеки в обличье милых девушек и компетентных экспертов из разных отраслей с белоснежными улыбками смотрят на вас с экрана и «с удовольствием» отвечают на возникающие вопросы. Не надо ничего печатать, Алиса распознаёт устную речь. Голосовой помощник становится незаменимым партнером и советчиком. Он вас не понимает? Выразайтесь яснее, мыслите и говорите проще, стереотипнее, по шаблону. Хотя его «эмпатические» качества совершенствуются прямо на глазах, он не только осваивает все более прихотливые коммуникационные запросы, но скоро научится сочувствовать и сопереживать, проливать искусственную слезу там, где надо. В общем, Окей, гугл... будем дружить! Что само собой не отменяет законности вопроса: можно ли дружить с роботом, даже очень продвинутым и «эмпатичным»?..

Если Матрица представляется как некая демоническая кибер- или гиперреальность, продуцирующая разные формы «неподлинного бытия», симулякров и симуляций, нечто искусственное, сотворенное, то возникает вопрос о ее генезисе и месте дислокации. Самым наивным ответом может стать интерпретация Матрицы как продукта чьей-то злонамеренной воли, индивидуальной или коллективной, и это прямая дорога к объяснениям в духе теорий заговора (миром посредством Матрицы правят кукловоды, влиятельная закулиса, те или иные элитные группы).

Этот ответ не только наивен, но и условно оптимистичен, поскольку предполагает возможность победы над «злыми» силами через их устранение силами «добра» (типичный сюжет для фантастических фильмов с хэппи-эндом).

Сложнее обстоит дело, если предположить деперсонифицированный характер Матрицы, анонимность ее власти: она везде и нигде конкретно. Даже если она и создана кем-то и когда-то, она работает в машинной логике, в соответствии с принципами абстрактной, инструментальной рациональности.

Понятно, что все эти ужастики, состоящие из полуреалистических-полусказочных нарративов, кажутся людям увлекательными, вызывают у них интерес. Поэтому, собственно, слово матрица пока что не выходит из арсенала узнаваемых и востребованных повседневных метафор начала XXI века.

Некинематографические ассоциации, порождаемые употреблением слова матрица в вольном метафорическом контексте для обозначения особых качеств социальных отношений, также способны скорее расстроить, чем воодушевить искателя «жалких остатков» свободы в технотронном мире. Сравнение с типографской матрицей не вдохновляет: штамповка, тиражирование, стандартизация, конвейер, прессовка... И объектами этих процессов, «продуктом на выходе», становятся не только материальные предметы, товары, но и информация, а также человеческие существа. При таком взгляде общество предстает как гигантский формовочный цех по поточному производству людей, отливке психосоциальных единиц с заданными качествами. Жутковатая картина, не правда ли?

В ту же степь уводят нас и семантические отсылки к образу матрицы в математике: если матрица есть организованный определенным образом массив цифровых данных, с которыми можно совершать некие допустимые операции-преобразования, и мы находимся, вернее, принудительно загнаны в матричные ячейки, тогда мы суть не более чем какие-то числовые значения в столбцах и строках, нас можно умножать, складывать, делить, вычитать, возводить в степень, извлекать из нас корень, менять местами, удалять, заменять... О ужас, но мы же люди! Но матрицеобразное общество подобные возгласы, кажется, особо не беспокоят: люди, их чувства и эмоции, отношения и интеракции — все это подлечит математической алгоритмизации, моделированию и программированию в технологическом формате, уподобляющим человека вещи.

В итоге метафорика Матрицы в очередной раз, на новом витке, адресует нас к классической для всей современной цивилизации теме: Человек эпохи модерна как хитроумный покоритель Природы и счастливый обладатель инструментального Разума оказывается заложником собственного модуса миропонимания и миродействования. Взбесившаяся технократическая рациональность оборачивается против своего создателя, он ей больше не хозяин. Творение господствует над творцом, низводя творца до уровня всего лишь *средства*.

Для абстрактной, деиндивидуализирующей, «машинной» логики функционирования Матрицы есть лишь материал, который может и/или должен быть обработан, и энергия, необходимая для такой обработки. Человек в этой модели мироустройства не является исключением: он подходит и для того, и для другого — чтобы становиться материалом, сырьем, ресурсом, объектом, пригодным для манипулирования, и чтобы давать энергию (достаточно вспомнить всем известные

выражения: человеческий материал или капитал, человеческие или трудовые ресурсы, кадровый состав, а также «потогонная система», «выжимание соков» и т. п.).

Именно этот процесс описывал на своем непереводаемом языке Мартин Хайдеггер, говоря, что *Gestell* как особая установка сознания превращает весь мир, включая и человека, в *Bestand*. И именно в этом процессе обнаруживается пресловутая (полная социально-исторического трагизма) «диалектика Просвещения», изломанный вектор которой был зафиксирован и концептуально расшифрован Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно еще в середине минувшего века.

Вы собираете, вас собирают...

Как это часто вам досаждают?

Весьма примечательны некоторые контексты употребления слова матрица в повседневной речи ровесников тысячелетия — поколения тех, для кого, по их же собственным словам, фантастическая эпопея Вачовски стала уже чистой воды классикой. В аудиторию входят две студентки-подружки, на фоне всеобщего разнобразия одетые в одинаковые свитера. Попытка выделиться в пестрой толпе сходством, когда различия парадоксальным образом уже не выделяют, оказывается удачной. Ироничная реакция однокурсников, почти на автомате, выражается в обороте, претендующем на статус фразеологизма: «Матрица дала сбой!»

Я интересуюсь: как надо понимать эту шутку? Выясняется приблизительно следующее: коварно-виртуозная Матрица в норме производит людей с визуально/иллюзорно разными параметрами, но порой что-то ломается, и одинаковость становится явной, выходит наружу, обнажая признаки процесса штамповки, стандартизации человеческого материала.

Такую подготовленную публику конструктивистскими и/или конструкционистскими метафорами, видимо, уже не удивишь. И тем не менее...

Теперь требуется сделать шаг от отправного для нас и во многом условного понятия Матрицы к социальному конструированию реальности как фундаментальному процессу, описываемому с разных сторон множеством теорий. Связь между этими двумя семантическими фрагментами названия представляемой книги, скорее всего, интуитивно ощущается читателем.

Если устранить налет фантастичности и фантазийности, сопровождающий разговоры о Матрице, и попытаться одновременно перейти на более терминологизированный язык социальных наук, то можно сказать просто: матрица — это своего рода вольный заменитель слова *структура*. Вернее, следовало бы говорить даже не о структуре (в единственном числе), а именно о структурах: их много, и они разные.

Структуры чего и где они находятся? Везде: в обществе, в мышлении, психике, субъективном восприятии окружающего мира, в языке, в организме. Все эти пласты структур каким-то причудливым образом связаны между собой, но отнюдь не тождественны; между ними есть какая-то доля изоморфизма, согласованности, взаимной детерминированности, но также и значительная доля автономии и отчасти даже рассогласованности. Они работают как бы вместе и как бы порознь, отчасти слаженно, но лишь до известной степени.

Структура, форма, паттерн, правило, норма, габитус, фрейм — существует много общих и специальных терминов, используемых для констатации и объяснения

того факта, что человеческий опыт — поведенческий, интерактивный, языковой, коммуникативный, когнитивный (будь то в сфере теоретического/научного мышления или повседневного) — как-то организован, структурирован (как извне, так и изнутри), нормирован, регламентирован, правилосообразен, паттернирован, фреймирован, упорядочен (хотя и не идеально), нехаотичен (хотя и допускает порой значительный диапазон индивидуальных вариаций), более или менее рутинизирован, опривычен, габитуализирован, институционализирован...

И это значит, с одной стороны, что человек является продуктом всех этих объективных и субъективных структур, но с другой, сам их создает (морфогенез) и воспроизводит (морфостазис), поддерживает или видоизменяет в своей деятельности. Хотя делает он это не поодиночке и не с нуля, но всегда сообща, то есть вместе с другими, кооперируясь и конфликтуя с ними, опираясь на результаты действий предыдущих поколений или модифицируя их; результаты, с которыми он сталкивается как с наличной данностью в рабочей обстановке «общественной строительной площадки», где проходит вся его жизнь, от рассвета до заката, включая даже сон.

Это перманентное строительство, совершаемое частично по плану, частично без него, и всегда лишь отчасти предсказуемое (непредвиденные последствия; «хотели как лучше, а получилось...»), собственно, и именуется социальным конструированием реальности.

Откуда берутся структуры? Они не существуют без людей и оказываются результатом их поведенческой, деятельностной и когнитивной активности. В то же время они являются рамкой, условием и предпосылкой для этой самой активности, в значительной мере определяя ее направленность, характер и содержание. Они суть и *natura naturans* — творящая, и *natura naturata* — сотворенная.

Структуры продуцируются индивидами и продуцируют индивидов. Указанное свойство Э. Гидденс именуется «дуальностью структуры» и описывает смежным термином «структурация»: социальное конструирование реальности — это бесконечный диалектический процесс генерирования устойчивых форм общественных отношений в ситуациях неисчислимо множественных интеракций между людьми. Люди и структуры порождают друг друга в неразрывной цепочке взаимной детерминации, звенья которой могут быть выделены лишь аналитически.

Индивиды ежедневно и ежечасно экстернализируют структуры в своей деятельности, например, продолжают платить налоги, сервировать стол определенным образом или использовать в общении грамматические формы родного языка. В то же время структуры интернализируются в сознании индивидов, порождая типические способы реагирования на ситуацию как результат социального научения, усвоения культуры и образцов поведения.

В случаях видоизменения структур общая логика процесса сохраняется: люди могут умышленно или ненамеренно модифицировать или даже ломать те или иные структуры (разрешать однополые браки, отменять расовую дискриминацию, обогащать речь неологизмами), но параллельно с этим будет происходить переписывание их коллективных представлений, постепенно оформляющихся в новые структурно организованные комплексы.

Подобные рассуждения — своего рода классика жанра, «старая песня о главном» для социальной теории. По крайней мере, так они могут восприниматься

последние пятьдесят с лишним лет, с момента выхода и освоения научным сообществом книги П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности». Позднее попытки бросить панорамный теоретически фундированный взгляд на процесс коллективного «со-творения» социального (и не только) мира акторами, наделенными индивидуальным сознанием и волей, не прекращались. Концепции П. Бурдьё и Э. Гидденса — лишь два наиболее известных примера, относящихся к последней трети минувшего столетия и заслуживающих внимания.

Однако сама риторика разговоров о социальном конструировании действительности приобрела особую инерцию, произведя на свет всевозможные конструктивистские, конструкционистские или критически деконструкционистские подходы, что сопровождалось также известной вульгаризацией, искажением и даже дискредитацией ряда продуктивных идей, положенных в основание упомянутых подходов. Поэтому «патриархам» приходилось отречься от своего «детища»: так, скажем, Лукман открыто именовал конструктивистов дураками [Лукман, 2002].

Дело здесь опять же во многом в силе слов и их смысловых коннотаций. Говоря о конструировании, конструкции, реконструкции, деконструкции чего-то, рассуждая о чем-то как о конструкте, мы так или иначе адресуем себя и других к строительно-архитектурной лексике, используем слова сборка, разборка, пересборка. Архитекторы, проектировщики, инженеры, прорабы, мастера и рабочие, участвующие в строительстве дома, возводят постройку, строение, конструируют сооружение как нечто искусственное, обычно по определенному плану, хотя планы в процессе строительства могут меняться, а процесс растягиваться на сотни лет (как это было со средневековыми соборами). Но так ли люди строят общий для них мир?

Можно сказать: мы собираем этот мир по частям, и нас собирают из кусков этого собранного нами же мира (культура и общество, агенты социализации и институты, большая и малая социальная среда, политики, СМИ, реклама, вкусы эпохи, семья, школа...)! В понимании современного человека, дорожащего своей «свободой», первое (активно собирать мир) как бы хорошо, второе (быть собираемым им) — скорее плохо. И если мы хотим по возможности минимизировать негативное влияние второго, мы должны заниматься деконструкцией² — осуществлять процедуру разборки актуально и потенциально опасных сооружений, которые могут посягать на наше «истинное» (?) Я, самость, интересы, влечения, чувства, права, автономию (хотя все это, в сущности, тоже является продуктом конструирования и принадлежит в строгом смысле не нам, то есть при последовательной, доведенной до логического конца деконструкции от человека ничего или почти ничего не остается, за исключением, возможно, биологического организма, лишённого какой бы то ни было социально и культурно определенной индивидуальности и своеобразия).

² Правда, мыслительная деконструкция исторически конкретных систем социального мироздания, реализуемая при помощи аналитического арсенала науки, может быть полезна хотя бы в том отношении, что она эксплицирует власть структур, особенно скрытых от глаза, делает ее видимой, показывает, как эти структуры работают и какие функции выполняют, оценивает степень их инвариантности и стабильности, с одной стороны, и гибкости и подвижности, с другой (различная несущие стены здания и те его части, которые можно сносить и перестраивать без риска превратить постройку в руины). Вместе с тем наука, признающая относительную изменчивость структур, организующих опыт жизни в человеческих коллективах, обычно признает, что без подобных структур существование людей в обществе себе подобных было бы затруднительным (если не непредставимым), а игру по правилам рассматривает как своего рода спасительное средство от хаоса.

И когда про что-то говорится «это всего-навсего конструкт», имеется в виду, что если что-то сконструировано, то значит, оно также может быть демонтировано или перестроено, то есть может быть другим, по крайней мере в принципе. На этом пути одной из возможных позиций становится отрицание ценности всех и всяческих конструкций (институтов, традиций, практик), или же, как вариант, их предельная плюрализация и ценностное уравнивание. Двигаясь в указанном мыслительном фарватере, можно прийти к выводу: мы можем, если только захотим, критически взирая на объекты социокультурного мира, сконструировать, реконструировать и деконструировать все что угодно.

Такой взгляд, однако, выглядит слишком радикальным. Хотя бы потому, что социальное конструирование реальности³ нельзя в буквальном смысле уподобить строительству здания. Можно сказать, конечно, что общество — структура рукотворная. Но слишком много рук (и голов) участвует в строительстве, а генерального архитектора, на которого можно было бы все свалить, нет. Возведение самого здания растягивается на века и тысячелетия, представляя собой настоящий вселенский долгострой: иных уж нет, а те далече. Наконец, строительство общества не является полностью преднамеренным процессом. Стопроцентный контроль за происходящим на стройплощадке отсутствует, а фактические результаты работ по созданию общего мира обычно отличаются от ожиданий и планов проектировщиков.

Структуры социальных групп возникают не как [вернее, не только как — Д.П.] результат планирования, а как следствие «незапланированных» действий индивидов, создающих институты. Институты предъявляют требования к людям, определяют их позицию и устанавливают нормы, которым они должны следовать. Это происходит не благодаря какой-то внешней, сверхъестественной силе, а является результатом развития социальных отношений между людьми: институты, естественно, накладывают на индивидов ограничения, и являются при этом «непреднамеренно» конструируемыми. <...> Результаты человеческого взаимодействия и, следовательно, движущие силы развития, выстраивающие рациональность, очень часто отличаются от того, на что были направлены намерения участников этого взаимодействия. Человеческая история породила институты, «превосходящие то, к чему устремлялись сами люди». [Lock, Strong, 2010: 22, 27]⁴

И еще один важный момент: людям как практическим конструкторам социальной реальности приходится иметь дело с раствором, который очень быстро застывает: возникающие, распространяющиеся, укореняющиеся формы отношений кристаллизуются, строительные леса срastaются с самим зданием и диктуют

³ Разумеется, термины «социальное конструирование реальности» и «конструирование социальной реальности» не являются взаимозаменяемыми во всех возможных смысловых контекстах; они маркируют пересекающиеся, но не тождественные процессы. Первый концепт явно указывает на то, что социально конструируется не только социальная реальность.

⁴ Как верно подмечают Лок и Стронг, никто конкретно не планировал капитализм [Lock, Strong, 2010: 22]. И правда, кто? Ни Лютер, ни Кальвин, ни Леон Баттиста Альберти, ни Фуггеры, ни Медичи, ни даже Бенджамин Франклин... Он как-то сам собой получился. (Имеется в виду полустихийный характер складывания нового типа социально-экономических отношений на Западе на рубеже Ренессанса и Нового времени).

манеру и стиль работы с материалом кладки стен и перекрытий. Опривыченные и рутинизированные практики институционализируются и реифицируются, причем новые рутины и привычки почти никогда не рождаются из ничего, но вписываются в уже существующие институциональные и культурные традиции — точнее, наслаиваются на них. Иначе говоря, люди занимаются конструированием общего для них мира и одновременно живут собственными конструкциями, относясь к ним по большей части так, как будто это и не конструкции вовсе.

Сегодня слово «конструкт» в известных кругах является модным. В России конструктивистскую терминологию распробовали позже и сейчас активно наверстывают отставание (хотя все же Запад по этой части пока явно лидирует). Конструктами объявляется многое: формы рациональности, этикет и манеры, гендер, этнос, телесность, историческая память... В феминистском дискурсе, развивающем с разных сторон принцип Симоны де Бовуар «женщиной не рождаются, женщиной становятся», конструктивистская оптика оказывается исключительно востребованной (так, в 1980—1990-е годы в серии «Исследований по социальной конструкции» издательства Sage выходят среди прочего работы «Социальная конструкция нервной анорексии» Дж. Хепворт, «Социальная конструкция лесбийской любви» С. Китцингер). Социальный конструктивизм в своих шокирующих изысканиях добрался до научного познания, в том числе естественнонаучного, и стучится в двери философии; он добрался до тела, вторгаясь в области биологии и медицины. Чем чреват такой экспансионизм?

Но, кажется, все не так уж страшно. Просто вольность обыденного словоупотребления дает о себе знать, сближая поля смыслов, исходящих от слов матрица и конструкт, конструирование, конструктивизм, конструкционизм. Если все (или почти все) есть конструкт, а конструкт ассоциируется с чем-то искусственным, сотворенным, поддельным, ненастоящим, химерическим, надуманным, существующим только в наших мыслях, то земля начинает уплывать из-под ног — и не только у обществоведа, если процесс конструирования не ограничивается рамками мира социокультурных явлений.

Конструкту обычно приписывается специфически дискурсивная природа, то есть он рассматривается как ментальный и/или языковой феномен *par excellence*. Это значит, что конструкт есть в первую очередь то, что мы *думаем* (вместе) и *говорим* о том или ином элементе окружающей нас реальности, «ярлык», словесная маска, надетая на какую-то часть действительности, субъективный образ, миф, стереотип, номинация, фрагмент каталога «подписанных» и «распознанных» объектов, название предмета, а не сам предмет; лингвистически выражаясь, или сигнификат, или знак, но не референт-денотат⁵.

В наших головах живут такие конструкты, и они управляют нашим отношением к вещам и людям: представители «южных» народов, например «кавказцы», импульсивные и вспыльчивые, их мужчины особенно любят блондинок, финны медлительные, флегматичные и дисциплинированные, итальянцы музыкальные,

⁵ Само собой понятно, что ментальный ≠ языковой, а *думать* ≠ *говорить* (называть тем или иным именем). Однако миры мыслей и слов при всей их нетождественности друг другу равно противопоставлены миру вещей как вершины «семиотического треугольника». Если же считать вещный мир безоговорочно базовым, то слова и мысли легко подпадают под (онтологически дискриминирующую их) номинацию *всего лишь* «конструктов».

говорливые, активно жестикулирующие, немцы — трудолюбивые и ответственные индивидуалисты, а китайцы — трудолюбивые коллективисты, русские все поголовно пьют водку, челябинские мужики суровые, французы манерные и эстетствующие, все женщины хотят выйти замуж и родить ребенка... А что если нет?! Вдруг конструкты вводят нас в заблуждение относительно действительных свойств социального и природного миров?

Признание чего-то социальным конструктом само по себе полезно с точки зрения «индивидуальной политики свободы», поскольку оно становится «противоядием» от разного рода заявлений, претендующих на статус аксиом: что, мол, те или иные факты (для кого-то, быть может, весьма неприятные и травмирующие) являются неизбежными, требующими примирения и покорности, вытекающими из самой природы вещей, природы человека, духа народа, особенностей групповой психологии («женщине положено подчиняться», «мужчина — охотник, женщина — хранительница домашнего очага», «воровство у цыган в крови», «есть при помощи вилки и ложки, а не руками — правильно», «гомосексуальные союзы противоестественны», «русские неисправимы, а Россия нереформируема»⁶...).

Сравнительные социологические, этнолого-антропологические и исторические исследования в этом отношении очень вразумляют, поскольку демонстрируют высокий уровень разнообразия и изменчивости в мире общественных установлений и культурных условностей. Вместе с тем, отказ от гипостазирования разного рода ненадежных истин в качестве фундаментальных сущностей не отменяет возможного признания закономерного характера их возникновения и бытования как особого рода социально сконструированных феноменов, подлежащих изучению, и готовности к усмотрению их функциональной роли в поддержании упорядоченности потока социальных интеракций в микро-, мезо- и макромасштабах. То есть условности условностями, но без них жизнь идет наперекосяк.

Однако область действия механизмов социального конструирования реальности не ограничена производством феноменов общественного сознания, многим из которых может быть приписан полуфантомный статус. Социально сформированные субъективные картины мира, наполняемые общественным и культурным содержанием системы категоризации и типологизации явлений накладывают отпечаток на человеческую деятельность. Мы конструируем мир не только через мышление, но и через поведение.

Например, гендерная или этническая идентичность не просто витают в головах, транслируются через частные разговоры, газеты, радио и телевидение, циркулируют в социальных медиа, они объективируются в поступках: в решении выбирать брачного партнера в «своей» или «чужой» этнической группе, заводить большее или меньшее число детей, или не рожать вовсе, собирать приданое или калым, приглашать родственников и друзей на свадьбу, в готовности голосовать за националистические партии и выходить на организуемые ими митинги, вступать в столкновения с иноэтничными элементами, вывешивать флаги из окон по случаю памятных исторических дат, посещать мемориальные места, хранить

⁶ Суждения подобного рода принципиально отличаются от суждений типа: «человек смертен», «мужчина не может рожать детей», «с возрастом у людей с нормальным зрением развивается дальновзоркость», «молочные зубы сменяются коренными в таком-то возрасте» и т.д.

реликвии, учить язык предков, отмечать местные праздники, участвовать в феминистском движении (или не делать всего этого), принимать или отвергать условия традиционного для определенного этапа развития общества гендерного контракта, ходить в традиционной народной одежде, и т. д.

Между субъективным и объективным измерениями процессов социального конструирования реальности не существует простой, линейной механики детерминации. Морфология институтов и морфология коллективных представлений не тождественны, но взаимосвязаны. Поэтому общественные институты как исторически сложившиеся устойчивые формы отношений между людьми, состоящие из организованных статусно-ролевых структур, также как и работающие с ними в тандеме системы субъективной ориентации и навигации действия (то, что Бурдьё называл «габитусом»), являются продуктом социального конструирования реальности, то есть по сути долгоиграющими социальными конструктами. Они меняются с течением времени вслед за эмерджентными прорывами в человеческом мышлении и деятельности, но в то же время обладают значительной инерцией, консервативной силой и потенциалом самовоспроизводства (разумеется, не без участия людей). Они объективируются и реифицируются, в результате чего «легкий плащ» нередко превращается в «стальной панцирь» («железную клетку»/«Iron Cage»/«Stahlhartes Gehäuse»)⁷.

При таком взгляде на процесс коллективного сотворения общества рождается обоснованное сомнение: так ли велика пропасть между извечно конфликтующими сторонами спора — конструктивизмом и реализмом, то есть теми, кто говорит, что социальная реальность создается (интерсубъективно), и теми, кто утверждает, что она (объективно) существует как бытие *sui generis*?

Это так (если вам так кажется)

В некотором роде провокативная привлекательность, эстетическая прелесть, если угодно, «шарм» конструктивизма как интеллектуального предприятия заключается в том, что он множит (плюрализует) миры, восстает против наивного реализма, корреспондентских теорий истины, взгляда на познание как отражение свойств «действительного» мира, или, быть может, точнее было бы сказать — дразнит реалистов своими антифундаменталистскими и реляционистскими заявлениями. Между делом он занимается изобретением звезд и созвездий⁸ на небосклоне, шокируя астрономов, или ставит под вопрос объективность врачебных диагнозов (особенно психиатрических, но не только), действуя на нервы медикам.

Какая во всем этом интрига? В мире одинаковом для всех было бы скучно жить. Проекций «обживаемого» нами мира, претендующих на теоретическую, логическую, эмпирическую, прагматически-инструментальную обоснованность, может быть если и не бесконечное количество, то, во всяком случае, много, определенно больше одной. Такая установка на создание миров сближает конструктивизм с искусством и не является простым интеллектуальным хулиганством.

Капризная и своенравная принцесса из «Двенадцати месяцев», бывшая весьма нерадивой ученицей, эпатировала своего седовласого наставника, верившего

⁷ См.: [Вебер, 1990: 206].

⁸ См. по этому поводу статью Н. Гудмена с остроумно-шокирующим (реалистов) названием «О создании звезд».

в незыблемость мироздания и объективный характер естественных ритмов бытия, фразами вроде « $6 \times 6 = 17$ », « $8 \times 8 = 3$ », «я издам новый закон природы (чтобы подснежники цвели в декабре)». Конструктивисты отличаются от этой взбалмошной особы: они лишь настаивают на том, что мир видится разным с разных точек зрения, и данным разнообразием оптик восприятия не следует пренебрегать хотя бы во имя ценности полноты его когнитивного и практического освоения.

Для теории искусства мысль, что между фантазией и реальностью грань условна, отнюдь не является новой. Любой художник, перекинув эффектным движением руки шарф через шею и поправив берет, может сказать: «А я так вижу!» И будет по-своему прав. Но то же, в сущности, касается и «обычных» людей.

Однако это не отменяет необходимости как-то «договариваться» относительно приемлемых и коллективно разделяемых способов интерпретации событий и форм упорядочения опытных данных, ибо в противном случае организованное существование рода человеческого было бы невозможным. Достижение минимально необходимого уровня взаимопонимания между индивидами, воспринимающими мир (отчасти сходно, отчасти по-своему) и находящимися в разных точках социального пространства (но способными меняться перспективами⁹) является, вероятно, одной из базовых предпосылок социальной жизни как таковой. Индивидуальным конструкторам мира приходится находить общий язык и считаться с аналогичными стратегиями других акторов, а также учитывать естественным образом возникающие правила этой совместной работы (ведь конструирование реальности является именно *социальным* по своей сути).

Плюральность альтернативных картин мира, конечно, обескураживает и нередко становится предметом рефлексии не только в философии и гуманитарном знании, но и в литературе, драматургии, живописи, кинематографе. Несколько лет назад в московском театре Et Cetera Адольф Шапиро поставил пьесу Луиджи Пиранделло с манифестационно конструктивистским названием: «Это так (если вам так кажется)». Общая фабула, сюжет и идейный посыл произведения таковы:

В один итальянский город переезжает семья из трех человек: чиновник, переведенный на новое место по службе, его жена, которую никто толком не видел, и теща, поселяющаяся отдельно от супружеской пары. Теща регулярно навещает жену чиновника (свою дочь?), но не поднимается к ней в квартиру, а остается стоять под окном, жена же выходит для общения на балкон. Все это кажется местному обществу очень странным. Теща и зять оглашают заинтересованным жителям города (как бы по секрету) разные версии семейной ситуации и предшествующих событий. У наблюдателей закрадываются подозрения, что каждый что-то скрывает. Но что именно? Более того, объяснения, предлагаемые чиновником и тещей, подталкивают к предположению, что кто-то из них сумасшедший. Но кто же из двух — он или она?

Любопытствующие местные на протяжении всей пьесы хотят докопаться до истины, вывести главных героев на чистую воду, узнать реальные подробности жизни этой загадочной семьи. Но узнать фактическое положение дел оказывается

⁹ Эта (по-видимому, универсальная) способность, конституирующая интерсубъективный человеческий опыт, аналитически описывается в феноменологической социологии при помощи концепта так называемых «идеализаций взаимности перспектив». См., напр., в: [Шюц [Шютц], 2004: 15].

невозможным, остается лишь поверить интерпретации одного из главных участников, поскольку эти интерпретации противоречат друг другу. Провокационно-конструктивистские высказывания «дядюшки» — Ламберто Лаудизи, — озвучивающего мысли драматурга, лишь выводят из себя пытливых наблюдателей, вызывают раздражение: они хотят *знать правду*, а правда все время ускользает. Идея, что события даны только в интерпретации, отвергается, поскольку лишает их твердой почвы под ногами. Вместе с тем не принимается и классическая интеракционистская, социально-драматургическая формула: мы — разные в разных ситуациях и для разных людей (а слаборефлексирующий индивид исходит из допущения, что он всегда один и тот же, всюду тождественный самому себе).

Действительная картина событий не может быть восстановлена, поскольку дана только в интерпретациях участников и наблюдателей. Но признание этого выводит социальную жизнь из равновесия, так как людям нужно понимание, что же, собственно, произошло «на самом деле». А *на самом деле* как бы и не существует вовсе.

Делает ли такая перспектива окружающий нас мир (как природный, так и социальный) совершенно иллюзорным? Скорее всего, нет. Она лишь усложняет видение мира, включая в себя обзор из разных точек, и обнажает «подпорки», на которых держится платформа нашей совместной повседневной жизни (кажущаяся такой твердой и надежной, а по сути столь уязвимая).

Индивидуально и социально воображаемое не просто парит над ускользающей реальностью или маскирует ее, оно входит в нее как активный конституирующий элемент. «Если ситуации определяются людьми как реальные, они становятся реальными по своим последствиям», — гласит истертая социологическая мудрость (разумеется, не в том смысле, что любые человеческие фантазии и иллюзии легко и просто осуществляются, но в том, что они оказывают влияние на реальный ход происходящих событий, меняя не только их образы в головах, но и фактическое положение дел). В обрисованном контексте новый смысл приобретает фраза, слетевшая с уст советского пионера, по совместительству Санчо Панса, — Васи Петрова, — сетующего на неосмотрительность и донкихотство своего друга Пети Васечкина: «Хоть великан *воображаемый*, зато *реальная* беда!» Опасность, исходящая от мельниц, может быть эфемерной и надуманной, но борьба с ними приносит свои фактические плоды, во многом отличающиеся от планов рыцаря печального образа.

Призрак конструктивизма:

«найти и обезвредить» или «казнить (нельзя) помиловать»?

Следующим неизбежным шагом в «болото» понятийной неопределенности оказывается попытка разобраться в значении (в том числе в сходствах и различиях) терминов-номинаций «конструктивизм» и «конструкционизм». Являются ли эти словесные маркеры синонимами, отчасти накладывающимися, пересекающимися понятиями, или принципиально различными? Стоят ли за ними какие-то конкретные исследовательские направления и традиции мысли? По-видимому, предложить полностью удовлетворительный (и удовлетворяющий всех), исчерпывающий ответ не получится. Но можно, тем не менее, указать на некоторые

принципиальные нюансировки, помогающие употреблять указанные термины ответственно и осмысленно.

Во-первых, конструктивизм как архитектурное направление в нашем разговоре можно сразу вынести за скобки — не о нем речь.

Во-вторых, прилагательное «социальный», которое нередко в целях языковой экономии как в устной, так и в письменной речи усекается, является по сути принципиальным: если мы говорим о процессах *социального* конструирования реальности, а также, в более узком смысле, о [социальных] процессах конструирования *социальной* реальности, то на изучение этих сложных процессов претендуют те, кого следовало бы называть именно социальными конструктивистами или конструкционистами (даже если слово «социальный» порой и не произносится).

В сущности, можно говорить о позиции принципиально конструктивистской, где именно социальный характер конструирования реальности не будет выходить на передний план, например, в таких течениях философии или психологии, которые будут анализировать процессы конструирования реальности в индивидуальном сознании (и/или в индивидуальной психике) и индивидуальным сознанием (и/или индивидуальной психикой), как если бы они разворачивались «в вакууме», то есть если мы намеренно в аналитических целях абстрагируемся от социального контекста изучаемых процессов.

К этой же группе позиций (формально) следует отнести и биологические объяснения, акцентирующие внимание на механизмах работы нервной системы и приспособительных стратегиях поведения, обусловленных нейросоматической конституцией самого живого организма и влияющих на то, как этот организм (определенного вида) воспринимает мир вокруг себя и строит отношения с теми или иными (органическими и неорганическими) элементами окружающей его среды. По меткому выражению Якоба фон Иксюля, «каждое животное окружено различными вещами, собаку окружают собачьи вещи, а стрекозу — стрекозиные» [von Uexküll, 2001/1936, цит. по: Lock, Strong, 2010: 136], а среда организма конструируется его сенсорно-перцептивными способностями.

Опять же: как формируются эти способности, механизмы и стратегии — в процессе ли эволюционного развития вида, состоящего из взаимодействующих особей и популяций, всегда существующих в окружении других видов и в особых, и притом изменяющихся средовых условиях, или как-то иначе — отдельный вопрос, заслуживающий специального рассмотрения, неизбежно выводящий организм из аналитически воображаемой ученым когнитивной изоляции. Образ мира онтогенетически конструируется особью, но по правилам, возникшим и закрепившимся в филогенетической истории вида (то есть в некотором роде «социально», а не «индивидуально»).

Если говорить только о второй половине XX века, то конструирование реальности в схожем ключе истолковывается в таком весьма разнородном междисциплинарном течении, как радикальный конструктивизм (Э. фон Глазерсфельд, П. Вацлавик и др.)¹⁰, и в частности, в его нейробиологической версии — в тео-

¹⁰ См. программный для этого направления сборник «Изобретенная действительность» [Die erfundene Wirklichkeit, 1998] (под ред. П. Вацлавика), выдержавший множество изданий, а также качественный русскоязычный обзор и хрестоматию одновременно: [Цоколов, 2000].

рии самореферентных аутопойетических систем У. Матураны и Ф. Варелы¹¹. Прилагательное «социальный» к этому наименованию обычно не прибавляют.

В-третьих, можно изучать, описывать, анализировать процессы социального конструирования реальности или конструирования социальной реальности, как и конструирования реальности вообще, но не пользоваться подобными словами и выражениями-маркерами, как и (даже тем более) не причислять себя ни к конструктивистам, ни к конструкционистам. Сами указанные терминологемы в философии и социально-гуманитарном знании получили хождение лишь в последние полвека, хотя история корпуса идей, релевантного новейшей конструктивистской повестке, насчитывает не одно тысячелетие и восходит, как минимум, к софистике Протагора и скептицизму Пиррона и Секста Эмпирика. Про человека как «меру всех вещей» многие, конечно, наслышаны...

Если не привязываться к конкретным терминам и эпохам, то простор для «ассоциаций» и «реминисценций» широк:

При прочтении текстов новоевропейской философии под определенным углом можно утверждать, что рационалисты и эмпиристы в своих спорах расходились лишь в том, что в первую очередь конструирует субъективный образ мира: разум или чувства. Но и то, и другое обладает в значительной степени автономной способностью формировать наше видение мира.

Для Беркли и Юма образ «реальности» создается благодаря впечатлениям и восприятиям (вопрос об «объективном» источнике этих впечатлений и восприятий может быть опущен как «метафизический»). Кантовский чистый разум конструирует реальность при помощи априорных форм созерцания и категорий рассудка, заложенная в человеке эстетическая способность конструирует мир прекрасного и возвышенного, практический разум конструирует мир морали; во всех трех случаях конструирование совершается по особому рода правилам, заключенным в самом субъекте. Эта линия развивается и усложняется в разных школах неокантианства, в том числе в философии символических форм Э. Кассирера.

В классической немецкой философии Я / трансцендентальное сознание / Дух (если переходить на язык конкретных персоналий, потребуются множественные уточнения и оговорки) конструирует не-Я, полагает себя в нем, объективируется, опредмечивается, овеществляется, «овнешняется» в инобытии (мире природы).

В феноменологии Гуссерля интенциональное сознание как «сознание о [чем-то]» населяет свой [жизненный] мир объектами и другими Я, организуя опыт субъекта в рамках естественной установки с ее аксиомами, предпосылками и принципом «эпохе». Классики прагматизма и интеракционизма говорят об инструментальных функциях познавательной деятельности, об активности сознания, помещающего данные опыта в удобные и работающие схемы решения проблем. При этом интеракционисты особенно подчеркивают, что эти схемы и модели организации опыта имеют интересубъективный характер, то есть вырабатываются в процессе коммуникации, сосуществования Я с Другими. Идущий по стопам Гуссерля А. Шютц описывает базовые «идеализации» обыденного сознания, без которых взаимодействие любого индивида с вещами и людьми было бы обречено

¹¹ См. изложение концепции в полном, но при этом популярном формате в кн.: [Матурана, Варела, 2001].

на неудачу, и указывает на исключительное значение «типизации» как особой процедуры сортировки, селекции и архивирования информации, образующей наш поток опыта.

Сходные задачи на протяжении всего XX века своими средствами, основываясь на экспериментальной базе, пытались решать психологи: от Ж. Пиаже и Л. С. Выготского до Дж. Брунера и Дж. Келли. Психологи-когнитивисты исследовали, среди прочего, механизмы категоризации, позволяющие людям не утонуть в бесконечном разнообразии фактов, событий, ситуаций, имен, предметов, которые появляются ежедневно на нашем дальнем или ближнем жизненном горизонте, и с которыми приходится постоянно иметь дело, реагировать, приспособливаться, как-то ладить, враждовать, любить, игнорировать, манипулировать...

Джордж Келли, сделавший словосочетание «личностный конструкт» центральным в своей теоретической модели, стремился ответить на вопросы: каким образом люди при помощи этих самых конструктов — как своего рода шаблонов ориентации и способов предсказания событий — организуют свой опыт, почему одни конструкты помогают им жить, а другие мешают, можно ли перестраивать сложившиеся системы конструктов, например, при помощи психотерапевтических процедур.

В ходе решения задач по типизации и категоризации объектов люди применяют не только свои перцептивные и логико-когнитивные способности (умение сравнивать, выделять сходства и различия, искать взаимосвязи, обобщать, прогнозировать и т. д.). Они используют для этого язык как особую символическую систему. Язык можно считать одним из мощнейших инструментов конструирования реальности, причем инструментом социального происхождения. Можно также без особого риска преувеличения утверждать, что конструктивистским духом проникнута и современная философия языка — от Л. Витгенштейна до Дж. Сёрля¹².

Если картина мира всякой человеческой общности конструируется через язык, а языки бывают разные, то отсюда можно сделать вывод, что образы реальности для носителей разных языков могут отличаться: эта тема обыгрывается в смелых и небесспорных концепциях лингвистической относительности Сепира — Уорфа.

Уже Канту, в его XVIII веке, было понятно, что познание, в том числе научное, — это не просто отражение. А если даже и отражение, то свойства зеркала имеют большое значение: то есть то, что в этом зеркале отображается, зависит от отображающего не менее, чем от отображаемого. И это стало еще яснее в XX веке — как до социологической экспансии в область философии науки (например, в конвенционализме А. Пуанкаре и К. Айдукевича), так и после нее (например, в социологии научного знания, в школе Д. Блуря, работах М. Малкея, К. Кнорр-Цетины, Б. Латура, С. Вулгара и др.). Понятийный аппарат, теоретические модели, логика и методология, способы интерпретации, работы с данными и постановки экспериментов — все эти параметры научного труда принципиальны для получаемого исследовательского результата и могут различаться в разных парадигмальных традициях и сообществах ученых. Так, принцип теоретической нагруженности наблюдений говорит нам о том, что ученые не просто достают «голые» факты из кладовой природы или общества, они их сразу же

¹² Последнему, в частности, принадлежит работа с прецедентным для нас названием — «Конструирование социальной реальности»/The Construction of Social Reality [Searle, 1997].

«одевают», упаковывают, фасуют, преподносят коллегам и внешней аудитории, ориентируясь на определенные (часто латентные) правила, принятые в их среде. Поэтому у социологически мыслящих ученых возникают все основания рассуждать об «эпистемических культурах», «социальной конструкции научного факта», как бы дико это для кого-то ни звучало.

Историки конструкционистской мысли обнаруживают сходные интенции в работах авторов, которых разделяют века, — от Джамбаттиста Вико до Гарольда Гарфинкеля:

...Гарфинкель <...> в конце своей карьеры стал изучать науку как институт. <...> Примером его исследований может послужить изучение практики и языка, которым следуют астрономы, когда «открывают пульсар». В ходе своих задокументированных наблюдений он отметил, как, используя приборы, научные обозначения, специфическую речь и «институциональную память» астрономии как дисциплины, астрономы «открывают» новый пульсар. Если этот пример вызывает у вас негодование, потому что «там», где телескоп «это» нашел, что-то было, обратите внимание, что Вико и большинство дискурсивных мыслителей не утверждают, что «там» ничего нет: просто они предполагают, что смысл явления и даже наши средства распознавания «этого» являются человеческими конструкциями. Вико говорил: «Давайте оставим полное понимание природы Богу; наша задача как людей, состоит в том, чтобы понять, каким образом мы через наши институты создаем свои варианты истины». В примере Гарфинкеля о пульсаре мы видим, как люди расширяют свои институты по мере того, как они именуют и обозначают области собственного опыта. Считать, что такие значения должны рассматриваться как единственно и объективно истинные, это примерно то же самое, как если бы мы считали, что деревья следует рассматривать только как «биологический ресурс», потому что такими их видит один человеческий институт (лесная промышленность). [Lock, Strong, 2010: 24—25]

Но пригодный для когнитивного и практического освоения мир конструируется любым сознанием — как научным, так и повседневным, и в любую эпоху — у современных людей и у их далеких предков. Более ста лет назад Дюркгейм и Мосс в своей классической работе о «первобытных классификациях» на богатом антропологическом материале показали, как коллективные представления людей, живших в дописьменных обществах, изоморфные социальной структуре конкретной группы (племени, клана, фратрии и т. д.), «размечают», «нарезают» и организуют вселенную аборигена, творя богов, священные объекты, светила, стороны света, населяют ее «своими» и «чужими», дружественными и враждебными элементами, животными, растениями, определяют взгляд на причинность, закономерности жизненного цикла, логику рождения и смерти, здоровья и болезни, в общем — формируют «матрицу» категорий, проецируемую на мир.

А еще много бывает на белом свете конструктивизмов? Эволюционная эпистемология, некоторые версии аналитической философии, уже упоминавшийся радикальный конструктивизм, Нельсон Гудмен, Ром Харре, фуколтианцы и критические дискурс-аналитики, многие социологи-теоретики «первого ряда известности», например, Бергер, Лукман, Элиас, Бурдьё, Гидденс, Гофман, — каждый

по-своему и все в разных смыслах¹³. Список этих конструктивизмов или как бы конструктивизмов, извлекаемых из идейных родословных разных дисциплин, можно расширять и далее.

Для чего, спрашивается, делался этот весьма фрагментарный экскурс? Для того чтобы обесмыслить саму номинацию «конструктивизм/конструкционизм» как слишком широкую, условно покрывающую и лишь поверхностно характеризующую крайне разнородную совокупность авторских теорий, исследовательских направлений и течений мысли (причем характеризующую их только до известной степени)? Пожалуй, все-таки нет!

Действительно, при определенном подходе к делу добрую треть истории философии и социально-гуманитарных наук можно преподнести читателю в конструкционистском ключе, но можно этого и не делать. Из приведенного экскурса вытекает лишь одно: конструктивистские мотивы могут быть обнаружены во множестве теорий, притом в разных областях знания (само употребление терминов, производных от слов «конструкция», «конструкт», «конструировать», не является здесь ни обязательным, ни первостепенным по значимости).

В любом случае термины конструктивизм/конструкционизм не могут употребляться с той же относительной четкостью как, например, такие понятия, как позитивизм, марксизм, фрейдизм, бихевиоризм, интеракционизм, экзистенциализм и т. д., так как они не выступают в качестве названия какого-то конкретного (пускай даже и весьма разветвленного) идейного течения. В данном случае мы имеем дело скорее с термином-рамкой, обладающим предельно растяжимыми границами, и это не значит, что его не имеет смысла употреблять вовсе, как и, наоборот, что его можно употреблять без всякого разбора.

Вполне естественно, однако, что сторонники конструктивизма ведут борьбу за собственную историю. Ярким примером может служить и книга Лока и Стронга. Поскольку в «серьезных кругах», тяготеющих, скорее, к научному реализму, о конструктивизме порой выражаются нелестно, усматривая в нем дань легковесной моде и своего рода интеллектуальное хулиганство, конструктивистам приходится защищаться.

Как мы видели, в случае с конструктивизмом приписываемая ему биография выглядит не менее почтенно, чем нынешнее его состояние. Чем благороднее и солиднее генеалогия, тем лучше: больше оснований для самоутверждения и проще противостоять оппонентам. Список классиков и авторитетных персон, которых берут в союзники и у которых вычитывают полезные идеи, влияет на текущий уровень респектабельности конструктивизма как особого стиля теоретизирования и стратегии исследовательских практик.

Конструктивизм versus конструкционизм

Любой заинтересованный читатель или пользователь всемирной паутины, захотевший самостоятельно разобраться в вопросе, чем отличается [социальный] конструктивизм от [социального] конструкционизма, скорее всего, будет разочарован, обескуражен или даже раздражен. Призывы некоторых популярных

¹³ Как было показано выше, в области социологической теории с известными оговорками (при желании) можно быть «конструктивистом» и «структуралистом» одновременно.

информационных ресурсов не путать эти понятия способны лишь усилить уровень неудовлетворенности. При этом путаница наблюдается отнюдь не только в русскоязычном сегменте глобального информационного пространства. Во многих случаях данные термины являются фактически взаимозаменяемыми, а в тех контекстах, где это не так, в дело вступают большей частью вкусовые лексические предпочтения. Поскольку история конструктивизма/конструкционизма, в том числе новейшая, напоминает судьбу ребенка, оставшегося на попечении семи нянек, наблюдаются разночтения даже в официальных именах воспитанника.

Психологи, в том числе практикующие, которые стремятся не только изучать процессы социального конструирования реальности, осуществляемого акторами, но и оптимизировать их в интересах своих клиентов и для достижения целей индивидуального психического здоровья, личностного роста, семейной гармонии, организационного развития, повышения уровня взаимопонимания, налаживания коммуникации, разрешения конфликтов и устранения дисфункций в групповых отношениях предпочитают термин «социальный конструкционизм».

Это относится, среди прочего, к некоторым консолидированным сообществам специалистов в указанной области, включающим как теоретиков и методологов, так и консультантов, психотерапевтов и тренеров. Примером такого профессионального коллектива единомышленников, территориально рассеянных по всему миру, можно считать Таосский Институт, вдохновителем создания и «идеологом» которого выступал Кеннет Герген — американский социальный психолог, взгляды которого рассматриваются в одной из глав настоящей книги. Собственно, Энди Лок и Том Стронг являются аффилированными членами этого сообщества и последователями Гергена, поэтому неудивительно, что заголовок их книги содержит именно термин «социальный конструкционизм» — с важным уточнением, что речь в их работе будет идти не только о теории (конструкционизме как сугубо исследовательском направлении), но и о практике в обозначенном выше понимании.

Во многих других случаях и контекстах термины «конструкционизм» и «конструктивизм» оказались перепутанными (без тяжких последствий) и реально накладываются друг на друга. Комплексы идей, скрывающиеся за терминами «конструкционизм» и «конструктивизм», как и сами эти собирательные понятия, похожи на сообщающиеся сосуды, стоящие в разных комнатах, но снабжаемые частично из общей, а частично из сепаратных систем водоснабжения. У приверженцев разных версий конструктивизма/конструкционизма разный образовательный бэкграунд, дисциплинарная идентичность, корпус чтения, среда профессиональных контактов. Однако это не мешает ни их диалогу, ни циркуляции ряда ценных идей в трансдисциплинарном интеллектуальном поле.

Правильной, единой, сквозной трансляции терминов «[социальный] конструктивизм» и «[социальный] конструкционизм», осуществляемой при переводе с одного языка на другой и обеспечивающей четкое понятийно-лексическое различие/несмешение первого и второго, не существует. Многолетние наблюдения за бытованием этих двух слов в языке российских гуманитарных наук свидетельствуют, на наш взгляд, о доминировании термина конструктивизм, ставшего более привычным и узнаваемым для отечественных читателей (видимо, хотя бы частично

из-за большей распространенности определенных переводческих решений) и, соответственно, более употребимым.

И наконец о книге Э. Лока и Т. Стронга

Предлагаемая книга знакомит читателя с вкладом теоретиков и школ, на разных этапах формировавших идейный фундамент социального конструкционизма как «парадигмы»¹⁴ в социальных и гуманитарных науках. Почему именно конструкционизм? Энди Лок и Том Стронг убеждены в его эвристическом потенциале для анализа человеческих обществ в условиях культурных столкновений и недопонимания, вызванных глобализационными процессами.

Данная книга — своего рода гид по ключевым концепциям, теоретически или методологически развивающим конструкционистское понимание социальной реальности. На этом пути встречаются философы (притом совершенно разных направлений), психологи, социологи, историки, языковеды и биологи, хотя основной упор делается все-таки на предметном поле психологии: оба автора специализируются в названной сфере и представляют соответствующие департаменты университетов Новой Зеландии и Канады — регионов хоть и культурно близких, но нанесенных почти на диаметрально противоположные участки глобуса. И действительно — сам конструкционистский дискурс сегодня является в некотором смысле мировым духовным поветрием.

Именно нуждами психологии как «материнской» для авторов дисциплины продиктованы две основные задачи книги. Авторы, с одной стороны, стремятся к корректировке ряда упрощенных, по их мнению, механистических представлений о человеке и человеческой деятельности, а с другой — пытаются показать, как конструкционистские идеи могут помочь преодолеть проблемы современной психологической исследовательской практики. Семнадцать глав книги решают означенные задачи в диахронном режиме. При этом попутчиками авторов становятся Дж. Вико, Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, А. Шютц, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, П. Рикёр, М. М. Бахтин, Л. С. Выготский, Дж. Г. Мид, Я. фон Иксюль, Л. Витгенштейн, Г. Бейтсон, Г. Гарфинкель, И. Гофман, Э. Гидденс, Н. Элиас, М. Фуко, Р. Харре, Дж. Шоттер, супруги К. и М. Герген и другие.

Можно спорить о представительности этого яркого списка, но нет сомнений — имена подобраны со вкусом и... знанием дела. Адресация к такому разносортному и мультидисциплинарному интеллектуальному иконостасу обеспечивает широту экспозиции темы и заставляет читателя лишней раз убедиться в том, что «призрак» конструктивизма/конструкционизма (совершенно независимо от употребления или неупотребления этого «трудного», семантически нечеткого термина как особой концептуальной номинации) на сцене исторической эволюции социально-гуманитарного знания является персонажем отнюдь не новым и весьма влиятельным. Главное же для комментатора и/или внимательного читателя — способность распознавать конкретные инкарнации упомянутого многоликого «призрака», умение

¹⁴ Вопрос о том, может ли социальный конструкционизм считаться «парадигмой» (в специально науковедческом/«новомском» смысле), разумеется, является дискуссионным.

Далее — в финальном разделе этого предисловия, где речь пойдет уже конкретно о книге Лока и Стронга, — мы будем употреблять по преимуществу термин «социальный конструкционизм» (а не конструктивизм), следуя за авторами, использующими его как ключевой концепт.

вытаскивать его за хвост из пучины истории идей и атрибутировать его специфические характеристики.

Энди (Эндрю) Лок — профессор университета Мэсси, Том Стронг — профессор университета Калгари. Территориально соавторов разделяет немелкий Тихий океан, но единомышленникам бывает и море по колено, ведь им нужно держаться вместе. Психологи-конструкционисты, вероятно, сравнительно более консолидированы, чем их коллеги из смежных дисциплин, в которых симпатизирующие конструкционистским идеям распределены более диффузно. И это потому, что они находятся в меньшинстве — даже если назвать их «сектой» было бы некоторым преувеличением. Чтобы эффективнее противостоять мейнстримным течениям в психологической науке и бороться с академическим истеблишментом, важно, среди прочего, «читать предков» и усиливать собственные позиции через обращение к наследию друзей и соседей по академическому миру, даже имеющих или имевших другую дисциплинарную идентичность.

Представляемая здесь родословная конструкционизма написана психологами, и, по-видимому, адресована главным образом психологической аудитории. Если бы она была написана, скажем, социологами или философами, акценты в ней были бы расставлены по-другому, набор имен и распределение материала были бы иными. Но это не значит, что перед нами книга по психологии. Среди героев исторической хроники конструкционизма, созданной Локом и Стронгом, психологов не так уж и много. Сами авторы «летописи» — убежденные конструкционисты, связанные со школой Гергена — Шоттера, поэтому книга носит в некотором роде апологетический характер: они не просто рассказывают о своем предмете, но агитируют за конструкционизм, причем конструкционизм вполне определенного толка.

Отбор фигурантов «[оправдательного] дела о конструкционизме», осуществляемый авторами, связан с их особыми предпочтениями, кругом чтения и во многом навеян — если угодно, вдохновлен — Дж. Шоттером и К. Гергеном как своего рода старшими товарищами, учителями и наставниками. Сами Лок и Стронг, сетуя на то, что книга и так получилась слишком объемная, честно признают: за бортом остались многие и многое — концепции постколониализма (Э. Саид, Х. Бхабха), феминизма (Дж. Батлер, Ю. Кристева) и постмодернизма (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр), Ж. Деррида, критическая теория Франкфуртской школы.

Говорить об «исчерпывающей» полноте галереи, видимо, не стоит. В линии прагматизма — интеракционизма выбор пал на Джорджа Герберта Мида, хотя в сходном ключе можно было бы анализировать работы У. Джемса (из категории философов и психологов) или Ч. Х. Кули (из категории социологов). Приятным сюрпризом для отечественного читателя может стать оценка вклада российской науки: на страницах книги рассматриваются воззрения Л. С. Выготского, М. М. Бахтина, а также идеи менее известного ученого бахтинского круга Валентина Волошинова, изложенные в работе «Марксизм и философия языка» и критическом очерке о фрейдизме. Авторы обходят стороной, то есть обходятся без корневой для современной психологии когнитивистской линии Ж. Пиаже — Дж. Брунера — Дж. Келли, а также без П. Вацлавика и связанной с ним междисциплинарной группы «радикальных конструктивистов» (хотя творчеству Грегори Бейтсона, сотрудничавшего

с Вацлавиком, посвящена целая глава). Среди биологов предпочтение отдается Якобу фон Икскулью (кстати, выходцу из Российской империи). Хотя на его месте могли легко оказаться Умберто Матурана и Франциско Варела или не такой «шокирующий», но не менее авторитетный Конрад Лоренц.

Феноменологическая традиция представлена стандартно, однако до обстоятельного обсуждения социально-конструкционистского теоретического синтеза, предложенного Бергером и Лукманом, дело не доходит. Отбор крупноформатных социологов происходит на букву «Г» (по принципу заглавной литеры), хотя отбор весьма достойных: Гарфинкель, Гофман, Гидденс. В этой компании явно не хватает П. Бурдьё¹⁵, хотя его отсутствие отчасти компенсируется изложением взглядов М. Фуко и критических дискурс-аналитиков. Все это мы, естественно, отмечаем не в плане критики, но лишь чтобы обозначить лакуны.

Этот идейно-концептуальный калейдоскоп, проецируемый на страницах книги, выглядит впечатляюще, поскольку задачу вычитать из наследия столь непохожих друг на друга ученых и мыслителей релевантные современным дискуссиям конструкционистские мотивы отнюдь нельзя считать тривиальной. И для этого не надо доказывать, что, мол, М. Хайдеггер или М. Бахтин, Н. Элиас или Г. Бейтсон были «на самом деле» образцовыми/закоренелыми конструкционистами.

«Благородные истины» социального конструкционизма.

Стремление к диалогу или раскачивание лодки?

Чем же является социальный конструкционизм для Лока и Стронга, на каких основаниях он держится? Конструкционизм — не единая школа, а «конгломерат подходов», скрепляемых, однако, «каркасом» взаимосвязанных положений, которые можно эксплицировать следующим образом.

Во-первых, человеческая деятельность содержит «неустранимое» смысловое измерение. Говоря в шютцеанской манере, реальность человеческой жизни есть «мир, светящийся смыслом». Циркулирование *смыслов* в этой реальности предполагает возможность их *понимания*, а сами они фиксируются на языковых носителях, то есть даны нам и другим похожим на нас существам в формах языка как особой символической системы.

Во-вторых, «смыслы и понимание возникают в процессе социального взаимодействия» [Lock, Strong, 2010: 7]. Трансляция смыслов (с многочисленными оговорками) оказывается возможной благодаря установлению определенного уровня *согласия* по поводу того, что понимать, как и каким способом. Иначе говоря, процессы обращения смыслов в мире культуры носят принципиально *интерсубъективный*, то есть социальный характер.

В-третьих, «в силу того, что способы создания смысла изначально заложены в социокультурные процессы, они специфичны для конкретных исторических периодов и территорий. Таким образом, значения тех или иных событий, характер их оценки и их понимание могут отличаться в разных ситуациях» [ibid.: 7]. Это значит, что фрагменты *интерсубъективного человеческого опыта* — формы обыденного и теоретического знания, обычаи, традиции, верования, институты — являются

¹⁵ Неслучайно ведь интегральный подход Бурдьё к изучению социальной реальности именуется генетическим (или конструктивистским) структуриализмом.

в высокой степени исторически вариативными (в диахронной оптике) и весьма дифференцированными (в синхронной).

Как учил провозвестник конструкционизма Дж. Вико, к позабытой мудрости которого авторы постоянно апеллируют: «к пониманию людей, того, что они делают и творят, следует подходить с учетом условий и практик, которые соответствуют их местоположению в их мирах, а не с точки зрения каких-либо общих стандартов и непреходящих принципов» [ibid.: 19].

Языки, как и культуры, бывают разные, хотя это и не следует понимать в духе абсолютного релятивизма (типа шпенглеровского). Адекватное познание смысла сделанного и сказанного потенциально возможно, но прежде всего в рамках конкретного социально-исторического «здесь и теперь». Множественность и разнообразие культурно сконструированных кодов, паттернов и языковых правил нередко приводит в замешательство участников социального, в том числе речевого, взаимодействия. Трудности, возникающие в процессе межкультурной коммуникации, эмпирически наглядно свидетельствуют о подобной плюральности норм и традиций, социально легитимированных привычек и обыкновений.

Иллюстраций здесь можно приводить тысячи. Пара примеров от авторов книги. Китайские руководители хотели накормить Ричарда Никсона лучшими кусками блюда из общей тарелки, но американский президент почему-то воспротивился, не оценив проявленного к нему высокого уважения. Прилагательное *bad* в одном и том же, казалось бы, английском языке, но в разных ситуационных контекстах и лингвокультурных средах может означать противоположные вещи, и лишь компетентный считыватель смыслов — практический пользователь арсеналов символических систем — в состоянии определить, похвалили или отругали в конкретном случае применения словесной формы человека, унизили или превознесли. Девушка, назвавшая своего приятеля в разговоре с подругой «настоящим плохим парнем», вероятно, сделала ему комплимент (хотя точно можно сказать, только учитывая весь комплекс сказанного, подразумеваемого, обстоятельства)¹⁶.

В-четвертых, из предыдущих пунктов вырастает «антиэссенциалистская» установка конструкционизма: «Если люди формируют себя в рамках изменяющихся социокультурных традиций, то они способствуют созданию дискурсов, которые они используют для определения самих себя. Таким образом, люди — это самоопределяющиеся и социально сконструированные участники в рамках их совместной жизни» [ibid.: 7]. Рассуждения о «сущности» человека, его «неизменной природе» всегда настораживают конструкционистов. Человеческая природа, что бы ни означало это содержательно мало определенное понятие (потребности, склонности, пути и механизмы их удовлетворения и реализации), весьма пластична. Здесь

¹⁶ В связи с этим вспоминается аналогичный пример из недавней истории корпоративного неформального языка сотрудников одного российского академического института: на жаргоне наиболее авторитетных его работников, которых нельзя было заподозрить в хамстве или фамильярности, ситуативно корректно употребленное слово «придурок» означало высшую степень похвалы, и приравнивалось по смыслу к развернутому выражению «человек, истинно и безоговорочно преданный науке». И все посвященные легко схватывали смысловой посыл этой игры слов, поскольку фактически обладали навыками «правильной» символической кодировки элементов социального миропорядка, использовавшейся в данной среде (несмотря на кажущуюся рассогласованность некоторых принятых в ней практик словоупотребления с усредненными нормами использования конкретных семантических единиц в более обширном языковом поле).

уместно сравнение с глиной: в самой структуре глины не заключено, что из нее будет вылеплено — амфора, горшок или детская игрушка. В этом смысле, «собой люди могут быть по-разному».

И, наконец, **в-пятых**, для конструкционизма характерна более или менее явно выраженная «критическая ориентация» как специфическая особенность взгляда на социальный мир. Она связана с пониманием того, что этот мир, в отличие от мира природы, мог бы быть другим, поскольку он в конечном счете творится людьми. основополагающий принцип «Новой науки о природе наций» Дж. Вико гласит: история творится самим человеком. В любых исторически сложившихся формах человеческих отношений — не только на уровне институтов, но и на уровне дискурса, в символических системах — воспроизводятся определенные структуры власти и доминирования, одни индивиды и группы в этих институциональных и языковых играх (и битвах) выигрывают, другие — проигрывают, находясь обычно в неравных условиях. И никакой из подобных раскладов сил нельзя считать данным «на веки вечные».

Позиция конструкционизма вполне согласуется с принципами «критической» теории, противопоставляющей себя теории «традиционной» (в терминологии Хоркхаймера и Маркузе). Нет великого блага в том, чтобы просто объяснять хитросплетения клубка социальных отношений! Поэтому не только старик Карл и со товарищи с их одиннадцатым Тезисом, но и конструкционисты хотели бы изменить мир к лучшему...

Конечно, не для всех персонажей истории, описываемой Локом и Стронгом, будут в полной мере верны все пять из озвученных «благородных истин». Это всего лишь идеализация картины, а дьявол и бог, как известно, проявляются в мелочах, то есть детали в рассматриваемых подходах имеют значение, и ими не следует пренебрегать.

Например, из идеи исторической относительности (релятивности) любых правил еще не следует с необходимостью целесообразность их разрушения. Конвенциональный и дискурсивный характер социальных норм (языка, морали, права, этикета, приличий и т. д.) не делает их бессмысленными. Если мы признаем условность, социально-культурно-историческую обусловленность, вариативность, сконструированность чего-то, то это не значит, что мы предлагаем это уничтожить. Мир держится на условностях — это нормально, как и нормально, с другой стороны, что эти условности могут со временем меняться.

Не раз подчеркивалось, что отсутствие эффективно работающих форм регламентации человеческих действий и соответствующих им систем субъективной мироориентации в сознании акторов мгновенно превратило бы социальную жизнь рода человеческого в кошмар, очень похожий на состояние гоббсовской войны «всех против всех». Именно поэтому приходится говорить о стремлении к согласию и поиске взаимопонимания как фундаментальных (хотя и все время норовящих ускользнуть) предпосылках социального порядка, организованного человеческого общежития как такового. Поэтому логика аргументации социального конструкционизма может быть как «революционно», так и «консервативно» ориентированной. А герой восьмой главы книги — Людвиг Витгенштейн, — напомним, заявлял, что философия должна «оставить все как есть».

Лок и Стронг, идущие по стопам К. Гергена, подчеркивают близость многих стартовых устремлений конструкционизма и постмодернизма. Симпатии к постмодернизму как к широкому идейному течению в конструкционистских кругах объяснимы. Если представлять идейную полемику последних десятилетий очень грубо, можно констатировать: конструкционисты и постмодернисты, упрекаемые их оппонентами в релятивизме и стремлении к подрыву основ мироздания, — на одной стороне баррикад; реалисты и эссенциалисты, упрекаемые в свою очередь их противниками в фундаментализме и попытках консервации статус-кво (кишащего всевозможными проявлениями социальной несправедливости, явной или скрытой) под видом борьбы против анархии и защиты «естественного порядка вещей», — на другой стороне.

Как замечает Кеннет Герген, «авторитетные заявления о природе мира сейчас повсеместно ставятся под сомнение; примеры „социальной конструкции чего-либо“ повсеместно подчеркивают культуральное и историческое значение того, что иначе считалось бы само собой разумеющимся» [Герген, 2016: 19—20]. А его супруга Мэри призывает «ставить под сомнение — но не отрицать — все лингвистические категории, и в особенности противостоять укоренению универсальных, вневременных категорий, включая гендерные» [Gergen, 2001, цит. по: Lock, Strong, 2010: 304]. Однако стремление к диалогу в этих трудных условиях «конца граннарративов» должно лишь обостряться. В современном глобализованном мире ни у кого нет исключительного права на обладание истиной. «В условиях постмодернизма личности существуют в состоянии постоянной конструкции и реконструкции; это мир, в котором возможно все, о чем можно договориться» [Gergen, 1991, цит. по: Lock, Strong, 2010: 302]. И договариваться, увы, приходится.

Мы уже попытались показать, что [социальный] конструкционизм и [социальный, научный] реализм в логическом, эмпирическом, прагматическом, моральном отношениях не непримиримы. (Как бы) «субъективные» социальные конструкты и (как бы) «объективные» социальные структуры сделаны из одного и того же материала, хотя и данного нам в отчасти несходных агрегатных состояниях: чувств, мыслей, суждений, настроений, слов, переходящих в поступки и обратно, поступков, переходящих в слова, представления, мнения, эмоции. В обоих случаях этих взаимных переходов наблюдается рутинизация, кристаллизация и институционализация социального вещества.

Социальные конструкты только «объективируясь» могут выступать в качестве более или менее надежного средства согласия и связующей силы в ситуациях интеракции. Если мы хотим чего-то вместе добиться, надо как-то координировать совместную деятельность, например, через принимаемое по умолчанию (или специально обсуждаемое) единообразие используемых в практической жизни знаковых форм и норм: если вы пилот, вам надо говорить с авиадиспетчером на одном профессиональном языке, в противном случае вы рискуете спровоцировать катастрофу¹⁷.

Конструкционистский и реалистский дискурсы в практической жизни сосуществуют, пересекаются, расширяя границы друг друга. Герген находит удачные образы для подтверждения такой взаимосвязи:

¹⁷ Здесь мы воспроизводим пример, приводимый Гергеном [Герген, 2016: 45].

Самые яркие конструкционисты будут полагаться на реалистскую традицию, когда будут учить своих детей «вот это — собака» и «вон то — кошка». И если бы конструкционист увидел, что его дом горит, и закричал «Бегите, пожар!», он вряд ли захотел бы, чтобы его семья посмотрела на него с подозрением и ответила «Ох, это всего лишь твоя конструкция происходящего». Конструкционист хотел бы, чтобы его предупреждение восприняли согласно реалистским условностям. Подобным образом те, кто принял принципы реализма, часто обращаются к арсеналу конструкционистских аргументов. Захотел ли бы самый преданный реалист убрать из своего репертуара такие кон-версационные ходы, как «Это лишь твоя версия», «Это культуральный миф», «Они все выдумывают», «Этот новостной репортаж искажен в пользу государства» и «Ты слишком жестко об этом высказываешься»? Даже эмпирик, не знакомый с конструкционистской теорией, может захотеть сказать: «Учитывая их теоретические убеждения, я могу понять, как они пришли к такому выводу» или «Физика, биология и психология являются разными способами концептуализации мира». [Герген, 2016: 42]

Возобновляя Methodenstreit: линия Вико против линии Декарта

Весьма сензитивной тематической областью для психологов-конструкционистов оказывается сфера методологической рефлексии, что отчасти можно объяснить их «уязвленным» положением в структуре профессионального сообщества: они если и не откровенные аутсайдеры, то, по крайней мере, ощущают себя находящимися в оппозиции к доминирующей исследовательской традиции в психологической науке. Никто из ученых не хочет чувствовать себя оттесненным на периферию развития своей научной отрасли.

В связи с этим Лок и Стронг неоднократно вспоминают знаменитый «спор о методе», так называемый Methodenstreit. В конце XIX века в методологии еще сравнительно молодых социальных и поведенческих наук наметился раскол. Сама усиленная методологическая рефлексия того времени стала, с одной стороны, естественной реакцией на эмансипацию наук о человеке от философии, уже частично состоявшуюся, а с другой — на искушения, которые нес с собой позитивизм.

В головах озабоченных методологическими проблемами человеко- и обществоведов вырисовывались две стратегии — конечно, не реальные, а, скорее, идеально-типические.

Либо науки о человеке и обществе идут по пути естествознания, стремясь во всем походить на Naturwissenschaften (науки о природе). Это позитивистски-натуралистическая линия, «объективистская», номотетическая, универалистская, «объясняющая». Социальные, культурные, психические, исторические феномены рассматриваются как подобласть царства механической причинности. Использование математических методов, моделей, измерений всего и вся приветствуется. А почему бы, в самом деле, их не применять, если человек — машина? В психологии оформляется бихевиоризм — взгляд на человека как на сложноорганизованную лабораторную крысу.

Либо нужно идти каким-то другим путем: своим, особенным, сохраняя самобытный статус Geisteswissenschaft (науки о духе), или, как вариант — Kulturwissenschaft (науки о культуре). Это «субъективистская», гуманистическая, интерпретативная, герменевтическая, историцистская, идиографическая линия. Наука погружена

в конкретную культуру, общих законов не выводим. Свой предмет не «объясняем», а пытаемся «понять»/истолковать, изучаем субъективное смысло- и целеполагание, практикуем либо эмпатию (вживание), углубленное историко-психологическое описание и толкование феноменов культуры (В. Дильтей), либо сложную рациональную реконструкцию социально и культурно обусловленных мотивов акторов и/или распутывание конкретно-исторических констелляций, образуемых комплексами ценностно окрашенных человеческих действий и порождаемых ими социальных отношений (М. Вебер).

Еще раз подчеркнем: это лишь воображаемые крайности, поскольку реальным исследовательским практикам в области наук о человеке обычно удавалось просачиваться между встававшими на их пути твердынями, комбинировать подходы и аналитические стратегии, исходя из текущих познавательных нужд.

Но все же спор о методе задавал определенные ориентиры. Экономисты, например, в основной массе (хотя и не все) предпочли первый из очерченных путей. Психология — тоже, правда, с гораздо меньшей категоричностью (исключений множество) — сделала выбор в пользу натурализма — сциентизма. Путь подражания естествознанию стал столбовой дорогой для продвижения большинства исследовательских инициатив и проектов в области социально-поведенческих наук, особенно проектов коллективных и эмпирических, требовавших мощной институциональной поддержки со стороны университетов. Так сформировался академический мейнстрим. Флагманом и образцом здесь на протяжении последнего столетия оставались исследовательские структуры Соединенных Штатов.

Но существовали и те, кто остался вне мейнстрима, причем вполне сознательно, и социальные психологи-конструкционисты относятся к данной категории. Обрисованная ситуация в чем-то напоминает сценарий ссоры «большевиков» и «меньшевиков»: первые оказались в большинстве и взяли власть, вторые остались в меньшинстве, став в истории движения своего рода укором для победителей.

В социологии картина складывалась отчасти похожая, но все же менее драматичная. Разные версии методологических сциентизмов — как теоретического, так и эмпирического покроя — доминировали в мировой, и прежде всего американской социологии, но это никогда не приводило к исчезновению многочисленных методологических альтернатив. Например, последние десятилетия наблюдается настоящий бум так называемых «качественных исследований», а их производители и поклонники не выглядят как затравленное научным истеблишментом меньшинство. Качественники, конечно, не победили количественников, и вряд ли им это удастся в обозримой перспективе, но в социологии сегодня они отнюдь не «в загоне».

Однако в теоретическом и историческом ракурсах важны аргументы спора между доминирующей и конкурирующей с ней, альтернативной методологическими стратегиями. И здесь психологи-конструкционисты используют ходы и фигуры, похожие на те, что неоднократно применялись в интерпретативной социологии — в частности, в социологии знания.

Весьма примечательный (и небесспорный для историка науки) факт: Лок и Стронг выводят магистральную методологическую линию, укрепившуюся в социальных науках, из наследия Декарта, а противостоящую ей, которую, по их мнению,

развивают конструкционисты, — из наследия Вико. Неаполитанский мыслитель предстает в книге как подлинный прародитель конструкционизма. «Современный интеллектуальный ландшафт выглядел бы совершенно иначе, если бы он был сформирован последователями Вико, а не последователями Декарта», — сетуют авторы книги [Lock, Strong, 2010: 19]. Позже они уточняют:

Существует контр-традиция, которая противоборствует традиции, укрепившейся в психологическом мейнстриме. <...> Она предоставляет более подходящие рамки для концептуализации и исследования насыщенной смыслами реальности человеческого существования, нежели доминирующая традиция. Наша исполненная значениями реальность гораздо «беспорядочнее», чем полагают наследники Декарта, и гораздо таинственнее. [ibid.: 353]

Спрашивается, чем же так плох Декарт¹⁸ и какие претензии можно предъявить картезианской модели научного знания? Взгляд декартовской науки на мир высокомерен, монологичен и авторитарен: есть познающий субъект и распростертая перед ним реальность, одна и та же, неизменная, которую он препарирует в своем мышлении при помощи определенного «стерильного» инструментария. Математика в этом смысле стерильна и универсальна, но способна своей стерильностью убить все живое, к чему прикасается. Субъект отделен от своего объекта идеально прозрачной пуленепробиваемой перегородкой¹⁹. Но «понятие Декарта о неопровержимой, объективной истине в единственном числе» с современной точки зрения не выдерживает критики, и ему конструкционисты противопоставляют позицию Вико: «истина кроется *внутри* человеческих институтов, и существует во множественном числе» [ibid.: 24].

Более развернуто эту позицию авторы выражают в следующих словах:

Как мы вообще могли прийти к такому убеждению, что может существовать истина в единственном числе, когда видов истины, относящейся к человеческим институтам, такое же изобилие, как видов культур, наук или даже семей? Там, где Декарт видит одну

¹⁸ Использование авторами книги именно фигуры Декарта как своего рода «мальчика для битья» может вызывать возражения и является во многом условным (на его месте мог бы оказаться кто-то другой). То же, впрочем, верно и в отношении его позитивного антагониста — Вико. Так, проводником и помощником в нелегком деле интерпретации авторами аутентичного наследия Вико становится Исая Берлин.

С другой стороны, Декарта с его *ego cogito* также можно считать провозвестником ряда конструктивистских идей. Неудивительно поэтому, что одна из ключевых работ Э. Гуссерля получила название «Картезианские медитации». Хотя Декарт, конечно, не был предтечей именно *социальной* или *социологической* версии современного конструктивизма.

¹⁹ Собственно, претензии к Декарту не новы: радикальное разведение субъекта и объекта, осуществленное на заре Нового времени в картезианской модели науки, может рассматриваться как метафизическая предпосылка для обоснования безграничной власти Субъекта над *всего лишь* объектом — миром вещей, неодушевленной природой, протяженной материей. И гордый человек-субъект нередко сам попадает в разряд «объектов», по собственному недосмотру и/или чужой инициативе. Конкретные люди и социальные общности (те, кому почему-то не повезло) всегда рискуют быть записанными кем-то из собратьев по разуму в категорию «недостаточно разумных», не дотягивающих до права выступать в роли полноценных Субъектов. Тем самым они обретают статус пассивных элементов предметного мира, подлежащих манипулированию, управлению, направлению, обработке, формовке, принудительной организации, координации, регламентации — технологическим воздействиям, проводимым в соответствии с логикой инструментальной рациональности во имя каких-то «высоких» ценностей, например, прогресса, национальных интересов, партии, народа, государства, отечества, будущих поколений, народного хозяйства, рынка, эффективности, продуктивности, результативности, скорости, инноваций, максимизации показателей, повышения конкурентоспособности и т. п.

всеобъемлющую, абсолютную истину, Вико видит множество истин, и все они встроены в созданные людьми и исторически обусловленные общественные отношения... Вико призывает нас принять сложность человеческих смыслов и их относительность и не покупаться на манящую внешним изяществом внечеловеческую рациональность Декарта. Декарт заявил одну созданную человеком модель рациональности как ту единственную, посредством которой знание «должно» быть познано. Вико взглянул вокруг и обнаружил множество моделей, возникших в процессе культурного и исторического развития. [Ibid.: 24—25]

Соотечественник и младший современник Декарта Блез Паскаль еще до рождения Вико заметил, что «истина по одну сторону Пиренеев становится заблуждением по другую» (правда, высказывание это содержало явный иронически-саркастический подтекст).

Мотивы критики здесь хорошо узнаваемы. Для представляемой Локом и Стронгом части профессионального сообщества программным произведением является статья К. Гергена «Социальная психология как история», доступная и русскоязычному читателю²⁰. Предмет социальных наук глубоко историчен, поэтому универсалистские амбиции картезианской методологии, имплантируемой в те или иные разделы общественнознания, постоянно дают сбой. Более того, если не существует вневременных, универсальных способов когнитивного и практического освоения мира, тогда привилегированный статус науки как такой формы знания, которая ошибаться не может (если мы все правильно сделали: посчитали, замерыли, изучили, проанализировали), улетучивается. Наконец, индивид, актер, пациент, клиент, респондент, информант, интервьюируемый, член контрольной или экспериментальной группы или любой другой социальной общности не является всего лишь «тривиальной машиной» (оборот Х. фон Фёрстера²¹), он чувствует себя «не номером, но свободным человеком», и не без оснований.

Модель универсального научного знания как продукт абсолютизации методологического опыта точных наук возникла в определенный период истории, а именно в эпоху раннего Нового времени в Западной Европе, и имела специфические социокультурные корни. На протяжении многих столетий, предшествовавших этой эпохе, человек не мог отважиться на такую «вселенскую дерзость». Гипертрофированный индивидуализм культуры нарождающегося модерна сделал человека — носителя научно-технического разума властелином мира, способным не только открывать его законы, но и использовать полученные знания как орудие его покорения. У названного идейного прорыва было множество следствий, как позитивных, так и негативных, и он во многом повлиял на формирование того общественного космоса, в котором проживают свои жизни современные люди. Но сам факт социально-исторической укорененности, и в этом смысле «относительности», картины мира картезианской науки вполне очевиден не только для новейших психологов-конструкционистов, но и, например, для классиков

²⁰ Герген К. Социальная психология как история (часть 1) // Психологическая сеть российского Интернета. 1998. URL: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/gergen1_1.htm (дата обращения: 02.09.2020)..

²¹ Кстати, тоже конструктивиста, но совсем другой школы.

социологии знания — Карла Мангейма и Макса Шелера, — о которых, кстати, Лок и Стронг не рассказывают.

Зачем сегодня читать книгу о социальном конструировании реальности и устройстве «матрицы» общественной жизни? Вопрос, во многом, риторический. С профессиональной и дидактической точек зрения, совместная работа «транс-тихоокеанского» альянса психологов представляет собой хоть и не исчерпывающее, но, как минимум, проблемно и тематически полихромное «Введение в социальный конструкционизм», и знакомство с ней может быть полезно как для действующих специалистов в области социальных исследований, так и для тех, кто еще учится. А с общемировоззренческой позиции, конструкционистские метафоры и описания социальной жизни помогают не только оценить вездесущность и виртуозность работы окружающих и вписанных в нас структур, их упрямый, «фактический» характер, но и осознать, что мы сами производим их на свет, и гибкость этого процесса может быть весьма значительной. И это отчасти сглаживает, хотя и не снимает полностью, то фундаментальное напряжение, которое встроено в отношения между структурами (самого разного происхождения и статуса) и шансами человеческой свободы.

Список литературы (References)

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 61—272.

Weber M. (1990) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. In: *Selected Works*. Moscow: Progress. P. 61—272. (In Russ.)

Герген К. Дж. Социальная конструкция в контексте / пер. с англ. А. А. Киселёвой, Ю. С. Вовк. Харьков: Гуманитарный центр, 2016.

Gergen K. J. (2016) *Social Construction in Context*. Kharkov: Gumanitarniy Tsent. (In Russ.)

Лукман Т. Социология: профессия и призвание / беседовала Е. Здравомыслова; пер. с англ. А. Ханжина // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 4. С. 5—14.

Luckmann T. (2002) *Sociology: Profession and Mission. An Interview*. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 5. No. 4. P. 5—14. (In Russ.)

Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания / пер. с англ. Ю. А. Данилова. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

Maturana H., Varela F. (2001) *The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding*. Moscow: Progress-Traditsiya. (In Russ.)

Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. Мюнхен: PHREN Verlag, 2000.

Tsokolov S. (2000) *Discourse of Radical Constructivism. Traditions of Skepticism in Modern Philosophy and Epistemology*. Munich: PHREN Verlag. (In Russ.)

Шюц [Шютц] А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / пер. с нем. и англ. В. Г. Николаева и др.; сост., общ. и науч. ред., послесл. Н. М. Смирновой. М.: РОССПЭН, 2004. Schütz A. (2004) Selected Works: The World Glowing with Sense. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Gergen K. J. (1991) *The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life*. New York, NY: Basic Books.

Gergen M. M. (2001) *Feminist Reconstructions in Psychology: Narrative, Gender and Performance*. Thousand Oaks, CA: Sage. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452220482>.

Lock A., Strong T. (2010) *Social Constructionism: Sources and Stirrings in Theory and Practice*. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815454>.

Searle J. R. (1997) *The Construction of Social Reality*. London: Free Press.

von Uexküll J. (2001/1936) An Introduction to Umwelt. *Semiotica*. Vol. 134. No. 1/4.. P. 107—110. <https://doi.org/10.1515/semi.2001.017>.

Watzlawick P. (ed.) (1998) *Die erfundene Wirklichkeit*. Munich: Piper Verlag. (In Germ.)

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1647



V. Shipovskaya

PATTERNS OF HEALTHY AGING AND HOUSEHOLD SIZE DYNAMICS IN WESTERN EUROPE

For citation:

Shipovskaya V. (2020) Patterns of Healthy Aging and Household Size Dynamics in Western Europe. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 93—118. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1647>.

Правильная ссылка на статью:

Шиповская В. И. Паттерны здорового старения и динамики размера домохозяйств в Западной Европе // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 93—118. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1647>. (In Eng.)

PATTERNS OF HEALTHY AGING AND HOUSEHOLD SIZE DYNAMICS IN WESTERN EUROPE

Valentina SHIPOVSKAYA¹ — M. A. in Social Sciences (Sociology and Gender Studies in 2013 at the University of Zurich, Switzerland), independent researcher and translator

E-MAIL: valenship@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5465-8196>

¹ Zurich, Switzerland

Abstract. The diversity of family structures and the quality of social relationships are closely tied to one another. Individual characteristics such as parenting, grandparenting, partnership, cohabitation, living apart together, living solo and other contextual factors (for instance, intergenerational help and care) shape partnership histories related to health dynamics; these histories vary greatly depending on gender and country. Over the last 20 years, researchers have considered the Northern Europe as a region of weak family ties and the Southern Europe as a region of strong family ties. This study interprets the household size as an age-related factor and focuses on two empirical questions: (1) Are there gender differences related to health patterns, and how do they change over time? (2) What kind of country-specific differences in the household size dynamics can be observed among West European men and women in the second part of life?

The study uses some descriptive elements of sequence analysis and regression analysis based on the panel data from seven waves of the SHARE project (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) collected between 2004

ПАТТЕРНЫ ЗДОРОВОГО СТАРЕНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗМЕРА ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

ШИПОВСКАЯ Валентина Ивановна — М. А. в социальных науках («Социология» и «Гендерные исследования» университета Цюриха, 2013), независимая исследовательница и переводчица, Цюрих, Швейцария

E-MAIL: valenship@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5465-8196>

Аннотация. Разнообразие семейных структур и качество социальных отношений неразрывно связаны друг с другом. Такие индивидуальные характеристики, как родительство, статус (пра)бабушки или (пра)дедушки, партнерство, сожительство, жизнь «по отдельности, но вместе», жизнь «соло» и другие контекстуальные факторы (например, режимы межпоколенческой помощи и заботы) формируют относящиеся к динамике здоровья партнерские истории, которые существенно различаются в зависимости от гендера и страны. Последние 20 лет исследователи характеризуют Северную Европу как регион слабых семейных связей и Южную Европу — как регион сильных семейных уз. Данное исследование использует размер домохозяйства как относящийся к возрасту фактор и фокусируется на двух эмпирических вопросах: (1) существуют ли гендерные различия в связанных со здоровьем паттернах и как они меняются с течением времени? (2) какого рода межстрановые различия динамики размера домохозяйств можно наблюдать среди мужчин и женщин Западной Европы во второй половине их жизни?

and 2017. The study shows that there are gender differences in the life-course transition to a single-person household. This type of household become more common with time and with individual's increasing age. The statistical patterns can be helpful in identifying those life stages that are crucial to stabilization of functional health within the context of demographic change.

Keywords: healthy aging, gender, family relations, life-course sociology, sequence analysis

Ethics statement. The SHARE project has been running since 2002. It was originally established at the Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) of the University of Mannheim. Since 2011, it is being operated under the umbrella of the Max Planck Society at the Max Planck Institute for Social Law and Social Policy and is centrally coordinated by the Munich Center for the Economics of Aging. The SHARE study was subject to several ethics reviews: The Ethics Committee of the University of Mannheim, Ethics Council of the Max Planck Society and by national ethics committees. This study was conducted in full accordance with the World Medical Association (WMA) (Declaration

В исследовании применяются описательные элементы частотного и регрессионного анализа, проведенного на панельных данных семи волн в рамках проекта SHARE (изучение здоровья, старения и пенсионирования в Европе), собранных между 2004 и 2017 гг. Исследование продемонстрировало, что существуют гендерные различия при переходе к домохозяйству, состоящему из одного человека. Такие домохозяйства становятся более распространены в обществе со временем, а также по мере повышения возраста индивидов. Подобные статистические паттерны могут быть полезны для идентификации таких фаз жизненного курса, которые особенно важны для стабилизации функционального здоровья в конкретном контексте демографических перемен.

Ключевые слова: здоровое старение, гендер, семейные отношения, социология жизненного курса, частотный анализ

Этическое заявление. Проект SHARE проводится с 2002 г. Изначально он был инициирован исследовательским институтом экономики старения университета Мангейма (MEA). С 2011 г. проект курируется Обществом научных исследований имени Макса Планка при Институте социального права и социальной политики имени Макса Планка, а также координируется центром экономики старения Мюнхена. Опросные методики SHARE контролируются различными этическими инстанциями: этическим комитетом университета Мангейма, этическим консульством Общества научных исследований имени Макса Планка и национальными этическими комитетами в конкрет-

of Helsinki, last revised at the 64th WMA Meeting held in Fortaleza, Brazil in October 2013). Written consents from all participants involved in this study were obtained.

ных странах. Сбор данных проведен в полном соответствии с международной медицинской ассоциацией WMA (Хельсинская декларация, последние правки занесены в октябре 2013 г. на 64-й WMA-встрече, состоявшейся в Форталезе, Бразилия). Письменное согласие всех вовлеченных в исследование участников было получено.

Introduction

The transformation of the traditional family has overlapped with population aging and increased the diversity of the life course trajectories. Moreover, partnership and family structures have become increasingly complex [Kalmijn, 2007; Oláh, Kotowska, Richter, 2018; Szydlik, 2016]. For example, many young and midlife adults experienced parental divorce as children. The likelihood of having married parents in adulthood has decreased during the past few decades. At the same time, the impact of typically life-long intergenerational support and exchange may become particularly vital in old age [Dykstra, Fokkema, 2011; Deindl, Brandt, Hank, 2016; Neuberger, Preisner, 2017].

Living into late old age has become, and will continue to be, a normal phenomenon in aging societies [Higgs, Jones, 2009; Höpflinger, 1999]. The quality of aging has to do the ways societies provide or fail to provide different health resources (economic, cultural, psychological, technical, and social) [Franks et al., 1992; Fingerman et al. 2020; Matthews, Manor, Power, 1999; Moss, 2002]. “Structural differences between youth and adults are [...] diminishing with regard to living arrangements; the proportion of one-person households in all age categories has rapidly increased, and marriage, in its legal form, has lost ground to cohabitation. Consequently, the age-heterogeneous group of “singles” and persons living together outside marriage indicates a reversal of the trend toward more strictly age-organized life stages” [Buchmann, 1989: 188].

Recent studies show that besides physiological differences of healthy aging, this discrepancy is related to different cultural and normative live conditions [Benson et al., 2018; Geronimus et al., 2006; Helfferich, 2017; O’Flaherty et al., 2016] and quality of the social environment [Antonucci, 2001; Umberson, Crosnoe, Reczek, 2010; Hank, Steinbach, 2018b; Temkina, Zdravomyslova, 2017]. This discrepancy may be also related to different psycho-social factors such as gender relationships and (dis) conformity [House, Landis, Umberson, 1988; Walker et al. 2009], intergenerational relationships [McLanahan, Percheski, 2008; Bertogg, Szydlik, 2016], intergenerational ambivalence [Lüscher, Hoff, 2013], “relational happiness” [Sarracino, Mikucka, 2014] and subjective dimensions of aging and health [Kneesebeck 1998; Kunst et al., 2005]. However, transition patterns into (late) adulthood show a greater variety. They become less age-graded, more extended, diversified, individualized, technologized, and digitalized. The language of “knowledge mobilization” could lead to partnering

with stakeholders such as government, patients and families and other service providers to promote needed changes [Ashmarina, Mantulenko, 2021; Dusseiller et al., 2006; Forrat, 2012; Guba, 2018; Klimczuk, 2015; Kuhlmann et al., 2018; König, Seifert, 2020; Margetts et al., 2015].

Although empirical evidence continues to show that the strongest predictor of health is the socio-economic status [O’Rand, Henretta, 1999; Grundy, Sloggett 2003], family and gender factors constitute an important intersection of health inequality that changes over time [Strauss et al., 1993; Calasanti, 2010; McDonough, Walters, 2001]. Private intergenerational relations are affected by societal circumstances, including welfare state regulations [Schmid, 2014; Isengard, 2018; Neuburger, Preisner, 2017]. Socioeconomic situation, health problems, and cultural norms contribute to intergenerational support patterns. This set of structures (systems of social stratification, institutional fields, social representations, and social policy arrangements) impacts opportunities to which a particular person is exposed [Rossi, Rossi, 1990; Bengtson, Roberts, 1991; Dykstra, Fokkema, 2011; Szydlik, 2012].

Relatively little research has examined the interplay between changing family dynamics and healthy aging [Doblhammer, Gumà, 2018; Nordenmark, 2004]. Interactions between collective experiences (in different welfare regimes and policy arrangements) and life situation (for example, help and care needs with age) lead to relevant questions: *How does the household size (variable “the number of people living in the respondents’ household”) change over time by gender and country in the context of healthy aging?* The purpose of this research is to discover empirically observable aging patterns with data from the SHARE project *among the same individuals in nine West European countries over 13 years.*

Theoretical background and previous studies

Human lives are typically embedded in social connections with family members, friends, and other social relationships across the lifespan. Social exchange, help, empathy, love, and support occur in part through these relationships. Many research areas include the relationship between the timing of lives, the biographical stage, linked or interdependent lives, a changing society [Arber, Evandrou, 1993; Henretta, 2010; Mortelmans, 2019; O’Flaherty et al., 2016].

Understanding social inequalities in health [Grundy, Sloggett 2003; Shanahan, Boardman, 2009; Blane et al., 2013] and overcoming vulnerabilities [Cullati, Burton-Jeangros, Abel, 2018; Spini et al., 2013] has been a central challenge in public health research and practice [Jacob et al., 2019]. The family life course framework articulates how the lives of individual family members are interconnected [Szydlik, 2012, 2016]. The connection between family and health should be also focused on the processes of kinship ties [Jakoby, 2008; Hank, Steinbach, 2018b], intergenerational transmission [Deindl, Brandt, Hank, 2016; Leopold, Kalmijn, 2016], and even romantic couple relationships [Verbakel, 2012; Kalmijn, 2017]. Lives of individuals within a family system, the events, trajectories, or transitions occurring within one family member’s life may have reverberating effects on the lives of the other members [Antonucci, 2001; Temkina, Zdravomyslova, 2017; Vorheyer, 2005]. A key facet of the process of cumulative inequality is

that early events set trajectories in motion that influence opportunities for future advancement [Studer, Liefbroer, Mooyaart, 2018].

Cultural norms may contribute to how parental transitions affect vulnerability and relationship quality [Cullati, Kliegel, Widmer, 2018; Umberson, Crosnoe, Reczek, 2010]. If we hope to achieve health equity for vulnerable populations the social environment must be taken into account. The concept of intergenerational ambivalence has become a widely accepted framework for the study of intergenerational relationships over the life course [Lüscher, Pillemer, 1998]. Ambivalence refers to experiences that occur between contradicting feelings, thoughts, desires, or social structures. This concept enables researchers to consider conflict and solidarity within one and the same relationship [Lüscher, Hoff, 2013; Spini et al., 2013; Widmer, Spini, 2017].

The welfare affects the capacity of how an individual can cope with critical events (help and/or care needs) and take advantage of social opportunities and intergenerational ambivalence [Abel, Schori, 2009; Agulló Tomás et al., 2013; Gazareth et al., 2018; Ilyin, 2019]. Governments have a key role to promote policy reforms to create a more egalitarian society by providing programs that support families. For example, family-centred care is an approach that defines the family as the unit of care. This philosophy serves to unite all healthcare providers in a common approach to working with families as partners in care. The goal of this discussion is to point to areas in need of development, with a particular focus on families in vulnerable circumstances [Arber, Evandrou, 1993; Cullati, Burton-Jeangros, Abel, 2018; Isengard, 2018; McNeill, 2010].

With the emergence of scientific evidence concerning the social determinants of health and overcoming vulnerabilities [Spini et al., 2013], governments, hospitals and formal care-providers must re-evaluate their role supporting families. Preventive planning helps to ensure that the diversity of families is respected and recognizes that equal care is often not enough to achieve health equity — that some family circumstances require additional understanding, support and services. A commitment to involving families in defining the important institutional parameters of family-centred care is of social importance. Combining health and social policy may be a fruitful way of achieving greater sectoral integration, re-balancing government support and simultaneously moving in a socially sustainable proactive way [Annandale, 2008; McNeill, 2010].

The life course approach has become a major research paradigm over the past decades. Life course research offers insight into the timing, mechanisms, and resources that shape observed inequalities in health. This framework is fundamentally concerned with the dynamic interaction between individual biography, structural context and cultural-historical time [Gabadinho et al. 2011; Kohli, Szydlik, 2000; Studer, Struffolino, Fasang, 2018; Ritschard, Studer, 2018].

Particularly longitudinal analysis is helpful for understanding, how intergenerational tensions change over time. The changing structure of the transition into (late) adulthood and aging in a cross-national perspective is “an appropriate testing ground for investigating the issue of age as a structuring principle of the life course. [...] A comparison of life course patterns in countries in which the state assumes a varying degree of responsibility would provide useful insight” [Buchmann, 1989: 189].

Empirical background

The empirical basis of this study is the balanced panel data from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-project¹, released between 2004 and 2017, seven waves over 13 years). The data is conducted once every 2—3 years and provides a suitable basis for the investigation of family and cultural-contextual factors in a comparable manner across countries [Börsch-Supan et al., 2008; Börsch-Supan et al., 2013; Börsch-Supan, Gruber 2020].

The SHARE survey did not have a uniform sampling design and varied from a simple random selection of households. In some cases, for example Denmark and Belgium, samples were drawn from the country's central population register. Belgium has the largest sample. The aim of the SHARE survey design is to be able to draw inferences about the population of people who are 50 years and older across countries by using probability-based sampling. This is a complex process since the samples in each country must do justice to national characteristics but at the same time be internationally comparable. In the ideal case, all countries included in SHARE would have a probability-based sample based on an official person register covering the population of interest. The choice of conducting a refreshment sample is largely up to the countries because they have to apply for their own funding to their national funding agencies. Because funding and sampling resources vary across participating countries, SHARE does not define a minimum net sample size [Bergmann, Kneip, De Luca, Scherpenzeel, 2019].

For a panel survey like the SHARE project, its value is strongly determined by the long-term participation of panel members over waves. “Only if persons can be observed multiple times as time passes by, it is possible to understand their individual ageing processes and to learn how respondents adapt to the changing environment over time. It is therefore of utmost importance to keep former respondents participating in the survey in order to exploit the full potential of SHARE regarding longitudinal analyses and conclusions” [Bergmann et al., 2019: 30].

In this study, refreshment is not included. It also could be a limitation of this study (Table 1, percentage from baseline). On the other side, the idea of this research design is to follow the same individuals over time and to find patterns of their life change [Abbott, 1983; Ritschard, Studer, 2018].

The sample for Western Europe in this study has 38,248 unique observations (person-years), every person was included seven times. Here we can observe the percentage by year, gender and country and obtain an overview of sample structure (Figure 1).

¹ This paper uses data from the generated easySHARE data set (DOI: 10.6103/SHARE.easy.700), for methodological details see: [Börsch-Supan, Gruber, 2019]. The easySHARE release 7.0.0 is based on SHARE Waves 1, 2, 3 (SHARELIFE), 4, 5, 6 and 7 (DOIs: 10.6103/SHARE.w1.700, 10.6103/SHARE.w2.700, 10.6103/SHARE.w3.700, 10.6103/SHARE.w4.700, 10.6103/SHARE.w5.700, 10.6103/SHARE.w6.700). The SHARE data collection has been funded by the European Commission through the 5th Framework Programme (project QLK6-CT-2001-00360 in the thematic programme Quality of Life), through the 6th Framework Programme (projects SHARE-I3, RII-CT-2006-062193, COMPARE, CIT5-CT-2005-028857, and SHARELIFE, CIT4-CT-2006-028812) and through the 7th Framework Programme (SHARE-PREP, N211909, SHARE-LEAP, N227822 and SHARE M4, N261982). Additional funding from the U. S. National Institute on Aging (U01 AG09740—13S2, P01AG005842, P01AG08291, P30AG12815, R21AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG BSR 06-11 and OGHA 04-064) and the German Ministry of Education and Research as well as from various national sources is gratefully acknowledged (see www.share-project.org for a full list of funding institutions).

Table 1. Sample size for balanced panel data by country and gender

Country	Total number of panel participants (7 waves)	Percentage from baseline sample (wave 1)*	Men	Women
Austria	304	19.4%	115	189
Belgium	1167	30.6%	514	653
Denmark	531	31.1%	232	299
France	568	18.2%	228	340
Germany	476	15.9%	211	265
Italy	831	32.6%	355	476
Spain	596	25.7%	234	362
Sweden	651	21.4%	271	380
Switzerland	340	34.1%	151	189
Total	5464	24.7%	2311	3153

* This percentage is based on the Table 8 from the Technical Paper [Bergmann, Kneip, De Luca, Scherpenzeel, 2019: 24].

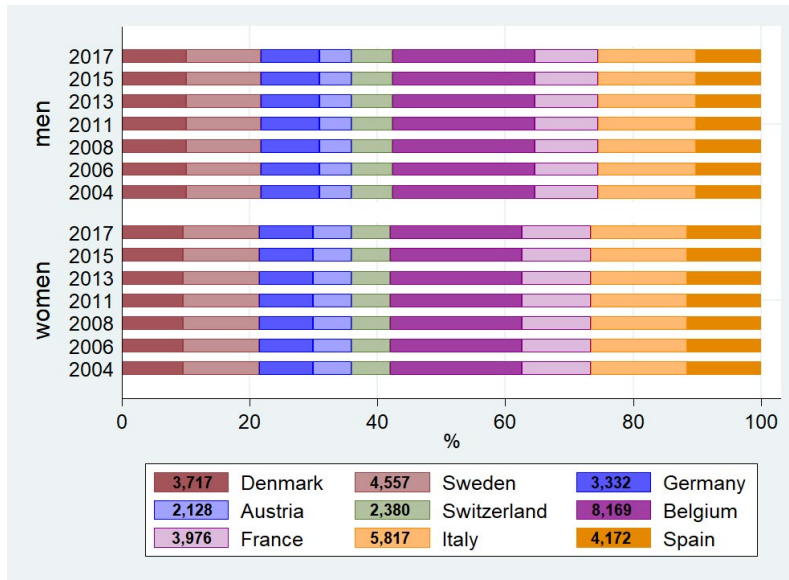


Figure 1. The balanced panel for men and women.

Source: SHARE, n (person-years) = 38,248, own calculation

The SHARE-survey took place in 2004—2017 among individuals aged 50 years (for this paper 40 plus years included possible younger partners of the respondents at the beginning of the survey). Computer-assisted personal interviews were conducted [World Medical Association, 2013]. Self-completion questionnaires and measurement of some biomarkers supplemented these interviews (here: maximum grip strength measure (kg) as an indicator of functional health). The gender gap in healthy aging could be demonstrated by the model from life course epidemiology proposed by

Strachan and Sheikh [Kuh, Shlomo, Ezra, 2004; Strachan, Sheikh, 2004]. This model stems from the argument that “[...] if differences in the social environment are related to health, then differences in social dimensions might be important for clarifying the social distribution of health deficits” [Stringhini, 2016: 153]. It also shows the constant gender gap in physical health with non-parallel trends [Shipovskaya, 2014].

Intergenerational family relations might impact individuals’ health just as health might affect intergenerational relationships in the family. “In the following, we consider both causal directions [...]” [Hank, Steinbach, 2018a: 30]. Moreover, the balanced panel allows us to deal with causality [Giesselmann, Windzio, 2012; Lopez, Weber, 2017]. How can we observe the data structure as the dynamic of functional health over the second part of life? A possible description is to take age as a large-scaled variable and to pool all observations with different health measurements together. Now it represents the time-axis including change of functional health over 13 years with hidden patterns of life course behind subpopulations (Figure 2, polynomial regression trendlines with 95 % confidence intervals).

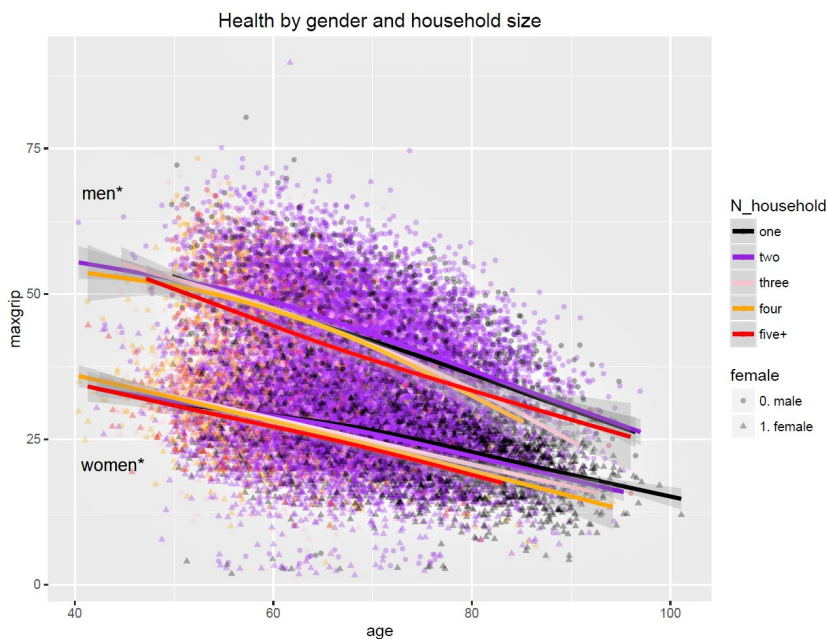


Figure 2. Gender-related functional health trajectories in Western Europe (predictions).

Source: SHARE, balanced pooled panel 2004—2017 (1—7 waves), n (person-years) = 36,354, excluded cases without (or not valid) measurement of the maximum grip strength (kg), own calculations

The decline of the biometrical indicator “maximal grip strength, kg” (maxgrip as OY-axis) is a valid indicator of functional aging [more about this non-disease biomarker — Andersen-Ranberg et al., 2009]. In order to discover the hidden patterns of the household size by gender, we plot functional health and age (age 40 plus as the OX-axis). The life course curves [Strachan, Sheikh, 2004] in the second part of life have some

differences by gender and inside gender. As pooled balanced panel data suppose, there is progressive aging of the sample, a part of this decline could also reflect life course and gender effects. This model shows the gender-related decline of functional health for different subgroups according to household size. The hidden patterns we can observe show that women living in the one-person household are most visible at the end of life. To find more patterns of household size dynamics is an empirical goal of this research.

Results and interpretation

Gender and household size as health-related resources

The relevance of the question “How individual life courses are culturally specific?” could have a health dimension [Shanahan, Boardman, 2009; Blane et al., 2013]. Normative constructions of femininity, masculinity, health, sexuality, age, and typical life-stage roles in aging societies might be socially or culturally determined as generational disagreements or conflict with different degree of essentialist ideas of who women are and what they are biologically wired to do [Bourdieu, 2001; Buchmann, 1989; Winkler, Degele, 2011; Winch, Littler, Keller, 2016]. The example of this essentialist viewpoint leads to a discursive definition of gender as a stable category with the consequence, that female relationships become domesticated and familial [Antonucci, 2001; Calasanti, 2010; Moss, 2002; Omel’chenko, 2000; Temkina, Zdravomyslova, 2017; Utrata, 2011].

Family relations in the second part of life usually include living in a couple in the same household. It could be the spouse, partner, other family member or kin/relative (intragenerational or intergenerational help and care community). As we can see, the dimension of social relationships “two persons in the same household” is most common. Of special interest could be the empirical insight into the household size pattern by gender (Figure 3 and Figure 4):

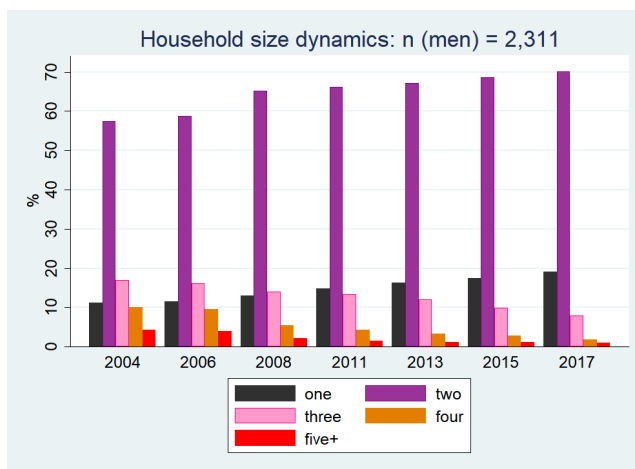


Figure 3. Men in Western Europe and their household size dynamics.

Source: SHARE, balanced panel 2004—2017 (1—7 waves),
 n (person-years) = 16,177, own calculation

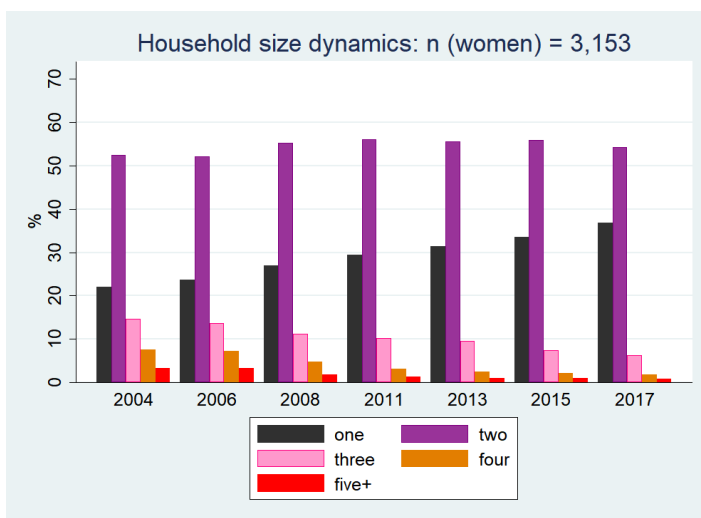


Figure 4. Women in Western Europe and their household size dynamics.
Source: SHARE, balanced panel 2004—2017 (1—7 waves),
n (person-years) = 22,071, own calculation

Families and social ties constitute the closest social environment. Scholars integrated the concepts of the individual life course and family development into the family life course framework. They focus on the intergenerational ties (e. g. between parents and grown children) and on the intragenerational ties (e. g. between siblings) in the context of broader societal changes. At the same time, growing family diversity requires careful consideration of family complexity including singlehood, nonmarital and same-sex unions, social parenthood, and post-divorce family arrangements [McLanahan, Percheski, 2008; Kalmijn, 2007; 2017].

Research and interventions need to understand gender relations as daily interactions shaped by the immediate forces of institutions and social ties [Antonucci, 2001; Hankivsky, 2012; Nordenmark, 2004; Umberson, Crosnoe, Reczek, 2010; Temkina, Zdravomyslova, 2017]. The phenomena of gender-related healthy aging (including femininity, masculinity, cross-gender attributes, living arrangements, social cooperation, etc.) can be consequently interpreted and understood by studying the development of health-related reserves [Cullati, Kliegel, Widmer, 2018]. Families shape health by providing resources and strains that protect or provide the health of their members with health-related opportunities for resilience. However, access to health knowledge and information does not necessarily change gender-based health behaviours. Furthermore, “[g]ender relations generally go unchallenged because they are embedded in taken-for-granted routines of such social institutions as paid work and family life” [Calasanti, 2010: 721].

On the other side, contemporary discourses on aging are usually “feminized”, and as such report little on the experiences of older men [Fleming, 1999; Schmid, 2014]. Older single men often have poorly developed social and family networks leaving them at a disadvantage. They could be literally “invisible” for the discursive praxis [Thompson,

1994]. Focus on gender relations could help us to understand how subpopulations experience similar health conditions in different ways [Annandale, 2008; Shipovskaya, 2014; Ramos Toro, 2017]. The pattern of household size dynamics in Western Europe is different for men and women: more women are living in a one-person household or making this transition. The next description shows us patterns of household size dynamics in a longitudinal format as sequence graphs [Gabadinho et al., 2011] for two genders (Figure 5).

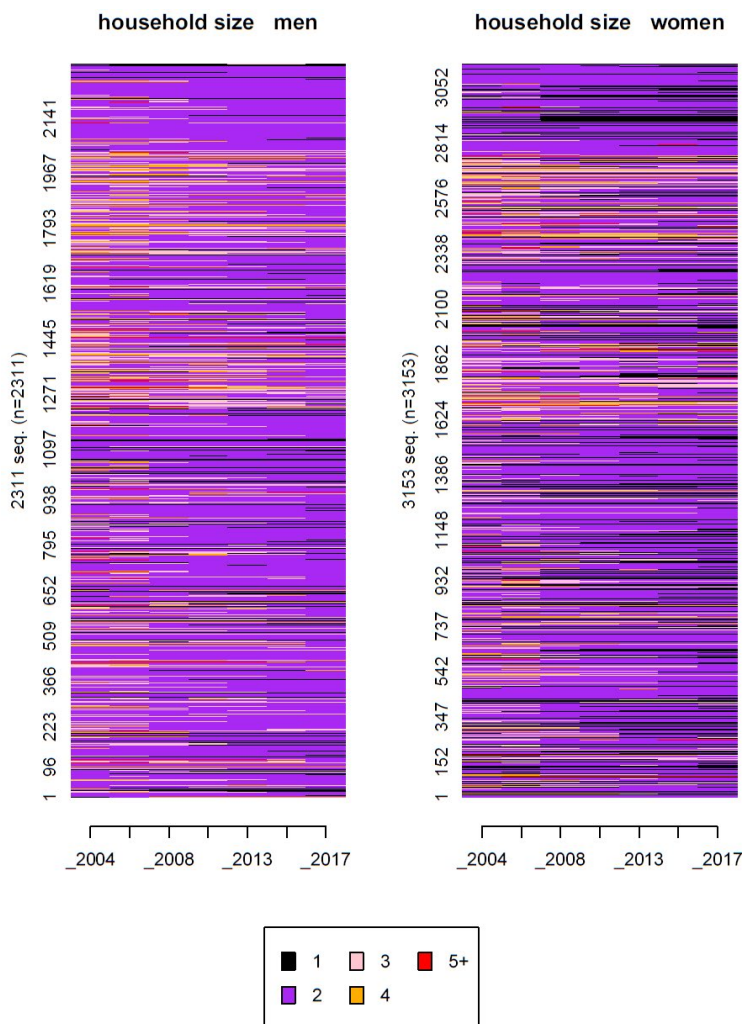


Figure 5. Sequence graphs of changing household size for two genders in Western Europe.

Source: SHARE, balanced panel 2004—2017 (1—7 waves),

n (person-years) = 38,248, own calculations

Individual life situations show their statistical dynamics over time as the complex changes in positive and negative relationship qualities, ambivalence, and intergenerational support. We observe a decrease in family size, an increase in the rate of divorce, an increase in the number of children born outside marriage, a large rise of single-mother families, of paternal absenteeism, of cohabitation, of serial monogamy and different varieties of living arrangements [Fingerman et al., 2020; Isengard, 2018; Szydlik, 2016]. Linked lives and cumulative inequality discuss how intergenerational concepts could be integrated to examine the transmission of advantage and disadvantage across multiple generations. For example, the concept of vulnerability should incorporate the factors that protect people from health risks or may convert coping with vulnerability into growth [Spini et al., 2013; Widmer, Spini, 2017]. Future analyses need to account more generally for partnership status in different normative contexts [Schroedter, Rössel, Datler, 2015]. A better understanding of the socio-biological mechanisms involved in gender differences would be useful for better targeting public health interventions aimed at reducing health inequalities for men and women in different cultures. [Umberson, Karas Montez, 2010].

Country differences in household size dynamics

Paying attention to changing historical and normative conditions has an epistemic value for theoretical and empirical framing of intergenerational studies and their health impact [Arpino et al., 2013; Doblhammer, Gumà, 2018; Fingerman et al. 2020]. It gives us the first empirical insides into possible explanations, how macro structures intersect with unequal distributed opportunities. The integration of life course and welfare state theory help to link individual trajectories with their broader social contexts and the institutional factors that shape health inequalities over time.

The welfare state conditions and cultural context do have a different perception of family support [Brandt, Haberkern, Szydlik, 2009; Correia, Carapinheiro, Serra, 2015; Hank, Steinbach, 2018b]. According to theories [Dykstra, Fokkema, 2011] and previous studies [Kunst et al., 2005; Brandt, Haberkern, Szydlik, 2009; Schmid, 2014; Neuberger, Preisner, 2017], cultural-contextual structures have a decisive influence on support in the family, especially in countries with a high level of intergenerational care needs and a high degree of the family obligation norm (e. g. South Europe).

Differences in intergenerational family solidarity patterns in Western Europe tend to be described in terms of a north-south gradient. In weak family areas, individualistic values tend to dominate, whereas collectivistic values predominate in strong family contexts [Fingerman et al., 2020]. To better understand the country differences they were grouped into five clusters (the same logic as by Figure 1) according to the intergenerational help and care regime and family policy [Brandt, Haberkern, Szydlik, 2009; Dykstra, Fokkema, 2011; Esping-Andersen, 1999]:

1. *Denmark, Sweden*: the Scandinavian well-developed services for all citizens.
2. *Austria, Germany*: less developed family support (intergenerational transfers).
3. *France, Belgium*: family policy pioneers with pronounced childcare services.
4. *Italy, Spain*: the Mediterranean familialistic regimes (less support by the state).
5. *Switzerland*: a hybrid between a conservative and liberal regime.

As we can see (Figure 6 and Figure 7), the prevalence of the situation “more than one or two persons living in the same household” is higher in the Southern European

cluster (Italy and Spain). We can also notice more one-person households among women compared to men.

Generation, age and gender norms are conceptualized at a point in time to a large degree depend on normative cultural context and their change. Traditional family relations seem more fractured because of the intrusion of unpaid work into a family, the uncertainty of employment, and limited support of the welfare state to vulnerable social groups. The process of coping with ambivalence and vulnerability has the potential to develop new forms of common action in social creative forms [Widmer, Spini, 2017; Oláh, Kotowska, Richter, 2018].

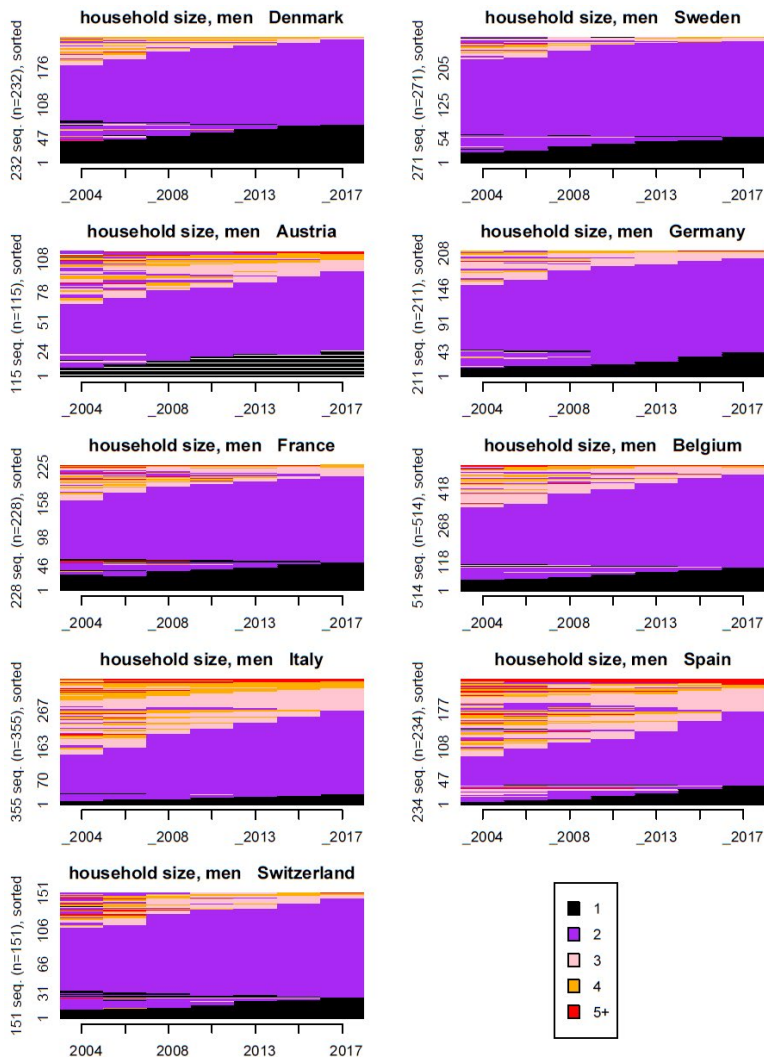


Figure 6. Sequence graphs of household size dynamics for men in different countries.

Source: SHARE, balanced panel 2004—2017 (1—7 waves), n (person) = 2,311, own calculations

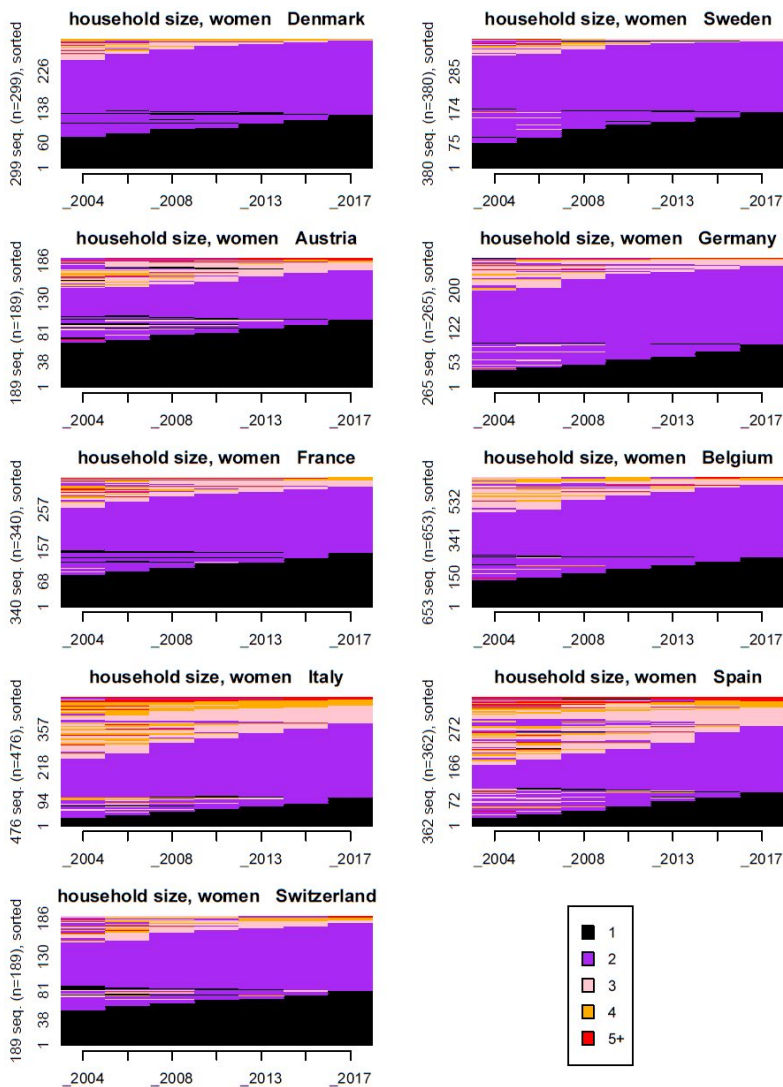


Figure 7. Sequence graphs of household size dynamics for women in different countries.

Source: SHARE, balanced panel 2004—2017 (1—7 waves), n (person) = 3,153, own calculations

Feminist gerontology can contribute to an understanding of “intergenerationality” and stereotypes connecting to health status, ageism and sexism [Moss, 2002; Winkler, Degele, 2011]. In intergenerational feminist studies issues of “generation”, “intergeneration”, and “transgeneration” are reflecting different languages of moral panic and identity politics [Winch et al., 2016] in connection to (re)productive cultures [Abramova et al., 2018; Lettow, 2011; Kosterina, 2011; Kuleshova, 2015], family-centred care and individual choices [Calasanti, 2010; Hankivsky, 2012; Henretta, 2010; Macmillan, Copher, 2005].

Conclusion

Life course epidemiology is now an established field in demography and social epidemiology [Jacob et al., 2019; Kuh, Shlomo, Ezra, 2004]. Patterns of family/household structures and partnership dynamics could be used to identify the life course trajectories at which health differences emerge [Cullati, Burton-Jeangros, Abel, 2018]. The present study adds to a growing body of research evidence indicating that gender differences are substantial, comparable across countries with diverse welfare conditions. Nevertheless, studying the family ties dynamics will help us to see beyond the complexity of healthy aging in different institutional and normative settings [Buchmann, 1989; Isengard, 2018; Kalmijn, 2017; Lüscher, Hoff, 2013; Mortelmans, 2019; Neuberger, Preisner, 2017; Szydlik, 2016; Willis, Martin, 2005].

Most social networks center on family. Family may play an important role in shaping health trajectories [Franks et al., 1992; Hank, Steinbach, 2018a; McLanahan, Percheski, 2008]. At the same time, the emergence of new social norms (singlehood or one-person household during the second part of life) has led to new typical family formation pathways and their consequences for aging [Studer, Liefbroer, Mooyaart, 2018]. The relationship between household structure and health does not follow a simple married-not married distinction [Kalmijn, 2007]. Multigenerational families with co-residence with children and grandchildren or others as a more complex case may be a response to economic support or may reflect cultural traditions that emphasize kin solidarity and kinship relations. Family process involves the bonds between the adults of different generations: midlife parents and young adult offspring, aging parents and midlife adult offspring, grandparents and grandchildren, and even great grandparents and great grandchildren [Haberkern, Schmid, Szydlik, 2015; Höpflinger, 1999; Igel, 2011; Nomaguchi, Milkie, 2020].

Social science is intended to predict the course of societal change. Demographic aging has led to de-standardization and diversification of family trajectories. Intergenerational ambivalence in typically biographical transitions can help us to explain how social structures create tensions in intra- and intergenerational relationships [Dykstra, Fokkema, 2011; Brandt, Haberkern, Szydlik, 2009; Hank, Steinbach, 2018b]. Factors regarding the constellation of family members and care needs are reflected in the qualities of ties between adults and parents and intergenerational relations in changing family contexts. The health consequences of non-traditional biographies could be the agenda for future researches. "Instead of the ideas of permanence, ultimate achievement, and commitment, the images of flexibility, choice, and self-exploration emerge. In this changed symbolic system, the individual is understood as an entity developing and growing throughout his or her lifetime. Thus, adult life in the private sphere is turned into a lifetime of choice instead of a period of stability reached by having made permanent achievements" [Buchmann, 1989: 61].

The structural framework of family roles is elaborated by the qualities of family relationships, which emerge from the day-to-day patterning of social interactions between and among family members [Hankivsky, 2012; Umberson, Crosnoe, Reczek, 2010]. Each family role and family period carries normative expectations and obligations. Normative prescriptions vary in strength to define personal identity [Antonucci, 2001; Calasanti, 2010; Temkina, Zdravomyslova, 2017]. We must re-evaluate our thinking

about the social functions of traditional marriage with their health protection aspects. Especially for those who are not married and do not have children, the question is how alternative sources of integration and intimate ties outside of the household can help people in leading happy and healthy life [Kalmijn, 2017]. Perhaps it is more the type of spouse and the quality of social interactions in a relationship (for example, positive reciprocity with the balance of the paid and unpaid work) that matters and not marriage itself. A life-course approach should incorporate values-based actions that are appropriate to transitions in life and confer benefits to the whole population across the lifespan and future generations.

References

- Abbott A. (1983) Sequences of Social Events: Concepts and Methods for the Analysis of Order in Social Processes. *Historical Methods*. Vol. 16. No. 4. P. 129—147. <https://doi.org/10.1080/01615440.1983.10594107>.
- Abel T., Schori D. (2009) Der Capability-Ansatz in der Gesundheitsförderung: Ansatzpunkte für eine Neuausrichtung der Ungleichheitsforschung. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*. Vol. 34. P. 48—64. <https://doi.org/10.1007/s11614-009-0012-9>. (In German)
- Abramova M. O., Sukhushina E. V., Rykun A. Y. (2018) Reproduction of Masculinity: Family as a Pivotal Agent of Socialization. *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. No. 41. P. 80—89. <https://www.doi.org/10.17223/1998863X/41/10>. (In Russ.)
- Абрамова М. О., Сухушина Е. В., Рыкун А. Ю. Воспроизводство маскулинности: семья как основной агент социализации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 41. С. 80—89. <https://www.doi.org/10.17223/1998863X/41/10>.
- Agulló Tomás M. S., Veira-Ramos A., Gómez García M. V. P., Agulló Tomás E. (2013) La Exclusión Silenciosa: Mayores, Cuidadores y Programas Para la Inclusión. In: Vargas-Jiménez E., Agulló E., Castro R., Medina R. (eds.) *Repensando la Inclusión Social: Aportes y Estrategias Frente a la Exclusión Social*. Oviedo: Eikasía. P. 209—239 (In Spanish).
- Andersen-Ranberg K., Petersen I., Frederiksen H., Mackenbach J. P., Christensen K. (2009) Cross-National Differences in Grip Strength among 50+ Year-Old Europeans: Results from the SHARE Study. *European Journal of Ageing*. Vol. 6. No. 3. P. 227—236. <https://doi.org/10.1007/s10433-009-0128-6>.
- Annandale E. (2008) *Women's Health and Social Change*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203644713>.
- Antonucci T. C. (2001) Social Relations: An Examination of Social Networks, Social Support and Sense of Control. In: Birren J. E., Schaie K. W. (eds.) *Handbook of the Psychology of Ageing*. New York, NY: Academic Press. P. 427—453.
- Arber S., Evandrou M. (eds.) (1993) *Ageing, Independence and the Life Course*. London; Bristol, PA: Jessica Kingsley.

Arpino B., Tavares L. P. (2013) Fertility and Values in Italy and Spain: A Look at Regional Differences within the European Context. *Population Review*. Vol. 52. No. 1. P. 62—86. <https://doi.org/10.1353/prv.2013.0004>.

Ashmarina S. I., Mantulenko V. V. (eds.) (2021) Current Achievements, Challenges and Digital Chances of Knowledge Based Economy. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-47458-4>.

Bengtson V. L., Roberts R. E. L. (1991) Intergenerational Solidarity in Aging Families: An Example of Formal Theory Construction. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 53. No. 4. P. 856—870. <https://doi.org/10.2307/352993>.

Benson R., Glaser K., Corna L. M., Platts L. G., Di Gessa G., Worts D., Price D., McDonough P., Sacker A. (2018) Do Work and Family Care Histories Predict Health in Older Women? *European Journal of Public Health*. Vol. 27. No. 6. P. 1010—1015. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx128>.

Bergmann M., Kneip T., De Luca G., Scherpenzeel A. (2019) Survey participation in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), Wave 1—7, Working Paper Series 41, SHARE. www.share-project.org/uploads/tx_sharepublications/WP_Series_41_2019_Bergmann_et_al.pdf (accessed: 08.08.2020).

Bertogg A., Szydlik M. (2016) The Closeness of Young Adults' Relationships with Their Parents. *Swiss Journal of Sociology*. Vol. 42. No. 1. P. 41—59. <https://doi.org/10.1515/sjs-2016-0003>.

Blane D., Kelly-Irving M., D'Errico A., Bartley M., Montgomery S. (2013) Social-Biological Transitions: How Does the Social Become Biological? *Longitudinal and Life Course Studies*. Vol. 4. No. 2. P. 136—146. <http://dx.doi.org/10.14301/llcs.v4i2.236>.

Börsch-Supan A., Brugiavini A., Jürges H., Kapteyn A., Mackenbach J., Siegrist J., Weber G. (eds.) (2008) First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2004—2007). Starting the Longitudinal Dimension. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Ageing. www.share-project.org/uploads/tx_sharepublications/BuchSHAREganz250808.pdf (accessed: 08.08.2020).

Börsch-Supan A., Brandt M., Hunkler C., Kneip T., Korbmacher J., Malter F., Schaan B., Stuck S., Zuber S. (2013) Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). *International Journal of Epidemiology*. <https://doi.org/10.1093/ije/dyt088>.

Börsch-Supan A., Gruber S. (2020). easySHARE. Release version: 7.1.0. SHARE-ERIC. Data set. <https://doi.org/10.6103/SHARE.easy.710>.

Bourdieu P. (2001) *Masculine Domination*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Brandt M., Haberkern K., Szydlik M. (2009) Intergenerational Help and Care in Europe. *European Sociological Review*. Vol. 25. No. 5. P. 585—601. <https://doi.org/10.1093/esr/jcn076>.

Buchmann M. (1989) *The Script of Life in Modern Society: Entry into Adulthood in a Changing World*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- Calasanti T. (2010) Gender Relations and Applied Research on Aging. *The Gerontologist*. Vol. 50. No. 6. P. 720—734. <https://doi.org/10.1093/geront/gnq085>.
- Correia T., Carapineiro G., Serra H. (2015) The State and Medicine in the Governance of Health Care in Portugal. In: Carvalho T., Santiago R. (eds.) *Professionalism, Managerialism and Reform in Higher Education and the Health Services*. London: Palgrave Macmillan. P. 151—171. https://doi.org/10.1057/9781137487001_9.
- Cullati S., Burton-Jeangros C., Abel T. (2018) Vulnerability in Health Trajectories: Life Course Perspectives. *Swiss Journal of Sociology*. Vol. 44. No. 2. P. 203—215. <https://doi.org/10.1515/sjs-2018-0009>.
- Cullati S., Kliegel M., Widmer E. (2018) Development of Reserves Over the Life Course and Onset of Vulnerability in Later Life. *Nature Human Behaviour*. Vol. 2. No. 8. P. 551—558. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0395-3>.
- Deindl C., Brandt M., Hank K. (2016) Social Networks, Social Cohesion, and Later-Life Health. *Social Indicators Research*. Vol. 126. No. 3. P. 1175—1187. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0926-5>.
- Doblhammer G., Gumà J. (eds.) (2018) *A Demographic Perspective on Gender, Family and Health in Europe*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-72356-3>.
- Dusseiller M. R., Smith M. L., Vogel V., Textor M. (2006) Microfabricated Three-Dimensional Environments for Single Cell Studies. *Biointerphases*. Vol. 1. No. 1. P. 1—4. <https://doi.org/10.1116/1.2190698>.
- Dykstra P.A., Fokkema T. (2011) Relationships Between Parents and Their Adult Children: a West European Typology of Late-Life Families. *Ageing & Society*. Vol. 31. No. 4. P. 545—569. <https://doi.org/10.1017/S0144686X10001108>.
- Esping-Andersen G. (1999) *Social Foundations of Postindustrial Economies*. New York, NY: Oxford University Press.
- Fingerman K. I., Huo M., Birditt K. S. (2020) A Decade of Research on Intergenerational Ties: Technological, Economic, Political, and Demographic Changes. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 82. No. 1. P. 383—403. <https://doi.org/10.1111/jomf.12604>.
- Fleming A. A. (1999) Older Men in Contemporary Discourses on Ageing: Absent Bodies and Invisible Lives. *Nursing Inquiry*. Vol. 6. No. 1. P. 3—8. <https://doi.org/10.1046/j.1440-1800.1999.00002.x>.
- Forrat N. (2012) *The Authoritarian Welfare State: a Marginalized Concept*. Working Paper No. 12—005, CHSS Working Paper Series, the Roberta Buffett Center for International and Comparative Studies, Northwestern University.
- Franks P., Campbell T. L., Shields C. G. (1992) Social Relationships and Health: The Relative Roles of Family Functioning and Social Support. *Social Science & Medicine*. Vol. 34. No. 7. P. 779—788. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(92\)90365-W](https://doi.org/10.1016/0277-9536(92)90365-W).

- Gabadinho A., Ritschard G., Müller N. S., Studer M. (2011) Analyzing and visualizing state sequences in R with TraMineR. *Journal of Statistical Software*. Vol. 40. No. 4. P. 1—37. <https://doi.org/10.18637/jss.v040.i04>.
- Gazareth P., Iglesias K., Crettaz E., Suter C. (2018) Between Social Structure Inertia and Changing Biographies: Trajectories of Material Deprivation in Switzerland. In: Tillmann R., Voorpostel M., Farago P. (eds.) *Social Dynamics in Swiss Society. Empirical Studies Based on the Swiss Household Panel*. Cham: Springer. P. 113—128. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89557-4_8.
- Geronimus A. T., Hicken M., Keene D., Bound J. (2006) “Weathering” and Age-Patterns of Allostatic Load Scores among Blacks and Whites in the United States. *American Journal of Public Health*. Vol. 96. No. 5. P. 826—833. <https://doi.org/10.2105/ajph.2004.060749>.
- Giesselmann M., Windzio M. (2012) Regressionsmodelle zur Analyse von Paneldaten. Wiesbaden: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18695-5>. (In German)
- Grundy E., Sloggett A. (2003) Health Inequalities in the Older Population: the Role of Personal Capital, Social Resources and Socio-Economic Circumstances. *Social Science & Medicine*. Vol. 56. No. 5. P. 935—947. [https://doi.org/10.1016/s0277-9536\(02\)00093-x](https://doi.org/10.1016/s0277-9536(02)00093-x).
- Guba K. (2018) Big Data in Sociology: New Data, New Sociology? *The Russian Sociological Review*. Vol. 17. No. 1. P. 213—236. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-1-213-236>. (In Russ.)
- Губа К. Большие данные в социологии: новые данные, новая социология? // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 1. С. 213—236. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-1-213-236>.
- Haberkern K., Schmid T., Szydlik M. (2015) Gender Differences in Intergenerational Care in European Welfare States. *Ageing & Society*. Vol. 35. No. 2. P. 298—320. <https://doi.org/10.1017/s0144686x13000639>.
- Hank K., Steinbach A. (2018a) Families and Health: A Review. In: Doblhammer G., Gumà J. (eds.) *A Demographic Perspective on Gender, Family and Health in Europe*. Cham: Springer. P. 23—39. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72356-3_3.
- Hank K., Steinbach A. (2018b) Intergenerational Solidarity and Intergenerational Relations between Adult Siblings. *Social Science Research*. Vol. 76. P. 55—64. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2018.08.003>.
- Hankivsky O. (2012) Women’s Health, Men’s Health, and Gender and Health: Implications of Intersectionality. *Social Science & Medicine*. Vol. 74. No. 11. P. 1712—1720. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.029>.
- Helferich C. (2017) Familie und Geschlecht: Eine neue Grundlegung der Familiensoziologie. Opladen; Toronto: Verlag Barbara Budrich. (In German)
- Henretta J. C. (2010) Lifetime Marital History and Mortality after Age 50. *Journal of Aging and Health*. Vol. 22. No. 8. P. 1198—1212. <https://doi.org/10.1177/0898264310374354>.

- Higgs P., Jones I. R. (2009) *Medical Sociology and Old Age: Towards a Sociology of Health in Later Life*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203888728>.
- Höpflinger F. (1999) *Generationenfrage — Konzepte, theoretische Ansätze und Beobachtungen zu Generationenbeziehungen in späteren Lebensphasen*. Lausanne: Réalités Sociales. (In German)
- House J. S., Landis K. R., Umberson D. (1988) Social Relationships and Health. *Science*. Vol. 241. No. 4865. P. 540—545. <https://doi.org/10.1126/science.3399889>.
- Igel C. (2011) *Großeltern in Europa: Generationensolidarität im Wohlfahrtsstaat*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. (In German)
- Ilyin V. I. (2019) Social surfing as a model of youth lifestyle. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 28—48. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.1.02>. (In Russ.)
- Ильин В. И. (2019) Социальный серфинг как модель молодежного образа жизни // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2019. № 5. С. 28—48. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.1.02>.
- Isengard B. (2018) *Nähe oder Distanz? Verbundenheit von Familiengenerationen in Europa*. Opladen; Berlin; Toronto: Budrich UniPress. (In German)
- Jacob C. M., Cooper C., Baird J., Hanson M. (2019) What Quantitative and Qualitative Methods Have Been Developed to Measure the Implementation of a Life-Course Approach in Public Health Policies at the National Level? Health Evidence Network Synthesis Report 63. Copenhagen: WHO Europe: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/394275/9789289053938-eng.pdf (accessed: 08.08.2020).
- Jakoby N. (2008) *(Wahl-)Verwandtschaft — Zur Erklärung Verwandtschaftlichen Handelns*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90925-7>. (In German)
- Kalmijn M. (2007) Explaining Cross-National Differences in Marriage, Cohabitation, and Divorce in Europe, 1990—2000. *Population Studies*. Vol. 61. No. 3. P. 243—263. <https://doi.org/10.1080/00324720701571806>.
- Kalmijn M. (2017) The Ambiguous Link between Marriage and Health: A Dynamic Reanalysis of Loss and Gain Effects. *Social Forces*. Vol. 95. No. 4. P. 1607—1636. <https://doi.org/10.1093/sf/sox015>.
- Klimczuk A. (2015) *Economic Foundations for Creative Ageing Policy. Context and Considerations*. Vol. 1. New York, NY: Palgrave MacMillan.
- Knesebeck O. v. d. (1998) *Subjektive Gesundheit im Alter: Soziale, Psychische und Somatische Einflüsse*. Münster: Lit Verlag. (In German)
- Kohli M., Szydlik M. (eds.) (2000) *Generationen in Familie und Gesellschaft*. Opladen: Leske + Budrich. (In German)

König R., Seifert A. (2020) From Online to Offline and Vice Versa: Change in Internet Use in Later Life across Europe. *Frontiers in Sociology*. Vol. 5. P. 1—12. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00004>.

Kosterina I. V. (2011) Practices of Masculinity in Youth Groups. *Russian Education & Society*. Vol. 53. No. 1. P. 3—21. <https://doi.org/10.2753/RES1060-9393530101>.

Kuh D., Shlomo Y. B., Ezra S. (eds.) (2004) A Life Course Approach to Chronic Disease Epidemiology. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198578154.001.0001>.

Kuhlmann E., Agartan T. I., Bonnin D., Correia T., Hermo J. P., Iarskaia-Smirnova E., Lengauer M., Pavolini E., Ruggunan S., Singh V. P. (2018) Professions, Governance, and Citizenship through the Global Looking Glass. In: Schulz M. S. (ed.) *Frontiers of Global Sociology. Research Perspectives for the 21st Century*. Berlin; New York, NY: International Sociological Association. P. 163—170.

Kuleshova A. (2015) Dilemmas of Modern Motherhood (Based on Research in Russia). *Economics and Sociology*. Vol. 8. No. 4. P. 110—121. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-4/8>.

Kunst A. E., Bos V., Lahelma E., Bartley M., Lissau I., Regidor E., Mielck A., Cardano M., Dalstra J. D., Geurts J. J. M., Helmer U., Lennartsson C., Ramm J., Spadea T., Stronegger W. J., Mackenbach J. P. (2005) Trends in Socioeconomic Inequalities in Self-Assessed Health in 10 European Countries. *International Journal of Epidemiology*. Vol. 34. No. 2. P. 295—305. <https://doi.org/10.1093/ije/dyh342>.

Leopold T., Kalmijn, M. (2016) Is Divorce More Painful When Couples Have Children? Evidence From Long-Term Panel Data on Multiple Domains of Well-being. *Demography*. Vol. 53. P. 1717—1742. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0518-2>.

Lettow S. (2011) Biophilosophien. Wissenschaft, Technologie und Geschlecht im Philosophischen Diskurs der Gegenwart. Frankfurt am Main; New York, NY: Campus. (In German)

Lopez L., Weber S. (2017) Testing for Granger Causality in Panel Data. *The Stata Journal*, Vol. 17. No. 4. P. 972—984. <https://doi.org/10.1177/1536867X1801700412>.

Lüscher K., Hoff A. (2013) Intergenerational Ambivalence: Beyond Solidarity and Conflict. In: Albert I., Ferring D. (eds.) *Intergenerational Relations: European Perspectives in Family and Society*. Bristol: Policy Press. P. 39—63. URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qgmk2>. (accessed: 08.08.2020)

Lüscher K., Pillemer K. (1998) Intergenerational Ambivalence: A New Approach to the Study of Parent-Child Relations in Later Life. *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 60. No. 2. P. 413—425. <https://doi.org/10.2307/353858>.

Macmillan R., Copher R. (2005) Families in the Life Course: Interdependency of Roles, Role Configurations, and Pathways. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 67. No. 4. P. 858—879. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00180.x>.

Margetts H., John P., Hale S., Yasseri T. (2015) Political Turbulence: How Social Media Shape Collective Action. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Matthews S., Manor O., Power C. (1999) Social Inequalities in Health: Are There Gender Differences? *Social Science & Medicine*. Vol. 48. No. 1. P. 49—60. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(98\)00288-3](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(98)00288-3).

McDonough P., Walters V. (2001) Gender and Health: Reassessing Patterns and Explanations. *Social Science and Medicine*. Vol. 52. No. 4. P. 547—559. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(00\)00159-3](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(00)00159-3).

McLanahan S. S., Percheski C. (2008) Family Structure and the Reproduction of Inequalities. *Annual Review of Sociology*. No. 34. No. 1. P. 257—276. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134549>.

McNeill T. (2010) Family as a social determinant of health: implications for governments and institutions to promote the health and well-being of families. *Healthcare Quarterly*; Vol. 14. Spec. No. 1. P. 60—67. <https://doi.org/10.12927/hcq.2010.21984>.

Mortelmans D. (2019) Family Sociology and Family Law: What Can One Learn from the Other? In: Boele-Woelki K., Martiny D. (eds.) *Plurality and Diversity of Family Relations in Europe*. Cambridge: Intersentia. P. 373—385. <https://doi.org/10.1017/9781780689111.017>.

Moss N. E. (2002) Gender Equity and Socioeconomic Inequality: a Framework for the Patterning of Women's Health. *Social Science & Medicine*. Vol. 54. No. 5. P. 649—661. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(01\)00115-0](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(01)00115-0).

Neuberger F. S., Preisner K. (2017) Parenthood and Quality of Life in Old Age: The Role of Individual Resources, the Welfare State and the Economy. *Social Indicators Research*. Vol. 138. No. 1. P. 353—372. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1665-6>.

Nomaguchi K., Milkie M. A. (2020) Parenthood and Well-Being: A Decade in Review. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 82. No. 1. P. 198—223. <https://doi.org/10.1111/jomf.12646>.

Nordenmark M. (2004) Multiple Social Roles and Well-Being: a Longitudinal Test of the Role Stress Theory and the Role Expansion Theory. *Acta Sociologica*. Vol. 47. No. 2. P. 115—126. <https://doi.org/10.1177/0001699304043823>.

O'Flaherty M., Baxter J., Haynes M., Turrell G. (2016) The Family Life Course and Health: Partnership, Fertility Histories, and Later-Life Physical Health Trajectories in Australia. *Demography*. Vol. 53. No. 3. P. 777—804. <https://doi.org/10.1007/s13524-016-0478-6>.

Omel'chenko E. (2000) My body, My Friend? Provincial Youth Between the Sexual and Gender Revolutions. In: Ashwin S. (ed.) *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia*. London: Routledge. P. 137—167.

Oláh L. S., Kotowska I. E., Richter R. (2018) The New Roles of Men and Women and Implications for Families and Societies. In: Doblhammer G., Gumà J. (eds.)

A Demographic Perspective on Gender, Family and Health in Europe. Cham: Springer. P. 41—64. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-72356-3>.

O’Rand A. M., Henretta J. C. (1999) *Age and Inequality: Diverse Pathways through Later Life*. Boulder, CO: Westview Press.

Ramos Toro M. (2017) *Envejecer Siendo Mujer: Dificultades, Oportunidades y Retos*. Barcelona: Edicions Bellaterra. (In Spanish).

Ritschard G., Studer M. (2018) *Sequence Analysis: Where Are We, Where Are We Going?* In: Ritschard G., Studer M. (eds.) *Sequence Analysis and Related Approaches. Part of the Life Course Research and Social Policies Book Series*. Vol. 10. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95420-2_1.

Rossi A. S., Rossi P. H. (1990) *Of Human Bonding. Parent-Child Relations across the Life Course*. New York, NY: Aldine de Gruyter.

Sarracino F., Mikucka M. (eds.) (2014) *Beyond Money: The Social Roots of Health and Well-Being*. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

Schmid T. (2014) *Generation, Geschlecht und Wohlfahrtsstaat. Intergenerationelle Unterstützung in Europa*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-04346-9>. (In German)

Schroedter J. H., Rössel J., Datler G. (2015) *European Identity in Switzerland: The Role of Inter-marriage, Transnational Social Relations and Experiences*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 662. No. 1. P. 148—168. <https://doi.org/10.1177/0002716215595394>.

Shanahan M. J., Boardman J. D. (2009) *Genetics and Behavior in the Life Course: A Promising Frontier*. In: Elder G. H., Giele J. Z. (eds.) *The Craft of Life Course Research*. London: Guilford Press. P. 215—235.

Shipovskaya V. (2014) *Gesundheit älterer Menschen in der Schweiz: Geschlechtsspezifische Aspekte*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag. (In German)

Spini D., Hanappi D., Bernardi L., Oris M., Bickel J.—F. (2013) *Vulnerability across the Life Course: A Theoretical Framework and Research Directions*. *LIVES Working Paper*. Vol. 2013. Lausanne: Swiss National Centre for Competence in Research. <http://dx.doi.org/10.12682/lives.2296-1658.2013.27>.

Strachan D. P., Sheikh A. (2004) *A Life Course Approach to Respiratory and Allergic Diseases*. In: Kuh D., Shlomo Y. B., Ezra S. (eds.) *A Life Course Approach to Chronic Disease Epidemiology*. Oxford: Oxford Univ. Press. P. 240—259. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198578154.001.0001>.

Strauss J., Gertler P. J., Rahman O., Fox K. (1993) *Gender and Life-Cycle Differentials in the Patterns and Determinants of Adult Health*. *Journal of Human Resources*. Vol. 28. No. 4. P. 791—837. <https://doi.org/10.2307/146294>.

Stringhini S. (2016) Explaining Social Differences in Ageing. *Bioethica Forum*. Vol. 9. No. 4. P. 153—154. URL: http://www.bioethica-forum.ch/docs/16_4/05_Stringhini_BF9_04_Web.pdf (accessed: 08.08.2020).

Studer M., Liefbroer A. C., Mooyaart J. E. (2018) Understanding Trends in Family Formation Trajectories: An Application of Competing Trajectories Analysis (CTA). *Advances in Life Course Research*. Vol. 36. P. 1—12. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2018.02.003>.

Studer M., Struffolino E., Fasang A. E. (2018) Estimating the Relationship between Time-Varying Covariates and Trajectories: The Sequence Analysis Multistate Model Procedure. *Sociological Methodology*. Vol. 48. No. 1. P. 103—135. <https://doi.org/10.1177/0081175017747122>.

Szydlik M. (2012) Generations: Connections across the Life Course. *Advances in Life Course Research*. Vol. 17. No. 3. P. 100—111. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2012.03.002>.

Szydlik M. (2016) *Sharing Lives — Adult Children and Parents*. London; New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315647319>.

Temkina A. A., Zdravomyslova E. A. (2017) Intersectional Turn in Gender Studies. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 20. No. 5. P. 15—38. <https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.5.2>. (In Russ.)

Темкина А. А., Здравомыслова Е. А. (2017) Интерсекциональный поворот в гендерных исследованиях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. 20. № 5. С. 15—38. <https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.5.2>.

Thompson E. H. Jr. (1994) Older Men as Invisible Men in Contemporary Society. In: Thompson E. H. Jr. (ed.) *Older Men's Lives*. Thousand Oaks, CA: Sage. P. 197—217. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452243474>.

Umberson D., Crosnoe R., Reczek C. (2010) Social Relationships and Health Behavior Across Life Course. *Annual Review of Sociology*. Vol. 36. P. 139—157. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120011>.

Umberson D., Karas Montez J. (2010) Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policy. *Journal of Health and Social Behavior*. Vol. 51. No. 1_suppl. P. 54—66. <https://doi.org/10.1177/0022146510383501>.

Utrata J. (2011) Youth Privilege: Doing Age and Gender in Russia's Single-Mother Families. *Gender & Society*. Vol. 25. No. 5. P. 616—641. <https://doi.org/10.1177/0891243211421781>.

Verbakel E. (2012) Subjective Well-Being by Partnership Status and Its Dependence on the Normative Climate. *European Journal of Population / Revue européenne de Démographie*. Vol. 28. No. 2. P. 205—232. <https://doi.org/10.1007/s10680-012-9257-2>.

- Vorheyer C. (2005) Wer gehört zur Familie? In: Alt C. (Hg.) *Kinderleben — Aufwachsen zwischen Familie, Freunden und Institutionen. Bd. 1: Aufwachsen in Familien*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 23—44. (In German)
- Walker R. B., Luszcz M. A. (2009) The Health and Relationship Dynamics of Late-Life Couples: A Systematic Review of the Literature. *Ageing & Society*. Vol. 29. No. 3. P. 455—480. <https://doi.org/10.1017/s0144686x08007903>.
- Widmer E. D., Spini D. (2017) Misleading Norms and Vulnerability in the Life Course: Definition and Illustrations. *Research in Human Development*. Vol. 14. No. 1. P. 52—67. <https://doi.org/10.1080/15427609.2016.1268894>.
- Willis S. L., Martin M. (eds.) (2005) *Middle Adulthood: A Lifespan Perspective*. Thousand Oaks, CA: Sage. <http://dx.doi.org/10.4135/9781452225999>.
- Winch A., Littler J., Keller J. (2016) Why “Intergenerational Feminist Media Studies”? *Feminist Media Studies*. Vol. 16. No. 4. P. 557—572. <https://doi.org/10.1080/14680777.2016.1193285>.
- Winkler G., Degele N. (2011) Intersectionality as Multi-Level Analysis: Dealing with Social Inequality. *European Journal of Women’s Studies*. Vol. 18. No. 1. P. 51—66. <https://doi.org/10.1177/1350506810386084>.
- World Medical Association (2013) World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*. Vol. 310. No. 20. P. 2191—2194. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1580



О. А. Парфенова

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ В ВОЛОНТЕРСКУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ

Правильная ссылка на статью:

Парфенова О. А. Вовлечение пожилых в волонтерскую и гражданскую активность как инструмент преодоления социального исключения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 119—135. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1580>.

For citation:

Parfenova O. A. (2020) Engaging Older People in Volunteering and Civic Activities As a Tool to Overcome Social Exclusion. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 119—135. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1580>. (In Russ.)

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЖИЛЫХ В ВОЛОНТЕРСКУЮ И ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ

ПАРФЕНОВА Оксана Анатольевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт РАН — филиал Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: oparfenova@socinst.ru
<https://orcid.org/0000-0001-6187-7947>

Аннотация. Статья посвящена анализу работы НКО с пожилыми людьми, активизируемыми для волонтерской деятельности, направленной на помощь разным категориям населения, включая маломобильных пожилых, и гражданского участия. Автор опирается на концепцию социального исключения, включающую в себя ряд доменов: гражданское участие, сервисы/мобильность, среда/ местное сообщество и другие. Эмпирической базой исследования стали девять полуструктурированных интервью с руководителями НКО и экспертами из разных городов России, материалы веб-сайтов и отчеты НКО, наблюдения за деятельностью НКО и беседы с пожилыми волонтерами. Два НКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассмотрены подробно в качестве эмпирических кейсов. Исследование показало, что активность сообществ пожилых на базе НКО часто выходит за пределы тематических объединений. Участники начинают дружить, навещать друг друга и устраивать совместные праздники; активно помогают разным социальным группам, в том числе бездомным, воспитанникам интернатов,

ENGAGING OLDER PEOPLE IN VOLUNTEERING AND CIVIC ACTIVITIES AS A TOOL TO OVERCOME SOCIAL EXCLUSION

Oksana A. PARFENOVA¹ — Cand. Sci. (Soc.), Senior Research Fellow
E-MAIL: oparfenova@socinst.ru
<https://orcid.org/0000-0001-6187-7947>

¹ Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, St Petersburg, Russia

Abstract. The article analyzes the activities of NGOs designed to bring older people into volunteering and civic participation. The author relies on the concept of social inclusion covering a number of domains: civic participation, services/mobility, habitat/local community, etc. The study is based on 9 semi-structured interviews with heads of non-profit organizations, experts from different Russian cities, materials from websites and reports of NGOs, observation on the activities of NGOs and conversations with elderly volunteers. Two non-profit organizations operating in St Petersburg and Leningrad oblast are considered in detail as empirical case studies. The findings suggest that the activity of older communities as part of NGO activities often go beyond topic-specific associations. Participants become friends, start seeing one another and arrange joint celebrations; they actively help different social groups including the homeless, orphans, handicapped people; they create new communities and interact with local authorities to promote their own ideas; they also try to participate in intergenerational exchange projects. These activities help them overcome social exclusion in

маломобильным пожилым; создают новые сообщества и взаимодействуют с местными властями для продвижения своих идей; участвуют в проектах межпоколенного обмена. Подобная активность способствует преодолению социальной исключенности в таких доменах, как социальные отношения, местные сообщества и среда обитания, гражданское участие, социально-культурные аспекты. Волонтерская и гражданская активность повышают социальную включенность не только пожилых «активистов», но и тех, кому они помогают. К сложностям развития волонтерской и гражданской активности относятся: отсутствие устойчивых паттернов «активной жизни» в пожилом возрасте; неготовность помогать; страх; отсутствие системной подготовки и поддержки волонтеров; негативный опыт участия и последующее разочарование.

Ключевые слова: старение, старшее поколение, волонтерство, добровольчество, НКО, социальное исключение

such areas as social relations, local communities and habitat, civic participation, socio-cultural sphere. Volunteering and civic activities enhance social inclusion not only among elderly “activists” but also among those they help. Difficulties promoting volunteering and civic participation are as follows: absence of stable patterns of “active lifestyle” in old age; reluctance to help; fear; absence of regular and well-organized training and support for volunteers; negative experience and subsequent disappointment.

Keywords: aging, older generation, volunteering, NGOs, social exclusion

Старение нередко сопровождается ослаблением или полной утратой связей во многих сферах жизни: профессиональной, семейной, дружеской. Это приводит к тому, что социальное исключение становится одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются пожилые люди. Исследователи предлагают различные подходы к измерению социального исключения и делают попытки эти подходы систематизировать [Burchardt, Le Grand, 2002, etc.] и применить к отдельным группам, в том числе к пожилым [Social Exclusion..., 2012, etc.]. Современные исследования в странах — членах ЕС демонстрируют, что пожилые люди в гораздо меньшей степени подвергаются социальному исключению там, где высоки расходы на социальное обеспечение (social protection). Уровень дохода и показатели здоровья влияют на социальное исключение в большей степени, чем возраст и пол [Jehoel-Gijsbersv, Vrooman, 2008]. В этом контексте Россия иллюстрирует сложность проблемы: индексы здоровья и уровень жизни пожилых у нас довольно низкие по сравнению с европейскими странами¹. Социальное положение пожилых

¹ AgeWatch Report Card: Russian Federation. HelpAge International: Global AgeWatch Index 2015. URL: <https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian+Federation> (дата обращения: 27.07.2020).

людей в российском контексте характеризуется множественными структурными барьерами, препятствующими активной жизни. Часть этих барьеров преодолеть чрезвычайно сложно: они связаны с состоянием здоровья пожилого человека и его маломобильностью, слаборазвитой инфраструктурой и затрудненным доступом к различного рода сервисам. Уязвимое положение пожилых подкрепляется не только их неудовлетворительным материальным обеспечением, но и сужением круга профессионального, дружеского и семейного общения и поддержки [Парфенова, 2016]. Последнее во многом является следствием глобальных трендов, связанных с миграцией, ростом количества нуклеарных семей и большей занятостью женщин на рынке труда, что влияет на потоки заботы и финансовой поддержки между поколениями [Арбер, 2016].

Д. Сапонов и А. Смолькин исследуют особенности социальной эксклюзии пожилых в России и возможности ее измерения на основе данных количественных опросов. В качестве ключевых доменов инклюзии авторы выделяют семью, социальное окружение, работу и социальную активность [Сапонов, Смолькин, 2012]. К сожалению, указанное исследование не получило дальнейшего развития. Интеграции пожилых в современное российское общество, по мнению исследователей, препятствуют негативные установки в отношении старости и возможности активного участия пожилых в жизни общества [Ноянзина, Максимова, 2018].

Государственные социальные сервисы в крупных городах помогают частично преодолеть ситуацию социального исключения «активным» клиентам досуговых отделений, но сохраняют статус-кво изолированных маломобильных пожилых [Парфенова, 2016]. В городском контексте пожилые клиенты социальных служб испытывают одиночество вследствие раздельного проживания с детьми и утраты тесных связей и контактов, а социальный работник является для них единственным человеком, с которым они общаются регулярно [Соболева, 2017]. При этом нахождение пожилого человека в семье или стационарном учреждении не означает автоматически большей включенности, а иногда генерирует дополнительные риски: периодически в СМИ возникают сюжеты о жестоком обращении с пожилым людьми в рамках стационаров или внутри семьи. По данным метаанализа, проведенного ВОЗ в 28 странах с разным уровнем жизни, 15,7% людей в возрасте 60 лет и старше подвергались каким-либо формам жестокого обращения. Это может быть как жестоким обращением в семье, так и в стенах домов престарелых и медицинских учреждений. Одним из факторов, усугубляющих насилие над пожилыми, являются эйджистские стереотипные представления о пожилых как о немощных, слабых и зависимых людях². В России тема насилия в отношении пожилых является очень болезненной и практически неисследованной. В сельском контексте исследователи выделяют три уровня социального исключения пожилых: организация быта в пределах собственного жилья, доступ к благам инфраструктуры в пределах поселения и доступ к ресурсам социально-медицинского обслуживания за пределами поселения [Богданова, 2019: 288]. Помимо семьи и социальных служб, в качестве провайдера заботы выделяется местное сооб-

² Плохое обращение с пожилыми людьми // Всемирная организация здравоохранения. 2020. 15 июня. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse> (дата обращения: 27.07.2020).

щество, которое в малых населенных пунктах имеет потенциал для того, чтобы помочь преодолеть социальное исключение пожилым [там же].

В целом, международные исследования констатируют недостаток академических работ, посвященных социальному исключению пожилых людей во всем мире. Это ограничивает возможности развития релевантной политики и практических мер [Walsh, Scharf, Keating, 2017]. В России параллельно со старением населения и развитием государственных социальных сервисов активно формируется сегмент НКО, работающих с пожилыми. При этом работа ведется как с «активными» пожилыми, так и с маломобильными, поскольку новый 442 ФЗ дал возможность НКО выступать в роли поставщиков социальных услуг наряду с государственными сервисами, что создало конкурентную среду [Парфенова, Петухова, 2019]. Включение НКО в поле социального обслуживания на региональном уровне происходит разными темпами, в зависимости от существующих барьеров и возможностей. В части работы с пожилыми как со стороны НКО, так и со стороны государственных сервисов можно наблюдать постепенный дрейф от сугубо «досуговых» форм к предполагающим более активное участие пожилых, в том числе к волонтерству.

Активное участие пожилых в жизни общества, в том числе в качестве волонтеров, является распространенной практикой в западных странах. Положительное влияние волонтерской деятельности на благополучие пожилых вне зависимости от их расы, пола и социального положения показали количественные исследования еще в начале 2000-х годов [Morrow-Howell et al., 2003]. Волонтерство в возрасте 65 лет и старше, особенно в совокупности с предшествующим низким уровнем социальных контактов и одиноким проживанием, по оценкам исследователей, может даже снижать риск смерти [Musick et al., 1999]. Более поздние работы конкретизируют: вовлечение в волонтерскую деятельность, действительно, снижает риск смерти, но только для тех волонтеров, чьи мотивы ориентированы не на себя (self-oriented), а на других (other-oriented) [Konrath et al., 2012]. Для пожилых людей с более низким социально-экономическим статусом регулярное участие в волонтерстве приводит к более выраженным благоприятным последствиям для их психологического состояния в сравнении с пожилыми, имеющими более высокий социальный статус [Tang et al., 2010]. Обзоры имеющихся исследований говорят о том, что участие в волонтерстве способствует уменьшению симптомов депрессии, улучшению самооценок здоровья, ослаблению функциональных ограничений и снижению риска смерти. По мнению исследователей, имеющиеся данные обеспечивают основу для модели, предполагающей, что волонтерская активность повышает социальную, физическую и когнитивную активность, что благодаря биологическим и психологическим механизмам приводит к улучшению функционирования и может быть связано с уменьшением риска развития деменции [Anderson et al., 2014]. Однако для России волонтерство, или добровольческая деятельность³ пожилых является относительно новым опытом и практикой, пока что не получившими массового распространения. Одно из крупнейших волонтерских межрегиональных объединений — «Серебряный возраст» — возникло в 2000-х гг. Наиболее

³ В данном исследовании волонтерство и добровольчество употребляются как синонимы.

свежие отчеты на сайте организации сообщают о том, что в Санкт-Петербурге за 2018 г. к участию в волонтерстве были привлечены 120 пожилых⁴, а акцент в фотоотчетах и самопрезентациях делается на организационное волонтерство (Олимпийские игры в Сочи).

Автор данной статьи фокусируется на анализе работы НКО с пожилыми людьми, активизируемыми для волонтерской и иной активности, направленной на помощь разным категориям населения (включая маломобильных пожилых) и повышение гражданского участия пожилых. Основные исследовательские вопросы статьи:

1. Как влияет работа НКО по привлечению пожилых к волонтерству и активной деятельности на их социальную включенность?
2. В чем заключаются сложности, эффекты и перспективы такого включения?

Анализ материала опирается на концепцию «социального исключения» (social exclusion) в ее многомерном формате, включающем в себя ряд ключевых доменов, таких как гражданское участие, сервисы/мобильность, среду/местное сообщество и другие.

Теория и методология

Расширяя понятие бедности и материальных ограничений, исследователи показали, что эксклюзия определяется не только как отсутствие материальных возможностей, но и как совокупность различных ограничений (в образовании, медицинских услугах, получении работы и т. п.), препятствующих социальной и системной интеграции индивидов и групп [Sen, 1999]. Эксклюзию стали интерпретировать не просто как материальные, но и как символические ограничения, разрушение социальных и символических связей [Silver, 1994]. Вертикальная классовая дифференциация сменилась горизонтальной, в которой индивид может быть инсайдером или аутсайдером [Абрахамсон, 2001]. Испытывать социальную эксклюзию могут как индивиды, так и отдельные группы [Levitas et al., 2007]. Критикуя тот факт, что нередко активное старение сводится к продолжению профессиональной занятости, исследователи предлагают возможные направления для переосмысления восприятия старения. Старение может ассоциироваться с «позитивным уединением» и возможностью созерцать, усилением межпоколенной солидарности и новыми возможностями долголетия [Биггз, Хаапала, 2016]. В этом отношении развитие добровольческой и иной деятельности, провоцирующей внешнюю активность для людей «третьего» и «четвертого» возрастов, открывает новые возможности для занятости, уже не профессиональной, и самореализации, и таким образом позволяет преодолеть или снизить социальную исключенность.

Обзор существующих исследований позволил выделить шесть ключевых доменов, в рамках которых рассматривается социальное исключение в пожилом возрасте: среда обитания и сообщество (neighbourhood and community); сервисы, инфраструктура и мобильность (services, amenities and mobility); социальные

⁴ Отчет о проделанной работе по проекту «Комплексный подход к обеспечению занятости пенсионеров и людей предпенсионного возраста» за период с 1 декабря 2017 г. по 30 апреля 2018 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область // Межрегиональный ресурсный центр «Серебряный возраст». URL: <http://silveryears.ru/index/otchety/> (дата обращения: 27.07.2020).

отношения (social relations); материальные и финансовые ресурсы (material and financial resources); социально-культурные аспекты (socio-cultural aspects); гражданское участие (civic participation) [Walsh, Scharf, Keating, 2017]. Каждый из доменов включает в себя несколько субдоменов. Волонтерство и общая гражданская активность являются частью домена «гражданское участие». Как будет показано в рамках данного исследования, волонтерство и гражданская активность благоприятно влияют и на соседние домены.

Методология исследования включает в себя анализ двух кейсов — двух НКО, работающих с пожилыми людьми. Кейс № 1 находится в Санкт-Петербурге, а Кейс № 2 — в городе Ленинградской области. Помимо этого в анализе использованы материалы девяти полуструктурированных интервью с руководителями и сотрудниками НКО и экспертами по оценке программ НКО в сфере работы с пожилыми из разных городов (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Казань), информация веб-сайтов НКО и наблюдение за их деятельностью, а также материалы бесед с пожилыми волонтерами и «курсистами» — пожилыми людьми, активно участвующими в деятельности НКО. Все данные были собраны в 2019 г., большинство интервью были взяты лично, часть — по скайпу. В рамках данной статьи автора интересует, как НКО продвигают идеи заботы и взаимоподдержки и проводят рекрутирование волонтеров среди пожилых людей. Анализ интервью выполнен с использованием метода тематического кодирования [Miles, Huberman, 1994]. Для удобства восприятия результаты оформлены в виде анализа двух кейсов, внутри которых использованы разнородные материалы исследования. Условно кейсы названы «Трудности волонтерства» и «Радости волонтерства», и в соответствии со своими названиями они иллюстрируют различные аспекты добровольческой деятельности и попыток ее организовать.

Исследование имеет два ограничения. Первое из них — это отсутствие фокусированных интервью с пожилыми волонтерами и активистами. Такие материалы смогли бы полнее раскрыть смыслы и значение волонтерской и гражданской активности в их жизни. Второе ограничение состоит в том, что в статье не рассматриваются волонтерские проекты на базе государственных сервисов, хотя они, безусловно, существуют.

Результаты

Кейс 1. «Трудности волонтерства» (Санкт-Петербург)

НКО А⁵ является организатором «Школы третьего возраста» (далее — Школа) в течение многих лет. Первоначально Школа базировалась на базе государственного учреждения, затем оформилась в отдельное НКО А. Организационное волонтерство пожилых на мероприятиях данное НКО практикует давно, однако в последние годы оно стало внедрять среди своих курсистов идеологию «не только брать, но и отдавать». В 2019 г. в рамках гранта был реализован проект, суть которого заключалась в помощи маломобильным пожилым людям со стороны активной части пожилых людей. Это называлось «кейсами взаимопомощи». Здесь важно сказать, что идеология НКО А изначально была такова, что маломобиль-

⁵ Настоящие названия организаций в данном тексте не употребляются.

ный пожилой, нуждающийся в помощи — не клиент; он также может поддержать в ответ на помощь и чем-то поделиться с волонтером. Такое видение существенно отличается от подхода социальных служб. Понимая сложность ситуации изоляции, одиночества и тотальной исключенности, в которой оказываются маломобильные пожилые, активисты совместно с НКО сделали акцент на работу с их воспоминаниями. Это оформлялось в виде цикла бесед волонтеров с подопечными об их жизни, значимых и памятных моментах. Такие беседы, помимо развития мыслительной способности и эмоционального подъема, по мнению инициатора, помогают пожилым переосмыслить свою жизнь и обрести точку опоры в сложной ситуации: «Самое главное, что у пожилых людей, которые сегодня находятся не в самой благополучной жизненной ситуации (одиночество, зависимость от внешней помощи, проблемы со здоровьем), появляется чувство, что „все неслучайно“, что у них есть основания для того, чтобы гордиться собой (своим характером, поступками, возможностями преодолевать жизненные трудности). Порой воспоминания становятся опорой и источником внутренних ресурсов, чтобы жить дальше и находить смысл и радость жизни, пусть даже в ограниченных условиях⁶».

Перед реализацией описанного проекта в 2018 г. были проведены фокус-группы с выпускниками Школы третьего возраста с целью выяснить, готовы ли они взять на себя помощь пожилым. На фокус-группах обсуждалось, готовы ли участники помогать, что именно они готовы делать и какие для этого нужны навыки. В качестве потенциальных маломобильных подопечных были выбраны также бывшие выпускники Школы. На старте собралась группа активных пожилых волонтеров из 20 человек (16 женщин и 4 мужчины). Был произведен обзвон как активных пожилых (на предмет волонтерства), так и маломобильных пожилых (предложение помощи). На этом этапе активисты столкнулись со сложностями: желающих заниматься волонтерством в помощь маломобильным пожилым было мало. Вот как комментирует это руководитель НКО:

О.: И знаете, что любопытно? Я ведь сама беседовала: «А сколько у Вас времени? А сколько Вы готовы потратить? А готовы ли Вы потратить четыре часа в неделю? А готовы ли Вы выполнять эту работу?» Естественно, мне было важно понять, почему человек ставит эту стену. <...> Основным мотивом было: «Это сложно. Это психологически тяжело!»

В.: То есть: «Я не готов помогать другим, потому что мне это тяжело?»

О.: «Мне тяжело. Время есть, но мне тяжело. Я хочу больше позитивных каких-то форм,» — развлекательных, как выяснилось. (Интервью 1, руководитель НКО, Санкт-Петербург)

Этот фрагмент хорошо иллюстрирует сложности в рекрутировании пожилых для добровольческой деятельности, которая не сводится к организационным активностям на мероприятиях, а направлена на помощь другим людям, в данном случае — пожилым. Сложности с внедрением новых форм и программ в работе с пожилыми озвучивает и эксперт по оценке программ для пожилых:

⁶ Чернышева С., Агапова О. Проект «Добрые соседи» или: как добавить осознанность в собственную жизнь? // Дом проектов. 2020. 27 февраля. URL: <https://hprojects.ru/проект-добрые-соседи-или-как-добави/> (дата обращения: 27.07.2020).

Второй существенный момент — это то, что сами благополучатели, они ориентированы на отдельные конкретные формы работы, то есть это экскурсии, вечера песни, концерты, какие-то встречи праздничные. И очень трудно эти форматы менять. Они остаются неизменными годами, десятилетиями, фактически, если хочешь что-то поменять, то [это] в очень большом сопротивлении происходит. (Интервью 8, эксперт по оценке программ НКО)

Таким образом уже на этапе привлечения пожилых к непривычному для них формату участия, в котором они являются не «благополучателями», а, скорее, наоборот — отдающей стороной, возникли сложности: не всем и не сразу это оказалось интересно. В результате активисты обзвонили 300 выпускников. Из них 10 согласились быть подопечными. Волонтеров через год осталось 6 человек (1 мужчина и 5 женщин). Задачи волонтеров сводились к работе в колл-центре и визитам к маломобильным подопечным. Основная цель была — не заменить, а дополнить функции социальных служб, делать с маломобильными гимнастику, упражнения, беседовать. Задачи — тренировка памяти, прогулки, использование интернета, формулирование истории жизни (автобиографии).

Помимо сложностей с привлечением волонтеров, НКО столкнулось и со сложностью в поиске маломобильных подопечных. Публикации в газетах не дали результатов. Вот как это комментирует руководитель проекта:

О.: Я делала статью в апреле, делала статью в газете «Полезный пенсионер» об этом проекте, о том, что мы предлагаем. Все очень четко: «Люди одинокие, звоните нам! Потому что это общественная дружеская поддержка». <...> Ни одного звонка! 150 тысяч тираж. Потому что люди боятся. «Кто эти люди?» — если придут. (Интервью 1, руководитель НКО, Санкт-Петербург)

На сайте организации сама идея помощи маломобильным пожилым и опыт ее организации также отрефлексированы руководителем организации, который отчетливо сформулировал трудности: «Здесь проявился целый ряд противоречий: между абстрактно-позитивной готовностью волонтеров участвовать во взаимодействии с маломобильными пожилыми и необходимостью на практике брать ответственность за регулярность встреч; между дефицитом общения маломобильных людей и их готовностью „открыть двери“ малознакомым людям; между желанием волонтеров заниматься досугом подопечных и нехваткой знаний и практических умений в этой сфере»⁷.

Другой пример, из республики Татарстан, также иллюстрирует сложности, которые возникают у готовых к активной помощи волонтеров. В этом случае речь идет о подопечных детях из «трудных семей»:

<...> Бабушки должны были помогать детям из семей со сложной жизненной ситуацией, а, соответственно, там дети были очень разные, и семьи тоже были очень разные.

⁷ Чернышева С., Агапова О. Проект «Добрые соседи» или: как добавить осознанность в собственную жизнь? // Дом проектов. 2020. 27 февраля. URL: <https://hprojects.ru/поект-добрые-соседи-или-как-добави/> (дата обращения: 27.07.2020).

И бабушкам это очень тяжело давалось. И поэтому этот проект мы еще пытались тянуть, развивать несколько лет, но память о том, как им это было тяжело, она очень мешала. Потому [что] семьи, действительно, были тяжелые: кого-то прав собирались лишать, где-то родители — алкоголики, где-то дети с отклонениями. Вот такая специфика, к которой мы пытались подготовить, но им было тяжело. (Интервью 5, руководитель НКО, респ. Татарстан)

Можно предположить, что во многом эти сложности вызваны отсутствием профессионализации и системного подхода к подготовке волонтеров. Опыт участия в организационном волонтерстве не означает автоматически готовность и способность человека оказывать регулярную поддержку уязвимым группам (заниматься с маломобильными, «трудными» детьми). Анализируя развитие волонтерства в России, исследователи фиксируют отсутствие четких ролевых паттернов и ставки на профессионализм по сравнению с европейскими странами — к примеру, Германией [Истомина, Старовойт, 2016].

Примечательно, что идеи и знания, которыми активно делится НКО А, и в частности его руководитель, были восприняты другими НКО и успешно воплощены в жизнь, что является само по себе очень ценным результатом в части распространения «лучших практик». Ниже рассмотрим подробнее этот кейс.

Кейс 2. «Радости волонтерства» (Ленинградская область)

НКО Б, которое мы рассмотрим в этом кейсе, работает в одном из городов Ленинградской области. Первоначально, как и в прошлом кейсе, это была «Школа третьего возраста» на базе государственного учреждения (с 2008 г.), которая с 2018 г. оформилась в отдельное НКО. Автономизация позволила инициаторам Школы более гибко планировать расписание, содержание курсов, стоимость обучения. В свое время руководитель и сотрудники НКО познакомились с зарубежным опытом организации работы с пожилыми людьми во время командировок в Германию и Финляндию. Когда все начиналось в 2008 г., центр социального обслуживания населения дал небольшое помещение, но курсы для пожилых оказались востребованными. Принцип работы с новичками состоял в следующем: после набора 30 курсистов создавались группы взаимоподдержки, в которых участники восстанавливали и развивали навыки общения. Как констатирует нынешний руководитель НКО, «без общения нету радости в жизни» (интервью 3, руководитель НКО Б, Ленинградская обл.), поэтому в отношении пожилых НКО Б формулирует задачи: дать возможность раскрыть себя и сделать так, чтобы было интересно общаться. Важен опыт курсистов, важно вернуть их веру в себя, и в этой области получается добиться видимых результатов: некоторые курсисты из первого набора уже очень возрастные и не посещают Школу, но общаются между собой и собираются до сих пор, «сообщества крепкие и люди дружат» (интервью 3, руководитель НКО Б, Ленинградская обл.). Важна также и потребность в движении — это в свое время привело к созданию клуба скандинавской ходьбы. Кроме нее на базе школы существует множество разных форм активностей для пожилых, оформленных в более чем 20 клубов (гимнастика, путешествия и краеведение, кулинария, совместные праздники, танцы, хор, йога, ИЗО и др.).

Многие клубы возглавляют сами пожилые — инициативные курсисты. Сегодня в НКО Б работают 5 штатных сотрудников и 12 человек по договорам подряда, в деятельность включены около 300 курсистов, 90 из них занимаются волонтерской деятельностью. Ключевая идея, которую транслирует НКО Б, состоит в том, что Школа — это ресурсный центр по развитию сообществ пожилых людей, а ее задачи — активизировать и поддержать пожилых, их сообщества.

Транслируя идеи взаимопомощи, НКО Б последовательно развивает волонтерские инициативы: *«Нацеливаем людей на добровольчество, на тех, кому нужна помощь больше, чем им»* (интервью 3, руководитель НКО, Ленинградская обл.). Пожилые волонтеры выезжают в ПНИ, медико-социальные центры, центры сестринского ухода, реабилитационные центры, школы-интернаты:

То есть мы вывозим в такие учреждения и показываем, как живут люди одинокие, не мобильные, и чем они могут заниматься. И чем наши активные такие, здоровые еще достаточно люди могли бы им помочь. Отсюда выходят вот какие-то инициативы. (Интервью 3, руководитель НКО Б, Ленинградская обл.)

Примеры инициатив в своем интервью приводит директор НКО, они также размещены с фотоотчетами на сайте организации и в сообществе в социальной сети. Среди них можно назвать Клуб вязания, который сотрудничает с фондом помощи бездомным и вяжет для них носки и варежки, а также вяжет теплые изделия для многодетных семей и детей в интернате. Другое сообщество-кружок, Кукольный театр, ставит спектакли, и гастролирует, в том числе в детских садах и школах. Помимо этого, он получил муниципальный грант на сумму 75 тыс. руб., которые были потрачены на реквизит. Есть и другие инициативы: танцевальная студия, которая проводит выступления в социальных учреждениях; кружок рукоделия, который проводит мастер-классы, в том числе в детских интернатах и стационарах для пожилых.

Отдельное направление в рамках гранта благотворительной организации — поиск волонтеров для посещения маломобильных на дому. Поиск производился среди своих учеников (пожилых), а также через объявления в местной газете. В результате вызвались около 20 добровольцев (65—70 лет) из тех, кто *«не могут пройти мимо чужой беды»* (Интервью 3, руководитель НКО Б, Ленинградская обл.) и 30 маломобильных подопечных на дому, которых нашли через посредничество Совета ветеранов. Волонтерам были розданы специальные тетради с вопросами и заданиями для пожилых, которые призваны стимулировать мозговую и эмоциональную деятельность. Сотрудники НКО и волонтеры занимаются с пожилыми сами, а также обучают работе с такими тетрадями родственников. В рамках этого проекта была подготовлена выставка коллекций маломобильных пожилых: *«Чемодан воспоминаний»*. В качестве основных затруднений руководитель проекта выделил следующие: сложности с привлечением волонтеров к маломобильным — *«смотреть на них тяжело»* (Интервью 3, руководитель НКО Б, Ленинградская обл.), — а также особенности отношения маломобильных участников к волонтерам — их воспринимают как домработников. Трудно просто прийти пообщаться и поддержать, поскольку каждый раз волонтер получает запрос:

«А что вы мне подарите?» Пожилые часто не делают различий между организациями, предлагающими им помощь:

Благополучатели этой программы вообще не делают различия между мероприятиями, которые проводит государство для них, в том числе муниципальные советы, сообщество ветеранов и так далее, и тем, что проводят некоммерческие организации. Если сказать честно, то они считают, что все, что для них делается, это делается государством. (Интервью 8, эксперт по оценке программ НКО)

Помимо организации активностей (кружков) и развития волонтерской деятельности пожилых, НКО занимается «воспитанием гражданской активности». Это выражается в том, что они приглашают представителей местной власти на встречи с пожилыми и таким образом провоцируют диалог и активное участие пожилых в жизни собственного города. У НКО существуют и другие примеры мобилизации сообществ пожилых. Летом Школа проводила йогу на улице, чтобы привлечь новых курсистов. В итоге после окончания лета сложившаяся активная группа добилась у спорткомитета помещения и тренера для продолжения занятий:

Они написали заявление, собрали подписи свои 30 человек и отнесли в спорткомитет, чтобы им дали помещение, чтобы оплатили тренера, что они хотят заниматься. И самое интересное, что поддержали. Толпа пришла — 30 человек — в спорткомитет, они там были все в шоке. Поддержали сразу: дали бесплатно помещение, оплатили тренера за маленькие деньги, но тем не менее. (Интервью 3, руководитель НКО, Ленинградская обл.)

Помимо клуба любителей йоги, сложилась группа активисток помощи домашним животным. Эти примеры хорошо иллюстрируют изменения в сферах «гражданского участия», «сообществ и среды обитания», «социальных отношений» — пожилые курсисты выстраивают новые цепочки взаимодействий друг с другом, с НКО, с местными органами власти. И эти новые цепочки открывают возможности для активности в тех сферах, которые ранее были «закрыты», помогают «включиться» путем развития новых контактов, практик и проектов.

Эксперты на материалах фокус-групп с пожилыми волонтерами фиксируют широкий диапазон возможных мотивов для участия в волонтерских проектах и мероприятиях:

<...> Это не всегда про волонтерство и не всегда про то, чтобы съездить на экскурсию. Это было что-то... Да, это про общение было. Это про самореализацию, наверное, и про дело какое-то, которое хочется реализовать с людьми вместе. <...> Рассказывали о том, что часто люди переезжают или меняют сферу, место жительства. Уезжают, допустим, за детьми. Или когда они теряют дружеские связи, потому что они перестают работать и общаться с определенным пулом людей. То есть какие-то такие вещи про общение больше. И про новые форматы занятости в широком плане, в том числе и профессиональной. (Интервью 7, эксперт по оценке программ НКО)

Таким образом, мы видим, что участие пожилых в активностях, в том числе волонтерской деятельности, затрагивает разные сферы — и социальные отношения, и гражданское участие, и местные сообщества, и среду обитания, и социокультурные аспекты. Собранные данные показывают, что пожилой человек может выступать актором, способным взаимодействовать с властями местного уровня, не только потреблять, но и отдавать другим, помогая разным группам (маломобильным, воспитанникам интернатов, бездомным), участвовать в межпоколенном обмене. Подобная активность, помимо прочего, приводит к трансформации социально-культурных аспектов исключения, включающих в себя эйджизм и возрастную дискриминацию, символическое и дискурсивное исключение. У пожилого человека появляется возможность и инструмент, чтобы реализоваться и стать «видимым» в обществе.

Среднестатистический портрет курсистки/ волонтерки информант охарактеризовала следующим образом: чаще всего это женщины с высшим образованием, 68—69 лет, которые привыкли жить активно. Отдельными голосами звучат их реплики по поводу волонтерской помощи. На мой вопрос «Зачем вам это [помогать другим] нужно?» я услышала в ответ: «Они сидят как звери в клетке, а мы приезжаем, у них лица просветляются»; «Мы чувствуем себя нужными, заняты чем-то»; «Мы хотим не только брать, но и делиться»; «Не сидим, не киснем дома, делом заняты»; «Я раньше со всеми спорила, ругалась. Сейчас я спокойная. Муж так удивляется. Я сюда прихожу, общаюсь, делом занята» (из беседы с курсистами НКО Б, Ленинградская обл.).

В Школе стараются проводить мероприятия, на которых собираются все клубы три-четыре раза в год «для поддержания чувства сплоченности» (интервью 3, руководитель НКО Б, Ленинградская обл.). С 2011 г. программа Школы распространилась на другие районы Ленинградской области, в частности в другие государственные центры социального обслуживания (КЦСОНЫ), на базе которых возникли 15 университетов; четыре филиала Школы открылись в Гатчинском районе. Школа активно сотрудничает с разными организациями: другими НКО, Советом ветеранов, общественными и культурными организациями, студентами-практикантами (будущими соцработниками).

Заключение и дискуссия

Социальное исключение — одна из основных проблем, сопровождающих старение. Участие в волонтерской и гражданской активности способно помочь пожилому человеку частично преодолеть эту проблему и повысить собственную «включенность». Проведенное исследование показывает, что существуют успешные примеры работы НКО в части развития волонтерских сообществ и активизации гражданской активности в среде пожилых. НКО в данном случае выступают в роли ресурсных и объединяющих площадок, на которых пожилые успешно создают тематические сообщества. Участие в активностях, предлагаемых НКО, и непосредственно волонтерская и гражданская активность, направленные как на помощь разным социальным группам, так и самоорганизацию и проекты для своих сообществ, способствуют преодолению социальной исключенности сразу в нескольких сферах. К ним относятся: социальные отношения, местные сообщества и среда обитания, гражданское

участие и в социально-культурные аспекты. На практике это выражается в том, что активности сообществ пожилых выходят за пределы тематических (кулинарии, финской ходьбы, рукоделия и т.д.): участники начинают дружить, навещать друг друга и устраивать совместные праздники, помогая самим себе и друг другу избежать изоляции и одиночества. Это способствует преодолению социального исключения в сфере социальных отношений и среды обитания. Создание новых сообществ и взаимодействие с местными властями для продвижения своих идей повышает вовлеченность в домене «гражданское участие». Участие в проектах, нацеленных на межпоколенные контакты (совместные мероприятия со школьниками, детсадовцами и их родителями), помимо развития новых сообществ, приводит к снижению стереотипного восприятия пожилых как «уязвимых» и снижению эйджизма, что улучшает ситуации в домене «социально-культурные аспекты». Эти результаты согласуются с упомянутыми во введении исследованиями о благоприятном влиянии волонтерства на жизнь пожилых людей в самых разных аспектах.

Данное исследование позволило выявить сложности в организации волонтерской работы и повышении гражданской активности пожилых. К ним относятся: отсутствие устойчивых паттернов «активной жизни» в пожилом возрасте, неготовность помогать другим, страх, отсутствие системной подготовки и поддержки волонтеров, негативный опыт участия и последующее разочарование. Это согласуется и с результатами массовых опросов. Согласно опросам ВЦИОМ, наиболее слабый интерес к добровольчеству и благотворительности демонстрируют россияне в возрасте от 60 лет и старше: только 46% респондентов из этой группы готовы включаться в упомянутые виды деятельности. Для сравнения: более молодое поколение в возрасте от 18 до 44 лет насчитывает более 80% готовых помогать другим⁸.

Государство в лице сервисов и локальных администраций не заинтересовано в партнерских отношениях с пожилыми и НКО, предлагающими «продвинутый», а не развлекательный, досуг и возможности создания новых сообществ [Дмитриева, 2018]. Тем не менее сотрудничество с государственными сервисами нам представляется наиболее перспективным, поскольку именно они обладают широкой базой как маломобильных, так и активных пожилых клиентов, нуждающихся в помощи и готовых помогать, и степень доверия к таким институтам в обществе высока. Примерами продуктивного обмена между НКО и государственными сервисами служат, например, реализованные проекты «бабушек-нянь»⁹: это «Бабушка на час»¹⁰ (КЦСОН Ленинградской области) или «Экспресс-бабушки»¹¹ («серебряные волонтеры», КЦСОН Орловской области). Суть проектов состоит в том, что пожилые женщины присматривают за детьми за небольшую плату. Проекты направлены на помощь молодым мамам и стимулируют занятость активных неработающих пожилых женщин, давая им небольшой заработок.

⁸ От милостыни — к волонтерству: как меняется благотворительность в России // ВЦИОМ. 2019. 4 сентября. № 4048. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9878> (дата обращения: 27.07.2020).

⁹ Инициативы развивались силами «Социального акселератора» при ЦРНО (Центре развития некоммерческих организаций).

¹⁰ Бабушка-забота // Вконтакте. URL: <https://vk.com/babushka.zabota> (дата обращения: 27.07.2020).

¹¹ В Орловской области появились «экспресс-бабушки» // Агентство социальной информации. 2018. 13 сентября. URL: <https://www.asi.org.ru/news/2018/09/13/orel-oblast-ekspress-babushki/> (дата обращения: 27.07.2020).

Одним из важных выводов исследования является то, что пожилые люди могут выступать не только в роли тех, о ком заботятся (подопечных), но и в роли активных агентов заботы и самозаботы. Участие в волонтерстве и гражданская активность способствуют снижению социальной исключенности не только среди пожилых «активистов», но и среди тех, кому они помогают. Такое самовосприятие старшего поколения и их восприятие со стороны более молодых способствует изменению дискурса о пожилых как уязвимых и «доживающих».

Список литературы (References)

Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность // *Общественные науки и современность*. 2001. № 2. С. 158—166.

Abrahamson P. (2001) Social Exclusion and Poverty. *Social Sciences and Contemporary World*. No. 2. P. 158—166. (In Russ.)

Арбер С. Старение и гендер в глобальном контексте: роль семейного статуса / пер. с англ. Е. В. Вьюговской, А. А. Ипатовой // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2016. № 2. С. 59—78. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.2.04>.

Arber S. (2016) Gender, Marital Status and Intergenerational Relations in a Changing World. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 59—78. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.2.04>. (In Russ.)

Биггз С., Хаапала И. Долгая жизнь, взаимопонимание и эмпатия поколений // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2016. № 2. С. 46—58. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.2.03>.

Biggs S., Haapala I. (2016) Long Life, Mutual Understanding and Generational Empathy. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 46—58. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.2.03>. (In Russ.)

Богданова Е. Режим заботы о пожилых маломобильных людях в периферийных поселениях: успехи и неудачи в преодолении социального исключения // *Критическая социология заботы: перекрестки социального неравенства*: сб. ст. / под редакцией Е. А. Бороздиной, Е. А. Здравомысловой, А. А. Темкиной. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. С. 277—310.

Bogdanova E. (2019) Care Regime for Elderly People with Limited Mobility in Peripheral Settlements: Successes and Failures in Overcoming Social Exclusion. In: Borozdina E. A., Zdravomyslova E. A., Temkina A. A. (eds.) *Critical Sociology of Care: the Crossroads of Social Inequality*. Saint Petersburg: EUSP Press. P. 277—310. (In Russ.)

Дмитриева А. В. Социальное включение пожилых: продление занятости или «продвинутый» досуг? *Журнал исследований социальной политики*. 2018. Т. 16. № 1. С. 37—50. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2018-16-1-37-50>.

Dmitrieva A. V. (2018) Achieving the Social Inclusion of Elderly People: a Continuation of Employment or «Advanced» Leisure? *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 16. No. 1. P. 37—50. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2018-16-1-37-50>. (In Russ.)

Истомина А. Г., Старовойт Э. Л. Организационные паттерны социального волонтерства в Германии и России // Социологический журнал. 2016. Т. 22. № 2. С. 92—109. <https://doi.org/10.19181/socjour.2016.22.2.4257>.

Istomina A. G., Starovoyt E. L. (2016) Organizational Patterns of Social Volunteerism in Germany and in Russia. *Sociological Journal*. Vol. 22. No. 2. P. 92—109. <https://doi.org/10.19181/socjour.2016.22.2.4257>. (In Russ.)

Ноянзина О. Е., Максимова С. Г. Интегрированная старость: социальная политика в условиях угроз демографической безопасности // *Society & Security Insights*. 2018. Т. 1. № 1. С. 99—119. [https://doi.org/10.14258/ssi\(2018\)1-09](https://doi.org/10.14258/ssi(2018)1-09).

Noyanzina O. E., Maximova S. G. (2018) Integrated Ageing: Social Policy in the Society of Demographic Security Threats. *Society & Security Insights*. Vol. 1. No. 1. P. 99—119. [https://doi.org/10.14258/ssi\(2018\)1-09](https://doi.org/10.14258/ssi(2018)1-09). (In Russ.)

Парфенова О. А. Забота о пожилых гражданах в государственных социальных сервисах: дис. ... канд. социол. н. СПб., 2017.

Parfenova O. A. (2017) Caring for the Elderly Citizens in Public Social Services. PhD Thesis in Sociology. Saint Petersburg. (In Russ.)

Парфенова О. А., Петухова И. С. Конкуренция за заботу о пожилых: тактики социальных сервисов в новых условиях // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 4. С. 173—186. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.4.09>.

Parfenova O. A., Petukhova I. S. (2019) Competition for the Care for the Elderly: Strategies of Social Services in the New Environment. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 173—186. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.4.09>. (In Russ.)

Сапонов Д. И., Смолькин А. А. Социальная эксклюзия пожилых: к разработке модели измерения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 5. С. 83—94.

Saponov D. I., Smolkin A. A. (2012) Social Exclusion of the Elderly: the Development of a Measurement Model. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 83—94. (In Russ.)

Соболева Е. В. Проблема одиночества пожилых людей // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. № 1. С. 161—165. Soboleva Ye. V. (2018) The Problem of Loneliness among Elderly People. *Vestnik of Saratov State Socio-Economic University*. No. 1. P. 161—165. (In Russ.)

Anderson N. D., Damianakis T., Kröger E., Wagner L. M., Dawson D. R., Binns M. A., Bernstein S., Caspi E., Cook S. L., The BRAVO Team (2014) The Benefits Associated with Volunteering among Seniors: A Critical Review and Recommendations for Future Research. *Psychological Bulletin*. Vol. 140. No. 6. P. 1505—1533. <https://doi.org/10.1037/a0037610>.

Burchardt T., Le Grand J., Piachaud D. (2002) Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure. In: Hills J., Le Grand J., Piachaud D. (eds.) *Understanding Social Exclusion*. Oxford: Oxford University Press. P. 30—43.

- Jehoel-Gijsbers G., Vrooman C. (2008) Social Exclusion of the Elderly: A Comparative Study of EU Member States. ENEPRI Research Report No. 57. Brussels: European Network of Economic Policy Research Institutes.
- Konrath S., Fuhrel-Forbis A., Lou A., Brown S. (2012) Motives for Volunteering are Associated with Mortality Risk in Older Adults. *Health Psychology*. Vol. 31. No. 1. P. 87—96. <https://doi.org/10.1037/a0025226>.
- Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D. (2007) The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol: Bristol Institute for Public Affairs, University of Bristol.
- Miles M. B., Huberman A. M., Huberman M. A., Huberman M. (1994) Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Morrow-Howell N., Hinterlong J., Rozario P. A., Tang F. (2003) Effects of Volunteering on the Well-Being of Older Adults. *The Journals of Gerontology: Series B*. Vol. 58. No. 3. P. 137—145. <https://doi.org/10.1093/geronb/58.3.S137>.
- Musick M. A., Herzog A. R., House J. S. (1999) Volunteering and Mortality among Older Adults: Findings from a National Sample. *The Journals of Gerontology: Series B*. Vol. 54B. No. 3. P. 173—180. <https://doi.org/10.1093/geronb/54b.3.s173>.
- Scharf T., Keating N. (eds., 2012) From Exclusion to Inclusion in Old Age: A Global Challenge. Bristol: Policy Press.
- Sen A. (1999) Development as Freedom. New York, NY: Anchor Books.
- Silver H. (1994) Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms. *International Labour Review*. Vol. 133. No. 5—6. P. 531—578.
- Tang F., Choi E., Morrow-Howell N. (2010) Organizational Support and Volunteering Benefits for Older Adults. *The Gerontologist*. Vol. 50. No. 5. P. 603—612. <https://doi.org/10.1093/geront/gnq020>.
- Walsh K., Scharf T., Keating N. (2017) Social Exclusion of Older Persons: A Scoping Review and Conceptual Framework. *European Journal of Ageing*. Vol. 14. No. 1. P. 81—98. <https://doi.org/10.1007/s10433-016-0398-8>.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.983



Е. О. Смолева

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Правильная ссылка на статью:

Смолева Е. О. Социальная адаптация, социальный капитал и здоровье населения Вологодской области // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 136—161. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.983>.

For citation:

Smoleva E. O. (2020) Social Adaptation, Social Capital and Population Health in the Vologda region. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 136—161. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.983>. (In Russ.)

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**SOCIAL ADAPTATION, SOCIAL CAPITAL AND POPULATION HEALTH IN THE VOLOGDA REGION**

СМОЛЕВА Елена Олеговна — научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения, Вологодский научный центр Российской академии наук, Вологда, Россия
E-MAIL: riolenas@rambler.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6452-1441>

Elena O. SMOLEVA¹ — Research Fellow at the Department for the Studies of Lifestyles and Living Standards
E-MAIL: riolenas@rambler.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6452-1441>

¹ Vologda Research Center of the Russian Academy of Sciences, Vologda, Russia

Аннотация. Сегодня существует потребность в систематизации знаний о связях здоровья и социальной адаптации, стратификации общества по критерию «социальная адаптация — дезадаптация» населения. Вместе с тем социально-культурные и экономические особенности развития регионов накладывают свой отпечаток на ресурсы и стратегии адаптации населения. Цель работы — изучение социальной адаптации населения региона на примере Вологодской области, связей адаптации со здоровьем, а также оценка социального капитала как адаптационного ресурса. В качестве эмпирической базы выступают данные социологического опроса населения Вологодской области (объем выборки 1500 человек). С помощью факторного анализа выделены показатели социальной адаптации, на основании которых проведена типологизация населения региона. Показано, что жители области с социальной поддержкой чаще других отмечают у себя позитивное психическое состояние. Они реже испытывают стресс, менее тревожны; в трудных ситуациях готовы обращаться за помощью к семье, друзьям, соседям. Население с наличием внутренних ресурсов более удовлетворено своей жизнью и поло-

Abstract. Today there is a need to systemize knowledge about the relationships between health and social adaptation, social stratification on the “social adaptation — desadaptation” criterion. However socio-cultural and economic regional specifics may affect the resources and population adaptive strategies. The paper aims to study social adaptation of people living in the Vologda region, the relationships between adaptation and health and to assess social capital as an adaptive resource. The empirical basis of the study encompasses the data of a survey conducted in the Vologda region (a sample size of 1,500 persons). By means of factor analysis the author singles out three social adaptation indicators to draw up a typology of the region’s population. The study shows that the Vologda region inhabitants who are provided with social assistance are more likely to have a positive mental state. They are less likely to be stressed or to be anxious; in a difficult situation they would willingly ask their family, friends and neighbors for help. On the contrary, people who have their internal resources tend to be more satisfied with their life and social status; nevertheless they feel stressed more often than those people who get support from people around. The inhabitants of the region with the signs of

жением в обществе, но и чаще испытывает стресс, чем лица с поддержкой ближайшего окружения. Жители региона, демонстрирующие признаки социальной дезадаптации, более фрустрированы, подвержены стрессу, менее уверены в своем будущем. Кроме того, они чаще склонны оправдывать девиантное поведение и прибегать к нему в качестве средства борьбы со стрессом. Выявлено, что для населения региона более действенным адаптационным ресурсом является социальная поддержка. Новизна работы заключается в выявлении особенностей социальной адаптации населения Вологодской области, выделении групп населения, различающихся по уровню и ресурсам адаптации, при этом акцент сделан на личностном (внутреннем) и социальном (внешнем) ресурсе.

Ключевые слова: социальная адаптация, социальный капитал, здоровье, психическое самочувствие, адаптационный ресурс, социальная поддержка

social adaptation tend to be more frustrated, more vulnerable to stress and less confident in their future. In addition, they are more likely to find excuses for their deviant behavior and to resort to it to cope with stress. The article stresses that social support is a more effective adaptive resource for the region's population. The paper's novelty consists in revealing the peculiarities of social adaptation among the Vologda region inhabitants, detecting groups of population which differ by their adaptation level and resources with an emphasis on personal (internal) and social (external) resources.

Keywords: social adaptation, social capital, health, mental well-being, adaptive resource, social support

Введение

Современный человек живет в условиях постоянно трансформирующейся социальной реальности, поэтому для сохранения здоровья (физического, психического, социального) он должен максимально использовать свой адаптационный потенциал. Вместе с тем масштабы и скорость социальных изменений, происшедших в российском обществе в девяностые и нулевые годы, не соответствовали адаптационным ресурсам большинства населения страны [Авраамова, Логинов, 2002]. В этот период предметом исследования социологии адаптаций стали стратегии экономического поведения населения в условиях изменения уровня жизни и возросшего социального неравенства [Корель, 2005]. Были выдвинуты новые основания для социальной стратификации групп населения: «уровень адаптации к трансформационному процессу» [Беляева, 2001а: 327]. С точки зрения социоцентрического подхода, адаптация — процесс приспособления к требованиям среды: индивид имеет высокий уровень адаптации, если его поведение соответствует социальным нормам и ожиданиям. Девиантное поведение является признаком дезадаптации. Если адаптационный потенциал не соответствует прессу повседневных негативных воздействий, возрастает риск девиаций.

Финансовое давление экономических кризисов 2008—2009 гг. и 2014—2015 гг. способствовало окончательному смещению внимания социологов на социально-экономические аспекты проблемы [Тихонова, Каравай, 2016; Мареева, 2017], рациональный выбор стратегий адаптации [Авраамова, 2018]. Вместе с тем все убыстряющийся ритм жизни, необходимость действовать в условиях дефицита времени и переизбытка информации также испытывают адаптационные ресурсы людей. И здесь речь идет прежде всего о повседневных рисках, социально-психологических аспектах адаптации, воздействии стрессогенных факторов на психическое и физическое здоровье населения. В биопсихосоциальной модели болезни концепту стресса принадлежит ведущее объяснительное значение в определении механизмов влияния социально-психологических факторов на здоровье [Гурвич, 1999].

Сегодня существует потребность в систематизации знаний о связях здоровья и социальной адаптации, об адаптационных ресурсах населения, в типологизации населения по критерию «социальная адаптация — дезадаптация».

Методологические аспекты исследования

При решении этих задач выделяется ряд проблем методологического характера. Во-первых, разграничение адаптации как процесса и как результата. Ряд ученых выделяет адаптированность как результат процесса адаптации, степень адаптированности — как главный итог определенного этапа адаптации [Козырева, 2004: 16]. Во-вторых, обоснованно ли строгое разграничение результата адаптации на два противоположных состояния: адаптацию и дезадаптацию? Ведь дихотомия не отражает реальную ситуацию [Пасовец, 2015: 30]. Как правило, исследователи выделяют различные уровни адаптации [Авраамова, 2018]. В-третьих, необходимость учета характера адаптации: приспособление, интеграция или воздействие адаптанта на внешнюю среду. То есть индивид выступает в роли объекта или субъекта в процессе взаимодействия с социальной средой, и от этого адаптация принимает активный или пассивный характер [Мозговая, Шлыкова, 2014; Пасовец, 2015: 29]. Следом возникает закономерный вопрос об определяющих факторах адаптации: какие именно параметры, средовые или индивидуальные, играют главную роль?

В зависимости от ответов на обозначенные методологические вопросы выбирают показатели успешности адаптационного процесса и задействованных стратегий адаптации. Чаще всего для оценки результата адаптации используют социально-экономические показатели: статусно-престижную идентичность [Козырева, 2004], материальное положение и вертикальную мобильность [Авраамова, 1998], результат воздействия на жизнь индивида социально-экономических трансформаций российского общества и сравнение материального положения относительно других людей [Беляева, 2001b: 109—110]. Об успешности адаптации можно судить по оценкам внутреннего состояния адаптанта: состояния здоровья [Козырева, 2004: 15—16], социального самочувствия [Корель, 2005: 324—330]. С точки зрения концепций жизненного пути [Elder, Caspi, 1990; Narotzky, Besnier, 2014], зависимость адаптационных стратегий индивида от исторических, культурных и социальных условий определяет временный характер стратегий адаптации, что актуализирует наличие набора решений для различных проблем в качестве показателя адаптированности [Корель, 2005: 324—330].

В то же время современные социологи обращают внимание на смену потребительской парадигмы общественного развития, что заставляет рассматривать социальную адаптацию значительно шире, за рамками материального обеспечения и социальной статусности. Например, А. В. Каравай считает, что при изучении адаптационных практик недостаточно выделять группы, различающиеся только материальным положением, уровнем доходов, и выстраивает свое исследование в русле концепций жизненных шансов и рисков [Каравай, 2019: 131].

При операционализации категории «социальная адаптация» автор настоящей работы опирался на ресурсный подход [Тихонова, 2006]. Однако если в социально-экономических рамках рассматривают экономический, властный, социальный, квалификационный и культурный ресурсы [Тихонова, Каравай, 2016], то в представленном материале основное внимание уделено личностному (внутреннему) и социальному (внешнему) ресурсу в виде «социального капитала». Кроме того, в многочисленных зарубежных [Cohen, 2004; Kawachi, Subramanian, Kim, 2007; Yap et al., 2019]¹ и отечественных исследованиях [Русинова, Панова, Сафронов, 2010; Нилов, 2011] прослеживаются связи социального капитала и здоровья. Активное общение, вхождение в социальные сети, осознание наличия при необходимости социальной поддержки — все это позитивно сказывается на психическом самочувствии и физическом состоянии индивида. Напротив, отчуждение и необходимость в одиночку справляться с жизненными трудностями приводят к ухудшению психического состояния, проявлениям невроза, депрессии и других симптомов расстройств поведения. Установлено, что стратификация населения по статусу здоровья связана с обладанием социальным капиталом [Русинова, Сафронов, 2017].

Дизайн исследования

Анализ теоретических концепций и эмпирических данных позволил выдвинуть гипотезу о взаимосвязи социальной адаптации, социального капитала и здоровья населения.

Цель данной работы — изучение социальной адаптации населения Вологодской области, связей адаптации со здоровьем, а также оценка социального капитала как адаптационного ресурса. В качестве эмпирической базы выступают данные мониторинга общественного психического здоровья ВолНЦ РАН за 2019 г. (объем выборки — 1500 человек; метод — анкетирование, поквартирный обход). Репрезентативность получаемой социологической информации обеспечивается использованием модели многоступенчатой районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения. Информационной базой для сравнительного анализа тенденций социальной адаптации населения России послужили данные Европейского социального исследования². Техническая обработка информации произведена в программе SPSS.

¹ Berkman L. F. (2010) Social Networks and Health. Presentation Slides. June. URL: https://www.who.int/healthinfo/15_Social_Networks_Berkman_ok.pdf (дата обращения: 28.07.2020).

² Многолетнее сравнительное исследование изменения установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы проводится с 2001 г. с помощью опросов населения, в России — с 2006 г. Выборка: 1500—3000 интервью в каждой стране. Предоставлен свободный доступ к данным всех исследователей через электронный сайт <https://www.europeansocialsurvey.org>. В России исследование проведено ЦЕССИ (<https://www.cessi.ru/>).

Адаптацию с точки зрения субъекта автор исследования характеризует через ее результат — адаптированность — и адаптационные ресурсы личности, которые будут задействованы в случае необходимости оказания воздействий на социальную среду (ситуацию, других субъектов). Применительно к базе данных исследования выделены следующие показатели:

- результата адаптации: психическое самочувствие, индикаторами которого выступают наличие или отсутствие депрессии, тревоги, озабоченности, чувства одиночества, удовольствия от жизни, а также упадок сил как невозможность мобилизовать себя;
- адаптационных ресурсов: адекватная самооценка, самостоятельность принятие решений, оптимизм в отношении своего будущего, высокая внешняя оценка, социальная поддержка.

Негативные психические состояния определялись при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS и экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса, методики диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модификация В. В. Бойко) [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002: 18]³.

Так как проведенные ранее исследования свидетельствуют о низком уровне социального капитала россиян, особенно формального, связанного с участием в общественных организациях и добровольных ассоциациях [Pichler, Wallace, 2007; Carlson, 2016], то в своей работе автор ограничивается неформальным видом данного ресурса, выраженном в отношениях с родственниками, друзьями, коллегами, соседями.

Субъективные оценки социальной адаптации населения Вологодской области

По показателям психического самочувствия жителей Вологодской области складывается неоднозначная картина. С одной стороны, большинство населения счастливо (69%), имеет прекрасное настроение или ровное состояние (73%), умеренный или низкий уровень фрустрированности (88%). Половина жителей уверена в своем будущем (50%) и получает удовольствие от жизни (57%). В то же время 46% респондентов отметили, что у них порою бывает гнетущее состояние. Треть респондентов указывает на внутреннее напряжение (35%), часто испытывает недовольство (31%). У каждого четвертого (28%) без особых причин возникает чувство усталости. Практически каждый второй считает себя легко ранимым (48%), а неприятности принимает слишком близко к сердцу и надолго (46%). Расчеты интегрированных показателей по методикам экспресс-диагностики невроза

³ Уровень фрустрации определялся при помощи методики «Диагностика уровня социальной фрустрированности» Л. И. Вассермана. Ответы на 20 вопросов ранжировались от 0 баллов (полностью удовлетворен) до 4 баллов (полностью не удовлетворен). Для определения уровня фрустрированности набранная сумма баллов делится на 20. Уровень выраженности симптомов невроза определялся при помощи методики экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса. Респондентам было предложено ответить на 40 вопросов, затем суммировались утвердительные ответы. Сумма от 0 до 23 баллов соответствовала низкому уровню невротизации (переменной присваивалось значение «0»), сумма от 24 баллов соответствовала высокому уровню невротизации (переменной присваивалось значение «1»). Переменные «тревога» и «депрессия» определялись при помощи Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS). По каждой переменной респонденты отвечали на 7 вопросов с 4 вариантами ответа (от 0 до 3 баллов). Сумма от 0 до 7 баллов соответствовала низкому уровню выраженности тревоги/ депрессии, переменным присваивалось значение «0». Сумма ответов от 8 баллов и выше соответствовала выраженным симптомам тревоги/ депрессии, переменным присваивалось значение «1».

К. Хека и Х. Хесса и госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS показали, что у 9 % респондентов наблюдаются признаки невротического расстройства, у каждого четвертого (25 %) — тревоги, у каждого третьего (33 %) — депрессии. В целом по выборке у 42 % респондентов отмечается симптоматика психических расстройств. С 2002 г. произошло снижение доли жителей области, отмечающих у себя симптомы психических расстройств в виде тревоги, депрессии и невроза на 13 п. п. (с 55 % до 42 %, см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика наличия симптомов тревоги, депрессии, невроза у населения Вологодской области, в % от опрошенных

Наименование симптомов	Годы												
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Тревога	41	38	33	34	33	26	28	30	27	27	23	25	25
Депрессия	33	34	32	31	35	30	29	31	28	28	25	30	33
Невроз	21	17	14	14	13	11	11	13	12	12	12	10	9
Наличие симптомов тревоги, депрессии или невроза	55	54	49	49	51	48	44	45	39	40	36	40	42

Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН.

С помощью факторного анализа на основе данных обследования за 2019 г. были выделены латентные переменные социальной адаптации населения региона (объясненная совокупная дисперсия составила 71 %, см. табл. 2). Первоначально в факторный анализ были включены более 30 переменных: наблюдаемых и расчетных. Для дальнейшего анализа было оставлено 18 переменных с наибольшими факторными нагрузками.

Таблица 2. Латентные переменные социальной адаптации населения Вологодской области, результаты факторного анализа

Наименование фактора	Наименование переменной	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4
Негативное психическое состояние	тревога	0,801			
	невроз	0,736			
	депрессия	0,649			
	отсутствие способности собраться, мобилизовать себя	0,577			
	удовольствие от жизни	-0,715			
Личные качества	самостоятельное принятие жизненно важных решений		0,864		
	хорошее отношение к себе		0,840		
	высокая самооценка в различных областях		0,740		
	оптимизм в отношении своего будущего		0,578		

Наименование фактора	Наименование переменной	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3	Фактор 4
Социальный капитал	доверие			0,683	
	помощь семьи			0,662	
	отсутствию одиночества			0,630	
	встречи с родственниками и друзьями			0,437	
Уверенность в будущем	наличие направления в жизни				0,662
	уверенность в будущем				0,637
	легкость решения проблем				0,606
	хорошее настроение				0,520
	удовлетворенность жизнью				0,448

Рассчитано автором по данным мониторинга общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Первый фактор (29 % дисперсии) отражает комплекс негативных психических состояний, которые соответствуют состоянию дезадаптации. В него вошли вторичные переменные, свидетельствующие о наличии симптомов тревоги, невроза и депрессии, а также наблюдаемая переменная, отражающая отсутствие способности справиться с силами, мобилизовать себя, когда человек сталкивается с препятствиями. Наблюдаемая переменная «получение удовольствия от жизни» отрицательно нагружает фактор. Таким образом, первая латентная переменная отражает отрицательный результат адаптационного процесса.

Второй фактор (17 % дисперсии) является сочетанием личных качеств, обуславливающих социальную адаптацию человека. К ним относятся самостоятельность в принятии жизненно важных решений, высокая самооценка, оптимизм в отношении своего будущего.

Третий фактор (14 % дисперсии) условно обозначен как неформальный «социальный капитал», так как в него входят следующие наблюдаемые переменные: доверие, помощь семьи, отсутствие одиночества, частота встреч с родственниками и друзьями.

Четвертый фактор (11 % дисперсии) отражает позитивное отношение к жизни и уверенность в завтрашнем дне. В него вошли наблюдаемые переменные «уверенность в будущем», «наличие направления в жизни» (тот факт, что человек знает, в каком направлении движется его жизнь), легкость решения проблем, сопровождающиеся хорошим настроением и удовлетворенностью жизнью.

Таким образом, было получено две латентные переменные, характеризующие внутренние и внешние адаптационные ресурсы, и две переменные, которые отражают результат адаптационного процесса: психическое состояние и уверенность в будущем.

Следующим аналитическим шагом стала кластеризация выделенных в процессе факторного анализа компонент методом К-средних. С учетом наполненности кластеров было принято решение остановиться на трех кластерах. В таблице 3 приведены средние значения нормированных переменных для каждого кластера, определяющие их конечные центры.

Таблица 3. Кластеры населения Вологодской области, различающиеся по показателям социальной адаптации

Наименование фактора (латентной переменной)	Конечные центры кластеров		
	Кластер 1 «Адаптация на внешних ресурсах»	Кластер 2 «Деадаптация при отсутствии ресурсов»	Кластер 3 «Адаптация на внутренних ресурсах»
Фактор 1 «Негативное психическое состояние»	-0,50	1,74	-0,30
Фактор 2 «Личные качества»	-0,45	-0,18	0,50
Фактор 3 «Социальный капитал»	0,62	0,01	-0,59
Фактор 4 «Уверенность в будущем»	0,84	-1,40	0,21
Наполненность кластеров: человек	747	300	343
%	54	21	25

Рассчитано автором по данным мониторинга общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Первый кластер, к которому относится более половины респондентов (54%), отличается отсутствием ярко выраженных симптомов негативных психических состояний. Основным ресурсом у группы является внешний — социальный капитал в виде поддержки близких людей и друзей. Представители кластера достаточно уверены в своем будущем. Кластер назван «Адаптация на внешних ресурсах».

Второй кластер составляют респонденты, демонстрирующие признаки социальной дезадаптации. Они характеризуются симптомами невроза, тревоги, депрессии, в том числе и на клиническом уровне, отсутствием жизненных перспектив, уверенности в завтрашнем дне. Часто они не получают удовольствия от жизни. Причина подобного состояния кроется в отсутствии как внутренних, так и внешних адаптационных ресурсов. Каждый пятый респондент относится ко второму кластеру (21%). Кластер обозначен «Деадаптация при отсутствии ресурсов».

У представителей третьего кластера преобладают позитивные эмоции, редко проявляются симптомы негативных психических состояний. Они опираются на свои внутренние ресурсы, что помогает быть им достаточно уверенными в будущем и видеть жизненную перспективу. Социальная поддержка у третьего кластера выражена слабо. В группу входит четвертая часть респондентов. Кластер назван «Адаптация на внутренних ресурсах».

Кластеры различаются по социально-демографическим характеристикам их членов (рис. 1, 2). В первом и третьем кластерах выше доля респондентов среднего возраста, проживающих в полных семьях или холостых (незамужних), относящихся к двум верхним квинтильным группам по доходам (относительно обеспеченные) либо к наименее обеспеченной квинтильной группе. Второй кластер наполняют преимущественно женщины пожилого и среднего возраста, мужчины пожилого возраста, относящиеся к группам наименее обеспеченных и среднеобеспеченных. Третий кластер составляют молодые женщины, пожилые мужчины и женщины, а также представители двух верхних квинтильных групп по уровню материальной обеспеченности.

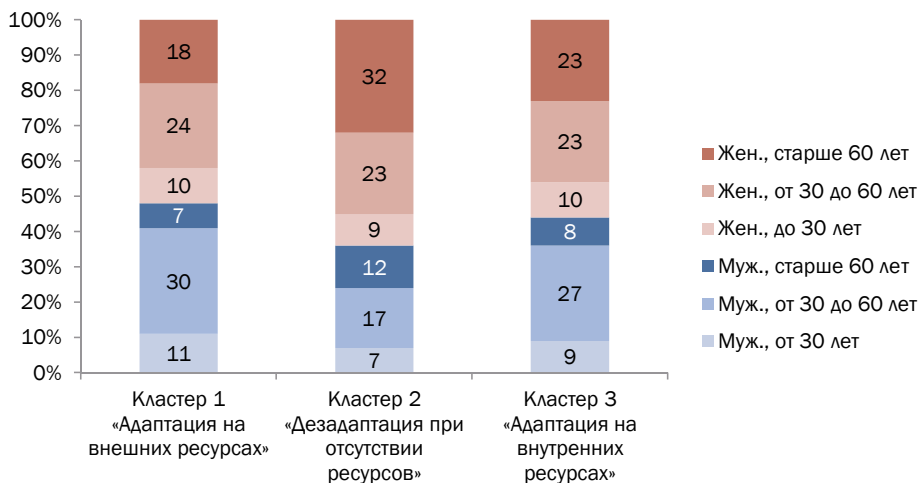


Рис. 1. Половозрастные характеристики населения Вологодской области в разрезе групп с различной социальной адаптацией, в % от опрошенных⁴

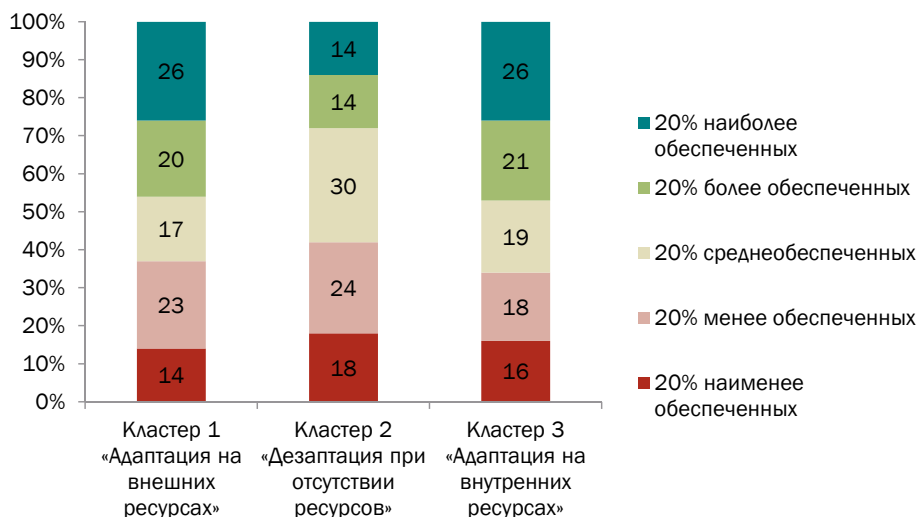


Рис. 2. Материальное положение населения Вологодской области в разрезе групп с различной социальной адаптацией (по субъективным оценкам), в % опрошенных⁵

⁴ Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

⁵ Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г. Квильное разбиение проводилось на общей выборке (1500 человек) по ответам на вопрос: «Посчитайте, пожалуйста, каков был среднемесячный фактический доход на одного члена Вашей семьи за последний месяц?». Первоначально респонденты ранжировались в порядке возрастания среднедушевых доходов, а затем были разделены на пять равных групп (по 277 человек). Из совокупной выборки в кластеризацию попало только 1390 респондентов, однако кильное разбиение по репрезентативной выборке было сохранено; в связи с этим наполнение кильных групп в аналитической выборке смещено.

Анализ отдельных показателей психических состояний показывает, что представители первого кластера чувствуют себя наиболее позитивно: 86 % из них отмечают, что счастливы, в то время как среди представителей второго кластера таких только 59 %, а третьего — 74 %. Прекрасным настроением или ровным состоянием отличаются 88 % респондентов, отнесенных к первому кластеру (для сравнения, во втором и третьем кластере доля таких респондентов составила 51 % и 78 % соответственно). Респонденты, входящие во второй кластер, чаще испытывают негативные эмоции и состояния (напряжение, раздражение, страх, тоску) и реже получают удовольствие от жизни (см. рис. 3).



Рис. 3. Субъективные оценки психического состояния населения Вологодской области в разрезе групп с различной социальной адаптацией, в % от опрошенных⁶

Группы различаются и по принятию жизненно важных решений, по реакциям на трудные ситуации, стратегиям борьбы со стрессом:

- самостоятельно принимают решения относительно собственной жизни 97 % представителей третьего кластера, 77 % первого и 76 % второго;
- испытывают оптимизм в отношении будущего 77 % социально адаптированных респондентов и 55 % — с признаками социальной дезадаптации.

Если человек адаптирован, то он самостоятельно или с внешней поддержкой находит выход из трудной ситуации и быстро справляется с негативными эмоциями. У каждого третьего жителя Вологодской области (37 %) происходят события, которые приводят к смене жизненных приоритетов: теряет свое значение то, что для них было важным раньше. 30 % респондентов считают, что им нужно много времени, чтобы прийти в норму, если случаются неприятности и что-то идет не так. Максимальная доля населения, быстро возвращающегося в норму, наблюдается среди тех, кто опирается на поддержку ближайшего социального окружения (74 %, рис. 4). Ниже эти показате-

⁶ Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

тели среди жителей, которые адаптируются в основном за счет внутренних ресурсов (53%), и еще ниже — среди респондентов с признаками социальной дезадаптации (36%). Последняя группа жителей отличается также специфическим отношением к неприятным ситуациям: они их принимают близко к сердцу и надолго (см. рис. 4).



Рис. 4. Субъективные оценки психического состояния населения Вологодской области при негативных ситуациях, в % от опрошенных⁷

В зависимости от структуры и характера активации социальных сетей индивидам предоставляются различные возможности для социальной поддержки и доступа к ресурсам. Население региона прибегает к поддержке ближнего круга общения (родственникам и близким друзьям), особенно это касается населения старших возрастных групп. Но и в отношении общения с близкими людьми можно выделить два варианта структуры социальных сетей: тесную и редкую. В первом варианте жители области тесно общаются со своими родственниками и друзьями — практически каждый день. Второй вариант соответствует структуре социальных сетей, характеризующейся малой активностью общения: один раз в месяц и реже (28% встречаются раз в месяц и реже, каждый пятый респондент (21%) — два-три раза в месяц). Практически все представители второго кластера (96%) в трудной ситуации обращаются за помощью к семье, друзьям, однако эта помощь носит преимущественно нематериальный характер: данные опроса показывают, что при уменьшении доходов только 8% из них планируют прибегнуть к материальной поддержке родственников, друзей, знакомых. Большая часть представителей этой группы считают, что только от них самих зависит карьера (64%) и материальное положение (69%).

Стресс, адаптация и здоровье населения региона

Респонденты, входящие в кластеры, которые обозначены как «социальная адаптация», чаще дают высокие субъективные оценки здоровью (см. рис. 5).

⁷ Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Практически половина из них считает свое здоровье хорошим и очень хорошим (47 % из первого и 43 % из второго кластера). Респонденты, проявляющие симптомы социальной дезадаптации, чаще характеризуют свое здоровье как плохое и очень плохое. Данного мнения придерживается каждый пятый представитель второго кластера (21 %; среди представителей первого кластера низкие оценки собственному здоровью дают 5 %, третьего — 8 % респондентов).

Жители региона понимают, что человек должен сам заботиться о своем здоровье в союзе с медицинскими работниками (см. рис. 5). Часть ответственности переносится на семью (от 20 % до 24 % респондентов считают, что и семья должна заботиться об их здоровье) и государство (12 %-27 %). Можно сделать вывод, что социальная дезадаптация связана с перекладыванием ответственности на других. Так, даже в отношении собственного здоровья только 68 % членов второго кластера принимают интернальный локус контроля.

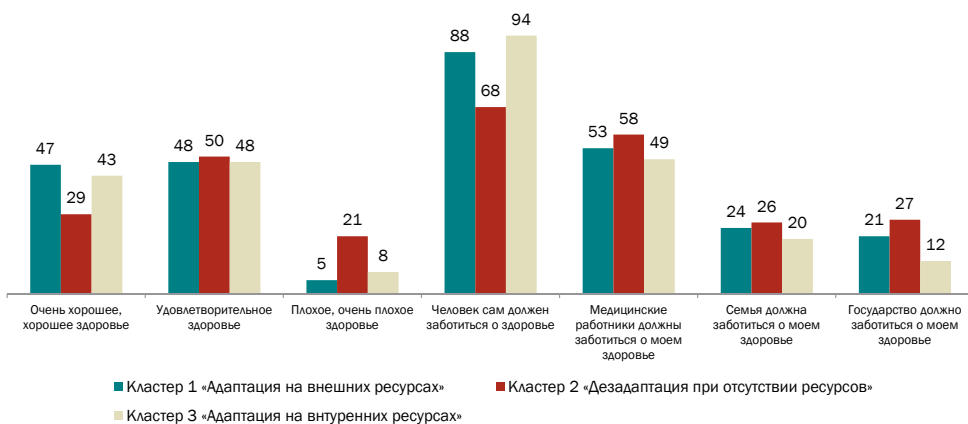


Рис. 5. Субъективные оценки здоровья и атрибуция ответственности в разрезе групп населения Вологодской области с различной социальной адаптацией, в % от опрошенных⁸

Далеко не все люди, у которых наблюдаются симптомы психических расстройств, готовы пользоваться специализированной помощью. Причиной этого чаще всего выступают внутренние барьеры: непривычно, могут неправильно понять окружающие. Только треть респондентов (30 %) готовы сразу обратиться за помощью к квалифицированному специалисту (психологу, психиатру, психотерапевту) в случае необходимости. Практически половина респондентов (46 %) думают, что смогут справиться сами, а более половины (53 %) не видят необходимости в наличии доступной помощи населению с психическими расстройствами по месту жительства (в 2002 г. такую точку зрения высказывали только 13 % опрошенных).

Сопоставимые оценки приводятся и ВЦИОМ⁹. В 2019 г. доля россиян, часто испытывавших стресс, составляла 17 %, еще 8 % утверждали, что пребывают в нем

⁸ Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

⁹ Жизнь в стрессе: масштаб проблемы и пути решения // ВЦИОМ. 2019. 19 октября. № 4075. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9939> (дата обращения: 27.07.2020).

постоянно. При этом более половины россиян (58%) в случае возникновения стрессовой ситуации обратились бы за помощью для выхода из нее, а 42% предпочли бы справиться с ситуацией самостоятельно.

По данным ВолНЦ РАН, доля жителей Вологодской области, практически ежедневно испытывающих стресс, составляет 2%, несколько раз в неделю — 9%. Проживание в городах (г. Вологда и г. Череповец) связано с большей подверженностью стрессам: до 21% череповчан и 17% вологжан подвергаются воздействию стресса несколько раз в неделю и чаще. Пятая часть населения области (22%) утверждает, что никогда не испытывала стресс. Полученные ранее результаты [Смолева, 2018] свидетельствуют об отсутствии гендерных различий и наличии возрастных: наиболее подвержено стрессу население средней возрастной категории. Как воспринимают трудные ситуации представители выделенных нами кластеров? У членов второго кластера чаще возникает ощущение, что они попадают в ситуации стресса. Так, каждый четвертый из них (25%, табл. 4) отмечает, что испытывал стресс несколько раз в неделю или ежедневно. Те жители области, которые опираются на социальную поддержку, реже идентифицируют ситуации как стрессовые. Треть из них утверждают, что никогда не испытывает стресс. Представители третьего кластера занимают промежуточное положение (см. табл. 4).

Таблица 4. Частота стресса у населения Вологодской области в разрезе групп с различной социальной адаптацией, в % от числа опрошенных

Показатель частоты стресса	Кластер 1 «Адаптация на внешних ресурсах»	Кластер 2 «Деадаптация при отсутствии ресурсов»	Кластер 3 «Адаптация на внутренних ресурсах»
Ежедневно	1	5	4
Несколько раз в неделю	5	20	9
Несколько раз в месяц	14	24	20
Несколько раз в год	33	36	36
Один раз в год	14	10	13
Никогда	33	5	18

Источник: Мониторинг общественного здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Стратегии, к которым прибегают жители области для борьбы со стрессом, различаются по их продуктивности. К продуктивным стратегиям относятся занятия любимым делом, хобби (применяют 29% респондентов), спортом, физической культурой (15%), прогулки на свежем воздухе (30%). Непродуктивные способы борьбы со стрессом представлены «заеданием проблемной ситуации» (20%),

изменением психического состояния при помощи курения (15%) или алкоголя (10%). Седьмая часть жителей области выбирает стратегию «избегания»: ничего не делает в ситуации стресса, потому что не хочет (14%) или не знает, как бороться с ним (13%).

Респонденты, входящие во второй кластер, более активно выбирают стратегии совладания со стрессом: хобби и прогулки на свежем воздухе (по 35%; см. табл. 5), занятия спортом (21%). Среди респондентов, отнесенных к группе с проявлениями социальной дезадаптации, больше выбирающих непродуктивные стратегии борьбы со стрессом: «заедание» (29%), курение (23%), алкоголь (15%).

Таблица 5. Способы борьбы со стрессом населения Вологодской области в разрезе групп с различной социальной адаптацией, в % от числа опрошенных

Наименование способа	Кластер 1 «Адаптация на внешних ресурсах»	Кластер 2 «Дезадаптация при отсутствии ресурсов»	Кластер 3 «Адаптация на внутренних ресурсах»
Хобби	31	23	35
Прогулки на свежем воздухе	29	31	35
Вкусная еда	18	29	24
Занятия спортом	14	15	21
Курение	13	23	14
Алкоголь	8	15	9

Источник: Мониторинг общественного здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Население, отнесенное в первый и третий кластеры, выбирает трудовые стратегии выхода из материального неблагополучия: поиск дополнительного заработка (52%—53%; см. табл. 6), смену работы (33% и 38% соответственно), освоение новой профессии, специальности (21%—23%). Обозначенные активные стратегии дополняются стратегиями снижения затрат: выбор меньшего количества (22%—24%) и более дешевых продуктов, вещей (19%). Для жителей с проявлениями социальной дезадаптации характерны стратегии снижения затрат (29% будут покупать меньше продуктов и вещей, 26% будут покупать более дешевые продукты и вещи), расходования накопленных сбережений (17%) и продажи вещей (17%). Поиском дополнительного заработка готовы озадачиться только каждый третий из второго кластера (32%), освоением новой профессии или переездом туда, где больше возможностей заработать, — каждый десятый (11%). За помощью к родственникам, друзьям, знакомым обратятся 8% респондентов из первого и третьего кластеров и 15% — из второго кластера.

Таблица 6. Стратегии населения Вологодской области по выходу из материально трудной ситуации

Наименование стратегии	Кластер 1 «Адаптация на внешних ресурсах»		Кластер 2 «Деадаптация при отсутствии ресурсов»		Кластер 3 «Адаптация на внутренних ресурсах»	
	%	рейтинг стратегии внутри кластера	%	рейтинг стратегии внутри кластера	%	рейтинг стратегии внутри кластера
Буду искать дополнительный заработок	53	1	32	1	52	1
Буду покупать меньше продуктов, вещей	24	3	29	2	22	4
Буду покупать более дешевые продукты, вещи	19	5	26	3	19	5
Сменю работу	33	2	25	4	38	2
Продам что-то из своих вещей	6	10	17	5	9	7
Буду расходовать свои сбережения	9	7	17	6	7	10
Попрошу помощи у родственников, друзей, знакомых	8	9	15	7	8	9
Перееду туда, где дешевле жить	8	8	12	8	8	8
Освою новую профессию, специальность	21	4	11	9	23	3
Перееду туда, где больше возможностей заработать	12	6	11	10	14	6
Поменяю квартиру на меньшую	6	11	7	11	4	11
Сдам в аренду свою комнату, квартиру, дачу и т. п.	4	12	6	12	3	12
Обращусь за помощью в благотворительные организации, общины и т. п.	2	13	6	13	1	13
Буду просить милостыню	2	14	4	14	1	14

Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Если не обозначать характер трудной жизненной ситуации как материальный или финансовый, то за помощью к семье готовы обратиться 96 % представителей первого кластера, 75 % второго и 72 % третьего; у более дальних родственников смогут попросить поддержку соответственно 67 %, 44 % и 53 % представителей кластеров. На помощь друзей рассчитывают 67 % респондентов из первого кластера, 44 % второго и 53 % третьего кластера. У соседей будут искать поддержку от 18 % (третий кластер) до 23 %—25 % (первый, второй кластер) респондентов.

Социальную дезадаптацию связывают с ситуацией, когда в качестве ответа на изменение или неблагоприятное воздействие социальной среды индивид выбирает девиантные формы поведения [Змановская, 2008]. Действительно, среди представителей второго кластера чаще встречаются люди, которые считают допустимым пьянство, алкоголизм (30 %; в два раза больше, чем среди представителей других кластеров; см. рис. 6, табл. 7), употребление наркотиков (11 %, в 3—4 раза больше, чем среди представителей других кластеров), обогащения за счет других (11 %, в 3—4 раза больше, чем среди представителей других кластеров).

Таблица 7. Отношение населения Вологодской области к девиантным формам поведения в разрезе групп с различной социальной адаптацией, в % от числа опрошенных

Наименование девиантного поведения	Кластер 1 «Адаптация на внешних ресурсах»	Кластер 2 «Деадаптация при отсутствии ресурсов»	Кластер 3 «Адаптация на внутренних ресурсах»
Пьянство, алкоголизм			
— к этому следует относиться снисходительно	11	11	7
— иногда это допустимо	16	30	16
— никогда не может быть оправдано	73	59	77
Употребление наркотиков			
— к этому следует относиться снисходительно	6	7	2
— иногда это допустимо	3	11	4
— никогда не может быть оправдано	91	82	94
Обогащение за счет других			
— к этому следует относиться снисходительно	8	13	4
— иногда это допустимо	11	26	13
— никогда не может быть оправдано	81	61	83
Суицид			
— к этому следует относиться снисходительно	3	8	3
— иногда это допустимо	6	16	7
— никогда не может быть оправдано	91	76	90

Источник: Мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

Суицидальные мысли допускали 7 % респондентов, а 13 % высказывают мнение, что если жизнь бессмысленна, то незачем жить. Каждый четвертый (25 %) отмечает, что его в последнее время ничего не радует, 26 % респондентов согласны, что настоящая жизнь часто бывает невыносима.

Сравнение тенденций социальной адаптации населения России и Вологодской области

В рамках этого исследования проведено сравнение показателей социальной адаптации населения России и Вологодской области. Критерии и ресурсы адаптации населения России были изучены ранее на данных международного сравнительного исследования в рамках проекта European Social Survey (ESS) [Смолева, 2019]. Анализ строился на аналогичных показателях результата и ресурсов адаптации, только региональные данные были дополнены переменными невроза, депрессии и тревоги. Так как применялись различные методики социологических опросов, то автор сравнивает исключительно основные тенденции, выявленные в ходе двух исследований (см. табл. 8).

Таблица 8. Сравнение результатов исследования социальной адаптации населения России и региона

Наименование результата	Российская Федерация*		Вологодская область**	
<i>Латентные переменные (факторы)</i>				
Фактор 1	Позитивное психическое состояние	Отрицательная нагрузка: чувство одиночества, тревога, озабоченность, депрессия. Положительная нагрузка: могу мобилизовать себя; получаю удовольствие от жизни	Негативное психическое состояние	Тревога; невроз; депрессия; отсутствие способности собраться, мобилизовать себя; отсутствие удовольствия от жизни
Фактор 2	Высокая самооценка и субъектность	Высокая самооценка в различных областях; самостоятельное принятие жизненно важных решений; все, что я делаю, ценно и нужно людям; оптимизм в отношении своего будущего; хорошее отношение к себе	Личные качества	Самостоятельное принятие жизненно важных решений; хорошее отношение к себе; высокая самооценка в различных областях; оптимизм в отношении своего будущего
Фактор 3	Социальная поддержка	Получение поддержки от близких людей; поддержка близких людей; ценят близкие люди	Социальный капитал	Доверие; помощь семьи; отсутствие одиночества; встречи с родственниками и друзьями
Фактор 4	Поведение при изменениях среды	Легкость принятия решений в проблемных ситуациях; отсутствие ощущения себя неудачником; наличие направления в жизни; быстрое возвращение в норму.	Уверенность в будущем	Наличие направления в жизни; уверенность в будущем; легкость принятия решений в проблемных ситуациях; хорошее настроение; удовлетворенность жизнью
<i>Дифференциация населения</i>				
Социальная адаптация	Кластер «Адаптация при высоких нагрузках».	Хорошее психическое состояние, которое основывается на внутренних и внешних ресурсах. Высокий уровень адаптации к меняющейся реальности и наличие временной перспективы (26%).	Кластер «Адаптация на внешних ресурсах»	Нормальное психическое состояние, отсутствие ярко выраженных симптомов негативных психических состояний. Основным ресурсом у группы является внешний — социальный капитал. Средний уровень внутренних ресурсов. Представители кластера достаточно уверены в своем будущем (54%).

Наименование результата	Российская Федерация*		Вологодская область**	
Социальная адаптация	Кластер «Адаптация на внутренних ресурсах»	Хорошее психическое состояние респондентов, основой которого является внутренняя поддержка — высокая самооценка. Отсутствие поддержки близких людей (16%).	Кластер «Адаптация на внутренних ресурсах»	Преобладание позитивных эмоций, редкое проявление симптомов негативных психических состояний. Опора на внутренние ресурсы обуславливает уверенность в будущем и видение жизненной перспективы. Социальная поддержка выражена слабо (25%).
Возможные проблемы с адаптацией	Кластер «Возможная дезадаптация при утрате внешних ресурсов»	Хорошее психическое состояние на основе социальной поддержки. Внутренние ресурсы отсутствуют (21%).		
Возможные проблемы с адаптацией	Кластер «Потенциальная дезадаптация при увеличении нагрузки»	Нормальное психическое состояние. Внутренние и внешние ресурсы недостаточны, реализация адаптационного потенциала затруднена (15%).		
Социальная дезадаптация	Кластер «Дезадаптация при отсутствии ресурсов».	Респонденты дают негативные субъективные оценки своему психическому состоянию и отмечают отсутствие ресурсов, характеризуются низкими самооценками и уровнями социальной поддержки (12%).	Кластер «Дезадаптация при отсутствии ресурсов».	Наличие симптомов невроза, тревоги, депрессии; отсутствие жизненных перспектив, уверенности в завтрашнем дне. Часто не получают удовольствия от жизни. Причина — отсутствие внутренних и внешних ресурсов (21%).
Социальная дезадаптация	Кластер «Дезадаптация при наличии ресурсов»	Явно выраженные проявления негативных психических состояний. Имеют внутренние и внешние ресурсы (10%).		

Источник: * — [Смолева, 2019]; ** — данные мониторинга общественного психического здоровья ВолНЦ РАН, 2019 г.

В структуре социальной адаптации населения России выделено четыре латентных переменных. Две переменные отражают адаптированность личности: позитивное психическое самочувствие и активные поведенческие практики в условиях изменения среды (субъектная активность). Две другие латентные переменные обобщают характеристики адаптационных ресурсов личности: внутренних (высокая адекватная самооценка, интернальный локус контроля) и внешних (социальная

поддержка). По данным исследования на региональной выборке также получено две латентные переменные, характеризующие адаптационные ресурсы (внутренние и внешние), и две переменные, которые отражают результат адаптационного процесса: психическое состояние и уверенность в будущем. По сравнению с населением страны в целом для жителей Вологодской области более значимыми оказались показатели негативных психических состояний, а также наличие жизненных перспектив. Выявленная специфика подтверждается данными статистики. В Вологодской области показатели болезненности психическими расстройствами и расстройствами поведения, не связанными с употреблением психоактивных веществ, на четверть выше среднероссийских. Если во всех федеральных округах заболеваемость психическими расстройствами, не связанными с употреблением ПАВ, с 2013 г. снизилась на 10 %—20 %, то в Вологодской области, напротив, выросла на 26 %, а по сравнению с 2016 г. — на 60 %¹⁰.

В ходе кластерного анализа выделено шесть групп россиян, различающихся по степени социальной адаптации. Из них две автор относит к группам лиц с адаптацией (кластеры «Адаптация на внутренних ресурсах» и «Адаптация при высоких нагрузках»), две — с дезадаптацией (кластеры «Дезадаптация при наличии ресурсов» и «Дезадаптация при отсутствии ресурсов») и две — с возможными проблемами в адаптации (кластеры «Потенциальная дезадаптация при увеличении нагрузки» и «Возможная дезадаптация при утрате внешних ресурсов»). Россияне, входящие в две последние группы, характеризуются хорошим психическим состоянием. Однако отсутствие внутренних ресурсов в первом случае подталкивает к прогнозированию ситуации изменения психического состояния в худшую сторону при утрате внешней поддержки. Во втором случае внимание обращается на трудности с реализацией адаптационного потенциала, так как респонденты при изменении жизненных условий медленно приходят в норму и трудно принимают решения. Таким образом представители этого кластера могут не адаптироваться к росту нагрузки социальной среды.

Среди жителей Вологодской области четко выделяются группы, чья адаптация основана на внешних или внутренних ресурсах. Жители области с социальной поддержкой чаще других демонстрируют позитивные эмоции, отмечают у себя положительное психическое состояние; в трудных ситуациях готовы обращаться за помощью к семье, друзьям, соседям. У данной категории выше субъективные оценки здоровья, хотя ответственность за него охотнее перекладывается на семью или государство. Они реже испытывают стресс, менее тревожны. Население с личностными ресурсами (высокой самооценкой, субъектной позицией, интернальным локусом контроля) более удовлетворено своей жизнью и положением в обществе, но и чаще испытывает стресс, чем лица с социальной поддержкой. Жители региона, демонстрирующие признаки социальной дезадаптации, характеризуются негативными психическими состояниями в виде тревоги, депрессии, невроза. Они более фрустрированы, подвержены стрессу, менее уверены в своем будущем. Кроме того, они чаще склонны оправдывать девиантное поведение

¹⁰ Статистический сборник 2018 год // Министерство здравоохранения Российской Федерации. 2019. 31 июля. URL: <https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2018-god> (дата обращения: 28.07.2020).

(пьянство, обогащение за счет других, суицид) и прибегать к нему в качестве средства борьбы со стрессом (алкоголь, курение).

По наполняемости групп сделан вывод о схожести тенденций на общероссийском и региональном уровне. Доля населения, в отношении которого мы предполагаем наличие дезадаптации, проявляющейся в симптоматике негативных психических состояний, составляет одну пятую часть в обеих выборках.

Заключение

В рамках исследования выявлено, что для населения Вологодской области социальная поддержка является более действенным адаптационным ресурсом, чем личностный ресурс, связанный с субъектной активностью, самооценкой и внутренней ответственностью. Выделены группы, различающиеся по уровням и ресурсам адаптации: «Адаптация на внешних ресурсах» (более половины населения), «Адаптация на внутренних ресурсах» (около четверти населения) и «Дезадаптация при отсутствии ресурсов» (одна пятая часть).

В отношении характеристик социально адаптированных групп жителей Вологодской области можно выделить некоторые особенности. Наиболее адаптивны более социализированные жители. Этот вывод согласуется с результатами других эмпирических исследований, которые показывают, что преимущественное значение в современных условиях для россиян имеет социальный ресурс [Тихонова, Каравай, 2016: 48]. Однако для населения области этот ресурс заключается чаще всего в поддержке семьи в сочетании с узким кругом доверия и низким потенциалом внутренних ресурсов. Возникает вопрос: как пойдет адаптация при утрате внешних ресурсов?

Наряду с экономическим, человеческим и социальным капиталом значительная роль в адаптации отводится и психологическим ресурсам личности. В атмосфере повышенного внимания к социальной субъектности и самодостаточности населения страны интерес вызывает группа жителей области, которые опираются на внутренние ресурсы. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что наполняемость этой группы невысока. Это объясняется отчасти характерным для населения области преобладанием конформистских ценностей над индивидуалистическими (независимостью, смелостью в отстаивании своего мнения). Безусловно, конформное поведение является социально одобряемым, но в то же время мешает утверждению собственного независимого мнения, что в сочетании с отсутствием высоких требований к жизни и высоких притязаний может сформировать стратегии (жизненный сценарий) недостижения успеха. Даже в плане самодостаточности жители области проигрывают другим регионам СЗФО: считают, что без поддержки со стороны государства им вместе со своей семьей не выжить, 60 % жителей Вологодской области, 44 % жителей Псковской области и 52 % жителей Республики Карелия¹¹. А ведь для адаптации в условиях постоянных изменений социальной реальности «самодостаточность, способность самостоятельно

¹¹ В 2018 г. мониторинг общественного психического здоровья ВолНЦ Ран был расширен на регионы Республика Карелия (400 человек) и Псковская область (400 человек). В статье приводятся результаты ответов на вопрос: «Из двух пар утверждений выберите одно, с которым Вы в наибольшей степени согласны: 1А. Я смогу обеспечить себя и свою семью, и не нуждаюсь в поддержке государства; 1Б. Без поддержки со стороны государства мне и моей семье не выжить».

планировать и реализовывать жизненные стратегии» приравнивается к ресурсам, образованным человеческим (например, образованием) или финансовым капиталом [Седова, 2019: 11].

Можно предположить, что сложившаяся картина связана с образовательной миграцией молодежи за пределы региона (49% выпускников 2018 г. планировали продолжить учебу не в областных вузах [Дорошенко, Леонидова, 2019]), то есть происходит отток той части населения, которая отдает приоритет личной активности и самостоятельности, а оставшиеся в регионе сохраняют преимущественно провинциальные ценности и смыслы: стабильности, традиционности¹².

Насколько устойчивы позиции представителей этой группы в адаптационном плане? По ряду показателей они проигрывают тем, у кого ресурсы внешние: они чаще идентифицируют жизненные ситуации как стрессовые, чаще тревожатся, а доля тех, кто медленно возвращается к нормальному состоянию, среди них выше. Мы приходим к выводу, что для жителей Вологодской области состояние субъектности, ответственности за свои решения более уязвимо с психологической точки зрения, чем опора на родственников и друзей.

Оценка показателей адаптированности в разрезе групп показала несостоятельность строгого разграничения результата адаптации на два противоположных состояния — адаптацию и дезадаптацию; данные свидетельствуют о различных уровнях адаптации. Автор предполагает, что граждане, опирающиеся на различные ресурсы в адаптационном процессе, используют и разные механизмы адаптации. В группе «Адаптация на внешних ресурсах» задействованы, скорее всего, приспособление и интеграция, а группа «Адаптация на внутренних ресурсах» чаще использует воздействие адаптанта на внешнюю среду.

Проведенное исследование дополняет результаты, полученные другими научными коллективами с точки зрения социально-экономических аспектов адаптации. Новизна работы заключается в смещении акцентов в исследовании адаптации населения региона на личностные и социальные ресурсы, выявление особенностей социального капитала жителей области, сравнении психического самочувствия и здоровья тех, кто старается изменить себя и среду, и тех, кто «плывет по течению» с опорой на свое ближайшее окружение.

Список литературы (References)

Аврамова Е. М. Российское население в постсоветский период: опыт кризисов и социальные ресурсы развития. М.: Дело, 2018.

Avraamova E. M. (2018) Russian Population in the Post-Soviet Period: An Experience of Crises and Social Resources of Development. Moscow: Delo. (In Russ.)

Аврамова Е. М., Логинов Д. М. Адаптационные ресурсы населения: попытка количественной оценки // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 3. С. 13—17.

¹² «Провинциальное бытие, с его отдаленностью от органов управления нацией, страной, государством, культурной жизнью, со скромным в сравнении со столичным управленческим аппаратом и более бедными интеллектуальными ресурсами, обуславливает иные формы повседневного существования — несравненно более спокойного, замкнутого в частных семейных интересах, лишённого претензий на решающее соучастие в главных процессах, протекающих в масштабе всей страны...» [Каган, 1993: 18].

Avraamova E. M., Loginov D. M. (2002) Adaptation Resources of the Population: An Attempt to Quantify. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 13—17. (In Russ.)

Беляева Л. А. Идеально типические группы адаптации в современной России // Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса / под общ. ред. Т. И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2001а. С. 327—333.

Belyaeva L. A. (2001a) Ideally Typical Groups of Adaptation in Modern Russia. In: Zaslavskaya T. I. (ed.) *Who Aspires to Lead Russia and Where to? Actors of Macro-, Meso — and Micro-Levels of the Contemporary Transformation Process*. Moscow: MSSES. P. 327—333. (In Russ.)

Беляева Л. А. Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития. М., 2001b.

Belyaeva L. A. (2001b) Social stratification and the middle class in Russia: 10 years of post-Soviet development. Moscow. (In Russ.)

Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья. СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. Gurvich I. N. (1999) *Social Psychology of Health*. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University Publishing House. (In Russ.)

Дорошенко Т. А., Леонидова Г. В. Миграционные намерения выпускников школ и их реализация в условиях регионального образовательного пространства // Социальное пространство. 2019. № 4. С. 1—12. <https://doi.org/10.15838/sa.2019.4.21.4>.

Doroshenko T. A., Leonidova G. V. (2019) School Graduates' Migration Intentions and Their Implementation in the Educational Space of the Region. *Social Area*. No. 4. P. 1—12. <https://doi.org/10.15838/sa.2019.4.21.4>. (In Russ.)

Змановская Е. В. Теоретико-методологическое обоснование общей теории девиантности и девиантного поведения // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. 2008. Т. 9. № 4. С. 133—138.

Zmanovskaya E. V. (2008) Theoretical and Methodological Substantiation of the General Theory of Deviance and Deviant Behavior. *Scientific Notes of St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work*. Vol. 9. No. 4. P. 133—138. (In Russ.)

Каган М. Л. Москва — Петербург — провинция: «двустолечность» России — ее историческая судьба и уникальный шанс // Российская провинция. 1993. № 1. С. 16—28.

Kagan M. L. (1993) Moscow — Petersburg — Province: Capital Dualism of Russia as Its Historical Fate and Unique Chance. *Russian Province*. No. 1. P. 16—28. (In Russ.)

Каравай А. В. Основные модели социально-экономической адаптации в разных стратах российского общества // Terra Economicus. 2019. Т. 17. № 3. С. 128—145. <http://dx.doi.org/10.23683/2073-6606-2019-17-3-128-145>.

Karavay A. V. (2019) Basic Models of Socio-Economic Adaptation in Different Strata of Russian Society. *Terra Economicus*. Vol. 17. No. 3. P. 128—145. <http://dx.doi.org/10.23683/2073-6606-2019-17-3-128-145>. (In Russ.)

Козырева П. М. Процессы адаптации и эволюция социального самочувствия россиян на рубеже XX—XXI веков. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2004.

Kozyreva P. M. (2004) Adaptation Processes and the Evolution of Social Well-Being of Russians at the Turn of the 20th—21st Centuries. Moscow: Center for Human Values. (In Russ.)

Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы теории, методологии и методики. Новосибирск: Наука, 2005.

Korel L. V. (2005) Sociology of Adaptation: Problems of Theory, Methodology and Technique. Novosibirsk: Nauka. (In Russ.)

Мареева С. В. Адаптация россиян к последствиям экономического кризиса // Социологические исследования, 2017. № 11. С. 65—75. <https://doi.org/10.7868/S0132162517110083>.

Mareeva S. V. (2017) Russians' Adaptation to Effects of the Economic Crisis. *Sociological Studies*. No. 11. P. 65—75. <https://doi.org/10.7868/S0132162517110083>. (In Russ.)

Мозговая А. В., Шлыкова Е. В. Социальные ресурсы и адаптация к риску: выбор стратегии (на примере социальной общности в ситуации конкретного риска) // Социологическая наука и социальная практика. 2014. № 4. С. 25—49.

Mozgovaya A. V., Shlykova E. V. (2014) Social Resources and Adaptation to Risk: The Choice of Strategy (by the Example the Social Community in the Situation of Particular Risk). *Sociological Science and Social Practice*. No. 4. P. 25—49. (In Russ.)

Нилов В. М. Социальный капитал и здоровье: методологические проблемы исследований // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 1. С. 217—220.

Nilov V. M. (2011) Social Capital and Health: Methodological Problems of the Research. *Vestnik of Saint Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology. Pedagogy*. No. 1. P. 217—220. (In Russ.)

Пасовец Ю. М. Адаптированность населения к социальным изменениям и ее показатели // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2015. № 1. С. 28—35.

Pasovets Yu. M. (2015) Population's Adaptedness to the Social Changes and Its Indicators. *Bulletin of Higher Education Institutes. North Caucasus Region. Social Sciences*. No. 1. P. 28—35. (In Russ.)

Русинова Н. Л., Панова Л. В., Сафронов В. В. Здоровье и социальный капитал (Опыт исследования в Санкт-Петербурге) // Социологические исследования. 2010. № 1. С. 87—100.

Rusinova N. L., Panova L. V., Safronov V. V. (2010) Health and Social Capital (Research Experience in St. Petersburg). *Sociological Studies*. No 1. P. 87—100. (In Russ.)

Русинова Н. Л., Сафронов В. В. Персональные психологические ресурсы и социальные неравенства в здоровье: выраженность буферного эффекта в европейских странах // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4. № 3. С. 59—87.

Rusinova N. L., Safronov V. V. (2017) Personal Psychological Resources and Health Inequalities: the Strength of the Buffer Effect in European Countries. *Demographic Review*. Vol. 4. No. 3. P. 59—87. (In Russ.)

Седова Н. Н. Самодостаточность и активизм в мировоззренческих установках россиян // Социологическая наука и социальная практика. 2019. Vol. 7. № 4. С. 9—25. <https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6796>.

Sedova N. N. (2019) Activism in the Worldview of Russians. *Sociological Science and Social Practice*. Т. 7. № 4. P. 9—25. <https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.4.6796>. (In Russ.)

Смолева Е. О. Психическое здоровье в субъективных оценках населения региона // Вопросы территориального развития. 2018. № 5. С. 1—14. <https://doi.org/10.15838/tdi.2018.5.45.11>.

Smoleva E. O. (2018) Mental Health in the Subjective Assessments of the Region's Population. *Territorial Development Issues*. No. 5. P. 1—14. <https://doi.org/10.15838/tdi.2018.5.45.11>. (In Russ.)

Смолева Е. О. Критерии и ресурсы социальной адаптации населения России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С. 179—195. <https://doi.org/10.15838/esc.2019.2.62.11>.

Smoleva E. O. (2019) Criteria and Resources for Social Adaptation of Russia's Population. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. Vol. 12. No. 2. P. 179—195. <https://doi.org/10.15838/esc.2019.2.62.11>. (In Russ.)

Тихонова Н. Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях // Экономическая социология. 2006. Т. 7. № 3. С. 28—41.

Tikhonova N. Ye. (2006) Resource Approach as a New Theoretical Paradigm in Stratification Studies. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 7. No. 3. P. 28—41. (In Russ.)

Тихонова Н. Е., Каравай А. В. Ресурсы россиян в условиях кризиса: динамика и роль в адаптации к новым условиям // Социологические исследования. 2016. № 10. С. 43—53.

Tikhonova N. Ye., Karavay A. V. (2016) Resources of Russians in Times of Crisis: Dynamics and Role in Adaptation to New Conditions. *Sociological Studies*. No. 10. P. 43—53. (In Russ.)

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Издательство Института психотерапии, 2002.

Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. (2002) Socio-Psychological Diagnostics of the Development of Personality and Small Groups. Moscow: Izdatelstvo Instituta psikhoterapii. (In Russ.)

Carlson P. (2016) Trust and Health in Eastern Europe: Conceptions of a New Society. *International Journal of Social Welfare*. Vol. 25. No. 1. P. 69—77. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12165>.

Cohen S. (2004) Social Relationships and Health. *American Psychologist*. Vol. 59. No. 8. P. 676—684. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.8.676>.

Elder G. H. Jr., Caspi A. (1990) Studying Lives in a Changing Society: Sociological and Personological Explorations. In: Rabin A. I., Zucker R. A., Emmons R. A., Frank S. (eds.) *Studying Persons and Lives*. New York, NY: Springer. P. 201—247.

Kawachi I., Subramanian S. V., Kim D. (eds., 2007) *Social Capital and Health*. New York, NY: Springer.

Narotzky S., Besnier N. (2014) Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy: An Introduction to Supplement. *Current Anthropology*. Vol. 55. No. S9. P. 4—16. <https://doi.org/10.1086/676327>.

Pichler F., Wallace C. D. (2007) Patterns of Formal and Informal Social Capital in Europe. *European Sociological Review*. Vol. 23. No. 4. P. 423—435. <https://doi.org/10.1093/esr/jcm013>.

МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.791



А. Д. Казун

ТАК ЛИ СТРАШЕН ФЕЙК? ЛОЖНЫЕ НОВОСТИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Правильная ссылка на статью:

Казун А. Д. Так ли страшен фейк? Ложные новости и их роль в современном мире // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 162—175. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.791>.

For citation:

Kazun . A. (2020) Are Fakes Really Dangerous? Fake News and Their Role in the Modern World. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 162—175. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.791>. (In Russ.)

ТАК ЛИ СТРАШЕН ФЕЙК? ЛОЖНЫЕ НОВОСТИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

*КАЗУН Анастасия Дмитриевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, преподаватель факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: adkazun@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9633-2776>*

Аннотация. В статье представлен обзор ключевых зарубежных исследований фейковых новостей. Работы, посвященные фейковым новостям, зачастую противоречивы и приходят к противоположным выводам. В литературе отсутствует единое определение данного понятия. Оценки общественной опасности фейковых новостей, на которых сфокусирована эта статья, также неоднозначны. В числе поводов для тревоги выделяют спорную эффективность имеющихся методов противодействия ложной информации, политическую предвзятость такого контента, а также тот факт, что любой контент может при определенных условиях стать вирусным. Кроме того, увеличение числа фейковых новостей рассматривается как причина снижения доверия СМИ, которое, впрочем, наблюдалось задолго до того, как рассматриваемое явление возникло. Вместе с тем ряд исследований показывает, что реальная аудитория фейковых новостей не очень велика и достаточно специфична. Это должно несколько снизить потенциальные негативные эффекты ложной информации. Кроме того, есть возможности для противодействия

ARE FAKES REALLY DANGEROUS? FAKE NEWS AND THEIR ROLE IN THE MODERN WORLD

*Anastasia D. KAZUN¹ — Cand. Sci. (Soc.), Senior Research Fellow at the Laboratory for Studies in Economic Sociology; Lecturer at the Faculty of Social Sciences
E-MAIL: adkazun@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9633-2776>*

¹ National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract. The article provides an overview of key foreign studies devoted to fake news. Works related to fake news are often contradictory and contain opposite conclusions. Literature does not provide a single definition of the notion. Assessments of a danger to society fake news may entail are ambivalent in this article, too. Red flags are disputable effectiveness of the existing methods to combat disinformation, political bias in the content, as well as the fact that any type of content can be interpreted as virus under certain circumstances. In addition, an increase in the number of fake news can be considered as a reason for a decline of trust in mass media which, though, had been seen long before the question under discussion appeared. However a number of studies show that the actual fake news audience is not large and quite specific. It may slightly decrease potential negative effects of disinformation. Besides that, there are possibilities to tackle online disinformation, and there are groups of people less sensitive to influence. Thus, potential consequences of fake news are unclear. Despite the fact that the phenomenon is predominantly talked about in a negative

дезинформирующим сайтам и группы людей, менее подверженные их влиянию. Таким образом, потенциальные последствия фейковых новостей неоднозначны. Хотя данный феномен обсуждается преимущественно в негативном ключе, существуют факторы, снижающие остроту проблемы.

Ключевые слова: СМИ, интернет, фейковые новости, доверие СМИ, электоральное поведение

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (РНФ), грант № 19-18-00206.

way, there exist certain factors that reduce the acuteness of the problem.

Keywords: media, Internet, fake news, electoral behavior, trust in media

Acknowledgments. The article is supported by the Russian Science Foundation, grant no. 19-18-00206.

Введение

Проблема фейковых новостей обратила на себя внимание после президентских выборов в США в 2016 г. и вызвала активную общественную дискуссию. Хилари Клинтон назвала фейковые новости угрозой для демократии¹. В 2017 г. издательство HarperCollins, выпускающее толковый словарь английского языка, выбрало термин fake news словом года, тем самым признавая его значимость для современного мира. Начались разработка алгоритмов идентификации фейков, составление списков распространяющих подобный контент ресурсов [Zhang, Ghorbani, 2020] и создание платформ для проверки соответствия информации фактам [Graves, 2018; Haigh, Haigh, Kozak, 2018]. Исследователи массовых коммуникаций также активно включились в обсуждение реальных и потенциальных последствий данного явления.

Несмотря на то что фейковые новости активно обсуждаются, границы этого понятия остаются неопределенными [Giglietto et al., 2019], а его потенциальные последствия — неясными. Исследователи столкнулись с необходимостью типологизировать фейки и отделить их от других способов манипулирования общественным мнением. Сложность представляет многообразие данного явления [Zhang, Ghorbani, 2020]. Фейковые новости могут различаться тематически. Хотя большинство их упоминаний как в СМИ, так и в академических текстах происходит в контексте политики, совсем не обязательно ложная информация связана именно с этой сферой общественной жизни. Например, в Германии и Австрии наиболее популярным объектом фейковых новостей стали мигранты, а не политические деятели [Humprecht, 2018]. В начале 2020 г. остро встала проблема ложной информации о пандемии коронавируса COVID-19 и проверки

¹ Zengerle P. (2016) Clinton Calls "Fake News" a Threat to U.S. Democracy. *Reuters*. December 9th. URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-clinton-fakenews-idUSKBN13X2R6> (дата обращения: 26.07.2020).

фактов по этой теме². Кроме того, фейковые новости создаются не только людьми, но и автоматически программами-ботами [Shu et al., 2017]. Распространяться такой контент также может различными способами: посредством ботов или же «живыми» пользователями. Таким образом, говоря о фейковых новостях необходимо учитывать их высокое разнообразие с точки зрения тематики, способов создания и распространения.

Неоднозначность рассматриваемого явления затрудняет оценку его последствий. Более того, сами эффекты фейков могут анализироваться на разных уровнях. Так, в академической литературе изучается влияние фейковых новостей на взгляды людей и их поведение относительно объекта ложной информации, на доверие людей СМИ и избирательной системе, на точность распознавания фейков разными группами населения, на эффективность способов противодействия фейкам и другие последствия их распространения. В данной статье мы систематизируем имеющуюся информацию относительно феномена ложных новостей. Основу настоящего обзора составили наиболее новые и самые цитируемые научные статьи по теме фейков, индексируемые базой научного цитирования Scopus. Данная база была выбрана для анализа, поскольку индексирует большее число социально-гуманитарных изданий (по сравнению, например, с Web of Science) и репрезентирует современное состояние исследований в этой области.

Что такое фейковые новости?

Хотя термин «фейковые новости» получил популярность недавно, сама проблема ложной, неточной или неполной информации не нова [Flynn, Nyhan, Reifler, 2017]. Прежде всего здесь следует упомянуть пропаганду, исследования которой имеют долгую историю [Zollmann, 2019]. Пропаганда тесно связана с идеологией и, как правило, направлена на обоснование тех или иных политических решений или на отрицание альтернативных позиций [Robinson et al., 2010]. Информация при этом может искажаться, факты — замалчиваться, а внимание — акцентироваться только на отдельных сторонах проблемы [Nisbet, Brossard, Kroepsch, 2003]. Например, визуальные изображения войны в Ираке существенно отличались в США и Великобритании, в том числе значительно меньшим числом фотографий, иллюстрирующих разрушения, в американских медиа [Fahmy, Kim, 2008]. Использование метафор и эмоционально окрашенных терминов также может быть элементом манипулирования [Williams, 2013]. Недостоверная информация распространяется стихийно, посредством слухов и теорий заговора [Berinsky, 2017]. Кроме того, некорректная оценка событий и процессов, которая сейчас нередко связывается с фейковыми новостями, может объясняться взглядами людей и их склонностью игнорировать информацию, не отвечающую имеющимся убеждениям [Hall, 1980]. Меньшее внимание к идеологически чуждой информации подтверждается и в случае с социальными сетями в интернете: так, пользователи Facebook либеральных взглядов видели в своей ленте только 24 % идеологически чуждых им новостей, для консерваторов этот показатель составил 35 % [Bakshy, Messing,

² de Witte M. (2020) How to Avoid COVID-19 Fake News. Nextgov. March 19th. URL: <https://www.nextgov.com/ideas/2020/03/how-avoid-covid-19-fake-news/163904/> (дата обращения: 26.07.2020).

Adamic, 2015]. Это может объясняться как предпочтениями самих пользователей [Stroud, 2011], так и работой алгоритмов социальной сети.

Фейковые новости, дезинформируя людей о тех или иных вопросах, оказываются содержательно близки к вышеупомянутым явлениям. Вместе с тем они имеют свою специфику. Одно из наиболее расплывчатых определений фейковых новостей характеризует их как жанровое смешение, сочетание элементов новостей с чертами, нехарактерными для профессиональной журналистики: дезинформацией, сенсационностью, кликбейтами и предвзятостью [Mourão, Robertson, 2019]. Такое понимание ложных новостей действительно затрудняет их разграничение с пропагандой, да и просто с непрофессионально произведенным контентом и материалами «желтой» прессы. В некоторых случаях список возможных проявлений фейковых новостей может быть даже более широким: сатира, пародия, фальсификация информации, манипулирование, пропаганда и реклама [Tandoc, Lim, Ling, 2018].

Вместе с тем подобное расширение границ рассматриваемого явления практически лишает нас возможности описать и проанализировать его. Более перспективным представляется подразумевать под фейковыми новостями информацию, которая изначально создавалась как ложная и отклонение которой от истины может быть проверено и доказано [Allcott, Gentzkow, 2017]. При этом мнения исследователей относительно того, обязательно ли манипулирование является конечной целью создания такого контента, расходятся.

Иногда к фейковым новостям относят публикации на сатирических сайтах [Balmas, 2014; Allcott, Gentzkow, 2017; Guo, Vargo, 2020], в том числе декларирующих ложность размещаемой информации, которые распространяются посредством социальных сетей, уже не содержащих указаний на пародийно-юмористический характер материалов. Вместе с тем ложная информация такого типа существенно отличается от контента, который был целенаправленно создан для введения в заблуждение, поскольку, к примеру, ресурсы, размещающие сатирические тексты, не извлекают выгоды из их недостоверности [Fallis, 2015]. В этой статье мы будем относить к фейковым новостям только изначально и намеренно недостоверную информацию, а не сведения, которые могли бы вводить в заблуждение в определенных обстоятельствах и не имели такой цели изначально.

Использование такого определения фейковых новостей позволяет сделать вывод, что этот феномен не сводим к изученным ранее явлениям, таким как пропаганда, сатира, слухи, теории заговора, акцентный фрейминг и селективное восприятие информации. Так, пропаганда не обязательно предполагает недостоверность транслируемой информации. Фейковые новости часто не носят юмористический характер, как сатирические произведения. В отличие от слухов, которые могут не иметь явного автора, у фейков есть очевидный источник и платформа, где они размещаются. Акцентный фрейминг [Nisbet, Brossard, Kroepsch, 2003], предполагающий фокусировку только на отдельных сторонах события или вопроса при его освещении, отличается от ложных новостей отсутствием противоречащих фактам сведений, манипулирование здесь осуществляется посредством предоставления неполной информации. Тем не менее фейковые новости сходны с этими явлениями, поскольку все они могут способствовать искажению транслируемой

информации и формированию определенного общественного мнения. По некоторым оценкам, фейковые новости — новая форма старой борьбы за определение истины правительством, элитами и корпорациями [Waisbord, 2018].

Таким образом, фейковые новости, дезинформирующие население по тем или иным вопросам, не представляют собой принципиально новое явление с точки зрения влияния на мнения. Фактически на протяжении всей истории массовых коммуникаций ложная информация транслировалась людям в форме политической клеветы, журналистских мистификаций и сенсационных разоблачений [Creech, Roessner, 2019]. Возможно, данная проблема приобрела особую остроту в современном мире, когда значительная часть контента производится пользователями децентрализованно? Так ли страшны фейковые новости на самом деле? Что можно противопоставить недостоверной информации? На эти вопросы мы ответим дальше.

Почему фейковые новости вредны и опасны?

Многочисленные исследования роли фейковых новостей в современном мире акцентируют внимание на их возможных разрушительных последствиях. На первый взгляд, причин для тревоги немало. Теорема Томаса, гласящая, что «если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям», наглядно иллюстрирует возможные риски, связанные с фейковыми новостями. Особенно остро эта проблема встает в связи со значительным числом *потенциальных потребителей* подобного контента. На 2016 г., когда фейковые новости впервые обратили на себя значительное общественное внимание, доля граждан США, получавших новости из интернета, где преимущественно и распространялись фейки, составляла 62 %³. Так что, недостоверная информация в интернете может достичь широкой аудитории.

Кроме того, поток информации, который обрушивается на людей в современном мире, очень велик. Невозможность ознакомиться со всеми интерпретациями тех или иных процессов и событий приводит к тому, что новости в социальных медиа начинают конкурировать за наше внимание, подобно тому, как новости в традиционных медиа конкурируют за место в повестке дня [Hilgartner, Bosk, 1988]. Опасения относительно фейковых новостей тесно связаны с предположением, что *любой контент, в том числе фейковый, может при определенных условиях стать вирусным*, а недостоверность информации не гарантирует ее непопулярность [Weng et al., 2012]. Анализ новостей в Twitter за период с 2006 по 2017 гг. показал, что ложная информация распространялась значительно быстрее и шире, чем истинная [Vosoughi, Roy, Aral, 2018]. Таким образом, в отличие от предыдущего исследования, вирусный характер новостей связывается с их содержанием.

При этом проблема быстрого распространения фейковой информации стоит более остро для политических новостей, а не новостей о терроризме, стихийных бедствиях, науке, городских легендах или финансах. Анализ 30,7 млн твитов, содержащих ссылку на новостные ресурсы, показал, что 10 % ссылок вели на сайты,

³ Gottfried J., Shearer E. (2016) News Use across Social Media Platforms 2016. Pew Research Center. May 26th. URL: <https://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/> (дата обращения: 26.07.2020).

содержащие поддельные новости или теории заговора, а еще 15% указывали на сайты с крайне предвзятыми новостями [Bovet, Makse, 2019].

Именно возможная *предвзятость фейковых новостей* является еще одной важной стороной проблемы. Данный инструмент может чаще использоваться сторонниками политических деятелей, искажая общественное мнение. Так, исследования отмечали, что накануне выборов фейковые новости значительно чаще были в пользу Дональда Трампа, чем Хилари Клинтон [Allcott, Gentzkow, 2017]. Поскольку политические слухи и недостоверная информация оказывают влияние на электоральное поведение [Weeks, Garrett, 2014], подобная ситуация может иметь серьезные последствия. Например, отчасти именно с ложной политической информацией связывают потерю Хилари Клинтон части избирателей, которые голосовали за Дональда Трампа в 2016 г. [Gunther, Beck, Nisbet, 2019]. Вместе с тем есть сомнения, что фейковые новости действительно изменили результаты выборов в США в 2016 г., поскольку столкновение среднего американского читателя с примерами таких новостей было единичным [Allcott, Gentzkow, 2017].

Фейки могут не только влиять на результаты конкретного голосования, но и подрывать сам институт выборов. Отдельные исследования связывают с потреблением фейковых новостей возникновение отчужденного и циничного отношения к кандидатам [Balmas, 2014]. Вероятно, это может формировать также восприятие избирательной системы в целом.

Еще одним негативным эффектом фейковых новостей считается *снижение доверия к СМИ*. Хотя подобные тенденции наблюдаются в отдельных странах (например, в США) в течение длительного времени⁴, трансляция ложной информации может их усилить. Снижение доверия к СМИ в результате распространения фейковых новостей может объясняться как личным опытом столкновения с недостоверной информацией, так и публичной дискуссией по этому вопросу [Weaver et al., 1981]. При этом по некоторым оценкам активное обсуждение проблемы фейков политической элитой не приводит к более точному выявлению ложных новостей, зато негативно сказывается на точности идентификации достоверной информации [Duyn, Collier, 2019]. Таким образом, активная публичная дискуссия по данному вопросу только увеличивает скептицизм в отношении к СМИ и не способствует повышению информационной грамотности. Это имеет негативный эффект не только в силу затруднения распространения правдивых сообщений, но и в силу того, что доверие к СМИ принято воспринимать как необходимое условие демократии [Ardèvol-Abreu, Hooker, Gil de Zúñiga, 2018].

При этом *эффективность различных способов противодействия дезинформации остается под вопросом*. Отдельные исследования показывают, что фейковые новости могут продолжать оказывать влияние на взгляды людей даже после того, как их недостоверность была доказана [Ecker et al., 2014]. Этот эффект называется «эхо убеждений» (belief echoes) [Thorson, 2016]. Особенно остро данная проблема встает, когда фейковая новость близка к взглядам человека, а ее корректировка им противоречит. В ряде случаев предоставление корректирующей информации может даже усиливать ошибочные представления [Nyhan, Reifler, 2010].

⁴ American Views: Trust, Media and Democracy. Knight Foundation. URL: <https://knightfoundation.org/reports/american-views-trust-media-and-democracy/> (дата обращения: 01.08.2020).

Дополнительно затрудняет противодействие фейковым новостям их схожесть с правдивой информацией [Tandoc, Lim, Ling, 2018] и то, что они, как правило, «подмешаны» в поток нефейковых сообщений. Так, анализ 50 американских сайтов, транслировавших ложные новости, показал, что размещаемый контент характеризовался ограниченным уровнем сенсационности и дезинформации, тогда как полностью сфабрикованные новости встречались относительно редко [Mourão, Robertson, 2019]. Следовательно, идентификация фейковых новостей может вызывать затруднения, а расширяющийся перечень инструментов по борьбе с фейковыми новостями не обязательно окажет значимый эффект на взгляды людей, столкнувшихся с ложной информацией.

Почему фейков не стоит слишком бояться?

Несмотря на доминирующий алармистский дискурс, отдельные исследования позволяют предположить, что фейковые новости не столь угрожающи, как представляется на первый взгляд. *Большинство пользователей интернета потребляют новостные сообщения из наиболее известных ресурсов* [Gentzkow, Shapiro, 2011; Prior, 2013], а аудитория фейковых новостей, как правило, не слишком велика по отношению к общему числу потребителей новостного контента. Кроме того, обширный поток литературы показывает, что массовые коммуникации имеют ограниченный эффект на взгляды людей (см., например, [Reedy, Wells, Gastil, 2014]). Ложная информация, с которой столкнется человек, не обязательно повлияет на его поведение. Таким образом, хотя охват аудитории фейковыми новостями может быть достаточно масштабным, подобный контент все же значительно уступает информации ведущих новостных ресурсов. В условиях, когда эффективность фейков ограничена, данная проблема не выглядит настолько серьезной, как часто характеризуется.

Отчасти депроблематизирует дискуссию о фейках также анализ ее аудитории. Идеологически экстремальные источники информации обычно потребляются в дополнение к популярным новостным ресурсам [Gentzkow, Shapiro, 2011]. Таким образом, *люди оказываются подвержены конкурирующему влиянию фейковых и достоверных новостей*. При этом ложная информация получает большее доверие в случае, когда люди потребляют много фейковых новостей и мало контента, основанного на фактах [Balmas, 2014]. Таким образом, разнообразие используемых аудиторией информационных ресурсов должно отчасти защищать их от воздействия дезинформации.

Дополнительным механизмом защиты от дезинформации могут стать алгоритмы социальных сетей. Даже очень популярные ресурсы, размещающие фейковые новости, имеют значительно меньшую аудиторию, чем ведущие национальные медиа [Nelson, Taneja, 2018]. Поскольку алгоритмы социальных сетей предполагают показ в первую очередь наиболее популярного и востребованного контента, *фейковые новости вынуждены работать против существующих алгоритмов, направленных на их изоляцию* [ibid.]⁵. Социальные сети также имеют возможность осознанно противодействовать недостоверной информации. Так, ложные новости,

⁵ Впрочем, в данном случае из внимания упускается возможность продвижения ложного контента посредством рекламных постов.

содержащие рядом с заголовком хештег, указывающий на их возможную недостоверность, воспринимаются более критически [Clayton et al., 2019]. Вместе с тем наличие предупреждений о возможной недостоверности новостей может иметь негативный эффект и снижать доверие в том числе и к правдивым новостям.

Важным моментом, который часто упускают из внимания исследования, посвященные фейкам, является взаимодействие подобного контента с реальными новостями. Так, с одной стороны, фейковые новости могут переопределить повестку дня и привлечь внимание к вопросам, которые иначе не стали бы предметом активного обсуждения [Vargo, Guo, Amazeen, 2018]. С другой стороны, сайты, размещающие ложные новости, чаще следуют за новостями авторитетных СМИ, заимствуя различные идеи [Guo, Vargo, 2020]. Влияние ресурсов, размещающих дезинформацию, на опирающиеся на факты медиа с точки зрения содержания оказывается существенно меньшим, хотя они и могут приводить к более эмоциональному восприятию информации. Таким образом, фейковые новости не занимают уникальное место в медиаландшафте, а скорее добавляют в существующую дискуссию сенсационности и шума [Vargo et al., 2018; Guo, Vargo, 2020]. Следовательно, эффекты фейковых новостей на взгляды и поведение людей могут быть переоценены. Наконец, существуют возможности противодействия фейковым новостям. Так, влиятельные медиаресурсы способны опровергать и делегитимировать фейковую информацию [Chan et al., 2017; Hameleers, van der Meer, 2019].

Ответом на проблему ложных новостей может стать также саморегуляция профессионального сообщества журналистов [Podger, 2019]. Следует отметить, что фейковые и правдивые новости лучше распознают люди с более высоким уровнем образования и старшего возраста [Allcott, Gentzkow, 2017], а развитие навыков критического мышления может отчасти решить рассматриваемую проблему [Horn, Veermans, 2019]. Таким образом, усилия отрасли и мероприятия по работе с населением могут отчасти снизить остроту проблемы фейковых новостей. В целом, как уже было указано ранее, противодействие фейкам не обязательно приводит к изменению взглядов потребителей такого контента.

Заключение

Исследования фейковых новостей зачастую противоречивы и приходят к противоположным выводам. Это касается и представлений об общественной опасности данного явления, на которых сфокусирована эта статья, и некоторых технических особенностей распространения ложной информации. Так, циркуляция фейковых новостей может связываться с активностью ботов [Shao, Ciampaglia et al., 2018; Shao, Hui et al., 2018], а может объясняться преимущественно деятельностью пользователей [Vosoughi, Roy, Aral, 2018]. Кроме того, часть статей, содержащих в заглавии термин «фейковые новости», в действительности не посвящены данной теме и затрагивают ее только по касательной. Дополнительную сложность создают идеологическая нагруженность и политизированность данного вопроса [Brummette et al., 2018], которые в отдельных случаях делает дискуссию о фейках чрезмерно оценочной. Все это затрудняет анализ проблемы фейковых новостей.

На основании рассмотренных исследований по данной теме мы можем выделить ключевые причины для наличия или отсутствия серьезных опасений, свя-

занных с трансляцией недостоверной информации. В числе поводов для тревоги следует упомянуть спорную эффективность имеющихся методов противодействия ложной информации, политическую предвзятость такого контента, а также тот факт, что любой контент может при определенных условиях стать вирусным. В качестве еще одного негативного эффекта увеличения числа фейковых новостей рассматривается снижение доверия к СМИ, которое, впрочем, наблюдалось задолго до того, как рассматриваемое явление возникло. Вместе с тем существуют исследования, показывающие, что реальная аудитория фейковых новостей не очень велика и достаточно специфична. Это должно несколько снизить потенциальные негативные эффекты ложной информации. Кроме того, есть возможности для противодействия дезинформирующим сайтам и группы людей, менее подверженные их влиянию. Поэтому алармистский дискурс по вопросу фейковых новостей, вероятно, несколько преждевременный.

В случае с Россией причин для тревог, на первый взгляд, даже меньше. К примеру, уровень интернетификации в стране значительно ниже, чем в США. Так, в августе 2018 г. 39% населения называли основным источником информации интернет-издания, такой же процент респондентов указал, что получает новости в социальных сетях в интернете (опрос предполагал возможность указать несколько основных источников)⁶. Для сравнения — получать информацию из телевидения предпочитают 73% россиян⁷. Это означает, что в России пока не такая большая потенциальная аудитория потребителей фейковых новостей, которые чаще транслируются онлайн. Однако ложная информация может передаваться и посредством традиционных медиа, которые иногда подхватывают повестку дезинформирующих сайтов [Rojecki, Meraz, 2016] или же могут сами создавать недостоверный контент. Эта проблема наиболее ярко проявилась в контексте пандемии COVID-19, ложная информация в отношении которой неоднократно транслировалась, например, телеканалом Fox News в США⁸. Недостаточно высокий уровень медиаграмотности населения России [Задорин, Мальцева, Шубина, 2017] также делает проблему фейковых новостей потенциально достаточно серьезной. Таким образом, более низкий уровень интернетификации не обязательно означает, что проблема фейковых новостей стоит в стране менее остро, особенно в свете наблюдающегося роста использования интернет-ресурсов.

Существующие исследования фейковых новостей в настоящий момент не позволяют сделать однозначный вывод относительно общественной опасности данного явления. Большая часть проанализированных данных относится к ситуации в США, тогда как другие страны остаются недостаточно изученными. Вопросы вызывает даже само определение фейковых новостей, которое может отличаться от работы к работе. Перспективными направлениями для дальнейшей работы над темой представляется проведение эмпирических исследований в других странах. Это особенно актуально в свете доказанного различия фейковых новостей

⁶ Источники новостей и доверие СМИ // Левада-Центр. 2020. 27 февраля. URL: <https://www.levada.ru/2020/02/27/istochniki-novostej-i-doverie-smi/> (дата обращения: 01.08.2020).

⁷ Там же.

⁸ Darcy O. (2020) How Fox News Mised Viewers about the Coronavirus. *CNN Business*. March 13th. <https://edition.cnn.com/2020/03/12/media/fox-news-coronavirus/index.html> (дата обращения: 01.08.2020).

в странах мира [Humprecht, 2018]. Кроме того, необходима дальнейшая работа над концептуализацией понятия «фейковые новости».

Список литературы (References)

- Задорин И. В., Мальцева Д. В., Шубина Л. В. Уровень медиаграмотности населения в регионах России: Сравнительный анализ // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2. № 4. С. 123—141.
- Zadorin I. V., Maltzeva D. V., Shubina L. V. (2017) Evaluating Media Literacy of Citizens of Russian Regions: Comparative Analysis. *Communications. Media. Design*. Vol. 2. No. 4. P. 123—141. (In Russ.)
- Allcott H., Gentzkow M. (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 31. No. 2. P. 211—236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>.
- Ardèvol-Abreu A., Hooker C. M., Gil de Zúñiga H. (2018) Online News Creation, Trust in the Media, and Political Participation: Direct and Moderating Effects over Time. *Journalism*. Vol. 19. No. 5. P. 611—631. <https://doi.org/10.1177/1464884917700447>.
- Bakshy E., Messing S., Adamic L. A. (2015) Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook. *Science*. Vol. 348. No. 6239. P. 1130—1132. <https://doi.org/10.1126/science.aaa1160>.
- Balmas M. (2014) When Fake News Becomes Real: Combined Exposure to Multiple News Sources and Political Attitudes of Inefficacy, Alienation, and Cynicism. *Communication Research*. Vol. 41. No. 3. P. 430—454. <https://doi.org/10.1177/0093650212453600>.
- Berinsky A. J. (2017) Rumors and Health Care Reform: Experiments in Political Misinformation. *British Journal of Political Science*. Vol. 47. No. 2. P. 241—262. <https://doi.org/10.1017/S0007123415000186>.
- Bovet A., Makse H. A. (2019) Influence of Fake News in Twitter during the 2016 US Presidential Election. *Nature Communications*. Vol. 10. P. 1—14. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07761-2>.
- Brummette J., DiStaso M., Vafeiadis M., Messner M. (2018) Read All About It: The Politicization of “Fake News” on Twitter. *Journalism & Mass Communication Quarterly*. Vol. 95. No. 2. P. 497—517. <https://doi.org/10.1177/1077699018769906>.
- Chan M. S., Jones C. R., Hall Jamieson K., Albarracín D. (2017) Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy of Messages Countering Misinformation. *Psychological Science*. Vol. 28. No. 11. P. 1531—1546. <https://doi.org/10.1177/0956797617714579>.
- Clayton K., Blair S., Busam J. A., Forstner S., Gance J., Green G., Kawata A., Kovvuri A., Martin J., Morgan E., Sandhu M., Sang R., Scholz-Bright R., Welch A. T., Wolff A. G., Zhou A., Nyhan B. (2019) Real Solutions for Fake News? Measuring the Effectiveness of General Warnings and Fact-Check Tags in Reducing Belief in False Stories on Social Media. *Political Behavior*. P. 1—23. <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09533-0>.

- Creech B., Roessner A. (2019) Declaring the Value of Truth: Progressive-Era Lessons for Combatting Fake News. *Journalism Practice*. Vol. 13. No. 3. P. 263—279. <https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1472526>.
- Duyn E. V., Collier J. (2019) Priming and Fake News: The Effects of Elite Discourse on Evaluations of News Media. *Mass Communication and Society*. Vol. 22. No. 1. P. 29—48. <https://doi.org/10.1080/15205436.2018.1511807>.
- Ecker U. K.H., Lewandowsky S., Fenton O., Martin K. (2014) Do People Keep Believing because They Want to? Preexisting Attitudes and the Continued Influence of Misinformation. *Memory & Cognition*. Vol. 42. No. 2. P. 292—304. <https://doi.org/10.3758/s13421-013-0358-x>.
- Fahmy S., Kim D. (2008) Picturing the Iraq War: Constructing the Image of War in the British and US Press. *International Communication Gazette*. Vol. 70. No. 6. P. 443—462. <https://doi.org/10.1177/1748048508096142>.
- Fallis D. (2015) What is Disinformation? *Library Trends*. Vol. 63. No. 3. P. 401—426. <https://doi.org/10.1353/lib.2015.0014>.
- Flynn D. J., Nyhan B., Reifler J. (2017) The Nature and Origins of Misperceptions: Understanding False and Unsupported Beliefs about Politics. *Political Psychology*. Vol. 38. No. 1. P. 127—150. <https://doi.org/10.1111/pops.12394>.
- Genzckow M., Shapiro J. M. (2011) Ideological Segregation Online and Offline. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 126. No. 4. P. 1799—1839. <https://doi.org/10.1093/qje/qjr044>.
- Giglietto F., Iannelli L., Valeriani A., Rossi L. (2019) “Fake News” Is the Invention of a Liar: How False Information Circulates within the Hybrid News System. *Current Sociology*. Vol. 67. No. 4. P. 625—642. <https://doi.org/10.1177/0011392119837536>.
- Graves L. (2018) Boundaries Not Drawn: Mapping the Institutional Roots of the Global Fact-Checking Movement. *Journalism Studies*. Vol. 19. No. 5. P. 613—631. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2016.1196602>.
- Gunther R., Beck P.A., Nisbet E. C. (2019) «Fake News» and the Defection of 2012 Obama Voters in the 2016 Presidential Election. *Electoral Studies*. Vol. 61. P. 1—8. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.03.006>.
- Guo L., Vargo C. (2020) «Fake News» and Emerging Online Media Ecosystem: An Integrated Intermedia Agenda-Setting Analysis of the 2016 U. S. Presidential Election. *Communication Research*. Vol. 47. No. 2. P. 178—200. <https://doi.org/10.1177/0093650218777177>.
- Haigh M., Haigh T., Kozak N. I. (2018) Stopping Fake News: The Work Practices of Peer-To-Peer Counter Propaganda. *Journalism Studies*. Vol. 19. No. 14. P. 2062—2087. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1316681>.
- Hall S. (1980) Encoding/Decoding. In: Hall S., Hobson D., Lowe A., Willis P. (eds.) *Culture, Media, Language*. London: Hutchinson. P. 128—138.

- Hameleers M., van der Meer T. G. L. A. (2019) Misinformation and Polarization in a High-Choice Media Environment: How Effective Are Political Fact-Checkers? *Communication Research*. Vol. 47. No. 2. P. 227—250. <https://doi.org/10.1177/0093650218819671>.
- Hilgartner S., Bosk C. L. (1988) The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model. *American Journal of Sociology*. Vol. 94. No. 1. 53—78.
- Horn S., Veermans K. (2019) Critical Thinking Efficacy and Transfer Skills Defend against “Fake News” at an International School in Finland. *Journal of Research in International Education*. Vol. 18. No. 1. P. 23—41. <https://doi.org/10.1177/1475240919830003>.
- Humprecht E. (2018) Where “Fake News” Flourishes: A Comparison across Four Western Democracies. *Information, Communication & Society*. Vol. 22. No. 13. P. 1973—1988. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1474241>.
- Weaver D. H., Graber D. A., McCombs M. E., Eyal C. H. (1981) Media Agenda-Setting in a Presidential Election: Issues, Images, and Interest. New York, NY: Praeger.
- Mourão R. R., Robertson C. T. (2019) Fake News as Discursive Integration: An Analysis of Sites That Publish False, Misleading, Hyperpartisan and Sensational Information. *Journalism Studies*. Vol. 20. No. 14. P. 2077—2095. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2019.1566871>.
- Nelson J. L., Taneja H. (2018) The Small, Disloyal Fake News Audience: The Role of Audience Availability in Fake News Consumption. *New Media & Society*. Vol. 20. No. 10. P. 3720—3737. <https://doi.org/10.1177/1461444818758715>.
- Nisbet M. C., Brossard D., Kroepsch A. (2003) Framing Science: The Stem Cell Controversy in an Age of Press/Politics. *International Journal of Press/Politics*. Vol. 8. No. 2. P. 36—70. <https://doi.org/10.1177/1081180X02251047>.
- Nyhan B., Reifler J. (2010) When Corrections Fail: The Persistence of Political Misperceptions. *Political Behavior*. Vol. 32. No. 2. P. 303—330. <https://doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2>.
- Podger A. (2019) Fake News: Could Self-Regulation of Media Help to Protect the Public? The Experience of the Australian Press Council. *Public Integrity*. Vol. 21. No. 1. P. 1—5. <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1549341>.
- Prior M. (2013) Media and Political Polarization. *Annual Review of Political Science*. Vol. 16. No. 1. P. 101—127. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-100711-135242>.
- Reedy J., Wells C., Gastil J. (2014) How Voters Become Misinformed: An Investigation of the Emergence and Consequences of False Factual Beliefs. *Social Science Quarterly*. Vol. 95. No. 5. P. 1399—1418. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12102>.
- Robinson P., Goddard P., Parry K., Murray C., Taylor P. M. (2010) Pockets of Resistance: British News Media, War and Theory in the 2003 Invasion of Iraq. Manchester: Manchester University Press.

- Rojecki A., Meraz S. (2016) Rumors and Factitious Informational Blends: The Role of the Web in Speculative Politics. *New Media & Society*. Vol. 18. No. 1. P. 25—43. <https://doi.org/10.1177/1461444814535724>.
- Shao C., Ciampaglia G. L., Varol O., Yang K.-C., Flammini A., Menczer F. (2018) The Spread of Low-Credibility Content by Social Bots. *Nature Communications*. Vol. 9. P. 1—9. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06930-7>.
- Shao C., Hui P.-M., Wang L., Jiang X., Flammini A., Menczer F., Ciampaglia G. L. (2018) Anatomy of an Online Misinformation Network. *PLoS ONE*. Vol. 13. No. 4. P. 1—23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196087>.
- Shu K., Wang S., Tang J., Zafarani R., Liu H. (2017) User Identity Linkage Across Online Social Networks: A Review. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*. Vol. 18. No. 2. P. 5—17. <https://doi.org/10.1145/3068777.3068781>.
- Stroud N.J. (2011) *Niche News: The Politics of News Choice*. Oxford: Oxford University Press.
- Tandoc E. C. Jr., Lim Z. W., Ling R. (2018) Defining «Fake News»: A Typology of Scholarly Definitions. *Digital Journalism*. Vol. 6. No. 2. P. 137—153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>.
- Thorson E. (2016) Belief Echoes: The Persistent Effects of Corrected Misinformation. *Political Communication*. Vol. 33. No. 3. P. 460—480. <https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1102187>.
- Vargo C.J., Guo L., Amazeen M. A. (2018) The Agenda-Setting Power of Fake News: A Big Data Analysis of the Online Media Landscape from 2014 to 2016. *New Media & Society*. Vol. 20. No. 5. P. 2028—2049. <https://doi.org/10.1177/1461444817712086>.
- Vosoughi S., Roy D., Aral S. (2018) The Spread of True and False News Online. *Science*. Vol. 359. No. 6380. P. 1146—1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.
- Waisbord S. (2018) Truth is What Happens to News. *Journalism Studies*. Vol. 19. No. 13. P. 1866—1878. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>.
- Weeks B. E., Garrett R. K. (2014) Electoral Consequences of Political Rumors: Motivated Reasoning, Candidate Rumors, and Vote Choice during the 2008 U. S. Presidential Election. *International Journal of Public Opinion Research*. Vol. 26. No. 4. P. 401—422. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edu005>.
- Weng L., Flammini A., Vespignani A., Menczer F. (2012) Competition among Memes in a World with Limited Attention. *Scientific Reports*. Vol. 2. P. 1—8. <https://doi.org/10.1038/srep00335>.
- Williams A. E. (2013) Metaphor, Media, and the Market. *International Journal of Communication*. Vol. 7. P. 1404—1417.
- Zhang X., Ghorbani A. A. (2020) An Overview of Online Fake News: Characterization, Detection, and Discussion. *Information Processing & Management*. Vol. 57. No. 2. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.03.004>.
- Zollmann F. (2019) Bringing Propaganda Back into News Media Studies. *Critical Sociology*. Vol. 45. No. 3. P. 329—345. <https://doi.org/10.1177/0896920517731134>.

МЕДИАСОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1254



D. Yu. Kulchitskaya, A. O. Folts

BETWEEN POLITICS AND SHOW BUSINESS: PUBLIC DISCOURSE ON SOCIAL MEDIA REGARDING KSENIA SOBCHAK, THE ONLY FEMALE CANDIDATE IN THE 2018 RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTION

For citation:

Kulchitskaya D. Yu., Folts A. O. (2020) Between Politics and Show Business: Public Discourse On Social Media Regarding Ksenia Sobchak, the Only Female Candidate in the 2018 Russian Presidential Election. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 176—199. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1254>.

Правильная ссылка на статью:

Кульчицкая Д. Ю., Фольц А. О. Между политикой и шоу-бизнесом: публичный дискурс в социальных медиа о Ксении Собчак, единственной женщине-кандидате на пост президента на выборах-2018 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 176—199. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1254>. (In Eng.)

BETWEEN POLITICS AND SHOW BUSINESS: PUBLIC DISCOURSE ON SOCIAL MEDIA REGARDING KSENIA SOBCHAK, THE ONLY FEMALE CANDIDATE IN THE 2018 RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTION

*Diana Yu. KULCHITSKAYA*¹ — *Cand. Sci. (Philol.)*, Associate Professor at the Department of New Media and Communication

E-MAIL: diana.kulchitskaya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3432-5965>

*Anastasia O. FOLTS*¹ — *Cand. Sci. (Philol.)*, Associate Professor at the Department of New Media and Communication

E-MAIL: stasy.alekseeva@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0240-6234>

¹ Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The article analyzes the public discourse on social media regarding the only female candidate in the 2018 Russian presidential election. Ksenia Sobchak is a famous Russian public figure who started as a TV personality and subsequently changed her image to become a serious journalist and finally a politician.

The figure of Sobchak is an interesting topic to study for a number of reasons. Firstly, the issue of women in politics is poorly studied in communication research due to their low representation in political sphere. Secondly, Sobchak undermines traditional views about women in society; that is why looking at Sobchak

МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ И ШОУ-БИЗНЕСОМ: ПУБЛИЧНЫЙ ДИСКУРС В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА О КСЕНИИ СОБЧАК, ЕДИНСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ-КАНДИДАТЕ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА НА ВЫБОРАХ-2018

КУЛЬЧИЦКАЯ Диана Юрьевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-MAIL: diana.kulchitskaya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3432-5965>

ФОЛЬЦ Анастасия Олеговна — кандидат филологических наук, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-MAIL: stasy.alekseeva@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0240-6234>

Аннотация. В статье анализируется общественный дискурс в социальных сетях относительно кампании единственной женщины-кандидата в президенты России на выборах 2018 г. Ксения Собчак — широко известная фигура в России, которая начинала карьеру как телеведущая, но впоследствии изменила свой имидж и попыталась стать серьезным журналистом и, наконец, политиком.

Фигура Собчак представляет собой интересный предмет для исследований по нескольким причинам. Во-первых, образ женщин в политике недостаточно хорошо изучен в сфере коммуникационных исследований в связи с их

as a presidential candidate allows a researcher not only to consider this case study through the lens of Sobchak's image as a politician but also to understand the public attitudes towards women with an active civic position in the Russian society.

The paper examines the public discussion on social media related to Sobchak campaign. The authors analyze the messages within five top social media websites (Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Vkontakte, Twitter). Computer-assisted sentiment analysis shows that Sobchak's background as a scandalous TV host has had a negative impact on her political career. Public discourse in the sample under consideration was predominantly focused on the scandals related to the Sobchak's past and least related to her statements during the electoral competition.

Keywords: social media, public discourse, online discussions, presidential election, Russian politics, Ksenia Sobchak

низкой репрезентацией в политической среде. Во-вторых, пример Ксении Собчак как кандидата в президенты во время выборов 2018 г. позволяет рассмотреть ее имидж не только с точки зрения ее образа как политика. Собчак подрывает традиционные представления о роли женщины в обществе. Сквозь призму этого конкретного примера можно увидеть отношение российского общества к женщинам, занимающим активную гражданскую позицию.

В данном исследовании рассматривается общественная дискуссия в социальных сетях, посвященная кампании Ксении Собчак. Для этого были проанализированы сообщения в пяти ведущих социальных сетях (Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter). Компьютерный анализ показал, что прошлое Ксении Собчак как ведущей скандальной телепередачи до сих пор негативно влияет на ее политическую карьеру. Публичное обсуждение в анализируемой выборке было сосредоточено в основном на скандалах, связанных с прошлым Собчак, и в меньшей степени — на ее заявлениях в период предвыборной кампании.

Ключевые слова: социальные медиа, публичный дискурс, онлайн-дискуссии, президентские выборы, политика в России, Ксения Собчак

Introduction

Political communication has been transformed tremendously by social media. Social networking sites now represent both a platform for political campaigning and a tool for politicians helping them communicate with the audience [Stier et al., 2018]. The victory of Barack Obama during the 2008 presidential election in the USA is considered to be a pivotal moment in the integration of social networks into the political process

Many researchers note that it is the first time in contemporary history, when social networks were extensively used in the run-up to the election of the US president and this use turned out to be very effective. [Cogburn, Espinoza-Vasquez, 2011; Macnamara, Kenning, 2014].

At the same time political communication has been democratized by social networks, giving new opportunities for people to participate in the political discourse. Today citizens can be actors in the political process by commenting on different events or political figures [Gibson, 2015; Vaccari, Valeriani, 2016]. The discussion in the social networks may help a politician to build an appealing public image or, on the contrary, have a negative effect on his/her image and ruin his/her electoral campaign or entire career [Vaccari, Valeriani, 2016]. Citizens, of course, do have a role in the so-called mediated political discourse, however, communication scholars also note the importance of influential political bloggers and public figures in social networks, who are able to frame the discussion in some cases and lead the public to certain conclusions and conceptions [Karlsen, 2015]. At the same time, the public discourse in the social networks may be used as a barometer to measure the changes in public opinion and the perspectives rooted in the social consciousness.

The following article is devoted to the study of mediated political discourse¹ in the social networks regarding Ksenia Sobchak, the only female candidate in the Russian presidential election in 2018. This research topic is important for several reasons. Firstly, women in politics are usually understudied in communication research due to their low representation in politics in comparison to men. This is the first research gap that needs to be filled in media studies. The case of Ksenia Sobchak as a candidate in the 2018 Russian presidential election is interesting in this respect, as it allows us to look at her image not only in her role of a female politician. She is a woman who doesn't fit in the usual traditionalist conceptions of women's role in society. Sobchak as a TV anchor and show business diva has scandalized the Russian public many times and has always had a reputation of a flamboyant and extravagant representative of the Russian elite. Another research gap that we try to fill in this article is the lack of study of mediated political discourse in the Russian context, which has also received relatively small attention in scholarly research partly due to the fact that Russian politicians traditionally don't use social networking sites as much as their Western counterparts.

Our paper is organized as follows. After the literature review there is a section, which describes Ksenia Sobchak's background as a public figure and politician in Russia. This section is followed by our Main findings, where each RQ is addressed in an orderly manner. Firstly, we try to answer RQ1 by identifying the main topics discussed in the sample and by determining the key words in the discussion, as they also highlight the specific features of the discourse. Secondly, we address RQ2 by finding who are the key personalities in the discussion and what they say about Ksenia Sobchak in their posts. Thirdly, we address RQ3 by identifying whether there are gender-charged words in the discussion and analyze the context in which they are used.

¹ Mediated political discourse is the discussion devoted to political issues and existing on different media platforms (both traditional mass media and new media). The term is used in communication studies and political communication research.

Literature review

Political communication has changed radically after the advent of social networking sites. Now the number of actors in the political discourse has multiplied and politicians, opinion leaders and citizens can participate in the so-called mediated political discourse [Velasquez, 2012; Strandberg, 2013]. On one hand, social networking sites can serve some electoral purposes and be used by politicians, on the other hand, opinion leaders and common citizens can participate in a mediated political discourse and express their opinions online [Karlsen, 2015].

Both political PR specialists and researchers realized the potential social media have in mobilizing the electorate and winning new voters [Filimonov, Russmann, Svensson, 2016; Vergeer, 2017]. Since then there has been a growing body of papers devoted to the use of social networking sites for electoral purposes. Scholars have focused their attention on various platforms [Gustafsson, 2012; Williams, Gulati, 2012; Bruns, Highfield, 2013; Lesnic-Alujevic, van Bauwel, 2014; Filimonov, Russmann, Svensson, 2016; Vergeer, 2017]. Twitter is regarded as one of the most studied platforms due to the popularity it has in the sphere of political communication [Filimonov, Russmann, Svensson, 2016]. At the same time, Twitter's API is relatively easy to study [Bruns, Liang, 2012]. More and more scholarly papers focus on the visual representation of politics [Galai, 2019; Orgad, 2013; Bleiker, 2015]. With the advent of new visual social networking sites like Instagram and Pinterest, as well as with the spreading of such a phenomenon as memes, visual analysis of political parties' activities in the social media is becoming a popular research method [Muñoz, Townner, 2017; Dean, 2019].

Scholars have identified several purposes, which may be set by political candidates when using social networking sites in the process of political campaigning. They include (1) broadcasting election messages, (2) mobilizing supporters, (3) managing the party's image, and (4) amplifying and complementing other campaign materials [Filimonov, Russman, Svensson, 2016]. Researchers have even coined the term digital politics to describe the way new media are integrated into the process of political communication. In a recent work, J. G. Blumler shows the ways in which contemporary new media technologies shape the political discourse [Blumler, 2019]. Blumler notes that 'if there is the fourth age of political communication, its crux must be the ever-expanding diffusion and utilization of Internet facilities — including their continual innovative evolution — throughout society, among all institutions with political goals and with politically relevant concerns and among many individual citizens. /.../ Whereas in the past political leaders and their strategists geared up to cover and intervene in television, radio and press outlets, now they are involved to a considerable extent in multi-dimensional impression management' [Blumler, 2019].

On the other hand, another gap we are trying to fill is connected with the coverage of female politicians in traditional media outlets and new media. The representation of female politicians in traditional media is a topic that has received a lot of attention from media scholars. A significant body of research shows that women in politics are often viewed in a stereotypical way and their gender roles are more often emphasized in the public domain than in the case of their male counterparts [Eagly, Karau, 2002; Puwar, 2004; Rudman, Phelan, 2008]. Women often receive less coverage in the

media than men [Gidengil, Everitt, 2003; Lawrence, Rose, 2009; Dunaway et al., 2013; O'Neill, Savigny, Cann, 2016]. Sometimes they are devalued and criticized by the public for presenting a different role model and not following the traditionalist perception that women should devote their lives to their family instead of participating in politics [Banwart, 2010]. One of the few research projects devoted to the coverage of female presidential candidates is the study done by K. Sheeler and K. Anderson. The two US researchers analyzed the way Hillary Clinton was covered in the media during the presidential campaign of 2008. They found out that both traditional and digital media frame women in the stereotyped female roles [Sheeler, Anderson, 2017].

At the same time, the way users perceive female politicians in social networks has been studied much less. There are very few works, which focus specifically on the way users of different social networking sites view female political figure. A group of US scholars showed that female politicians are more likely to be verbally attacked in the social networks than male [Rehualt, Reyman, Musulan, 2019].

Political discussion among citizens in social networks is not such a prominent topic in the area of communication research. There are some studies of public discourse on social network sites; however, this is still an understudied area. As we mentioned before, Twitter in this respect is the most studied platform due to the structure of the platform and the established methodology in this field [Arlt, Rauchfleisch, Schäfer, 2018]. A recent study shows that there is still a significant gender gap in the sphere of online political discussion. Female influencers are still a rare phenomenon when it comes to political topics, they use special communication techniques in order to be noticed in this male-dominated field [Vochocová, 2018].

Research methodology

Our research was aimed to answer the following questions:

RQ1: What kind of topics were discussed in social networks regarding Ksenia Sobchak and her presidential bid during the studied period (March 2 — March 16, 2018)? Does Sobchak's show business past represent a significant part of the discourse?

RQ2: Which bloggers and celebrities framed the discussion about Ksenia Sobchak in social networks and in what way?

RQ3: Was there gender bias in the views of people regarding Ksenia Sobchak and her presidential bid?

In order to answer these questions, we conducted computer-assisted sentiment analysis of posts about Ksenia Sobchak and her political campaign during the election. Sentiment analysis, or opinion mining, is a specific form of content analysis that identifies how sentiments, opinions, and emotions are expressed about a given subject in text-based documents, such as social media messages. We used a Russian social media analytical system Brand Analytics², which allows firms and individuals to gather social media messages and find specific features of discourses around a brand or a personality. Computational software not only assists in the efficient analysis of texts, but also allows us to tap into online databases and quickly process messages across

² Brand Analytics Website. URL: <https://br-analytics.ru/> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

numerous online media platforms. Brand Analytics is a partner of the Lomonosov Moscow State University.

Our research is designed as a two-step process. At the first stage we created a 'theme' in the Brand Analytics system choosing keywords which comprehensively describe the search query (Ksenia Sobchak), and then we verified the results in a trial mode. We also chose social platforms where the posts were published, the time period, and the language of the posts in the sample. As stated before, we used posts from five social media, the time period was March 2—March 16, 2018, the language of the posts was Russian. After that we retrieved the sample. At the second stage we analyzed it using human-based coding (including tags).

To find the most popular topics of the discussion about Sobchak (RQ1) we performed discourse analysis of the sample and computer-assisted analysis of the most popular words (produced automatically by the Brand Analytics system). To determine how much the show business past has affected the discourse we manually selected most suitable topics and phrases from the sample and evaluated their popularity.

To answer RQ2 we employed Brand Analytics' tools which identify popular bloggers and celebrities in the sample by the following four parameters:

- user engagement;
- number of comments;
- page views;
- author's audience.

Then we found similarities and unique features of each group of bloggers.

In order to find whether there was gender bias or not in the framing of Ksenia Sobchak as a candidate (RQ3) we identified keywords (see Table 1) and used them for our search in the sample. To identify gender bias, we also employed the so-called deductive approach [Dan, Iorgoveanu, 2013] trying to find frames, which have been used in previous research of gender politics and seen in the way Russian media cover Ksenia Sobchak. One of these frames is the *trivialization frame*, which implies that the discussion focuses on the candidate's appearance, personal features, clothes and gender roles, rather than on the substance of the political statements of this or that politician [Trimble, Treiberg, 2010]. In other research papers the same constructs hold the name "sex-specific narrative frames" [Gidengil, Everitt, 2003], "gender frames" [Boomgaarden, Semetko, 2007], etc.

We made a hypothesis that users have the same gender stereotypes that are often manifested in the mass media. Researchers have identified that often a positive image of a Russian female politician is based on the idea that she is a wife, a housekeeper or/and an ornament of a party or a political team [Kashina, Dmistrokova, 2009]. If she does not match these roles, she usually is viewed as a bad politician, who cannot even stick to the basic gender roles. Besides, female politicians are also judged based on their relations with men [Kashina, Dmistrokova, 2009]. The attribution of typical feminine traits (kindness, sensitivity, warmth) to a female politician can also be viewed as a representation of gender bias [Huddy, Terkildsen, 1993]. If a woman does not possess these features, she is viewed as flawed and unworthy to run for any kind of office.

We relied on previous gender research in the Russian academic sphere, as Russia has a specific socio-cultural context when it comes to the representation of women politicians [Kashina, Dmistrokova, 2009; Balaluyeva, 2014; Balakina, Tovkes, 2019].

Based on the mentioned above assumptions, we identified key words (nouns and adjectives) used to describe a positive stereotyped image of a female politician and a negative stereotyped image (see Table 1). After conducting preliminary analysis of the sample, we added some more gender-specific words (see Table 1), which were typical when describing Ksenia Sobchak's appearance and behavior. They were taken from the sample during the preliminary analysis of the posts.

Table 1. **List of gender-specific words used in the study**

Positive	Negative
Good mother (хорошая мать)	Bad mother (плохая мать)
Good housekeeper (хорошая хозяйка)	Bad housekeeper (плохая хозяйка)
Stylish (стильная)	Ugly (некрасивая, страшная, уродливая, уродка)
Beautiful (красивая)	Prostitute (проститутка)
Standout (яркая)	Slut (шлюха, шалава)
Sensitive (чувствительная)	Girl (девочка)
Tender (нежная) Сочувствующая (compassionate) Понимающая (understanding)	Stupid woman (дура) Резкая/наглая/дерзкая (crusty/cheeky/nervy) Неуравновешенная (hotheaded) Скандалистка Блондинка/глупая блондинка (blondie, stupid blond woman) Баба (gal)

This study uses data collected from five leading social networks in Russia (VK, Odnoklassniki, Instagram, Facebook, and Twitter). As mentioned above, the posts were collected using Brand Analytics platform. Each social network has specific features in the Russian context. Facebook is a site with a large audience aged 35+ (near 50 % of the users are in the age group 35—55+), which is politically active and has distinctive political preferences. VK is a social networking site mainly for Russian speaking users. The site has the largest share of youngsters (nearly 22.7 % of its users are in the age group 18—24, 17 % of the users are younger than 18). Odnoklassniki is a site popular among people living in smaller Russian cities. It has a large share of the audience over 50 years old. Instagram in Russia, as well as in other countries, is the fastest growing social networking site and has a large share of users under 30³. We deliberately selected several social networks in order to trace the way users with various backgrounds and socio-demographic characteristics reacted to Ksenia Sobchak's campaign. We excluded from the sample those posts, which represented spam and were not related to the election topic and used the hashtag #sobchak together with many other popular hashtags to gain traffic. For example, there were posts with commercial companies' advertising, which had nothing to do with the election campaign of Ksenia Sobchak.

³ Social Media Statistics. *Brand Analytics*. URL: <https://br-analytics.ru/statistics/author/> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

The selected time slot was March 2—March 16, 2018. We collected a sample of 147,472 posts in five social networking platforms. We have chosen two weeks before the election, at the end of the rally, because we believe that candidates made all decisive statements and users decided who to vote for by that time. Different time periods can provide different topics, but we believe that the trends are the same because our approach preserves semantic validity, a strength of human-based coding, while also being applicable to large datasets.

Ksenia Sobchak between show business and politics

Ksenia Sobchak's image is an interesting object of study for several reasons. First of all, she is a famous public figure in Russia, known for her TV show past⁴. Secondly, Sobchak is the daughter of Anatoly Sobchak⁵, the former mayor of Saint Petersburg and a mentor to Vladimir Putin when he was in office at the city hall. Initially Sobchak started her career as an it-girl, anchoring a TV reality show called 'Dom 2' (House 2). The TV format of Dom 2 can be compared to Love Island, a British dating reality series aired on ITV. The show earned a scandalous reputation for the display of nudity and intimate scenes between the participants as well as for the obscene language used in it⁶. Later some representatives of the public were outraged by her personal show 'Blonde in Chocolate', where she appeared as a rich Russian young lady living a luxurious life and copying in many ways the American TV diva Paris Hilton⁷.

Another stage of Ksenia Sobchak's career is connected with her work for the independent TV channel "Dozhd", which is famous for its liberal views and support for opposition leaders. Sobchak tried the role of an interviewer and held hard conversations with various politicians and opinion leaders. One of her most watched interviews was the one with the Russian oligarch Mikhail Khodorkovsky, former owner of the Yukos oil company. He was accused of embezzlement and held in prison for six years, however, some journalists and public figures saw him as a political prisoner, who was punished for having political ambitions in Russia⁸. The interview with Khodorkovsky, who had just left prison at the time, was viewed by many people, even those who did not represent a loyal Dozhd audience. Finally, Ksenia Sobchak supported the protests in Russia held after the Duma elections in 2011. In the public eye she tried to stick to the image of Vladimir Putin's opponent.

Ksenia Sobchak announced her desire to run for president in the 2018 election rather late, about five months before the date of the election. At first, she denied publicly her desire to join the presidential race, but then announced her decision to

⁴ Bekbulatova T. (2017) Beautiful Art Project, Thrash, Stem. Taisia Bekbulatova Tells Political Story of Ksenia Sobchak. *Meduza*. November 21st. URL: <https://meduza.io/feature/2017/11/21/prekrasnyy-art-proekt-tresh-steb> (accessed: 04.08.2020).

⁵ Biography. *Anatoly Sobchak: Official Website*. URL: <http://sobchak.org/site/bio.html> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

⁶ Sadchikov-jr. M. (2018) From "Dom-2" to Politics: Scandalous Stories from Ksenia Sobchak's Life. *StarHit Online Journal*. November 5th. URL: <https://www.starhit.ru/novosti/iz-doma-2-v-politiku-skandalnyie-istorii-iz-jizni-ksenii-sobchak-155400> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

⁷ Vandyshva O. (2007) SIGNIFICANT! "Blondie in Chocolate" is Too Fond of Swearing. *KP.RU*. February 7th. URL: <https://www.kp.ru/daily/23851/63072/> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

⁸ Walker S. (2016) Exiled oligarch Mikhail Khodorkovsky: I have no obligations to Putin. *The Guardian*. February 19th. URL: <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/russia-oligarch-mikhail-khodorkovsky-no-obligations-vladimir-putin-pardon>

enter the run-up⁹. The political establishment had mixed feelings about her candidacy. Some viewed her as a real oppositional candidate, some said she was a puppet in the election show approved by the Kremlin¹⁰. Sobchak tried to create an image of a new figure on the Russian political landscape, claiming to be a candidate ‘against all’¹¹.

Sobchak was the only female candidate in the 2018 presidential election. There are only two other women who ran for president in the history of contemporary Russia apart from Sobchak. The first one is Ella Pamfilova, a human rights activist and currently the head of The Russian Electoral Commission, the second is Irina Khakamada, a liberal politician famous in the 1990s. The masculine and traditionalist nature of Russian politics is a well-known fact [Vartanova, Smirnova, Frolova, 2013], which was proved again with the results of an opinion poll held several months before the election. In October 2017 the Russian Centre for Public Opinion Research (VCIOM) published a report, showing that 38% of the respondents were ready to vote for only for a male president in Russia because presidency “is not women’s business” and women have a “different mindset”¹².

There are some research articles or books focusing on Sobchak political activities. One of them is a book by M. Gabowitsch where Sobchak is mentioned along with a blogger and politician Alexey Navalny as those who became self-declared leaders of the protest in Russia in 2011—2012 [Gabowitsch, 2017]. Gabowitsch points out that Sobchak and Navalny are persons with good media skills and therefore they were able to define what the protest was about.

An interesting research project was conducted by a Russian scholar Elizaveta Gertner, who found transformations in the image of Ksenia Sobchak and her transition from a TV diva to a politician. As Gertner points out, at the beginning of her campaign Sobchak was viewed by the public as glitterati, but gradually people started paying attention to her political messages and taking her seriously [Gertner, 2018]. These changes were distinguished based on a content analysis of articles in the mass media retrieved from the analytical system *Integrum* during three periods: before, during and after the election. Another research paper devoted to Ksenia Sobchak and her image during the presidential campaign in 2018 is the one published by Lyudmila Voronova and Emile Edenborg from Sodertorn University (Sweden). The authors state that traditional media outlets used a lot of gender stereotypes when covering Sobchak [Voronova, Edenborg, 2019].

We should also note that the 2018 presidential campaign in Russia attracted some attention of media scholars, but the focus in the majority of the conducted studies was not placed on specific political figures, but on the features of political communication in general. Thus, S. Shomova studied the memes, which were used during the political campaign in 2018 by different internet users. She described the candidates

⁹ Gershkovich E. (2017) Ksenia Sobchak, Russia’s Star Presidential Candidate, Will Be Heard. *The Moscow Times*. October 26th. URL: <https://www.themoscowtimes.com/2017/10/26/ksenia-sobchak-russias-star-presidential-candidate-a59377> (accessed: 04.08.2020).

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² The Survey Showed the Percentage of Russians Who are Willing to Elect Only a Woman President. *RIA Novosti*. 2017. October 26th. URL: <https://ria.ru/20171026/1507584793.html> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

running for president and noted that this campaign was different from previous ones as it included more memes and activity in social networks, which might be due to the fact that millennials joined the electorate for the first time and their digital culture was taken into account when constructing the images of different politicians [Shomova, 2019]. Besides, Shomova notes that Sobchak was an object of memes not so often as her counterparts in the presidential race. However, the memes were mostly connected with her past as a host in the TV show *Dom 2* (House 2) and her previous controversial photoshoots published in men's erotic magazines [Ibidem].

Another interesting scholarly article sheds light on the way metaphors are used in anecdotes about Ksenia Sobchak during the run up period in the 2018 election [Kondratieva, 2019]. This paper is rather an exception, as the interest of most researchers during and after the election campaign was not focused on Sobchak, as we mentioned before. The author found out that in most anecdotes the image of Sobchak was negative and there were a lot of unpleasant remarks regarding her appearance and her background (being a daughter of a former governor, participating in scandalous shows, leading a lifestyle of an it-girl). As Kondratieva notes, the writers of these anecdotes mocked Ksenia Sobchak for her desire to become a serious politician as her previous career contradicted the image of a trustworthy and authoritative presidential candidate.

Main findings

Popular topics

Using the Brand Analytics platform to form the data, we found two main groups of topics within the sample:

- 1) scandals around Sobchak's political declarations and activities during the presidential bid (group 1);
- 2) Sobchak's previous show business activities and controversial statements (group 2).

The most discussed topic (group 1) was a TV-debate, during which the leader of the LDPR State Duma party (formerly called Liberal Democrats Party of Russia¹³) Vladimir Zhirinovskiy called Ksenia Sobchak “*stupid woman*” emphasizing her gender, after that she threw water in his face. Many users criticized Sobchak for her lack of control, but there were also others who supported her and accused Zhirinovskiy of insulting the only female candidate.

The name of Zhirinovskiy is one of the most mentioned in the sample (72.8 thousand posts) after the name of Sobchak and The Russian President Vladimir Putin, for example:

Zhirinovskiy wants to cancel school Uniform state exam, Sobchak wants to cancel the school uniform. Imagine, if we combine them, it will be a cool president of the Russian Federation. (The audience of the post in the VK group was 1,5 million people)

¹³ Subbotina S., Dergachev V. (2012) The LDPR has Ceased to Be Liberal-Democratic. *Izvestia*. December 12th. URL: <https://iz.ru/news/541314> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

Vladimir Zhirinovskiy continues the war with Ksenia Sobchak. This time he said that when he wins the election, the next day he'll put her in a mental institution. (The audience of the post on Instagram was 960 thousand users)

Zhirinovskiy is well known in Russia for his clownish behavior and provocative announcements¹⁴. Zhirinovskiy is usually the most controversial participant of the election campaign, so it is no surprise that his statements are actively discussed in social media.

The other politician who was mentioned along with Sobchak was Alexey Navalny (15.6 thousand mentions), the leader of the non-system opposition in Russia. He could not take part in the bid because of a prison term but he supported Sobchak. The attitude towards Navalny partly determined the perception of Sobchak: *"she is as schizophrenic as Navalny", "Sobchak and Navalny, go to the USA, your friends are waiting for you", "Navalny and Sobchak are a Kremlin project", "Sobchak, Navalny, and other scum", etc.*

The next popular topic (group 1) is Sobchak's provocative political declaration about Crimea's annexation. She asked the Ukrainian officials for permission to enter Crimea through the territory of Ukraine to run the election campaign. She did not get the permission and was criticized both by the officials in Kyiv and by Russian politicians. The head of the Ukrainian Foreign Office Pavel Klimkin commented on Sobchak's request on Twitter: *"I am often asked about Sobchak and occupied Crimea. It is, of course, positive to adhere to the Ukrainian legislation to enter occupied Crimea. But the legal entry to conduct an illegitimate campaign for illegitimate elections on the occupied territory is definitely political schizophrenia,"*. His post was shared more than eight thousand times. The press secretary of the Russian Foreign Ministry Maria Zakharova, who is very active in social media, also commented on this case, as well as the State Duma deputy Natalia Poklonskaya, who was born in Crimea. A very well-known patriotic journalist Maxim Shevchenko mentioned that Sobchak *"has made a sharp 180-degree turn"* when she first backed the accession of Crimea and then claimed she was against it.

Sobchak's private life and her family (group 2) including the mentioning of her then husband, her mother, her son, and her father, who was a Mayor of Saint-Petersburg in the 1990-s, were also discussed actively in connection with her previous controversial statements. In 2016, Sobchak called little children "cripples and small jerks" and argued that wouldn't readjust her schedule because of a child¹⁵. More than 500 authors reminded her these words in connection with her motherhood at present (in 2016, she said she wouldn't have children). They used this situation to show that Sobchak changes her opinion depending on the situation.

The next place in the list of topics is occupied by the hooligan attack on Sobchak by Dzutsev (group 1), the personal assistant to the Moscow City Duma Chairman Shaposhnikov, who wanted revenge for the incident with Zhirinovskiy (group 1, more than 2 thousand mentions). The attack was taken when Sobchak entered the Petrovsky

¹⁴ Loshak V. (2018) "The Circus Needs New Clowns". *Kommersant FM*. March 22nd. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3579929> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

¹⁵ Panyukov M. (2016) "I Don't Care if There are Kids Here!" Sobchak Remembered her Boorish Behavior Before Motherhood. *Express Gazeta*. November 18th. URL: <https://www.eg.ru/showbusiness/58739/> (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

Palace in Moscow to wish a happy birthday to the last Soviet President Gorbachev. Dzutsev threw water in Sobchak's face screaming "That's for Zhirinovsky!" Most users and groups just mention the incident without any moral sense, nevertheless, we see again that scandals accompany the election campaign of Sobchak.

The next group of topics is devoted to discussions of Sobchak's previous media jobs (group 2) including her involvement in the scandalous TV shows *Dom-2* (599 mentions) and *A blonde in chocolate* (1680 mentions). The discussion is mostly critical: "for me, she's still the host of *Dom-2*", "the whole country has already been turned into *Dom-2*", "she turned the political debate into *Dom-2*" and so on. But there were users who considered *Dom-2* just as a job: "When Sobchak put forward her candidacy, most people were skeptical about it. A woman in politics, "Dom-2", a prostitute, etc... But like no one else she showed all the political darkness that was so carefully concealed and conspired by the "important people". The peak for me personally was the TV debate with Zhirinovsky..."

We should note that there can be an overlap between the topics in the sample, therefore posts can be included in different thematic groups.

To define the thematic landscape of the discussion in more detail we also analyzed the most frequently used words. As a result, we managed to confirm some of the earlier findings and found new topics.



Fig. 1. Word cloud for the first period

To identify the most frequently used words, we divided the sample into 3 periods: March 2—6, 7—11, and 12—16 as *Brand Analytics* system is not capable of processing the whole amount of publications at once.

In the first period March 2—6, 2018, a significant share of the word cloud consisted of neutral words describing the presidential bid as a whole with some specific words:

- names of candidates,
- nouns connected with the election process ("president", "election", "candidate", "Russia"),
- nouns connected with the TV-debates ("debates", "air", "channel", "question", "water").

— the only exception is an indication of a hooligan attack on Sobchak.

During the second period (March 7—11, 2018) the fastest growing leader-words were “*the Crimea*”, “*Ukraine*”, “*permission*”, “*request*”, and “*territory*”. All those words were associated with the provocative political act of Sobchak to enter Crimea through the territory of Ukraine to run the election campaign.

During the last period (March 12—16) the fastest growth leader-word was “*a loser*”. It became popular after Ksenia Sobchak met Vladimir Zhirinovskiy during the TV-debates one more time. Zhirinovskiy brought the book *The Encyclopedia of a Loser* written by Sobchak in 2010. “*For 18 years people have chosen the same political regime, not understanding what all this results in, so who else are they if not losers?*” — commented Sobchak. She claimed that elections in Russia are similar to the work of a casino, where its owner always remains the winner. This declaration was reposted many times in social media; lots of people considered themselves insulted and hurried to criticize Sobchak.

The word “*campaign office*” was also among the fastest growing leader-words. Two scandals were the reason for its popularity. First, the head of Sobchak’s campaign office in the Chuvashia region and journalist Daria Komarova made an incriminating post on Facebook accusing a well-known Russian film director Govorukhin of a sexual harassment. Komarova wrote that Govorukhin who was head of Putin’s election team in 2012 offered her to spend a night with him in exchange for the opportunity to play a role in his film. The other scandal was about secret correspondence published on Facebook. Timur Valeev, director of the election office of Sobchak and concurrently executive director of the Open Russia Civic Movement, wrote a letter to Yury Kanygin, director of the Pskov department of the former oligarch Mikhail Khodorkovskiy’s foundation. Valeev instructed Kanygin how to interact with the opposition and told a story about budgets allocated for stuffing with scam ballots and other provocations during the voting. Therefore, we see that scandals are attracting the attention of the public in social media.

We can conclude that the show business past of Sobchak represent a significant part of the discourse and to a large extent defines the perception of Sobchak as a presidential candidate. Due to her participation in two scandalous and low-brow TV shows and especially in “*Dom 2*” the audience still sneers at Sobchak and perceives these shows as a way of her life rather than just as her work.

Key personalities of the discussion

The Brand Analytics system identifies popular bloggers and celebrities who frame the discussion about Sobchak by the following four parameters:

- user engagement
- number of comments
- page views
- author’s audience.

The statistics includes not only posts but comments and reposts as well. We excluded comments and reposts from our study because they are often used for paid promotion of candidates or any other business or political ideas. We wanted to find original authors who are real content creators.

We should also note that we excluded from the analysis posts where the name of Sobchak is mentioned casually, and the main topic is not connected neither with the subject of the elections, nor with the candidates. In particular, this refers to the publications made by popular bloggers: they were included in the sample due to the great engagement of the audience but did not influence the discussion.

The top platform *by user engagement* (comments, share, and reposts) turned out to be Instagram. The most popular post was published by the State Duma deputy, actress, and blogger Maria Kozhevnikova, on March 4. Although Kozhevnikova is a political figure, we can consider her a blogger: she creates professional content for Instagram and uses it to earn money from advertising. Her post about Sobchak received 47.4 thousand likes and 2 thousand comments. The audience of the post was 2.2 million people. Kozhevnikova criticizes Sobchak for insulting her in public. In the early 2010's Kozhevnikova played the role of a narrow-minded young woman in the youth TV-show "Univer", of which Sobchak once reminded her and claimed she was not intelligent enough to be a member of the state Duma. Kozhevnikova denied Sobchak the right to run for president because Sobchak had her own TV-show where she made many controversial statements. However, in general, Kozhevnikova argues that she would have willingly supported a female candidate if this had not been Sobchak:

I don't support Sobchak not because she is an actress, as it's written above, and not because she insulted me and tried to humiliate me publicly when I was elected as a deputy, and at the same time she was, as she said herself, a journalist who, in my opinion, has no right to descend to that level. Not because she was hinting at "Allochka" and my "famous" surname, although it was just surreal when a person told us about morality, a person who worked under her own surname and showed the whole country all her worldview in her own show, please note, not in the movies, where there are fictional characters and a certain genre <...> I would be happy to support women, but in this case, when a woman herself insulted, humiliated, ruffled, suggested that children should die, ... she faced what she had sowed, save me from it, I won't participate in this circus and I don't advise you. Working for the Duma, I support women and fight for the increase of maternity benefits, allowances for children under 3 years of age, for queues in kindergartens from 1.5 years of age, to fight for the rights and opportunities, for quality food, to work further on children's broadcasting, education, and availability of sports and more importantly — free medical care, and not only now, I did it in the Duma, my colleagues will confirm it.

The post of Kozhevnikova influenced the discussion around Sobchak's campaign. We have found 250 accounts on Instagram, VK, Facebook and Odnoklassniki which reposted the original post in whole or in part, sometimes rewriting it and adding comments, thus, forming negative public opinion around Sobchak as a presidential candidate.

The next post was made by the user *Sergey Kalyuzhnyi* on Instagram, the post gathered 9.5 likes and 515 comments. Although the author shared the values of Sobchak, he argued that there was no reason to vote because there was only one candidate who can really win the elections — Putin.

The other user *Blinovskaya* (her post had 11.2 likes and 338 comments) is also loyal to Sobchak but not ready to vote for her: "...she grew up in this environment.

Everything that happens is natural to her <...> To throw a glass of water at Zhirinovskiy is like hitting your friend over the head with a spade in a sandpit”.

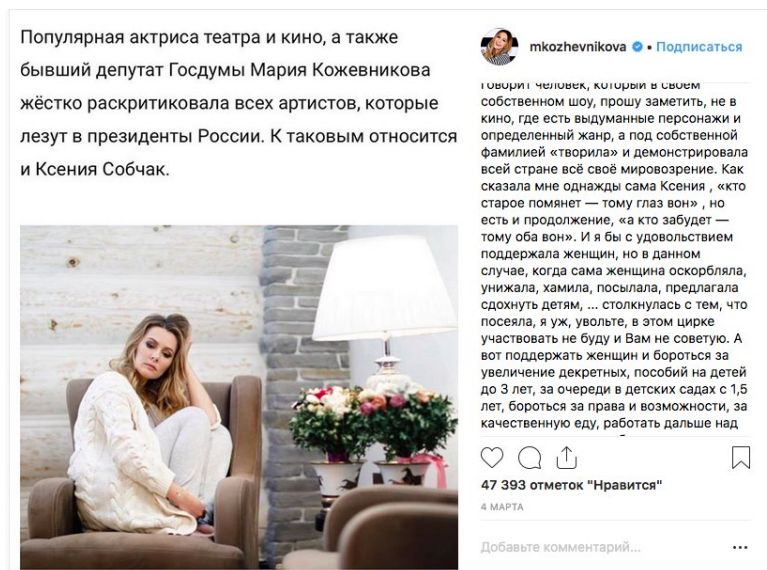


Fig. 2. Kozhevnikova's post on Instagram

A great amount of popular accounts by user engagement (1.5 thousand) discuss the scandalous meeting of Sobchak and Zhirinovskiy on TV (e. g. *Rifmi i Panchi* channel, 13,5 likes and 16 comments).

There is an overlap between the most popular posts by number of comments with the one from the previous group, we see that users actively comment on topics about the election race and voting.

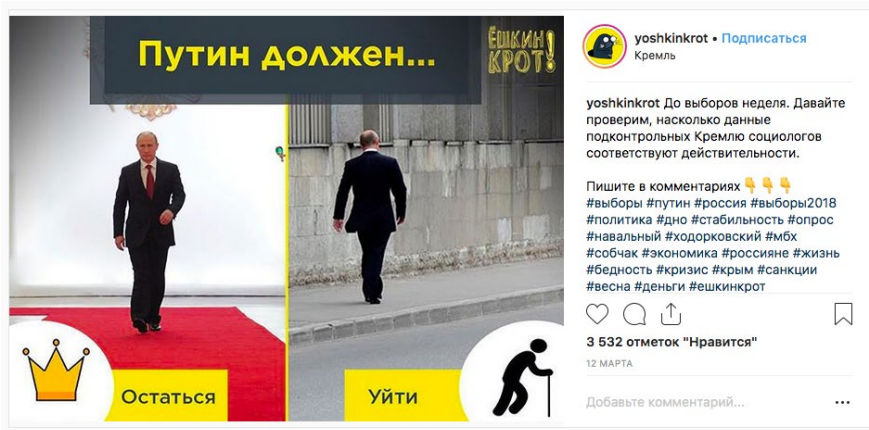


Fig. 3. Yoshkin krot's post on Instagram

The first one was published by the user *Yoshkin Krot* (3677 comments) who proposed to take part in a virtual poll insisting that Kremlin sociologists do not show real results of the voting. Such posts traditionally have a high virality potential in the Russian segment of the Internet. In 2012, the most popular post among the Russian mass media was created in the VK by the Internet media outlet *Lenta.ru* asking subscribers to vote for the candidate for Russian Presidency-2012. Three million people took part in that poll. *Yoshkin Krot* has a clear anti-Putin position, which he actively promotes. In one of the posts he published a very popular video about “*Five main reasons not to vote for Putin*” (1477 comments). That video is very well assembled and structured.

Maria Kozhevnikova’s post on Instagram takes the second place.

Another online voting ranks third and was published in the account of the Russian TV-show “*School of Renovation*”: “*Would you like to see Sobchak as Russia’s leader?*” (1674 comments).

The post of the user *Feodorit Sergey Senchukov* on Facebook gathered 678 comments. *Feodorit* explained why he would vote for Sobchak, as Putin was an “*international criminal*” and Vladimir Zhirinovskiy and Grigoriy Yavlinsky, the leader of the liberal Yabloko party, were “*a couple of elderly clowns*”.

Statistics by page view is only available for VK, Telegram, YouTube, and video posts on Odnoklassniki and Instagram. We have found that posts with the highest page view rates were published in Odnoklassniki which now heavily invests in the development of video content and live broadcasts. The most popular video in the group was published by the popular video blogger *Max Maximov* and received 11.1 million page views. *Maximov* found provocative quotes of Sobchak and assembled the video.

Another popular blogger *Oleg Basovich* did the same: he compared some previous remarks made by Sobchak with her rhetoric during the election campaign and concluded she was a hypocrite.

The most popular posts by audience reach (a number of followers at the moment of writing the post) were published in VK public pages because they are very popular among Russian-speaking users. The leading post was distributed through the page “*Ya tebya lyublyu*” (I Love You) with 6.2 million subscribers. “*There are many smart, strong, and worthy women in Russia. Ksenia Sobchak encourages women to fight sexism, domestic violence, and gender discrimination.*” Many other posts in the group repeat this rhetoric and even the exact text.

The third, fourth and fifth posts were published in the public page *Pozor* (Shame) with 3.7 million subscribers. The typical content includes political jokes, e. g.: “*This morning I was drinking tea when my dad asked me: whom are you going to vote for? I said “for Sobchak” just for fun, and nothing else to remember...*” Or: “*Today there was a rally on the square and people shouted: “Vote for dogs (“sobak” in Russian — authors’ note)! They shouted and waved posters until someone corrected them “For Sobchak”.*”

Gender bias

When the list of gender-charged words was finalized, we analyzed the sample to identify usage patterns. As we found out, the first frame is associated with traditional female roles. Firstly, we verified gender-charged words with positive connotations mentioned above in the “*Research questions*” section. We see that users don’t identify

Sobchak as a “good mother” or a “good housekeeper”, even as a “beautiful” or “stylish” woman. In contrast, users mentioned that she once said that she “hated children” (70 times) (“previously Sobchak said that she hated children and then she gave birth”). The love to children is typically associated with a traditional concept of a woman and is also connected with gender roles.

Users often call Sobchak “a prostitute” (appr. 1100 times, e. x. “a prostitute from Leningrad”) and use other gender-specific expressions which describe her as a “slut” (appr. 450 times):

- *It's right not to let this slut into Crimea. This slut has to be sent from Russia to Antarctica to the penguins.*
- *An ordinary rich slut.*

Secondly, we found that the word “woman” is used in the sample 1440 times both with positive and negative meanings, for example:

- *In 18 years Ksenia Anatolievna has turned from a woman with low social responsibility into a presidential candidate*
- *Is Sobchak a woman? She is a product of “Dom 2”!*
- *Did you want a woman-president? Get a puppet candidate with brilliant PR who says everything you want to hear with an empathetic look*
- *In my opinion, Sobchak is a very competent, wise woman and a worthy candidate.*

These examples show that, first of all users consider Sobchak as a woman with different skills and behavioural patterns but not as a politician. Social media users also describe Sobchak as a “girl” (240 times) which we see as a derogatory definition of a politician:

- *Oh, it's going to be a long way for a girl from a family of St. Petersburg intellectuals to the political stardom.*
- *She's a smart woman, but the girl was born with a gold spoon in her mouth.*
- *Zhirinovsky called Sobchak a “girl from the street” who “has never run anything”.* (on Odnoklassniki)

Furthermore, social media users called Sobchak a “stupid woman” (“дура” in Russian) 2400 times (“she is a stupid woman from birth”, “was a stupid woman once again”, “who writes instructions to this stupid woman”). The word “дура” (stupid woman) in Russian has a specific gender-charged connotation, as it refers to the gender asymmetric concepts, where some traits are considered to be purely masculine and women are devoid of them. For example, there is a gender stereotype that women are less intelligent than men, which is manifested in some idiomatic sayings and proverbs in the Russian language (i. e. “все бабы дуры”, which means literally “all women are fools”) [Knizhnikova, 2011]. That is why we decided to include this word in the list of gender-charged terms, as it implies a specific reference the authors of the posts make to emphasize their view of women’s intellectual abilities.

This frame also has another dimension. Male politicians and opinion leaders do not see Sobchak as a real opponent, as she is a woman (for example, the case with Zhirinovskiy shows that). A. Myasnikov, medical director of the hospital in Moscow and authorized representative of Vladimir Putin as a Presidential candidate, published a post on his Instagram account (5088 likes and 1504 comments) arguing that Putin does not have any real competitors: *“Putin has come to his full strength, there are no such leaders on the planet anymore! He is really the World Champion!”* Along with that in the same post Sobchak is treated not as a politician but is derided in a joke: *“Does anyone like the priest, the priest’s wife, or his daughter?! (and does someone even like Sobchak?!)”*

Political analyst and famous Russian pro-government journalist V. Tretyakov also tried to reproach Sobchak for not paying attention to her political program and preferring to play with words: *“Three days ago, on a garbage dump, Sobchak swore she loved people. And she even called them smart. And today she called them losers. Still, she looks and talks better on the garbage dump.”*

The second frame is concentration on appearance, not on political statements and actions of the candidate, it is also a typical manifestation of gender bias as well as using gender stereotypes. For example, a public page called Ofigenno (Cool), which has nearly 2.3 mln subscribers, published a post trying to track changes in Sobchak’s style and her clothing preferences over the last 20 years. They defined her style changes as *“from slutty dresses to granny clothes”*. This post is only one manifestation of the focus on Sobchak’s appearance, however, such frames in the sample appear very often. Users discuss Sobchak’s appearance (*“we are sure that Ksenia didn’t go without the injections with botulinum toxin and fillers”, “look at how much her appearance has changed”, “she is a long way from being beautiful”, etc.*). But there are users who criticize others for judging people by their appearance: *“Those who give negative feedback on Ksenia Sobchak, including her appearance, are often paid trolls... are you all Alain Delon yourselves?”*

Social media users in the sample also called Sobchak *“Ksyushad”* (372 times). This word was created as a mix of two Russian words: the name *“Ksenia”* and the word *“loshad”* (a horse), it is insulting, highlighting her unappealing appearance and gender.

Conclusion

First, we have found that users view Sobchak mostly as a media personality, not as a serious politician. The main topics (RQ1) in our sample are connected with various scandals: the first group is associated with Sobchak’s activities and declarations during the election campaign; the second group is associated with previous activities in show business and provocative statements she made over the years of her career. Her scandalous behavior in the past has a negative impact on her political and social activities. Her background had an impact on her public image, from which she could not disconnect.

Secondly, we have found how professional bloggers and celebrities framed the discussion about Sobchak. The most influential blogger in the sample is Maria Kozhevnikova, the State Duma deputy and the actress in the near past. We see that she exploits political themes to expand her audience and to create hype using popular

public figures. The emphasis on self-promotion is especially noticeable on Instagram, where bloggers illustrate political posts with photos of themselves, which are not relevant to the discourse.

There are popular bloggers who are more concentrated on political issues, a part of them support Sobchak, others are pro-Putin, and this fact determines the attitude towards Sobchak.

Thirdly, we found that the gender component appears in the texts in different ways. The discourse was partly built around Sobchak's personal life and appearance, and this can indicate gender bias. We also see some insulting gender-specific words when users criticized Sobchak. Besides, our study shows that Sobchak's political male counterparts don't take her seriously, preferring to mock her.

Another dataset, which may be analyzed, comprises comments to popular posts. They are distinguished by free speech and are not strictly connected with the topic. These comments can contain new useful information. The way this information can influence the discussion is not that easy to figure out. However, the active participation of users in comments testifies that the exchange of opinions represents a significant part of the political discussion where the electorate formulates its preferences. Unfortunately, it is much more difficult to analyze comments than posts due to some technical limitations. We hope to achieve these goals during the second stage of the current research.

Список литературы (References)

Arlt D., Rauchfleisch A., Schäfer M. S. (2019) Between Fragmentation and Dialogue. Twitter Communities and Political Debate About the Swiss "Nuclear Withdrawal Initiative". *Environmental Communication*. Vol. 13. No. 4. P. 440—456. <https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1430600>.

Balakina J. V., Tovkes M. Yu. (2019) Linguistic Means of Constructing the Image of a Female-Politician (on the Example of the Microblog Twitter). *Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*. Vol. 16. No. 3. P. 381—399. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2019.304>. (In Russ.)

Балакина Ю. В., Товкес М. Ю. Лингвистические средства конструирования образа женщины-политика (на материале микроблога Твиттер) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. Т. 16. № 3. С. 381—399. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2019.304>.

Balaluyeva I. A. (2014) Media Image of Women and Development of Gender Discourse in the Russian Press. *Humanities, Social-Economic and Social Sciences*. P. 26—32. (In Russ.)

Балалуева И. А. Медиаобраз женщины и развитие гендерного дискурса в современных российских федеральных газетах // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 12—1. С. 26—32.

Banwart M. C. (2010) Gender and Candidate Communication: Effects of Stereotypes in the 2008 Election. *American Behavioral Scientist*. Vol. 54. No. 3. P. 265—283. <https://doi.org/10.1177/0002764210381702>.

Bleiker R. (2015). Pluralist Methods for Visual Global Politics. *Millennium*, 43(3), 872—890. <https://doi.org/10.1177/0305829815583084>

Blumler J. G. (2019) A Fresh Perspective on Politicians and the Media. *Political Communication*. Vol. 36. No. 1. P. 190—194. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1548413>.

Boomgaarden H. G., Semetko H. A. (2007) Duell Mann gegen Frau?! Geschlechterrollen und Kanzlerkandidaten in der Wahlkampfberichterstattung. In: Brettschneider F., Niedermayer O., Weßels B. (eds.) *Die Bundestagswahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse*. Wiesbaden, Germany: VS Verlag. P. 171—196. (In German).

Bruns A., Liang Y. E. (2012) Tools and Methods for Capturing Twitter Data during Natural Disasters. *First Monday*. Vol. 17. No. 4. <https://doi.org/10.5210/fm.v17i4.3937>.

Bruns A., Highfield T. (2013) Political Networks on Twitter: Tweeting the Queensland State Election. *Information, Communication & Society*. Vol. 16. No. 5. P. 667—691. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.782328>.

Cogburn D. L., Espinoza-Vasquez F. K. (2011) From Networked Nominee to Networked Nation: Examining the Impact of Web 2.0 and Social Media on Political Participation and Civic Engagement in the 2008 Obama Campaign. *Journal of Political Marketing*. Vol. 10. No. 1—2. P. 189—213. <https://doi.org/10.1080/15377857.2011.540224>.

Dan V., Iorgoveanu A. (2013) Still on the Beaten Path: How Gender Impacted the Coverage of Male and Female Romanian Candidates for European Office. *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 18. No. 2. P. 208—233. <https://doi.org/10.1177/1940161212473508>.

Dean J. (2019) Sorted for Memes and Gifs: Visual Media and Everyday Digital Politics. *Political Studies Review*. Vol. 17. No. 3. P. 255—266. <http://doi.org/10.1177/1478929918807483>.

Dunaway J., Lawrence R. G., Rose M., Weber C. R. (2013) Traits versus Issues: How Female Candidates Shape Coverage of Senate and Gubernatorial Races. *Political Research Quarterly*. Vol. 66. No. 3. P. 715—726. <https://doi.org/10.1177/1065912913491464>.

Eagly A. H., Karau S. J. (2002) Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders. *Psychological Review*. Vol. 109. No. 3. P. 573—598. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.3.573>.

Filimonov K., Russmann U., Svensson J. (2016) Picturing the Party: Instagram and Party Campaigning in the 2014 Swedish Elections. *Social Media + Society*. Vol. 2. No. 3. P. 1—11. <https://doi.org/10.1177/2056305116662179>.

Gabowitsch M. (2017) *Protest in Putin's Russia*. Cambridge: Polity Press.

Galai Y. (2019). The victory image: Imaging Israeli warfighting from Lebanon to Gaza. *Security Dialogue*, 50(4), 295—313. <https://doi.org/10.1177/0967010619835365>.

Gertner E. V. (2018) Exposition of the Pre-Election Campaign 2018: Gender Component. *Political Linguistics*. No. 2. P. 40—44. (In Russ.)

Гертнер Е. В. Экспозиция предвыборной кампании — 2018: гендерная составляющая // Политическая лингвистика. № 2. С. 40—44.

Gibson R. K. (2015) Party Change, Social Media and the Rise of 'Citizen-Initiated' Campaigning. *Party Politics*. Vol. 21. No. 2. P. 183—197. <https://doi.org/10.1177/1354068812472575>.

Gidengil E., Everitt J. (2003) Talking Tough: Gender and Reported Speech in Campaign News Coverage. *Political Communication*. Vol. 20. No. 3. P. 209—232. <https://doi.org/10.1080/10584600390218869>.

Gustafsson N. (2012) The Subtle Nature of Facebook Politics: Swedish Social Network Site Users and Political Participation. *New Media & Society*. Vol. 14. No. 7. P. 1111—1127. <https://doi.org/10.1177/2F1461444812439551>.

Huddy L., Terkildsen N. (1993) Gender Stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates. *American Journal of Political Science*. Vol. 37. No. 1. P. 119—147. <https://doi.org/10.2307/2111526>.

Karlsen R. (2015) Followers are Opinion Leaders: The Role of People in the Flow of Political Communication on and Beyond Social Networking Sites. *European Journal of Communication*. Vol. 30. No. 3. P. 301—318. <https://doi.org/10.1177/0267323115577305>.

Kashina M. A., Dmistrokova E. V. (2009) The Image of a Politician in Russian Mass Media: Gender Aspect. *Administrative Consulting*. No. 3. P. 122—136. (In Russ.)

Кашина М. А., Дмистрокова Е. В. Образ политика в российских СМИ: гендерный аспект // Управленческое консультирование. № 3. С. 122—136.

Knizhnikova Z. O. (2011) Gender Stereotyping in Language and Culture. *Journal of Historical, Philological and Cultural Studies*. No. 1. P. 261—266. (In Russ.)

Книжникова З. О. Гендерная стереотипизация личности в языке и культуре // Проблемы истории, филологии и культуры. № 1. С. 261—266.

Kondratieva O. N. (2019) Specific features of using conceptual metaphors in a cycle of political anecdotes (based on the case study of anecdotes used during the campaign of Ksenia Sobchak in the Presidential election in the Russian Federation). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologia*. No. 60. P. 28—44.

Кондратьева О. Н. Особенности развертывания концептуальной метафоры в цикле политических анекдотов (на материале анекдотов о баллотировании Ксении Собчак на пост президента Российской Федерации) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 60. С. 28—44.

Lawrence R. G., Rose M. (2009) *Hillary Clinton's Race for the White House: Gender Politics and the Media on the Campaign Trail*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Lesnic-Alujevic L., van Bauwel S. (2014) YouTube: A Political Advertising Tool? A Case Study of the Use of YouTube in the Campaign for the European Parliament Elections 2009.

Journal of Political Marketing. Vol. 13. No. 3. P. 195—212. <https://doi.org/10.1080/15377857.2014.929886>.

Macnamara J., Kenning G. (2014) E-Electioneering 2007—13: Trends in Online Political Campaigns over Three Elections. *Media International Australia*. Vol. 152. No. 1. P. 57—74. <https://doi.org/10.1177/1329878X1415200107>.

Muñoz C. L., Towner T. L. (2017) The Image is the Message: Instagram Marketing and the 2016 Presidential Primary Season. *Journal of Political Marketing*. Vol. 16. No. 3—4. P. 290—318. <https://doi.org/10.1080/15377857.2017.1334254>.

Orgad S. (2013). Visualizers of solidarity: organizational politics in humanitarian and international development NGOs. *Visual Communication*, 12(3), 295—314. <https://doi.org/10.1177/1470357213483057>

O’Neill D., Savigny H., Cann V. (2016) Women Politicians in the UK Press: not Seen and not Heard? *Feminist Media Studies*. Vol. 16. No. 2. P. 293—307. <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1092458>.

Puwar N. (2004) *Space Invaders: Race, Gender and Bodies Out of Place*. Oxford; New York, NY: Berg.

Rheault L., Rayment E., Musulan A. (2019) Politicians in the Line of Fire: Incivility and the Treatment of Women on Social Media. *Research & Politics*. Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.1177/2053168018816228>.

Rudman L. A., Phelan J. E. (2008) Backlash Effects for Disconfirming Gender Stereotypes in Organizations. *Research in Organizational Behavior*. Vol. 28. P. 61—79. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.04.003>.

Sheeler K. H., Anderson K. V. (2013) *Woman President: Confronting Postfeminist Political Culture*. College Station, TX: Texas A&M University Press.

Shomova S. (2019) 2018 Russian Presidential Elections in the Mirror of Memes: New Realities of Political Communications. *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 157—173. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.10>. (In Russ.)

Шомова С. Выборы президента РФ — 2018 в зеркале мемов: новые реалии политической коммуникативистики // Полис. Политические исследования. 2019. № 3. С. 157—173. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.10>.

Stier S., Bleier A., Lietz H., Strohmaier M. (2018) Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter. *Political Communication*. Vol. 35. No. 1. P. 50—74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334728>.

Strandberg K. (2013) A Social Media Revolution or Just a Case of History Repeating Itself? The Use of Social Media in the 2011 Finnish Parliamentary Elections. *New Media & Society*. Vol. 15. No. 8. P. 1329—1347. <https://doi.org/10.1177/1461444812470612>.

Trimble L., Treiberg N. (2010) “Either Way, There’s Going to Be a Man in Charge”: Media Representations of New Zealand Prime Minister Helen Clark. In: Murray R. (ed.)

Cracking the Highest Glass Ceiling: A Global Comparison of Women's Campaigns for Executive Office. Santa Barbara, CA: Praeger. P. 116—136.

Vaccari C., Valeriani A. (2016) Party Campaigners or Citizen Campaigners? How Social Media Deepen and Broaden Party-Related Engagement. *The International Journal of Press/Politics*. Vol. 21. No. 3. P. 294—312. <https://doi.org/10.1177/1940161216642152>.

Vartanova E. L., Smirnova O. V., Frolova T. I. (2013) Women in Russian Politics: the Media Show Where Gender Equality Comes from. *Theoretical and Practical Issues of Journalism*. No. 1. P. 49—63. (In Russ.)

Вартанова Е. Л., Смирнова О. В., Фролова Т. И. Женщины в российской политике: СМИ показали откуда придет гендерное равенство // Вопросы теории и практики журналистики. № 1. С. 49—63.

Velasquez A. (2012) Social Media and Online Political Discussion: The Effect of Cues and Informational Cascades on Participation in Online Political Communities. *New Media & Society*. Vol. 14. No. 8. P. 1286—1303. <https://doi.org/10.1177/1461444812445877>.

Vergeer M. (2017) Adopting, Networking, and Communicating on Twitter: A Cross-National Comparative Analysis. *Social Science Computer Review*. Vol. 35. No. 6. P. 698—712. <https://doi.org/10.1177/0894439316672826>.

Vochocová L. (2018) Witty Divas, Nice Mothers and Tough Girls in a Sexist World: Experiences and Strategies of Female Influencers in Online Political Debates. *Media, Culture and Society*. Vol. 40. No. 4. P. 535—550. <https://doi.org/10.1177/0163443717729211>.

Voronova L., Edenborg E. (2019) Ksenia Sobchak and the Visibility of Female Politicians in the Russian Public Sphere. *Baltic Worlds*. Vol. 12. No. 1. P. 28—32.

Williams C. B., Gulati G. J. (2012) Social Networks in Political Campaigns: Facebook and the Congressional Elections of 2006 and 2008. *New Media & Society*. Vol. 15. No. 1. P. 52—71. <https://doi.org/10.1177/1461444812457332>.

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

Правильная ссылка на статью:

Мониторинг мнений (ВЦИОМ): июль — август 2020 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 200—231.

For citation:

Public Opinion Poll (VCIOM): July — August 2020. (2020) *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 200—231.

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: ИЮЛЬ — АВГУСТ 2020

Результаты ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник». Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

СОДЕРЖАНИЕ ДАЙДЖЕСТА

ПОЛИТИКА

ГОЛОСОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ: ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	201
ПИОНЕРЫ ИНТЕРНЕТ-ВЫБОРОВ	204
БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ	207

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ХВАТАЕТ ЛИ ДО ДНЯ X?	211
РОССИЯНЕ: СТРОИТЬ, А НЕ СЕЯТЬ.....	213

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАСЧЕТУ, ИЛИ О БРАКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИВЫЧНОЙ СРЕДЫ	215
ПРИСТАВАНИЯ И ХАРАССМЕНТ НА РАБОТЕ: НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ, НО ОСУЖДАЕМ!.....	221
РУССКИЙ ХАРАКТЕР.....	229

ПОЛИТИКА

ГОЛОСОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ: ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	201
ПИОНЕРЫ ИНТЕРНЕТ-ВЫБОРОВ.....	204
БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ.....	207

ГОЛОСОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ: ПОСЛЕСЛОВИЕ

3 июля 2020 г.

Большинство россиян удовлетворены тем, как прошло голосование по поправкам к Конституции (71 %). Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше и составляет 88 %. Не удовлетворен каждый пятый опрошенный (20 %), а среди принявших участие — 12 %. Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74 %). Практически каждому голосовавшему россиянину было удобно голосовать — об этом сообщили 96 % респондентов. В целом организация голосования в течение семи дней, по мнению 72 % принявших участие в голосовании россиян, стала более удобной (64 % от всех опрошенных). Обратного мнения придерживаются лишь 3 % принявших участие в голосовании респондентов. Большинство россиян считают, что во время голосования смогли обеспечить меры санитарной безопасности (82 %, среди принявших участие в голосовании — 91 %). По мнению 7 % россиян, нужные меры безопасности обеспечить не смогли, среди принявших участие в голосовании эта доля ниже — 4 %. Среди тех, кто выбрал голосовать через интернет, доля придерживающихся мнения о том, что нужные меры не смогли обеспечить, выше и составила 21 % (против 74 % — смогли).



Рисунок 1. В целом Вы удовлетворены тем, как было организовано общероссийское голосование по поправкам к Конституции, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 2. Лично Вам было в целом удобно или неудобно голосовать? (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто принял участие в голосовании; затруднившиеся ответить отсутствовали)

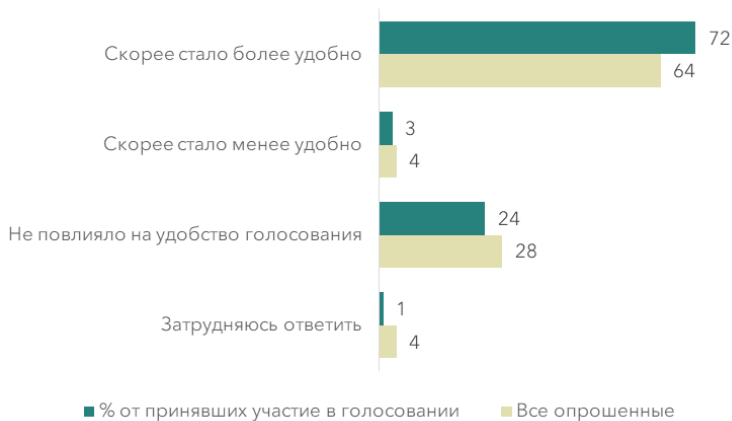


Рисунок 3. Если говорить не только о Вас, а в целом, то как Вам кажется, в связи с организацией голосования в течение семи дней голосовать стало скорее более удобно или скорее менее удобно или это не повлияло на удобство голосования? (закрытый вопрос, один ответ)



Рисунок 4. Как Вы считаете, во время голосования по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках скорее смогли или скорее не смогли обеспечить меры санитарной безопасности?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

ПИОНЕРЫ ИНТЕРНЕТ-ВЫБОРОВ

9 июля 2020 г.

В период с мая по июль 2020 г. доля тех, кто одобряет возможность голосовать через интернет, выросла на 4 п. п., достигнув 50 %, а количество противников электронного голосования (ЭГ) снизилось с 49 % до 44 %. Хотя традиционная форма голосования по-прежнему превалирует, ЭГ находит все большую поддержку, особенно среди младших возрастных когорт (18—44 лет). Главными преимуществами ЭГ в сравнении с другими способами волеизъявления, по мнению россиян, являются: дистанционность, отсутствие необходимости выходить из дома (28 %), быстрота (16 %) и удобство (12 %). Минусы дистанционного голосования во многом являются следствием репутационных проблем самого института выборов в России. Так, среди недостатков опрошенные чаще всего называли простор для фальсификаций (21 %), риск утечки данных (15 %) и отсутствие интернета/слабый интернет (12 %).

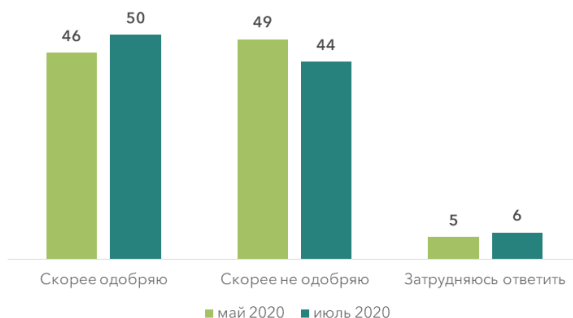


Рисунок 5. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к предоставлению возможности голосовать на выборах дистанционно, через интернет? (закрытый вопрос, один ответ, %)

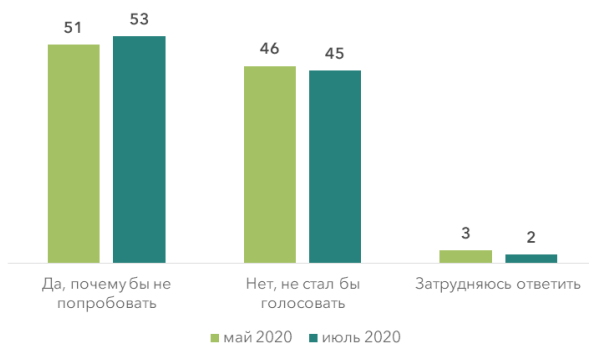


Рисунок 6. Если бы Вам представилась возможность голосовать на выборах с помощью компьютера через интернет, то согласились бы Вы проголосовать через интернет или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Таблица 1. В случае, если на следующих выборах Вам будет официально предложено выбрать способ голосования, то какой способ Вы скорее всего предпочтете? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, июль 2020)

	Все опрошенные	18—24 года	25—34 года	35—44 года	45—59 лет	60 лет и старше
Традиционное голосование с помощью бумажного бюллетеня	65	51	47	58	69	82
Голосование по почте	1	1	1	1	—	1
Электронное голосование через интернет	30	45	46	36	26	15
Еще не решил(а) / Затрудняюсь ответить	2	2	3	2	3	1
Не буду принимать участие в голосовании	2	1	3	3	2	1



Рисунок 7. Если бы Вам представилась возможность голосовать на выборах с помощью компьютера через интернет, то согласились бы Вы проголосовать через интернет или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 8. По Вашему мнению, какие преимущества есть у электронного голосования через интернет, в сравнении с другими способами голосования? (закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных, представлены ответы, названные не менее чем 2% опрошенных)



Рисунок 9. А какие недостатки есть у электронного голосования через интернет, в сравнении с другими способами голосования? (закрытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных, представлены ответы, названные не менее чем 2% опрошенных)

БЕЛОРУССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

11 августа 2020 г.

За событиями, происходящими в Белоруссии, следят 72 % россиян, каждый пятый сообщает о внимательном наблюдении за происходящим (18 %). О происходящих событиях россияне чаще говорят как о «выборах президента Белоруссии» в целом, без уточнений (11 %). Также упоминаются массовые беспорядки, митинги, протесты (11 %). Каждый десятый опрошенный описывает происходящее как недовольство белорусского народа действующей властью (10 %) или результатами выборов (7 %). Каждый пятый наш соотечественник считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22 %). О возможных подтасовках «на местах», не влияющих на результаты в целом, высказались 29 % граждан. Практически столько же респондентов (27 %) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще это молодые россияне 18—24 лет (47 %) и 25—34 лет (40 %). Наиболее вероятный прогноз развития событий, по мнению россиян: протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть (59 %), чаще так считают мужчины (64 %), россияне 45—59 лет (63 %) и старше 60 лет (66 %). Практически четверть затруднились оценить вероятный исход протестов (23 %). Абсолютное большинство наших соотечественников считают, что для России в целом важно то, что происходит в Белоруссии (89 %). Почти две трети россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко (64 %). За месяц на 9 п. п. увеличилась доля россиян, оценивающих отношения с Белоруссией как дружественные (26 %).



Рисунок 10. Вы лично интересуетесь сейчас происходящим в Белоруссии или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 11. Охарактеризуйте в двух-трех словах то, что в настоящее время происходит в Белоруссии (открытый вопрос, до трех ответов, % от всех опрошенных, представлены данные от 2% опрошенных)

Таблица 2. Как Вам кажется, в какой мере можно доверять результатам последних президентских выборов в Белоруссии? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

	Все опрошенные	18—24 года	25—34 года	35—44 года	45—59 лет	60 лет и старше
Думаю, что результаты выборов достоверны, соответствуют волеизъявлению избирателей	22	3	20	17	21	33
Какие-то подтасовки на «местах», возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом в Белоруссии	29	26	13	26	37	36
Думаю, что результатам выборов в Белоруссии доверять не следует	27	47	40	32	21	13
Затрудняюсь ответить	22	24	27	25	21	18



Рисунок 12. Для России в целом важно или неважно то, что происходит в Белоруссии? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 13. Как Вы думаете, что больше соответствует интересам России — чтобы в Белоруссии оставался у власти Александр Лукашенко или чтобы к власти в Белоруссии пришла оппозиция? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

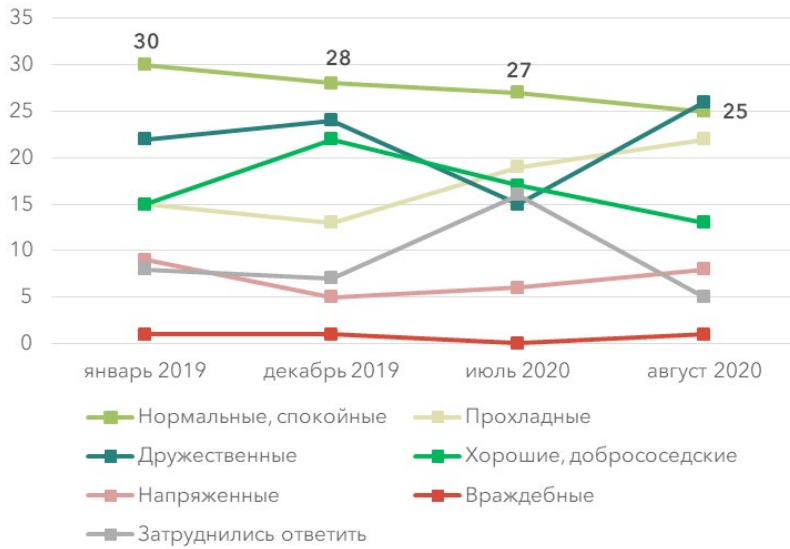


Рисунок 14. Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения России и Белоруссии? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ХВАТАЕТ ЛИ ДО ДНЯ X? 211

РОССИЯНЕ: СТРОИТЬ, А НЕ СЕЯТЬ.....213

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: ХВАТАЕТ ЛИ ДО ДНЯ X?¹

2 июля 2020 г.

Большинство работающих получают заработную плату дважды в месяц (72%). Такой формат выплат чаще отмечают работники бюджетной сферы (87% против 61% в коммерческом секторе). Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый (10%) — постоянно, а 39% работников — очень редко. Чаще остальных на такие ситуации сетуют занятые с низкой самооценкой материального положения. Непредвиденные расходы постоянно случаются у 8% работающих россиян. У большинства подобные ситуации случаются время от времени или очень редко (по 43% соответственно), и чаще встречаются среди тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое.

Таблица 1. Как часто у Вас лично случаются ситуации, когда деньги нужны сегодня, а до зарплаты еще несколько дней или больше: постоянно, время от времени, очень редко или никогда? (закрытый вопрос, один ответ, в % от работающих россиян — 52%)

	В % от работающих россиян (52%)	Самооценка материального положения		
		Очень хорошее, хорошее	Среднее	Очень плохое, плохое
Постоянно	10	6	7	24
Время от времени	33	21	31	48
Очень редко	39	35	45	24
Никогда	17	37	17	4
Затрудняюсь ответить	1	1	0	0

Таблица 2. Как часто у Вас лично случаются ситуации, когда возникают непредвиденные расходы: постоянно, время от времени, очень редко или никогда? (закрытый вопрос, один ответ, в % от работающих россиян — 52%)

	В % от работающих россиян (52%)	Самооценка материального положения		
		Очень хорошее, хорошее	Среднее	Очень плохое, плохое
Постоянно	8	7	5	19
Время от времени	43	27	44	54
Очень редко	43	55	46	23
Никогда	5	11	5	2
Затрудняюсь ответить	1	0	0	2

¹ Опрос проведен по заказу сервиса PayDay. При реализации проекта было использовано экспертное решение ВЦИОМ «Публичное социальное исследование».

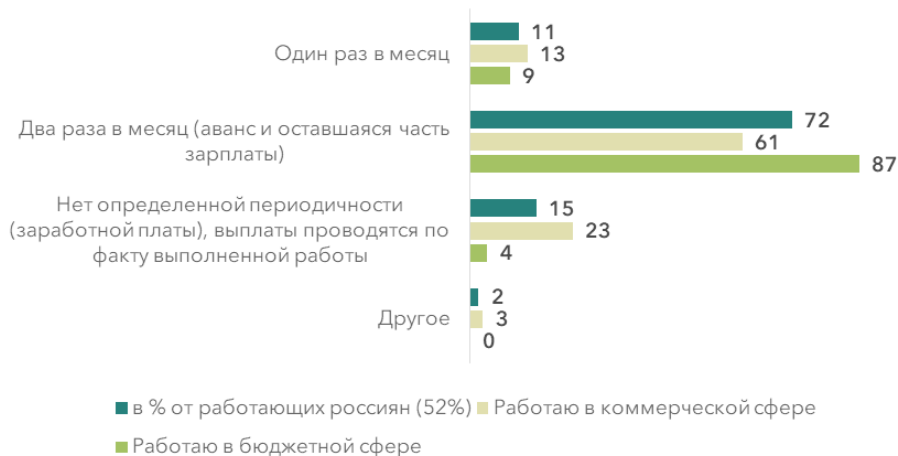


Рисунок 1. С какой периодичностью в последние месяц-два Вы получаете заработную плату? (закрытый вопрос, один ответ, в % от работающих россиян — 52%)

РОССИЯНЕ: СТРОИТЬ, А НЕ СЕЯТЬ

29 июля 2020 г.

33% россиян хотели бы иметь свой земельный участок, чтобы построить дом. Чаще эту цель ставят перед собой жители городов с населением 500—950 тыс. человек (42%). Также хотели бы жить в своем доме представители молодых поколений 18—24 лет (49%) и 25—34 лет (54%). Получать со своей земли продукты хотели бы 27% наших соотечественников. Построить дачу хотели бы 14% россиян, что в два раза больше, чем десять лет назад. Четверть наших граждан не хотят иметь собственный земельный участок (23%).



Рисунок 2. Если бы Вы хотели получить надел земли, то с какой целью? (закрытый вопрос, несколько ответов, % от всех опрошенных)

Таблица 3. Если бы Вы хотели получить надел земли, то с какой целью? (закрытый вопрос, несколько ответов, % от всех опрошенных, 2020 г.)

	Все опрошенные	Москва и Санкт-Петербург	Города-миллионники	500—950 тыс. жителей	100—500 тыс.	Менее 100 тыс.	Сёла
Построить собственный дом	33	35	36	42	36	32	27
Получать продукты для семьи со своего участка	27	26	24	27	30	33	22
Построить дачу	14	22	22	17	17	12	7
Вести самостоятельное крестьянское хозяйство, стать фермером	13	13	8	15	9	12	21

	Все опрошенные	Москва и Санкт- Петербург	Города- миллион- ники	500— 950 тыс. жителей	100— 500 тыс.	Менее 100 тыс.	Сёла
Иметь дополнительный доход от продажи выращенных продуктов	12	9	13	9	10	12	14
Просто люблю работать на земле	11	9	13	10	9	12	12
Другое	6	4	3	5	6	6	9
Не имею определенной цели	4	5	3	2	5	4	5
Нет желания получать земельный надел	23	23	23	20	19	24	25

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАСЧЕТУ, ИЛИ О БРАКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИВЫЧНОЙ СРЕДЫ	215
ПРИСТАВАНИЯ И ХАРАССМЕНТ НА РАБОТЕ: НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ, НО ОСУЖДАЕМ!	221
РУССКИЙ ХАРАКТЕР.....	229

**ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАСЧЕТУ,
ИЛИ О БРАКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИВЫЧНОЙ СРЕДЫ**

5 июля 2020 г.

Наиболее позитивно россияне относятся к бракам своих близких родственников, когда один из партнеров из другого населенного пункта (32%), отличается по уровню доходов (23%) или по образовательному и культурному уровню (22%). Также 22% россиян одобряют браки с теми, у кого есть дети от предыдущих отношений. Неодобрение у россиян чаще всего вызывают ситуации, когда один из супругов исповедует другую религию (30%) или родом из другой страны (22%). Достаточно нейтрально воспринимают несовпадения в уровне дохода или политических взглядах (по 68% соответственно), социально-профессиональном статусе (65%), а также когда один из супругов ранее состоял в браке (63%) или из другого населенного пункта (62%). За последние 10 лет россияне стали менее негативно относиться к браку людей с различным вероисповеданием, с детьми от предыдущего брака и другой национальности или с ранее состоявшими в браке. С 2010 года россияне стали одобрительнее относиться к браку людей, имеющих детей от предыдущих отношений, а также к союзу людей разной национальности. Не произошло значительных изменений за десять лет в восприятии россиян союза людей разных поколений.

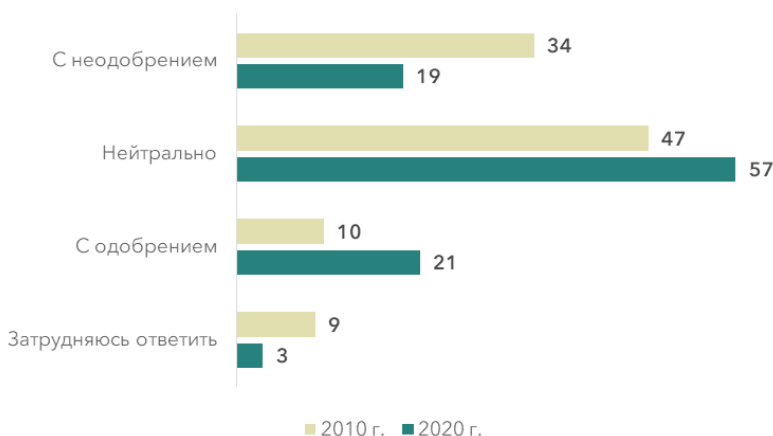


Рисунок 1. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком другой национальности?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

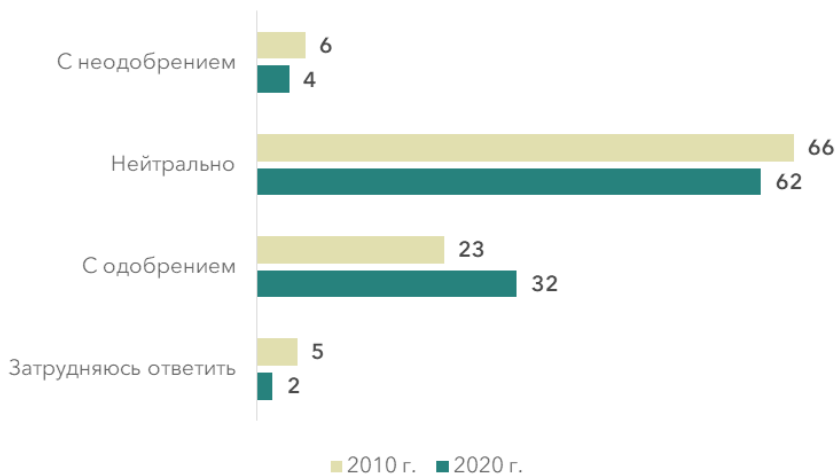


Рисунок 2. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком из другого типа населенного пункта (например, когда один супруг из столицы, крупного города а другой — из села или провинциального города)? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 3. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком из другой страны? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 4. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком другого образовательного и культурного уровня? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 5. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком другой религии? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

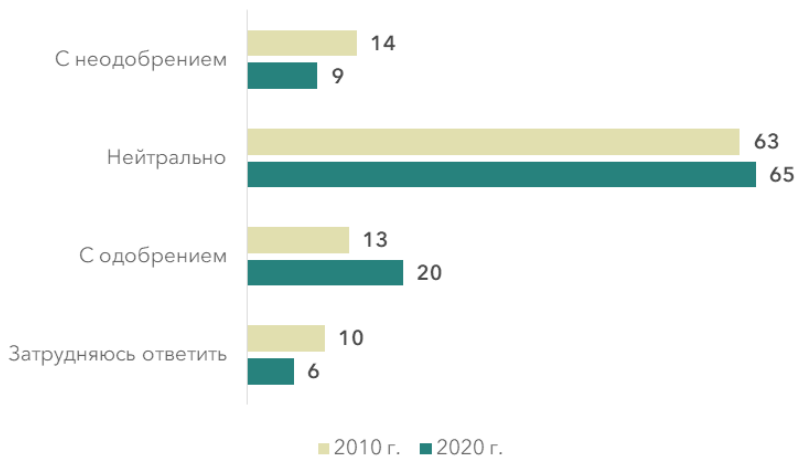


Рисунок 6. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком другого социально-профессионального статуса? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 7. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком другого уровня доходов? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



Рисунок 8. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком, который уже был в браке?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

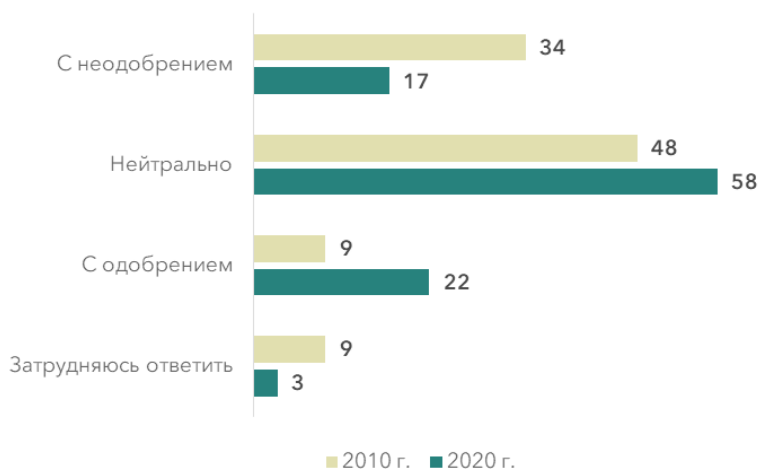


Рисунок 9. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком, у которого есть дети от предыдущих браков?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

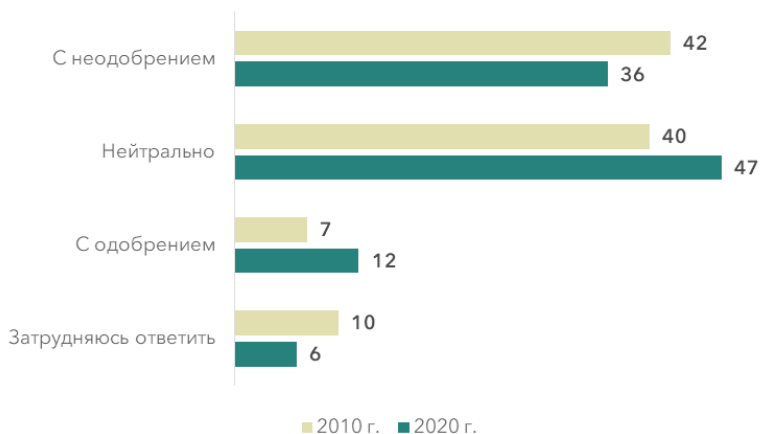


Рисунок 10. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком другого поколения?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

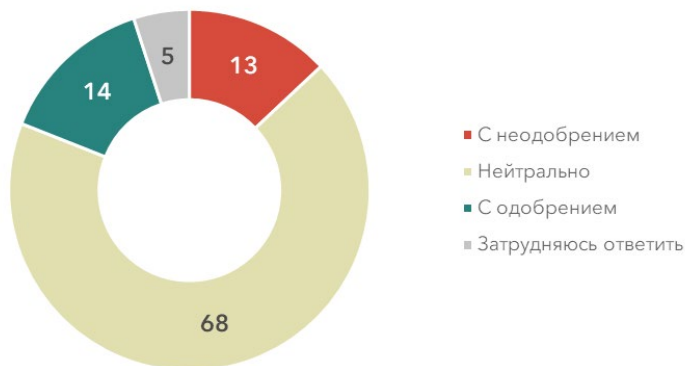


Рисунок 11. Скажите, пожалуйста, как бы Вы отнеслись к тому, что Ваш близкий родственник (дочь, сын, внук) вступил в брак с человеком других политических взглядов?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, 2020 г.)

ПРИСТАВАНИЯ И ХАРАССМЕНТ НА РАБОТЕ: НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ, НО ОСУЖДАЕМ!

29 июля 2020 г.

Большинство россиян не сталкивались ни с какими формами домогательств или угнетением на рабочем месте. Молодежь (18—24 лет) чаще сообщает о том, что сталкивалась с домогательствами в свой адрес, и более чувствительна к таким ситуациям. Сталкиваться с неприличными ремарками или комментариями в свой адрес по поводу внешнего вида доводилось каждому десятому россиянину (12%), в их числе 4% говорят, что в такую ситуацию попадают постоянно или попадали много раз. В той или иной степени оскорбительными подобные ремарки в свой адрес посчитали бы 55% россиян (46% мужчин и 63% женщин). Что касается более серьезных домогательств, абсолютное большинство (87%) никогда в жизни не были в ситуациях принуждения или нежелательного физического контакта на работе. Однако каждый десятый россиянин (9%) сталкивался с предложениями или требованиями сексуального характера на работе. По поводу того, считать или не считать оскорбительным предложение сексуальных отношений и требования сексуального характера в рабочей среде, мнения разделились: одна половина респондентов (45%) не видит в этом оскорбления, а другая считает их оскорбительными. Последнюю позицию чаще занимают женщины и молодежь. Каждому десятому россиянину (9%) доводилось сталкиваться с нежелательными прикосновениями, объятиями или похлопываниями на работе, чаще — самым младшим россиянам 18—24 лет (31%). По мнению 59% россиян, нести ответственность за регулярно совершаемые акты сексуальных домогательств на работе должен агрессор, однако 23% считают, что такого рода действия должны пресекаться работодателями. Мнение же «сама виновата» не распространено среди россиян, его придерживаются 4%.

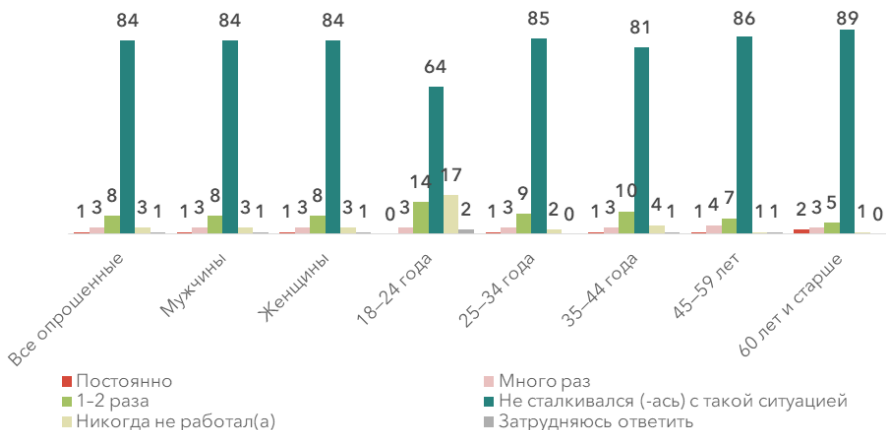


Рисунок 12. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Неприличные ремарки в Ваш адрес и комментарии по поводу внешности, грубые шутки (закрытый вопрос, один ответ, %)

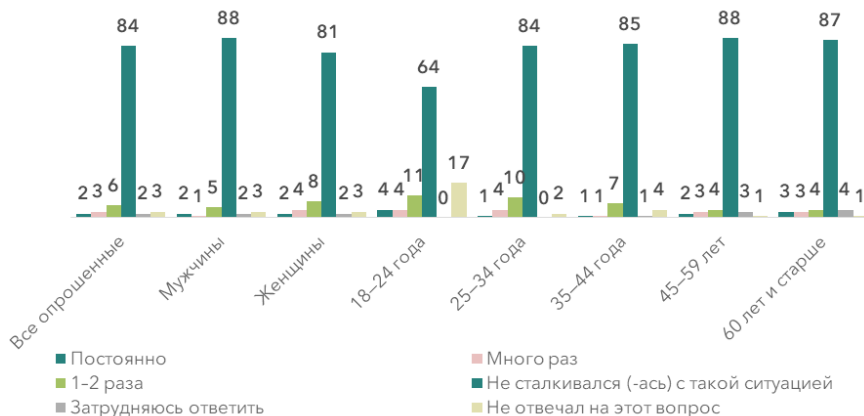


Рисунок 13. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Нескрываемое разглядывание Вашей фигуры (закрытый вопрос, один ответ, %)

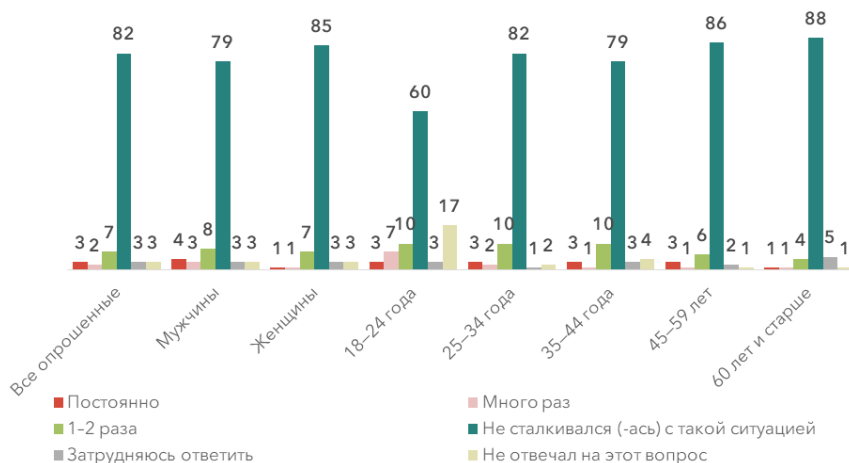


Рисунок 14. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Вопросы и комментарии, касающиеся Вашей интимной жизни (закрытый вопрос, один ответ, %)

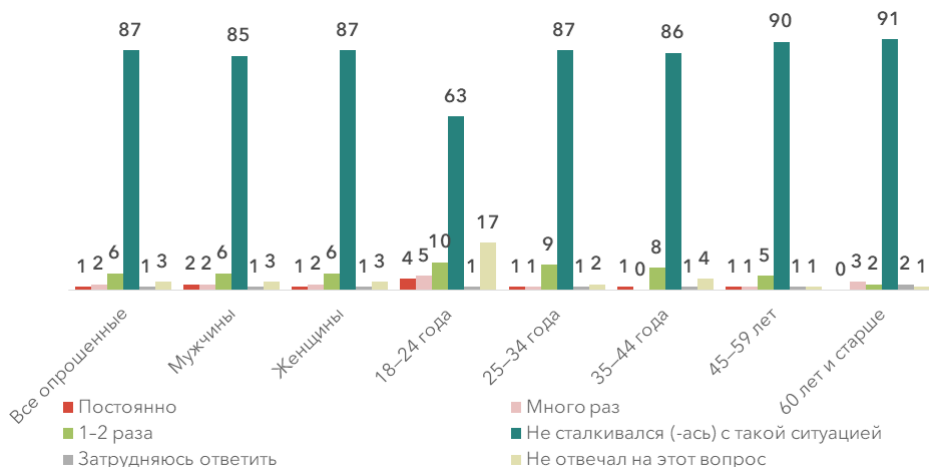


Рисунок 15. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Предложение сексуальных отношений, требования сексуального характера (закрытый вопрос, один ответ, %)

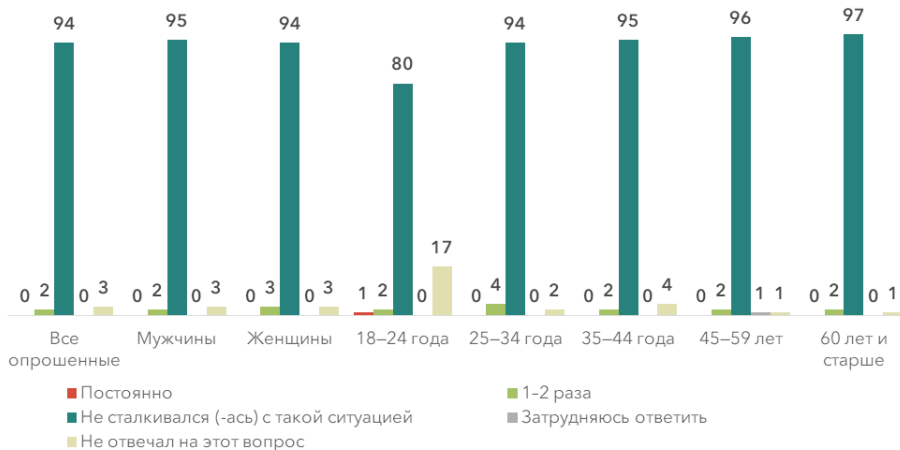


Рисунок 16. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Обещания или угрозы, касающиеся условий работы (приема на работу, продвижения по карьерной лестнице и тому подобного) в обмен на сексуальные услуги (закрытый вопрос, один ответ, %; ответ «Много раз» не был выбран ни одним из респондентов)

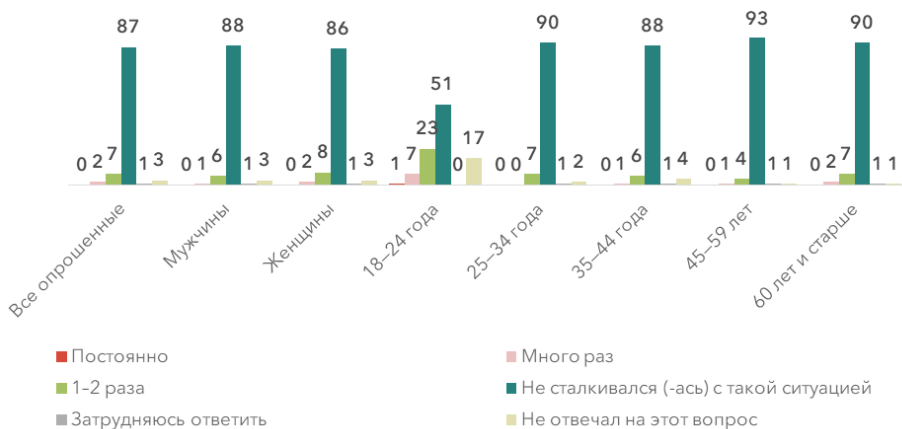
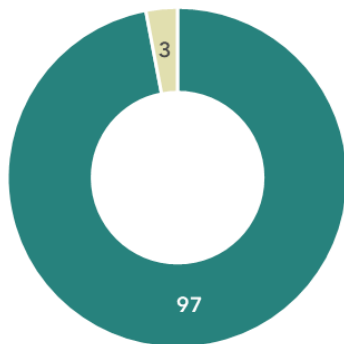


Рисунок 17. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Нежелательные прикосновения, объятия, похлопывания (закрытый вопрос, один ответ, %)



■ Не сталкивался (-ась) с такой ситуацией ■ Не отвечал на этот вопрос

Рисунок 18. Скажите пожалуйста, приходилось ли Вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств НА РАБОТЕ, и если приходилось, то это происходило часто или редко? Изнасилование² (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

² Доля положительных ответов на данный вопрос (вариант ответа «1—2 раза») составила менее 1%.

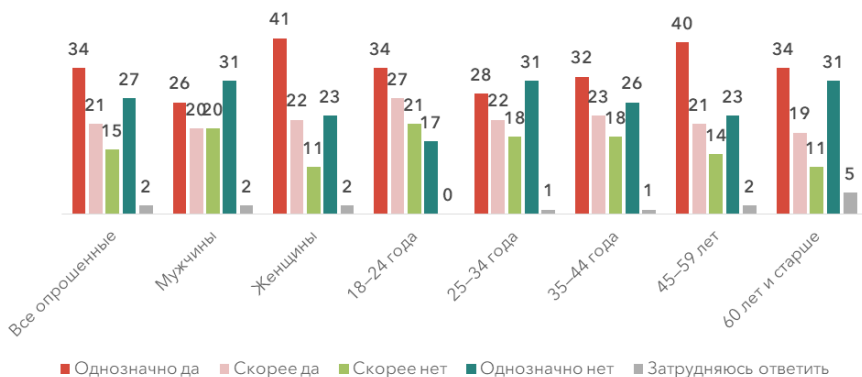


Рисунок 19. Лично Вас оскорбили бы или не оскорбили бы следующие обращенные к Вам действия со стороны сослуживцев или руководства организации, в которой Вы работаете?
Неприличные ремарки в Ваш адрес и комментарии по поводу внешности, грубые шутки (закрытый вопрос, один ответ, %)

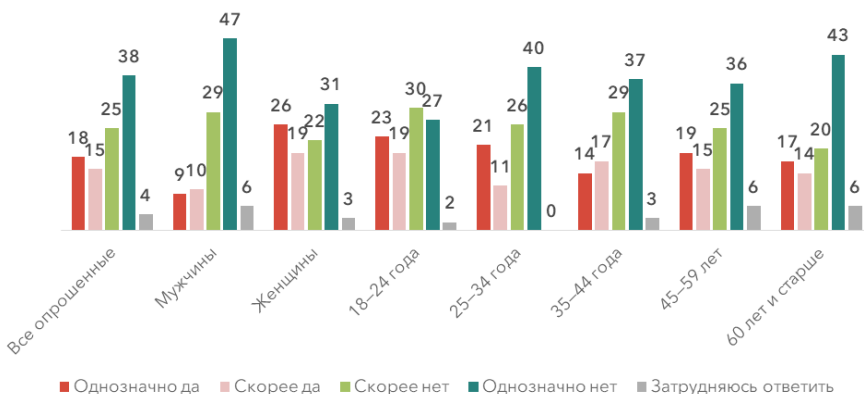


Рисунок 20. Лично Вас оскорбили бы или не оскорбили бы следующие обращенные к Вам действия со стороны сослуживцев или руководства организации, в которой Вы работаете?
Нескрываемое разглядывание Вашей фигуры (закрытый вопрос, один ответ, %)

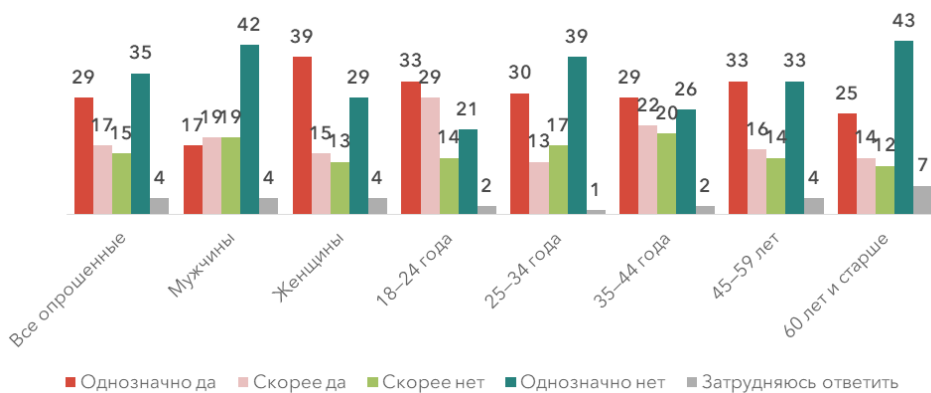


Рисунок 21. Лично Вас оскорбили бы или не оскорбили бы следующие обращения к Вам действия со стороны сослуживцев или руководства организации, в которой Вы работаете?
 Вопросы и комментарии, касающиеся Вашей интимной жизни
 (закрытый вопрос, один ответ, %)

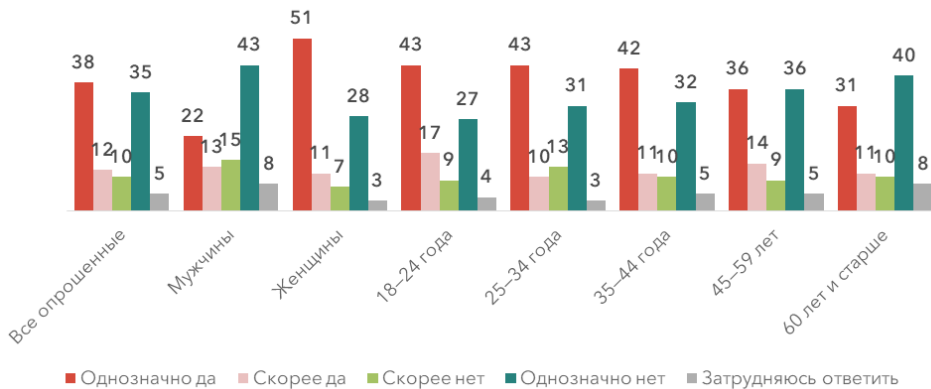


Рисунок 22. Лично Вас оскорбили бы или не оскорбили бы следующие обращения к Вам действия со стороны сослуживцев или руководства организации, в которой Вы работаете?
 Предложение сексуальных отношений, требования сексуального характера
 (закрытый вопрос, один ответ, %)

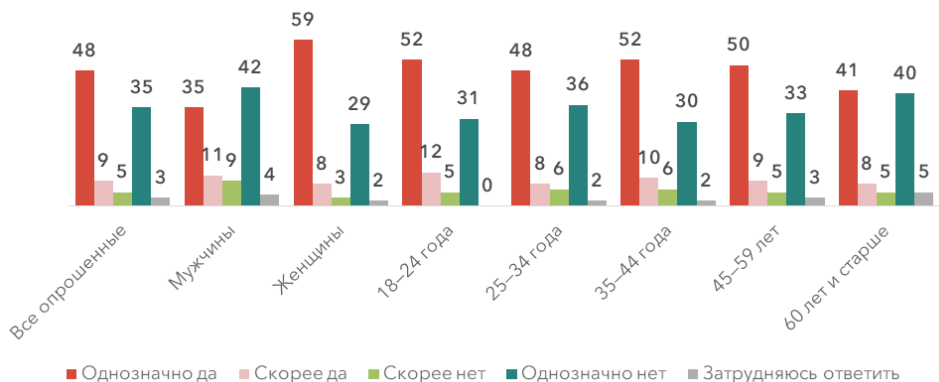


Рисунок 23. Лично Вас оскорбили бы или не оскорбили бы следующие обращенные к Вам действия со стороны сослуживцев или руководства организации, в которой Вы работаете? Обещания или угрозы, касающиеся условий работы (приема на работу, продвижения по карьерной лестнице и тому подобного) в обмен на сексуальные услуги (закрытый вопрос, один ответ, %)

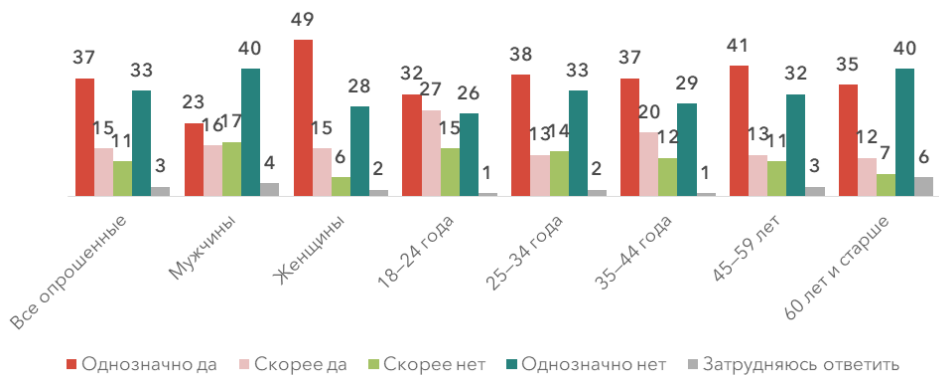


Рисунок 24. Лично Вас оскорбили бы или не оскорбили бы следующие обращенные к Вам действия со стороны сослуживцев или руководства организации, в которой Вы работаете? Нежелательные прикосновения, объятия, похлопывания (закрытый вопрос, один ответ, %)



Рисунок 25. Кто, с Вашей точки зрения, должен прежде всего нести ответственность за действия обидчика, который регулярно совершает акты сексуальных домогательств по отношению к сотрудникам? (закрытый вопрос, один ответ, %)

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

12 августа 2020 г.

Существует ли «русский характер» — набор черт, характерных для большинства русских людей? Более половины россиян (70 %) считают, что существует. Чаще этого мнения придерживаются респонденты в возрасте 35—44 лет (78 %). Говоря о положительных чертах, присущих «русскому характеру», 32 % уверенных в его существовании называют в первую очередь доброту, душевность и эмпатию. Отрицательные качества, которые можно отнести к «русскому характеру», тоже существуют. В первую очередь россияне, которые считают, что «русский характер» существует, называют пристрастие к алкоголю и наркотикам (21 %). Также к негативным чертам наши соотечественники отнесли надежду на «авось», лень, безынициативность, вялость (17 %). Так каких же черт больше в «русском характере» — положительных или отрицательных? Среди признающих существование «русского характера» более половины наших соотечественников (59 %) считают, что положительных черт больше. Чаще так отвечают представители старшего поколения: 45—59 лет и старше 60 лет (по 67 %).



Рисунок 26. Поговорим о русских людях. Как Вы считаете, существует или нет «русский характер», то есть такие черты, которые свойственны большинству русских людей? (закрытый вопрос, один ответ, %)

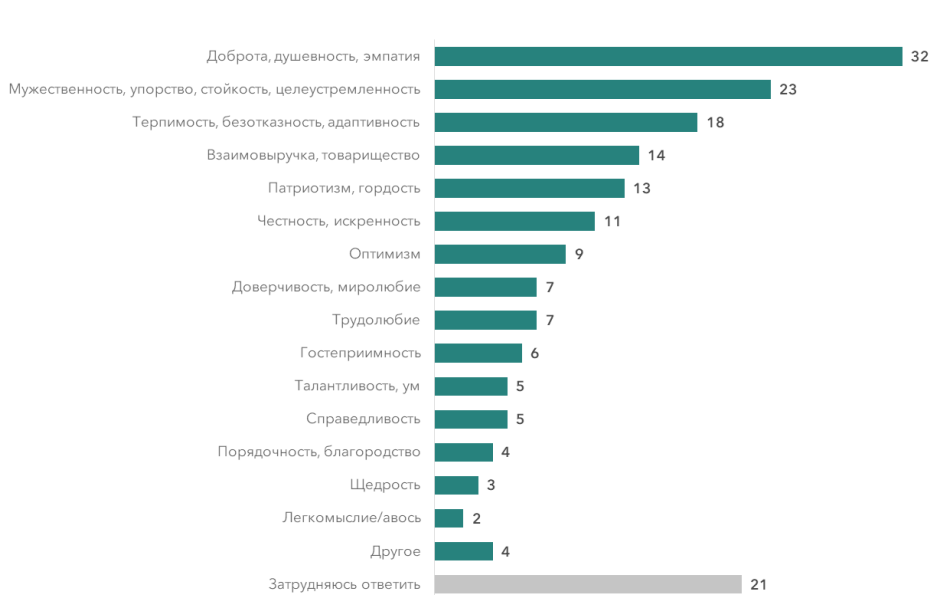


Рисунок 27. Как Вы считаете, какие положительные черты наиболее присущи русскому национальному характеру? Вы можете дать несколько ответов (открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, кто считает, что «русский характер» существует, представлены ответы от 2% респондентов)



Рисунок 28. Как Вы считаете, какие отрицательные черты наиболее присущи русскому национальному характеру? (открытый вопрос, до трех ответов, % от тех, кто считает, что «русский характер» существует, ответы от 2% респондентов)



Рисунок 29. Как Вам кажется, чего больше в «русском характере» — положительных или отрицательных черт?
(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто считает, что «русский характер» существует)

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

Приглашенные редакторы рубрики —
Лариса Шпаковская и Жанна Чернова.

В центре внимания —
(пере)сборка гендера: дискурсы, институты и практики.

Статьи, отобранные для данной рубрики приглашенными редакторами,
публикуются в двух частях, вторая выйдет в № 5 (2020 г.)



GENDER, FAMILY, SEXUALITY: FOLLOWING IGOR S. KON

This section was composed by guest editors
Larisa Shpakovskaya and Zhanna Chernova.

It's main focus is on (re)constructing gender
through discourses, institutions and practices.

The selection of articles is being published in two parts,
the second will be released in No. 5 (2020) of our journal

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.948



О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова

ОТЦОВСТВО И ПОДДЕРЖКА ОТЦОВ: ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Правильная ссылка на статью:

Безрукова О. Н., Самойлова В. А. Отцовство и поддержка отцов: тренды современных зарубежных исследований // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 233—272. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.948>.

For citation:

Bezrukova O. N., Samoylova V. A. (2020) Fatherhood and Support for Fathers: Trends in Modern Foreign Studies. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 233—272. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.948>. (In Russ.)

ОТЦОВСТВО И ПОДДЕРЖКА ОТЦОВ: ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖ- НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БЕЗРУКОВА Ольга Николаевна — кандидат социологических наук, и. о. заведующей кафедры социологии молодежи и молодежной политики факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E-MAIL: onbezrukova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

САМОЙЛОВА Валентина Алексеевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и практики социальной работы факультета социологи, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

E-MAIL: v.samojlova@spbu.ru

<http://orcid.org/0000-0001-5412-0575>

Аннотация. Статья представляет собой анализ зарубежных исследований отцовства, посвященных социальным проблемам и потребностям отцов, препятствиям в становлении идентичности вовлеченного отца и реализации данной модели на практике, направлениям социальной поддержки отцов. Ее актуальность обусловлена недостатком теоретических знаний о феномене отцовства, отсутствием обзорных работ, в которых бы обобщался накопленный опыт исследований поддержки отцовства, развития профилактических мер, программ и социальных услуг, учитывающих потребности и ресурсы разных групп отцов, практически полным отсутствием российских данных об отцах, относящихся к уязвимым группам, переживающим жизненные трудности. Рассматриваются работы, в фокусе которых отцы со-

FATHERHOOD AND SUPPORT FOR FATHERS: TRENDS IN MODERN FOREIGN STUDIES

Olga N. BEZRUKOVA¹ — Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, Acting Head of the Department of Youth Sociology and Youth Policy, Faculty of Sociology

E-MAIL: onbezrukova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Valentina A. SAMOYLOVA¹ — Cand. Sci. (Psychology), Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Social Work, Faculty of Sociology

E-MAIL: v.samojlova@spbu.ru

<http://orcid.org/0000-0001-5412-0575>

¹ Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Abstract. The article analyzes foreign studies devoted to fatherhood, fathers' social problems and needs, barriers to father's involvement and putting this model into practice, and focus areas of social support for fathers. The topic is relevant due to the lack of theoretical knowledge of the fatherhood phenomenon, the absence of overviews which would sum up the vast accumulated experience from research in the area of fatherhood support, preventive programs, social strategies taking into account the needs and resources of diverse groups of fathers, an almost complete lack of information on vulnerable groups of fathers experiencing hardships in Russia. The article examines the works that focus on socially vulnerable groups of fathers: minor, lonely fathers, step-fathers, those having children with disabilities, divorced fathers, transnational migrants, immi-

циально уязвимых групп: несовершеннолетние, одинокие, отчимы, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, разведенные, транснациональные мигранты, иммигранты, с зависимым поведением, правонарушители, заключенные, склонные к домашнему насилию, гомосексуалы и др. Представлены характеристики отцов и их семей, негативно или позитивно влияющие на реализацию отцовской роли. Сделан вывод о том, что дефицит личностных, социальных, финансовых, информационных ресурсов препятствует становлению отцовской роли и затрудняет реализацию отцовского потенциала. Выделены культурные, информационные, экономические, структурные, институциональные барьеры, препятствующие вовлечению отцов в воспитание детей. Показано, что представленные в работах зарубежных авторов программы поддержки отцовства можно объединить в следующие группы: адресованные отцам и ближайшему окружению, социальные услуги и меры структурной поддержки отцов, информационные и онлайн-программы. Установлено, что ключевой задачей специалистов при работе с целевой группой отцов является создание «заботливой» маскулинности и позитивной идентичности ответственного отца: это способствует не только усилению родительской самоэффективности, развитию родительских навыков, но и преодолению отцами жизненных трудностей.

Ключевые слова: отцовство, маскулинность, ответственное отцовство, вовлеченное отцовство, отцы социально-уязвимых групп, социальная поддержка, программы поддержки отцов, семейная политика

grants, those with addictive behavior, delinquents, prisoners, those prone to domestic violence, homosexuals, etc. The paper provides characteristics of fathers and their families which have either negative or positive effects on the implementation of the father's role. The authors conclude that the lack of personal, social, financial, information resources make the implementation of father's potential more difficult. The study describes cultural, information, economic, structural and institutional barriers which prevent fathers from being involved in child rearing. The fatherhood assistance programs presented in the foreign studies can be grouped in the following way: (1) programs aimed at fathers and their nearest circle, (2) social services and structural measures to support fathers, and (3) information and online programs. According to the authors, the key idea addressed to specialists working with the target group of fathers is to create careful masculinity and positive identity of a responsible father: this would strengthen parenting self-efficacy, help develop parenting skills and, more importantly, help fathers overcome hard times.

Keywords: fatherhood, masculinity, responsible fatherhood, involved fatherhood, social support, father support programs, family policy, fathers in vulnerable groups

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-011-00543.

Acknowledgments. The study was funded by the RFBR, project no. 19-011-00543.

Введение

В современном обществе происходит стремительное переосмысление роли отца в жизни детей, традиционные представления о нем как о преимущественно защитнике и кормильце трансформируются в идеологию «вовлеченности» в повседневную заботу и воспитание ребенка. Демократизация социальных отношений ведет к переходу от власти отца к парадигме «отцовского авторитета» [LaRossa, 1997], проявляется в позитивных изменениях в установках и практиках организации семейной жизни, основанных на ценностях равноправия, солидарности и справедливости в распределении обязанностей не только в бытовой сфере, но и в воспитании детей.

Все чаще признается, что отцы играют важную роль в достижении социального, когнитивного, эмоционального и физического благополучия ребенка [Cabrera et al., 2002; Cabrera 2007; Lamb, 2010; Levtoev et al., 2015: 40—44]. Изучение влияния отцов в контексте когнитивного развития показывает, что дети вовлеченных отцов (involved fathers) демонстрируют более высокие интеллектуальные и языковые способности, лучше успевают в учебе [Wilson, Prior, 2011].

По данным исследований, посвященных вкладу отцов в развитие личности ребенка, дети вовлеченных отцов чаще демонстрируют самоконтроль и просоциальное поведение [Parke, 1996], склонны быть более эмоционально уравновешенными, уверенно исследуют окружающую среду, а когда становятся старше, имеют лучшие социальные связи со сверстниками [Lamb, 2002], в школьном возрасте менее подвержены депрессии, реже проявляют разрушительное поведение, легче справляются с напряжением и фрустрацией, чем дети с менее вовлеченными отцами [Mosley, Thompson, 1995]. Изучается также взаимосвязь участия/неучастия отцов в воспитании с формированием отношений привязанности, специфических поведенческих проблем у детей, наличием страхов у подростков, использованием дисциплинарных практик и др. [Burgess, 2006; Laporte et al., 2011; Lamb, Lewis, 2013; Leidy, Schofield, Parke, 2013].

Рассматриваются ролевые модели отца, особенности культурных и национальных контекстов, специфика влияния отцов на дочерей и сыновей [Lamb, 2004; Shwalb, Shwalb, Lamb, 2013; Leidy, Schofield, Parke, 2013; Cabrera et al., 2014; DeGeer, Carolo, Minerson, 2014]. Установлены такие позитивные эффекты вклада отцов — приверженцев эгалитарных отношений в семье, как осознание девочками своих прав и возможностей и выраженность установок гендерного равенства у мальчиков [Levtov et al., 2014], формирование у девочек высокой самооценки и дружеских отношений со сверстниками [Flouri, Buchanan, 2003; Schacht, Cummings, Davies, 2009], успешное преодоление подростковых кризисов, рискованных моделей поведения [Allen, Daly, 2007].

Согласно данным, большинство матерей хотят, чтобы отец принимал более активное участие в семейной жизни и воспитании детей, и лишь немногие отка-

зались бы от его поддержки или заявляли о случаях насилия отца по отношению к ним и детям [Dispelling Myths..., 2000]. Высока потребность в проявлении эмоциональной теплоты, чуткости, равнодушии отцов у детей раннего возраста и подростков, взрослых детей [Fabricius, 2003]. Влияние отцов не заканчивается с детством, подростки, у которых есть поддерживающий отец, заинтересованный в их обучении, имеют лучшие академические достижения и более высокий уровень образования [King, Sobolewski, 2006], меньше проблем с социальной адаптацией, злоупотреблением психоактивными веществами, реже совершают преступления [Sarkadi et al., 2008]. Позитивные последствия для взрослой жизни близких отношений с отцом, когда подросткам было 16 лет, проявились в более высокой удовлетворенности браком и менее выраженном стрессе у молодых людей в возрасте 33 лет [Flouri, Buchanan, 2002].

Вместе с тем фокус внимания специалистов социальных служб, системы здравоохранения, учреждений образования в основном направлен на матерей как «главных» родителей, ответственных за благополучие детей. Отцы по-прежнему остаются в тени, их отсутствие или пассивность не считается важной проблемой [Franck, 2001; O'Donnell, 1999].

Перемены и запрос общества на создание «заботливой» маскулинности не всегда совпадают с осознанием и восприятием самими мужчинами своих проблем, с потребностями отцов в информации и социальных услугах, с соблюдением их прав на здоровье и благополучие, на воспитание детей. Исследования показывают, что отцы нередко рассматривают персонал учреждений здравоохранения, педагогов и социальных работников в качестве фактического барьера для активизации своего участия в жизни семьи, считают их скорее помехой, чем группой поддержки в трудной жизненной ситуации [Docherty, Dimond, 2018].

Вопросы поддержки отцовства, развития профилактических мер, программ и социальных услуг, учитывающих потребности и ресурсы разных групп отцов, актуализируют внимание на недостатке теоретических знаний о феномене отцовства, на практически полном отсутствии российских данных по данным вопросам. В единичных качественных исследованиях в основном изучаются представители среднего класса. В то же время отцы, относящиеся к уязвимым группам, переживающие жизненные трудности, должны быть объектом повышенного внимания исследователей, чтобы специфика их проблем и потребностей была учтена при разработке комплексных гендерно чувствительных социальных услуг.

Цель статьи заключается в анализе зарубежных исследований, посвященных отцовству и практикам отцов. Основные исследовательские задачи включают изучение социальных проблем и потребностей отцов, препятствий и барьеров в становлении их идентичности «хорошего» отца и реализации модели вовлеченного отцовства, направлений и мер поддержки отцов социально уязвимых групп.

Теоретические основания исследований

Теоретическая рамка концептуализации ответственного и вовлеченного отцовства в западном социологическом дискурсе выстраивается в контексте анализа изменений гендерного порядка в современном обществе, проявляющегося в разрушении традиционной системы гендерного разделения труда, сглаживании

дифференциации мужских и женских профессиональных ролей, занятий и сфер деятельности, выравнивании статусных позиций, демократизации социокультурных норм и ожиданий, возникновении многомерности нормативных канонов маскулинности, что приводит к ослаблению нормативной поляризации и формированию более индивидуальных стилей жизни современных мужчин и женщин [Connell, 1995; Levant, 1997; Morgan, 2006; Кон, 2009: 99—104]. Отмечается «беспрецедентность глобальной ломки» гендерного порядка [Кон, 2009: 98], сложность, неравномерность, противоречивость масштабов, темпов и глубины изменений и соответствующих ему образов маскулинности в разных странах, социально-экономических слоях, социально-возрастных группах, типах мужчин [Кон, 2009: 104]. При этом ключевыми агентами, влияющими на трансформацию гендерного порядка, запускающими процесс слома внутренних барьеров традиционного мужского сознания и овладения новыми социальными практиками, выступают женщины [Morgan, 2006: 111—112; Кон, 2009: 103—104].

Подобные тенденции характеризуют и фундаментальные сдвиги в семейных отношениях и социокультурном контексте, в котором развиваются дети (расширенное участие матерей в оплачиваемой работе вне дома, рост числа разводов, семей с одним родителем, более активное участие отцов в воспитании детей, развитие услуг по уходу за детьми, культурное и этническое многообразие семей). Эти сдвиги, с одной стороны, порождают новые функции мужчин в семье, более равноправные отношения и практики отцов и матерей, ранее неизвестные и непривычные новые формы брака, семьи, родительства, с другой — ставят под сомнение универсальную концепцию отцовства. Традиционное отцовство подвергается эрозии, инструментальная роль отца в семье — кормильца, наставника, носителя власти, силы, дисциплинатора — как преобладающая конструкция отцовства в XXI веке меняется, происходит переосмысление и научная концептуализация новых моделей отцовства [LaRossa, 1997; Doherty, Kouneski, Erickson, 1998; Cabrera et al., 2002; Coltrane, 2004; Lengersdorf, Meuser, 2016 etc.]. Социальные изменения приводят к коррекции общественных идеалов, возникает запрос на рефлексивность, сензитивность, эмоциональную заботу отцов, получают распространение нетрадиционные формы отцовства (одинокие, приемные, разведенные, дистантные, гомосексуальные, транснациональные и др. отцы). Результаты исследований со всей очевидностью показывают, что теоретические модели воспитания детей должны быть переформулированы, чтобы приспособиться к новым семейным структурам, а также культурно разнообразным представлениям об отцовстве [Cabrera et al., 2002].

В зарубежной научной литературе отцовство (fatherhood) понимается, с одной стороны, как социальный институт, система прав, обязанностей, социальных ожиданий и требований, предъявляемых к мужчине как родителю и коренящихся в нормативной системе культуры; с другой — как индивидуальная и рефлексивная социальная практика (fathering), комплексное и разнонаправленное явление, сложный феномен, включающий множество компонентов и подвергающийся различным факторам воздействия [LaRossa, 1997; Doherty, Kouneski, Erickson, 1998; Coltrane, 2004; Plantin, Olukoya, Ny, 2011].

В фокусе исследователей — вопрос о том, как отцы из разных групп строят свою мужскую идентичность. При этом маскулинность в контексте критических

исследований мужчин рассматривается как понятие, обозначающее социально сконструированные ожидания, касающиеся поведения, переживаний, стиля социального взаимодействия, соответствующего мужчинам, представленные в определенной культуре и субкультуре в определенное время [Connell, 1995; Бёрд, 2008]. Несмотря на то, что модель вовлеченного отца не анализируется в концепции Р. Коннелл [Connell, 1995], исследовательская оптика изучения гегемонной маскулинности позволяет оценить социальные изменения в ортодоксальной мужской идентичности, становление «заботливой» маскулинности, «новой культуры» отцовства и развитие недоминантных маскулинностей [Pleck, 1987; LaRossa, 1988; Lengersdorf, Meuser, 2016; Ruby, Scholz, 2018 etc.].

Ключевым теоретическим подходом при изучении отцовства в контексте маскулинности выступает идентификация множественности маскулинностей и соответственно моделей, сценариев и траекторий отцовства [LaRossa, 1988; Connell, 1995; Marsiglio, 2009; Кон, 2009]. Рассмотрение структуры факторов становления отцовства, процесса вовлеченности в родительскую роль, анализ принятия родительской роли — важный этап в научном осмыслении феномена отцовства и развития помогающей практики [Doherty, Kouneski, Erickson, 1998; Gillies, 2009; Chan, Adler-Baeder, 2019]. Многоликий ландшафт отцовства чаще раскрывается в противостоящих друг другу позитивных и негативных образах. Общая тенденция состоит в рассмотрении современной мужественности как континуума от проблематичной, кризисной или маргинальной до развивающейся, генеративной и продуктивной.

Главным подходом при анализе гендерного порядка современности в контексте критических исследований мужчин и маскулинности исследователи считают логику интерсекционального анализа [Здравомыслова, Тёмкина, 2018: 52], позволяющего объяснить «кризис маскулинности» как проблематизацию мужского опыта» и предполагающего «диагностику проблем мужского бытия в контексте издержек мужской гегемонии, непредвиденных и явных последствий жестко определяемой доминирующей роли и отвержения всех и всего, что с ней не согласуется» [там же: 63]. Поскольку в латентной зоне остаются рискованные, нерелевантные, неуловимые и совершенно невидимые отцы из труднодоступных и социально уязвимых групп, логика интерсекционального подхода позволяет вскрыть закономерности и объяснительные модели обладания властью, дивидендами или, напротив, отсутствие жизненных шансов, ресурсов, привилегий.

Теоретическая рамка интерсекционального анализа дает возможность «увидеть», по словам Е. Здравомысловой и А. Тёмкиной, «комплексное взаимообусловливание множественных систем неравенства» и «то, как формируются разные типы маскулинности и связанные с ними привилегии. Одни позиции обеспечивают мужчинам, которые их занимают, власть и ресурсы, другие — маргинализуются и подвергаются исключению. При этом властный потенциал мужской позиции определяется такими социальными параметрами, как принадлежность к классу, этничность, расовая категория, сексуальная идентичность» [там же: 53—54].

Другой методологический подход — отцы и отдельные траектории отцовства рассматриваются в контексте дискурса о гендерном равенстве, изменении социальной роли женщин, общественных дискуссий о правах и интересах детей, конфигурации семейной политики, при этом структурные, культурные и соци-

альные изменения способствуют преобразованию семей, развитию отцовских практик, продвижению новых услуг для отцов [Hobson, Lewis, Siim, 2002; Kalmijn, 2015; Andreasson, Johansson, 2019]. В рамках социальных, институциональных, политических и законодательных основ исследователи предлагают опираться на понимание потребностей и проблем уязвимых отцов, развивать семейные, дружеские и профессиональные сети поддержки в контексте социальной работы с семьями [Walker, 2010; Hussey, Kanjilal, Nathan, 2016].

Проблемы отцов из социально уязвимых групп

Важным направлением современных западных социологических исследований отцовства является рассмотрение проблем отцов за пределами нуклеарной семьи, смещение фокуса при анализе отцовства с нормативной модели семьи на разнообразие семейных структур и практик [Kennedy, Fitch, 2012; Perelli-Harris et al., 2012; Musick, Michelmore, 2014].

Изучаются специфические условия формирования отцовской идентичности в семьях повторного брака, в которых отцы проживают вместе с родными и/или неродными детьми [Lippman, Wilcox, Ryberg, 2013]; ситуации, приводящие к напряженности и спутанности ролей, восприятие папы ребенком, примеры заботливого и ответственного поведения приемных родителей [Rosenberg, Wilcox, 2006] или, напротив, проявлений насилия со стороны неродных отцов (отчимов) (stepfathers), которых исследователи чаще оценивают как более склонных к разным видам насилия по отношению к детям [Brown et al., 1998; Taylor et al., 2010].

Особой группой отцов для исследователей выступают так называемые *подпольные отцы* (underground fathers), или *теньевые отцы* (shadow fathers) — мужчины, которые проявляют заботу о детях, но отказываются участвовать в качестве отцов в формальных семейных структурах [Brown et al., 1998; Loppo, DeLeire, 2014; Ewart-Boyle, Manktelow, McColgan, 2015].

Большую и разнородную группу составляют *отцы детей с ограниченными возможностями здоровья* (fathers of children with disabilities), в то же время есть и специфические объединяющие моменты, в частности при рождении ребенка с нарушениями здоровья эта специфика проявляется в остроте переживаний, сложной гамме чувств, которая, наряду с радостью, включает разочарование, боль, страх. Острая эмоциональная реакция на ситуацию ограничивает способность отца признать или понять болезнь ребенка и заботиться о нем, приводит к иррациональным решениям «исправить это», к выбору стратегий ухода от проблемы, отчуждению и неучастию [Falk, Norris, Quinn, 2014; Rankin et al., 2019 etc.].

Актуализируются потребности отцов в нахождении ресурсов, позволяющих им справляться с трудной ситуацией и поддерживать своих детей с особенностями развития, в частности детей с синдромом Дауна [DeFalco et al., 2008; Docherty, Dimond, 2018]. Несмотря на повышение отцовского участия в уходе за детьми в последнее время, поддержка отцов чаще рассматривается как «вторичная», и пока мало известно о ее характере, разнообразии и воздействии на благополучие детей-инвалидов и семьи в целом, предпринимаются лишь отдельные попытки типологизации участия отцов и описания более полной картины внутрисемейного взаимодействия [West, Honey, 2016].

Для этих отцов остро стоит вопрос интеграции семьи и работы [Sellmaier, 2019], им приходится менять модели работы и рабочие часы, становиться самозанятыми и др. [Venter, 2011]. В то же время выгоды, полученные, например, в результате корректировки рабочего графика, могут быть нивелированы последствиями «стигмы гибкости» — негативным отношением к мужчинам-работникам, не соответствующим традиционным гендерным ожиданиям [Berdahl, Moon, 2013].

Экономические условия рассматриваются исследователями в качестве факторов формирования отцовского поведения: низкий уровень доходов, как правило, коррелирует с низкой вовлеченностью отцов в заботу о детях. Б. Кноп и К. Брюстер, используя данные мужчин-респондентов из национального обследования развития семьи 2012—2015 гг., показали, что в период экономической рецессии доля вовлеченных в уход отцов резко упала, но стала восстанавливаться в последующие годы [Кноп, Brewster, 2016].

Отцы-подростки и молодые отцы (adolescent and young fathers) с низким уровнем образования и дохода, статусом безработного или временно занятого, с высоким риском отказа от поддержки матери и новорожденного изучаются в контексте правонарушений и преступного поведения [Pears et al., 2005], развода родителей, домашнего насилия, которому они подвергались в раннем детстве, несформированности позитивных представлений о роли отца [Tan, Quinlivan, 2006], дискриминации со стороны сотрудников системы здравоохранения, образования и социальных служб [Bunting, McAuley, 2004]. Исследования показывают, что *юные отцы* часто не справляются с личностными кризисами и стрессами [Cundy, 2016], трудными отношениями/конфликтами с бабушками и дедушками, со своими детьми [Neale, Lau-Clayton, 2014], испытывают потребность в формировании идентичности «хорошего отца» и отцовской ответственности [Lemay et al., 2010], нуждаются в юридической и психологической поддержке при выстраивании отношений с матерью и ребенком [Cundy, 2016].

Отцы-правонарушители (offender fathers), *отцы-заключенные* (incarcerated fathers) или освободившиеся из мест заключения рассматриваются исследователями в контексте дефицитной модели отцовства, стигматизации родственниками/матерями, которые ограничивают их возможности проявить отцовство, провоцируя избегание контактов, пренебрежительное отношение, недоступность семейной поддержки [Arditti, Smock, Parkman, 2005: 270]. Отцы часто чувствуют себя покинутыми и беспомощными по отношению к своим детям, что порождает у них подавленность и депрессию [Clarke et al., 2005], блокирует эффективное родительское поведение [Gadsden, Rethemeyer, 2003].

История семейного воспитания этих отцов описывается ими как сложная и непредсказуемая, большинство выросли в неблагополучных семьях, с «отсутствующими» отцами, в том числе с находящимися в тюрьмах [Dallaire, 2007], в семьях одиноких матерей или приемных, конфликтующих между собой родителей, в государственных учреждениях, жили в условиях бедности, отсутствия социальной поддержки, стабильных отношений с окружающими [Buston et al., 2012]. В своей семье они пережили опыт физического насилия и пренебрежительного отношения, не получили хорошего воспитания и образования [Coley, Hernandez, 2006; Hofferth et al., 2002; Swisher, Waller, 2008; Wilderman, 2010].

Разведенные отцы (non-resident fathers) в европейских странах все еще являются недостаточно изученной группой, а значительная часть посвященных им исследований проведена в США [Scott et al., 2013]. По сравнению с состоящими в браке, американские разведенные мужчины, как правило, сообщают о более низких доходах и недостаточном благосостоянии домохозяйств [Zhang, Hayward, 2006], худшем физическом и эмоциональном состоянии [Eggebeen, Knoester, 2001]. В других исследованиях выявлено, что в процессе и после развода мужчины часто находятся в состоянии кризиса, что влечет за собой ухудшение здоровья, возрастание риска маргинализации и одиночества [DeGarmo et al., 2010].

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что *отцы-нерезиденты* составляют разнородную группу по своим социально-демографическим, экономическим и семейным характеристикам, по характеру связей со своими детьми. Выделено четыре группы: «вовлеченные» (engaged fathers), «менее вовлеченные» (less engaged fathers), «отстраненные» (disengaged fathers) и «отдаленные» отцы (less engaged fathers) [Poole et al., 2016: 241—242]. Степень участия в жизни детей взаимосвязана с ресурсами, которые отцы могут им передавать, а позднее оказывает влияние на поддержку взрослыми детьми своих стареющих отцов [Daatland, 2007; Kalmijn, 2007; Lin, 2008; Seltzer, Bianchi 2013]. Одни *разведенные отцы* (non-resident fathers) поддерживают частые контакты и являются влиятельными фигурами в жизни ребенка, другие теряют контакт или вступают в повторный брак и переносят свои ресурсы в новую семью [Manning, Smock 1999; Cheadle, Amato, King, 2010].

Большинство авторов, изучая отношения отцов с детьми после развода, сосредоточили внимание на таких факторах, как возраст ребенка при разводе, договоренности родителей об опеке, смена места жительства и работы отца [Aquilino, 2006]; другие исследовали влияние на развод социального контекста, культурного климата, институциональных и неформальных норм, уровня экономического развития страны [Kalmijn, 2008], периода времени/исторического этапа, в который происходит развод [Albertini, Garriga, 2011], этнической или расовой группы, к которой принадлежат родители [Kalmijn 2010; King, Harris, Heard, 2004]. По данным сравнения в четырех странах (Англии, Германии, Швеции и Нидерландах), самые благоприятные отношения у детей с отцом после развода в Швеции, что во многом связано с более частым совместным воспитанием детей родителями, а наименее благоприятные — в Германии, по крайней мере с точки зрения частоты еженедельных контактов [Kalmijn, 2015: 271]. Исследование контактов с отцом среди взрослых детей в десяти европейских странах выявило сходную закономерность: более сильные негативные последствия развода для контакта отца и ребенка обнаружены в странах с менее выраженной эгалитарной семейной политикой [Kalmijn, 2008].

В североамериканских и английских исследованиях было установлено, что возраст [Manning, Stewart, Smock, 2003], доход [Swiss, LeBourdais, 2009; Naux, Plat, Rosenberg, 2015], профессиональный статус и занятость [Kalmijn, 2015], религиозность [King, 2003] позитивно влияют на связи разведенного отца со своим ребенком. По сравнению с отцами, которые никогда не были женаты на матери ребенка, разведенные отцы, как правило, чаще общаются со своими детьми

[Amato, Meyers, Emery, 2009]. Чем образованнее отцы, тем активнее они участвуют в воспитании детей [Cheadle, Amato, King, 2010; Hook, Wolfe, 2012].

Существует положительная связь между финансовой поддержкой детей и контактами с ними [Amato, Meyers, Emery, 2009; Cheadle, Amato, King, 2010], когда у отцов мало финансовых ресурсов, они с меньшей вероятностью будут платить алименты, что может ограничивать их участие в жизни ребенка [Arditti, Keith, 1993; Hofferth, Forry, Peters, 2010; Kalmijn, 2015]. Так иммигранты, как правило, имеют небольшие заработки, у них в среднем более низкий уровень образования, они чаще являются безработными [Heath, Rothon, Kilpi, 2008; van Tubergen, Maas, Flap, 2004].

В исследовании М. Калмийна обнаружено, что большинство *отцов-иммигрантов* меньше вовлечены в воспитание детей во время брака, и после развода их связи с детьми слабее. В зоне риска находятся дети из смешанных браков, в которых *отец иностранец*, что чаще приводит к потере контакта с детьми после развода и переезда отца в другую страну [Kalmijn, 2015: 270—272]. В то же время отцы-иммигранты во втором поколении более восприимчивы к современным гендерным ролям в семье, более терпимы к разводу, чаще поддерживают своих детей после развода [De Graaf et al., 2011].

Общение с обоими родителями крайне важно для психоэмоционального благополучия ребенка [Bergström et al., 2014]. Метаанализ 40 исследований показал, что дети, которые проводили 35 % и более времени с каждым родителем, имели более устойчивые показатели эмоционального благополучия и более дружеские отношения с разведенными родителями, чем те, кто жил в основном со своими матерями и проводил мало времени с отцами [Nielsen, 2014].

Данные британских обследований, объединяющие отчеты матерей в пяти волнах когортного исследования, показали, что восемь из десяти детей находились в контакте со своим отцом после развода родителей [Haux, Platt, Rosenberg, 2015]. Если в 1980-х годах только у 1 % шведских детей родители имели совместную опеку после развода и проживали в равной мере с каждым из родителей, то в начале 2000-х годов этот показатель составил 20 %, а в 2014 г. увеличился до 35 % [Demographic Reports, 2014].

Более тесные связи между отцами и детьми могут быть отражением изменившегося международного ландшафта отцовства, в котором отцы последовательно строят более равноправный сценарий, стремясь в большей степени оставаться в жизни своих детей [Miller, 2011]. Одна из причин, по которой развивается вовлеченное отцовство после развода, — это нежелание повторять собственный опыт жизни с одним родителем [Bradshaw et al., 1999].

Хотя, как и прежде, среди родителей-одиночек подавляющее большинство составляют матери, постепенно растет количество *одиноких отцов* (single fathers), которые выступают основными опекунами своих детей [Lee, Hofferth, 2017]. Одна из тем немногочисленных исследований, посвященных таким семьям, — это содержание и специфика родительских функций отцов по сравнению с матерями. Анализ четырех категорий, выделенных в деятельности по уходу за ребенком (рутинный уход, игры, управление и обучение), показал, что одинокие отцы посвящают значительно меньше времени уходу за детьми, чем одинокие матери (сред-

нее время отцов составляет 54 минуты, матерей — 1 час 39 минут), затрачивая значительно меньше времени во всех видах деятельности по уходу за ребенком, чем матери, кроме игр [ibidem]. Эти данные подтверждают более ранние исследования [Dufur et al., 2010; Hook, Chalasani, 2008] и укладываются в гендерную парадигму, согласно которой женщины и мужчины ведут себя в соответствии с социальными ожиданиями и нормами в отношении своего пола. В результате поддерживаются различия, которые считаются естественными и закономерными, и правомерно и в будущем ожидать, что одинокие отцы будут проявлять меньше участия по сравнению с матерями в большинстве мероприятий по уходу за детьми, что создает определенные риски для благополучия их детей. В то же время отмечается, что структурные характеристики ближайшего окружения влияют на баланс родительских функций, гендерные различия в общем времени ухода за детьми смягчаются, если рядом с отцом и ребенком живут родственницы, напротив, в семьях, включающих партнера отца, дефицит времени на общение с ребенком может увеличиваться [Lee, Hofferth, 2017].

В любом случае на отце лежит основная ответственность отца за воспитание, и его участие и вовлеченность становятся необходимыми условиями передачи ребенку ресурсов социального капитала. В исследовании С. Демута и С. Браун подростки сообщали о более высоком уровне участия одинокого отца, чем подростки из семей с женатыми биологическими отцами или с отчимами, тем не менее, уровни вовлеченности, надзора, мониторинга и близости с детьми одиноких отцов-опекунов ниже, чем у матерей-опекунов. Семьи с одним отцом не отличались от семей с двумя родителями по уровню образования отцов, они менее уязвимы с точки зрения социально-экономических ресурсов, чем одинокие матери [Demuth, Brown, 2004]. Экономические преимущества позволяют детям из этих семей получать больше ресурсов для интеллектуального развития, что подтверждает более высокие результаты тестов [Dufur et al., 2010]. В то же время по уровню финансовых и материальных ресурсов такие семьи все же уступают полным семьям [Bronte-Tinkew, Scott, Lilja, 2010]. Более образованные отцы часто больше связаны со своими детьми, а наличие же необразованного отца-одиночки ограничивает способность детей генерировать человеческий капитал [Donati, Prandini, 2007] и снижает возможности их успешной социальной адаптации во время перехода к взрослой жизни.

Исследования семейной социальной среды показывают, что одинокие отцы-опекуны реже используют авторитетные методы воспитания, а чаще придерживаются стратегий вседозволенности и невмешательства. Данные свидетельствуют о том, что у подростков из таких семей более высокий уровень изолированности, чем у детей из полных семей [Bronte-Tinkew, Scott, Lilja, 2010]. Из исследований следует вывод, что одиноким отцам может не хватать ресурсов, в том числе социальной поддержки, чтобы полноценно справляться с родительскими ролями и обеспечивать благополучие детей, причем наиболее заметный дефицит касается их воспитательской компетентности.

В западном обществе все более распространенным становится мнение, что родительство не является исключительной привилегией гетеросексуальности. В последние годы во многих странах были приняты соответствующие законы,

касающиеся однополых браков и прав на усыновление. В США, по разным оценкам, от 2 до 3,7 миллиона детей в возрасте до 18 лет могут иметь родителей ЛГБТ, и около 200 000 воспитываются однополыми парами — матерями и *отцами-гомосексуалами* (gay fathers) [Gates, 2015].

Можно выделить два основных исследовательских вопроса, которые прослеживаются в публикациях, посвященных нетрадиционным семьям: *как партнеры становятся родителями и какие они родители для своих детей*. При этом следует отметить, что хотя количество исследований, посвященных «отцовским» семьям, с каждым десятилетием возрастает, их все-таки гораздо меньше по сравнению с «материнскими».

Вопрос «*быть или не быть?*» родителями в однополых семьях решается под воздействием факторов различной природы — социально-демографических, личностных, социальной поддержки и др. [Gato et al., 2017]. Мужчины в большей степени ощущают давление предубеждений против их отцовства со стороны общества, в том числе основанных на подозрении их в педофилии и предположении, что они воспитают детей-геев; неустойчивая родительская мотивация у тех, кто испытывал гомофобию, связана с опасениями, что и дети столкнутся с преследованием, начиная уже со школьного возраста [Gates, 2015]. Поворотным пунктом для формирования их родительских траекторий становятся встречи и установление дружеских отношений с однополыми семьями с детьми, и под воздействием общения с ними мужчина все больше осознает собственное желание стать родителем и встретить партнера, который мотивирован так же [Goldberg, Downing, Moyer, 2012].

Однополые пары становятся родителями тремя основными способами: в результате гетеросексуальных отношений одного из партнеров (как правило, более ранних), принимая ребенка на воспитание и с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. В последние годы все большее число семей геев с детьми создается благодаря приемному родительству. Исследователи отмечают, что процесс отбора приемных родителей для однополых пар особенно строг, кроме того, агентства по усыновлению склонны помещать в семьи с однополыми родителями детей из самых сложных социальных условий и с наиболее сложным поведением [Golombok et al., 2014]. Помимо стрессовых факторов, с которыми обычно сталкиваются приемные родители, «нетрадиционные» отцы могут испытывать стигму в отношении своей сексуальной идентичности, что приводит к повышенному уровню родительского стресса у тех, кто особенно чувствителен к такой стигме.

Несмотря на либерализацию семейных норм, гомосексуальное родительство по-прежнему подвергается сомнению, и предполагаемый риск связывается с тем, что на карту поставлено психосоциальное здоровье детей. Исследования, посвященные самочувствию и развитию детей с родителями-геями, свидетельствуют о том, что и родители и дети в таких семьях функционируют достаточно хорошо. Согласно данным М. Розенфельда, по уровню своих академических достижений, социальной компетентности, качеству отношений со сверстниками эти дети не имеют принципиальных отличий от детей гетеросексуальных родителей [Rosenfeld, 2010], в то же время результаты оценки психоземotionalного здоровья детей с родителями-геями в настоящее время недостаточны, чтобы делать определенные выводы.

Результаты показывают, что более высокий уровень детско-родительской привязанности не зависит от сексуальной ориентации приемного родителя, привязанность подростков к родителям взаимосвязана с их удовлетворенностью жизнью, а у родителей — с качеством отношений с приемным ребенком [Erich et al., 2009]. Согласно исследованию Сьюзен Голомбок с соавторами, отцы-геи демонстрировали более высокий уровень теплоты, эмоциональной отзывчивости, более тесное взаимодействие и более низкий уровень «дисциплинарной» агрессии по сравнению с гетеросексуальными родителями. Полученные данные свидетельствуют, что гомосексуальные отцы хорошо справляются с проблемами детей, которые раньше жили в неблагоприятных условиях, при этом мужчины могут быть столь же компетентны в воспитании детей, как и женщины, а отсутствие родителя женского пола не обязательно имеет неблагоприятные последствия для адаптации ребенка [Golombok et al., 2014].

Исследователи полагают, что гомосексуалисты стремятся соответствовать высоким требованиям к самим себе как к родителям, учитывая трудности, с которыми они сталкиваются при усыновлении детей, и стараются доказать свою успешность в этой роли в ответ на стигму, которую испытывают со стороны внешнего мира. Поскольку им приходится прикладывать больше усилий на пути к родительству, те, кто ими становятся, способны обеспечить высоко позитивную родительскую среду для своих приемных детей, в среднем они более «преданы» родительству и готовы к этой тяжелой работе, чем их гетеросексуальные сверстники, что благоприятно отражается на их детях [Rosenfeld, 2010; Golombok et al., 2014].

Несмотря на определенное сходство выводов, исследования гомосексуальных семей имеют ряд ограничений, таких как небольшое количество респондентов, перекосы по критерию образованности и материальной обеспеченности, зависимость от субъективизма родительских отчетов (и отсутствие независимых оценок), измерения актуальной ситуации, сложившейся в момент исследования, в то время как проблемное поведение может усиливаться по мере взросления детей [Goldberg, Smith, 2013]. Большинство исследований сфокусировано на настоящем — что происходит внутри семьи, когда дети все еще находятся под родительской опекой, и отражают результаты, о которых сообщают взрослые: о разделении труда между родителями, моделях повседневного взаимодействия, гендерных ролях, эмоциональной близости родителей и детей, методах дисциплинирования. Хотя такую информацию важно изучать, это означает, что гораздо больше известно о сегодняшнем опыте родителей в семьях с детьми, чем о молодых людях, которые уже прошли через свое детство и могут говорить сами за себя [Regnerus, 2012]. Учитывая, что гомосексуальные семьи в общественном сознании — тема весьма неоднозначная, потребность в понимании, к каким последствиям воспитание в таких семьях приведет, вполне обоснованно.

Сравнение по 40 показателям, проведенное в исследовании The New Family Structures Study (NFSS), с общим количеством участников 3000 человек, из них 175 — взрослые дети из «женских» семей, 73 — из «мужских», показало сложную картину различий, большая часть которых свидетельствует об определенной уязвимости выходцев из нетрадиционных семей. Дети отцов-геев статистически чаще получали государственную помощь в период взросления, были склонны

к мыслям о суициде в недавнем прошлом, сообщали об инфекциях, передающихся половым путем, подвергались принудительному сексу, были менее склонны идентифицировать себя как полностью гетеросексуальных и др. Следует отметить, что у взрослых детей матерей-лесбиянок эти различия проявились в еще более значимой степени [ibidem].

Как отмечают исследователи однополых родителей, такие пары будут продолжать воспитывать детей, а американские (и многие западноевропейские) суды находят аргументы против однополых браков все менее убедительными. Будущие исследования позволят полнее отразить разнообразие семейного опыта гомосексуальных родителей, эффекты и отдаленные последствия воспитания ими детей. Результаты NFSS ясно показывают, что дети наиболее склонны к успеху во многих отношениях и во множестве областей, когда они проводят свое детство в стабильных семейных союзах с женатыми матерью и отцом [ibid.: 766].

Отцы — транснациональные трудовые мигранты (transnational migrant workers) ежегодно мигрируют, оставляя своих близких с целью финансово содержать свои семьи, ослабляя тем самым семейные связи и сплоченность, детско-родительские отношения. Анализируя опыт работы мужчин — трудовых мигрантов, которые приезжают из Мексики, чтобы работать в канадском сельском хозяйстве, исследователи отмечают последствия воспитания без отцов: отчуждение детей, которые чувствуют себя брошенными отцами, высокий уровень их проблем со здоровьем, плохое поведение и успеваемость в школе, напряженные супружеские отношения [McLaughlin et al., 2017: 682].

Вместе с тем сами отцы часто работают в суровых и опасных условиях [Basok, 2002; Otero, Preibisch, 2009; Preibisch, 2010], подвергаются эргономическим рискам длительного подъема тяжестей и других физических нагрузок, воздействию токсичных веществ, небезопасного оборудования [McLaughlin, Hennebry, Haines, 2014], испытывают дискриминацию, нарушение трудовых прав, переживают чувство подавленности, страха и отчаяния [Lynk, 2015: 37—38].

В зарубежных исследованиях, посвященных проблематике современного отцовства, изучаются разнообразные группы отцов, имеющих как общие, так и специфические проблемы, но так или иначе каждый из представителей этих групп сталкивается с разного рода трудностями, препятствующими реализации модели заботливого отца.

Барьеры для участия отцов в заботе о детях

Обобщая обзор публикаций, выделим несколько ключевых барьеров в попытках расширить участие отцов в воспитании детей.

Культурные барьеры

Устаревшие традиционные гендерные нормы о роли матерей в качестве опекунов и роли отцов в качестве «кормильцев» могут помешать отцам участвовать в воспитании детей, несмотря на то что в последние годы ситуация меняется в сторону увеличения прямого участия отцов в процессе воспитания детей [Heilman et al., 2017: 18—19]. В общественном мнении из поколения в поколение транслируются представления о том, что женщины лучше приспособлены к заботе о детях

раннего возраста, а мужчины некомпетентны и им нельзя доверять маленьких детей [Fägerskiöld, 2006; Plantin, Olukoja, Ny, 2011].

Нередки ситуации, когда персонал медицинских учреждений и социальные работники, помогающие матери и новорожденному ребенку, убеждали молодых матерей в том, что *несовершеннолетние отцы, отцы-мигранты или иногородние отцы* представляют собой потенциальную опасность и их включение в заботу о детях может привести к созданию среды, небезопасной для матери и ребенка [Dispelling Myths..., 2000].

Существенными барьерами для получения социальной поддержки выступают специфика сложившейся гендерной идеологии, устойчивые стереотипы о гендерных ролях, гегемонной маскулинности, представления о традиционной мужской идентичности [Connell, 1995; Davis, Greenstein 2009; Plantin, Olukoja, Ny, 2011; Grunow, Begall, Buchler, 2018].

В исследованиях отмечается неудовлетворенность *отцов детей с ограниченными возможностями здоровья* качеством социальной поддержки, концентрация социальных служб на действиях и переживаниях матери и игнорирование психологического состояния отца. Несмотря на то, что отцы сообщают о высоком уровне уважения к медицинскому персоналу и благодарности за помощь, распространены сообщения отцов о возникающих у них негативных чувствах — изоляции, недооцененности, беспомощности, неравенства, отчуждения, вызванных пренебрежительным отношением к их мнению, различиями в обращении медперсонала с мужчинами по сравнению с их женами, безразличным отношением к их бытовым потребностям при нахождении в больнице. Все это заставляет отцов чувствовать, что медицинский персонал не считает их равноценными или важными родителями [Docherty, Dimond, 2018].

Отношение отцов к социальным работникам также часто бывает негативным вследствие их личного опыта. Для специалистов по социальной работе в сфере защиты детей характерна тенденция маргинализации мужчин и сосредоточенность на изучении положения матерей и их поддержке [Brown et al., 2009]. Мужчинам же обращаться за помощью в решении их семейных проблем не позволяют традиционные гендерные установки [Campbell et al., 2010].

Информационные барьеры

Отцы часто сообщают о низком уровне осведомленности о программах для родителей [Frank et al., 2015: 937—938; Tully et al., 2017b]. Исследователи и практики делают вывод, что существует необходимость в повышении осведомленности отцов, и подчеркивают важность их участия. Одной из стратегий расширения участия отцов в этих программах выступает информация, переданная лично их потенциальным участникам, другой — информирование родителей в средствах массовой информации [Tully et al., 2017a].

Отцам детей-инвалидов важно понимать, что они и их ребенок являются частью системы заботы и что они получают своевременную и достаточную информацию о проводимом и планируемом лечении. С точки зрения предоставления информации отцам важно получить правильный баланс: не обязательно сосредотачиваться на всех положительных сторонах, но и рисовать самую «черную картину» нет необходимости [Docherty, Dimond, 2018].

Рекламные кампании в средствах массовой информации — печатных изданиях, телевидении, радио, социальных сетях, онлайн-ресурсах — часто используются для информирования родителей о проблемах общественного здравоохранения, повышения осведомленности о проблемах здоровья и здорового образа жизни, снижении рисков для здоровья [Poole, Seal, Taylor, 2014], программах для родителей, направленных на улучшение психического здоровья и благополучия детей [Morawska, Tometzki, Sanders, 2014]. Кампании в средствах массовой информации могут снять барьеры и дестигматизировать обращение родителей за помощью в воспитании детей при имеющихся проблемах в поведении детей и их психическом здоровье, а также повысить уровень участия отцов в обучающих программах.

Экономические барьеры

Экономическая нестабильность, бедность, отсутствие работы или неформальная занятость приводят к тому, что малообеспеченные отцы вынуждены много работать, чтобы обеспечить свои семьи. Роль кормильца семьи вступает в противоречие с вовлеченностью отцов в заботу о детях. Эти выводы актуальны при изучении семейных практик отцов-мигрантов, которые надолго покидают свои семьи в поисках работы, разведенных отцов, которые при недостатке экономических ресурсов не могут платить алименты, что может ограничивать степень их участия в жизни детей [Arditti, Keith, 1993; Hofferth, Forry, Peters, 2010; Kalmijn, 2015]. В то же время в других исследованиях показано, что увеличение числа отцов, остающихся дома с детьми и использующих свое право на отцовский отпуск, не всегда является результатом их осознанного выбора, а чаще выступает вынужденным решением в условиях безработицы, низких доходов, случайных заработков, болезни или инвалидности [Moss, 2013; Kramer, Kramer, 2016].

Структурные барьеры

Среди структурных факторов, препятствующих вовлеченности отцов в заботу о детях, — неравное положение мужчин и женщин на рынке труда, разница в оплате, отсутствие гибкого графика, а также структура профессиональной занятости, при которой в сферах образования и социальной работы заняты преимущественно женщины. Так, врачи часто полагаются исключительно на материнский отчет и не запрашивают информацию от отца в своей работе. Одним из возможных объяснений этого является то, что большинство практиков в помогающих областях — женщины (например, 82 % социальных работников, 98 % школьных логопедов, 97 % воспитателей детского сада — женщины [2018 Schools Survey..., 2018]).

М. Е. Лэмб полагает, что профессионалы исторически игнорируют роли отцов и продолжают делать это по привычке [Lamb, 2010]. Многие специалисты считают, что отцов труднее оценить, поскольку они реже посещают сеансы терапии, и что матери более доступны. Это предположение может снизить вероятность общения практикующих специалистов с отцами, а интенсивность и качество общения, в свою очередь, могут повлиять на участие отцов [Carpenter, Towers, 2008].

Исследователи делают вывод, что поставщики услуг должны включать отцов в терапию одинаково часто с матерями [Duhig, Phares, Birkeland, 2002]. Что касается формы занятий, то, например, В. Турбивилле и Дж. Маркиз обнаружили,

что отцы предпочитают участвовать в образовании своих детей посредством мероприятий, в которых задействованы все члены семьи, и с меньшей вероятностью принимают участие, если приглашаются только мужчины (например, группа поддержки мужчин), и в любом случае специалисты должны стремиться к более глубокому пониманию потребностей отцов при проработке возможностей участия отцов в мероприятиях [Turbiville, Marquis, 2001; Meadan, Parette, Doubet, 2013].

Институциональные барьеры

Препятствиями участия мужчин в заботе о детях выступают институциональные барьеры (несовершенство законодательства, недостаточная поддержка работников с семейными обязанностями, отсутствие профсоюзов и др.). Например, вопросы участия отцов в воспитании детей после развода раскрываются в контексте дискриминации отцов в судах и потери прав на опеку над детьми [Collier, Sheldon, 2006], активности общественного движения в защиту отцовских прав и борьбы за изменения в законодательстве и семейной политике [Jordan, 2009: 421—422]. Правозащитные группы («Отцы за справедливость» и др.) проводят кампании за устранение несправедливости по отношению к мужчинам в законодательстве и практике правоприменения при разводе, в решении вопроса об опеке над детьми, в ситуациях преследования за насилие в семье, сексуальные домогательства и др. [Messner, 2000; Whitehead, 2002; Jordan, 2018]. Ключевой идеей общественной активности правозащитного движения выступают утверждения о том, что отцы лишены своих прав, подвергаются систематической дискриминации как мужчины и отцы в обществе, лояльном к женщинам и доминирующему феминизму [Flood, 2004]. Ситуация, когда мать становится единственным опекуном ребенка, поддерживается, с одной стороны, социальными нормами и стереотипами о матерях как естественных и умелых родителях и предубеждениями в отношении способности мужчин заботиться о детях, а с другой — лакунами в законодательстве и практиках его правоприменения. Отмечается, что в некоторых странах отцы подвергаются проверке и вынуждены обосновывать свою способность воспитывать детей и проживать вместе с ними [Smart, May, 2004], в других странах — как, например, в Пакистане, — законодательно закреплено право контроля мужчины за принятием решения об опеке над ребенком [Pakeeza, Chishti, 2012], в третьих — в Швеции, Австралии, Ирландии и др. — существует правовая презумпция равного времени для родителей для выполнения родительских обязанностей [Parental Responsibility..., 2014; Kalmijn, 2015].

Программы поддержки отцовства

Программы, адресованные отцам и ближайшему окружению

Осознание важности отцовской роли и становления отцовской идентичности стимулировало создание соответствующих программ. Так, в США выделяются значительные средства на консультирование, программы образования родителей/отцов, в том числе добрачного, и разрешения конфликтов, на разработку пренатальных программ по охране психического здоровья детей, включающих привлечение отцов [Fletcher et al., 2014], по повышению психологической грамотности отцов детей раннего возраста. Так, оценка эффективности восьмине-

дельной программы повышения качества коммуникации отцов с детьми в возрасте до шести лет показала значительный позитивный сдвиг вовлеченности отца (по результатам тестирования), что позволило рекомендовать ее к широкому использованию в образовании отцов на базе дошкольных учреждений [Sorakin, Altinay, Cerkez, 2019: 11].

В течение последних нескольких десятилетий программы ответственного отцовства (*responsible fatherhood*) получили широкое распространение в Соединенных Штатах, однако отмечается, что еще недостаточно разработаны методология и инструменты оценки их результативности. Авторы предлагают подходы к оценке программ, основанные на теории привязанности, теории семейных систем и др. [Fagan, Kaufman, 2015].

Внимание также обращается на процесс реализации программ, в частности вовлечения отцов, который имеет свою динамику и многофакторную обусловленность. Так, выделяют три основных этапа, каждый из которых сопряжен с определенными барьерами — это привлечение/вербовка отцов, сохранение/удержание в программе, этап активного участия в работе. Данная многоуровневая модель учитывает совокупность факторов: практического характера (доступность программы и маркетинг), «отношенческих» (установки персонала, доверие, стиль общения), культурных и ситуационных (культурная и гендерная сензитивность, жизненные обстоятельства, уровень стресса), стратегических (стратегии удержания участников и внешние стимулы), структурных (формат группы, окружающая среда, продолжительность программы) [Pfitzner, Humphreys, 2017: 541—544].

Различные подходы используются в работе с *отцами, практикующими домашнее насилие* (*men who have used violence*). Это нарративная терапия, постановка целей, консультирование, управление гневом, групповая работа. Так, программа по борьбе с насилием «Taking Responsibility» в Новом Южном Уэльсе, Австралия, включает 18-недельный компонент групповой работы, который дополняется индивидуальными сессиями. Прорабатываются такие темы, как тактика власти и контроля, убеждения относительно мужских и женских ролей, понимание влияния насилия на окружающих (в том числе на детей), эмпатия к пострадавшим, сознательные и бессознательные процессы, лежащие в основе поведения мужчин; развиваются способности мужчин к эмпатии, рефлексии, самонаблюдению и саморегуляции [Broady et al., 2017: 330]. В Великобритании получила распространение 17-недельная программа групповой работы с отцами, которые допускали насилие в отношении детей и их матерей, основанная на канадской модели «Caring Dads: Safer Children» — CDSC [McConnell, Taylor, 2016].

Основой для программ поддержки *одиноких отцов* выступает структурный подход. Матери-одиночки и отцы-одиночки одинаково являются родителями, они несут исключительную ответственность за предоставление ресурсов детям (еда, жилье и одежда; финансовая поддержка; дисциплина; комфорт). Необходимость выполнять большую часть обязанностей в отсутствие другого родителя делает отцов и матерей похожими друг на друга [Hawkins, Amato, King, 2006]. Хотя они, возможно, ограничивали свое родительство стереотипно женской или мужской работой, когда у них был партнер, став единственным опекуном ребенка, им приходится/следует брать на себя обязанности, традиционно выполняемые противополож-

ным полом, чтобы заполнить недостающие роли. Структуралистская перспектива учитывает возможность того, что отцы могут выполнять задачи, традиционно связанные с материнством. Если, например, обычно взаимодействие со школой чаще оказывается в сфере материнских задач, одинокие отцы должны научиться ее выполнять. Изменение установок отца в сторону большей вовлеченности в дела ребенка, использование более позитивных стилей воспитания крайне важны, чтобы уменьшить для ребенка негативные последствия жизни с одиноким отцом-опекуном [Dufur et al., 2010]. Таким образом, необходимы программы социальной поддержки, чтобы помочь отцам-одиночкам преодолеть дефициты разного рода ресурсов, включая знания, социальные контакты и навыки и т. д., а для детей из семей с одним родителем, которые сравнительно чаще страдают от эмоционального стресса и низкой успеваемости, должны функционировать системы поддержки и консультационные услуги в школах [Hussey, Kanjilal, Nathan, 2016].

Поддержание контакта со своими детьми и выполнение роли родителя в ситуации заключения является особой проблемой [Meek, 2007]. Было установлено, что тюремное заключение оказывает глубокое влияние на убеждения, отношения и поведение заключенных отцов, создает много препятствий для отношений отца и ребенка [Dyer, 2005; Hairston, 2001; Miller, Browning, Sprauence, 2001]. Несмотря на трудности и проблемы, связанные с тюремным заключением, многие *отцы-заключенные* продолжают контактировать со своими детьми и могут иметь некоторые базовые знания, ценности и убеждения, необходимые для эффективного воспитания на расстоянии. В то же время другие аспекты родительских характеристик, в частности психологическое благополучие отцов, стрессоустойчивость, уверенность в себе нуждаются в укреплении [Secret, 2012].

Поддержка специалистов является ключевым фактором в изменении жизненного сценария *отцов-правонарушителей*. Центральная тема интервенций — становление личности молодого отца, переход в ответственную взрослую жизнь и создание новой позитивной идентичности вместо репутации преступника [Meek, 2011; Bottoms, Shapland, 2011]. Родительство становится ключевым компонентом для конструирования нового сценария жизни, такие отцы, имеющие приверженность позитивным целям, высокий уровень мотивации и уверенность в планировании будущего, с меньшей вероятностью будут совершать повторные правонарушения [Maruna, 2001; Meek, 2011; McNeil, Weaver, 2010; Helyar-Cardwell, 2012].

Важным направлением поддержки молодых отцов выступает профессиональное наставничество, которое считается эффективным в предупреждении случаев возврата к преступному поведению. Наставники помогают найти работу после освобождения, поддерживать близкие отношения со своими детьми, развивать родительские навыки [Ladlow, Neale, 2016]. Свою эффективность показали гибкие и приспособленные к специфическим потребностям развития и реабилитации молодых людей программы отцовства, широко применявшиеся в британских учреждениях для молодых правонарушителей [Boswell, Wedge, 2002]. Для лиц старшего возраста предлагается общий пятидневный курс отцовства на основе групповой работы, ролевых игр и дискуссий. Содержание курса фокусируется на родительских обязанностях, развитии и потребностях ребенка, навыках ухода за детьми, а также способах асертивного поведения и воздержания от пре-

ступности. Такой курс может быть завершаться дополнительным добровольным курсом, продолжающимся нескольких недель и работающим в более чем 100 британских тюрьмах. Отцы учатся придумывать и рассказывать истории своим детям, развивают навыки, чтобы играть со своими детьми. Курс завершается особым семейным визитом, где отцы встречаются и играют со своими детьми в неформальной игровой обстановке [Ladlow, Neale, 2016: 123—124].

Важнейшим условием эффективности программ по поддержке *отцов-правонарушителей* является качество взаимоотношений между практиками и их клиентами [The Parliamentary Inquiry..., 2015]. Содержание программы, добровольный характер участия, созидательный настрой имеют решающее значение для достижения ее целей. Программа поддержки молодых отцов не связана с постановлениями суда, не воспринимается молодыми *отцами-правонарушителями* как дополнительное наказание [Ladlow, Neale, 2016: 124]. В поисках источников позитивного отцовства в переходных процессах возвращения правонарушителей из мест заключения исследователи обращаются к ресурсам семейной поддержки и детям этих отцов, которые находятся в двойственном положении — страдают от негативных последствий стигматизации и разлуки с отцами, и чаще подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны отцов, испытывают стрессы, смену опекунов, помещение в систему государственного социального обеспечения, социальные и экономические лишения [Gorman et al., 2006]. При этом ключевыми посредниками между детьми и отцом становятся матери, играющие роль коммуникатора между родственниками, представителями службы пробации, полиции, общественных организаций в развитии отношений отца-правонарушителя со своими детьми [Walker, 2010: 243].

Дружеские и конструктивные отношения с матерью ребенка являются важнейшей частью программы поддержки отцов, в которой участвуют молодые матери. Существенное внимание уделяется сексуальным и межличностным отношениям, жизненным навыкам, личностному развитию, заботе о себе как неотъемлемой части хорошего родителя. Опираясь на модель «хорошей жизни» [Ward, Mann, Gannon, 2007], участникам предлагается понять свои цели и перспективы в будущем, осознавая, что быть хорошим родителем означает развивать собственную жизнь в позитивном ключе.

Стратегию, направленную на повышение вовлеченности отца, обучение навыкам воспитания детей и решение экономических проблем, с которыми сталкиваются многие *отцы-нерезиденты*, имеющие намерение или выплачивающие алименты, реализуют образовательные программы «Responsible fatherhood». Расширение понимания отцовства, помимо финансовых обязательств, является важной задачей программы, поэтому внимание уделяется улучшению отношений отца с ребенком, повышению значимости родительской роли, развитию родительских навыков и укреплению надежды на будущее. Исследование эффектов программы показало, что отцы, которые «видят» улучшение своих родительских навыков и считают себя активными участниками жизни своих детей, могут, согласно теории запланированного поведения, рассматривать соблюдение финансовых обязательств как компонент этого участия. Результаты также показывают, что усиление чувства отцовской надежды на будущее является предиктором пози-

тивных изменений в намерениях выплачивать алименты, что, в свою очередь, подкрепляет желание чувствовать себя полезным для семьи. Таким образом, обучение отцов навыкам родительского воспитания положительно влияет на их намерение финансово поддерживать детей [Chan, Adler-Baeder, 2019: 138].

Социальные услуги и меры структурной поддержки отцов

Существует высокая потребность в развитии социальных услуг для отцов с *зависимым поведением*. Так, в числе новаций «Black Box Parenting Program» — программа, разработанная для отцов, злоупотребляющих психоактивными веществами и имеющих трудности в воспитании детей. Метафора «черного ящика» в этой программе используется для обсуждения травмирующего события. С отцами, имеющими детей от 0 до 12 лет и проходящими курс лечения от токсикомании/наркомании в стационаре, проводятся групповые дидактические занятия, интерактивные дискуссии и ролевые упражнения, направленные на восстановление отношений и прощение, создание основы новых детско-родительских отношений, игровых навыков, способности к планированию и целеполаганию. В качестве дополнения к групповым сессиям осуществляются индивидуальные игровые сессии отца с ребенком при участии психолога, которые записываются на видео для последующего анализа, обсуждения и обучения родителей. Вместе с этим участники исследования вовлечены в услуги по лечению токсикомании. После завершения программы у отцов значительно уменьшилось чувство вины, тревоги, появилась сильная мотивация для получения помощи в воспитании детей. Результаты показали, что удовлетворенность лечением у отцов тесно связана с родительской самоэффективностью, при этом чем выше была уверенность в успешности взаимодействия с детьми, тем больше отцы были удовлетворены программой в целом [Torres et al., 2018].

Необходимо расширение услуг для улучшения поддержки семей, ухаживающих за детьми с особенностями. С точки зрения оптимизации семейных систем важность «отцовских» социальных и медицинских услуг для благополучия детей очевидна и получает все большее признание в политике, однако действительно «отцовские» услуги относительно редки на практике и требуют конкретных и целенаправленных мер [Fletcher et al., 2014]. Все семьи должны получать поддержку и руководство в управлении изменениями в жизни семьи, происходящими, когда рождается ребенок с заболеванием, которое невозможно преодолеть и которое впоследствии развивается. Медицинские работники могут и должны вносить вклад, чтобы участие отца было поддержано, и не допускать ситуаций, когда токсичные коммуникации и обращение могут привести к негативным переживаниям, усиливающим стресс отцов [ibidem]. По-видимому, так же как и в других сферах (занятости и образования), необходимо обучение специалистов для повышения их социальной компетентности.

Важно не только медицинское обслуживание, но и высококачественное обслуживание детей в сфере образования, адекватное школьное обучение и забота после школы. А именно, конкретные программы во внеучебное время и летние программы для учащихся средней школы и старшеклассников с потребностями в медицинской помощи [Jinnah, Stoneman, 2008]. Это может способствовать подготовке специали-

стов по уходу за детьми, учителей и школьного персонала для более эффективного решения поведенческих проблем, чтобы родителям не нужно было срочно оставлять работу для реагирования на чрезвычайные ситуации с их детьми в течение дня [Rosenzweig et al., 2002]. Предоставление услуг, интегрированных в школьную среду, обеспечение ухода во внеучебное время и онлайн-услуги могли бы стать возможными решениями, которые позволили бы работающим отцам активнее участвовать в уходе за своими детьми [Gopalan et al. 2010; van de Luitgaaden, van der Tier, 2018]. Все это позволит работающим родителям сохранять занятость, получая при этом доступ к услугам, поддерживающим благополучие их детей.

Для смягчения конфликта профессиональных и семейных ролей отцов, воспитывающих детей с особыми нуждами, важна поддержка руководителей и сотрудников, а также гибкость в графике работы, в то же время гибкость обесценивается, если отцы не чувствуют себя в безопасности. В качестве меры преодоления «стигмы гибкости» предлагается обучение супервизоров поддерживающему поведению для улучшения организационных и индивидуальных результатов отцов [Kossek et al., 2018].

Изучая опыт работы отцов — *транснациональных трудовых мигрантов* из Мексики, канадские исследователи фокусируют внимание на тех структурных изменениях, которые представляются наиболее важными для укрепления семей мигрантов и их отношений с детьми. К ним отнесены повышение зарплат и финансовых переводов семьям, улучшение условий труда и соблюдение трудовых прав мигрантов, создание социальных служб поддержки, использующих не только английский и французский язык, но испанский и языки коренных народов Мексики, обязательное обучение охране труда и технике безопасности, соблюдение прав на трудовой стаж, что также будут способствовать расширению прав и возможностей работников и обеспечению их занятости. В качестве дополнительных мер укрепления семейных связей рассматриваются возможности дать разрешение членам семьи посещать Канаду и помогать им заключать трудовые контракты, расширить доступ к интернету, Skype и общению по электронной почте, создать возможности для постоянного проживания детей и матерей, признание семей мигрантов в качестве ценных и уважаемых членов канадского общества [McLaughlin et al., 2017: 695—699].

Информационная поддержка и онлайн-программы

Существуют убедительные доказательства того, что программы для родителей по воспитанию детей эффективны для улучшения результатов воспитания, психического здоровья и благополучия детей. Хотя все больше обучающих занятий для родителей размещается в интернете, тем самым способствуя распространению знаний и охвата целевой группы, доля отцов все еще значительно уступает материнской во всех видах родительских программ. Например, в Австралии с целью привлечения внимания отцов к программам для родителей «Parent Works» была проведена восьминедельная кампания с использованием социальных сетей, рекламы на анимированных баннерах, цифровых дисплеях, короткие видеоклипы на цифровом телевидении и радио, краткие сообщения на самых популярных телевизионных каналах.

«Parent Works» — это бесплатное интерактивное интернет-приложение для родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми, доступное с компьютера, планшета или мобильного телефона. Программа включает в себя восемь интерактивных последовательных «модулей», пять из которых являются обязательными, а три — дополнительными. Родители могут участвовать индивидуально или со своим партнером, хотя программа поощряет участие обоих родителей, она была разработана специально для удовлетворения потребностей и предпочтений отцов, а также для матерей с целью их мотивирования [Tully et al., 2017a].

Для онлайн-кампании созданы шесть видеороликов, в которых снялись четыре «обычных» и два «знаменитых» отца. Различные по своим социально-демографическим, культурным и семейным характеристикам, отцы были вовлечены в рекламную кампанию с целью расширить целевую аудиторию программы. Два знаменитых отца — спортсмен и телеведущий — были хорошо известны австралийскому населению. Наряду с видеороликами в цифровой кампании использовались анимированные баннеры. Радиопередачи составлены из кратких сообщений о «ParentWorks» и озвучены известными радиоведущими на двух коммерческих радиостанциях, ориентированных на мужскую аудиторию четырех крупных городов Австралии. Программы длительностью 20—30 минут в неделю посвящены важности участия отца в воспитании детей и проблемам их воспитания (например, использованию альтернативных стратегий вместо телесных наказаний, значению работы в команде с одним из родителей).

При оценке эффективности медийной кампании, направленной на повышение осведомленности и участия отцов в онлайн-программе для родителей «Parent Works», оказалось, что на сайте программы зарегистрировалось в три раза больше родителей/отцов по сравнению с периодом сравнения. Результаты показали, что те, кто был вовлечен в кампанию, значительно чаще поддерживали важность участия отца в программах воспитания детей, чем те, кто в ней не участвовал, что позволяет сделать вывод о кампании как эффективном методе повышения осведомленности и уровня участия отцов в программах родительского воспитания в интернете [Tully et al., 2019: 2].

Заключение

Подводя итоги проведенного обзора зарубежных работ, нельзя не отметить расширение присутствия отцов как целевой группы в исследованиях семьи, семейных отношений, социальной практики. Хотя многие авторы во вступлении к своим статьям отмечают перекося исследовательского интереса в сторону матерей, традиционно считающихся основными опекунами, заметны активные усилия по преодолению имеющегося дефицита. Накоплены данные, раскрывающие специфику жизненной ситуации разных групп отцов, отличающихся по характеру жизненного опыта, социально-демографическим характеристикам, семейному статусу и др., объединяющим же моментом является то, что отцовство для представителей всех этих групп осложнено в силу разных причин. Недостаток личностных, социальных, финансовых, информационных ресурсов препятствует становлению отцов во всем богатстве отцовской роли и/или затрудняет реализацию имеющегося отцовского потенциала. Несмотря на разнообразие представленных социальных программ

для отцов, в центре интервенций специалистов социальной сферы — создание «заботливой» маскулинности и позитивной идентичности ответственного отца, которая помогает укрепить родительское самосознание и самооффективность, способствует осознанию отцами жизненных смыслов, целеполаганию, развитию родительских навыков, что в свою очередь коррелирует с успешностью выхода из трудной ситуации, реабилитации и т. д.

Знание и учет специфики различных, особенно уязвимых групп отцов, дифференциация их проблем и потребностей необходимы для разработки программ социальной поддержки отцов и собственно «отцовских» услуг. При этом важно учитывать, что ключевыми субъектами, мотивирующими мужчин к вовлеченному отцовству, так же как и своего рода «привратниками» на этом пути, выступают женщины, и от того, как складываются супружеские отношения, во многом зависят индивидуальные сценарии и траектории отцовства. Поэтому работа с отцами должна быть частью работы с семьей в целом, и с учетом специфики семейного контекста должна быть направлена в том числе на усиление ресурсов семейной поддержки отцовства.

Общий тренд на активизацию вовлеченного отцовства, который на институциональном уровне поддерживает и Россия (закрепление мер и программ поддержки ответственного отцовства в концепциях семейной политики на региональном и федеральном уровнях, введение права для отцов на отпуск по уходу за новорожденным ребенком, празднование дня отца, усиление внимания общества к алиментным обязательствам отцов и др.), должен проявляться в развитии помогающей практики, в фокусе которой будут отцы наравне с матерями. В связи с этим зарубежный опыт исследований отцовства и программ поддержки отцов может быть весьма полезен, учитывая пока незначительное количество отечественных работ в этой области. Представляется, что важной задачей для отечественных социологов выступает фиксация изменений в мнениях специалистов, работающих с детьми, изучение родительского (отцовского) и семейного сознания, анализ стереотипов, установок, ожиданий, концептуализация на их основе методологических подходов, теоретических конструктов, разработка новых подходов, направленных на совершенствование семейной политики и помогающей практики в отношении благополучия семьи и детей.

Список литературы (References)

Бёрд Ш. Теоретизируя маскулинности: современные тенденции в социальных науках // *Наслаждение быть мужчиной: западные теории и постсоветские практики* / под ред. Ш. Бёрд, С. Жеребкина. СПб.: Алетейя, 2008. С. 7—37.

Bird S. (2008) *Theorizing Masculinities: Recent Trends in the Social Sciences*. In: Bird S., Zhrebkin S. (eds.) *The Pleasure of Being a Man: Western Theories of Masculinity and Post-Soviet Practices*. Saint Petersburg: Aleteya. P. 7—37. (In Russ.)

Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Что такое «маскулинность»? Понятийные отмычки критических исследований мужчин и маскулинностей // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2018. № 6. С. 48—73. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.03>.

Zdravomyslova E. A., Temkina A. A. (2018) What is “Masculinity”? Conceptual Keys to Critical Studies in Men and Masculinities. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 48—73. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.03>. (In Russ.)

Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009.

Kon I. S. (2009) *Man in a Changing World*. Moscow: Vremya (In Russ.)

2018 Schools Survey. Survey Summary Report: Number and type of Responses, SLPs. (2018) Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association. URL: <https://www.asha.org/uploadedFiles/2018-Schools-Survey-Summary-Report.pdf> (accessed: 04.09.2020).

Albertini M., Garriga A. (2011) The Effect of Divorce on Parent-Child Contacts: Evidence on Two Declining Effect Hypotheses. *European Societies*. Vol. 13. No. 2. P. 257—278. <https://doi.org/10.1080/14616696.2010.483002>.

Allen S. M., Daly K. J. (2007) The Effects of Father Involvement: An Updated Research Summary of the Evidence. Guelph, ON: Centre for Families, Work & Well-Being, University of Guelph.

Amato P. R., Meyers C. E., Emery R. E. (2009) Changes in Nonresident Father-Child Contact from 1976 to 2002. *Family Relations*. Vol. 58. No. 1. P. 41—53. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2008.00533.x>.

Andreasson J., Johansson T. (2019) Becoming a Half-Time Parent: Fatherhood after Divorce. *Journal of Family Studies*. Vol. 25. No. 1. P. 2—17. <https://doi.org/10.1080/13229400.2016.1195277>.

Aquilino W. S. (2006) Noncustodial Father-Child Relationship from Adolescence into Young Adulthood. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 68. No. 4. P. 929—946. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00305.x>.

Arditti J. A., Keith T. Z. (1993) Visitation Frequency, Child Support Payment, and the Father-Child Relationship Post-Divorce. *Journal of Marriage and the Family*. No. 55. No. 3. P. 699—712. <https://doi.org/10.2307/353350>.

Arditti J. A., Smock S. A., Parkman T. S. (2005) It's Been Hard to Be a Father': A Qualitative Exploration of Incarcerated Fatherhood. *Fathering*. Vol. 3. No. 3. P. 267—288. <https://doi.org/10.3149/fth.0303.267>.

Basok T. (2002) *Tortillas and Tomatoes: Transmigrant Mexican Harvesters in Canada*. Montreal: McGill-Queen's University Press. <https://doi.org/10.7202/014056ar>.

Bergström M., Fransson E., Hjern A., Köhler L., Wallby T. (2014) Mental Health in Swedish Children Living in Shared Residency and their Parents' Life Satisfaction: A Cross-Sectional Study. *Scandinavian Journal of Psychology*. Vol. 55. No. 5. P. 433—439. <https://doi.org/10.1111/sjop.12148>.

Berdahl J. L., Moon S. H. (2013) Workplace Mistreatment of Middle Class Workers Based on Sex, Parenthood, and Caregiving. *Journal of Social Issues*. Vol. 69. No. 2. P. 341—366. <https://doi.org/10.1111/josi.12018>.

Boswell G., Wedge P. (2002) *Imprisoned Fathers and Their Children*. London: Jessica Kingsley.

Bottoms A., Shapland J. (2011) Steps Towards Desistance among Male Young Adult Recidivists. In: Farrall S., Hough M., Maruna S., Sparks R. (eds.) *Escape Routes: Contemporary Perspectives on Life after Punishment*. London: Routledge. P. 43—80.

Bradshaw J., Stimson C., Skinner C., Williams J. (1999) *Absent Fathers?* New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203028773>.

Bronte-Tinkew J., Scott M. E., Lilja E. (2010) Single Custodial Fathers' Involvement and Parenting: Implications for Outcomes in Emerging Adulthood. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 72. No. 5. P. 1107—1127. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00753.x>.

Broady T. R., Gray R., Gaffney I., Lewis P. (2017) 'I Miss My Little One A Lot': How Father Love Motivates Change in Men Who Have Used Violence. *Child Abuse Review*. Vol. 26. No. 5. P. 328—338. <https://doi.org/10.1002/car.2381>.

Brown L., Callahan M., Strega S., Walmsley C., Dominelli L. (2009) Manufacturing Ghost Fathers: The Paradox of Father Presence and Absence in Child Welfare. *Child & Family Social Work*. Vol. 14. No. 1. P. 25—34. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2008.00578.x>.

Brown J., Cohen P., Johnson J. G., Salzinger S. (1998) A Longitudinal Analysis of Risk Factors for Child Maltreatment: Findings of a 17-year Prospective Study of Officially Recorded and Self-Reported Child Abuse and Neglect. *Child Abuse & Neglect*. Vol. 22. No. 11. P. 1065—1078. [https://doi.org/10.1016/s0145-2134\(98\)00087-8](https://doi.org/10.1016/s0145-2134(98)00087-8).

Bunting L., McAuley C. (2004) Teenage Pregnancy and Parenthood: The Role of Fathers. *Child and Family Social Work*. Vol. 9. No. 3. P. 295—303. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2004.00335.x>.

Burgess A. (2006) *The Costs and Benefits of Active Fatherhood: Evidence and Insights to Inform the Development of Policy and Practice*. London, UK: Fathers Direct. URL: <http://www.fatherhoodinstitute.org/uploads/publications/247.pdf> (accessed: 04.09.2020).

Buston K., Parkes A., Thomson H., Wight D., Fenton C. (2012) Parenting Interventions for Male Young Offenders: A Review of the Evidence on What Works. *Journal of Adolescence*. Vol. 35. No. 3. P. 731—742. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.10.007>.

Campbell M., Neil J. A., Jaffe P. G., Kelly T. (2010) Engaging Abusive Men in Seeking Community Intervention: A Critical Research & Practice Priority. *Journal of Family Violence*. Vol. 25. No. 4. P. 413—422. <https://doi.org/10.1007/s10896-010-9302-z>.

Cabrera N. J., Fitzgerald H. E., Bradley R. H., Roggman L. (2014) The Ecology of Father Child Relationships: An Expanded Model. *Journal of Family Theory and Review*. Vol. 6. No. 4. P. 336—354. <https://doi.org/10.1111/jftr.12054>.

Cabrera N. J., Shannon J. D., Tamis-LeMonda C. (2007) Fathers' Influence on Their Children's Cognitive and Emotional Development: From Toddlers to Pre-K. *Applied*

Developmental Science. Vol. 11. No. 4. P. 208—213. <https://doi.org/10.1080/10888690701762100>.

Cabrera N. J., Tamis-LeMonda C. S., Bradley R. H., Hofferth S., Lamb M. (2002) Fatherhood in the Twenty-First Century. *Child Development*. No. 71. P. 127—136. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00126>.

Carpenter B., Towers C. (2008) Recognizing Fathers: The Needs of Fathers of Children with Disabilities. *Support for Learning*. Vol. 23. No. 3. P. 118—125. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9604.2008.00382.x>.

Chan A. E., Adler-Baeder F. (2019) Child Support Compliance in Fatherhood Programs: The Role of Hope, Role Salience, and Parenting Skills. *Journal of Human Sciences and Extension*. Vol. 7. No. 1. P. 130—143.

Cheadle J., Amato P., King V. (2010) Patterns of Nonresident Father Involvement. *Demography*. Vol. 47. No. 1. P. 205—225. <https://doi.org/10.1353/dem.0.0084>.

Clarke L., O'Brien M., Day R., Godwin H., Connolly J., Hemmings J., van Leeson T. (2005) Fathering Behind Bars in English Prisons: Imprisoned Fathers' Identity and Contact with Their Children. *Fathering*. Vol. 3. No. 3. P. 221—241. <https://doi.org/10.3149/fth.0303.221>.

Coley R., Hernandez D. (2006) Predictors of Paternal Involvement of Resident and Non-Resident Low-Income Fathers. *Developmental Psychology*. Vol. 42. No. 6. P. 1041—1056. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.42.6.1041>.

Collier R., Sheldon S. (2006) Fathers' Rights, Fatherhood and Law Reform: International Perspectives. In: Collier R., Sheldon S. (eds.) *Fathers' Rights Activism and Law Reform in Comparative Perspective*. Portland, OR: Hart Publications. P. 1—26. <https://doi.org/10.5040/9781472563750.ch-001>.

Coltrane S. (2004) Fathering: Paradoxes, Contradictions, and Dilemmas. In: Coleman M., Ganong L. H. (eds.) *Handbook of Contemporary Families: Considering the Past, Contemplating the Future*. Thousand Oaks: Sage. <https://doi.org/10.4135/9781412976022.n13>.

Connell R. (1995) *Masculinities*. Cambridge: Polity Press.

Cundy J. (2016) Supporting Young Dads' Journeys through Fatherhood. *Social Policy & Society*. Vol. 15. No. 1. P. 141—153. <https://doi.org/10.1017/s1474746415000524>.

Daatland S. O. (2007) Marital History and Intergenerational Solidarity: The Impact of Divorce and Unmarried Cohabitation. *Journal of Social Issues*. Vol. 63. No. 4. P. 809—825. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2007.00538.x>.

Dallaire D. H. (2007) Incarcerated Mothers and Fathers: A Comparison of Risks for Children and Families. *Family Relations*. Vol. 56. No. 5. P. 440—453. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2007.00472.x>.

Davis S. N., Greenstein T. N. (2009) Gender Ideology: Components, Predictors, and Consequences. *Annual Review of Sociology*. Vol. 35. P. 87—105. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-115920>.

DeFalco S., Esposito G., Venuti P., Bornstein M. H. (2008) Father's Play with Their Down Syndrome Children. *Journal of Intellectual Disability Research*. Vol. 52. No. 6. P. 490—502. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01052.x>.

DeGarmo D., Reid J., Leve L., Chamberlain P., Knutson J. (2010) Patterns and Predictors of Growth in Divorced Fathers' Health Status and Substance Use. *American Journal of Men's Health*. Vol. 4. No. 1. P. 60—70. <https://doi.org/10.1177/1557988308329454>.

DeGeer I., Carolo H., Minerson T. (2014) Give Love, Get Love: The Involved Fatherhood and Gender Equality Project. Toronto: White Ribbon Campaign.

de Graaf P. M., Kalmijn M., Kraaykamp G., Monden C. W. S. (2011) Sociaal-Culturele Verschillen Tussen Turken, Marokkanen en Autochtonen: Eerste Resultaten van de Nederlandse Levens Loop Studie (NELLS). *Bevolkingstrends*. No. 4. P. 61—70.

Demographic Reports (2014) Vol. 1. Stockholm: Statistic Sweden.

Demuth S., Brown S. L. (2004) Family Structure, Family Processes, and Adolescent Delinquency: The Significance of Parental Absence versus Parental Gender. *Journal of Research in Crime and Delinquency*. Vol. 41. No. 1. P. 58—81. <https://doi.org/10.1177/0022427803256236>.

Docherty F., Dimond R. (2018) “Yeah that Made a Big Difference!”: The Importance of the Relationship between Health Professionals and Fathers Who Have a Child with Down Syndrome. *Journal of Genetic Counseling*. Vol. 27. No. 3. P. 665—674. <https://doi.org/10.1007/s10897-017-0171-y>.

Doherty W. J., Kouneski E. F., Erickson M. F. (1998) Responsible Fathering: An Overview and Conceptual Framework. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 60. No. 2. P. 277—292. <https://doi.org/10.2307/353848>.

Donati P., Prandini R. (2007) The Family in the Light of a New Relational Theory of Primary, Secondary, and Generalized Social Capital. *International Review of Sociology*. Vol. 17. No. 2. P. 209—223. <https://doi.org/10.1080/03906700701356812>.

Dispelling Myths about Unmarried Fathers. (2000) Fragile Families Research Brief. No. 1. Princeton, NJ: Bedheim-Thoman Center for Research on Child Wellbeing, Princeton University. URL: <https://fragilefamilies.princeton.edu/sites/fragilefamilies/files/researchbrief1.pdf> (accessed: 04.09.2020).

Dufur M., Howell N. C., Downey D. B., Ainsworth J. W., Lapray A. J. (2010) Sex Differences in Parenting Behaviors in Single-Mother and Single-Father Households. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 72. No. 5. P. 1092—1106. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00752.x>.

Duhig A. M., Phares V., Birkeland R. W. (2002) Involvement of Fathers in Therapy: A Survey of Clinicians. *Professional Psychology: Research and Practice*. Vol. 33. No. 4. P. 389—395. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.33.4.389>.

Dyer W. J. (2005) Prison, Fathers, and Identity: A Theory of How Incarceration Affects Men's Paternal Identity. *Fathering*. Vol. 3. No. 3. P. 201—219. <https://doi.org/10.3149/fth.0303.201>.

EGGEBEEN D., KNOESTER C. (2001) Does Fatherhood Matter for Men? *Journal of Marriage and Family*. Vol. 63. No. 2. P. 381—393. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00381.x>.

ERICH S., KANENBERG H., CASE K., ALLEN T., BOGDANOS T. (2009) An Empirical Analysis of Factors Affecting Adolescent Attachment in Adoptive Families with Homosexual and Straight Parents. *Children and Youth Services Review*. Vol. 31. No. 3. P. 398—404. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2008.09.004>.

EWART-BOYLE S., MANKTELOW R., MCCOLGAN M. (2015) Social Work and the Shadow Father: Lessons for Engaging Fathers in Northern Ireland. *Child and Family Social Work*. Vol. 20. No. 4. P. 470—479. <https://doi.org/10.1111/cfs.12096>.

FABRICIUS W. V. (2003) Listening to Children of Divorce: New Findings that Diverge from Wallerstein, Lewis and Blakeslee. *Family Relations*. Vol. 52. No. 4. P. 385—396. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00385.x>.

FALK N. H., NORRIS K., QUINN M. G. (2014) The Factors Predicting Stress, Anxiety and Depression in the Parents of Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. Vol. 44. No. 12. P. 3185—3203. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2189-4>.

FAGAN J., KAUFMAN R. (2015) Reflections on Theory and Outcome Measures for Fatherhood Programs. *Families in Society. The Journal of Contemporary Social Services*. Vol. 96. No. 2. P. 133—140. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.2015.96.19>.

FÄGERSKIÖLD A. (2006) Support of Fathers of Infants by the Child Nurse. *Scandinavian Journal of Caring Science*. Vol. 20. No. 1. P. 79—85. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2006.00383.x>.

FLETCHER R., MAY C., STGEORGE J., STOKER L., OSHAN M. (2014) *Engaging Fathers: Evidence Review*. Canberra: Australian Research Alliance for Children and Youth (ARACY).

FLOOD M. (2004) Backlash: Angry Men's Movements. In: Rossi S. E. (ed.) *The Battle and Backlash Rage On: Why Feminism Cannot be Obsolete*. Philadelphia, PA: Xlibris. P. 261—342.

FLOURI E., BUCHANAN A. (2002) What Predicts Good Relationships with Parents in Adolescence and Partners in Adult Life: Findings from the 1958 British Birth Cohort. *Journal of Family Psychology*. Vol. 16. No. 2. P. 186—198. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.16.2.186>.

FLOURI R., BUCHANAN A. (2003) The Role of Father Involvement and Mother Involvement in Adolescents' Psychological Well-Being. *British Journal of Social Work*. Vol. 33. No. 3. P. 399—406. <https://doi.org/10.1093/bjsw/33.3.399>.

FRANK T. J., KEOWN L. J., DITTMAN C. K., SANDERS M. R. (2015) Using Father Preference Data to Increase Father Engagement in Evidence based Parenting Programs. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 24. No. 3. P. 937—947. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-9904-9>.

Franck E. J. (2001) Outreach to Birthfathers of Children in Out-of-Homecare. *Child Welfare*. Vol. 80. No. 3. P. 381—399.

Gadsden V. L., Rethemeyer R. K. (2003) Linking Father Involvement and Parental Incarceration: Conceptual Issues in Research and Practice. In: Gadsden V. L. (ed.) *Heading Home: Offender Reintegration into the Family*. Lanham, MD: American Correctional Association. P. 39—88.

Gates G. J. (2015) Marriage and Family: LGBT Individuals and Same-Sex Couples. *Future of Children*. Vol. 25. No. 2. P. 67—87. <https://doi.org/10.1353/foc.2015.0013>.

Gato J., Santos S., Fontaine A. M. (2017) To Have or Not to Have Children? That Is the Question. Factors Influencing Parental Decisions among Lesbians and Gay Men. *Sexuality Research and Social Policy*. Vol. 14. No. 3. P. 310—323. <https://doi.org/10.1007/s13178-016-0268-3>.

Gillies V. (2009) Understandings and Experiences of Involved Fathering in the United Kingdom: Exploring Classed Dimensions. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 624. No. 1. P. 49—60. <https://doi.org/10.1177/0002716209334295>.

Gorman K., Gregory M., Hayles M., Parton N. (eds.) (2006) *Constructive Work with Offenders*. London: Jessica Kingsley.

Goldberg A. E., Downing J. B., Moyer A. M. (2012) Why Parenthood and Why Now? Gay Men's Motivations for Pursuing Parenthood. *Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies*. Vol. 61. No. 1. P. 157—174. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2011.00687.x>.

Goldberg A. E., Smith J. Z. (2013) Predictors of Psychological Adjustment in Early Placed Adopted Children with Lesbian, Gay, and Heterosexual Parents. *Journal of Family Psychology*. Vol. 27. No. 3. P. 431—442. <https://doi.org/10.1037/a0032911>.

Golombok S., Mellish L., Jennings S., Casey P., Birkbeck F. T., Lamb M. E. (2014) Adoptive Gay Father Families: Parent-Child Relationships and Children's Psychological Adjustment. *Child Development*. Vol. 85. No. 2. P. 456—468. <https://doi.org/10.1111/cdev.12155>.

Gopalan G., Goldstein L., Klingenstein K., Sicher C., Blake C., McKay M. M. (2010) Engaging Families into Child Mental Health Treatment: Updates and Special Considerations. *Journal of Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. Vol. 19. No. 3. P. 182—196.

Grunow D., Begall K., Buchler S. (2018) Gender Ideologies in Europe: A Multidimensional Framework. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 80. No. 3. P. 42—60. <https://doi.org/10.1111/jomf.12453>.

Hairston C. F. (2001) Fathers in Prison: Responsible Fatherhood and Responsible Public Policies. *Marriage & Family Review*. Vol. 32. No. 3—4. P. 111—136. https://doi.org/10.1300/j002v32n03_07.

Haux T., Platt L., Rosenberg R. (2015) Parenting and Post-Separation Contact: What Are the Links? London: Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE).

Hawkins D. N., Amato P. R., King V. (2006) Parent-Adolescent Involvement: The Relative Influence of Parent Gender and Residence. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 68. No. 1. P. 125—136. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00238.x>.

Heath A., Rethon C., Kilpi E. (2008) The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment. *Annual Review of Sociology*. Vol. 34. P. 211—235. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134728>.

Heilman B., Levkov R., van der Gaag N., Hassink A., Barker G. (2017) State of the World's Fathers: Time for Action. Washington, DC: Promundo, Sonke Gender Justice, Save the Children, Men Engage Alliance.

Helyer-Cardwell V. (2012) Fathers for Good? Exploring the Impact of Becoming a Young Father on Young Offenders' Desistance from Crime. *Safer Communities*. Vol. 11. No. 4. P. 169—178. <https://doi.org/10.1108/17578041211271436>.

Hobson B., Lewis J., Siim B. (2002) Contested Concepts in Gender and Social Politics. Cheltenham: Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781781950340>.

Hofferth S. L., Forry N. D., Peters H. E. (2010) Child Support, Father-Child Contact, and Preteens' Involvement with Nonresidential Fathers: Racial/Ethnic Differences. *Journal of Family and Economic Issues*. Vol. 31. No. 1. P. 14—32. <https://doi.org/10.1007/s10834-009-9172-9>.

Hofferth S., Pleck J., Stueve J. L., Bianchi S., Sayer L. (2002) The Demography of Fathers: What Fathers Do. In: Tamis-LeMonda C., Cabrera N. (eds.) *Handbook of Father Involvement*. Mahwah, NJ; London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. P. 63—90. <https://doi.org/10.4324/9780203101414.ch8>.

Hook J. L., Chalasani S. (2008) Gendered Expectations? Reconsidering Single Fathers' Child Care Time. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 70. No. 4. P. 978—990. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00540.x>.

Hook J. L., Wolfe C. M. (2012) New Fathers? Residential Fathers' Time with Children in Four Countries. *Journal of Family Issues*. Vol. 33. No. 4. P. 415—450. <https://doi.org/10.1177/0192513x11425779>.

Hussey A., Kanjilal D., Nathan A. (2016) Disruption in Parental Co-habitation and Its Effects on Short-Term, Medium-Term, and Long-Term Outcomes of Adolescents. *Journal of Family and Economic Issues*. Vol. 37. No. 1. P. 58—74. <https://doi.org/10.1007/s10834-014-9435-y>.

Jinnah H. A., Stoneman Z. (2008) Parents' Experiences in Seeking Child Care for School Age Children with Disabilities — Where Does the System Break Down? *Children and Youth Services Review*. Vol. 30. No. 8. P. 967—977. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2007.11.020>.

- Jordan A. (2009) 'Dads Aren't Demons. Mums Aren't Madonnas.' Constructions of Fatherhood and Masculinities in the (Real) Fathers 4 Justice Campaign. *Journal of Social Welfare and Family Law*. Vol. 31. No. 4. P. 419—433. <https://doi.org/10.1080/09649060903430280>.
- Jordan A. (2018) Masculinizing Care? Gender, Ethics of Care, and Fathers' Rights Groups. *Men and Masculinities*. Vol. 23. No. 1. P. 20—41. <https://doi.org/10.1177/1097184X18776364>.
- Kalmijn M. (2007) Gender Differences in the Effects of Divorce, Widowhood and Remarriage on Intergenerational Support: Does Marriage Protect Fathers? *Social Forces*. Vol. 85. No. 3. P. 1079—1104. <https://doi.org/10.1353/sof.2007.0043>.
- Kalmijn M. (2008) The Effects of Separation and Divorce on Parent-Child Relationships in Ten European Countries. In: Saraceno Ch. (ed.) *Families, Ageing and Social Policy: Intergenerational Solidarity in European Welfare States*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. P. 170—193. <https://doi.org/10.4337/9781848445147.00014>.
- Kalmijn M. (2010) Racial Differences in the Effects of Parental Divorce and Separation on Children: Generalizing the Evidence to a European Case. *Social Science Research*. Vol. 39. No. 5. P. 845—856. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.05.002>.
- Kalmijn M. (2015) Father-Child Relations after Divorce in Four European Countries: Patterns and Determinants. *Comparative Population Studies*. Vol. 40. No. 3. P. 251—276.
- Kennedy S., Fitch C. A. (2012) Measuring Cohabitation and Family Structure in the United States: Assessing the Impact of New Data from the Current Population Survey. *Demography*. Vol. 49. No. 4. P. 1479—1498. <https://doi.org/10.1007/s13524-012-0126-8>.
- King V., Harris K. M., Heard H. E. (2004) Racial and Ethnic Diversity in Nonresident Father Involvement. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 66. No. 1. P. 1—21. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2004.00001.x>.
- King V., Sobolewski J. M. (2006) Nonresident Fathers' Contribution to Adolescents' Wellbeing. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 68. No. 3. P. 537—557. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00274.x>.
- King V. (2003) The Influence of Religion on Fathers' Relationships with Their Children. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 65. No. 2. P. 382—395. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00382.x>.
- Knop B., Brewster K. L. (2016) Family Flexibility in Response to Economic Conditions: Fathers' Involvement in Child-Care Tasks. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 78. No. 2. P. 283—292. <https://doi.org/10.1111/jomf.12249>.
- Kossek E. E., Petty R. J., Bodner T. E., Perrigino M. B., Hammer L. B., Yragui N. L., Michel J. S. (2018) Lasting Impression: Transformational Leadership and Family Supportive Supervision as Resources for Well-Being and Performance. *Occupational Health Science*. Vol. 2. No. 1. P. 1—24. <https://doi.org/10.1007/s41542-018-0012-x>.

- Kramer K. Z., Kramer A. (2016) At-Home Father Families in the United States: Gender Ideology, Human Capital, and Unemployment. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 78. No. 5. P. 1315—1331. <https://doi.org/10.1111/jomf.12327>.
- Ladlow L., Neale B. (2016) Risk, Resource, Redemption? The Parenting and Custodial Experiences of Young Offender Fathers. *Social Policy & Society*. Vol. 15. No. 1. P. 113—127. <https://doi.org/10.1017/s1474746415000500>.
- Lamb M. E. (2002) Infant-father Attachments and Their Impact on Child Development. In: Cabrera N. J., Tamis-LeMonda C. S. (eds.) *Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. P. 93—117.
- Lamb M. E. (ed.) (2004) *The Role of the Father in Child Development*. Hoboken, NJ: Wiley. <https://doi.org/10.4324/9781410603500>.
- Lamb M. E. (2010) How Do Fathers Influence Children's Development? Let Me Count the Ways. In: Lamb M. E. (ed.) *The Role of the Father in Child Development*. Hoboken, NJ: Wiley. P. 1—26.
- Lamb M., Lewis C. (2013) Father-Child Relationships. In: Cabrera N. J., Tamis-LeMonda C. S. (eds.) *Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives, Second Edition*. New York, NY: Routledge. P. 119—134. <https://doi.org/10.4324/9780203101414.ch7>.
- Laporte L., Jiang D., Pepler D. J., Chamberland C. (2011) The Relationship between Adolescents' Experience of Family Violence and Dating Violence. *Youth & Society*. Vol. 43. No. 1. P. 3—27. <https://doi.org/10.1177/0044118x09336631>.
- LaRossa R. (1988) Fatherhood and Social Change. *Family Relations*. Vol. 37. No. 4. P. 451—457. <https://doi.org/10.2307/584119>.
- LaRossa R. (1997) *The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Lee Y., Hofferth S. L. (2017) Gender Differences in Single Parents' Living Arrangements and Child Care Time. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 26. No. 12. P. 3439—3451. <https://doi.org/10.1007/s10826-017-0850-1>.
- Leidy S., Schofield T. J., Parke R. D. (2013) Fathers' Contributions to Children's Social Development. In: Cabrera N. J., Tamis-LeMonda C. S. (eds.) *Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives, Second Edition*. New York, NY: Routledge. P. 151—167. <https://doi.org/10.4324/9780203101414.ch9>.
- Lemay C. A., Cashman S. B., Elfenbein D. S., Felice M. E. (2010) A Qualitative Study of the Meaning of Fatherhood among Young Urban Fathers. *Public Health Nursing*. Vol. 27. No. 3. P. 221—231. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1446.2010.00847.x>.
- Lengersdorf D., Meuser M. (2016) Involved Fatherhood: Source of New Gender Conflicts? In: Ruspini E., Crespi I. (eds.) *Balancing Work and Family in a Changing Society. The Fathers' Perspective*. New York, NY: Palgrave Macmillan. P. 141—161. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53354-8_10.

Levant R. (1997) The Masculinity Crisis. *Journal of Men's Studies*. Vol. 5. No. 3. P. 221—229. <https://doi.org/10.1177/106082659700500302>.

Levtov R. G., Barker G., Contreras-Urbina M., Heilman B., Verma R. (2014) Pathways to Gender-equitable Men: Findings from the International Men and Gender Equality Survey in Eight Countries. *Men and Masculinities*. Vol. 17. No. 5. P. 467—501. <https://doi.org/10.1177/1097184x14558234>.

Levtov R., van der Gaag N., Greene M., Kaufman M., Barker G. (2015) State of the World's Fathers: A Men Care Advocacy Publication. Washington, DC: Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, the MenEngage Alliance.

Lin I-F. (2008) Consequences of Parental Divorce for Adult Children's Support of Their Frail Parents. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 70. No. 1. P. 113—128. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2007.00465.x>.

Lippman L. H., Wilcox B. W., Ryberg R. (2013) World Family Map 2013: Mapping Family Change and Child Well-Being Outcomes. Bethesda, MD: Child Trends.

Lopoo L. M., DeLeire T. (2014) Family Structure and the Economic Wellbeing of Children in Youth and Adulthood. *Social Science Research*. Vol. 43. P. 30—44. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2013.08.004>.

Lynk M. (2015) Review of the Employee Occupational Exclusions Under the Ontario Labour Relations Act, 1995. Toronto: Queen's Printer for Ontario.

Manning W. D., Smock P. J. (1999) New Families and Nonresident Father-Child Visitation. *Social Forces*. Vol. 78. No. 1. P. 87—116. <https://doi.org/10.1093/sf/78.1.87>.

Manning W. D., Stewart S. D., Smock P. J. (2003) The Complexity of Fathers' Parenting Responsibilities and Involvement with Nonresident Children. *Journal of Family Issues*. Vol. 24. No. 5. P. 645—667. <https://doi.org/10.1177/0192513x03024005004>.

Marsiglio W. (2009). Men's Relations with Kids: Exploring and Promoting the Mosaic of Youth Work and Fathering. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 624. No. 1. P. 118—138. <https://doi.org/10.1177/0002716209334696>.

Maruna S. (2001) Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Live. Washington, DC: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10430-000>.

McConnell N., Taylor J. (2016) Evaluating Programmes for Violent Fathers: Challenges and Ethical Review. *Child Abuse Review*. Vol. 25. No. 3. P. 183—191. <https://doi.org/10.1002/car.2342>.

McLaughlin J., Hennebry J., Haines T. (2014) Paper versus Practice: Occupational Health and Safety Protections and Realities for Temporary Foreign Agricultural Workers in Ontario. *Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé*. Vol. 16. No. 2. <https://doi.org/10.4000/pistes.3844>.

McLaughlin J., Wells D., Mendiburo A. D., Lyn A., Vasilevska B. (2017) Temporary Workers, Temporary Fathers: Transnational Family Impacts of Canada's Seasonal

Agricultural Worker Program. *Industrial Relations*. Vol. 72. No. 4. P. 682—709. <https://doi.org/10.7202/1043172ar>.

McNeill F., Weaver B. (2010) Changing Lives? Desistance Research and Offender Management. Project Report. Glasgow: The Scottish Centre for Crime and Social Justice Research.

Meadan H., Parette H. P., Doubet S. (2013) Fathers of Young Children with Disabilities: Experiences, Involvement, and Needs. In: Pattnaik J. (ed.) *Father Involvement in Young Children's Lives: A Global Analysis*. Dordrecht: Springer. P. 153—167. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5155-2_9.

Meek R. (2007) Parenting Education for Young Fathers in Prison. *Child and Family Social Work*. Vol. 12. No. 3. P. 239—247. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2007.00456.x>.

Meek R. (2011) The Possible Selves of Young Fathers in Prison. *Journal of Adolescence*. Vol. 34. No. 5. P. 941—949. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.12.005>.

Messner M. (2000) *Politics of Masculinities: Men in Movements*. Thousand Oaks, CA; London: Sage.

Miller R. R., Browning S. L., Sprauce L. M. (2001) An Introduction and Brief Review of the Impacts of Incarceration on the African American Family. *Journal of African American Men*. Vol. 6. No. 1. P. 3—12. <https://doi.org/10.1007/s12111-001-1010-6>.

Miller T. (2011) Falling Back into Gender? Men's Narratives and Practices around First-time Fatherhood. *Sociology*. Vol. 45. No. 3. P. 1094—1109. <https://doi.org/10.1177/0038038511419180>.

Morawska A., Tometzki H., Sanders M. R. (2014) An Evaluation of the Efficacy of a Triple P Positive Parenting Program Podcast Series. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*. Vol. 35. No. 3. P. 128—137. <https://doi.org/10.1097/dbp.000000000000020>.

Morgan D. (2006) The Crisis in Masculinity. In: Davis K., Evans M., Lorber J. (eds.) *Handbook of Gender and Women's Studies*. London: Sage. P. 108—125.

Mosley J., Thomson, E. (1995) Fathering Behavior and Child Outcomes: The Role of Race and Poverty. In: Marsiglio W. (ed.) *Research on Men and Masculinities. Series 7. Fatherhood: Contemporary Theory, Research and Social Policy*. Thousand Oaks, CA: Sage. P. 148—165. <https://doi.org/10.4135/9781483327242.n8>.

Moss P. (ed.) (2013) *International Review of Leave Policies and Related Research*. London: International Network on Leave Policies and Research.

Musick K., Michelmore K. (2014) Change in the Stability of Marital and Cohabiting Unions Following the Birth of a Child. Los Angeles, CA: California Center for Population Research.

Neale B., Lau-Clayton C. (2014) Young Parenthood and Cross Generational Relationships: The Perspectives of Young Fathers. In: Holland J., Edwards R. (eds.)

Understanding Families over Time: Research and Policy. London: Palgrave Macmillan. P. 69—87. https://doi.org/10.1057/9781137285089_4.

Nielsen L. (2014) Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomes for Children. *Journal of Divorce & Remarriage*. Vol. 55. No. 8. P. 613—635. <https://doi.org/10.1080/10502556.2014.965578>.

O'Donnell J.M. (1999) Casework Practice with Fathers of Children in Kinship Foster Care. In: Gleeson J.P., Hairston C.F. (eds.) *Kinship Care: Improving Practice through Research*. Washington, DC: The Child Welfare League of America Press. P. 167—188. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195109405.003.0003>.

Otero G., Preibisch K. (2009) Farmworker Health and Safety: Challenges for British Columbia. Vancouver: WorkSafeBC.

Pakeeza S., Chishti A.A. (2012) Custody and Guardianship of Children According to Muslim Jurisprudence in Pakistan. *Academic Research International*. Vol. 3. No. 2. P. 461—465.

Parental Responsibility for Unmarried Fathers and Contact with Children Post-Separation. (2014) Belfast: Department of Finance and Personnel. URL: <https://www.finance-ni.gov.uk/consultations/parental-responsibility-unmarried-fathers-and-contact-children-post-separation> (accessed: 04.09.2020).

Parke R. D. (1996) *Fatherhood*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Pears K. C., Pierce S. L., Kim H. K., Capaldi D. M., Owen, L. D. (2005) The Timing of Entry Into Fatherhood in Young, At-Risk Men. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 67. No. 2. P. 429—447. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2005.00126.x>.

Perelli-Harris B., Kreyenfeld M., Sigle-Rushton W., Keize R., Lappegård T., Jasilioniene A., Berghammer C., Di Giulio P. (2012) Changes in Union Status During the Transition to Parenthood in Eleven European Countries, 1970s to early 2000s. *Population Studies*. Vol. 66. No. 2. P. 167—182. <https://doi.org/10.1080/00324728.2012.673004>.

Pfitzer N., Humphreys C., Hegarty K. (2017) Research Review: Engaging men: a multi-level model to support father engagement. *Child and Family Social Work*. Vol. 22. No. 1. P. 537—547. <https://doi.org/10.1111/cfs.12250>.

Plantin L., Olukoya A. A., Ny P. (2011) Positive Health Outcomes of Fathers' Involvement in Pregnancy and Childbirth Paternal Support: A Scope Study Literature Review. *Fathering*. Vol. 9. No. 1. P. 87—102. <https://doi.org/10.3149/fth.0901.87>.

Pleck J. (1987) *The Myth of Masculinity*. Cambridge, MA: MIT Press.

Poole M. K., Seal D. W., Taylor C. A. (2014) A Systematic Review of Universal Campaigns Targeting Child Physical Abuse Prevention. *Health Education Research*. Vol. 29. No. 3. P. 388—432. <https://doi.org/10.1093/her/cyu012>.

Poole E., Speight S., O'Brien M., Connolly S., Aldrich M. (2016) Who are Non-Resident Fathers? A British Socio-Demographic Profile. *Journal of Social Policy*. Vol. 45. No. 2. P. 223—250. <https://doi.org/10.1017/s0047279415000653>.

- Preibisch K. (2010) Pick-Your-Own Labor: Migrant Workers and Flexibility in Canadian Agriculture. *International Migration Review*. Vol. 44. No. 2. P. 404—441. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2010.00811.x>.
- Rankin J. A., Paisley C. A., Tomeny T. S., Eldred S. W. (2019) Fathers of Youth with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of the Impact of Fathers' Involvement on Youth, Families, and Intervention. *Clinical Child and Family Psychology Review*. Vol. 22. No. 4. P. 458—477. <https://doi.org/10.1007/s10567-019-00294-0>.
- Regnerus M. (2012) How Different are the Adult Children of Parents Who Have Same-Sex Relationships? Findings from the New Family Structures Study. *Social Science Research*. Vol. 41. No. 4. P. 752—770. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.009>.
- Rosenberg J., Wilcox W. B. (2006) The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services.
- Rosenfeld M. J. (2010) Nontraditional Families and Childhood Progress through School. *Demography*. Vol. 47. No. 3. P. 755—775. <https://doi.org/10.1353/dem.0.0112>.
- Rosenzweig J. M., Brennan E. M., Huffstutter K. J., Bradley J. R. (2008) Child Care and Employed Parents of Children with Emotional or Behavioral Disorders. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*. Vol. 16. No. 2. P. 78—89. <https://doi.org/10.1177/1063426607312538>.
- Ruby S., Scholz S. (2018) Care, Care Work and the Struggle for a Careful World from the Perspective of the Sociology of Masculinitie. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*. No. 43. P. 73—83. <https://doi.org/10.1007/s11614-018-0284-z>.
- Sarkadi A., Kristiansson R., Oberklaid F., Bremberg S. (2008) Fathers' Involvement and Children's Developmental Outcomes: A Systematic Review of Longitudinal Studies. *Acta Paediatrica*. Vol. 97. No. 2. P. 153—158. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2007.00572.x>.
- Schacht P. M., Cummings E. M., Davies P. T. (2009) Fathering in Family Context and Child Adjustment: A Longitudinal Analysis. *Journal of Family Psychology*. Vol. 23. No. 6. P. 790—797. <https://doi.org/10.1037/a0016741>.
- Scott M., Peterson K., Ikramullah E., Manlove J. (2013) Multiple Partner Fertility Among Nonresident Fathers. In: Cabrera N. J., Tamis-LeMonda C. S. (eds.) *Handbook of Father Involvement: Multidisciplinary Perspectives, Second Edition*. New York, NY: Routledge. P. 97—115. <https://doi.org/10.4324/9780203101414.ch6>.
- Secret M. (2012) Incarcerated Fathers: Exploring the Dimensions and Prevalence of Parenting Capacity of Non-Violent Offenders. *Fathering*. Vol. 10. No. 2. P. 159—177. <https://doi.org/10.3149/ft.1002.159>.
- Sellmaier C. (2019) Integrating Work and Family Responsibilities: Experiences of Fathers of Children with Special Health Care Needs. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 28. No. 2. P. 3022—3036. <https://www.doi.org/10.1007/s10826-019-01478-6>.

- Seltzer J. A., Bianchi S. M. (2013) Demographic Change and Parent-Child Relationships in Adulthood. *Annual Review of Sociology*. Vol. 39. P. 275—290. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071312-145602>.
- Shwalb D. W., Shwalb B. J., Lamb M. E. (eds) (2013) *Fathers in Cultural Context*. New York, NY; London: Psychology Press. <https://doi.org/10.1111/etho.12091>.
- Smart C., May V. (2004) Why Can't They Agree? The Underlying Complexity of Contact and Residence Disputes. *Journal of Social Welfare and Family Law*. Vol. 26. No. 4. P. 347—360. <https://doi.org/10.1080/0964906042000334046>.
- Sorakin Y., Altınay Z., Cerkez Y. (2019) Father Psycho-Education Program for Developing Interaction with Children: Disability Program Development. *International Journal of Disability, Development and Education*. Vol. 66. No. 5. P. 528—540. <https://doi.org/10.1080/1034912x.2019.1642457>.
- Swisher R. R., Waller M. R. (2008) Confining Fatherhood: Incarceration and Paternal Involvement among Nonresident White, African American, and Latino Fathers. *Journal of Family Issues*. Vol. 29. No. 8. P. 1067—1088. <https://doi.org/10.1177/0192513x08316273>.
- Swiss L., Le Bourdais C. (2009) Father-Child Contact after Separation: The Influence of Living Arrangements. *Journal of Family Issues*. Vol. 30. No. 5. P. 623—652. <https://doi.org/10.1177/0192513x08331023>.
- Tan L. H., Quinlivan J. A. (2006) Domestic Violence, Single Parenthood, and Fathers in the Setting of Teenage Pregnancy. *Journal of Adolescent Health*. Vol. 38. No. 3. P. 201—207. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2004.10.014>.
- Taylor C. A., Lee S. J., Guterman N. B., Rice J. C. (2010) Use of Spanking for 3-Year Old Children and Associated Intimate Partner Aggression or Violence. *Pediatrics*. Vol. 126. No. 3. P. 415—424. <https://doi.org/10.1542/peds.2010-0314>.
- The Parliamentary Inquiry into Parenting and Social Mobility. (2015) London: All Party Parliamentary Group on Parents and Families, All Party Parliamentary Group on Social Mobility. https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-5555-2014005.
- Torres M., Deane F. P., Sng R., Quinlan E. (2018) Black Box Parenting Program for Substance-Abusing Fathers: A Feasibility Study. *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy*. Vol. 39. No. 4. P. 472—486. <https://doi.org/10.1002/anzf.1329>.
- Turbiville V. P., Marquis J. G. (2001) Father Participation in Early Education Programs. *Topics in Early Childhood Special Education*. Vol. 21. No. 4. P. 223—231. <https://doi.org/10.1177/027112140102100403>.
- Tully L. A., Piotrowska P. J., Collins D. A. J., Mairet K. S., Hawes D. J., Kimonis E. R., Lenroot R. K., Moul C., Anderson V., Frick P. J., Dadds M. R. (2017a) Study Protocol: Evaluation of an Online, Father-Inclusive, Universal Parenting Intervention to Reduce Child Externalising Behaviours and Improve Parenting Practices. *BMC Psychology*. Vol. 5. No. 1. <https://doi.org/10.1186/s40359-017-0188-x>.

- Tully L. A., Piotrowska P. J., Collins D. A. J., Mairet K. S., Black N., Kimonis E. R., Hawes D. J., Moul C., Lenroot R. K., Frick P. J., Anderson V., Dadds M. R. (2017b) Optimizing Child Outcomes from Parenting Interventions: Fathers' Experiences, Preferences and Barriers to Participation. *BMC Public Health*. Vol. 17. No. 1. <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4426-1>.
- Tully L. A., Piotrowska P. J., Collins D. J., Frick P. J., Anderson V., Moul C., Lenroot R. K., Kimonis E. R., Hawes D., Dadds, M. R. (2019) Evaluation of "The Father Effect" Media Campaign to Increase Awareness of, and Participation in, an Online Father-Inclusive Parenting Program. *Health Communication*. Vol. 34. No. 12. P. 1423—1432. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1495160>.
- van de Luitgaaden G., van der Tier M. (2018) Establishing Working Relationships in Online Social Work. *Journal of Social Work*. Vol. 18. No. 3. P. 307—325. <https://doi.org/10.1177/1468017316654347>.
- van Tubergen F., Maas I., Flap H. (2004) The Economic Incorporation of Immigrants in 18 Western Societies: Origin, Destination and Community Effects. *American Sociological Review*. Vol. 69. No. 5. P. 704—727. <https://doi.org/10.1177/000312240406900505>.
- Venter K. (2011) Fathers Care Too: The Impact of Family Relationships on the Experience of Work for Parents of Disabled Children. *Sociological Research Online*. Vol. 16. No. 3. P. 66—81. <https://doi.org/10.5153/sro.2441>.
- Walker L. (2010) His Mam, My Dad, My Girlfriend, Loads of People Used to Bring Him up': The Value of Social Support for(ex) Offender Fathers. *Child and Family Social Work*. Vol. 15. No. 2. P. 238—247. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2009.00664.x>.
- Ward T., Mann R. E., Gannon T. A. (2007) The Good Lives Model of Offender Rehabilitation: Clinical Implications. *Aggression and Violent Behaviour*. Vol. 12. No. 1. P. 87—107. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2006.03.004>.
- West C., Honey A. (2016) The Involvement of Fathers in Supporting a Young Person Living with Mental Illness. *Journal of Child and Family Studies*. Vol. 25. No. 2. P. 574—587. <https://doi.org/10.1007/s10826-015-0230-7>.
- Wilderman C. (2010) Paternal Incarceration and Children's Physically Aggressive Behaviors: Evidence from the Fragile Families Study. *Social Forces*. Vol. 89. No. 1. P. 285—310. <https://doi.org/10.1353/sof.2010.0055>.
- Wilson K. R., Prior M. R. (2011) Father Involvement and Child Well-Being. *Journal of Paediatrics and Child Health*. Vol. 47. No. 7. P. 405—407. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.2010.01770.x>.
- Whitehead S. (2002) *Men and Masculinities: Key Themes and New Directions*. Cambridge: Polity.
- Zhang Z., Hayward M. (2006) Gender, the Marital Life Course, and Cardiovascular Disease in Late Midlife. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 68. No. 3. P. 639—657. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00280.x>.

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1653



Е. Н. Кузинер

«ПОЙДУ ДОМОЙ, ДОМОЙ ЭТО ЗНАЧИТ В ПОДВАЛ»: ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖЕНЩИН

Правильная ссылка на статью:

Кузинер Е. Н. «Пойду домой, домой это значит в подвал»: повседневные практики и стратегии выживания бездомных женщин // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 273—298. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1653>.

For citation:

Kuziner E. N. (2020) 'I Will Go Home', With 'Home' Meaning 'Basement': Homeless Women's Daily Practices and Coping Strategies. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 273—298. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1653>. (In Russ.)

«ПОЙДУ ДОМОЙ, ДОМОЙ ЭТО ЗНАЧИТ В ПОДВАЛ»: ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ БЕЗДОМНЫХ ЖЕНЩИН

КУЗИНЕР Евгения Николаевна — аспирантка, стажер-исследователь Центра молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия

E-MAIL: ekuziner@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-2475-1760>

Аннотация. В статье рассматриваются повседневные практики и стратегии выживания бездомных женщин. Фокус на том, как проживают, переживают и справляются с ситуацией бездомности женщины, оказавшиеся без дома. Выделены две траектории попадания в ситуацию бездомности: утрата физического дома вследствие мошеннических операций с недвижимостью, пожара или других несчастных случаев и принуждение покинуть дом. Также рассматриваются три способа совладания с бездомностью: обращение за помощью в благотворительные организации; обращение за помощью к родственникам и друзьям; нормализация жизни на улице. В статье подчеркивается «невидимость» бездомных женщин и описываются причины женской бездомности и стратегии, которые они используют для выживания на улице.

Ключевые слова: гендер, бездомные женщины, дом, жизнь на улице, стратегии выживания

Благодарность. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Н. А. Нартовой, внесшей

‘I WILL GO HOME’, WITH ‘HOME’ MEANING ‘BASEMENT’: HOMELESS WOMEN’S DAILY PRACTICES AND COPING STRATEGIES

Evgeniia N. KUZINER¹ — post-graduate student, research assistant of the Centre for Youth Studies

E-MAIL: ekuziner@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-2475-1760>

¹ National Research University Higher School of Economics, Saint Petersburg, Russia

Abstract. The article considers daily practices and coping strategies of the homeless women with a focus on how the homeless women live through, survive and cope with hardships. The author singles out two trajectories of how people become homeless: they either lose their home as a result of fraudulent property transactions, a fire or an accident or are forced to leave their home. The article also examines three ways to put up with homelessness: to seek help from charitable organizations; to ask family and friends for help; to normalize life on the streets. The article highlights that homeless women are “invisible” and describes the causes of female homelessness and survival strategies.

Keywords: gender, homeless women, home, life on the street, coping strategies

Acknowledgments. The author expresses sincere gratitude to the scientific advisor N. A. Nartova for her help in writing

значительный вклад в написание магистерской диссертации, на основе которой написана данная статья, а также организациям и проводникам, обеспечившим доступ в поле, и анонимным рецензентам, чьи комментарии и замечания помогли улучшить и доработать статью.

the Master's thesis, organizations and point men who made it possible to get access to the field as well as anonymous reviewers whose comments and remarks helped improve and finish the article.

Введение

В ситуации бездомности оказываются и мужчины, и женщины, однако ни в исследованиях, ни в медиа, ни в государственной политике не уделяется достаточно внимания женской бездомности — опыту бездомных женщин, причинам их бездомности, а также их стратегиям выживания на улице [Klodawsky, 2009].

В академической литературе, посвященной бездомности, некоторые исследователи пишут, что бездомность свойственна преимущественно мужчинам [Lenon, 2000; Алексеева, 2003]. В работах, рассматривающих исторический контекст бездомности, упоминается, что раньше преобладал образ бездомного как «бородастого грязного мужчины» [Austerberry, Watson, 1983; Williams, 2001]. В российских социологических исследованиях бездомные — это «в большинстве своем мужчины трудоспособного возраста, отслужившие в Вооруженных силах» [Социальные и правовые аспекты..., 2007: 14].

Однако бездомные — гетерогенная социальная группа, включающая представителей обоих полов. При этом опыт, причины бездомности, практики выживания в сложной ситуации бездомных женщин отличаются от мужского опыта [Burt, Kohen, 1989; Bird et al., 2017]. Кроме того, бездомные женщины более стигматизированы, более уязвимы, чаще подвергаются насилию.

В статистических данных женщины также в основном остаются «невидимыми». Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., в Санкт-Петербурге зафиксировано 2902 бездомных домохозяйств, при этом число членов домохозяйств не указано¹. При учете используются только данные бездомных, зарегистрированных в Городском пункте учета граждан РФ без определенного места жительства. При этом перепись не фиксирует состав таких домохозяйств, не регистрирует пол их участников. Официальная информация существенно отличается от статистики, которую ведут некоммерческие организации. По данным Межрегиональной благотворительной общественной организации «Ночлежка», в Санкт-Петербурге в 2018 г. проживало около 60 000 бездомных². Такая разница в цифрах объясняется тем, что многие люди, оказавшиеся в ситуации бездомности, не обраща-

¹ Население частных и коллективных домохозяйств, домохозяйств бездомных по субъектам Российской Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/vol11/pub-11-3-5.pdf (дата обращения: 02.09.2020).

² Справка о численности бездомных в Санкт-Петербурге (статистические и расчетные данные) // Благотворительная организация «Ночлежка». URL: <https://homeless.ru/upload/podschet.pdf> (дата обращения: 02.09.2020).

ются в государственные социальные службы и не встают на учет, в статистике также не учитываются «скрытые бездомные», которые не имеют жилья и живут у родственников и друзей. Выше были приведены данные переписи населения, у которой другой принцип регистрации. В социологических исследованиях указывают, что среди бездомных в России 80 % — мужчины и 20 % — женщины [Социологический портрет бездомного..., 2008: 11].

При этом бездомные женщины не только почти «невидимы» в статистических данных, но и стигматизированы. Особенная стигма, которой подвергаются бездомные женщины, связана с идеей «дома». Исторически «женщина» и «дом» были неразрывно связаны, а женская бездомность рассматривалась как нарушение социального порядка [Oudshoorn, Berkum, Loon, 2018: 7]. Женщина, лишённая дома, виделась обществом как крайняя степень девиации, нарушение порядка, принятого государством и церковью [Casey, Goudie, Reeve, 2008: 902]. Исследовательский вопрос данной статьи: как проживают, переживают и справляются с ситуацией бездомности женщины, оказавшиеся без дома.

Роль «дома» в определении особенностей женской бездомности

Дискуссии о значении «дома» как рамки, через которую можно исследовать причины бездомности, поднимались не раз [Lawrence, 1995; Moore, 2007]. Важность «дома» для повседневной жизни индивидов конструируется разными акторами — государством, СМИ, обществом [Somerville, 1992: 532]. Дом концептуализируется не только как место, но и как «продукт общества, в котором мы живем» [Massey, 1995: 45]. Дом можно определить как «социальное пространство», «место психологического и эмоционального комфорта» [Easthope, 2004: 129], в котором люди чувствуют себя в безопасности [Padgett, 2007: 1934].

Понятие «дома» тесно связывается с категорией «семьи» [Watson, 1984; Mallett, Rosenthal, Keys, 2005], которая, в свою очередь, включает в определение социально-культурное и историческое понимание роли женщины в «доме» как хозяйки [Passaro, 1996]. Поэтому бездомность понимается как отсутствие места, где человек может проводить свое время в безопасной и приватной обстановке, один или с семьей. Данная точка зрения концептуализирует дом как безопасное место. Однако феминистские исследователи критикуют данную позицию, утверждая, что дом может быть также местом домашнего насилия, а приватность — причиной, по которой женщины стигматизируются, терпя домашнее насилие [Malos, Hague, 1997]. То, что для кого-то может быть идеальным домом, для другого может оказаться местом постоянного угнетения и насилия [Wardhaugh, 1999]. Понятие дома — разное для мужчин и женщин, следовательно и опыт жизни на улице, и причины бездомности у них будут разные.

Несмотря на феминистскую критику, дискуссии на тему безопасности «дома» все еще преобладают в академической среде. Например, социолог-урбанист Мария Кайка определяет «дом» как место, в котором человек не испытывает страха и волнения и может жить независимо без влияния политических и социальных процессов [Кайка, 2004: 266]. Социальный исследователь Р. Мур рассматривает «дом» как позитивное место, где человек испытывает позитивные эмоции и чувство защиты [Moore, 2014: 148].

Несмотря на то, что сегодня понятия «дом», «семья» и «женщина» уже не так тесно связаны, считается, что эта связь объясняет, почему бездомность чаще всего ассоциируется с мужчинами-одиночками и почему бездомные женщины рассматриваются как девиация [Mayock, Bretherton, 2016: 47]. Так как исторически «женщина» и «дом» были неразрывно связаны, а женская бездомность рассматривалась с точки зрения социального порядка, повседневная жизнь женщины подчинялась определенному гендерному порядку, определявшемуся патриархальным укладом [Oudshoorn, Berkum, Loon, 2018]. Например, в викторианской Англии женщина, лишенная дома, виделась обществом как крайняя степень девиации, нарушение порядка, принятого государством и церковью [Casey, Goudie, Reeve, 2008]. В результате бездомные женщины либо криминализировались, либо игнорировались как то, чего в патриархальном обществе просто не может быть. В одной из первых социологических книг, посвященных бездомности и бродяжничеству, «The Hobo: The Sociology of the Homeless Man» Н. Андерсена описывается, что, в отличие от мужчин, в начале XX века в Америке женщинам было запрещено передвигаться самостоятельно из города в город [Anderson, 1923].

В целом феминистские исследователи рассматривают бездомность как продукт бедности и считают, что опыт бездомных мужчин и женщин различен [Wentzel, 2009]. Женская бездомность — более комплексное и сложное явление, так как в традиционной нуклеарной семье женщины выполняют несколько ролей: хозяйки, матери, жены [Özbilgin, 2011]. Например, когда женщина выполняет роль домашней хозяйки и не получает никакого дохода за свою работу, в случае разных обстоятельств она легко может стать бездомной.

Одной из первых феминистских работ, посвященных проблемам бездомности и гендерным особенностям, стала работа британских феминистских исследовательниц Хелен Аустерберри и Софи Уотсон [Austerberry, Watson, 1981]. Они изучали социальную жилищную политику Великобритании и раскритиковали ее с феминистской точки зрения как потворствующую укреплению патриархальной капиталистической структуры семьи [Austerberry, Watson, 1981:49]. В дальнейшем роль женщины в такой структуре станет ключевым фокусом феминистского анализа. Х. Аустерберри и С. Уотсон показали, что такое представление о семье и «доме» влияет на восприятие и стигматизацию бездомных женщин [Austerberry, Watson, 1981: 51]. Данная работа была написана в начале 1980-х годов, и стоит учесть, что за последние 30 лет благодаря феминистскому движению положение женщины в семье поменялось в лучшую сторону — роль женщин перестала сводиться только к материнству и замужеству, все больше женщин стало занимать руководящие должности, увеличился процент женщин с высшим образованием. Об этом в дальнейшем писали Х. Аустерберри и С. Уотсон, анализируя свои прошлые труды. Однако несмотря на это, некоторые исследователи утверждают, что вместе с гендерным равенством пришло и «равенство в бедности» — увеличилась доля бездомных женщин, так как женщины перестали быть «привязанными» к дому и домохозяйству [Edgar, Doherty, 2001].

С. Уотсон [Watson, 2000], анализируя свою предыдущую работу, также пишет, что, несмотря на прогресс в гендерном равенстве, женщины все еще дискриминируются на рынке труда, уходят в декрет чаще мужчин и чаще не могут позволить

себе арендовать или купить жилье без посторонней помощи. Исследовательница также заключает, что для концептуализации женской бездомности необходимо учитывать структурные и психологические факторы, личный опыт женщин, в особенности переживание насилия.

Представители интерсекционального феминизма подчеркивают, что при изучении женской бездомности важно учитывать исторические и социокультурные контексты, влияющие на опыт женщин. Социологи Билл Эдгар и Джо Доэрти, соглашаясь с тем, что важен индивидуальный опыт женщин, также добавляют, что важно учитывать общие особенности женской бездомности [Edgar, Doherty, 2001].

Понятия «женщина», «семья» и «дом», со временем утрачивают силу своей связи, но эта связь объясняет особое маргинализированное положение бездомной женщины. Сам «дом» представляется разносторонним концептом, обладающим порой несовместимыми характеристиками, например «безопасность» может граничить с «опасностью» для разных групп людей, и не всегда эти различия обусловлены гендером. Феминистские исследователи уделяют большое внимание опыту женской бездомности, связывая его как со структурным неравенством (например, неравной оплатой труда), так и с личным опытом каждой женщины. Некоторые исследователи скептически относятся к разделению опыта женской и мужской бездомности. Однако нужно понимать, что социальное положение мужчин и женщин в разных странах, где проводятся исследования гендерного аспекта бездомности, также различается и отражается на результатах исследований в целом.

Повседневные практики и стратегии выживания женщин в ситуации бездомности

Женщины прибегают к различным практикам и стратегиям совладания с бездомностью и выживания в ситуации бездомности, среди которых: секс-работа, использование социальных связей и ресурсов, использование общественных пространств, поиск мужчины, обращение за помощью и другие. На разных этапах ситуации бездомности женщины используют различные стратегии совладания. Так как траектории бездомных различаются внутри самой группы и зависят от многих факторов, структурных и индивидуальных, то и смысл, который бездомные придают «дому», будет разным, как и те практики, через которые они этот «дом» пытаются получить.

Американская социальная исследовательница Дженнифер Уизели выделяет уязвимость и страх как определяющие факторы, влияющие на повседневные практики женщин [Wesely, 2009]. Бездомные женщины чаще, чем мужчины, вынуждены заботиться о своей безопасности, искать себе компаньонов, чтобы чувствовать себя защищенными. Исследовательница пишет, что женщины используют секс как одну из стратегий выживания на улице. Из страха попасть в опасность они вступают в отношения с мужчинами, обменивая таким образом секс на безопасность. Другие исследователи подчеркивают, что чаще всего такие партнерства носят вынужденный характер [Casey, Goudie & Reeve, 2008]. Дебора Фингфелд-Коннет пишет, что, хотя отношения с мужчиной обеспечивают бездомным женщинам безопасность от других, часто в таких парах женщина становится жертвой насилия и/или начинает употреблять алкоголь [Finfgeld-Connett, 2010].

Американский социолог Мария Гилфус называет секс-работу одной из стратегий выживания молодых бездомных женщин. Исследовательница подчеркивает, что данная стратегия выживания содержит в себе много рисков, а также что насилие и стигматизация женщин в обществе связаны с экономическим неравенством [Gilfus, 2006: 13].

Другие исследователи, изучая повседневные практики бездомных женщин, одной из стратегий совладания с бездомностью называют использование общественных пространств [Casey, Goudie, Reeve, 2008]. Общественные места (торговые центры, библиотеки, музеи и т. д.) играют важную роль в повседневной жизни бездомных женщин и служат не только для того, чтобы помыться, поспать, провести время в тепле, но и помогают им сохранять свой статус, отделяться от других бездомных. По мнению исследователей, используя общественные пространства, бездомные женщины таким образом заявляют свое право на то, чтобы быть «видимыми», быть как все, несмотря на свое положение. В своем исследовании британские социологи Риона Кейси, Розалин Гуди и Кейша Рив называют использование общественных мест бездомными женщинами не стратегией совладения с бездомностью, но стратегией борьбы с бездомностью как с исключенностью. При этом, чтобы пользоваться общественными пространствами, бездомные женщины должны соблюдать определенные правила: быть невидимыми для охраны, появляться в определенные часы работы заведения и так далее [Casey, Goudie, Reeve, 2008]. Однако чем больше женщина живет на улице, тем тяжелее ей пользоваться общественными местами. Этнограф Джулия Вудроу, объясняя тот факт, что среди бездомных женщин очень много тех, чья бездомность носит «скрытый» характер (те, кто живут у друзей и родственников), предполагает, что улицы остаются «мужским» местом. Если женщина все же оказывается на улице, то чаще всего вступает в отношения с мужчиной, чтобы быть под его защитой [Wardhauh, 1999: 104].

Сандра Клитцинг исследует стратегии выживания среди женщин, проживающих в приютах. Она рассматривает бездомность как состояние стресса и выделяет следующие стратегии выхода из него: решение проблем, одиночество, общение с другими [Klitzing, 2010]. Решение проблем заключается в активных действиях по выходу из ситуации бездомности — поиск работы, восстановление документов. В приютах, где нет своего пространства, нахождение в одиночестве может быть одной из повседневных практик бездомных женщин. Дополнительно исследовательница выделила развлечения и религиозные практики как способы совладания с бездомностью. Еще одна тактика совладания с бездомностью — отрицание своей бездомности и противопоставление себя и других бездомных. Женщина может жить в приюте, но при этом иметь работу, иметь возможность оплачивать свои счета и не считать себя бездомной [Takahashi, McElroy, Rowe, 2002].

В исследованиях женской бездомности необходимо учитывать как структурные факторы и уровень гендерного неравенства в стране в целом, так и личный опыт конкретной женщины, ее собственное представление о доме и своей роли в нем. Бездомные женщины по-разному организуют свою жизнь и прибегают к различным стратегиям выживания, по результатам обзора литературы можно выделить следующие: использование «женского капитала», социальных связей и ресурсов

(коммуникативная стратегия), общественных пространств. На разных этапах ситуации бездомности женщины используют различные стратегии выживания.

Методология и эмпирическая база исследования

Исследование было проведено с октября 2018 по март 2020 г. и выполнено в качественной парадигме как наиболее подходящей для работы в сензитивном поле. Основным методом исследования выбран биографический метод, а данные были собраны с помощью биографических полуструктурированных интервью.

В данной работе как дополнительный используется метод включенного наблюдения. Как отмечает Дженифер Хулачан, данный метод как часть этнографической стратегии подходит для исследований, связанных с изучением дома, а также уязвимых социальных групп [Hoolachan, 2016], поскольку позволяет за время исследования создать доверительные отношения с исследуемой группой. Това Хольденстранд в своей этнографической работе, посвященной бездомности в России, отмечает, что именно этнографическая стратегия исследования и качественная методология в целом помогают соединить индивидуальные биографические траектории и социально-политические контексты на макроуровне [Höjdestrand, 2009].

Для проведения включенных наблюдений я использовала свой статус волонтера в нескольких некоммерческих организациях. Так, наблюдения были проведены во время раздачи еды бездомным в нескольких точках Санкт-Петербурга, во время дежурства с волонтерами-медиками при оказании первой помощи бездомным. Также было проведено несколько наблюдений в заброшенных домах, в которых проживали группы бездомных. Основной фокус наблюдения: взаимодействие бездомных между собой, быт, социальные практики, взаимодействия с волонтерами. Наблюдение проводилось в течение всего времени исследования, было осуществлено 42 наблюдения продолжительностью от часа до четырех часов в среднем.

С помощью наблюдения я смогла подробнее изучить рутинные практики бездомных женщин, а также зафиксировать визуальные характеристики: различия в условиях проживания в разных местах, особенности организации быта и пространства в заброшенных домах и приютах. Также были определены вербальные и коммуникативные практики бездомных женщин: с кем и как они общались.

Доступ в поле и рекрутинг информанток

Изначально доступ в поле осуществлялся через благотворительные организации, оказывающие помощь бездомным в Санкт-Петербурге, — «Ночлежка», «Мальтийская служба помощи» и «Благотворительная больница». Большинство моих наблюдений было осуществлено во время волонтерства в этих организациях. План заключался в том, чтобы брать интервью у жительниц приютов при «Ночлежке» и «Мальтийской службе помощи», а также в заброшенных домах в период волонтерства в проекте «Благотворительная больница». При «Ночлежке» в Санкт-Петербурге действуют реабилитационный приют и ночной приют, а также палатки обогрева, работающие с осени по весну. При «Мальтийской службе помощи» открыт мобильный приют для бездомных — стационарная палатка вместительностью до 40 человек. «Благотворительная больница» — волонтерский проект, оказывающий медико-консультационную помощь бездомным людям.

Я пыталась рекрутировать информанток, общаясь с ними и договариваясь на интервью во время своего волонтерства, но процент отказов был достаточно высоким, как и негативные реакции. После этого я решила, что нужно заходить со стороны самих организаций, ее сотрудников, которые непосредственно общаются с бездомными женщинами, смогут послужить доверенным лицом между мной и информанткой, проконсультировать меня по особенностям общения на чувствительные темы с бездомными женщинами и предоставить безопасное и комфортное пространство для проведения интервью.

Я связывалась с сотрудниками «Ночлежки», с которыми познакомилась во время волонтерства, они, в свою очередь, познакомили меня с психологами и социальными работниками, имеющими опыт работы с бездомными женщинами. Через них я проводила рекрутинг информанток. Я подробно рассказывала о цели своего исследования, после чего сотрудники помогали мне в поиске информанток, спрашивая среди жильцов «Ночлежки», есть ли желающие дать интервью. После получения согласия мне давали контакты информанток. Я связывалась с ними и подробно рассказывала об исследовании и договаривалась о месте и времени проведения интервью.

В мобильной палатке для бездомных «Мальтийской службы помощи» я рекрутировала информанток через связи с врачами «Благотворительной больницы», которые туда приходили для оказания медицинской помощи людям, проживающим в палатке. Изначально я входила в поле как волонтер, просила врачей познакомиться со мной с информантками и дальше рассказывала про себя, цели своего исследования и договаривалась об интервью. К сожалению, так как в данном приюте люди часто съезжают в другие места, проводить интервью приходилось сразу же после получения согласия на него. Так, большинство моих информанток к моменту написания данного текста уже не проживают в мобильной палатке, место их нахождения проследить трудно.

На второй год исследования я решила найти информанток в наиболее труднодоступной группе — уличных бездомных. В данном поле с помощью волонтеров и опытного проводника мне удалось рекрутировать только двух информанток, остальные отказывались от интервью, поэтому основную информацию я получала из наблюдений, сидя за столом во время приемов пищи бездомными и наблюдая за тем, как и с кем женщины общаются, как устроен их быт.

Всем своим информанткам я подробно рассказывала об исследовании, своем опыте, гарантировала полную анонимность и получала вербальное согласие на интервью, записанное на аудио. В качестве поощрения за интервью я приносила заранее обговоренные с каждой информанткой вещи — средства личной гигиены, нижнее белье, сладости и так далее. Двум информанткам я положила по 200 рублей на телефон. Участницам исследования, с которыми интервью проходило в кафе, я предлагала оплатить кофе и угостить едой.

Участницы исследования

В своем исследовании я решила взять несколько групп бездомных женщин с разным опытом: женщины, проживающие в приютах города; женщины, имевшие опыт бездомности и на данный момент снимающие жилье; женщины, проживаю-

щие на улицах города. Несмотря на то, что количество принявших в исследовании информанток не может репрезентировать все группы бездомных женщин, таким выбором я пыталась показать их гетерогенность. Основным критерий выбора участниц интервью: возраст от 18 лет, опыт бездомности, ментальная дееспособность, согласие на интервью. Я не брала интервью с женщинами со «скрытой» формой бездомностью — теми, кто имеет проблемы с жильем, но пока пользуется своими ресурсами (живет у родственников, друзей, знакомых) и не обращается в городские и благотворительные службы помощи.

Всего было взято 17 интервью с женщинами, проживавшими в Санкт-Петербурге и имевшими опыт бездомности. Возраст информанток составил от 31 до 71 года; из них только у двух высшее образование, у четырех — среднее специальное; три женщины приехали в Санкт-Петербург из других городов России, четыре — из стран СНГ; десять женщин на момент интервью проживали в приютах благотворительных организаций, три снимали комнаты, одна женщина сначала жила в приюте, потом съехала в хостел, одна информантка жила в хостеле после того, как не смогла оплачивать съемную квартиру после потери работы из-за пандемии коронавируса; одна информантка проживала в заброшенном доме, одна — не имела определенного места для ночлега и ночевала «где придется».

Этические нормы исследования

В своем исследовании я руководствовалась принципом анонимности. Анонимность была соблюдена посредством использования псевдонимов в транскриптах и цитатах. Фотографии, которые я делала в ходе наблюдений, были сделаны с согласия информанток, без фотографирования их лиц. Вся информация, содержащая личные данные участниц (включая аудио, транскрипты), защищена паролями и хранится в одном месте.

В ходе интервью затрагивались сензитивные для информанток темы. В данном случае я выступала как эмпатичный слушатель, без своего оценочного мнения, советов или комментариев. Перед интервью я также делала акцент на том, что участницы исследования в праве не отвечать на сложные для них вопросы. Для того, чтобы максимально не нарушать границы своих информанток и не навредить им, я консультировалась с психологами благотворительной организации «Ночлежка», которые имели длительный опыт работы с бездомными женщинами. Все женщины были проинформированы о записи интервью на диктофон, было получено вербальное согласие на запись и использование материалов в исследовании на правах анонимности.

Собранные в ходе исследования интервью были дословно затранскрибированы. Анализ полученных эмпирических данных выполнен методом открытого кодирования в логике обоснованной теории (версия А. Стросса и Б. Глейзера), с применением элементов нарративного анализа.

Дом, которого нет: повседневные практики бездомных женщин

Женщины, имеющие опыт проживания на улице, ночевали чаще всего в подвалах, на чердаках и в заброшенных домах. Далее речь пойдет о тех женщинах, которые проживают «на улице», а не в приютах благотворительных организаций.

В данном случае «дом» — это физическое место, жилье, за которым надо следить и обустраивать. Поиск подходящего жилья занимает важное место в жизни бездомных — чем надежнее будет «дом», тем дольше можно будет в нем прожить. Идеальное место для жизни в принципе мало чем отличается от обычных условий, привычных для большинства людей — наличие горячей и холодной воды, электричество или возможность его проведения, возможность быть незамеченными жителями подъезда, отсутствие других бездомных. Чаще всего поиском жилья занимался партнер, с которым была женщина. Ввиду небольшой выборки сложно судить, с чем связан этот выбор, с опытом партнера или с тем, что в данных случаях мужчины играют роль добытчиков и в случае чего могут действовать с позиции силы (например, выгнать чужаков).

Нет, я, конечно не выбирала, Серега выбирал. Знал все подвалы, потому что он когда токсикоманил же, с пакетом там ночевал, там нальет, по подвалам бегаёт, так-то по улице не пойдешь. Ну что, они же все одинаковые, здесь я вот не знаю ни чердаки, ни подвалы. (Интервью № 3, Наталья Алексеевна, стаж бездомности 19 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Количество жильцов в подвале или на чердаке жилого дома должно быть не больше трех, максимум четырех человек. Чем больше людей, тем больше вероятность оказаться замеченными жильцами подъезда. Если тебя заметят, то, скорее всего, придется уходить и искать новое жилье.

Вдвоем намного лучше. Во-первых, смотря какие условия. Компания это уже просто можно отдохнуть. Это днем. Мы же все равно общались. Днем там компанией можно посидеть. Там, где-то на поляне, уйти куда-то, допустим. А вот насчет ночи, чтоб зайти в парадную, это лучше вдвоем. Намного. Во-первых, он меня предупреждает, я его предупреждаю. Где тише, где что, а если толпой вот так... (Интервью № 15, Ольга, 67 лет, стаж бездомности 19 лет, на момент интервью проживала в приюте)

В заброшенных домах количество жильцов может быть больше и зависит от его размера, количества помещений. Так, в большом заброшенном доме на Римского-Корсакова на момент исследования проживало более десяти бездомных: несколько пар, несколько одиночек и группа из нескольких мужчин, державшихся вместе. Все жили обособленно, в отдельных комнатах, было специальное помещение для туалета и общая комната-столовая, чтобы зайти к кому-нибудь в комнату, нужно было стучать. Несмотря на обособленность, существуют практики отмечания общих праздников, застолья. Очень развита коммуникационная сеть: если в другом конце дома поселился человек, об этом всем станет известно, как правило, в течение дня.

Существуют строгие правила проживания: адекватное поведение, соблюдение тишины (если это подвал или чердак), чистота. Нарушение этих правил критично для всей группы — шумом можно привлечь внимание жильцов, которые могут вызвать полицию и выселить бездомных.

Информант: Они запалили нам все.

Интервьюер: Как запалили?

Инф.: Кричали. Там девочка, ей 20 лет. Она постоянно со своим дерется, ругается. У нее нет такого — пришла, сидит дома, не выходит никуда. Там же через подъезд в подвал заходить, люди-то видят. Вот они начинают драться, ругаться, визги, пiski. И все. В подъезде-то все слышно. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

«Чтобы быть незаметными, бездомные, проживающие в заброшенных домах, селятся как можно дальше и глубже в доме — чем тяжелее попасть на „обжитый“ этаж, тем лучше. Чтобы попасть к бездомным, проживающим в заброшенном доме, мне и моему проводнику пришлось залезать в маленькое окно, спрятанное за защитной зеленой сеткой (дом в аварийном состоянии), подниматься по полуразрушенным лестницам без перил и обходить старый холодильник, расположенный посередине коридора так, что остается только один маленький проход у стены, недостаточный по размерам для того, чтобы через него прошел взрослый мужчина» (Дневник наблюдений, 05.11.2019). То есть чтобы попасть к этим бездомным, нужно было действительно хотеть к ним попасть и знать точно, на каких этажах они живут. В другом заброшенном доме действовала целая оповестительная система — вдоль пола протягивалась веревка с банками и бутылками, чтобы было слышно, когда идет кто-то незнакомый.

При описании своего жилья многие информантки акцентируют внимание на привычных для всех бытовых вещах, делая свой дом как бы «нормальным», отличным от стереотипного жилья бездомного. Бытом, как правило, в бездомных семьях занимается женщина, задача мужчины — сделать электричество, настроить систему умывания при возможности, а также обеспечивать безопасность. Женщина обычно готовит и убирается.

Нет, нет, заходили в гости, но не так... я знаю, дофига таких знакомых, которые живут по десять человек и больше. Нет, мы жили только вдвоем. За еду там посидим, выпьем, покурим, вот так. То есть никто у нас не ночевал, никакого бомжатника не было. У меня была плитка, у нас был холодильник. <...> И вода есть, свет, и горячая, и холодная вода, естественно. Телевизор был, плитка тоже, кровать у нас там была, я готовила, все то же самое, как дома, только что да, вот трубы там, комнатуха там у нас была... то есть все такое необходимое. (Интервью № 3, Наталья Алексеевна, 51 год, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Интересно, как в этом отрывке просматривается символическое отделение себя от других, «бомжей». Именно дом и организация быта: поддержка порядка, чистоты, гигиена, — становятся основой такого разделения, нормализации. Можно выделить следующие стратегии нормализации быта: зонирование пространства, оборудование пространства мебелью и бытовой техникой, заведение домашних животных, соблюдение норм, принятых для домашних условий (например, вытирать ноги при входе).

Пространство зонировается, как в обычном доме: есть отдельно спальни, общее место — гостиная, отдельно место для туалета. Женщины в интервью и беседах подчеркивают, что создание таких бытовых условий делает их обычными людьми.

Нет, у меня было в комнатухе аккуратно, я подметала то есть, вот так же кидала бумажки, как кидают в мусорный пакет. А [не] так вот, знаешь, раз ты в подвале, значит можно вот так кидать, и срать, и ссать там, где живешь. Туалет у нас отдельно, там мы ходили. В этом плане у нас было все аккуратно. Стирала я белье — то же самое, как дома, все было. (Интервью № 3, Наталья Алексеевна, 51 год, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Именно зонирование пространства дает женщине возможность получить большую приватность и свое пространство. Так, Нина жила вместе со своим партнером в отдельной комнате, у нее было отдельное место для приготовления пищи и туалетный столик с косметикой (см. рис. 1, 2). Она не пользовалась средствами, но ей было важно подчеркнуть, что это все у нее есть, как у нормальной женщины.

Инф.: Я не пользуюсь, я не крашусь вообще.

Инт.: А зачем они тебе здесь?

Инф.: Все равно надо. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)



Рис. 1. Туалетный столик информантки Нины

Оборудование пространства мебелью и техникой (зачастую нерабочей) создает ощущение настоящего «дома» и уюта. «Нина рассказала, как однажды они принес-

ли в подвал, в котором проживали, телевизор с разбитым экраном, поставили его посередине помещения, как в обычных гостиных, и использовали в качестве светильника» (Дневник наблюдения. 13.11.2019). Для Нины и ее партнера было важно подчеркнуть, что они поставили его не где-нибудь, а именно в центре комнаты, как делают в обычных домах.



Рис. 2. Место для приготовления пищи в «гостиной»

Домашние животные, вероятно, также являются признаком домашнего уюта и обустроенности, служат нормализации быта.

Это мы жили в подвале на Лермонтовском, у нас котеночек маленький был, он только со мной спал, меня только любил. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

Гигиена, использование косметики — важная практика в нормализации быта бездомных женщин. Регулярно мыться, быть одетым в чистую одежду значит быть «нормальным», «небомжом». Рассказывая про места, в которых жили, одним из преимуществ женщины сразу называют наличие горячей и холодной воды, то есть возможность, регулярно мыться.

Вы понимаете, которые приходят бомжи утром, я от них в шоке. То есть я, конечно, себя сравниваю, я не ходила такая сраная и грязная. Помойки здесь понастроили, мы одевались с помойки то есть, люди в магазине меня спрашивали: «Наташ, а где ты вещи берешь?» Я говорю: «С помойки». (Интервью № 3, Наталья Алексеевна, 51 год, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Если в пространстве, где живут бездомные, нет водопровода, то вода берется из туалетов торговых центров, заправок и других общественных мест. Там же можно и привести себя в порядок. Опрятный внешний вид — это ресурс, помогающий в получении помощи. Если ты не выглядишь как стереотипный бездомный, нормально пахнешь, то люди охотнее тебе помогут и в целом будут лучше к тебе относиться. В чистой одежде легче найти хорошую работу, тебя пустят в метро и другие общественные места.

Инт.: А ты была в рабочем доме? Расскажи.

Инф.: Я сама туда обратилась, чтобы выспаться, подмыться, прийти в себя, ну, нормально чтобы устроиться на работу. Кому ты грязный, вонючий нужен? И, естественно, я туда обратилась. (Интервью № 4, Аня, 35 лет, стаж бездомности больше 20 лет, на момент интервью проживала в приюте, в дальнейшем съехала в хостел)

С менструациями у большинства бездомных женщин нет проблем, потому что в силу сложных условий проживания, плохого питания и стресса их нет. Если же менструальный цикл сохраняется, то пользуются сподручными средствами — тряпками, бинтами. Гигиенические средства слишком дорогие и используются только если их получили откуда-то «извне», как благотворительную помощь. Разговор о детях — достаточно сензитивная тема, женщины, проживающие на улице или в приютах, не имеют возможности жить со своими детьми, поэтому неохотно и скупо рассказывают про своих детей. Беременности во время жизни на улице были у нескольких информанток. У Марины и Нины новорожденных детей отобрали сразу в роддоме. У Марины есть родственники в другом городе, ее бездомность носит эпизодический характер, она хочет вернуть своего ребенка и постоянно говорит об ситуации. Нина, долгое время проживающая в заброшенном доме, не имеющая никаких привязок к внешнему миру, отнеслась к ситуации как к тому, что она не в силах изменить:

Мне сразу сказали — не отдадим, у тебя ни прописки, ничего нет, куда ты его денешь? (Интервью № 2. Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

«Мне показалось, что если бы Нине помогли, если бы в больнице к ней отнесли по-доброму, то, возможно, она бы не отказалась от помощи благотворителей и смогла бы уйти с улицы. Равнодушие в больнице, возможно, сделало ее еще более недоверчивой к остальным людям» (Дневник наблюдения, 13.11.2020). Беременность может служить ресурсом для женщин. Если ты беременна, то тебе охотнее помогут. Благотворительные организации в первую очередь помогают беременным бездомным женщинам — за помощью для них можно обратиться в другие профильные организации, для беременных и женщин с детьми можно быстрее собрать необходимую благотворительную сумму, например на съем комнаты, еду и одежду. Так, Вера, оказавшая на улице беременной, прожила там полтора месяца, после чего ей и ее мужу сняли комнату, полностью оплатили обследование в больнице и обеспечили всем необходимым для ребенка.

Маркеры «дома» имеют ограничения: ты не можешь покрасить стены, поклеить обои, особенно если жилье расположено на чердаке или в подвале. «Дом» бездомного имеет свой срок существования — как правило, не больше года-двух, что зависит от местоположения (в заброшенных домах живут дольше, чем на чердаках или в подвалах) и отношений с соседями — жильцами этого дома.

В приютах повседневные практики строятся вокруг ресоциализации проживающих. У каждого жильца есть четкий план, которому он должен следовать: восстановление документов, поход по врачам, прохождение собеседований для поиска работы, работа с психологом.

Я в больнице лежала, и потом мне нужно паспорт российский и гражданство. И потом они меня согласовали и сюда подобрали меня. Сказали, что здесь помогут. (Интервью № 8, Лариса Максимовна, стаж бездомности 2 года, на момент интервью проживала в приюте)

Женщины живут в общих комнатах, свое пространство ограничивается кроватью и тумбочкой, приватность отсутствует.

Да... как сказать... одна какая-нибудь крыса вот заведется наподобие этой. Ни покоя никакого нет. Ходит, сигареты собирает. Ходит, по ночам ползает. Кушает по ночам, чавкает. Шуршит этими, пакетами. Покоя никакого нет! Мы несколько дней не высыпаемся из-за нее (Интервью № 13, Елена, 59 лет, стаж бездомности больше 20 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Приюты рассматриваются как временное место для жизни, из которого нужно побыстрее уйти. Жизнь в них строится по определенному администрацией расписанию, за нарушение правил из приютов выгоняют.

В поисках дома: стратегии выживания и практики самообеспечения среди бездомных женщин

Можно выделить следующие стратегии выживания бездомных женщин: обеспечение собственной безопасности, самообеспечение (поиск ресурсов, заработок), общение с «другими».

Безопасность для женщины на улице играет важную роль. Ни одна из моих информанток, чей стаж бездомности был больше месяца, не жила на улице одна: либо у нее появлялся партнер-компаньон (в нескольких случаях это была подруга-женщина), либо она попадала в приют благотворительной организации, не успев за короткое время обзавестись социальными связями на улице.

На улице одной тяжело, это я сразу говорю. Одна не выживешь. А вдвоем это надо, чтобы конкретный был человек, чтоб можно было ему довериться как бы полностью. (Интервью № 15, Ольга, 67 лет, стаж бездомности 19 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Сложно сказать, насколько такие связи прочны и длительны, но каждая информантка в беседах называла своего мужчину «мужем», при этом они не состояли в официальном браке. Возможно, это говорит также о желании нормализовать

свое положение. Нина рассказала, что до жизни с нынешним партнером у нее был другой, которого она заменила, когда его посадили в тюрьму.

В этой жизни одной бабе тяжело выжить, нужно, чтобы кто-то защищал, поддерживал, заботился. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

Алкоголь в нарративах бездомных женщин описывается как необходимость, как способ совладания с бездомностью. Также он используется для растирания ног, дезинфекции.

...А вот то, что на улице оказалась. Вот там, да. Там без этого не выживешь. Я это на себе испытала. Я не то что, там, надо в хлам выпить, сам себя не помнишь, а то, что надо грамм 150 маленькую за целый день, вот сколько там 250 грамм, этого достаточно, чтобы выпить, разогреться, организм чтобы согрелся. Этого достаточно. (Интервью № 15, Ольга, 67 лет, стаж бездомности 19 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Еду бездомные собирают на помойках или у продуктовых магазинов. Для того чтобы получить наиболее ценные продукты, нужно знать определенное время и место, когда у супермаркетов выкидывают просроченные товары.

Кушать — я объяснила. По субботам на Адрес 1 кормят, а по средам мы ходим на Адрес 2. Там в 7 часов кормят. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

У женщин бывают мелкие непостоянные заработки. На рынках можно подружиться с владельцами лавок, помогать им уборкой или мелкими поручениями за еду, но за такую подработку, как правило, действует большая конкуренция (по материалам дневников наблюдений). Женщины чаще, чем мужчины, занимаются попрошайничеством.

Люди помогали и помогают до сих пор. До сих пор помогают. Я вот туда прихожу, сижу просто, могу с кошкой сидеть. Или просто могу закрыть глаза, отвернусь или просто посмотрю, как будто что-то ищу. У меня полгорода... Я уважаемый человек. Это значит, потому что я за собой слежу. И они мне дают. Ну, бывает, что мелочевку, бывает, что так. Вот на это я живу. (Интервью № 9, Марина, стаж бездомности больше 15 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Как правило, милостыню просят у церквей и у переходов в метро. Женщины, занимавшиеся попрошайничеством, рассказывали про беременность как преимущество перед остальными, когда просишь милостыню.

*Инф.: Я в [место] стояла на паперти пять лет, там очень много денег.
Инт.: Сколько в день примерно можно заработать?*

Инф.: Мне везло тем, что я сначала беременная была. Вот так в общем у меня штука-полторы было. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

Отдельный заработок приносит сбор металлолома и обмен ценных вещей, найденных на помойках. Однако здесь тоже есть большая конкуренция, многие места сбора уже заняты отдельными группами бездомных, и новеньких не пускают. Вещи, найденные на помойках, можно не только обменять на что-то полезное, но и подарить друг другу внутри своей группы, с которой живешь. Нина рассказывала, что ей делают подарки ухаживающие за ней мужчины.

Инф. м2 (мужчина — сосед по заброшенному дому, бывший партнер Нины, которого она поменяла, когда он сел в тюрьму): А так по улице выручают все, есть люди хорошие, находим много чего, вот эти телефоны (показывает на мой) отдыхают. И золото, и все. Мне на день рождения Руслан подошел, дай бог ему здоровья, мы сидели с похмелья. Ванька, протяни руку. Протянул. Он мне хуяк, иди.

Инф.: Золотую цепочку подарил. Я тоже сколько находила. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

Мелкие кражи также входят в практики бездомных, но чаще как крайняя мера в «голодные» время, так как кражи — это определенный риск.

Металл я собирала, банки, бутылки... бутылки — нет, тяжелые, банки и что-то находили из вещей, так просто я в скупку продавала. На рынке не воровала, потому что не умею, о чем сожалею. Надо учиться. Кого-то взять в учителя. Вот. (Интервью № 3, Наталья Алексеевна, 51 год, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Отношения с «другими», не относящимися к бездомным, строятся по принципу «полезный/неполезный». С жильцами дома, в подвале или на чердаке которого живут бездомные (это могут быть и жители соседнего, жилого дома, если бездомные живут в заброшенном доме), нужно вести максимально неприметно, чтобы не создавать проблем.

Ну, на чердаке там горячая в одном месте была, холодная в другом. У нас ванная там была, не знаю, каким чудом они ее принесли. Мы в ней стирали. Но только днем, ночью было все слышно. А днем там даже девочка этажом ниже пела, и мы слышали, и стирали. Никто не знал, что мы живем там, Мы, наверное, наоборот, ждали пока что все уйдут, заснут, чтобы пройти. О нас знали только антенщики, удивлялись, какие у нас условия. Один там перепил и пришел к нам. (Интервью № 4, Аня, 35 лет, стаж бездомности больше 20 лет, на момент интервью проживала в приюте, в дальнейшем съехала в хостел)

С дворниками, работниками коммунальных служб нужно дружить, по возможности помогать. Только так тебя могут не выгнать из обжитого места.

Гоняли! То дворники придут, с дворниками находили общий язык. А есть некоторые — выгоняют. Все, иди куда хочешь. (Интервью № 15, Ольга, 36 л., стаж бездомности 19 лет, на момент интервью проживала в квартире мужа)

При более удачном стечении обстоятельств через дворников можно найти работу и даже жилье. Так, продолжая свой рассказ про дворников, Ольга рассказывает, как, познакомившись с дворником и завязав с ней дружеские отношения, ей удалось уйти с улицы на долгое время.

И она говорит: «Хотите подхалтурить? Ну, работу делать. Деньги нужны?» — «Нужны». Ну, я сама такой человек, я работы не боюсь. (Интервью № 13, Елена, 59 лет, стаж бездомности больше 20 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Также полезными могут оказаться знакомства с местными жителями — одинокими пожилыми людьми и людьми с алкогольной зависимостью. Первые за общение могут делиться своей пенсией, пускать в дом помыться; у вторых также можно мыться и какое-то время оставаться пожить.

Сегодня бабушку надо выгулять, у бабушки пенсия сегодня. (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

«Неполезные» — люди, гуляющие по заброшенным домам, случайные прохожие, подростки, которые могут залезть, обворовать или просто устроить бардак. От них принято прятаться, располагать жилые помещения как можно дальше от входа и в случае чего защищать свой «дом».

Инт.: Что вы делаете, чтобы сюда никто не залез?

Инф.: Кого ловим, пиздим, а что делать-то. Я на утро оставила шкалик, просыпаюсь, целый контейнер салата сделала, все, нету (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

Без дома: способы совладания с бездомностью среди женщин

Способы совладания бездомных женщин со своей ситуацией, как правило, зависят от того, сколько времени они провели на улице. Чем дольше женщина находится на улице, тем больше у нее появляется социальных связей, способов заработка и поиска пропитания, вариантов для ночлега и тем меньше она будет стремиться вернуться к общепринятой жизни. Я выделяю способы совладания с бездомностью в зависимости от срока бездомности.

Как только женщина попадает на улицу (особенно если это происходит резко, например в результате несчастного случая), она оказывается в нестандартной, стрессовой для себя ситуации.

Я ниче не думала, я была в шоке. Да я вообще не знала, что мне делать. Это было ужасно (начинает плакать). Я еще потом... эта женщина подошла, сказала мне, куда идти, но это уже поздно было, все было закрыто. И я всю ночь ходила по улицам бродила. Вообще ужасно! Холодно... вообще жесьть. (Интервью № 10, Саша, 31 год, стаж бездомности год, на момент интервью проживала в приюте)

В данной ситуации человек дезориентирован, полагается на волю случая.

И где-то неделю я была на вокзале, потом ко мне подошел мужик какой-то, я его очень боялась, он всю неделю на меня пялился-пялился, я думала, какой-то маньяк. Вот. Потом он ко мне подошел и сказал: «Воробушек, ты тут, говорит, погибнешь». Вот тебе типа номер телефона, адрес. Ты, говорит, поезжай туда, там тебе помогут. Вот, и я туда поехала, это называется... «Ночлежка». (Интервью № 11, Галя, 36 лет, стаж бездомности несколько месяцев, на момент интервью проживала в приюте)

У женщин изначально не было ресурсов для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией — не было ни возможности обратиться к родственникам или друзьям, ни работы, ни денег на первое время, поэтому они просто отправились «бродить» по городу или в места, где много людей (например, Галя пошла на вокзал, где ей и подсказали, куда можно обратиться за помощью). Ситуация представляется им ненормальной, и они стремятся выйти из нее как можно скорее, в том числе обращаясь за любой помощью (например, в благотворительные организации).

Другая стратегия, которую выбирает большинство информанток, — использование своего социального капитала для поиска дома, то есть обращение к родственникам и друзьям.

Жила... на улице. Ну... первое время жила у знакомых. У соседей, у знакомых. У кого неделю, у кого две, у кого месяц жила вот так вот. Ну... люди выручали просто-напросто. Вот. Кто подкармливал, кто одежду, все это... Помогали кто чем мог. Вот. В общем, я работала маленько. (Интервью № 13, Елена, 59 лет, стаж бездомности больше 20 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Если во время проживания у родственников и друзей женщина не может восстановить свои прежние ресурсы (восстановить документы, устроиться на работу), она снова оказывается в ситуации бездомности. Здесь женщины могут использовать то, что некоторые исследователи женской бездомности называют «женским капиталом» [Skeggs, 2001], то есть тело, секс, на который можно обменять проживание у мужчины. Некоторые информантки рассказывают, как, чтобы избежать уличной жизни, жили с мужчинами, у которых было жилье.

Выгнал, но до этого я жила... год у него... А потом уже после года, я уже... не жила с ним. Вот так я блуждала, ходила, ходила. Потом ухаживала за человеком 12 лет, который умер. (Интервью № 9, Марина, стаж бездомности больше 15 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Также женщины могут искать работу, предусматривающую проживание. Например, работа дворником или уход за пожилыми людьми и инвалидами. Данная работа стереотипно маркируется как «женская».

Она говорит: вот я комнату дам, живи, говорит, только ухаживай за мной. Она сама больная, ходить не может. Ей надо было подмыть ее, умыть, вот так вот. Покушать сварить, принести. Она вот на одном месте лежала, переворачиваться, полненькая, переворачивать. Ну, у нее пролежни пошли, ухаживать за ней. (Интервью № 12, Лидия, 67 лет, стаж бездомности 3 года, на момент интервью проживала в приюте)

Женщины, прожившие на улице от полугода, постепенно адаптируются к ситуации, создают себе приемлемые для жизни условия — находят место для ночлега, компаньона-партнера, с которым будет безопасно, осваивают новые способы заработка (например, попрошайничество, сбор металлолома). В данных случаях способ совладания с бездомностью — нормализация и создание дома там, где его нет:

Дом, который мы оборудовали и живем, это уже дом для нас получается, правильно? (Интервью № 2, Нина, 42 года, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в заброшенном доме)

В государственные и благотворительные организации, помогающие бездомным, женщины обращаются в двух случаях: когда стаж бездомности совсем небольшой и в случае серьезных проблем со здоровьем — когда жить на улице и поддерживать прежний уровень жизни становится невозможно.

На улице спала позапрошлым летом. Скорую соседи уже вызвали, когда у меня полностью отказали ноги, недели две мучали, потом отказали полностью. Вот соседи вызвали мне скорую. Скорая меня уже в больницу, я в Боткина лежала, потом приехали сестры (милосердия) за мной. Я попала на Жуковского в Дом милосердия, там была, потом прошла реабилитацию в «Доме на горе». Не пью сейчас. Ну. (Интервью № 3, Наталья Алексеевна, 51 год, стаж бездомности 17 лет, на момент интервью проживала в приюте)

Заключение

Бездомные стремятся воссоздать дом в условиях, которые им доступны. Для этого они используют бесхозные помещения, изначально не предназначенные для проживания, и помещения, которые когда-то были жилыми. Иногда в качестве дома могут использоваться самодельные шалаши, однако информантки отмечают, что они недолговечны и могут стать мишенью для вандалов, соответственно, небезопасны.

В этом «доме» женщины стремятся в первую очередь обеспечить свои базовые потребности — в гигиене и тепле. Для этого они совместно с партнерами или компаньонами проводят электричество, подсоединяются к водопроводу дома, находят базовые вещи — кровати, посуду, плиту и так далее.

Одновременно с появлением «дома» возникают личные границы «дома» и семьи, которая там проживает. Бездомные ходят друг к другу в гости, принося обязательные атрибуты дружеских посиделок: алкоголь, сладкое, другие подарки. У бездомных распространена практика дарения найденных вещей.

Бездомные женщины по-разному организуют свою жизнь и прибегают к различным стратегиям выживания в ситуации бездомности, среди которых: использование «женского капитала», социальных связей и ресурсов, общественных пространств, поиск мужчины, обращение за помощью в благотворительные организации и другие. На разных этапах ситуации бездомности женщины используют различные стратегии выживания.

Оказавшись на улице, бездомные стремятся воссоздать дом в условиях, которые им доступны. Для этого они используют бесхозные помещения, самодельные шалаши. В этом доме, в первую очередь, женщины стремятся обеспечить свои базовые потребности — потребность в гигиене и тепле. Другие вещи маркируются как нормализующие дом. Они не нужны для выживания, но важны для нормализации своей жизни. Среди таких вещей можно выделить неработающий, но нужный в «доме» телевизор, туалетный столик как атрибут женской повседневности, а также ванна — необязательный, но желаемый маркер «дома». Бездомные заводят животных, которые для них становятся домашними. Им присваивают клички, кормят, делают лежанки.

Маркеры дома имеют ограничения вследствие того, что дом бездомного имеет свой срок существования. Как правило, не больше года, двух лет и зависит от местоположения (в заброшенных домах живут дольше, чем на чердаках или подвалах) и отношений с соседями — жильцами этого дома.

В ходе исследования выявлены три способа совладания с бездомностью: обращение за помощью в благотворительные организации; обращение за помощью к родственникам и друзьям; нормализация жизни на улице. Однако, в зависимости от ситуации, женщина может использовать несколько способов, особенно если бездомность носит эпизодический характер.

Партнерство как одна из стратегий бездомности выявилось в нарративах многих участниц исследования. Бездомные женщины могут вступать в партнерства как с женщинами, так и с мужчинами, но во время жизни на улице именно мужчины чаще становились партнерами моих информанток. Жизнь с партнером-мужчиной в обмен на жилье описывают многие зарубежные исследователи (например, [Evans, Forsyth, 2004]).

Изучая женскую бездомность, многие ученые источником дохода бездомных женщин называют секс-работу [Watson, 2000]. В моем же исследовании ни одна из информанток не называла данный вид заработка в своем опыте выживания на улице. Эксперты также подтверждают, что в России среди бездомных женщин занятия проституцией не распространены (но этот тезис нуждается в дополнительных исследованиях).

Несмотря на то, что мной были выделены общие стратегии выживания, совладания и адаптации к бездомной жизни, следует сказать, что бездомные женщины остаются гетерогенной группой: каждая бездомная женщина переживает свой собственный опыт бездомности. В моем исследовании представлены не все группы

бездомных женщин, не рассмотрена ситуация скрытой бездомности, нет опыта бездомных матерей, проживающих на улице с детьми. Для того чтобы полнее охватить опыт женской бездомности, необходимо проводить дальнейшие исследования.

Список литературы (References)

Алексеева Л. С. Бездомные в России // Социологические исследования. 2003. № 9. С. 56—62.

Alexeeva L. S. (2003) The Homeless in Russia. *Sociological Studies*. No. 9. P. 56—62.

Коваленко Е. А., Строкова Е. Л. Бездомность: есть ли выход? М.: Фонд «Институт экономики города», 2010.

Kovalenko E. A., Strokovaya E. L. (2010) Homelessness: Is There a Way Out? Moscow: The Institute for Urban Economics. (In Russ.)

Социальные и правовые аспекты проблемы бездомности в России. По материалам межрегионального исследования. СПб., 2007.

Social and Legal Aspects of the Problem of Homelessness in Russia. Based on the Materials of an Interregional Study (2007) Saint Petersburg. (In Russ.)

Социологический портрет бездомного (по данным межрегионального исследования «Правовые и социальные аспекты проблемы бездомности», 2006 год) // Бездомность в современной России: проблемы и пути их решения. Вестник межрегиональной сети «За преодоление социальной исключенности». Вып. 1. СПб., 2008. Sociological Portrait of a Homeless Person (According to the Data of the Interregional Study “Legal and Social Aspects of the Problem of Homelessness”, 2006) (2008) *Homelessness in Contemporary Russia: Problems and Ways to Solve Them. Bulletin of the Interregional Network “For Overcoming Social Exclusion”*. Vol. 1. Saint Petersburg. (In Russ.)

Anderson N. (1923) *The Hobo: The Sociology of the Homeless Man*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Austerberry H., Watson S. (1981) A Woman’s Place: A Feminist Approach to Housing in Britain. *Feminist Review*. Vol. 8. No. 1. P. 49—62. <https://doi.org/10.1057/fr.1981.11>.

Austerberry H., Watson S. (1983) *Women on the Margins: A Study of Single Women’s Housing Problems*. London: Housing Research Group.

Burt M. R., Cohen B. E. (1989) Differences Among Homeless Single Women, Women with Children, and Single Men. *Social Problems*. Vol. 36. No. 5. P. 508—524. <https://doi.org/10.2307/3096815>.

Bird M., Rhoades H., Lahey J., Cederbaum J., Wenzel S. (2017) Life Goals and Gender Differences Among Chronically Homeless Individuals Entering Permanent Supportive Housing. *Journal of Social Distress of Homeless*. Vol. 26. No. 1. P. 9—15. <https://doi.org/10.1080/10530789.2016.1274570>.

Casey R., Goudie R., Reeve K. (2008) Homeless Women in Public Spaces: Strategies of Resistance. *Housing Studies*. Vol. 23. No. 6. P. 899—916. <https://doi.org/10.1080/02673030802416627>.

- Easthope H. (2004). A Place Called Home. *Housing, Theory and Society*. Vol. 21. No 3. P. 128—138. <https://doi.org/10.1080/14036090410021360>.
- Edgar B., Doherty J. (2001) Women and Homelessness in Europe. Pathways, Services and Experiences. Bristol: The Policy Press.
- Evans R., Forsyth C.J. (2004) Risk Factors, Endurance of Victimization, and Survival Strategies: The Impact of the Structural Location of Men and Women on Their Experiences Within Homeless Milieus. *Sociological Spectrum*. Vol. 24. No. 4. P. 479—505. <https://doi.org/10.1080/02732170390260413>.
- Finfgeld-Connett D. (2010) Becoming Homeless, Being Homeless, and Resolving Homelessness Among Women. *Issues in Mental Health Nursing*. Vol. 31. No. 7. P. 461—469. <http://dx.doi.org/10.3109/01612840903586404>.
- Gilfus M.E. (2006) From Victims to Survivors to Offenders: Women's Routes of Entry and Immersion into Street Crime. In: Alarid L., Cromwell P. (eds.) *Her Own Words: Women Offenders' Views on Crime and Victimization*. Los Angeles, CA: Roxbury. P. 5—14.
- Höjdestrand T. (2009) Needed by Nobody: Homelessness and Humanness in Post-Socialist Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hoolachan J. (2016) Ethnography and Homelessness Research. *International Journal of Housing Policy*. Vol. 16. No. 1. P. 31—49. <https://doi.org/10.1080/14616718.2015.1076625>.
- Kaika M. (2004) Interrogating the Geographies of the Familiar: Domesticating Nature and Constructing the Autonomy of the Modern Home. *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 28. No. 2. P. 265—286. <https://doi.org/10.1111/j.0309-1317.2004.00519.x>.
- Klitzing S.W. (2003) Coping with Chronic Stress: Leisure and Women Who Are Homeless. *Leisure Sciences*. Vol. 25. No. 2—3. P. 163—181. <https://doi.org/10.1080/01490400306564>.
- Klodawsky F. (2009) Home Spaces and Rights to the City: Thinking Social Justice for Chronically Homeless Women. *Urban Geography*. Vol. 30. No. 6. P. 591—610. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.30.6.591>.
- Lawrence M. (1995) Rural Homelessness: A Geography without a Geography. *Journal of Rural Studies*. Vol. 11. No. 3. P. 297—307. [https://doi.org/10.1016/0743-0167\(95\)00025-I](https://doi.org/10.1016/0743-0167(95)00025-I).
- Lenon S. (2000) Living on the Edge: Women, Poverty and Homelessness in Canada. *Canadian Woman Studies*. Vol. 20. No. 3. P. 123—126.
- Mallett S., Rosenthal D., Keys D. (2005) Young People, Drug Use and Family Conflict: Pathways into Homelessness. *Journal of Adolescence*. Vol. 28. No. 2. P. 185—199. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.02.002>.
- Mayock P., Bretherton J. (eds.) (2016) Women's Homelessness in Europe. London: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-54516-9>.

Malos E., Hague G. (1997) Women, Housing, Homelessness, and Domestic Violence. *Women's Studies International Forum*. Vol. 20. No. 3. P. 397—409. [https://doi.org/10.1016/S0277-5395\(97\)00023-X](https://doi.org/10.1016/S0277-5395(97)00023-X).

Massey D. B. (1995) The Conceptualization of Place. In: Massey D. B., Jess P. (eds.) *A Place in the World? Places, Cultures and Globalization*. Oxford; New York, NY: Oxford University Press. P. 45—85.

Moore J. (2007) Polarity or Integration? Towards a Fuller Understanding of Home and Homelessness. *Journal of Architectural and Planning Research*. Vol. 24. No. 2. P. 143—159.

Moore R. (2014) Coping with Homelessness: an Expectant Mother's Homeless Pathway. *Housing, Care and Support*. Vol. 17. No. 3. P. 142—150. <https://doi.org/10.1108/HCS-02-2014-0002>.

Oudshoorn A., Berkum A. V., Loon C. V. (2018) A History of Women's Homelessness: The Making of a Crisis. *Journal of Social Inclusion*. Vol. 9. No. 1. P. 5—20. <http://doi.org/10.36251/josi.128>.

Özbilgin M. F., Beauregard T. A., Tatli A., Bell M. P. (2011) Work-Life, Diversity and Intersectionality: A Critical Review and Research Agenda. *International Journal of Management Reviews*. Vol. 13. No. 2. P. 177—198. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2010.00291.x>.

Padgett D. K. (2007). There's No Place Like (a) Home: Ontological Security among Persons with Serious Mental Illness in the United States. *Social Science & Medicine*. Vol. 64. No. 9. P. 1925—1936. <http://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.02.011>.

Passaro J. (1996) The Unequal Homeless: Men on the Streets, Women in Their Place. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315021690>.

Skeggs B. (2001) Feminist Ethnography. In: Atkinson P., Coffey A., Delamont S., Lofland J., Lofland L. (eds.) *Handbook of Ethnography*. London: Sage. P. 426—442.

Somerville P. (1992) Homelessness and the Meaning of Home: Rooflessness or Rootlessness? *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 16. No. 4. P. 529—539. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1992.tb00194.x>.

Takahashi L., McElroy J., Rowe S. (2002) The Sociospatial Stigmatization of Homeless Women with Children. *Urban Geography*. Vol. 23. No. 4. P. 301—322. <https://doi.org/10.2747/0272-3638.23.4.301>.

Watson S. (1984) Definitions of Homelessness: A Feminist Perspective. *Critical Social Policy*. Vol. 4. No. 11. P. 60—73. <https://doi.org/10.1177/026101838400401106>.

Watson S. (2000) Homelessness Revisited: New Reflections on Old Paradigms. *Urban Policy and Research*. Vol. 18. No. 2. P. 159—170. <https://doi.org/10.1080/08111140008727830>.

Wardhaugh J. (1999) The Unaccommodated Woman: Home, Homelessness and Identity. *The Sociological Review*. Vol. 47. No. 1. P. 91—109. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.00164>.

Wesely J. K. (2009) «Mom Said We Had a Money Maker»: Sexualization and Survival Contexts among Homeless Women. *Symbolic Interaction*. Vol. 32. No. 2. P. 91—105. <https://doi.org/10.1525/si.2009.32.2.91>.

Williams M. (2001) Complexity, Probability and Causation: Implications for Homelessness Research. *Journal of Social Issues*. Vol. 1. No. 2. URL: <http://www.whb.co.uk/socialissues/mw.htm> (accessed: 17.08.2020).

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.967



М. П. Оласиреги Родригес

**ПРОФИЛАКТИКА ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ:
МНОЖЕСТВО ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, ЕДИНЫЙ ДИСКУРС?***
/ пер. с исп. Н. Дормидонтовой, А. Кашина,
К. Персовой, Е. Яниной

Правильная ссылка на статью:

Оласиреги Родригес М. П. Профилактика гендерного насилия: множество точек зрения, единый дискурс? / пер. с исп. Н. Дормидонтовой, А. Кашина, К. Персовой, Е. Яниной // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 299—320. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.967>.

For citation:

Olaciregui Rodríguez M. P. (2020) The Multiple Voices around the Prevention of Gender Violence / transl. from Spanish N. Dormidontova, A. Kashin, K. Persova, E. Yanina. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 299—320. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.967>. (In Russ.)

* Оригинал статьи: Olaciregui Rodríguez M. P. (2017) Prevenir la Violencia de Género: Muchas Voces, ¿Un Discurso? *Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies*. Vol. 9. P. 46—64. Публикуется с разрешения автора. Перевод с испанского: Наталия Дормидонтова, Анатолий Кашин, Ксения Персова, Елизавета Янина. Переводчики благодарят Александра Кондакова, Люсеро Ибарру Рохас, Дарью Синицыну и Евгения Шторна за помощь в подготовке материала.

ПРОФИЛАКТИКА ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ: МНОЖЕСТВО ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, ЕДИНЫЙ ДИСКУРС? / пер. с исп. Н. Дормидонтовой, А. Кашина, К. Персовой, Е. Яниной

ОЛАСИРЕГИ Родригес Мария Пас — научный сотрудник юридического факультета, Университет Сарагосы, Сарагоса, Испания

E-MAIL: mpolaciregui@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2647-2060>

THE MULTIPLE VOICES AROUND THE PREVENTION OF GENDER VIOLENCE / transl. from Spanish N. Dormidontova, A. Kashin, K. Persova, E. Yanina

Maria Paz OLACIREGUI RODRIGUEZ¹ — Researcher, Faculty of Law

E-MAIL: mpolaciregui@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2647-2060>

¹ University of Zaragoza, Zaragoza, Spain

Аннотация. Органический закон 1/2004 о комплексных мерах защиты от гендерного насилия (LO 1/2004) предполагает формальное признание мужского шовинизма и связанного с ним насилия вопросом государственной важности в Испании, так как речь идет о нарушении прав человека. Такой вид насилия можно расценивать как результат исторически сложившегося неравноправия мужчин и женщин и постоянной дискриминации женщин, поэтому необходимо предпринимать комплексные меры и сделать ставку на профилактику. Спустя годы после принятия LO 1/2004 наше общество все еще страдает от последствий гендерного насилия. Задача по профилактике остается нерешенной на всех этапах, равно как отсутствует и исчерпывающая оценка применения этого закона. Цель настоящей работы заключается в формулировании критических замечаний о так называемой вторичной профилактике гендерного насилия, о трактовке этого понятия и его применении в различных сферах: социальной, правоохранительной и юридической.

Abstract. The Organic Act 1/2004 on Integrated Protection Measures Against Gender Violence (LO 1/2004) considers formal recognition of male chauvinism and gender-based violence as an issue of state concern in Spain, as it deals with violation of human rights. This sort of violence is understood as long-standing historical power imbalance between men and women and extensive discrimination against women, thus it requires comprehensive measures, especially preventive activities. Long after the Organic Act LO 1/2004 was adopted the Spanish society is still facing gender-based violence. Prevention is an unresolved issue at all the stages, as is any exhaustive evaluation of how the Act is being implemented. In this regard, this work aims to provide some critical ideas regarding the so-called “secondary prevention of gender violence”, and how this concept is interpreted and applied in different areas, such as social life, law enforcement and legal sector.

Ключевые слова: гендерное насилие, государственная политика, предотвращение, дискурс, риск

Keywords: gender violence, prevention, policy, discourse, state policy, risk

Введение

Органический закон¹ 1/2004 «О комплексных мерах по защите от гендерного насилия» (далее — ОЗ 1/2004) стал знаковым нормативным актом в национальном законодательстве Испании о борьбе с гендерным насилием. Само по себе признание мужского шовинизма и связанных с ним преступлений против женщин — позитивное изменение, так как оно способствовало разработке новых юридических, социальных и технических норм по расширению прав жертв гендерного насилия. Однако непрекращающиеся случаи гендерного насилия свидетельствуют о недостаточности предпринимаемых усилий. Еще в 2006 г. М. Кальво Гарсиа предупреждал, что без развития механизмов оперативного задействования людских и материальных ресурсов ОЗ 1/2004 приведет лишь к негативным последствиям [Calvo García, 2006]. Мы уже наблюдаем эти «негативные последствия», незаменимым инструментом для борьбы с ними остаются меры профилактики. В связи с этим мы приняли решение посвятить настоящее исследование этому направлению, ведь основные усилия правительства Испании сосредоточены именно на уровне вторичной, а не первичной или третичной профилактики.

Были изучены три ключевые сферы² данного этапа профилактики: юридическая, правоохранительная и социальная. В зависимости от набора полномочий и функций, а также от природы каждой из этих трех сфер выделяются конкретные стратегии и логика действий, которые иногда вступают друг с другом в противоречия. Это представляется особенно важным, поскольку женщина, пережившая насилие, будет иметь дело со всеми тремя сферами, решив подать заявление в полицию.

Цель настоящей работы — изучить и проанализировать дискурс, меры реагирования и полученные результаты по каждой из этих сфер в отношении профилактики, чтобы тем самым выявить точки соприкосновения и противоречий. Работа над последними в дальнейшем ляжет в основу новых скоординированных стратегий, которые позволят женщине (в случаях, когда это возможно) незамедлительно начать процесс реабилитации и расширения прав. В этих целях мы провели качественное исследование в период с апреля по июль 2016 г. в городах Сарагоса и Мадрид. Эмпирическую базу исследования составили 12 полуструктурированных интервью различных сторон для каждой из изученных сфер. Также была сформирована выборка мнений на основе научных и деловых встреч.

В ходе исследования учитывались такие критерии, как необходимость получить данные у сотрудников судебных и правоохранительных органов, социальных

¹ Закон, характерный для системы права в Испании. Принимается в специальном порядке по прямому предписанию конституции, а потому занимает пограничное положение между конституционными и обычными законами. — *Примеч. пер. Далее в неоговоренных случаях примечания принадлежат автору.*

² В настоящей работе под термином «сфера» понимается структура, состоящая из взаимосвязанных субъектов, ресурсов и стратегий.

работников, заслушать показания потерпевших³. Кроме того, мы стремились принимать во внимание сведения и статистические данные, собираемые и обновляемые различными учреждениями на национальном уровне, а также уровнях автономных областей и органов местного самоуправления.

Концептуальные рамки. Гендерное насилие и профилактика

В Испании в соответствии со статьей 1 ОЗ 1/2004 под гендерным насилием понимается насилие в отношении женщины со стороны нынешнего или бывшего супруга или другого лица, с которым ее объединяют аналогичные отношения, хотя совместно они не проживают. В настоящем исследовании мы будем придерживаться данного законодательно закрепленного определения, хотя, принимая во внимание современную действительность, нам представляется более целесообразным применение более широкого подхода, предусмотренного Стамбульской конвенцией (2011).

В Испании насилие в отношении женщин признается социальной проблемой. Согласно VII ежегодному отчету Национального наблюдательного совета по проблемам насилия в отношении женщин за 2015 г., в 2013 г. общее число женщин, погибших от гендерного насилия, составило 54, а в совокупности за период с 2003 по 2013 гг. достигло 712. При этом 56,2% жертв были убиты своим нынешним или бывшим партнером⁴. С учетом ужасающих последствий насилия в отношении женщин были разработаны стратегии, которые преимущественно приняли формы мер реагирования и услуг для переживших насилие жертв. Вследствие этого стратегии первичной профилактики, требующие ресурсов и не гарантирующие быстрых результатов, ушли на задний план.

В настоящем исследовании мы опирались на концептуальное различие возможных уровней профилактики, предложенных Д. Капланом в сфере общественного здравоохранения [Caplan, 1964]. Подразумевая под профилактикой стратегии, нацеленные на сокращение связанных с конкретной ситуацией факторов риска, он различает первичный, вторичный и третичный уровни профилактики. *Первичная* профилактика нацелена на сокращение числа случаев насилия, избежание возникновения ситуации риска или конфликта; *вторичная* профилактика нацелена на сокращение масштабов распространения конфликта, а также его выявление с целью пресечения на ранней стадии развития посредством соответствующих стратегий; *третичная* профилактика направлена на смягчение последствий произошедшего конфликта и обеспечение мер, необходимых для сдерживания, смягчения и ликвидации конфликта.

Как отметил М. Кальво Гарсиа, правовая реформа позволила достичь значительных успехов, однако полное искоренение гендерного насилия и его причин требует от нас еще одного шага: широко распахнуть двери женщинам, на уровне политики коренным образом преобразовав социальные отношения, а также ис-

³ Более подробная информация приводится в Приложении 1 с соответствующими личными карточками респондентов.

⁴ Последние данные о числе женщин, погибших от гендерного насилия: 2014 г. — 54 погибших женщин (п. ж.); 2015 г. — 60 п. ж.; 2016 г. — 44 п. ж.; на 21 февраля 2017 г. — 14 п. ж. Общее число женщин, убитых своими нынешними или бывшими партнерами в период с 2003 г., — 885. Источник: Министерство здравоохранения, социальных служб и равноправия.

коренив дискриминацию и дисбаланс сил, подпитывающие гендерное насилие [Calvo García, 2016].

В этом смысле содержание ОЗ 1/2004 с очевидной претензией на всеобъемлющий характер охватывает многочисленные сферы жизни: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, оказание помощи жертвам, восстановление справедливости, а также, в частности, обеспечение безопасности — и, согласно Национальному плану просветительской деятельности и предотвращения гендерного насилия, включает в себя положения Д. Каплана, выделяющего три уровня профилактики.

Первичный уровень — меры, разработанные и применяемые еще до развития конфликта с целью предотвращения насилия. Речь идет о подходе стратегического характера, направленном на искоренение насилия против женщин и девочек. Этот уровень профилактики предполагает работу в ряде соответствующих секторов (образование, здравоохранение, правосудие, рынок, СМИ) с целью обеспечения изменений на уровне институтов и общества и успешной реализации мер, направленных на конкретные группы и население в целом.

Вторичный уровень применяется в случае возникновения конфликта и включает в себя все меры, направленные на первичное реагирование после совершения насилия, например оказание всесторонней помощи жертве насилия (в том числе первая или неотложная медицинская помощь) с целью сократить негативные последствия для здоровья, а также меры защиты и контроля, размещение в специализированных центрах. Эти меры могут выполнять различные функции в зависимости от того, было ли подано заявление в полицию, живет ли жертва совместно с агрессором, имеются ли у пары дети.

Этот уровень профилактики связан с факторами риска, которые устанавливаются в ходе расследования и применения практик с задействованием механизмов вмешательства, направленных на вовлеченных в ситуацию насилия лиц. Раннее выявление и последующее вмешательство в ситуацию риска, осуществляемое специалистами социальной, правоохранительной и судебной сфер, способствуют смягчению последствий отдельных факторов риска.

Как отмечала Л. Хейз, чрезвычайно важно, чтобы на этом уровне профилактики стратегии и программы разрабатывались и применялись в соответствии с экологической моделью [Heise, 1998]. Это означает, что факторы риска на индивидуальном уровне рассматриваются в сочетании с существующими факторами риска внутри отношений в паре, семье и сообщества, а также факторами риска на уровне институтов, что позволяет оценить вероятность насилия в отношении женщины в конкретной ситуации. Упор на экологическую модель нацелен на то, чтобы меры отражали и учитывали существующие условия на самых разных уровнях.

Третичный уровень — меры, нацеленные на предотвращение повторных случаев насилия и смягчение последствий через оказание долгосрочного ухода после актов насилия, в частности размещение в приютах, оказание психологической помощи пострадавшим женщинам, реабилитация лиц, совершивших насилие. Сотрудниками предусматриваются механизмы обеспечения судебной защиты жертвы насилия, которая признается потерпевшей во всех смыслах. Характер этих механизмов зависит от наличия ресурсов и инструментов социализации,

способствующих возвращению к нормальной жизни пострадавших женщин: благодаря этим стратегиям они могут восстановить целостность личности. Эти меры оказывают положительное влияние на дальнейший ход профилактики, цель которой — предотвратить воспроизведение модели подчиненного поведения в других отношениях и передачу этой модели поведения от родителей детям.

Участники процесса

В рамках настоящей работы было принято решение предоставить слово ключевым лицам в различных сферах на уровне вторичной профилактики. Это позволит проанализировать их точку зрения и переосмыслить ее с учетом сходств и различий на основе моделей или идей, понятий, на которые эти лица опираются в работе, а также разрабатываемых ими стратегий и результатов их работы.

Дискурс сотрудников полиции

Отмечается определенный консенсус в отношении работы, которая осуществляется силами и органами безопасности в борьбе с гендерным насилием, как среди жертв, обращающихся с заявлениями в полицию, так и среди опрошенных сотрудников [González, Garrido, 2015].

Сотрудники полиции осознают, что после программы 1995 г.⁵ не только стратегии, но и имидж самой полиции среди граждан неизбежно изменился. Эти изменения стали возможны благодаря важному процессу повышения осведомленности общественности о проблеме, а также профессиональной подготовке и повышению ответственности лиц, занимающихся вопросами гендерного насилия.

Сегодня Отделы по делам женщин и несовершеннолетних Гражданской гвардии⁶ (EMUME) и Подразделение по делам семьи и женщин Национальной полиции⁷ (UFAM) играют основополагающую роль не только потому, что на самых ранних этапах оказывают помощь женщинам, ставшим жертвами гендерного насилия, а эта помощь предполагает сдерживание конфликта, консультирование и защиту жертв, но и в связи с проводимой работой в области первичного предотвращения насилия; среди прочего это представляет собой часть плана действий Министерства в данной сфере. *«Нам пришлось сбросить с себя всяческие стереотипы: до сих пор людям нелегко в это поверить, но сейчас Гражданская гвардия совсем не та, что была раньше. После принятия нового закона мы предприняли огромные усилия, поскольку эта проблема нас беспокоит, беспокоит всех нас»,* — говорит Хосе Луис Санс (Е6).

Отделы EMUME Гражданской гвардии на уровне провинций осуществляют борьбу с гендерным насилием в сельской местности. Принимая во внимание

⁵ В 1995 г. Главное управление Гражданской гвардии при поддержке бывшего главного управления Службы судебной полиции разработало и запустило специальную программу, направленную на более эффективную борьбу с преступлениями против женщин и несовершеннолетних.

⁶ Полицейское военизированное формирование в подчинении Министерства внутренних дел Испании. Выполняет полицейские функции по охране правопорядка, однако, в отличие от Национальной полиции Испании, действует преимущественно за пределами городов. Осуществляет контроль оборота оружия и взрывчатых веществ, контрабанды, путей сообщений, регулирование портов и аэропортов, охрану окружающей среды. — *Примеч. пер.*

⁷ Наряду с Гражданской гвардией Испании выполняет функции по охране правопорядка. В зону ответственности входят крупные города; в числе компетенций — контроль миграционных органов, выдача удостоверительных документов, решение вопросов частной безопасности. — *Примеч. пер.*

особенности насилия в этих районах, ответственный за работу EMUME в провинции Сарагоса объясняет: «Нередко нам приходится действовать по собственной инициативе. Бывают случаи, когда мы узнаем, что женщина не может подать жалобу на своего супруга, потому что проживает в очень маленьком населенном пункте, где все друг друга знают. Разумеется, мы пытаемся вовлечь женщину в процесс, предлагаем помощь» (Е6). Точка зрения полицейских доказывает важность выделения большего объема ресурсов на социальные услуги, «необходимо найти для женщин другой путь решения проблемы помимо подачи заявления в полицию» (Е6).

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов требуют более эффективного сотрудничества с другими сферами, потому что проблема гендерного насилия должна касаться не только Министерства здравоохранения, социальных услуг и равенства: «...Это политическая и общественная проблема, которую нужно рассматривать в разных плоскостях, чтобы ею занимались как Министерство юстиции, так и Министерство внутренних дел» (Е12).

На уровне теоретического дискурса ясно, что участники процесса осознают важность составления качественных протоколов, поскольку они могут быть очень полезны судье. На практике это все еще остается на уровне запроса со стороны судебной системы, и этот запрос пока не удовлетворен. При этом претензии направлены сразу в адрес нескольких участников процесса: полиция выступает за то, чтобы была задействована система здравоохранения.

Практически невозможно добиться, чтобы врачи помогали нам составлять отчеты, они не хотят сотрудничать, даже когда речь идет об очень серьезных случаях, они не хотят неприятностей, и плюс ко всему — существует еще и право на неприкосновенность частной жизни. (Е6)

С другой стороны, даже сейчас, спустя десять лет после принятия ОЗ 1/2004, среди запросов полицейских — необходимость дальнейшего обучения в области гендерных вопросов, особенно гендерного насилия. То, что сейчас женщин призывают заявлять о насилии, «накладывает на нас еще большую ответственность, и именно на нас смотрит общество, когда происходит очередная смерть по причине насилия со стороны мужчин» (Е6).

Обеспокоенность, связанная с «ответственностью», которая возлагается на правоохранительные органы в случае насилия в отношении женщин, возрастает, если мы добавим к этому уравнению Систему комплексного отслеживания случаев насилия против женщин (далее — *VioGén*⁸). Она была запущена в 2007 г. Государственным секретариатом по вопросам безопасности при Министерстве внутренних дел. Система накладывает дополнительную ответственность на сотрудников полиции, принимающих заявления. Несмотря на то, что речь идет о компьютерной программе с заранее разработанными вопросами и вариантами ответа, именно полицейские определяют степень риска, которому подвергается подающая заявление о гендерном насилии женщина и в соответствии с которым будет выбрана та или иная стратегия защиты.

⁸ Сокращение от испаноязычного оригинала *violencia de género* («гендерное насилие»). — *Примеч. пер.*

VioGén стремится объединить все государственные учреждения, ответственные за вопросы насилия в отношении женщин, собрать в одном месте всю информацию и создать таким образом сеть для мониторинга женщин и детей, пострадавших от бытового насилия, а также для их защиты⁹. На данный момент сбором информации, определением уровня риска и применением соответствующих мер занимаются Национальная полиция и Гражданская гвардия. За последние несколько лет VioGén продвинулась в области интегрирования социальных служб в единую систему, что позволяет быстрее обращаться к данным и определять уровень риска:

Это начинание явно направлено на то, чтобы упростить процесс принятия решения по заявлению: если женщина не уверена, подавать ли ей заявление, она может обратиться в социальные службы, где у нее будет возможность все взвесить, приобрести уверенность в себе и прояснить ситуацию. Надеемся, что эта система поможет. (E1)

Система VioGén подвергается разного рода критике, которая, как правило, исходит от судебной и социальной сфер. С одной стороны, речь идет о заранее разработанных вопросах с закрытыми ответами — женщина может ответить только «Да» или «Нет», это вопросы, которые в теории отражают факторы риска. Такая система не позволяет вникнуть в детали каждого конкретного случая: она рассматривает конкретный момент, основывается на концепции статического риска и в определенной степени продолжает придерживаться парадигмы «опасности» (в центре которой стоит мужчина как правонарушитель), а не парадигмы «риска» (которая подразумевала бы оценку риска с точки зрения самой женщины).

Критика связана еще и с тем, «...в какой форме проходит опрос. Проблема не столько в вопросах, сколько в том, кто и как их задает» (E1). Несмотря на то, что предусмотрен специальный раздел, в котором сотрудник полиции может изложить свою субъективную оценку ситуации, это практикуется редко. Полицейские — по большей части из-за ответственности, которая на них возлагается в этом случае, — ограничиваются лишь заранее разработанными вопросами и назначают ситуации тот уровень риска, который рассчитала программа. Хотя результаты такого анализа риска априори считаются объективными, каждый раз, когда становится известно об очередном убийстве, уровень определяемого риска начинает расти.

Я думаю, они не воспринимают это всерьез и искренне не сочувствуют, и если твоей ситуации назначают высокий уровень риска, так это потому, что никто не хочет быть ответственным за очередное убийство, которое покажут по новостям. (E2)

Тот факт, что определенные стратегии зависят от воли полицейского, явно обуславливает результаты.

⁹ Некоторые цели изложены на сайте Министерства внутренних дел. См.: Sistema VioGén. Ministerio del Interior. URL: <http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistema-viogen> (дата обращения: 20.08.2020). (In Spanish).

Мы уже знаем, что есть судьи, к которым лучше не попадаться, или полицейские участки, в которые не хотелось бы идти, потому что дежурный полицейский тебе не верит или просто потому что он хам. Тогда мы советуемся друг с другом и решаем, что, если мне нужно подать заявление, я тогда лучше пойду в это отделение, а не в то. (Е8)

Дискурс участников процесса со стороны юридической сферы

Участники со стороны юридической/судебной сферы знают, что существует критика в отношении того, с чем приходится сталкиваться жертвам гендерного насилия, когда они начинают судебный процесс. И действительно, некоторые авторы уже исследовали этот вопрос, используя термин *двойная, или вторичная виктимизация* [Larrauri, 2009; Bodelón, 2013]. В некоторых случаях женщины, которые решаются подать заявление, страдают от очередной виктимизации — продукта существующих препятствий и «автоматических решений» [Ortubay, 2015]. Эти факторы, помимо всего прочего, усложняют применение ОЗ 1/2004 к каждому конкретному случаю, заставляют женщину давать определенные ответы и принимать вынужденные решения, требуют последовательности в ее рассказе, а также ставят ее под подозрение во время процесса.

В судах женщины сталкиваются со множеством преград, и, возможно, именно по этой причине многие не решаются подать заявление; если они и принимают такое решение, то в конце концов заявление забирают. По мнению одной участницы нашего исследования, сотрудницы прокуратуры по борьбе с насилием в отношении женщин, «женщины не помогают в расследовании» (Е10). И действительно, зачастую женщины не находят ни защиты, ни понимания в судебной системе, и даже наоборот. Постоянные жалобы на такие ситуации — о чем часто рассказывают назначенные адвокаты, — помогли раскрыть глаза на происходящее. Поэтому необходимо провести теоретический анализ и еще раз посмотреть, что на самом деле происходит во время судебного процесса.

Назначенные адвокаты в этом процессе играют очень важную роль. Именно они должны сопровождать женщину и помогать ей. «Мы оказываем не столько юридическую помощь, сколько психологическую» (Е11), — адвокаты часто повторяют подобные высказывания, и это свидетельствует о важности понимания того, кто и как должен сопровождать жертв насилия. Опыт каждой потерпевшей и даже конечный результат процесса может существенно измениться, если назначенный адвокат специализируется на конкретном виде насилия и с должной чуткостью относится к каждому отдельному случаю.

Как упоминалось в работе Р. Штробля, чтобы сообщить о виктимизации полномочным органам — будь то во время подачи заявления в отделениях полиции или во время дачи показаний судье, — необходимо выстроить определенный дискурс [Strobl, 2004]. Таким образом от жертв требуется «умение» рассказывать в особенно трудный для них момент.

Зачастую женщины пребывают в состоянии шока и не помнят точную хронологию событий, другие — пожилые женщины, и им стыдно повторять некоторые слова, есть иммигрантки, и они не могут подобрать правильные эмоционально окрашенные слова, которые могли бы стать решающими. (Е11)

Если дежурный адвокат умеет восстановить последовательность событий и помочь составить рассказ, судья может проникнуться к конкретному случаю и принять соответствующие меры.

Очень часто выдадут тебе постановление о защите или нет — зависит именно от того, какими словами написаны заявление и протокол. (Е3)

В проанализированных высказываниях тема постановлений о защите поднимается особенно часто. Статистические данные могут вызвать споры¹⁰, поскольку количество выданных постановлений и отказов в выдаче существенно различаются в зависимости от автономного сообщества и судебного округа.

Мы сталкивались с обеими крайностями: бывало, что удовлетворяли 85 %—90 % запросов на выдачу постановлений, сейчас мы находимся где-то посередине, но есть судебные округа в Каталонии, в которых удовлетворяется лишь 30 % запросов. Это возмутительно! (Е3)

Существует множество предположений, почему кому-то выдают постановления, а кому-то нет — очевидно, здесь необходим глубокий анализ. Тем не менее внутри судебной системы можно было бы выделить одно расхожее мнение: «Судьи им не верят». «Они не очень сговорчивые, потому что думают, что некоторые женщины подают заявления, чтобы получить экономические, социальные и другие выгоды. Они сейчас очень подробно анализируют каждый случай, уже знают, какие фильтры использовать, они видят женщин насквозь», — заявила адвокат (Е11), и похожие мнения высказывают другие участники исследования.

Этот факт не может не беспокоить. Корни данной проблемы уходят в существующие сексистские стереотипы, которые являются продуктом глубоко патриархальной пенитенциарной системы, в рамках которой женщины, с одной стороны, представляются слабыми и зависимыми, а с другой стороны — коварными и корыстными. Такие стереотипы вредят не только женщинам, но и всему обществу, укореняя негативные мифы о женщинах, такие как мифы о «ложных заявлениях»¹¹.

Как правильно заметили Э. Боделон и Т. Питч, нельзя отрицать существование «ложных заявлений» и случаев, когда женщина пишет заявление на своего бывшего или нынешнего партнера, чтобы получить определенные «привилегии», предусмотренные для жертв насилия в соответствии с ОЗ 1/2004. Однако это не должно влиять на отношение ко всем остальным случаям: женщины не должны чувствовать себя виноватыми или подпадать под подозрения [Bodelón, 2008; Pitch, 2009].

Если бы я тогда знала, чего мне это будет стоить, я бы никогда не подала это заявление. (Е8)

¹⁰ См., например: Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género: Recopilatorio de Conocimiento sobre Violencia de Género. URL: <https://observatorioviolencia.org/> (дата обращения: 26.08.2020).

¹¹ По данным ежегодного отчета Генерального судебного совета (CGPJ), на 2015 г. только 0,4 % всех заявлений о гендерном насилии были ложными.

Такие настроения выразили несколько потерпевших. Это доказывает существование двойной виктимизации, от которой иногда страдают решившие начать судебный процесс женщины. Именно это может быть причиной тревожного количества потерпевших, которые через какое-то время решают прекратить процесс, отказываясь от обвинений и прибегая к противоречивой статье 416 Закона об уголовном судопроизводстве¹².

Глава прокуратуры по борьбе с насилием в отношении женщин уверенно утверждает следующее: «Мы их бросаем в одиночестве, и для некоторых женщин это настоящее мучение, поэтому они решают больше не сотрудничать со следствием. В результате мы имеем значительное количество оправдательных приговоров и случаев прекращения рассмотрения дела за истечением сроков давности» (Е10).

То обстоятельство, что женщина является основным субъектом доказывания произошедшего, не способствует сокращению этих показателей. Почему-то, имея возможность использовать другие источники доказательств, мы «перегружаем» женщину, которая и так в этой ситуации особо уязвима. Для того чтобы облегчить ее груз, привлекаются и другие участники: полицейские, которые составляют протокол, родственники или свидетели, — все они также могли бы предоставить доказательства. Однако, по мнению представителей судебной системы, этого не происходит. Полицейские протоколы недостаточно подробны, общество в принципе не берется участвовать в процессе, из-за чего остаются лишь два источника доказательств: судебно-медицинская экспертиза и сама жертва.

На сегодняшний день судьи не выносят обвинительного приговора, если отчет судеэксперта не слишком преувеличен (а ведь нужно учесть сложность определения нанесенного психологического ущерба) или женщина сама не дает обвинительных показаний. (Е3)

Именно поэтому сотрудничество участников процесса из всех сфер очень важно. «Качественные протоколы значительно упрощают работу судьи» (Е6), отчеты социальных работников также могли бы быть очень полезны, но судьи все еще неохотно прислушиваются к мнению других. Примером этого может служить определение риска. Чтобы выдать постановление о защите, судьи должны оценить, существует ли реальная ситуация риска для женщины. По мнению участников исследования, при принятии решения судьи зачастую не используют полицейские опросы оценки риска (а полицейские, в свою очередь, не учитывают отчеты социальных работников, если такие вообще существуют), а прибегают к ряду параметров (например, отрезок времени между произошедшим и подачей заявления, биография, место проживания сторон конфликта и, конечно, рассказ жертвы), которые, по их мнению, определяют риск в зависимости от того, идет речь о единичном случае или о «повторяющейся истории» (Е9).

В частности, среди представителей юридической сферы наблюдается единогласие в отношении того, насколько незначительную роль играет опрос оценки риска, который проводят полицейские, когда женщина подает заявление против своего

¹² Речь идет о праве женщины отказаться от дачи показаний против своего партнера. Прокуратура просит упразднить или изменить эту статью. Вокруг этой темы очень много споров.

бывшего или нынешнего партнера, и насколько мало от него пользы. Критика со стороны участников судебного процесса основывается на том, что сложно определить риск в законодательных рамках.

Я думаю, эта система никуда не годится, она абсолютно не работает, потому что если вы спросите судей (а именно они и будут принимать решение), какую ценность для них имеет этот опрос, они ответят — остаточную. (Е3)

Теоретически в судебной системе наблюдается необходимость различать разные типы дел, насильственных действий и психологических портретов. По словам одного из опрошенных, «одна из самых серьезных проблем заключается в женщинах, которые подают на мужей в суд, чтобы преподать им урок. А что происходит на деле? Уголовный кодекс служит для наказания, а не для таких уроков» (Е3). Непосредственные или долгосрочные последствия подачи заявления (например, ночь в тюрьме для супруга или бывшего супруга, или судебный запрет на приближение) часто заставляют женщин отказаться от этой идеи. Некоторые из них, несмотря на заявление, знают, что должны поддерживать связь с супругом из-за детей или ипотеки, поэтому думают, что запрет на общение не принесет ничего хорошего. В связи с этим некоторые судьи-специалисты выступают за более гибкую систему применения наказаний, то есть такую, при которой решение остается за судьей, выслушавшим жертву и в зависимости от ситуации применяющим те или иные меры. На сегодняшний день такой практики не существует, наказание за гендерное насилие автоматически влечет за собой запрет на общение.

Если в теории в судебной системе предлагается разграничивать разные типы дел, то на практике на этот счет высказываются критические мнения, поскольку никакого разграничения не происходит — как рассмотрение дел, так и приговоры зачастую мало чем отличаются друг от друга.

Это напоминает копировальный аппарат, никаких различий нет, судьи не принимают во внимание особенности каждого отдельного дела, скоротечные судебные процессы похожи на представление, в котором каждый играет свою роль, и в результате разные процессы заканчиваются примерно одинаково. Понятно, что суды, рассматривающие дела о гендерном насилии катастрофически перегружены, но такой подход никому не принесет пользы. (Е5)

И социальные службы, и ассоциации женщин — жертв домашнего насилия осуждают существование отложенных наказаний, а также альтернативных наказаний, таких как общественные работы, которые не выполняются: иногда потому что их негде выполнять, иногда потому что пока решается, где они будут выполняться, срок действия судебного решения истекает, а иногда «потому что адвокат виновного посоветовал ему ближайший год не отвечать на телефонные звонки» (Е2).

Дискурс сотрудников социальных служб

В процессе анализа нельзя не обратить внимания на дискурс в социальной сфере. Возможно, это именно та сфера, представители которой (по крайней мере

на уровне обсуждений) открыто расходятся во мнении с представителями двух других из-за ее природы, а также из-за характера анализируемой проблемы. По некоторым вопросам дискурс в социальной сфере исторически отличался от полицейского или судебного дискурса, несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы рассматривать гендерное насилие как общую проблему, расхождения проявились и здесь, что препятствует эффективной работе законов, политических инициатив или программ, разработанных для борьбы с этой проблемой.

В дискурсе сотрудников социальной сферы снова и снова поднимается тема трудностей, возникающих в процессе сотрудничества различных институтов (полиции, судов, социальных служб).

У нас существуют проблемы с вовлечением в процесс представителей сферы образования, ее представители не считают образование ключевым фактором в решении проблемы, однако для нас образование — это путь к предотвращению подобных действий. (E1)

Эти трудности могут появляться из-за концептуальных различий в понимании основных терминов, таких как «риск», «насилие», «предотвращение» и «защита». В социальном дискурсе эти понятия рассматриваются более масштабно, что предполагает многостороннюю работу.

На сегодняшний день стратегии должны быть комплексными, не нужно (и неэффективно) организовывать отдельный курс по борьбе с гендерным насилием. Необходима пошаговая работа, в которой гендерный вопрос учитывался бы в каждом решении и в любой деятельности. (E7)

Сотрудницы социальных служб считают, что таким образом можно выявлять и предотвращать новые случаи насилия. Они отстаивают необходимость изучать ситуацию, чтобы воспринимать слова в контексте, только в этом случае можно по устному свидетельству оценить существующий уровень риска.

Слова о насилии порой могут принять за глупый комментарий, который априори останется незамеченным. (E5)

В отношении анкет по прогнозированию риска VioGén в социальной сфере присутствует такое же критическое отношение к этой проблеме, как и в судебной системе, но в его основе лежат иные аргументы:

Знаю, что это очень прогрессивная программа и что было приложено немало усилий, однако очень сложно, почти невозможно оценить риск гендерного насилия, основываясь на предполагаемой объективности в рамках информационной программы в конкретный момент. (E1)

Мы считаем, что рассказ самой жертвы, включающий свидетельства о предыдущих случаях насилия, является ключевой информацией при определении уровня риска;

единичные факты, на основе которых обличаются случаи гендерного насилия, иногда менее важны. (E5)

В дискурсе представителей социальной сферы риск рассматривается как более широкое понятие по сравнению с тем, как его видят в судебной системе. Так, считается, что постановление о запрете на приближение не снижает уровень риска, если женщина живет недалеко от семьи виновного; что в любой момент до, во время и после обвинения существует определенный уровень риска, и наряду с теми решениями, которые принимает женщина, наблюдается множество других факторов, составляющих риск вновь стать жертвой насилия или, в худшем случае, быть убитой.

Из сложностей в работе с правоохранительными органами вытекает требование, чтобы полиция получала отчеты, которые могут предложить социальные службы.

В теории у VioGén должны быть и другие источники доказательств при составлении анкет, но это не так, они никогда не спрашивают никого, кроме жертвы, а она из-за того, что находится в режиме выживания, иногда даже не осознает риска. (E1)

Не представляю, как можно определить риск, просто узнав ответы на 35 вопросов. (E5)

Социальные службы определяют уровень риска как результат меняющегося динамичного процесса нахождения рядом с женщиной в разное время. Поэтому у них есть определенные разногласия с тем, как трактуется и как применяется методика VioGén. Следуя логике определения риска и насилия как динамично меняющегося процесса, они выступают за идею, что обвинение должно быть уместным, своевременным и обоснованным. «Нельзя побуждать женщину подавать в суд, если она не знает, к чему это может привести» (E7). Женщина, оказавшаяся жертвой насилия, может прибегнуть к помощи социальных служб, не подавая заявлений, и сотрудники этих служб считают это крайне важным. Не во всех случаях нужно сразу заявление в суд, поэтому важно, чтобы защита необязательно была сопряжена с подачей заявления.

Часто звучат слова о необходимости сопереживать женщине, понимать, что произошло в каждом конкретном случае насилия, и уважать всех жертв.

Разве может судебное разбирательство проходить в дружелюбной атмосфере? С момента подачи заявления механизм запускается, обратной дороги нет, но иногда просто невозможно взять и запретить женщинам видеться с партнером, потому что они к этому не готовы, в таких случаях постановление о запрете на приближение нарушается через две недели. (E7)

По подсчетам Института по делам женщин Арагона, в восьми случаях из десяти запрет на приближение нарушается со стороны жертвы, и это показывает, что в случаях гендерного насилия желание возобновить отношения абсолютно нормально, поэтому необходимо помогать женщинам и предлагать им альтерна-

тивные варианты. Внутри социальной системы укрепилось мнение, что судебная защита должна использоваться лишь в крайнем случае.

Если женщина решает подавать в суд, роль социальной системы отнюдь не снижается — ее, напротив, следует укреплять. Программа психосоциальной поддержки жертв в Мадриде призвана, среди прочего, облегчить тревожное состояние женщин (в делах, на первый взгляд кажущихся незначительными, таких как предоставление ширмы, чтобы жертва могла избежать визуального контакта с обвиняемым, и прочих очевидных шагах, которые даются с трудом), помогать им в зависимости от их ситуации и быть рядом на начальной стадии, когда им приходится особенно тяжело — прежде всего здесь мы говорим о тех женщинах, которые не соответствуют канону *идеальной жертвы*. Опрошенные жертвы гендерного насилия сходятся во мнении, что внешние признаки (слезы, показная безропотность или даже одежда) могут определять степень доверия к пострадавшей, и предупреждают, что «жертвы насилия выглядят как самые обычные люди» (E2).

Обвинение самой жертвы уже обсуждалось экспертами в этой области, такими как М. Ортубай [Ortubay, 2015]. Вина и ответственность за произошедшее возлагаются в первую очередь на женщину, поэтому она обязана обратиться в суд и тем самым показать и даже убедить судебные органы, что ситуация, в которой она оказалась и которая вынудила ее обратиться в суд, имела место на самом деле.

Судьи проверяют жертв, но все мы знаем, что в состоянии шока человек с трудом может связно говорить, он путает времена, слова... (E2)

В таких «зонах напряженности» между различными сферами критика в адрес судебной системы очевидна: уголовная система наказывает женщину.

Прокуроры жалуются, что женщины «не помогают им», но как можно ждать помощи от самого уязвимого участника процесса? (E1)

Другой острый вопрос связан с возможностью применения процедуры по урегулированию споров в случаях гендерного насилия. Социальные службы, как правило, выступают решительно против урегулирования споров, поскольку гендерное насилие (в любых формах) воспринимается как связанное с проблемой неравенства. Оно возникает из-за подчиненного положения женщины, и никакое урегулирование здесь не применимо, ведь для разрешения спора нужно, чтобы обе стороны имели равное положение. Когда в судебной системе заявляют о разрешении споров, кажется, что они думают о другом понятии, типах и степени гендерного насилия.

Психологический портрет жертвы гендерного насилия также занимает важнейшее место для сотрудников социальной сферы, прежде всего из-за противоречий, которые подразумевает теоретическое желание «избежать» стереотипов, несмотря на то что на практике женщины, пользующиеся помощью социальных служб, обладают некоторыми схожими чертами. «Гендерное насилие является одним из бесчисленных видов насилия» (E5) для женщин с нестабильной работой, без

сильной поддержки за спиной, с детьми, о которых нужно заботиться, женщин, которые будут зависеть от социальных служб всю свою жизнь.

Иногда приходится разбираться в ситуациях отчуждения, которые корнями уходят в детство, и это нельзя сделать за три года (столько обычно длится программа), менее всего они обращают внимание на побои со стороны мужа. (Е5)

Эта информация имеет значение, если говорить о предупреждении насилия. Тот факт, что эти женщины смотрят на гендерное насилие как на «один из бесчисленных видов насилия», то есть воспринимают его как нечто не столь важное, может оказать влияние при оценке собственного риска, особенно если они считают, что «есть и более важные проблемы».

Что касается иммигранток, страдающих от гендерного насилия, Главное управление помощи жертвам гендерного насилия поддерживает тезис (за который выступают и разработчики VioGén), что данная группа составляет наибольшую долю от общего числа, так же как и группа мужчин-иммигрантов, виновных в гендерном насилии. Возможно, так происходит потому, что у этих женщин очень слабая поддержка, или же ее вовсе нет, и поэтому у них нет другого выбора, кроме как обращаться в социальные службы; возможно, они выходцы из стран «с более сильной дискриминацией женщин» (Е12) или, может быть, их случаи более широко известны. Суть в том, что *«как в социальных службах, так и в судах иммигранты составляют подавляющее большинство жертв и виновных» (Е12).*

В дискурсе социальных служб отчетливо звучит необходимость анализировать все ситуации с использованием межотраслевого подхода, направленного на женщин с учетом разных факторов, не ограничиваясь гендерным. В связи с этим вспомним слова Э. Симингтон о том, что «межотраслевой анализ направлен на обнаружение разных идентичностей и исследование разных типов дискриминации и недостатков, появляющихся в результате комбинации идентичностей» [Symington, 2004: 2]. Речь идет не о подсчете всех неравенств, а о том, чтобы понять, что женщина оказывается в необычной ситуации, отличающейся от остальных, из-за совокупности определенных факторов, получая при этом совсем иной опыт. Это очень важно в процессе анализа насилия над женщинами, актуально не только при рассмотрении каждого конкретного случая, а также при разработке более эффективных стратегий предупреждения и реагирования, в которых учитываются такие условия, как сельский уклад жизни, возраст, этническая принадлежность или условия, связанные с обстоятельствами иммиграции, а также совокупность этих условий, что, в общем-то, и составляет идентичность конкретной женщины.

Дискурс представителей социальной сферы показывает, что они говорят о вещах, которые не упоминаются в других сферах при обсуждении этой темы, таких как давление со стороны родственников, ситуация с детьми, дом и домашние животные.

Сотрудники социальных служб выражают обеспокоенность краткосрочным подходом и недостаточным уровнем реагирования. *«Финансовая помощь крайне мала, и «начать сначала» иногда оказывается так трудно, что человек может оказаться в рискованном положении, в котором возвращение к партнеру кажется*

путем к спасению» (Е5). Точно так же женщина может начать новые отношения с мужчиной, который похож на ее обидчика, и они будут неравными, поскольку женщина вновь окажется в подчинении, таким образом, начав новые нездоровые отношения.

Еще одно опасение, которое неоднократно выражали социальные службы и которое не рассматривается в двух других исследованных сферах, связано с очень противоречивой проблемой — опекой над детьми.

Центры, где организуются встречи детей с одним из родителей, представляют серьезную опасность. Они находятся в безлюдных местах или неблагополучных районах. Это единственное место, где мы «заставляем» женщин ставить себя в уязвимое положение, рисковать собой и быть на виду. Я даже осмелюсь сказать, что нужно переосмыслить сам вопрос опеки: мужчина, который избивает мать своих детей, не может быть хорошим отцом. (Е5)

Наконец, необходимо отметить, что в социальном дискурсе обсуждаются и новые опасения, такие как рост насилия среди молодежи, новые виды насилия (контроль с помощью мобильного телефона, травля в социальных сетях), роль средств массовой информации как в предотвращении, так и в рассмотрении случаев насилия, а также опасения, связанные с созданием и воспроизведением дискурса о романтической любви и гендерных ролях.

Выводы

В настоящей работе рассмотрен вопрос вторичной профилактики гендерного насилия. В этой сфере предстоит сделать еще многое: в первую очередь в отношении оценки рисков и управления ими. Стратегии профилактики обусловлены, с одной стороны, отведенными на этот вопрос экономическими ресурсами — на практике это означает, что бюджет постоянно сокращается. С другой стороны, стратегии обусловлены людскими ресурсами, под которыми понимается совокупность субъектов, занятых в разработке и осуществлении стратегий профилактики. Они создают сеть из деятелей и учреждений, которые действуют и взаимодействуют между собой исходя из своей собственной логики и динамики.

Три сферы исследования (юридическая, правоохранительная и социальная) выступают как автономные и независимые структуры. Они обладают различными характеристиками и функциями и работают в определенные моменты и в конкретных ситуациях, в соответствии со сложившимися в каждой сфере теоретическими предположениями. Наблюдается явная разобщенность между этими сферами, которая, вероятно, обусловлена различием во внутренней логике и динамике каждой из них, а также политическими и логистическими вопросами. Подобная нехватка связей и сотрудничества между учреждениями проявляется наиболее ощутимо в случаях координации учреждений различных уровней: местного, регионального и государственного, или же координации федерального центра и некоторых автономных сообществ: к примеру, Каталонии или Страны Басков.

Существуют различные мнения по таким основным вопросам, как статья 416 Закона об уголовном судопроизводстве, прекращение рассмотрения дел, запре-

тительные судебные приказы и даже целесообразность заявления о насилии, а также как и когда следует сообщать о нем. Это не является проблемой как таковой в зависимости от роли и степени ответственности каждого лица, так как предполагается, что мнения могут различаться. Однако эти различия в мнениях и в логике действий иногда выливаются в болезненную процедуру для женщины, которая в итоге страдает вдвойне.

Было отмечено использование разных критериев при рассмотрении дел, связанных с гендерным насилием, а также в различных процедурах и протоколах, которые иногда противоречат друг другу. Расхождения существуют не только по вопросу о том, что считается гендерным насилием, и о том, как подходить к каждому конкретному делу, но также и в определении еще одного ключевого понятия — понятия риска. Актуальность вопроса об обозначении основных понятий, таких как риск, обусловлена тем, что *уровень риска*, который «присваивается ситуации, в которой оказывается женщина», связан с конкретными действиями учреждений: полиции, судебных органов и социальных служб. Ситуация, в которой такие действия сильно разнятся между собой, создает неблагоприятные условия для женщин.

Представители системы VioGén выступили с инициативой включить в закон положение о внедрении в систему прочих субъектов (в первую очередь социальных, хотя другие учреждения — пенитенциарные, медицинские, судебные — также должны принимать участие), как и планировалось девять лет назад. Вероятно, это поможет сгладить некоторые из таких «расхождений». Если представитель правоохранительных органов, оценивающий уровень риска для определенной женщины, будет опираться на социальные отчеты по ее делу, которые могут содержать новые сведения или другую точку зрения, это может способствовать более эффективному рассмотрению дел. Иными словами, для наиболее эффективного урегулирования дел следует прислушиваться к голосам жертв, принимать во внимание конкретные обстоятельства каждого дела и учитывать в последующих действиях гендерную точку зрения, в соответствии с которой женщине, ее роли и ее отношениям с другими участниками отводится центральное место в анализе.

Целью настоящей работы не является бесконечное повторение уже сказанного, и поэтому следует лишь кратко отметить, что законам без бюджета суждено остаться на бумаге. Отсутствие коммуникации и координации между системами — это не просто вопрос понятий и воли, но также и экономический вопрос. Многие из того, что препятствует надлежащему функционированию систем (как внутри учреждений, так и между ними) является прямым или косвенным результатом нехватки ресурсов.

Также были отмечены некоторые общие векторы в рассмотренном дискурсе. Во-первых, следует упомянуть один из общих элементов, который встречается в разных сферах: *образ идеальной жертвы*. Несмотря на борьбу со стереотипами как о женщинах-жертвах, так и о мужчинах-насильниках, в разработке стратегий и на практике по-прежнему фигурирует образ *идеальной жертвы*. Когда женщина соответствует этому шаблону, система принимает и поддерживает ее, но когда она выходит за рамки традиционных представлений о жертвах (к примеру, потому что она выражает гнев, а не покорность, не помнит произошедшее в деталях, носит брендовую одежду или не хочет уходить от своего партнера), система не функ-

ционирует надлежащим образом, необходимые меры не применяются, стратегии не работают, и женщина снова вынуждена страдать.

Еще один вопрос, по которому существует консенсус среди различных секторов, — это участие системы здравоохранения в борьбе с гендерным насилием. Существуют различные предположения о том, почему врачи и медсестры не делают должного вклада в предотвращение насилия: предписания этического кодекса, решение поставить на первое место конфиденциальность пациентки, нехватка знаний для выявления признаков насилия или отсутствие заинтересованности. Силы и органы безопасности, судьи и социальные работники сходятся в том, что врачу доступна ясная информация о жертве, и поэтому он способен выявить возможные случаи жестокого обращения и предотвратить их. Многие женщины не обращаются к системе (социальной, правоохранительной, юридической) из-за страха или стыда, из-за того, что не считают себя жертвами или не понимают, что им угрожает опасность. Однако они обращаются к врачу с различными жалобами, и именно здесь требуется вмешательство со стороны системы здравоохранения.

Невозможно рассматривать этот вопрос вне более широкого контекста: противоречие и конфликт между отдельными правами личности (на свободу, безопасность, конфиденциальность, жизнь), который возникает в связи с такими непростыми явлениями, как гендерное насилие. Как защитить одно право, не нарушив другого? Это действительно извечный вопрос.

Наконец, существует еще одна общая нить в рассматриваемом дискурсе. Она относится к ключевой роли социальных служб в борьбе с насилием. Другие сферы также должны принимать активное участие и брать на себя обязательства, но наблюдается явный консенсус по вопросу о роли и ценности социальной сферы. Тем не менее нельзя допускать чрезмерной нагрузки: «Возложение чрезмерной нагрузки на работников этого сектора приводит к недовольству и затрудняет достижение желаемых результатов» (Е5).

Список литературы (References)

Bodelón E. (2008) La Violencia Contra las Mujeres y el Derecho no Androcéntrico. In: Lorenzo P., Maqueda M. L., Rubio A. (eds.) *Género, Violencia y Derecho*. Valencia: Tirant lo Blanch. P. 275—299. (In Spanish).

Bodelón E. (2013) Violencia de Género y las Respuestas de los Sistemas Penales. Barcelona: Didot. (In Spanish).

Calvo García M. (2006) Análisis Socio-Jurídico de la ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. *Trabajo: Revista Andaluza de Relaciones Laborales*. No. 17. P. 105—131. (In Spanish).

Calvo García M. (2016) The Role of Social Movements in the Recognition of Gender Violence as a Violation of Human Rights: from Legal Reform to the Language of Rights. *The Age of Human Rights Journal*. No. 6 P. 60—82. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v0i6.2930>.

Caplan G. (1964) Principios de Psiquiatría Preventiva. Barcelona: Paídos. (In Spanish).

González J. L., Garrido M. J. (2015) Satisfacción de las Víctimas de Violencia de Género con la Actuación Policial en España. Validación del Sistema VioGén. *Anuario de Psicología Jurídica*. Vol. 25. No. 1. P. 29—38. <https://doi.org/10.1016/j.apj.2015.02.003>. (In Spanish).

Heise L. (1998) Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework. *Violence Against Women*. Vol. 4. No. 3. P. 262—290. <https://doi.org/10.1177/1077801298004003002>.

Larrauri E. (2009) Desigualdades Sonoras, Silenciosas y Olvidadas: Género y Derecho Penal. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*. No. 13. P. 37—55. (In Spanish).

Ortubay M. (2015) Cuando la Respuesta Penal a la Violencia se Vuelve Contra las Mujeres: las Contradenuncias. *Oñati Socio-Legal Series*. Vol. 5. No. 2. P. 645—668. (In Spanish).

Pitch T. (2009) Justicia Penal y Libertad Femenina. In: Bodelón E., Nicolás G. (eds.) *Género y Dominación: Críticas Feministas del Derecho y el Poder*. Barcelona: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. P. 117—126. (In Spanish).

Symington A. (2004) Interseccionalidad: Una Herramienta Para la Justicia de Género y la Justicia Económica. *Derechos de las Mujeres y Cambio Económico*. No. 9. P. 1—8. (In Spanish).

Strobl R. (2004) Constructing the Victim: Theoretical Reflections and Empirical Examples. *International Review of Victimology*. Vol. 11. No. 2—3. P. 295—311. <https://doi.org/10.1177/026975800401100206>.

Приложение 1. Интервью

- Е1:** Елена Гранадос (заместитель генерального директора Главного управления по поддержке жертв гендерного насилия в автономном сообществе Мадрид). Дата: июнь 2016 г. Место: офис Главного управления, Мадрид.
- Е2:** Мария Луиса Мартин (женщина, пережившая насилие). Дата: май 2016 г. Место: кафе в районе Сан-Хосе.
- Е3:** Антонио Муньос (адвокат, специализирующийся на вопросах гендерного насилия). Дата: май 2016 г. Место: кабинет респондента.
- Е4:** Адвокат-юриисконсульт. Дата: июль 2016 г. Место: организация «Дом женщин».
- Е5:** Психолог и социальный работник. Дата: июль 2016 г. Место: организация «Дом женщин».
- Е6:** Хосе Луис Санс (руководитель подразделения EMUME — Гражданская гвардия). Дата: июль 2016 г. Место: штаб-квартира Гражданской гвардии (Сарагоса, ул. Сесар Аугусто, 8).
- Е7:** Наталия Сальво Касаус (директор Института по делам женщин Арагона). Дата: июль 2016 г. Место: Институт по делам женщин Арагона.
- Е8:** Пилар Наварро (женщина, пережившая насилие). Дата: май 2016 г. Место: кафе на улице Сан-Мигель.
- Е9:** Соня Чиринос (судья). Дата: июнь 2016 г. Место: Суд № 1 по делам о насилии в отношении женщин, Мадрид.
- Е10:** Пилар Марин Нахера (глава прокуратуры по борьбе с насилием в отношении женщин). Дата: июнь 2016 г. Место: зал прокуратуры по борьбе с насилием в отношении женщин.
- Е11:** Роданас Гуррия (адвокат и руководитель службы государственных защитников по делам о гендерном насилии). Дата: апрель 2016 г. Место: кабинет респондента.
- Е12:** Хорхе Сурита (уполномоченный по системе VioGén). Дата: июль 2016 г. Место: Государственный секретариат — Министерство внутренних дел, Мадрид.

Приложение 2. Документальные источники

Gobierno de Aragón. Departamento de Servicios Sociales y Familia (2004) I Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón, 2004—2007. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Servicios Sociales y Familia, Instituto Aragonés de la Mujer. (In Spanish)

Gobierno de Aragón. Departamento de Servicios Sociales y Familia (2009) II Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en Aragón, 2009—2012. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Servicios Sociales y Familia, Instituto Aragonés de la Mujer. (In Spanish)

Instituto Aragonés de la Mujer (2014) Evaluación del II Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en Aragón, 2009—2012. Zaragoza: Gobierno de Aragón. (In Spanish)

Instituto Aragonés de la Mujer. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Gobierno de Aragón (2014) III Plan para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en Aragón. Zaragoza: Gobierno de Aragón. (In Spanish)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2015) VII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer — Informe Ejecutivo. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (In Spanish)

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria General de Políticas de Igualdad, Instituto de la Mujer (2007) Guía para Sensibilizar y Prevenir desde las Entidades Locales la Violencia contra las Mujeres. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias. (In Spanish)

Observatorio de la Salud de la Mujer de la Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad y Consumo y por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del SNS (2005) Informe Violencia de Género 2005. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. (In Spanish)

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. *Consejo General del Poder Judicial*. URL: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/> (accessed: 09.08.2020). (In Spanish)

ONU Mujeres (2013) Elementos Esenciales de Planificación para la Eliminación contra la Violencia de Mujeres y Niñas. Informe Anual 2012—2013. New York, NY: ONU Mujeres. (In Spanish)

Organización Mundial de la Salud (2013) Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer. Prevalencia y Efectos de la Violencia Conyugal y de la Violencia Sexual no Conyugal en la Salud. Washington, DC: OMS. (In Spanish)

Council of Europe (2011) Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Soméstica. *Council of Europe Treaty Series No. 210*. URL: <https://rm.coe.int/1680462543> (accessed: 09.08.2020). (In Spanish)

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1645



**З. А. Хоткина, В. Менжун, О. А. Александрова,
Ю. В. Бурдастова, Ю. С. Ненахова, К. В. Виноградова**

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕДИАОТРАСЛИ РОССИИ, АРМЕНИИ И МОЛДОВЫ: ЗАНЯТОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА И ВЛИЯНИЕ НА КОНТЕНТ

Правильная ссылка на статью:

Хоткина З. А., Менжун В., Александрова О. А., Бурдастова Ю. В., Ненахова Ю. С., Виноградова К. В. Гендерные отношения в медиаотрасли России, Армении и Молдовы: занятость, перспективы карьерного роста и влияние на контент // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 321—341. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1645>.

For citation:

Khotkina Z. A., Menjoun V., Aleksandrova O. A., Burdastova Y. V., Nenakhova Y. S., Vinogradova K. V. (2020) Gender Relations in the Media Industry in Russia, Armenia and Moldova: Employment, Prospects for Career Growth and Influence on Content. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 321—341. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1645>. (In Russ.)

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕДИА-ОТРАСЛИ РОССИИ, АРМЕНИИ И МОЛДОВЫ: ЗАНЯТОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА И ВЛИЯНИЕ НА КОНТЕНТ

ХОТКИНА Зоя Александровна — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гендерных проблем, Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: zoya-alex2012@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3610-9433>

МЕНЖУН Вероника — руководитель международных проектов Медиаинститута FOJO, Университет Линнеус, Кальмар, Швеция
E-MAIL: fojoinfo@lnu.se
<https://orcid.org/0000-0003-0514-3249>

АЛЕКСАНДРОВА Ольга Аркадьевна — доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе, Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия; профессор департамента социологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-MAIL: a762rab@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9243-9242>

GENDER RELATIONS IN THE MEDIA INDUSTRY IN RUSSIA, ARMENIA AND MOLDOVA: EMPLOYMENT, PROSPECTS FOR CAREER GROWTH AND INFLUENCE ON CONTENT

Zoya A. KHOTKINA¹ — Cand. Sci. (Econ.), Leading Research Fellow at the Laboratory for Gender Studies
E-MAIL: zoya-alex2012@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3610-9433>

Veronika MENJOUN² — International Project Manager at the FOJO Media Institute
E-MAIL: fojoinfo@lnu.se
<https://orcid.org/0000-0003-0514-3249>

Olga A. ALEKSANDROVA^{1,3} — Dr. Sci. (Econ.), Deputy Director for Research; Professor at the Department of Sociology
E-MAIL: a762rab@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9243-9242>

¹ Institute of Socio-Economic Studies of the Population, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

² Linnaeus University, Kalmar, Sweden

³ Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

БУРДАСТОВА Юлия Владимировна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории исследований поведенческой экономики, Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: yulia-burdastova@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0003-2639-0353>

НЕНАХОВА Юлия Сергеевна — научный сотрудник лаборатории исследований поведенческой экономики, Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: yulia-nenakhova@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-5865-1012>

ВИНОГРАДОВА Кристина Валерьевна — младший научный сотрудник лаборатории исследований поведенческой экономики, Институт социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: ms.kristina.vinogradova.1995@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-8857-8135>

Аннотация. Феминизация занятости в медиасфере произошла относительно недавно, и теперь в этой отрасли работают преимущественно женщины. Исследование, результаты которого представлены в статье, было задумано и реализовано как сравнительное и проводилось по единой методике в России, Армении и Молдове, что позволило выявить и проанализировать общее и особенное как в развитии

Yulia V. BURDASTOVA¹ — Senior Research Fellow at the Laboratory for Studies of Behavioral Economics
E-MAIL: yulia-burdastova@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0003-2639-0353>

Yulia S. NENAKHOVA¹ — Research Fellow at the Laboratory for Studies of Behavioral Economics
E-MAIL: yulia-nenakhova@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-5865-1012>

Kristina V. VINOGRADOVA¹ — Junior Research Fellow at the Laboratory for Studies of Behavioral Economics
E-MAIL: ms.kristina.vinogradova.1995@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-8857-8135>

¹ Institute of Socio-Economic Studies of the Population, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. Feminization of the workplace in the media area is a relatively recent phenomenon, and today this industry is widely represented by women. The article presents the findings of a study which was thought of as a comparative study and conducted using the same tools in Russia, Armenia and Moldova. This made it possible to discover and analyze the general and the specific both in the development of mass media

массмедиа этих стран, так и в положении занятых в отрасли женщин и мужчин. В качестве методов исследования использовались (1) массовый анкетный опрос работников медиаотрасли, занимающих руководящие и творческие должности ($N = 625$), (2) глубинные структурированные интервью с экспертами ($N = 11$), имеющими опыт работы в СМИ в качестве профессиональных журналистов, главных редакторов, руководителей журналистских ассоциаций, собственников и учредителей интернет-изданий, (3) анализ документов — информации, представленной в «Атласе муниципальной прессы Российской Федерации», на интернет-сайтах СМИ и данных исследований, проведенных по аналогичной тематике другими авторами.

Исследование позволило подтвердить наличие феминизации массмедиа и выявить обусловившие его факторы, а также обнаружить ряд проблем, касающихся гендерного неравенства в оплате труда, оформлении трудоустройства, возможности занимать руководящие должности, выбирать тематику публикаций и др. Несмотря на наличие дискриминационных практик в отношении женщин, на вопрос о существовании гендерной дискриминации в медиаиндустрии большинство опрошенных работников СМИ ответили отрицательно. В определенной мере это объясняется тем, что достаточно большое число журналистов воспринимают гендерную сегрегацию скорее как норму, нежели как нарушение социальных и трудовых прав.

in these countries and in the situation of women and men employed in the industry. The methods used in the study are as follows: (1) a questionnaire survey among the media employees holding decision-making and creative positions ($N = 625$), (2) in-depth structured interviews with experts ($N = 11$) who have worked as professional journalists, chief editors, heads of journalistic organizations, owners and co-founders of online media outlets, (3) analysis of documents involving information in the “Atlas of Municipal Media in the Russian Federation”, online media websites and the data from the studies conducted by other authors on the same topic.

The study proves the existence of feminization in mass media, describes the factors behind it and the problems related to gender inequalities in terms of work pay, employment procedures, opportunities to hold decision-making positions, to choose the topics of the publications, etc. Despite the fact that there are certain practices discriminating women, most of respondents employed in mass media deny the existence of gender discrimination in this industry. This is partly due to journalists' perception of gender segregation as a norm rather than violation of labor and social rights.

Ключевые слова: медиаиндустрия, занятость, гендерные разрывы, гендерная дискриминация, гендерные стереотипы

Keywords: media industry, employment, gender gaps, gender discrimination, gender stereotypes

Благодарность. Статья подготовлена по результатам научных исследований, проведенных в 2016—2020 гг. при поддержке Fojo Media Institute of Linnaeus University (Швеция), а также «АНРИ-Медиа» (Россия). Авторы выражают глубокую признательность за помощь и поддержку в реализации исследований.

Acknowledgments. The article is based on the results of the studies conducted in 2016–2020 and supported by Fojo Media Institute of Linnaeus University (Sweden) and ANRI Media (Russia). The authors would like to express sincere gratitude for the assistance and support in the implementation of the study.

Введение

Феминизация занятости в медиаиндустрии произошла относительно недавно — в начале XXI века, и теперь в этой сфере работают преимущественно женщины. С учетом того, что СМИ — играющий важную роль социальный институт¹, необходимо обладать информацией о половозрастном составе занятых в массмедиа работников, об их образовательно-квалификационном статусе, трудовых условиях, условиях труда и т. п. В том числе важно понять, как на трудовые отношения повлиял произошедший в отрасли гендерный сдвиг.

В настоящей статье представлены результаты исследования гендерных аспектов занятости и карьеры в медиаотрасли России, Молдовы и Армении, проведенного по единой методике в 2016—2020 гг. Эти страны имеют общую советскую историю, но в то же время постсоветский период их развития достаточно специфичен, что придает дополнительный интерес изучению действующих в них массмедиа. Цель исследования состояла в выявлении общего и особенного в медиаиндустрии трех стран с точки зрения занятости и гендерной проблематики. Предполагалось выяснить, каков гендерный профиль занятости в массмедиа исследуемых стран, существует ли в медиаотрасли гендерная дискриминация в части карьерного роста («стеклянный потолок») и оплаты труда (гендерный разрыв), каковы ее масштабы и природа. Кроме того, исследовательский интерес был направлен на определение возможностей творческой самореализации работников СМИ, в том числе

¹ Если энциклопедические словари и законодательство прежде всего указывают на сущность СМИ («совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств», «средства повседневной практики сбора, обработки и распространения сообщений массовым аудиториям»), то стандарты и кодексы журналистской этики в первую очередь делают акцент на правдивости, точности и объективности информации (см. например, утвержденную Международной федерацией журналистов Декларацию принципов журналистской деятельности). В России таким документом является одобренный в 1994 г. Конгрессом журналистов России «Кодекс профессиональной этики российского журналиста». См.: Кодекс профессиональной этики российского журналиста // Консорциум кодексов: Техэксперт. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901854413> (дата обращения: 04.08.2020). Очевидно, что следование данным принципам возможно при наличии у работников СМИ определенного уровня независимости, который, как предполагалось и было подтверждено в ходе нашего исследования, связан с их половозрастными характеристиками.

степени свободы в выборе тематики, распространенности гендерных стереотипов среди самих работников СМИ и др.

Методологические и теоретические основы исследования

Инструментарий, использованный при проведении исследования, содержал взаимодополняющие компоненты — как количественные, так и качественные социологические методы.

Во-первых, были проведены массовые (анкетные) опросы работников СМИ в России (2016 и 2018), Молдове (2018) и Армении (2020), выборка для которых формировалась случайным образом методом «снежного кома». К участию в опросах приглашались работники СМИ, занимающие руководящие и творческие должности. Общее количество респондентов по трем странам составило 625 человек, в том числе: в России: в 2016 г. — 312 человек (170 женщин и 142 мужчины), в 2018 г. — 126 человек (83 женщины и 43 мужчины); в Армении — 103 человека (72 женщины и 31 мужчина); в Молдове — 84 человека (53 женщины и 31 мужчина). Анкета состояла из 36 вопросов, направленных на выявление социально-демографических характеристик работников СМИ, включая профиль образования, должностные позиции, уровень оплаты труда и удовлетворенности работой, трудовую мобильность (за последние пять лет и прожективную), представления о возможностях и ограничениях карьерного роста, профессиональной самореализации и др.

Во-вторых, была проведена серия глубинных структурированных интервью с экспертами в сфере СМИ России, Армении и Молдовы. В качестве экспертов выступили профессиональные журналисты, главные редакторы, руководители журналистских ассоциаций, собственники и учредители изданий и информационных агентств, руководители кадровых служб крупных медиахолдингов. Общее количество экспертов составило 11, в том числе в России — 5 (2 мужчины и 3 женщины), в Армении — 3 (1 мужчина и 2 женщины), в Молдове — 3 (2 мужчины и 1 женщина). Сценарий интервью состоял из семи блоков вопросов, направленных на изучение ключевых тенденций в сфере СМИ, обуславливающих занятость в медиасфере, трудовые отношения, возможности профессиональной самореализации и развития, гендерные диспропорции и социальную защищенность работников медиаотрасли, распространенность гендерных стереотипов и др. Продолжительность одного интервью составляла от 50 до 80 минут, в среднем — около 1 часа.

Кроме того, использовался метод анализа документов, что позволило дополнить и подтвердить результаты исследования числовыми показателями, полученными из других источников, включая данные исследований, проведенных другими авторами по аналогичной тематике, а также информацией с порталов СМИ и др.

Проблематика исследования находится на пересечении трех сфер жизни общества — массмедиа, занятости и гендерных отношений. В связи с этим в качестве объясняющих концепций были использованы подходы к изучению рынка труда и занятости, социологии массовых коммуникаций, ряд гендерных теорий.

Что касается роли СМИ, то теоретические положения для изучения моделей их функционирования основываются на взаимодействии триады «власть — СМИ — общество», рассмотренной в концепции общественной сферы Ю. Хабермаса

[Habermas, 1962]. В последней массмедиа отводится роль регулятора общественной жизни путем налаживания диалога власти с обществом. Пониманию причин отклонения исследованных медиасистем от этой идеальной модели способствует концепция трех моделей СМИ, разработанная Д. Халлиным и П. Манчини, в которой сравнение функционирования медиаотраслей разных стран представлено в виде системы, раскрывающей природу и последствия государственного вмешательства в медиа [Hallin, Mancini, 2004]. Важным отправным пунктом для сравнительного анализа медиаотраслей Армении, Молдовы и России стала также более поздняя работа Д. Халлина и П. Манчини [Hallin, Mancini, 2011], в которой системный подход к исследованию взаимосвязи национальных медиа с национальными государствами и другими институтами получил свое дальнейшее развитие и был применен к анализу медиасистем разных стран Запада и Востока, в том числе России. Данный труд внес значительный вклад в методологию компаративного анализа медиа, поскольку в нем показано, с одной стороны, что феномен национальных медиа является результатом воздействия исторических традиций, экономических, политических и культурных особенностей стран, в которых они функционируют, а с другой стороны, что из-за коммерциализации СМИ вместо исполнения стоящих перед ними социальных и культурных задач в интересах всего населения медиа ориентируются на обслуживание власти, политических партий и бизнеса.

Новая конфигурация сил влияния на СМИ представлена в работе современного теоретика массовых коммуникаций Д. МакКуэйла, указывающего на то, что сегодня СМИ находятся в центре пересечения влияния трех важнейших сил — экономики, политики и технологий [McQuail, 2005]. Несмотря на различие наборов институтов, оказывающих влияние на медиа, представленных у разных авторов, большинство из них согласны с моделью Д. Галтунга, утверждающего, что только в случае равноудаленности от всех сил влияния СМИ смогут иметь свободу слова и выполнять функции «четвертой власти», на которую они претендуют [Galtung, Ruge, 1965]. Данные методологические подходы к анализу и сравнению медиасистем обследованных стран способствовали пониманию и интерпретации общего и особенного в тенденциях их развития, влиявших как на кадровый состав, так и на создаваемый контент.

Проблематика гендерной асимметрии в оплате труда и ограниченных возможностей карьерного роста для женщин в медиаотрасли основывалась на подходах, разработанных гендерной экономикой, которая в качестве объясняющих концепций неравенства в сфере занятости рассматривает ряд теорий, в том числе теории дискриминации и человеческого капитала Г. Беккера [Becker, 1971], двойственности рынка труда и профессиональной сегментации [Doeringer, Piore, 1971; Standing, 1989] и другие концепции, позволяющие понять причины существования и воспроизводства гендерной дискриминации и сегрегации в сфере труда.

Использование в анализе проблем занятости в медиаотрасли категории «гендер» наравне с понятием «пол» задает матрицу исследования, позволяющую изучать как горизонтальные (по профессиям и тематике), так и вертикальные (по статусу занятости и оплате труда) различия между женщинами и мужчинами. Интерпретация выявленных в ходе исследования гендерных асимметрий заня-

тости и карьерного роста в медиаотрасли основывалась на гендерном подходе как особом теоретическом направлении в социальных науках, ориентированном на достижение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в обществе. Методологической основой гендерного подхода является теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана [Berger, Luckmann, 1995], а также основанная на ней теория социального конструирования гендера Дж. Скотт [Scott, 1986]. Последняя объясняет социальную природу неравенства женщин и мужчин, в том числе гендерных стереотипов, являющихся питательной средой для воспроизводства гендерного неравенства в обществе, сфере труда и массмедиа. Идеи Дж. Скотт, не только связаны с «социальным конструированием гендера, базирующимся на воспринимаемых различиях между полами», но также подчеркивают, что «гендер — это основной способ закрепления властных отношений» [Scott, 1986: 1067], позволили нам лучше понять и интерпретировать причины гендерного неравенства в массмедиа, которые нашли выражение в асимметричном распределении женщин и мужчин по уровням служебной лестницы («стеклянный потолок») и преимущественной тематике, «закрепленной» за женщинами и мужчинами («стеклянные стены»).

Гендерные стереотипы, устойчиво сохраняющиеся и воспроизводящиеся во всех обществах, являются одним из основных предметов интереса гендерных исследователей. Концептуальные основы изучения содержания гендерных стереотипов и механизмов гендерной стереотипизации широко представлены в зарубежных [Deaux, Lewis, 1984; Connell, 1995; Lips, 1997] и отечественных исследованиях [Рябова, 2003; Клецина, 2009]. В общей палитре гендерных стереотипов принято выделять два уровня: персональный и культурный [Воронина, 2018], которые включают представления как о качествах мужчин и женщин, так и о гендерной специфике мужских и женских ролей, профессий и занятий. При этом стереотипный образ маскулинности намного разнообразнее по содержанию и имеет более позитивную оценку.

Результаты

Гендерные дисбалансы занятости в медиаотрасли

Согласно результатам нашего исследования, в России, Молдове и Армении явно прослеживается тенденция к феминизации медиаотрасли: большинство респондентов, принявших участие в анкетном опросе, работают в СМИ, где более половины сотрудников составляют женщины (см. табл. 1).

Таблица 1. **Распределение ответов на вопрос «Сколько женщин среди работников Вашей организации?», %**

	Россия	Молдова	Армения
Менее 25 %	9,1	8,4	5,8
Примерно 50 %	23,6	27,7	30,1
Более 50 %	62,5	59,1	59,2
Затрудняюсь ответить	4,8	4,8	4,9

Однако такой перекокс в сторону женщин в гендерной структуре кадрового состава СМИ анализируемых стран существовал не всегда. Как показывают данные исследований, проведенных в разные годы специалистами кафедры социологии журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, активный процесс феминизации занятости в медиа начался только в постсоветскую эпоху. В период же, когда Армения, Молдова и Россия входили в состав СССР, доля женщин-журналисток составляла чуть более трети (35 %) [Свитич, 2007: 84]. Данные двух глобальных исследований (35 стран, включая Россию), проведенных в 1990—2000-х годах, отражают кардинальные изменения в социально-демографических характеристиках журналистского корпуса, произошедшие на рубеже веков. Если в начале 1990-х годов доля женщин среди журналистов по-прежнему составляла немногим более трети (37 %), то уже в начале 2000-х они составили две трети (67 %), а мужчины — всего лишь треть (33 %) от общей численности занятых в СМИ журналистов [The Global Journalist in the 21st Century, 2012: 273].

В последующие годы процесс феминизации медиаотрасли продолжался. К 2017 г., по данным Международной федерации журналистов, доля женщин-журналисток в России достигла 75 %. Однако мужчины, составлявшие менее четверти работников СМИ, занимали в медиаотрасли более половины (53 %) руководящих должностей². В 2019 г. в рамках совместного исследования Союза журналистов России и компании HeadHunter (hh.ru) были проанализированы около 30 тыс. размещенных на сайте hh.ru в 2018 и 2019 гг. резюме, в названии которых встречались слова «журналист», «редактор» или «райтер». 71 % этих резюме принадлежал женщинам³. Таким образом, хотя в разных источниках конкретные данные о доле женщин среди журналистов в последние годы несколько расходятся, специалисты в области массмедиа согласны, что о феминизации журналистики можно говорить как о свершившемся факте.

Заметный приток женщин в массмедиа подтверждают и эксперты. Одной из причин феминизации они называют расширение доступности журналистского образования (но и с одновременным снижением престижности профессии «журналист»). Кроме того, женщины чаще заняты редакторской и подобной работой, требующей профильного образования. Действительно, притом что во всех обследованных странах большинство участвовавших в опросе творческих и руководящих работников СМИ получили профильное образование (в Молдове и Армении это порядка двух третей респондентов, в России — около половины), женщины чаще имеют журналистскую, филологическую или лингвистическую подготовку (например, в Молдове и Армении почти у 90 % женщин есть профильное образование). Мужчины, наоборот, нередко приходят в СМИ совсем из других сфер.

По мнению экспертов, существенное влияние на гендерное соотношение занятых в медиаотрасли оказывают еще два фактора. Первый связан с политическим контекстом, определяющим степень влияния СМИ на общественные процессы и сказывающимся на их численности, источниках финансирования, создаваемом

² Как журналистика приобретает женское лицо // Татьяна день. 2017. 19 июля. URL: <http://www.taday.ru/text/2209574.html> (дата обращения: 04.08.2020).

³ Анализ профессии «журналист» на российском рынке труда // Союз журналистов России. 2019. 9 октября. URL: <https://ruj.ru/news/analiz-professii-zhurnalist-na-rossiiskom-rynke-truda-10337> (дата обращения: 04.08.2020).

ими контенте и т. д. Как показал анкетный опрос, мужчины в большей степени, нежели женщины, ценят в журналистской профессии именно ее общественное значение, поэтому они более чувствительны к возможности реализации миссии информирования общества, и если свобода в этом вопросе ограничивается, то для многих из них это повод уйти из профессии или, как минимум, из официальных СМИ. Женщины же в целом более конформны, нередко воспринимают свое масс-медиа как семью и в том числе по этим причинам в большей степени готовы проводить линию, диктуемую руководством или собственником СМИ.

Второй важный фактор — масштабная цифровизация массмедиа, сделавшая традиционные СМИ не единственными производителями новостей и иного контента. Необходимость соревноваться за аудиторию и скорость предоставления информации с так называемыми социальными медиа (блогосферой, соцсетями) вынуждает традиционные СМИ экономить на работниках, заметно снижать требования к качеству материалов и т. д. Такая ситуация приводит к вытеснению из профессии зрелых, сложившихся журналистов, которые во многих случаях являются мужчинами.

При этом если технологический фактор носит универсальный характер и одинаково сказывается на медиаиндустрии всех обследованных стран, то социально-политический фактор имеет определенную страновую специфику, обусловленную разницей в постсоветском развитии. Так, в странах, где наблюдается острое политическое противоборство, как в Армении и Молдове, отток мужчин из сферы СМИ в меньшей степени связан с их представлениями о возможностях реализации своей журналистской миссии, нежели там, где, как в России, в течение длительного времени доминирует одна политическая сила.

Области гендерной дискриминации

С учетом того, что ранее журналистика была преимущественно мужской профессией, а теперь в ней преобладают женщины, возник вопрос о влиянии новой гендерной асимметрии на условия труда и карьерные возможности работников СМИ разного пола⁴. Один из вопросов анкеты напрямую касался наличия гендерной дискриминации в медиаотрасли соответствующей страны (см. табл. 2).

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, большинство занятых в СМИ всех обследованных стран мужчин (56,7 %—75,0 %) и женщин (45,0 %—52,1 %) отрицают наличие дискриминации в отношении работников медиа. Во-вторых, среди журналистов, признающих наличие гендерной дискриминации в медиа, доля женщин заметно выше, чем мужчин: в России женщины почти в три раза чаще, чем мужчины, указывают на наличие дискриминации, в Молдове — в полтора раза чаще, и только в Армении поровну — по 30 % для каждой гендерной

⁴ Для целей обработки и анализа результатов опросов выбор был сделан в пользу качественных (группировка, частотные распределения, классификация и ранжирование), а не количественных методов (математико-статистическая обработка данных и моделирование). Это позволило дифференцировать ответы респондентов каждой из сравниваемых стран по группам в зависимости от пола и ранжировать их ответы по значимости, что дало возможность выявить и описать как типовые ситуации, так и исключительные случаи в распределении ответов, касающихся гендерной дискриминации и областей, в которых она чаще всего проявляется. Кроме того, использование простых показателей (средние, проценты, ранги) дало возможность сопоставлять результаты нашего исследования с цифровыми данными, полученными из других источников, которые также в основном представлены в виде средних величин и процентов.

группы. Такая разница в распределениях может говорить о том, что замечают и отмечают дискриминацию преимущественно те, кто переживает ее на личном опыте.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Дискриминация по полу запрещена законодательством. Но существует мнение, что в сфере труда она сохраняется. Как, по-Вашему, есть ли подобная дискриминация в медиасфере в Вашей стране?», %

	Россия		Молдова		Армения	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
Скорее да	12,9	33,1	23,3	37,7	30,0	29,6
Скорее нет	75,0	52,1	70,0	51,0	56,7	45,0
Затрудняюсь ответить	12,1	14,8	6,7	11,3	13,3	25,4

Можно предположить, что причиной отрицания большинством работников массмедиа дискриминации может быть недооценка различий между открытой и латентной дискриминацией: прямой запрет дискриминации по полу в законодательстве может создавать иллюзию, что и в реальности ее также нет, — особенно в случаях, когда гендерная дискриминация принимает неочевидные формы. Так, исследовавшие в 2019 г. причины недооценки женщинами и мужчинами гендерной дискриминации участники международного проекта Стокгольмского университета пришли к выводу, что женщины отрицают наличие дискриминации в силу своей меньшей осведомленности о ситуации в сфере труда [Folke et al., 2020]. Отрицание же наличия дискриминации мужчинами, скорее, объясняется открытым еще З. Фрейдом механизмом психологической защиты, когда отрицание проблемы направлено на сохранение «статус-кво», в данном случае — имеющихся у мужчин предпочтений.

Результаты нашего исследования также позволили выявить области, в которых гендерная дискриминация встречается наиболее часто (см. табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Если, по Вашему мнению, дискриминация в медиасфере существует, то в каких вопросах?», %*

	Россия		Молдова		Армения	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
В вопросах оплаты труда	33,3	43,8	41,7	57,1	35,7	25,6
В возможностях карьерного роста	37,5	37,5	33,3	34,3	14,3	21,1
В возможностях занимать руководящие должности	44,4	44,8	83,3	37,1	25,0	35,6
В возможностях работать по интересующей тематике и получать интересные задания	7,4	27,1	16,7	28,6	10,7	4,4

	Россия		Молдова		Армения	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
В возможностях совершать интересные командировки	14,8	30,2	8,3	22,9	14,3	13,3

* Можно было выбрать несколько вариантов ответа. Указаны доли от общего числа ответивших на вопрос респондентов определенного пола в определенной стране.

Рейтинг мнений участвовавших в опросе женщин о наиболее явных сферах дискриминации во всех изученных странах совпал: это вопросы оплаты труда (от 25,6% в Армении до 57,1% в Молдове) и ограничения возможностей занимать руководящие посты (от 35,6% в Армении до 44,8% в России). Респонденты-мужчины также в первую очередь отмечают именно эти области дискриминации. Отсутствие возможностей карьерного роста во всех обследованных странах женщины поставили на третье место по значимости среди дискриминационных практик в медиасфере (от 21,1% в Армении до 37,5% в России).

Фактические данные о распределении женщин и мужчин по должностям, полученные в ходе исследования (см. табл. 4), подтверждают справедливость представлений респондентов о том, что наиболее часто гендерная дискриминация в медиа связана с ограничениями возможностей для женщин занимать руководящие должности.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Укажите должность, которую Вы занимаете», %

Должность/пол	Мужчины	Женщины	В целом по выборке
Россия			
Творческая (журналист, репортер и т. п.)	32,4	47,3	40,5
Руководящая (гл. редактор, директор, топ-менеджер и т. п.)	47,5	34,1	40,2
Руководитель среднего звена (руководитель отдела, проекта и т. п.)	20,1	18,6	19,3
Молдова			
Творческая (журналист, репортер и т. п.)	43,3	45,3	44,5
Руководящая (гл. редактор, директор, топ-менеджер и т. п.)	40,0	39,6	39,8
Руководитель среднего звена (руководитель отдела, проекта и т. п.)	16,7	15,1	15,7
Армения			
Творческая (журналист, репортер и т. п.)	36,7	71,8	61,4
Руководящая (гл. редактор, директор, топ-менеджер и т. п.)	50,0	18,3	27,7
Руководитель среднего звена (руководитель отдела, проекта и т. п.)	13,3	9,9	10,9

Для Армении и России характерна так называемая гендерная пирамида власти: на высших руководящих должностях доля женщин значительно меньше, чем мужчин (в Армении — на 31,7 %, в России — на 14,4 %), на уровне руководителей среднего звена гендерный разрыв немного сокращается, а среди занимающих рядовые творческие должности в основном преобладают женщины.

Этот вывод подтверждают также данные, полученные из открытых источников. Так, в рамках исследования «Российская медиасреда: гендерные аспекты занятости и карьеры» [Александрова и др., 2017] был проанализирован «Атлас муниципальной прессы Российской Федерации», данные которого также говорят о существовании гендерной пирамиды власти: если на уровне муниципальной прессы должность главного редактора чаще занимают женщины (53 % — женщины, 47 % — мужчины), то уже на региональном уровне ситуация кардинально меняется и на позициях главных редакторов мужчин больше (36 % — женщины, 64 % — мужчины). На уровне же федеральной прессы главные редакторы — мужчины составляют 90 % [Атлас..., 2009].

Кроме того, данные сервисов «Медиалогия» и GoogleAnalytics позволили провести анализ руководящих позиций в наиболее цитируемых СМИ России, Молдовы и Армении. Так, руководящие должности в «топовых» СМИ рассматриваемых стран занимают в основном мужчины. В частности, на позиции генерального директора в России 20 % женщин и 80 % мужчин, в Молдове⁵ — 7 % женщин и 93 % мужчин, в Армении — 25 % женщин и 75 % мужчин. Позицию главного редактора женщины занимают в целом чаще, чем должность генерального директора. Распределение мужчин и женщин, занимающих должность главного редактора, выглядит следующим образом: в России — 25 % женщин и 75 % мужчин, в Молдове — 57 % женщин и 43 % мужчин, в Армении — 40 % женщин и 60 % мужчин.

Таким образом, можно говорить о наличии в этих странах так называемого стеклянного потолка, когда формальных ограничений для занятия позиций выше определенного уровня нет, но, тем не менее, фактически женщины не могут продвинуться дальше определенной точки в силу господствующих в обществе гендерных предрассудков [Роцин, Солнцев, 2006]. В Молдове феномен «стеклянного потолка» не был обнаружен — шансы занять руководящие должности в медиа этой страны для женщин и мужчин практически одинаковы (равные доли мужчин и женщин отметили, что занимают руководящую должность).

Оплата труда

Причины отмеченных участниками анкетного опроса гендерных различий и дискриминации в области оплаты труда обсуждались в ходе экспертных интервью. Подтвердив существование этой проблемы для всех трех стран, эксперты в то же время подчеркивали, что в сфере СМИ вопрос оплаты труда часто решается в индивидуальном порядке. Во-первых, оплата труда варьируется в зависимости от популярности того или иного массмедиа, рейтингов отдельных проектов, реализуемых медиаорганизацией, а также от источников финансирования. Например, уровень зарплат выше у тех сотрудников СМИ, которые работают в «топовых»

⁵ Следует отметить, что интернет-ресурсы в Молдове оказались достаточно закрытыми в отношении публикации информации о руководящих лицах, в связи с чем было проанализировано меньшее количество СМИ по сравнению с Россией и Арменией.

медийных проектах или в массмедиа, находящихся в собственности или в «зоне влияния» политической элиты. Во-вторых, большое значение имеет квалификация журналистов и их популярность у аудитории — при наличии этих качеств гендерная принадлежность никак не сказывается на зарплате:

Ценные журналисты оплачиваются одинаково высоко независимо от пола. Люди, которые делают поточную работу, оплачиваются одинаково низко. (Армения, руководитель общественной медиаорганизации, женщина)

Я не думаю, что есть разница в оплате труда женщин и мужчин, точнее, у меня нет доказательств того, что она существует. (Молдова, директор ассоциации СМИ, мужчина)

В целом же по медиаотрасли зарплаты достаточно низкие, что делает работу в СМИ малопривлекательной для мужчин, высокий заработок которых традиционно считается нормой в связи с необходимостью содержать семью. Этим, наряду с расширением доступности журналистского образования, а также указанными выше причинами технологического и политического характера, эксперты трех стран объясняют отток мужчин из отрасли и, как следствие, ее феминизацию. Изначально предполагавшаяся причинно-следственная связь — представление о том, что именно рост числа женщин среди работников медиасферы приводит к снижению уровня зарплат,— не подтвердилась экспертами из России, Армении и Молдовы:

У нас традиционно в журналистике больше женщин, чем мужчин. Зарплаты в журналистике маленькие, а так как у нас считалось, что мужчина должен содержать семью, то журналистской зарплаты не хватает, чтобы выполнять эту функцию. (Армения, редактор сайта, женщина)

У нас огромное количество женщин в средствах массовой информации и не так уж много мужчин. Мужчины все меньше и меньше идут работать в эту сферу из-за низких зарплат, стрессовой и сложной работы. (Армения, руководитель общественной медиаорганизации, женщина)

Женщины остались в журналистике, а мужчины пошли искать более хлебные должности. (Россия, шеф-редактор, мужчина)

Вызванное совокупностью причин снижение в СМИ расходов на оплату труда сотрудников приводит к гендерной асимметрии в сторону женщин, мужчины при этом ищут иные возможности заработка и карьеры.

Признавая наличие гендерного разрыва в вопросах оплаты труда, эксперты в то же время старались оправдать его малочисленностью мужчин в медиасфере, что, по их мнению, способствует более высокому спросу на них и, как результат, более высокой заработной плате по сравнению с женщинами.

Так как мужчины в нашей профессии — почти что редкость, они более желанны для редакции и им, соответственно, платят немножко больше. (Армения, редактор сайта, женщина)

Поскольку мужчин немного, хочется иметь их в составе организации для проведения программ и материалов определенного типа. Это начинает приводить к тому, что мужчинам могут платить больше. (Армения, руководитель общественной медиаорганизации, женщина)

У нас в Молдове есть разница в зарплате среди мужчин и женщин. Это не значит, что, если мужчина приходит на работу на ту же позицию, ему дадут больше, чем женщине. Просто мужчина контролирует больше постов, которые лучше оплачиваются. (Молдова, редактор газеты, женщина)

Кроме того, эксперты отмечают различия в поведении женщин и мужчин на рынке труда. В частности, мужчины в целом более мобильны:

Мужчины более динамичны, они больше предрасположены к изменению мест работы, к тому, чтобы принять более интересное предложение. Может быть, это и есть причина, почему в некоторых случаях мужчинам могут платить больше. (Армения, руководитель общественной медиаорганизации, женщина)

Мужчины также и более амбициозны: как подчеркивали эксперты, в отличие от мужчин женщины чаще сомневаются в своем праве претендовать на ту или иную вакансию и, соответственно, зарплату. Помимо сугубо гендерной специфики, большая сговорчивость женщин в отношении оплаты труда связана с тем, что многим из них приходится в одиночку нести бремя кормильца, а данный сегмент рынка труда — узкий, особенно на периферии.

Для мужчин характерна следующая позиция: нет достойной работы — я подожду. Женщины в тяжелой ситуации рассуждают так: мне нужно хоть что-то, я не могу найти zapлату предыдущего уровня, поэтому я устроюсь на ту, на которую я могу сейчас рассчитывать. То есть женщины тактически решают задачу и чаще склонны себя недооценивать. (Россия, начальник кадровой службы, женщина)

К специфике оплаты труда тесно примыкает вопрос оформления трудовых отношений, особенно в условиях, когда СМИ ради экономии средств сокращают численность штатных работников. Здесь также наблюдается гендерная специфика: мужчин — при в целом заметной в медиаотрасли доле «внештатников» и просто неформальной занятости — чаще, нежели женщин, зачисляют в штат с заключением трудового договора. Женщины же чаще трудятся в качестве внештатных сотрудников, а нередко и на основе устной договоренности, то есть вообще без каких-либо социально-трудовых гарантий. Мотивы работодателей в выстраивании такого рода трудовых отношений с женщинами во многом объясняются высокой долей занятых в медиаотрасли женщин репродуктивного возраста. Очевидно, что характер трудовых отношений (формальный или неформальный, с зачислением в штат или на внештатной основе) существенно сказывается на зависимости работника от работодателя, делает его более сговорчивым, в том числе в вопросах оплаты труда и специфики подачи информации.

Профессиональная самореализация и карьерные перспективы

Помимо «стеклянных потолков», затрудняющих занятие руководящих постов, карьерные перспективы женщин могут сдерживаться ограничениями возможностей профессиональной самореализации в связи с узостью выбора тематик публикаций, которыми они могут заниматься. Такое проявление гендерной дискриминации можно назвать «стеклянными стенами».

Результаты проведенного массового опроса говорят о том, что до сих пор в медиаотрасли распространены представления о существовании так называемых женских (социальная проблематика, освещение межполовых и внутрисемейных отношений) и мужских тем (политическая, международная, спортивная журналистика). Помимо прочего, здесь гендерная дискриминация имеет своим следствием еще и потерю в зарплате, поскольку в социальной журналистике оплата труда заметно — в разы — ниже, чем в политической, спортивной и т. п. Соответственно, женщины, специализирующиеся на социальной проблематике, зачастую вынуждены изначально рассчитывать на более низкую заработную плату по сравнению с коллегами-мужчинами, занимающимися другими тематическими направлениями.

Согласно результатам опроса, политической журналистикой как основной тематикой занимается от четверти (Россия) до половины (Армения) опрошенных мужчин-журналистов, при этом женщины этой тематикой как основной занимаются почти в два раза реже: в России — 13,2 %, в Молдове — 20 %, в Армении — 26,8 %. Что касается социальной журналистики, то здесь можно выделить два профиля занятости. Первый — с ярко выраженной гендерной окраской специализирующихся на социальной журналистике — наблюдается в Молдове и Армении. Так, в Молдове преимущественно этой тематикой занимаются половина опрошенных журналисток (48 %) и 27,7 % мужчин-журналистов, в Армении — 38 % и 10 % соответственно. Однако в Молдове практически такая же доля женщин (36,6 %) хочет и далее ею заниматься (или начать заниматься), а мужчины, напротив, стремятся сменить основное направление: разрабатывать преимущественно социальную проблематику хотели бы только 10 % мужчин-журналистов. Второй профиль — с более сглаженным разрывом между долями мужчин и женщин, освещающих социальную проблематику, — наблюдается в России: здесь «социалкой» как основной темой занимаются 22,4 % опрошенных мужчин и 36,4 % опрошенных женщин. При этом значительная доля и тех, и других хотела бы сменить тематику: не прочь заниматься в основном социальной журналистикой лишь 11,5 % респондентов-мужчин и 21,3 % женщин.

Эксперты объясняют значительную долю женщин-журналисток, занимающихся социальной тематикой, тем, что женщинам это направление интереснее, нежели мужчинам, которых волнуют другие проблемы (экономика, бизнес, политика, спорт) и в которых они лучше разбираются:

Если попытаться выделить «женские» темы, то по темам, касающимся социальной сферы, человеческого фактора и т. п., пишет много женщин. Думаю, они сами этим заинтересовываются. Потому что вопросы, которые касаются детей, взрослых, — это то, что изначально волнует женщину. Об этом она думает, заботится. (Армения, директор неправительственной медиаорганизации, мужчина)

Гендерные стереотипы работников СМИ

Помимо вопроса о существовании «женской» и «мужской» журналистики, респондентам было предложено выразить свое отношение к ряду стереотипов, касающихся ценностных ориентаций женщин и мужчин в отношении семьи и работы: можно предположить, что работники массмедиа так или иначе транслируют свои взгляды на аудиторию СМИ. В рамках гендерного подхода, основанного на теории социального конструирования гендера, стереотипы рассматриваются как социальные конструкты, используемые для воспроизводства гендерного неравенства в обществе, сфере труда и массмедиа. Поэтому вопрос о гендерных стереотипах в рамках данного исследования имел особую важность: есть опасность, что даже неосознанно, а через подбор тематики, комментарии и общую тональность контента журналисты могут способствовать воспроизводству и распространению в обществе гендерных стереотипов и устаревших социальных норм, правил⁶.

Исследование показало, что российские журналисты в большей степени придерживаются традиционных, патриархальных взглядов, нежели их коллеги из Молдовы и Армении. Так, стереотип, представляющий женщину ориентированной в большей степени на семью («для женщин семья важнее, чем работа»), разделяет более половины респондентов-россиян (64,9% мужчин и 58,2% женщин). В Молдове и Армении примерно равные доли журналистов того и другого пола выразили как поддержку, так и несогласие с данным стереотипом. Заметно более консервативны россияне и в своих представлениях о приоритетах мужчин: 48,8% мужчин и 56,3% женщин высказались в поддержку стереотипа «для мужчин важнее работа, чем семья», в то время как в Молдове и Армении этого стереотипа придерживаются в целом по выборке, соответственно, 32,1% и 16,2%. Стереотип о мужчине-кормильце в целом по выборке поддерживает большинство опрошенных россиян (59,6%). Среди армянских журналистов большинство с таким утверждением не согласны, особенно женщины (79,7%). Что касается Молдовы, то здесь доля женщин, разделяющих данный стереотип, в два раза меньше (29,9%), чем доля согласных с ним в целом по выборке (53,3%). Можно предположить, что несогласие заметной части женщин с данным стереотипом обусловлено его несоответствием реалиям: даже притом что в целом мужчины зарабатывают больше женщин, уровень их зарплат в сравнении с зарплатами женщин не столь велик, чтобы наделять исключительно мужчину ролью кормильца.

Если применительно к утверждениям, касающимся ценностных ориентаций мужчин и женщин в отношении семьи, работы и роли кормильца, наблюдались межстрановые различия и разброс мнений у мужчин и женщин, то в отношении стереотипов, согласно которым женщины сами не склонны делать карьеру и быть руководителями, у журналистов — и мужчин, и женщин — обнаружился практически консенсус: во всех странах порядка 90% категорически с этим не согласны. По-видимому, это связано с тем, что в последнем случае респонденты исходили

⁶ Заметим, что факторы, определяющие то или иное восприятие гендерной дискриминации, в данном исследовании глубоко не изучались, поскольку целью проекта было изучение медиаотрасли на предмет гендерной дискриминации в части карьерного роста и оплаты труда. Хотя ряд вопросов, включая и этот (об отношении к гендерным стереотипам), дает определенные представления о таких факторах. Тем не менее круг вопросов был недостаточно широким, чтобы иметь возможность получить статистически обоснованные модели.

не из культурно обусловленных традиций, а из наблюдаемых ими карьерных установок коллег в высоко феминизированной отрасли.

Таким образом, исследование показало, что стереотипные представления респондентов о положении женщин в семейной и профессиональной сфере отличаются разной степенью устойчивости и распространенности: первые распространены шире и более устойчивы, нежели вторые. Это позволяет сделать ряд выводов о природе стереотипов, обусловленных гендерным неравенством, и факторах их преодоления. Во-первых, гендерные нормы и роли, приписываемые женщинам в разных сферах, связаны не столько с их полом и «предназначением», сколько с нормативными клише и стереотипами, которые по сути являются социально обусловленными гендерными конструктами. Во-вторых, в том, что касалось семейной сферы, журналисты в значительной мере просто воспроизводили усвоенные ими гендерные стереотипы о роли женщины в семье, в то время как в ситуации, связанной с трудовой деятельностью, их отношение к стереотипам изменилось. Участие в профессиональном взаимодействии позволило респондентам не принимать на веру гендерные стереотипы, а реконструировать их в соответствии с личным опытом. Следовательно, не «борьба» с гендерными стереотипами, а изменение реальных практик социального взаимодействия женщин и мужчин в разных сферах жизнедеятельности может способствовать преодолению гендерных стереотипов в обществе.

В то же время анкетный опрос показал, что женщин реже, чем мужчин, приглашают в СМИ в качестве экспертов для освещения значимых событий (так считают 50,8%—57,2% журналисток из всех обследованных стран). В Армении отмечена самая высокая доля журналистов (69,0%), полагающих, что в СМИ существует гендерная диспропорция в пользу мужчин среди экспертов. Отвечая на вопрос о причинах такой ситуации, респонденты в основном указывали на то, что «мужчины-эксперты — лучше», «мужчин-экспертов больше, их легче найти», а также, хотя и в меньшей степени, что «мужчинам-экспертам больше доверяют». Это типичная сексистская позиция защиты устаревших правил подхода к подбору экспертов, которая не учитывает необходимость разнообразия в подаче информации. Последнее, свою очередь, способствует повышению объективности, достоверности и полноты информации при освещении и анализе значимых событий. Кроме того, более частое присутствие мужчин в массмедиа в качестве экспертов объяснялось тем, что их количественно больше среди руководителей. То есть СМИ таким образом закрепляют гендерные стереотипы, которые обуславливают неравенство возможностей женщин и мужчин, претендующих на руководящие посты.

По словам экспертов, женщины в СМИ в основном предстают как «хранительницы очага» (матери, жены), сексуальные объекты, жертвы насилия и эксплуатации.

Сейчас в первую очередь эксплуатируется образ женщины как сексуального объекта. Косметика, здоровье, похудание — это больше всего эксплуатируется. Во вторую очередь это женщина-успех: предприниматель, депутат. Но и здесь больше акцент на внешнюю сторону: пишат, сколько она тратит на свои наряды, питание, процедуры и т. п. (Россия, руководитель журналистской организации, женщина)

Однако в Молдове женщин, которые уехали за рубеж на заработки, представляют как тех, кто жертвует собой ради семьи.

Женщина, которая зарабатывает деньги за рубежом (она там обычно сиделка), которая ухаживает за больными людьми и больше ни на что не способна. Она пожертвовала собой ради семьи, ради благосостояния детей из-за ситуации в стране. (Молдова, руководитель медиаплатформы, женщина)

Образы женщин за пределами этих стереотипов тоже появляются: «Безусловно, есть и женщина-лидер, и женщина-политик, и женщина-бизнесмен — все это, конечно же, есть» (Армения, руководитель общественной медиаорганизации, женщина), — но значительно реже. «Мне кажется, что есть некоторое превалирование попыток сделать женщину хранительницей традиционных армянских ценностей, хранительницей семьи» (Армения, редактор сайта, женщина).

Заключение

Проведенное исследование подтвердило в обследованных странах общую для всего мира тенденцию феминизации СМИ. Причинами роста удельного веса занятых в отрасли женщин являются, с одной стороны, устранение гендерной дискриминации при получении профессии журналиста (прежде всего, за счет резкого расширения доступности соответствующих образовательных программ), а с другой — отток из медиаотрасли мужчин, вызванный факторами материального, технологического и, в ряде случаев, политического характера.

В части, касающейся непосредственно трудовых отношений, межстрановой анализ позволил выявить общее и особенное в медиаиндустрии России, Армении и Молдовы. К числу важнейших результатов исследования можно отнести наблюдаемые (хотя и со страновыми вариациями) карьерные ограничения: несмотря на то, что женщины составляют большинство занятых в медиаотрасли, среди руководства СМИ преобладают мужчины («стеклянный потолок»). Например, в России и Армении это нашло выражение в «гендерной пирамиде» власти и влияния: чем шире аудитория и, соответственно, сильнее влияние, тем больше на руководящих постах мужчин; чем меньше масштаб влияния СМИ на аудиторию и чем ниже должность, тем больше доля женщин. Гендерная специфика должностной иерархии приводит к диспропорциям в оплате труда. Гендерный разрыв в зарплате возможен и на одном должностном уровне. Одна из его причин связана с тематикой, на которой специализируется журналист. Исследование позволило обнаружить связанные с гендером ограничения в профессиональной самореализации («стеклянные стены»): женщины чаще и не всегда по своему желанию специализируются на менее оплачиваемой тематике (социальной проблематике и т. п.).

Несмотря на выявленное широкое распространение дискриминационных практик в отношении женщин в медиаиндустрии обследованных стран, на прямой вопрос о существовании гендерной дискриминации в СМИ большинство опрошенных работников ответили отрицательно. В определенной мере это объясняется достаточно широкой распространенностью в обществах — включая, как показало исследование, и самих журналистов, — таких гендерных стереотипов

о роли женщин и мужчин в семье и обществе в целом, согласно которым гендерная сегрегация воспринимается скорее как норма, нежели как нарушение социальных и трудовых прав. Это повышает вероятность трансляции и воспроизведения через СМИ социальных норм и гендерных стереотипов, ограничивающих возможности женщин в сфере труда и общественного влияния.

Список литературы (References)

Александрова О. А., Бурдастова Ю. В., Ненахова Ю. С., Хоткина З. А. Российская медиасреда: Гендерные аспекты занятости и карьеры / под науч. ред. О. А. Александровой. М.: АНРИ-Медиа, 2017. URL: http://media.fojo.nu/2019/04/Russia_Gender_Report_2017.pdf (дата обращения: 04.08.2020).

Aleksandrova O. A., Burdastova Yu. V., Nenakhova Yu. S., Khotkina Z. A. (2017) Russian Mediaspace. Gender Aspects of Employment and Career. Moscow: ANRI—Media. URL: http://media.fojo.nu/2019/04/Russia_Gender_Report_2017.pdf (accessed: 04.08.2020). (In Russ.)

Атлас муниципальной прессы Российской Федерации. М.: Хроникёр, 2009.
Atlas of the Municipal Press of the Russian Federation. (2009) Moscow: Khroniker. (In Russ.)

Бергер П., Лукманн Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.

Berger P., Luckmann T. (1995) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. Moscow: Medium. (In Russ.)

Воронина О. А. Гендерная культура в России: традиции и новации. М.: Институт философии Российской академии наук, 2018.

Voronina O. A. (2018) Gender Culture in Russia: Traditions and Innovations. Moscow: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. (In Russ.)

Клецина И. С. Гендерная психология. СПб.: Питер, 2009.

Kletsina I. S. (2009) Gender Psychology. Saint Petersburg: Piter. (In Russ.)

Рошин С. Ю., Солнцев С. А. Кто преодолевает «стеклянный потолок»: вертикальная гендерная сегрегация в российской экономике. Препринт № WP4/2006/03. М.: ГУ-ВШЭ, 2006.

Roshchin S. Yu., Solntsev S. A. (2006) Who Overcomes the «Glass Ceiling»: Vertical Gender Segregation in the Russian Economy. Preprint No. WP4/2006/03. Moscow: State University—Higher School of Economics. (In Russ.)

Рябова Т. Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследований // Личность. Культура. Общество. 2003. Т. 5. № 1—2. С. 120—138.

Ryabova T. B. (2003) Stereotypes and Stereotyping as a Problem in Gender Studies. *Personality. Culture. Society*. Vol. 5. No. 1—2. С. 120—138. (In Russ.)

Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист. М.: Аспект Пресс, 2007.

Svitich L. G. (2007) Introduction to the Specialty. Profession: journalist. Moscow: Aspect Press. (In Russ.)

- Becker G. S. (1971) *The Economics of Discrimination*. Chicago, IL: Chicago University Press.
- Connell R. W. (1995) *Masculinities*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Deaux K., Lewis L. L. (1984) Structure of Gender Stereotypes: Interrelations among Components and Gender Label. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 45. No. 5. P. 991—1004. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.5.991>.
- Doeringer P., Piore M. (1971) *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. Lexington, MA: Heath.
- Folke O., Rickne J., Tanaka S., Tateishi Y. (2020) Sexual Harassment of Women Leaders. *Daedalus*. Vol. 149. No. 1. P. 180—197. https://doi.org/10.1162/daed_a_01781.
- Galtung J., Ruge M. (1965) The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. *Journal of Peace Research*. Vol. 2. No. 1. P. 64—90. <https://doi.org/10.1177/002234336500200104>.
- Habermas J. (1962) *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zueiner Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (In Germ.)
- Hallin D. C., Mancini P. (2004) *Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790867>.
- Hallin D. C., Mancini P. (2011, eds.) *Comparing Media Systems Beyond the Western World*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139005098>.
- Lips H. M. (1997) *Sex and Gender: An Introduction*. Radford, VA: Radford University Press.
- McQuail D. (2005) *Mass Communication Theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Scott J. (1986) Gender: A Useful Category of Historical Analysis. *American Historical Review*. Vol. 91. No. 5. P. 1053—1075. <http://dx.doi.org/10.2307/1864376>.
- Standing G. (1989) Global Feminization through Flexible Labour. *World Development*. Vol. 17. No. 7. P. 1077—1095. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(89\)90170-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(89)90170-8).
- Weaver D. H., Willnat L. (2012, eds.) *The Global Journalist in the 21st Century*. New York, NY: Routledge.

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1615



К. И. Казенин, В. А. Козлов, Е. С. Митрофанова

КАК ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВЛИЯЮТ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ? СЛУЧАЙ ИНГУШЕТИИ

Правильная ссылка на статью:

Казенин К. И., Козлов В. А., Митрофанова Е. С. Как изменения гендерных и межпоколенческих отношений влияют на демографическое поведение? Случай Ингушетии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 342—365. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1615>.

For citation:

Kazenin K. I., Kozlov V. A., Mitrofanova E. S. (2020) How Gender and Intergenerational Relations Affect Demographic Behavior: The Case of Ingushetia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 342—365. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1615>. (In Russ.)

КАК ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВЛИЯЮТ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ? СЛУЧАЙ ИНГУШЕТИИ

КАЗЕНИН Константин Игоревич — кандидат филологических наук, директор Центра региональных исследований и урбанистики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы; доцент, кафедра демографии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: kz@ranepa.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3796-6795>

КОЗЛОВ Владимир Александрович — кандидат экономических наук, доцент кафедры демографии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: vakozlov@hse.ru
<http://orcid.org/0000-0003-1788-1484>

МИТРОФАНОВА Екатерина Сергеевна — кандидат социологических наук, старший преподаватель, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: emitrofanova@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3322-5922>

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния гендерных и межпоколенческих отношений на брачно-репродуктивное поведение. Это влияние рассматривается на примере Республики Ингушетия, одного из северокавказских регионов, в семейном укладе населения которого межпоколенческие и гендерные асимметрии играют значимую роль. Анализируются результаты количественного опроса

HOW GENDER AND INTERGENERATIONAL RELATIONS AFFECT DEMOGRAPHIC BEHAVIOR: THE CASE OF INGUSHETIA

Konstantin I. KAZENIN^{1,2} — *Cand. Sci. (Philol.), Head of Department of regional studies; Associate Professor, Department of Demography*
E-MAIL: kz@ranepa.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3796-6795>

*Vladimir A. KOZLOV*² — *Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Demography*
E-MAIL: vakozlov@hse.ru
<http://orcid.org/0000-0003-1788-1484>

*Ekaterina S. MITROFANOVA*² — *Ph.D., Senior Lecturer*
E-MAIL: emitrofanova@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-3322-5922>

¹ The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia

² National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract. The article deals with the impact of gender and intergenerational relations on nuptial and marriage behavior in the Republic of Ingushetia, one of the Northern Caucasus region characterized by intergenerational and gender asymmetries in family life patterns. The authors analyze the results of a quantitative survey carried out among reproductive women in Ingushetia in 2019. The analysis shows that a number of param-

женщин репродуктивного возраста, проведенного в Ингушетии в 2019 г. Как показал анализ, ряд параметров, характеризующих экономическую самостоятельность женщины (наличие работы и образования), а также степень ее зависимости от старших родственников в принятии значимых жизненных решений обнаруживают статистическую связь с вероятностью вступления женщины в брак и рождения первого ребенка. При этом «направление» связи не всегда такое, как предсказывают имеющиеся теории. В частности, большая степень «традиционализма» гендерных и межпоколенческих отношений, как показал опрос, предполагает не более раннее, а, наоборот, более позднее вступление в первый брак. Авторы обсуждают возможные причины таких нестандартных результатов, уточняющих имеющиеся представления о возможном влиянии гендерных и межпоколенческих отношений на демографические процессы.

Ключевые слова: гендерные отношения, межпоколенческие отношения, рождаемость, брачность, Северный Кавказ, количественные опросы

Благодарность. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Авторы благодарят Дмитрия Рогозина и Надежду Галиеву за помощь в проведении телефонного опроса.

1. Введение

Исследование демографических тенденций в переходных обществах, то есть обществах, в которых ныне живущие поколения были свидетелями серьезных изменений экономической, политической, культурной ситуации, представля-

eters indicative of a woman's self-dependence (having a job and educational background) and the degree of female dependence on elder relatives in making important life decisions discover a statistical relationship with the likelihood of entering into a marriage and having a first child. However the "direction" of this relationship is not always predicted by the available theories. In particular, the survey shows that a larger degree of "traditionalism" in gender and intergenerational relations implies a later entry into the first marriage rather than an earlier one. The authors discuss possible reasons behind such unusual results detailing the existing ideas about possible impact of gender and intergenerational relations on demographic processes.

Keywords: gender relations, intergenerational relations, fertility, nuptiality, North Caucasus, quantitative surveys

Acknowledgments. The article is part of a research work under a state assignment to RANEPА.

The authors express their gratitude to Dmitri Rogozin and Nadezhda Galieva for help with the telephone survey.

ет значительный интерес и для демографии, и для социологии. Анализ данных по разным регионам мира показал, что масштабные социальные трансформации редко оставляют «нетронутыми» имеющиеся у населения демографические предпочтения. Так, они часто меняют преобладающие в обществе взгляды на то, какое количество детей в семье оптимально, в каком возрастном промежутке мужчине и женщине лучше всего вступить в первый брак, а также, например, восприятие обществом таких явлений, как бездетность, незарегистрированное партнерство и т. п. Подобные изменения влекут за собой и сдвиги в реальном демографическом поведении. В частности, ключевые демографические перемены в развитых странах в последние два столетия, известные как Первый и Второй демографические переходы, современными исследователями рассматриваются как следствие масштабных трансформаций ценностей и представлений о семейном укладе, доминирующих в обществах, в которых они происходили (см., например, [Lesthaeghe, 1983; Lesthaeghe, Surkyn, 1988; Демографическая модернизация России, 2006]). Однако характер взаимосвязи между такими трансформациями и демографическими процессами изучен пока для довольно ограниченного числа стран, и для того, чтобы получить более полную картину этой взаимосвязи, необходимо рассмотреть ее в гораздо большем числе переходных обществ.

В свете этой задачи особый интерес представляют те регионы, которые на момент распада СССР отличались высоким уровнем семейного «традиционализма». Под ним мы здесь понимаем действие в семье жестких межпоколенческих и гендерных асимметрий, утверждающих преимущественные права в семье старшего поколения и членов семьи мужского пола. Это относится, в частности, к регионам Северного, в особенности Северо-Восточного Кавказа. В Дагестане, Чечне и Ингушетии на начало 1990-х годов семейный уклад коренных этносов характеризовался значительно большей «традиционностью», чем в большинстве других частей России, и одновременно эти регионы отличались от страны в целом в демографическом отношении, прежде всего — более высокой рождаемостью [Белозеров, 2005; Казенин, Козлов, 2016]. Постсоветские социальные изменения в этих регионах, в том числе в семейной сфере, носили разнонаправленный характер, отчасти ослабляя традиционные семейные нормы, а отчасти, наоборот, укрепляя их [Стародубровская, 2019]. Многовекторная социальная трансформация на Северном Кавказе в 1990-е — 2010-е годы включала и распад традиционных сельских общин в результате массовой миграции в города [Карпов, Капустина, 2011], и рост социальной роли религии [Кисриев, 2004], и частичное возрождение норм традиционного права при разрешении конфликтов [Варшавер, Круглова, 2015; Казенин, 2015], то есть образовывалось сложное сочетание *детрадиционализации* и *ретрадиционализации* общественного уклада, проявлявшееся в том числе на уровне семьи. Исследованию вопроса о том, как социальные изменения в этих переходных обществах влияли на демографическое поведение населения, посвящена настоящая статья.

Представленное в статье эмпирическое исследование ограничено одним регионом Северо-Восточного Кавказа — Ингушетией. Концентрация на одном регионе оправдана в силу значительных различий между Ингушетией, Чечней и Дагестаном по социальным и демографическим характеристикам, что заставляет отдельно рассматривать эмпирический материал каждого региона. Будет рассмотрено

влияние особенностей семейного уклада современной Ингушетии на два демографических события — вступление женщины в первый брак и рождение женщиной первого ребенка. Выбор этих событий связан с тем, что, как показывают исследования обществ традиционного уклада в разных частях мира, действие жестких гендерных и поколенческих иерархий в семье часто предписывает вступление женщин в брак в строго определенном возрастном промежутке, а также делает бездетность женщины или малое количество детей социально осуждаемым явлением (см., например, [Lerch, 2013] для Албании, [Morgan, Niraula, 1995] для Непала и мн. др.). Представляет интерес то, как изменились эти нормы в Ингушетии в ходе специфичных для региона постсоветских трансформаций организации семьи.

Для изучения влияния гендерных и межпоколенческих иерархий на брачно-репродуктивную биографию женщин проведен количественный опрос жительниц Ингушетии в возрасте 16—45 лет. Для проверки гипотез о влиянии особенностей семейного уклада на брачность и рождаемость выбран статистический метод «Анализ наступления событий» (регрессии Кокса). Этот метод позволил изучить связь между брачностью и рождаемостью с одной стороны и социодемографическими характеристиками женщин и их семей с другой.

Статья построена следующим образом. В разделе 2 содержится краткий обзор имеющихся на сегодня результатов исследований взаимосвязи гендерных и поколенческих асимметрий в семье с параметрами брачно-репродуктивного поведения. В разделе 3 суммируются результаты исследований изменений семейного уклада в регионах Северного Кавказа в последние советские и в постсоветские десятилетия. В разделе 4 приводятся основные демографические данные о брачности и рождаемости в Ингушетии в 1990-е — 2010-е годы. Далее в разделе 5 описывается проведенное количественное исследование, в разделе 6 даны его основные дескриптивные результаты, а в разделе 7 представлен статистический анализ, использующий модели пропорциональных рисков. Наконец, в разделе 8 читатель найдет обсуждение результатов анализа.

2. «Традиционализм» семейного уклада, брачность и рождаемость: гипотезы о взаимосвязи

Взаимосвязи между гендерными и межпоколенческими отношениями в обществе с одной стороны и рождаемостью с другой посвящена обширная литература. Краткий обзор, предлагаемый в настоящем разделе, не претендует на ее полный охват, а выделяет два направления, наиболее широко представленных в исследованиях последних десятилетий. Они несколько различаются по используемым базовым понятиям и по тем конкретным аспектам семейного уклада, связь которых с рождаемостью они исследуют.

Первое направление изучает связь рождаемости с «возможностями женщин» (women's empowerment) в социуме [Mason, 1987; Larsen, Hollos, 2003; Lopez-Claros, Zahidi, 2005; Mosedale, 2005; Beteta, 2006; Phan, 2016 etc.]. Возможности, о которых идет речь, включают в себя:

- возможность получить образование;
- возможность иметь оплачиваемую работу за пределами своего домохозяйства;

- возможность влиять на значимые решения, принимаемые в семье;
- возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся своего здоровья и в целом телесной сферы.

Анализ данных многих стран мира показывает, что расширение возможностей женщин в перечисленных сферах ведет к сокращению рождаемости (наиболее «свежий» обзор исследований на эту тему см. в [Phan, 2016]). Так, рост шансов женщин на получение образования, по крайней мере за пределами стран с наиболее развитой системой поддержки семей с учащимися и работающими матерями, ведет к тому, что у женских поколений, чьи образовательные возможности больше, чем у предыдущих, уровень рождаемости будет ниже. Один из механизмов этой взаимосвязи заключается в сдвиге вступления в брак и рождения первого ребенка к более старшим возрастам из-за получения женщиной образования [Bongaarts, Mensch, Blanc, 2017]. Такой возрастной сдвиг, в свою очередь, ведет к сокращению «итоговой» рождаемости поколений. Кроме того, многодетность остается для женщины одним из немногих путей обеспечить себе солидный социальный статус, когда в обществе затруднен доступ женщин к образованию и на рынок труда (см. [Sulway, 2007]). Когда эти барьеры ослабевают, «заработать» свой социальный статус становится возможным более разнообразными путями, что приводит к снижению рождаемости. Механизм «обратного» влияния рождаемости на шансы женщин в сфере образования и на рынке труда состоит в том, что при сокращении количества детей в семье родители с большой вероятностью отказываются следовать жестким гендерным ограничениям, даже если таковые действенны в данном обществе, и вкладывают больше ресурсов в образование дочерей, а это, в свою очередь, очевидно, повышает и шансы последних на рынке труда [Wu, Ye, He, 2014].

Что касается связи между ролью женщины в семье и рождаемостью, то ряд исследований показывает, что в обществах, где положение женщины в семье крайне зависимое, решения о продолжении деторождения в супружеских парах практически единолично принимаются мужем, часто заинтересованным в максимальном количестве детей (ср. [Kabeer, 2005] для ряда стран Южной Азии; [Malhotra, Vanneman, Kishor, 1995] для Индии). Отсутствие автономии женщины в вопросах своего здоровья также ограничивает ее право настаивать на использовании контрацепции, что, разумеется, служит фактором, повышающим рождаемость [Phan, 2016].

В целом подход, использующий в качестве ключевого понятия возможности женщин, ориентируется на «объективные» характеристики положения женщины в обществе и на их связь с рождаемостью. Достоинства этого подхода в том, что все используемые им характеристики могут быть достаточно легко «измерены» в ходе социологических исследований. Исследование переходных обществ позволяет эффективно проверить гипотезы о связи этих характеристик с рождаемостью, определив, ведет ли расширение возможностей женщин в социуме к сокращению числа рождений на одну женщину.

Второй подход, который также достаточно распространен в современных исследованиях взаимосвязи гендерных и межпоколенческих отношений с рождаемостью, в качестве базового понятия использует понятие патриархальности [Gruber, Szoftyssek, 2012; Lerch, 2013]. Под патриархальностью понимается действие в обществе ценностных установок, закрепляющих преимущества мужчин

над женщинами и старших поколений над младшими. Отметим, что при таких ценностных установках ожидаются существенные ограничения тех возможностей женщин, о которых шла речь выше. Однако есть и другие, быть может, менее очевидные пути влияния патриархальных ценностных установок на рождаемость. Во-первых, патриархальность предполагает проживание молодой семьи в доме родителей мужа или, по крайней мере, на малом расстоянии от него (*вирилокальность*). В этом случае вступление в брак требует переезда женщины в новую местность, где она должна «вписаться» в новую для себя среду и систему отношений. Ее шансы на какую-либо самостоятельную экономическую активность в таких условиях весьма невелики, а деторождение оказывается основным способом гарантировать себе стабильное положение в семье мужа, поддержку от его родственников, от которой существенно зависят ее жизненные перспективы [Mason, 1987]. Во-вторых, активное социальное взаимодействие между старшими и младшими поколениями взрослых, требуемое патриархальными нормами, позволяет супружеской паре рассчитывать на поддержку «расширенной семьи» мужа, тем самым сокращает издержки и риски, связанные с воспитанием детей, и поддерживает высокую рождаемость. В-третьих, патриархальные нормы часто предполагают значительный возрастной разрыв между мужем и женой [Dyson, Moore, 1983]. Это также закрепляет зависимое положение женщины в семье и ограничивает ее возможность влиять на решения о деторождении, об использовании контрацепции и т. д. Наконец, в условиях патриархальности рождение ребенка мужского пола имеет преимущественную ценность, что заставляет супружеские пары продолжать деторождение до тех пор, пока не родится «наследник», это может приводить к увеличению уровня рождаемости [Guilmoto, 2012; Morgan, Niraula, 1995].

Также в литературе показано, что сильные позиции патриархальных норм в социуме могут быть фактором, не только повышающим рождаемость, но и понижающим возраст женщины при вступлении в первый брак и при рождении первого ребенка (см. [Malhotra, Vanneman, Kishor, 1995] для Индии, [Казенин, Козлов, 2016; 2017] для Дагестана; в целом можно отметить, что связь патриархальности с возрастными характеристиками брачно-репродуктивного поведения изучена для меньшего числа стран и регионов, чем ее связь с уровнем рождаемости). Такая взаимосвязь ожидаема по крайней мере по трем причинам. Во-первых, «нормативный» низкий уровень образования женщин в патриархальных обществах способствует ранним бракам. Во-вторых, гендерные асимметрии в семье, закрепляя за мужчиной роль «добытчика» и требуя от него соответствующих возможностей, могут делать нежелательным слишком молодой возраст жениха при заключении брака, но не влияют таким образом на возраст невесты. В-третьих, роль старшего поколения при заключении браков, характерная для патриархальных обществ, дает возможность родственникам договариваться о выдаче замуж девушек, в силу возраста не готовых принимать такие решения самостоятельно.

Итак, представленный здесь краткий обзор имеющихся исследований взаимосвязи гендерных и межпоколенческих отношений с характеристиками брачности и рождаемости демонстрирует, что механизмы этой взаимосвязи могут быть разнообразными. Мы рассмотрели результат исследований взаимосвязи свойств брачно-

репродуктивного поведения с двумя группами признаков, касающихся гендерных и поколенческих асимметрий: признаков, касающихся возможностей женщин в социуме, и признаков патриархальности. Очевидно, что обе группы признаков отражают различные аспекты традиционализма семейного уклада или, соответственно, отхода от него. В целом результаты различных исследований совпадают в том, что более выраженные контрасты в социальном положении мужчин и женщин, а также в социальном положении старших и младших поколений позволяют ожидать более высокий уровень рождаемости и более молодой возраст женщин при вступлении в брак и рождении первого ребенка. Ниже, описывая методику нашего исследования, отдельно рассмотрим вопрос о том, какие из индикаторов гендерных и поколенческих асимметрий имеет смысл рассматривать именно на Северном Кавказе применительно к их возможному влиянию на рождаемость.

3. Северный Кавказ: изменения традиционного семейного уклада

При всех различиях исторического пути разных республик Северного Кавказа в советское и постсоветское время, важная общая особенность этого региона состоит в том, что изменения традиционного семейного жизненного уклада начались там позже, чем аналогичные процессы в большинстве других частей России. Одна из наиболее очевидных причин этого (как можно предположить, вовсе не единственная) состоит в том, что по крайней мере вплоть до 1960-х годов среди коренных народов Северного Кавказа доля сельского населения была значительно выше, чем в целом по стране, причем в сельской местности Северного Кавказа этносы расселены в основном компактно: на горных территориях преобладают моноэтнические населенные пункты, в предгорьях и на равнине таковых гораздо меньше, но тенденция к компактному проживанию разных народов все равно сохраняется [Белозеров, 2005]. Такой характер расселения способствовал сохранению интенсивных контактов между родственниками, традиционных механизмов самоорганизации сельской общины. Эти устои в целом не были поколеблены даже насильственными переселениями (депортациями) ряда северокавказских народов в сталинское время [Полян, 2001]. Сельскохозяйственное производство, весьма ограниченно модернизированное в советский период на Северном Кавказе, закрепляло жесткое разделение гендерных ролей на уровне сельской общины и семьи.

Постепенное размывание существовавшего на Северном Кавказе социального порядка началось с 1960-х годов, когда стала расширяться миграция горского населения на равнину и сельского населения в города ([Карпов, Капустина, 2011]; см. также [Казенин, 2012; 2019а]). Последствия этого переселения были весьма неоднородными для социальных отношений в среде коренных этносов. В целом такая миграция неизбежно вела к ослаблению родственных, общинных связей, как следствие — и к более ограниченной социальной роли старшего поколения (на ослабление традиционной роли старшего поколения влияли также существенные различия социального опыта «отцов», выросших на селе, и «детей», социализировавшихся в городах, см. [Стародубровская, 2019]). Однако, как показано в [Карпов, Капустина, 2011] на примере Дагестана, у миграции разных этносов или даже выходцев из разных сёл это «детрадиционализирующее» влияние имело

разную силу: в некоторых случаях мигранты сохраняли интенсивные внутриобщинные связи на новом месте жительства, что способствовало и сохранению в их повседневной жизни привычных гендерных и поколенческих асимметрий. Это создало большое разнообразие социального и, в частности, семейного уклада на равнине, в том числе в городах, особенно с ростом миграции в постсоветский период. При этом и сельские территории различались по степени эрозии традиционных поколенческих и гендерных отношений, вызванной как разложением традиционных форм сельскохозяйственного производства, так и интенсивными контактами горцев с родственниками, переехавшими на новые места жительства. Исламское возрождение, начавшееся на Северном Кавказе в постсоветский период, также имело неоднозначные последствия для семейного уклада: с одной стороны, повышение роли религии делало ее мощным противовесом «либерализации» отношений между полами, а с другой стороны, внутррелигиозные конфликты, особенно связанные с появлением новых для региона исламских течений, наиболее активно исповедуемых молодежью, расшатывало традиционные поколенческие асимметрии [Кисриев, 2004].

Особенность Северо-Восточного Кавказа, к которому относится и Ингушетия, состоит в том, что первые 10—20 постсоветских лет знаменовались там критическим ослаблением всех государственных институтов, быстрым распадом большинства существовавших ранее промышленных предприятий, ростом влияния криминальных кланов и незаконных вооруженных формирований. В Ингушетии эта ситуация дополнительно осложнялась, во-первых, тем, что как отдельный регион она начала фактически «с нуля» формироваться уже после распада СССР, а во-вторых, ситуация в ней была предельно дестабилизирована после того, как в ходе конфликта в Пригородном районе в октябре-ноябре 1992 г. республика приняла десятки тысяч вынужденных переселенцев ингушской национальности из Северной Осетии. Кроме того, Ингушетия в большей степени, чем другие соседствующие с Чечней регионы, ощутила на себе дестабилизирующее влияние сепаратизма и военных действий в этой республике. В литературе неоднократно отмечалось, что подобный обвал государственных институтов и системы общественной безопасности может вести к «архаизации», «ретрадиционализации» общественных отношений, к возрождению или укреплению традиционных неформальных институтов на уровне семьи, рода как дающих некоторую защиту, не получаемую в новых условиях от государства ([Ахиезер, 2001]; о процессах «ретрадиционализации» в некоторых других частях постсоветского пространства см. [Nedoluzhko, Agadjanian, 2015]). Хотя имеющиеся исследования не позволяют определить, насколько в Ингушетии можно говорить именно о таком «возвратном» усилении традиционных семейных норм в постсоветский период, они вполне ясно указывают, что эти нормы в 1990—2010-е годы занимали в ингушском социуме весьма важное место [Павлова, 2012]. В частности, налицо в этот период важная организующая роль родов (фамилий), установка на однозначно главенствующую роль мужчин в семье, активное использование норм традиционного и религиозного права при решении различных конфликтов, включая семейные, и т. д. Предположение и том, что эти характеристики ингушского социума сегодня совершенно статичны, было бы ошибочным — ср. [Стародубровская, Казенин,

2019], где ставится под вопрос «работоспособность» родовых структур в условиях общественно-политического противостояния, имевшего место в Ингушетии осенью 2018 — весной 2019 г. Однако в целом «вес» традиционных норм организации семьи в сегодняшней Ингушетии остается весьма значительным.

4. Ингушетия: основные тенденции брачности и рождаемости в постсоветский период

В данном подразделе резюмируются сведения о рождаемости и брачности в постсоветской Ингушетии, содержащиеся в официальных источниках — результатах Всероссийских переписей населения (ВПН) 2002 и 2010 гг., а также данных текущего учета Росстата. Следует особо подчеркнуть, что к приведенным данным приходится относиться с большой осторожностью из-за отмечаемых многими исследователями проблем с официальной статистикой населения на Северном Кавказе [Андреев, 2012; Мкртчян, 2019]. Тем не менее официальные данные являются наиболее полным источником по демографическим процессам в исследуемом регионе.

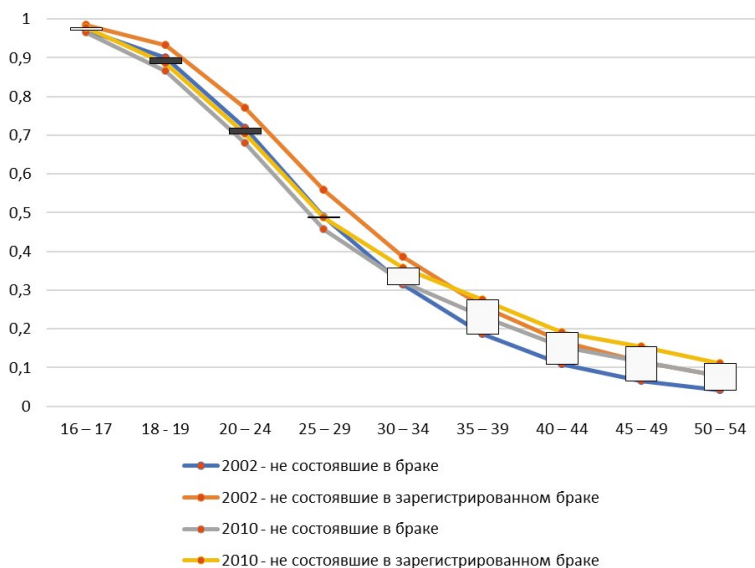


Рис. 1. Доли женщин, никогда не состоявших в браке и никогда не состоявших в зарегистрированном браке, в Ингушетии, 2002 и 2010 г.¹

Данные ВПН 2002 и 2010 г. позволяют вычислить доли женщин с разным брачным состоянием по возрасту на момент переписи. На рисунке 1 показаны доли никогда не состоявших в браке, а также доли никогда не состоявших в зарегистрированном браке по возрастным группам для двух переписей. Можно видеть, что данные обеих переписей указывают на достаточно позднюю возрастную модель

¹ Источник: рассчитано авторами по данным ВПН 2002 и 2010 г.

брачности: доля вступивших в брак достигает половины только в возрастном промежутке 25—29 лет. При этом в возрастах до 30 лет доля не вступивших в брак, согласно ВПН 2010 г., была несколько ниже, чем согласно ВПН 2002 г., а в старших возрастах, наоборот, расчеты на основе ВПН 2010 г. указывают на более высокую долю не вступивших в брак по сравнению с ВПН 2002 г. Кроме того, по данным ВПН 2002 г., разрыв между долями никогда не состоявших в браке и никогда не состоявших в зарегистрированном браке был больше, чем по данным ВПН 2010 г. Учитывая, что незарегистрированные браки в Ингушетии — это преимущественно браки, скрепленные только по мусульманскому обряду, различия можно интерпретировать как нарастающую к ВПН 2010 г. тенденцию к государственной регистрации религиозных браков. Для возрастных характеристик брачности важен также расчетный средний возраст вступления в брак (Singulate Mean Age at Marriage, SMAM) (методика его расчета приведена в [Hajnal, 1953]). Этот показатель, рассчитанный по данным ВПН 2002 г., составил для женщин 26,06 лет, а по данным ВПН 2010 г. — 25,10 лет. Хотя снижение этого возрастного показателя на год менее чем за десятилетие может рассматриваться как свидетельство быстрого омоложения брачности, в 2010 г. SMAM для женщин в Ингушетии оставался, как и в 2002 г., более чем на два года выше общероссийского (подробнее о возрастных тенденциях брачности в Ингушетии см. [Kazenin, 2019]).

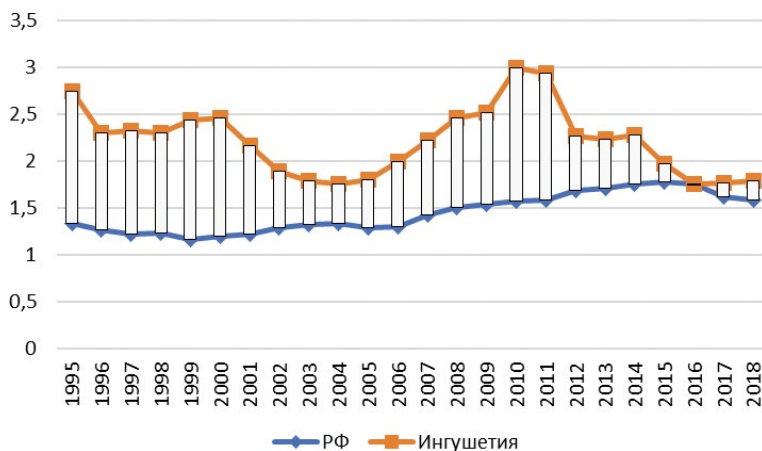


Рис. 2. Коэффициент суммарной рождаемости, РФ и Ингушетия, 1995—2018 (источник: Росстат)

5. Данные

Количественный опрос женщин проводился путем телефонных интервью. Отметим, что в рамках проводимых авторами исследований на Северном Кавказе этот метод был применен впервые, ранее опросы проводились путем личного интервьюирования. Обращение к телефонному опросу было связано с рядом проблем с оценкой достоверности результатов опросов, проведенных путем личного интервьюирования в северокавказских регионах, в частности, со значительной вероятностью ориентации респондентов на «социально желательные» ответы [Kazenin, Kozlov, 2020b].

Телефонный опрос был проведен в мае 2019 г. Им были охвачены женщины, которым на момент опроса было 16—45 лет. Всего в результате опроса были получены интервью с 836 женщинами (общее число отказов женщин данного возраста от интервью и незаконченных интервью составило 3052). При анализе данных опроса мы сопоставляли поколения по годам рождения со следующим разбиением на пятилетние когорты: 1973—1977, 1978—1982, 1983—1987, 1988—1992, 1993—1997, 1998—2003 гг.

Охарактеризуем основные блоки вопросов, содержащихся в анкете. Первый блок составляли вопросы о биографии женщины. Они касались даты и места рождения, миграционной истории, семейного положения, возраста вступления в первый брак, количества детей, пола каждого ребенка и даты его рождения, материального положения семьи. Также в этот блок входили вопросы об уровне образования женщины; о том, была ли у нее работа на момент опроса и, если была, в государственной, частной организации или она была самозанятой; а также о том, работала ли она после вступления в брак.

Второй блок анкеты включал вопросы, касающиеся положения женщины в ее семье. Вопросы имели целью выявление именно тех характеристик семейного уклада, которые (в соответствии с гипотезами, представленными в разделе 2) могут быть значимы для брачности и рождаемости. Как замужним, так и незамужним женщинам задавались вопросы о том, требуется ли им одобрение старших родственников при принятии различных жизненных решений (крупных покупках, выходе на новую работу, переезде в другой регион и т. д.). Эти вопросы были базовыми для выявления межпоколенческих отношений в семье женщины. Женщинам, состоящим на момент опроса или ранее состоявшим в браке, задавалась и другая группа вопросов, касавшихся межпоколенческих отношений, а именно, вопросы об участии старших родственников в их браке: сама ли женщина познакомилась с будущим супругом или их познакомил родственники; сама ли она приняла решение о замужестве или последовала совету родителей (если женщина дважды выходила замуж, вопросы касались первого брака, при заключении которого участие старших родственников более ожидаемо).

Что касается вопросов о гендерных отношениях, то большинство из них задавалось только женщинам, состоящим на момент опроса в браке. Для женщин, не состоящих в браке, «традиционализм» семейного уклада был ожидаем в отношениях со старшими родственниками и, соответственно, его детекторами служили вопросы о межпоколенческих отношениях. Гендерные асимметрии в супружеской паре «измерялись» вопросами о том, работала ли женщина в какой-либо период после вступления в брак, вносит ли она вклад в доход семьи. Перспективы женщины на рынке труда вне зависимости от действующих в ее семье норм позволял оценить вопрос о ее уровне образования, который задавался всем респондентам. Также всем респондентам задавался вопрос, позволяющий раскрыть их идеальное представление о разделении ролей между супругами в семье: «С Вашей точки зрения, сегодня лучше, чтобы муж полностью обеспечивал доход семьи или чтобы работали и муж, и жена?»

Самостоятельный блок вопросов касался личной религиозности женщины. Как уже было отмечено выше, для сегодняшнего Северного Кавказа в целом

неверным видится представление о том, что высокий уровень религиозности обязательно способствует консервации семейного «традиционализма». Однако выше также говорилось, что современные исследования социального уклада Ингушетии подтверждают важную роль религии как осознаваемого значительной частью населения источника действующих норм взаимоотношений в семье. При этом для некоторых других регионов Северного Кавказа была обнаружена значимая связь личной религиозности женщины с различными параметрами ее брачно-репродуктивного поведения (см. [Казенин, Козлов, 2017] для Дагестана; ср. также исследования других регионов мира, обнаружившие значимую связь между параметрами религиозности населения и уровнем рождаемости, — [Knodel et al., 1999, Westoff, Frejka, 2007, Heaton, 2011]). Вопросы о личной религиозности и ценностных ориентирах женщины касались совершения женщиной обязательной для мусульман ежедневной пятикратной молитвы (намаза), соблюдения мусульманского поста (ураза), а также того, считает ли женщина важным дать детям хорошее образование и религиозное воспитание.

Кроме этого, в анкету включались вопросы, с помощью которых можно было установить основные социально-демографические характеристики женщины и домохозяйства, в котором она проживает. К таковым относились вопросы о городском и сельском проживании (поскольку многочисленные исследования рождаемости в разных регионах мира указывают на значимость для последующей рождаемости той среды, в которой прошла первичная социализация будущей матери, вопросы задавались о проживании в городе или на селе не только на момент опроса, но и на момент учебы в последнем классе школы); вопросы о материальном положении семьи (закрытый вопрос с пятью вариантами ответа, см. раздел 6). Также задавался вопрос о частоте пользования интернетом, которая может служить показателем доступа женщины к источникам информации о социальных нормах, альтернативных действующим в ее ближайшем окружении.

С учетом вышеописанного состава вопросов анкеты при статистическом анализе результатов опроса использовались следующие дихотомические параметры, характеризующие положение женщины в семье и ее ценностные установки (два последних по порядку параметра были применимы только к замужним, остальные — ко всем респондентам):

- наличие у женщины (полного или неполного) высшего образования;
- наличие у женщины работы на момент опроса;
- необходимость получить одобрение старших родственников для перехода на другую работу или для совершения крупной покупки (объединенный дихотомический параметр, получавший значение 1, если одобрение требуется хотя бы для одного из этих действий, и значение 0 в противном случае);
- определение варианта, при котором муж полностью обеспечивает доход семьи, в качестве наилучшего;
- признание важности религиозного воспитания детей;
- самостоятельное принятие решения о вступлении в первый брак (в противоположность решению по совету родственников);
- наличие трудовой деятельности за пределами домохозяйства после вступления в брак.

Кроме того, в качестве контрольных параметров при статистическом анализе результатов опроса использовались:

- год рождения женщины (по пятилетним группам, см. выше);
- городское/сельское проживание женщины;
- окончание ею школы в городе или на селе;
- частота доступа к интернету (использовался дихотомический параметр со значением 1, если женщина пользуется интернетом несколько раз в неделю, и 0 в противном случае);
- благосостояние семьи женщины.

6. Дескриптивные результаты

В таблице 1 кратко представлено распределение по поколениям тех включенных в модели параметров, которые определялись для всех респондентов вне зависимости от их брачного статуса. Как видно, более половины респонденток признали необходимость получения одобрения старших родственников при принятии ряда жизненных решений, причем доля таковых увеличивается к младшим поколениям. Здесь возможно влияние эффекта возраста, так как чем моложе индивид, тем он более зависим от старшего поколения на бытовом уровне и в финансовых вопросах. Тот «гендерный идеал», при котором доход семьи обеспечивает только муж, разделило около трети респонденток. Подавляющее число опрошенных признали важность для себя религиозных ценностей, а также сообщили, что соблюдают ключевые предписания религии. Заметных межпоколенческих колебаний в ответах на эти вопросы не выявлено. Доля работающих уменьшается от старших поколений к младшим, а доля имеющих высшее или неполное высшее образование, наоборот, растет (исключая самое молодое поколение, что объяснимо возрастом на момент опроса). Уровень доступа к интернету оказался высок во всех поколениях.

Таблица 1. Доли респондентов, давших определенные варианты ответов на вопросы анкеты по годам рождения, %

Параметры	1973— 1977	1978— 1982	1983— 1987	1988— 1992	1993— 1997	1998— 2002	Все респонденты
Проживает в городе	53,7	49,6	48,1	45,1	49,7	43,1	47,9
Окончила школу в городе	51,2	54,7	53,4	49,7	50,7	53,3	52,1
Имеет высшее или неполное высшее образование	37,8	43,8	54,7	60,06	59,7	23,7	48,7
Имеет работу на момент опроса	54,9	56,9	38,5	45,8	37,5	16,2	41,2
Требуется одобрение старших родственников, чтобы начать работать на новом месте или уволиться	45,1	35,1	51,6	53,9	62,1	85,3	55,5
Требуется одобрение старших родственников для совершения крупной покупки	46,8	48,9	51,6	56,6	61,5	87,1	58,7

Параметры	1973— 1977	1978— 1982	1983— 1987	1988— 1992	1993— 1997	1998— 2002	Все респонденты
Считает важным дать ребенку хорошее образование	96,3	98,5	97,5	97,4	96,5	99,1	97,6
Считает важным дать ребенку религиозное воспитание	77,6	75,8	87,0	83,0	86,9	87,8	83,4
Пользуется интернетом чаще, чем один раз в неделю	90,5	87,2	89,3	92,7	94,7	95,7	91,6
Считает наилучшим вариант, когда доход семьи полностью обеспечивает муж	30,6	34,9	36,1	32,1	37,9	40,0	35,4

Добавим, что параметр благосостояния семьи (не отражен в таблице) не показал значимых различий между поколениями. Распределение ответов на вопрос «Что из сказанного точнее всего описывает ваше нынешнее материальное положение?» среди всех респондентов было следующим: «с трудом хватает денег на еду» — 22 %, «хватает денег на еду и одежду, но не на бытовую технику» — 33,9 %, «хватает денег на еду, одежду, бытовую технику, но не на хороший автомобиль» — 32,1 %, «хватает денег на хороший автомобиль, но не на то, чтобы построить новый дом» — 6,3 %, «хватает денег на то, чтобы построить новый дом» — 5,6 %.

В таблице 2 кратко представлено распределение параметров, определенных только для замужних женщин. Доля женщин, на решение о браке которых влияли старшие родственники, варьирует от 35 % до 45 %. Максимум эта доля достигает среди тех, кто родился в 1993—1997 гг. и на момент опроса находился в возрасте 22—26 лет. Доля женщин, работавших после вступления в брак, от старших к младшим поколениям сокращается с 70 % до 11 %, что может быть обусловлено эффектом возраста, так как те, кто родился в 1998—2002 гг., на момент опроса были младше 22 лет и, видимо, еще не успели начать трудовую карьеру.

Таблица 2. Доли респондентов, давших определенные варианты ответов на вопросы анкеты, адресованные только замужним женщинам, по годам рождения, %

Параметры	1973— 1977	1978— 1982	1983— 1987	1988— 1992	1993— 1997	1998— 2002	Все респонденты
Самостоятельно (не по совету старших родственников) приняла решение выйти замуж	35,6	37,2	35,7	40,8	45,0	38,9	38,5
Работала после вступления в брак	69,9	65,7	53,8	48,8	41,2	11,1	48,5

7. Анализ наступления событий

Одной из существенных характеристик брачности на Северо-Восточном Кавказе является крайне низкая доля рождений вне супружеского союза (который, как мы

видели выше, может быть зарегистрированным или незарегистрированным). Эта характеристика в полной мере подтвердилась и результатами опроса: из 260 женщин, заявивших, что никогда не были замужем, ни одна не сообщила, что имеет детей. При пренебрежимо низком уровне рождаемости у одиноких матерей «старт» материнства имеет смысл рассматривать как результат двух событий — вступления в первый брак и последующего деторождения. Раздельное исследование вероятностей (или рисков, что точнее с математической точки зрения) этих двух событий было осуществлено при помощи регрессий Кокса (моделей пропорциональных рисков). Преимущество такого способа анализа состояло в том, что он позволил изучить влияние различных факторов на наступление каждого из этих двух событий по отдельности.

Для проверки выдвинутых в статье гипотез были построены две модели пропорциональных рисков: (1) модель для оценки «риска» вступления в *первый брак* для всех женщин, с помесечным шагом начиная с возраста 15 лет; (2) модель для оценки «риска» *рождения первого ребенка* после вступления в первый брак — только для замужних женщин.

При построении второй модели из выборки были исключены респондентки, у которых первый ребенок родился до вступления в первый брак (таковых среди всех респондентов оказалось 3,1%) или менее чем через семь месяцев после вступления в брак — то есть зачатие произошло не в браке (4,3% от всех респондентов). Причина данного решения в том, что такая последовательность событий, по нашей оценке, с большой вероятностью сигнализирует об ошибке одного из двух типов: либо женщина, состоящая во втором браке, назвала дату его заключения вместо первого брака, в котором у нее родился первый ребенок, либо вместо даты фактического начала первого брака была названа дата его формальной регистрации.

В таблице ниже (см. табл. 3) представлены основные результаты регрессионного моделирования для обеих моделей. Из всех параметров, перечисленных в разделе 5, в таблицу включены только параметры, которые оказались статистически значимыми.

Для первой модели, в которой оценивались риски вступления в первый брак после достижения возраста 15 лет, значимыми на максимально высоком уровне (99,9%) оказались две переменные: наличие высшего или неполного высшего образования и необходимость одобрения старших при принятии решений. У женщин, имеющих высшее или неполное высшее образование, шансы вступить в первый брак на 40% меньше, чем у женщин без такого образования. У женщин, заявивших, что им требуется одобрение старших родственников при принятии значимых решений, шансы вступить в первый брак на 38% меньше, чем у тех, кто не советуется с родственниками. Для женщин, имеющих работу на момент опроса, шансы вступления в первый брак на 20% ниже, чем у тех, кто не трудоустроен (значимость на уровне 99,2%). Также оказалась значимой, но на уровне не более 90%, переменная отношения к религиозному воспитанию детей: у тех, кто считает важным давать религиозное воспитание детям, риск вступить в первый брак на 18% ниже, чем у тех, кто не считает, что это важно. То есть все переменные модели отрицательно связаны с риском женщины вступить в первый брак после достижения 15 лет.

Что касается «рисков» рождения первого ребенка после заключения первого брака, то их статистическая связь со всеми параметрами, включенными в модель, оказалась значительно более слабой, чем в модели для брака. Все ковариаты оказались значимы лишь на 90-процентном уровне. Те женщины, у которых есть работа и которые окончили среднюю школу на селе, а не в городе, демонстрируют на 15—17 % ниже шансы рождения первого ребенка после вступления в первый союз по сравнению с нетрудоустроенными женщинами, получившими школьное образование в городской среде. Женщины, признающие важность религиозного воспитания детей, демонстрируют на 28 % более высокие шансы рождения первого ребенка, нежели те, кто считает это неважным. Те женщины, которые живут на селе на момент опроса, на 20 % чаще рожают первого ребенка после вступления в союз по сравнению с женщинами из городской местности.

Таблица 3. *Параметры моделей пропорциональных рисков (регрессии Кокса)*

Независимые переменные	Модель для вступления в первый брак после достижения 15 лет	Модель для рождения первого ребенка после вступления в первый брак
Имеется высшее или неполное высшее образование	0,598***	Незначимо
Наличие работы	0,808**	0,831*
Необходимость получать одобрение старших при принятии важных решений	0,617***	Незначимо
Признание важности религиозного воспитания детей	0,814*	1,282*
Проживание на селе	Незначимо	1,194*
Окончание средней школы на селе	Незначимо	0,845*
Модель: -2LL	4040,482***	3813,762*
Кол-во наблюдений	725	484

* значимость на 90-процентном уровне;

** значимость на 95-процентном уровне;

*** значимость на 99,9-процентном уровне.

8. Обсуждение результатов анализа

Обратимся сначала к роли таких важных с точки зрения гендерных асимметрий признаков, как образование женщины и наличие у нее работы. Они оказались значимы для вступления женщины в первый брак, но гораздо менее значимы для рождения первого ребенка после заключения брака (уровень образования для этого события, как мы видели, незначим вообще, а наличие работы значимо только на 90-процентном уровне). На фоне выполненных для России в целом исследований факторов, значимых для рождения первого ребенка, такой результат можно признать неожиданным, так как, согласно этим исследованиям, высшее образование женщины и наличие у неработы способствуют откладыванию

не только первых браков, но и рождения первого ребенка среди вступивших в первый брак [Бирюкова, Макаренцева, 2017; Митрофанова, 2019]. Вместе с тем ситуация, на которую указывает наш анализ, весьма похожа на наблюдаемую в некоторых других частях постсоветского пространства. Так, в [Kazenin, Kozlov, 2020a] показано, что в Киргизии у поколений, находящихся в настоящее время в репродуктивном возрасте, уровень образования женщины и ее позиция на рынке труда значимы для заключения первого брака, тенденция к откладыванию которого наблюдается у высокообразованных и у работающих женщин, но для вероятности рождения первого ребенка в браке образование и трудовая деятельность женщины незначимы. Можно предположить, что и в ингушском, и в киргизстанском социумах на сегодняшний день скорейшее рождение первого ребенка после вступления в брак остается жестким императивом. «Модернизация» гендерных отношений, выражающаяся в высоком образовательном уровне женщины и ее вовлеченности в рынок труда, этого императива не отменяет, хотя может вести к откладыванию вступления в брак. То есть на двух примерах видно, что первый брак и первое рождение обладают разной «устойчивостью» перед данными модернизационными факторами. Чтобы ответить на вопрос о том, насколько распространена эта асимметрия в переходных обществах, необходимо, разумеется, более широкое исследование.

То, что зависимость женщины от старших родственников при принятии жизненных решений значима для «рисков» вступления в первый брак, но значима «с отрицательным знаком», снижая эти «риски», также может показаться неожиданным. Следует, однако, учесть, что еще два десятилетия назад для Ингушетии была характерна возрастная модель с более поздним вступлением женщин в первый брак, чем сегодня — в среднем в возрасте около 26 лет (см. раздел 4). Это позволяет утверждать, что закрепленные предыдущими поколениями нормы семейного поведения не предполагали раннего брака женщины, а, напротив, «отодвигали» его. Тогда и связь одного из признаков семейного «традиционализма» с более поздним браком выглядит закономерной. Отметим, что данные по некоторым другим частям Северного Кавказа также опровергают распространенное в литературе представление о том, что наличие в семейной практике жестких возрастных и гендерных асимметрий обязательно предполагает раннюю брачность. Так, в [Казенин, 2019б] на основе количественного опроса, проведенного в Карачаево-Черкесии, показано, что для карачаевского этноса в настоящее время в целом характерно более позднее вступление женщин в брак и одновременно большая распространенность тех же признаков семейного «традиционализма», которые мы использовали в этой статье.

Сходное объяснение могут иметь и результаты для единственного «ценностного» параметра, оказавшегося значимым, — признания важности религиозного воспитания детей. Его положительная значимость для «рисков» рождения первого ребенка вполне согласуется с имеющимися на сегодня результатами исследований разных стран мира, согласно которым личная религиозность женщины является фактором, повышающим вероятность деторождения (см. ссылки в разделе 5). С другой стороны, можно предполагать, что религиозные нормы в современном ингушском обществе в большинстве случаев воспринимаются

в тесной связи с нормами традиционной культуры и семейного уклада (о взаимосвязи религии и «традиции» в современной Ингушетии см. [Павлова, 2012]). В таком случае не выглядит удивительным, что связь с «рисками» вступления в первый брак у данного параметра отрицательная: как и зависимость от старших родственников при принятии важных решений, личная религиозность указывает на следование традиционным нормам семейного поведения, включающим достаточно поздний брак.

Негативная значимость городского проживания для вероятности рождения первого ребенка согласуется с универсальными в демографии ожиданиями, что уровень рождаемости в сельской местности выше, а возраст «старта» материнства — ниже. Неожиданной является связь окончания школы в городе с большей вероятностью первого деторождения. Стоит заметить, однако, что уровень значимости обоих параметров невысок, а для вступления в первый брак эти параметры вообще незначимы. Для объяснения этих результатов требуется дополнительное, возможно, качественное исследование. Отметим, что в целом в Ингушетии слабость демографических контрастов между городом и селом, а также их «нестандартная» направленность, как в случае с окончанием школы в городе или на селе, согласуется с малыми различиями между городской и сельской частями республики по ряду социальных характеристик, таких, например, как характер расселения (по визуальным наблюдениям, не менее половины площади городов занимают объекты индивидуального жилищного строительства, мало отличимые от сельских) или роль традиционных социальных институтов (нет заметного контраста между городом и селом в общественной роли традиционных родовых структур — тейпов); подробнее см. [Kazenin, 2019].

В свете общих представлений о взаимосвязи гендерных и поколенческих асимметрий с параметрами брачности и рождаемости, результаты нашего статистического моделирования представляют интерес в следующем отношении. Они показывают, что возрастные характеристики рождаемости, связанные с традиционным семейным укладом, — это не обязательно ранняя брачность, раннее материнство и высокая рождаемость. Хотя именно такая связь до сих пор обосновывалась в имеющихся исследованиях брачно-репродуктивного поведения в различных обществах (см. раздел 2), пример Ингушетии подтверждает, что возможна и обратная связь. Причины «разнонаправленности» данной связи в разных социумах требуют, разумеется, отдельного сравнительного исследования.

9. Выводы

Количественный опрос женщин репродуктивного возраста показал, что в сегодняшней Ингушетии можно говорить о по-прежнему достаточно жестких гендерных и поколенческих асимметриях в семейной сфере, которые при этом не ослабевают от старших поколений к младшим. Ряд признаков, характеризующих уровень семейного «традиционализма», согласно проведенному статистическому анализу, значим для брачно-репродуктивного поведения населения региона. Тем самым пример Ингушетии показывает, что динамика семейного уклада в «переходных» обществах и формирующееся там отношение к традиционным семейным нормам могут оказывать влияние и на демографические перспективы таких обществ.

Одновременно было обнаружено, что степень этого влияния может быть разной для разных конкретных демографических событий. Так, в Ингушетии ослабление жестких гендерных асимметрий, выражающееся, в частности, в получении женщиной высшего образования, ее вовлеченности в рынок труда, влияет на вероятность вступления женщины в первый брак, но не значимо для вероятности первого деторождения в браке. Анализ данных других регионов, в которых наблюдается заметный уровень «традиционализма» семейного уклада, позволит выявить закономерности влияния его признаков на демографические процессы.

Также проведенный анализ показал, что в случае, когда признаки, указывающие на «традиционализм» семейного уклада, значимы для брачно-репродуктивного поведения, они не обязательно «ускоряют» наступление соответствующих демографических событий. Возможна и противоположная ситуация, когда приверженность нормам традиционного семейного уклада связана с более поздним вступлением в брак. Именно на наличие такой возможности указывают результаты опросов в Ингушетии и в некоторых других регионах Северного Кавказа.

Список литературы (References)

Андреев Е. М. О точности результатов российских переписей населения и степени доверия к разным источникам информации // Вопросы статистики. 2012. № 11. С. 21—35.

Andreev E. M. (2012) On Accuracy of Results of Russian Censuses and Reliability of Different Data Sources. *Voprosy statistiki*. No. 11. P. 21—35. (In Russ.)

Ахиезер А. С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 90—100.

Akhiezer A. S. (2001) Archaization of Russian Society as a Methodological Problem. *Social Sciences and Modernity*. No. 2. P. 90—100. (In Russ.)

Белозеров В. С. Этническая карта Северного Кавказа. М.: ОГИ, 2005.

Belozеров V. S. (2005) Ethnical Map of the North Caucasus. Moscow: OGI. (In Russ.)

Бирюкова С. С., Макаренцева А. О. Оценки «штрафа за материнство» в России // Население и экономика. 2017. Т. 1. № 1. С. 50—70.

Biryukova S. S., Makarenceva A. O. (2017) Assessments of the “Motherhood Penalty” in Russia. *Population and Economics*. Vol. 1. No. 1. P. 50—70. (In Russ.)

Варшавер Е. А., Круглова Е. А. «Коалиционный клинч» против исламского порядка: динамика рынка институтов разрешения споров в Дагестане // Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 3. С. 89—112.

Varshaver E. A., Kruglova E. A. (2015) “Coalitionary Clinch” vs. Islamic Order: Institutional Dynamics of Conflicts Regulation in Daghestan. *Economic Policy*. Vol. 10. No. 3. P. 89—112. (In Russ.)

Демографическая модернизация России, 1990—2000 / под ред. А. Г. Вишневого. М.: Новое издательство, 2006.

Vishnevsky A. G. (ed.) (2006) Demographic Modernization of Russia, 1990—2000. Moscow: Novoe Izdatelstvo. (In Russ.)

Казенин К. И. Элементы Кавказа: Земля, власть и идеология в северокавказских республиках. М.: REGNUM, 2012.

Kazenin K. I. (2012) Elements of the Caucasus: Land, Authority and Ideology in Republics of the North Caucasus. Moscow: REGNUM. (In Russ.)

Казенин К. И. Регулирование земельных отношений в Дагестане: социально-экономические предпосылки «традиционализации» // Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 3. С. 113—133.

Kazenin K. I. (2015) Land Regulation on Dagestan: Socio-Economic Preconditions of "Traditionalization". *Economic Policy*. Vol. 10. No. 3. P. 113—133. (In Russ.)

Казенин К. И. Миграция северокавказского населения с гор на равнину: вызовы разнообразия // Журнал исследований социальной политики. 2019а. Т. 17. № 1. С. 23—38. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-1-23-38>.

Kazenin K. I. (2019a) Migration from the Mountains to the Valley in the North Caucasus: Challenges of Diversity. *Journal of Social Policy Studies*. Vol. 17. No. 1. P. 23—38. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-1-23-38>. (In Russ.)

Казенин К. И. Традиционализм семейного уклада и возрастные характеристики брачности: о чем говорит пример Карачаево-Черкесии // Демографическое обозрение. 2019б. Т. 6. № 3. С. 98—127. <https://doi.org/10.17323/demreview.v6i3.9857>.

Kazenin K. I. (2019b) Family Traditionalism and Age-Specific Nuptiality Patterns: What Does the Example of Karachay-Cherkessia Point To? *Demographic Review*. Vol. 6. No. 3. P. 98—127. <https://doi.org/10.17323/demreview.v6i3.9857>. (In Russ.)

Казенин К. И., Козлов В. А. Омоложение материнства в Дагестане: тенденция или артефакт? Предварительные результаты обследования сельского населения // Демографическое обозрение. 2016. Т. 3. № 3. С. 100—123. <https://doi.org/10.17323/demreview.v3i3.1748>.

Kazenin K. I., Kozlov V. A. (2016) Rejuvenation of Motherhood in Dagestan: a Tendency or and Artefact? Preliminary Results of a Survey of Rural Population. *Demographic Review*. Vol. 3. No. 3. P. 100—123. <https://doi.org/10.17323/demreview.v3i3.1748>. (In Russ.)

Казенин К. И., Козлов В. А. Особенности брачно-репродуктивного поведения населения в Республике Дагестан: их причины и социально-экономические последствия // Вестник Института экономики РАН. 2017. № 2. С. 65—81.

Kazenin K. I., Kozlov V. A. (2017) Specificity of Marital and Reproductive Behavior in the Republic of Dagestan: Their Reasons and Socio-Economic Consequences. *Bulletin of the Institute of Economic, Russian Academy of Science*. No. 2. P. 65—81. (In Russ.)

Карпов Ю. Ю., Капустина Е. Л. Горцы после гор. Миграционные процессы в Дагестане в XX — начале XXI века: их социальные и этнокультурные последствия и перспективы. СПб.: Петербургское востоковедение, 2011.

Karpov Yu. Yu., Kapustina E. L. (2011) Mountaineers after Mountains. Migration in Dagestan in the 20th — Beginning of the 21st Centuries: Its Social and Cultural Consequences and Perspectives. Saint-Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie. (In Russ.)

Кисриев Э. Ф. Ислам и власть в Дагестане. М.: ОГИ, 2004.

Kisriev E. F. (2004) *Islam and Power in Daghestan*. Moscow: OGI. (In Russ.)

Митрофанова Е. С. Социодемографические аспекты перехода во взрослую жизнь россиян 1930—1986 г. р.: дисс. ... канд. соц. наук. М.: НИУ ВШЭ, 2019.

Mitrofanova E. S. (2019) *Socio-Demographic Aspects of Entering Adulthood for Russians Born in 1930—1986*. PhD Dissertation in Sociology. Moscow: National Research University Higher School of Economics. (In Russ.)

Мкртчян Н. В. Миграция на Северном Кавказе сквозь призму несовершенной статистики // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 1. С. 7—22. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-1-7-2>.

Mkrtychyan N. V. (2019) Migration in the North Caucasus and the Accuracy of Statistics. *Journal of Social Policy Studies*. Vol. 17. No. 1. P. 7—22. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-1-7-2>. (In Russ.)

Павлова О. С. Ингушский этнос на современном этапе. Черты социально-психологического портрета. М.: Форум, 2012.

Pavlova O. S. (2012) *Ingush People Today. A Socio-Psychological Portrait*. Moscow: Forum. (In Russ.)

Полян П. М. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в бывшем СССР. М.: ОГИ, 2001.

Polian P. M. (2001) *Not on Their Own Will... The History and Geography of Forced Migrations in Former USSR*. Moscow: OGI. (In Russ.)

Стародубровская И. В. Кризис традиционной северокавказской семьи в постсоветский период и его социальные последствия // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 1. С. 39—56. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-1-39-56>.

Starodubrovskaya I. V. (2019) The Crisis of the Traditional North Caucasian Family in the Post-Soviet Period and its Social Consequences. *Journal of Social Policy Studies*. Vol. 17. No. 1. P. 39—56. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2019-17-1-39-56>. (In Russ.)

Стародубровская И. В., Казенин К. И. Граница времен. Как протесты меняют ингушское общество // Polit.ru. 2019. 28 марта. URL: <https://polit.ru/article/2019/03/28/ingushetia> (дата обращения: 03.09.2020).

Starodubrovskaya I. V., Kazenin K. I. (2019) The Boarder of Times. How the Protests Change Ingush Society. *Polit.ru*. March 28. URL: <https://polit.ru/article/2019/03/28/ingushetia> (accessed: 03.09.2020). (In Russ.)

Beteta H. C. (2006) What is Missing in Measures of Women's Empowerment? *Journal of Human Development*. Vol. 7. No. 2. P. 221—241. <https://doi.org/10.1080/14649880600768553>.

Bongaarts J., Mensch B. S., Blanc A. C. (2017) Trends in the Age at Reproductive Transitions in the Developing World: The Role of Education. *Population Studies*. Vol. 71. No. 2. P. 139—154. <https://doi.org/10.1080/00324728.2017.1291986>.

Dyson T., Moore M. (1983) On Kinship Structure, Female Autonomy, and Demographic Behavior in India. *Population and Development Review*. Vol. 9. No. 1. P. 35—60. <https://doi.org/10.2307/1972894>.

Guilmoto Ch. Z. (2012) Son Preference, Sex Selection, and Kinship in Vietnam. *Population and Development Review*. Vol. 38. No. 1. P. 31—54. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2012.00471>.

Gruber S., Szołtysek M. (2012) Quantifying Patriarchy: An Explorative Comparison of Two Joint Family Societies. *Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper WP 2012—017*. URL: <https://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-017.pdf> (accessed: 03.09.2020).

Hajnal J. (1953) Age at Marriage and Proportions Marrying. *Journal of Population Studies*. Vol. 7. No. 2. P. 111—136. <https://doi.org/10.1080/00324728.1953.10415299>.

Heaton T. B. (2011) Does Religion Influence Fertility in Developing Countries. *Population Research and Policy Review*. Vol. 30. No. 3. P. 449—465. <https://doi.org/10.1007/s11113-010-9196-8>.

Kabeer N. (2005) Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1. *Gender & Development*. Vol. 13. No. 1. P. 13—24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>.

Kazenin K. (2019) Marriage in Ingushetia: Intergenerational Changes and Their Possible Causes. *Population and Economics*. Vol. 3. No. 4. P. 45—46. <https://doi.org/10.3897/popecon.3.e49763>.

Kazenin, K., Kozlov, V. (2020a) Survey Responses on Desired Fertility in Patriarchal Societies: Community Norms vs. Individual Views. *Comparative Population Studies*. Vol. 45. <https://doi.org/10.12765/CPoS-2020-1>.

Kazenin K., Kozlov V. (2020b) What Factors Support the Early Age Patterns of Fertility in a Developing Country: The Case of Kyrgyzstan. *Vienna Yearbook for Population Research*. Vol. 18. P. 1—29. <https://doi.org/10.1553/populationyearbook2020.res04>.

Knodel J., Gray R. S., Sriwatcharin P., Peracca S. (1999) Religion and Reproduction: Muslims in Buddhist Thailand. *Population Studies*. Vol. 53. No. 2. P. 149—164. <https://doi.org/10.1080/00324720308083>.

Larsen U., Hollos M. (2003) Women's Empowerment and Fertility Decline Among the Pare of Kilimanjaro Region, Northern Tanzania. *Social Sciences & Medicine*. Vol. 57. No. 6. P. 1099—1115. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(02\)00488-4](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00488-4).

Lerch M. (2013) Patriarchy and Fertility in Albania. *Demographic Research*. Vol. 29. No. 6. P. 133—166. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2013.29.6>.

Lesthaeghe R. (1983) A Century of Demographic and Cultural Change in Western Europe. *Population and Development Review*. Vol. 9. No. 3. P. 411—435. <https://doi.org/10.2307/1973316>.

- Lesthaeghe R., Surkyn J. (1988) Cultural Dynamics and Economic Theories of Fertility Change. *Population and Development Review*. Vol. 14. No. 1. P. 1—45. <https://doi.org/10.2307/1972499>.
- Lopez-Claros A., Zahidi S. (2005) Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap. Cologny; Geneva: World Economic Forum. URL: http://cite.gov.pt/asst-scite/downloads/disp_salariiais/gender_gap.pdf (accessed: 03.09.2020).
- Malhotra A., Vanneman R., Kishor S. (1995) Fertility, Dimensions of Patriarchy, and Development in India. *Population and Development Review*. Vol. 21. No. 2. P. 281—305. <https://doi.org/10.2307/2137495>.
- Mason K. O. (1987) The Impact of Women's Social Position on Fertility in Developing Countries. *Sociological Forum*. Vol. 2. No. 4. P. 718—745.
- Morgan S. P., Niraula B. B. (1995) Gender Inequality and Fertility in Two Nepali Villages. *Population and Development Review*. Vol. 21. No. 3. P. 541—561. <https://doi.org/10.2307/2137749>.
- Mosedale S. (2005) Assessing Women's Empowerment: Towards a Conceptual Framework. *Journal of International Development*. Vol. 17. No. 2. P. 243—257. <https://doi.org/10.1002/jid.1212>.
- Nedoluzhko L., Agadjanian V. (2015) Between Tradition and Modernity: Marriage Dynamics in Kyrgyzstan. *Demography*. Vol. 52. No. 3. P. 861—882. <https://doi.org/10.1007/s13524-015-0393-2>.
- Phan L. (2016) Measuring Women's Empowerment at Household Level Using DHS Data of Four Southeast Asian Countries. *Social Indicators Research*. Vol. 126. No. 1. P. 359—378. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0876-y>.
- Salway S. M. (2007) Economic Activity among UK Bangladeshi and Pakistani Women in the 1990s: Evidence for Continuity or Change in the Family Resources Survey. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 33. No. 5. P. 825—847. <https://doi.org/10.1080/13691830701359256>.
- Westoff C. F., Frejka T. (2007) Religiousness and Fertility among European Muslims. *Population and Development Review*. Vol. 33. No. 4. P. 785—809. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00197.x>.
- Wu X., Ye H., He G. G. (2014) Fertility Decline and Women Status Improvement in China. *Chinese Sociological Review*. Vol. 46. No. 3. P. 3—25. <https://doi.org/10.2753/CSA2162-0555460301>.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.972



О. В. Дремова, Н. Г. Малошонок, Е. А. Терентьев

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ: КРИТИКА И ОПРАВДАНИЕ ПРАКТИК АКАДЕМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА СТУДЕНТАМИ

Правильная ссылка на статью:

Дремова О. В., Малошонок Н. Г., Терентьев Е. А. В поисках справедливости в университете: критика и оправдание практик академического мошенничества студентами // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 366—394. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.972>.

For citation:

Dremova O. V., Maloshonok N. G., Terentiev E. A. (2020) Seeking Justice in Academia: Criticism and Justification of Student Academic Dishonesty. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 366—394. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.972>. (In Russ.)

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ: КРИТИКА И ОПРАВДАНИЕ ПРАКТИК АКАДЕМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА СТУДЕНТАМИ

ДРЕМОВА Оксана Викторовна — аспирант, аналитик Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: odremova@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6434-2251>

МАЛОШЕНОК Наталья Геннадьевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, директор Центра социологии высшего образования Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: nmaloshonok@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4523-7477>

ТЕРЕНТЬЕВ Евгений Андреевич — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, академический директор аспирантской школы по образованию Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: eterentev@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3438-2786>

Аннотация. Во всем мире большинство университетов сталкиваются с проблемой массового использования студентами практик академического мошенничества. Несмотря на значительные усилия исследователей и практиков по выявлению причин и обстоятельств, способствующих академической нечестности студентов, а также по разработке мер борьбы

SEEKING JUSTICE IN ACADEMIA: CRITICISM AND JUSTIFICATION OF STUDENT ACADEMIC DISHONESTY

Oksana V. DREMOVA¹ — Post-Graduate Student, Analyst at the Institute of Education

E-MAIL: odremova@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6434-2251>

Natalia G. MALOSHONOK¹ — Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher, Director of the Centre for Sociology of Higher Education

E-MAIL: nmaloshonok@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4523-7477>

Evgeniy A. TERENTIEV¹ — Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher, Academic Director of the Post-Graduate School of Education at the Institute of Education

E-MAIL: eterentev@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3438-2786>

¹ National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract. Today most of universities all over the world are facing an issue of large-scale student's academic fraud. Despite multiple attempts to reveal reasons and circumstances behind academic dishonesty and efforts aimed at preventing academic misconduct no improvements seem to have been achieved. The article attempts to answer why the existing strategies to prevent academic

с нечестным поведением, ситуация существенно не улучшается. В рамках данной статьи мы предлагаем возможные ответы на вопрос, почему применяемые методы борьбы с академической нечестностью показывают низкую эффективность. Для этого мы предлагаем обратить внимание на то, как студенты воспринимают нечестные практики, в каких случаях они оправдывают их и считают справедливыми, а в каких — критикуют. На основании положений социологии критической способности Л. Болтански и Л. Тевено, примененных к анализу 23 полуструктурированных интервью с российскими и британскими студентами, было определено шесть режимов критики и оправдания, в рамках которых студенты публично выражают свое отношение к академическому мошенничеству, а также предложены возможные меры по борьбе с академическим мошенничеством, которые учитывают принципы эквивалентности, используемые студентами при критике или оправдании нечестных практик.

Ключевые слова: академическое мошенничество, базовая грамматика, социология критической способности Болтански и Тевено, режимы критики и оправдания, высшее образование

dishonesty prove ineffective. In this regard, it is important to pay attention to the way the students perceive dishonest practices, in what cases they consider them appropriate, and in what cases they criticize them. Based on the Sociology of Critical Capacity by Boltanski and Thévenot applied to 23 semi-structured interviews conducted among the Russian and British students, the authors identify six regimes of criticism and justification where students publicly express their attitude towards academic fraud. Possible measures are proposed to tackle academic fraud taking into account the equivalence principles that students use to criticize or support such practices.

Keywords: academic dishonesty, basic grammar, the Sociology of Critical Capacity by Boltanski and Thevenot, regimes of criticism and justification, higher education

Введение

Академическое мошенничество¹ студентов является одной из важных проблем университетского образования во всем мире. Эмпирические исследования в разных странах показывают, что подавляющее большинство студентов хотя бы раз прибегали к практикам нечестного поведения: плагиату, списыванию на экзамене со шпаргалок, списыванию домашних заданий у одноклассников, помощи одноклассникам на экзаменах и т. д. [McCabe, Treviño, 1993; Chapman et al., 2004; Jeergal et al., 2015; Denisova-Schmidt, Huber, Leontyeva, 2016; Maloshonok,

¹ Далее мы будем использовать слова «академическое мошенничество», «нечестное поведение», «академическая нечестность», «нечестные практики» как синонимичные понятия.

Shmeleva, 2019]. Перечисленные виды мошенничества — не полный список возможных нечестных практик. Развитие цифровых технологий привело к появлению новых видов списывания и плагиата с использованием гаджетов и интернета [Khan, Balasubramanian, 2012].

Хотя масштаб проблемы нечестного поведения студентов и виды академического мошенничества в разных странах (а также с течением времени) могут различаться, исследования показывают, что широкое распространение практик академического мошенничества ведет к целому ряду негативных последствий. Во-первых, «нечестные» студенты превращаются в «нечестных» работников, что снижает производительность труда и, как следствие, препятствует экономическому росту [Whitley, Keith-Spiegel, 2002; Kerschbamer, Neururer, Sutter, 2016]. Во-вторых, нечестное поведение студентов снижает доверие к университету и к высшему образованию в целом, а также девальвирует ценность диплома [Altbach, 2015; Cizek, 2003]. Поэтому перед университетами стоит важная задача поиска эффективных мер предотвращения нечестных практик. В этом направлении проделана немалая работа: предложены теоретические подходы, пытающиеся объяснить нечестное поведение студентов, проведено большое количество эмпирических исследований в разных странах [Maloshonok, Shmeleva, 2019], а также выработан ряд мер по предотвращению нечестного поведения [Löfström et al., 2015]. Среди таких мер можно выделить следующие: наказание студентов за нечестные поступки [Chirikov, Shmeleva, Loyalka, 2019], этические кодексы [McCabe, Trevino, Butterfield, 2002], работа над повышением релевантности и понятности учебного материала [Murdock et al., 2007] и т. д.

Существующие меры по борьбе с нечестностью студентов можно разделить на два типа. Первый тип условно назовем «карательным», поскольку он заключается в обнаружении нечестных поступков и их наказании. Эмпирические исследования показывают, что строгое отношение преподавателей к нечестному поведению и наказание за нечестные поступки имеют отрицательную взаимосвязь с лояльностью студентов к нечестному поведению [Chirikov, Shmeleva, Loyalka, 2019]. Кроме того, строгое предупреждение о недопустимости списывания на экзамене дало статистически значимый положительный эффект и привело к снижению использования студентами нечестных практик в ходе экспериментального исследования [Corrigan-Gibbs et al., 2015].

Второй тип мер по борьбе с академическим мошенничеством предполагает корректирование поведения студентов через воздействие на их ценностные установки. Наиболее популярной практикой здесь являются этические кодексы. Проведенные эмпирические исследования показывают, что внедрение в университете кодекса академической честности (honor code) способствует снижению академической нечестности среди студентов [McCabe, Trevino, Butterfield, 2002]. Однако исследования, фиксирующие эффективность этой практики, оценивают масштаб нечестного поведения через опрос студентов и не используют экспериментальные методы для оценки эффективности. Экспериментальное исследование показывает, что эффект таких кодексов довольно маленький и статистически незначимый [Corrigan-Gibbs et al., 2015]. Применяются и такие меры, как (1) обучение академической честности через специальные курсы, групповые дискуссии

[Burr, King, 2012], (2) интеграция студентов в академическое сообщество [True, Alexander, Richman, 2011], (3) обучение студентов этическому кодексу через взаимодействие с научным руководителем [Löfström et al., 2015].

При этом в последнее время фокус университетов во всем мире смещается с обнаружения и наказания мошенничества к продвижению честного поведения среди студентов через воздействие на ценностные установки [Ferguson et al., 2007; Löfström et al., 2015], несмотря на то, что эффективность данных методов пока не вполне очевидна.

Мы предполагаем, что низкая эффективность используемых практик воздействия на нечестное поведение через ценностные установки связана с игнорированием вопроса о том, как сами студенты воспринимают нечестное поведение. Большинство существующих теорий рассматривают нечестное поведение в оценочном ключе. Как нечто «плохое» и требующее устранения. Эта позиция скорее близка к видению академического мошенничества со стороны администрации университета или преподавателей. Однако в глазах студентов нечестное поведение в университете может выглядеть по-другому. То, что студенты и преподаватели видят нечестное поведение по-разному, доказывает и тот факт, что они причисляют к нечестным разные поступки в университете [Higbee, Thomas, 2002]. Например, подавляющее большинство преподавателей считают нечестным, когда студенты узнают у учащихся, которые уже выполнили тест, его содержание. Студенты же считают по-другому и не причисляют этот поступок в категорию академического мошенничества [ibidem].

Для того чтобы выработать эффективные меры предотвращения нечестного поведения не только через санкции со стороны преподавателя, но и через формирование установок на честное поведение, необходимо понять, как студенты воспринимают нечестное поведение, считают ли они его в столь же степени неприемлемым, как преподаватели, в каких категориях они его мыслят. Важное значение в понимании нечестного поведения в университете имеет оценка студентами справедливости той или иной учебной ситуации. Т. Мёрдок и др. [Murdock, Miller, Goetzinger, 2007] показали, что оценка студентами справедливости ситуации в классе является переменной, обуславливающей корреляцию между характеристиками преподавания и занятий и отношением студентов к академическому мошенничеству. Однако существующие теоретические подходы по изучению нечестного поведения не проблематизируют нечестное поведение в терминах справедливости, а определяют его больше в негативном ключе, как «что-то плохое» независимо от ситуации. Поэтому в рамках данной статьи мы представим теоретическую рамку, описывающую восприятие студентами академического мошенничества, основываясь на неопрагматистской концепции Л. Болтански и Л. Тевено, центральным понятием которой является справедливость и то, как она обосновывается людьми в разных жизненных ситуациях. Для уточнения применимости концепции Болтански и Тевено к концептуализации восприятия академического мошенничества студентами будут использоваться материалы 23 полуструктурированных интервью.

Академическое мошенничество в разных национальных контекстах

Согласно исследованиям, что масштабность академического мошенничества, его социальная приемлемость и установки студентов по отношению к нечестному

поведению в значительной степени различаются для разных стран [Yukhymenko-Lescroart, 2014; Preiss et al., 2013; Taylor-Bianco, Deeter-Schmelz, 2007; Lupton, Chapman, 2004]. Так, кросс-культурные исследования показывают, что российские студенты чаще прибегают к нечестным практикам и более толерантны к академическому мошенничеству, чем студенты из США и европейских стран [Lupton, Chapman, 2002; Magnus et al., 2002; Grimes, 2004]. Эти кросс-культурные различия могут быть объяснены разницей в подходах студентов к заполнению анкеты и ответе на сензитивные вопросы о собственной академической честности, а также в понимании того, какие поступки могут считаться нечестными и попадать под категории списывания на экзамене или плагиата. Однако на уровне объяснения факторов, влияющих на нечестное поведение, специфические национальные различия есть, но они не приводят к тому, что теоретические модели, работающие в одном национальном контексте, не могут быть применимы для объяснения нечестного поведения в другом контексте [Ives, Giukin 2020; Maloshonok, Shmeleva 2019; Phau, Kea 2007]. Исходя из этого мы предполагаем, что использование теоретического подхода Л. Болтански и Л. Тевено позволит разработать концептуальную модель критики и оправдания нечестного поведения, применимую в разных национальных контекстах. Для этого мы выбрали университеты двух стран, России и Великобритании, с различными ситуациями в области нечестного поведения студентов.

Социология критической способности Л. Болтански и Л. Тевено и возможности ее применения к изучению дискуссий об академическом мошенничестве

Теоретический подход, предложенный французскими социологами Л. Болтански и Л. Тевено, исследователи называют одним из наиболее значительных вкладов в развитие социологической теории после работ П. Бурдьё [Wagner, 1999; Хархордин, 2007; Наумова, 2014]. Вместе с тем его место в общем контексте развития социологической теории определяют по-разному, маркируя как «новый институционализм» (см., например, [Радаев, 2001]), «неопрагматизм» (см., например, [Ковенева, 2008]) или более узко как «социологию градов» [Наумова, 2014]. В данной статье для обозначения рассматриваемого подхода мы обращаемся к названию, предложенному самими авторами в одном из основных текстов, где резюмируются ключевые его положения — «социология критической способности» [Болтански, Тевено, 2000]. В центре данного подхода лежит отказ от рассмотрения сущностей в пользу рассмотрения процессов: вслед за классиками прагматизма У. Джеймсом и Дж. Пирсом, которые обращаются не к изучению абстрактной истины, а к актуальным практикам проверки истинности тех или иных положений, Л. Болтански и Л. Тевено отказываются от рассмотрения абстрактной справедливости в пользу изучения повседневных споров, где артикулируются различные представления о справедливости [Хархордин, 2007]. Применительно к рассматриваемому кейсу практик нечестного поведения студентов использование такого подхода означает отказ от абстрактных рассуждений об академической честности, ее источниках и границах в пользу обсуждений того, как формируются и артикулируются представления о справедливости или несправедливости практик академического мошенничества в актуальных дискуссиях на эту тему.

Такой фокус на процессах и практиках предполагает отказ от критической позиции исследователя, характерный для марксистской и неомарксистской (критической) социологической традиции, когда исследователь занимает «подзревающую» позицию, и его задача сводится к разоблачению «скрываемого» реального положения дел [Вагнер, 2000]. Л. Болтански и Л. Тевено в своих работах показывают, что в основе критического подхода лежит представление о привилегированной позиции социолога, который имеет доступ к пониманию «действительного положения дел». Вместе с тем они утверждают, что нет никаких оснований для подтверждения или опровержения предложенных исследователями интерпретаций, и их можно использовать наравне с другими интерпретациями [там же: 113]. Взамен Л. Болтански и Л. Тевено предлагают проект социологии критической способности. В его основе лежит следование за реальными аргументами социальных акторов, участвующих в публичных дискуссиях. Применение этого подхода к изучению нечестного поведения студентов предполагает отказ от изначальной установки на рассмотрение соответствующих практик как чего-то «плохого» и «несправедливого» и опору на реальные дискуссии вокруг соответствующих практик и анализ того, как в их рамках (вос)производятся различные представления о справедливости или несправедливости. При этом Л. Болтански и Л. Тевено не занимают другой крайний полюс, связанный с индивидуализмом и неограниченным плюрализмом, и показывают, что критика и оправдание, используемые в повседневных спорах, опираются на ограниченный набор способов обоснования.

Еще одной важной чертой проекта социологии критической способности является то, что они обращаются сразу к обеим сторонам общественных дискуссий — критике и оправданию. На практике это означает, что, критикуя и оправдывая те или иные действия, участники спора опираются на универсальные принципы, которые симметрично воспроизводятся в критических и оправдательных суждениях. Для их обозначения Л. Болтански и Л. Тевено используют понятие «принципов эквивалентности». Применительно к изучению дискуссий вокруг академического мошенничества студентов это предполагает принятие во внимание не только оправдательных суждений студентов (что характерно, например, для теории нейтрализации [Pulvers, Diekhoff, 1999; Miller, Murdock, Grotewiel, 2017], но и для критических суждений, которые могут быть артикулированы как в отношении себя, так и в отношении других.

Фокусируясь на изучении публичных споров, Л. Болтански и Л. Тевено показывают, что любой спор предполагает прохождение через определенную последовательность этапов, базовым из которых является установление принципа связи между различными элементами (субъектами и объектами) спора. Они отмечают, что без него невозможно выполнение следующих действий, связанных с выдвижением притязаний и указаний на (не)справедливость [Болтански, Тевено, 2000]. Участие в споре предполагает также выстраивание цельной системы аргументации, включающий в себя стандартный набор процедур и элементов: (1) принцип эквивалентности — способ установления связи между различными элементами внутри спора, принцип оценивания; (2) состояние величия и состояние малости — первое определяет, что является «справедливым» и «великим» в рамках

соответствующего режима критики и оправдания, второе — напротив, задает понимание того, что рассматривается как «несправедливое» и «малое»; (3) каталог субъектов, объектов и отношений между ними — определение релевантного соответствующему режиму круга людей и объектов, типов связи между ними; (4) коэффициент величия — определение того, чем «великие» лучше «малых» и как они могут быть им полезны (ответ на вопрос, почему «великие» являются «великими»); (5) формат инвестиций — что «великий» должен вкладывать (инвестировать) для того, чтобы быть «великим»; (6) парадигматическое испытание — наилучший способ определения величия/малости в рамках соответствующего режима критики и оправдания; (7) гармоничная фигура естественного порядка — идеальная ситуация, когда «величие» и «малость» распределены «справедливо».

В «Критике и обосновании справедливости» — ключевой работе, где отражены основные положения предложенного теоретико-методологического подхода, Л. Болтански и Л. Тевено обращаются к изучению двух корпусов текстов: классических работ по политической философии и пособиям-руководствам для руководителей предприятий [Болтански, Тевено, 2013]. На основании систематизированного анализа они выделяют шесть режимов критики и оправдания. Для их обозначения авторы используют следующие названия: (1) режим вдохновения, (2) патриархальный (или домашний) режим, (3) режим репутации (или славы), (4) гражданский режим, (5) рыночный режим, (6) индустриальный (или научно-технический) режим [там же].

В рамках режима вдохновения принципом эквивалентности выступает личное, уникальное переживание, которое может быть реконструировано через эмоции и чувства того, кто их переживает. Патриархальному, или домашнему режиму соответствует отсылка к личным отношениям, опора на авторитет, признаваемую иерархию и традиции. В режиме репутации связи между субъектами и объектами устанавливаются через призму мнения других, их оценку. Гражданский режим опирается на включенность в коллективные образования, и оценивание величия идет через отсылку к соответствию нормам, правилам и законам, характерным для этого образования. В основе рыночного режима — отношения конкуренции между субъектами и желания субъектов обладать определенными благами. Наконец, научно-технический (или индустриальный) режим опирается на представления об эффективности того или иного субъекта или действия, которое он совершает. В более поздней совместной работе с Э. Кьяпелло [Болтански, Кьяпелло, 2011] Л. Болтански также выделяет проектно-ориентированный режим, принципом эквивалентности которого выступает активность, инициирование проектов. Исследователи отмечают, что предложенное число режимов не является «магическим» и статичным; со временем новые формы критики и оправдания могут возникать, а старые — отмирать [Болтански, Тевено, 2000: 76]. Однако они рассматривают эту классификацию как исчерпывающую и релевантную времени написания их работы [Болтански, Тевено, 2013].

В данной статье мы применяем подход, предложенный Л. Болтански и Л. Тевено, к изучению дискуссий вокруг практик академического мошенничества в студенческой среде. Для целей исследования важна как опора на ключевые теоретико-методологические принципы проекта социологии критической способности,

изложенные выше, так и использование предложенной модели режимов критики и обоснования справедливости и соответствующих режимов.

Данные и методы

Основой для исследования послужила серия полуструктурированных интервью, проведенных зимой 2019 г. в трех вузах России и трех вузах Великобритании. В российской выборке представлены два высокоселективных вуза, расположенных в Москве, один из которых участвует в программе «5—100» (1), и один — среднеселективный региональный вуз (3). Среди вузов Великобритании два также являются высокоселективными и входят в группу «Расселл», объединяющую крупнейшие и лучшие университеты Соединенного Королевства (4, 5) и один — среднеселективный региональный вуз (6). Селективность российских вузов определялась по баллам ЕГЭ, необходимым для поступления. Так, высокоселективными считаются те вузы, у которых средний балл на бюджетных местах 70 и выше, среднеселективными — вузы, принимающие со средним баллом от 70 до 56, низкоселективными — те, которые принимают абитуриентов с баллами ниже 56². Селективность британских вузов определялась по результатам экзаменов A-level, которые являются аналогом российского ЕГЭ [Reshetar, Pitts, 2020]. Среди всех вузов России и Великобритании только один российский вуз специализируется на обучении финансово-экономическим специальностям (2), остальные вузы — многопрофильные. Все представленные вузы являются крупными с количеством студентов более 20 тыс. человек (см. табл. 1). В исследовании участвовали студенты экономических и менеджериальных специальностей, обучающихся на ступени бакалавриата, так как известно, что среди студентов этих специальностей в большей степени распространено нечестное поведение во время обучения в университете [Cronan et al., 2018].

Таблица 1. Характеристики информантов, принявших участие в интервью*

Страна	Университет	Пол	Респондент
Россия	1	Мужской	№ 1, № 2, № 3
		Женский	№ 4
	2	Мужской	№ 5, № 6
		Женский	№ 7, № 8
	3	Мужской	№ 9, № 10
		Женский	№ 11
Великобритания	4	Мужской	№ 13, № 12,
		Женский	№ 14, № 15
	5	Мужской	№ 16, № 17
		Женский	№ 18, № 19
	6	Мужской	№ 20, № 21
		Женский	№ 22, № 23

* Далее по тексту для атрибуции цитат используются номера информантов, представленные в этой таблице

² Мониторинг качества приема в вузы // НИУ ВШЭ. 2019. URL: <https://ege.hse.ru/stata> (дата обращения: 13.08.2020).

Первоначальный поиск студентов экономических и менеджериальных специальностей в рассматриваемых университетах происходил через социальные сети, им направлялись сообщения с описанием исследования и просьбой принять участие в интервью, далее отбор производился методом «снежный ком».

В рамках исследования было собрано 23 интервью, длина отдельных интервью варьировалась от 20 до 52 минут в зависимости от занятости информантов и их желания отвечать на некоторые вопросы, связанные, например, со случаями нечестного поведения. Средняя продолжительность интервью составила около 30 минут. Все интервью записывались на диктофон и затем полностью расшифровывались.

Гайд полуструктурированного интервью был разработан с учетом проведенного обзора литературы и включал следующие тематические блоки: 1) общая информация о студенте и опыте обучения в университете, 2) отношение к нечестному поведению, 3) ситуации нечестного поведения в университете и 4) случаи совершения нечестных поступков самим респондентом. Во время интервью информантам задавались вопросы о следующих нечестных практиках и отношении к ним: списывание на экзамене, списывание и предоставление домашнего задания для списывания, случаи использования плагиата и самоплагиата в работах, подделка списка литературы, покупка письменных работ и сдача их как своих собственных, предоставление информации о заданиях на тесте или экзамене, студентам, которые только будут его сдавать. Вопросы об этих практиках задавались в виде гипотетических ситуаций, например, «Представьте, что Вы узнали о том, что Ваш одноклассник купил выпускную квалификационную работу и сдал ее как свою собственную. Как бы Вы оценили такую ситуацию? Считаете ли Вы такие действия приемлемыми? Изменилось ли бы Ваше отношение к однокласснику? Почему?». В данной работе применялся анализ, основанный на тематическом кодировании согласно теории Л. Болтански и Л. Тевено. Кодирование происходило независимо тремя экспертами, после чего схема кодирования обсуждалась и согласовывалась исследовательской командой. Единицей анализа являлись отдельные нарративы, выделенные из интервью. Кроме того, для определения режимов критики и оправдания применялась модель базовой грамматики Л. Болтански и Л. Тевено, адаптированная для изучения академического мошенничества.

Результаты

При анализе интервью студентов, посвященных нечестному поведению в университете, использовались ключевые теоретико-методологические принципы проекта социологии критической способности Л. Болтански и Л. Тевено, а также предложенные ими режимы критики и обоснования справедливости. Для анализа отдельных режимов оправдания и критики использовалась модель базовой грамматики. В интервью со студентами обнаружены способы оправдания и критики нечестного поведения, характерные для шести режимов, выявленных Л. Болтански и Л. Тевено в результате их исследований [Болтански, Тевено, 2013]: режима вдохновения, домашнего режима, режима славы, гражданского режима, рыночного режима, индустриального режима. Описание этих режимов с использованием базовой грамматики приведено в таблице 2.

Таблица 2. Режимы оправдания в университете

Базовые грамматик							
Режимы оправдания	Принцип эквивалентности	Состояние величия/состояние малости	Каталог объектов и приспособлений/каталог субъектов/естественные отношения между существами	Коэффициент величия (характер отношений между великим и малым)	Формат инвестиций	Парадигматическое испытание	Гармоничная фигура естественного порядка
Режим вдохновения	Достижение состояния благодати, которая не зависит от мнения других. Возникает при помощи чувств	Великие — преподаватели, способные заинтересовать в предмете и создать доверительные отношения, а также студенты, которым интересно учиться и которые комфортно чувствуют себя на занятиях и экзаменах/Малые — преподаватели, которые не могут или не умеют заинтересовать студентов, студенты, которым неинтересно учиться и у которых учебный процесс вызывает негативные эмоции	Преподаватели, предмет, тема, задание, интерактивные средства, комфортная среда/Естественные отношения: внушать уверенность в себе, интерес, воодушевление, поощрять удовольствие от образовательного процесса	Преподаватель, курс, тема, знаменитые и великие, если они способны вызвать интерес, вовлечь студентов (малых), вызывать положительные эмоции, а также создать спокойную и обстановку на экзамене/контрольной/зачете	Эмоции	Мнения студентов о преподавателе и комфортности образовательного процесса	Образовательный процесс способствует получению позитивных эмоций (интерес, вдохновение, радость) и не вызывает негативных эмоций (страх, скука, неприятие)

Базовые грамматик							
Режимы оправдания	Принцип эквивалентности	Состояние величия/состояние малости	Каталог объектов и приспособлений/каталог субъектов/естественные отношения между существами	Коэффициент величия (характер отношений между великим и малым)	Формат инвестиций	Парадигматическое испытание	Гармоничная фигура естественного порядка
Домашний режим	Ценность людей зависит от иерархии доверия, основанной на цене личной зависимости, уважения к традиции	Великие — родители, учителя в школе, преподаватели, друзья в университете / Малые — студенты, которые хотят установить доверительные отношения с другими	Титулы и регалии, степень родства, доверие, ценностные ориентации / Естественные отношения: студенты помогают другим в обмен на хорошее отношение к ним других, а также субординация	Великие влияют на поведение малых. Учителя в школе, преподаватели в вузе и родители великие, поскольку они формируют ролевую модель для студентов (малых), их ценностные ориентации. Друзья великие, поскольку предоставляют возможность взамен на небольшие блага/выгоды поддерживать хорошие отношения	Убеждения, ценности, нравственные предствления о правильном и допустимом, о дружбе	Социометрический метод	Образовательный процесс способствует формированию доверительного отношения между преподавателями и студентами, а также между одногруппниками, соответствует традициям и ценностям, сформировавшимся у студента под влиянием школы и семьи
Режим славы	Мнение других людей, количество признаков человека индивидов	Великие — студенты с хорошей репутацией у преподавателей и одногруппников / Велики и весомы знаменитые, признанные и убедительные	Оценка, похвала, грамота, рейтинг, репутация	Великие создают хорошее впечатление у малых	Демонстрация желательного поведения и результатов в любых способах	Оценка студента со стороны одногруппников, преподавателей, родителей. Формальные признания: награды, грамоты	Образовательный процесс предполагает, что инвестиции в обучение приводят к созданию положительного образа за студента в глазах окружающих. Диплом отражает мнения людей о выпускнике

Базовые грамматики							
Режимы оправдания	Принцип эквивалентности	Состояние величия/состояние малости	Каталог объектов и приспособлений/каталог субъектов/естественные отношения между существами	Коэффициент величия (характер отношения между великим и малым)	Формат инвестиций	Парадигматическое испытание	Гармоничная фигура естественного порядка
Гражданский режим	Стремление к общему благу, следованию нормам и правилам	Великие — студенты, которые помогают другим, задают «правильные» модели поведения / Малые — студенты, которые принимают эту помощь	Помощь, устав, студенчество, сообщество, одноклассники	Студенты великие, если делают что-то для блага других студентов (малых)	Хорошие поступки, приводящие к общему благу	Одобрение группы	Образовательный процесс приводит к общему благу, выгоден для всех
Рыночный режим	Стремление к выгоде	Великие — это преподаватели и студенты, кто получает выгоды при минимуме усилий и умеет воспользоваться удобным случаем, эмоциональная сдержанность и необремененность личными отношениями	Диплом, оценка, покупка работы, списывание, плагиат	Великие используют возможности, которые предоставляют им малые. Например, списывающий студент использует то, что преподаватель не следит на экзамене. Или один студент использует то, что другой студент сделал ДЗ и дает ему списать. Преподаватель плохо читает материал, чтобы получить зарплату, используя, то что студенты не высказывают недовольство и т.д.	Уловки, деньги, социальные связи, репутация	Соотношение выгоды и усилий на ее получение, cost-benefit анализ	Образовательный процесс устроен таким образом, что позволяет студентам и преподавателям добиваться личных целей и получать выгоду

Базовые грамматики							
Режимы оправдания	Принцип эквивалентности	Состояние величия/состояние малости	Каталог объектов и приспособлений/каталог субъектные естественные отношения между существами	Коэффициент величия (характер отношений между великим и малым)	Формат инвестиций	Парадигматическое испытание	Гармоничная фигура естественного порядка
Индустриальный режим	Эффективность	Величие основано на эффективности на будущем рабочем месте и определяет иерархию профессиональных способностей	Знания, навыки, требования работника, практика	Великие получают знания и навыки, чтобы проявить себя на рабочем месте и работать по специальности, оставляя малым возможность трудоустроиться не по специальности	Время, усилия	Трудоустройство	Образовательный процесс устроен таким образом, что обучение по курсам позволяет получить необходимые знания и навыки для будущей профессиональной деятельности

Далее представим описания этих режимов в контексте обучения в университете и нечестного поведения с приведением цитат, иллюстрирующих критику или оправдание нечестных практик в разных режимах.

Режим вдохновения

Согласно теории Л. Болтански и Л. Тевено, один из принципов эквивалентности, по которому люди могут оценивать справедливость того или иного поступка или положения дел, является достижение состояния благодати, не зависящей от мнения других, личное, уникальное переживание. Именно вынесение суждений на основе эмоционального состояния характерно для *режима вдохновения*. Применительно к учебным ситуациям можно выделить положительные переживания, такие как интерес к предмету и материалам лекций, желание сделать задание, разобраться в предмете, поскольку это доставляет удовольствие. Негативными переживаниями здесь будут: страх перед преподавателем, стресс на экзамене, боязнь что-то забыть, неправильно ответить, а также скука, неприязнь к преподавателю или предмету. В данном режиме субъекты руководствуются переживаниями и эмоциями при обосновании своих поступков в университете, в частности списывания и плагиата. Проиллюстрируем данный режим цитатами из интервью.

Судя по интервью со студентами, наличие негативных эмоций во время обучения может стать обоснованием нечестных поступков в университете. Так, информанты отмечали, что шпаргалки они рассматривают в качестве средства, помогающего им справиться с негативными эмоциями на экзамене — стрессом, волнением и др.:

Иногда бывает волнение, иногда сложный предмет и сам преподаватель очень уж требовательный. И с таким большим объемом информации не все в голове может запомниться. Если вы можете это запомнить, то я буду не прав. Поэтому я считаю, что списывать иногда допустимо. (№ 8)

По мнению некоторых студентов, если предмет очень скучный, подготовка к экзамену по нему становится практически невыполнимой задачей.

Иногда преподаватель так монотонно читает лекцию, что просто невозможно проследить его мысль. Просто все проходит мимо ушей, и хочется спать. А если на семинарских занятиях преподаватель никак не вмешивается в процесс, то все просто читают скачанные доклады, не придавая им значения. Иногда, конечно, задаются вопросы, но настолько неинтересные, что не хочется вообще принимать участие. Чаще всего преподаватель сам и отвечает на свой вопрос. (№ 3)

При этом «скучная тема» — весомый аргумент для студентов и в том случае, когда они оценивают справедливость нечестных поступков других студентов.

Порой люди выбирают тему, которая им неинтересна, и совершенно не хочется тратить время на это... (№ 11)

С другой стороны, сами нечестные поступки, такие как списывание и плагиат, могут помешать достичь положительных эмоций от обучения:

Самому лучше писать потому, что ты уже начинаешь разбираться. В какой-то момент начинает становиться интересно, и ты действительно ходишь и пытаешься разобраться. (№ 8)

При этом в некоторых случаях стремление избежать негативных эмоций от своих поступков может быть сильным стимулом быть честным в своем обучении.

Я честный, и чувствовал бы себя плохо и думал бы, что я не заслужил свой диплом, если бы делал это [списывал] <...> Я бы не стал списывать, потому что я хочу гордиться тем, что сделал. А если ты достиг чего-то с помощью мошенничества, то ты не стал бы этим гордиться. (№ 15)

Один раз почти купила [работу]. Но лично мне [это] кажется несколько стыдным, что ли, зазорным. Я считаю себя не настолько глупой, чтобы самой не написать. (№ 2)

В рамках этого режима великими являются преподаватели, способные вызвать интерес к своему предмету и вдохновить студентов, а также студенты, заинтересованные в учебе и испытывающие положительные эмоции как на занятиях, так и на экзамене. Парадигматическим испытанием, в рамках которого определяется принадлежность людей к малым и великим, в данном режиме будут выступать мнения студентов о педагогическом мастерстве преподавателей. В рамках данного режима только студенты могут оценить, насколько вдохновляющими и интересными были преподаватель и предмет, насколько комфортной — образовательная среда. Предполагается, что именно сбор мнений через опросы студентов и заполнение форм обратной связи позволяют выявить эмоциональную оценку образовательного процесса со стороны студентов и определить великих преподавателей, умеющих заинтересовать студентов, и великих студентов, испытывающих интерес к обучению и удовольствие от прохождения учебных курсов.

Домашний режим

В домашнем режиме эквивалентность выстраивается через включение тех или иных субъектов и объектов в иерархии доверия, выстроенные на основе личных зависимостей. Также большое значение здесь имеет уважение к традиции. В рамках этого режима обоснование того или иного учебного поступка обуславливается тем, (1) какие представления о правильном и неправильном сформировались у студента под влиянием «старших» в школе и семье, а также от того, (2) насколько близкие отношения сложились между студентами.

Нечестное поведение может оправдываться или осуждаться в зависимости от того, какие установки были сформированы у студента семьей и школой. Например, некоторые студенты обосновывают справедливость списывания и плагиата через упоминание того, что в школе или семье это не считается чем-то «застыдным».

На протяжении всего обучения в школе мы постоянно списываем и учимся тому, как лучше списать. Или слышим, например, от родителей, как в одном деле человек сжульничал, чтобы избежать каких-то последствий. Или когда кто-то обманул, и ему это сошло с рук. В университет мы приходим уже готовые к тому, чтобы списывать, так как мы делали это на протяжении 11 лет, нет никакой разницы, что мы учились в школе или университете. (№ 3)

На самом деле это все идет от взрослых — от сестер, от братьев старших, от родителей, которые могут рассказывать, как они что-то там не заплатили или обхитрили кого-то. Это откладывается в детскую психику. И, естественно, ты приходишь в университет, ты там не учишься — и здесь не учишься, [и непонятно] почему здесь нельзя хитрить. (№ 2)

Некоторые студенты, напротив, говорят, что семья и школа научили их быть честными и делать всю учебную работу самим, чтобы иметь возможность гордиться заслуженными результатами.

Я думаю, что меня воспитали быть честным. Я хочу гордиться сделанной мной работой и иметь возможность, сказать, что я это сделал. Я не знаю, откуда это идет, но думаю, что от родителей или учителей. (№ 15)

В рамках данного режима чаще всего обосновывается справедливость нечестных действий, в которые вовлечены сразу несколько студентов: те, кто дает списывать задание, выполненное ими, и те, кто списывает. Решение о том, для кого сделать исключение и дать списать, в рамках данного режима выносится на основании того, какую степень доверия имеет студент. Предпочтения, как правило, отдаются друзьям и тем, с кем у студента есть положительный опыт общения.

Чаще всего сталкиваюсь именно с теми людьми, с которыми хорошо общаюсь, и как-то вот у нас есть взаимообмен домашними заданиями и каким-то работами. А когда с человеком плохо общаешься, то как-то и не хочется давать. (№ 9)

В рамках домашнего режима великими являются родители, учителя в школе, то есть люди, формирующие восприятие мира у студента, устанавливающие традиции, а также друзья. Они великие, поскольку позволяют в обмен на некоторые блага (например, готовая домашняя работа) поддерживать близкие доверительные отношения малым (тем, кто стремится к поддержанию таких отношений). В качестве парадигматического испытания в данном режиме может выступать социометрический метод, позволяющий оценить межличностные отношения. Данный метод позволяет построить сети дружбы и выявить людей, которые обладают большим доверием со стороны окружающих, что является показателем величия в данном режиме.

Режим славы

Принципом эквивалентности в режиме славы является мнение других людей. Великие определяются по числу индивидов, признающих их. Соответственно,

в рамках учебной ситуации великими будут те, кто смог создать себе хорошую репутацию любыми способами, кто заставляет малых думать о себе хорошо. В интервью обоснования такого рода встречались редко. И это скорее следствие ограничений использованного метода сбора данных: студенты могут стремиться создать хорошее впечатление и у интервьюера, что неизбежно приведет к меньшей откровенности с их стороны. Однако, несмотря на это, некоторые информанты все-таки использовали в рамках своих рассуждений о нечестном поведении аргументы, характерные для данного режима. В частности, было отмечено, что стремление получить хорошую оценку может оправдывать списывание и плагиат, особенно в тех случаях, когда студент хочет порадовать своими оценками родителей.

Конечно, никто не хочет получить плохую оценку. Если есть возможность что-то подсмотреть, то не думаю, что кто-то из принципа будет говорить: «Нет, я не списываю». (№ 1)

Если родителей беспокоят только наши оценки, то в тот момент, когда давление становится слишком высоким, списывание становится все более интересной возможностью. (№ 22)

Аргументами против нечестного поведения в рамках данного режима стало то, что в случае неуспешности академического мошенничества репутация студента будет испорчена:

Если в университете обнаружат, что ты мошенничал, то тогда ты будешь за это наказан. И, честно, мне просто было бы стыдно за это. (№ 15)

Учитывая важность мнения других в данном режиме, парадигматическим испытанием здесь может быть выставленная оценка, а также мнения преподавателей и одногруппников о студенте, которые могут демонстрировать место студента в иерархии по его репутации. Также здесь учитываются формальные награды, дипломы и другие символические подтверждения репутации, позволяющие человеку производить хорошее впечатление о себе.

Гражданский режим

Для гражданского режима характерно стремление к общему благу. Соответственно, справедливость будет оцениваться через последствия для других и для группы в целом. Важную роль здесь играют правила группы и неформальные нормы, установленные в сообществе. Поэтому апеллирование к ним будет свидетельствовать о том, что информант представляет данный режим в классификации Л. Болтански и Л. Тевено.

Тут просто вопрос взаимовыручки. Если я списывал, то и мне пусть дают списывать. Иначе это будет нечестно. Тогда либо не будем списывать, либо будем списывать все. (№ 11)

В рамках данного режима ценится взаимная помощь друг другу, даже если она подразумевает нарушение академических норм: дать списать другому человеку

домашнее задание, помочь сдать экзамен и т. д. Поэтому нечестные практики в рамках данного режима оцениваются как скорее справедливая практика, способствующая достижению общего блага группы, и соответствует ее правилам.

Если ты чуть-чуть посмотришь, чтобы сравнить со своими ответами, или что-то забыл и решил подсмотреть, то я не считаю это чем-то плохим. Надо помогать друг другу. Мы же одно большое студенческое сообщество. (№ 3)

Мне кажется, в России это [списывание] такая норма, и как-то у нас взаимовыручка. <...> Это не мошенничество, это именно взаимовыручка. Я это воспринимаю именно так, как помощь ближнему, грубо говоря. (№ 5)

Однако встречается и критика нечестного поведения в рамках данного режима: нечестные практики, такие как выполнение работы за других, рассматриваются не как благо, а как вред, наносимый как самому человеку, так и обществу, которое лишается квалифицированного специалиста.

Как я говорила, я считаю, что такой человек [который пишет за другого работу] пусть берет на себя ответственность, по сути, он дает обществу еще одного неграмотного специалиста, <...> лишает человека знаний, лишает общество нормального специалиста. Это не очень хорошо. (№ 2)

Ответственность за свою группу и желание не навредить ее членам могут стать препятствием для совершения академического мошенничества и стать стимулом учиться честно. Поэтому и эффективной мерой борьбы с академическим мошенничеством могут стать санкции, распространяемые не только на «нарушителя», но и на всю группу.

Всех заставить переписать. Как в армии — если один накосячил, все вместе отжимаетесь, убираете пол. Тем самым будет страшно подвергнуть такой опасности своих одноклассников, чтобы переделывать эту курсовую. (№ 8)

В рамках данного режима великими признаются те студенты, поведение которых соответствует правилам группы и оценивается как полезное для группы, приносящее выгоду малым. Парадигматическим испытанием, определяющим, кто из группы является великим, в рамках данного режима будет выступать мнение членов группы о студенте. Испытание будет проходить через оценку группой полезности действий своего одноклассника. Важным критерием здесь будет одобрение группой его поведения и то, как она оценивает его вклад в благополучие группы.

Рыночный режим

В рамках данного режима принципом эквивалентности является стремление к выгоде, достижению целей при минимальных усилиях и временных вложениях. Поэтому оправданием нечестного поведения выступает то, что оно способствует достижению цели (получения оценки, а в итоге — диплома) при минимальных усилиях.

У кого карман не жмет, почему нет. Людям, как правило, все равно. Им главное получить корочку, вот они и покупают. (№ 7)

Если бы была существенная разница между сдачей и несдачей экзамена, то я бы списал, так как цена провала слишком высока. Я бы сказал так: «Делай то, что нужно, чтобы сдать экзамен». (№ 22)

В качестве обоснования нечестного поведения в рамках рыночного режима звучало мнение, что сама среда в университете располагает к нечестному поведению.

Нет примера того, что людей выгоняют. Нет людей, которые скажут: «Ой, блин, так же делать нельзя». Все так делают, и им ничего, а почему я так не могу? (№ 7)

Некоторые студенты убеждены, что самим преподавателям выгодно списывание студентов, поскольку они хотят снизить свои усилия по преподаванию и проверке знаний.

Конечно, опять же, зависит от преподавателя. Чаще всего, я думаю, они делают вид, что не замечают, потому что в нашей стране зарплата преподавателей очень маленькая. А если они застукали кого-то со шпаргалкой, то это значит, что они вполне себе могут выгнать этого человека из аудитории. Соответственно, им потом нужно потратить свое личное время на то, чтобы экзамен перепринять. И, скорее всего, это личное время никак не будет оплачиваться, к сожалению. Поэтому выгоднее сделать вид, что ты ничего не видишь. (№ 5)

Я не считаю списывание и копипаст рефератов мошенничеством. Я бы так сказала: академическое мошенничество — это когда ты понимаешь, что если это откроется, то к тебе будут применены какие-то санкции. Но если ты понимаешь, что преподавателю нужно просто наличие какой-то бумажки, то это я не считаю академическим мошенничеством. (№ 2)

При этом в качестве критики нечестного поведения могут выступать следующие аргументы. Во-первых, академическое мошенничество невыгодно студенту, если списать просят у него:

В случае с экзаменом это [списывание у одногруппника] может подставить непосредственно человека, у которого вы списываете. Никто же не будет разбираться. Особенно человек, который проверяет экзамен и не очень с вами знаком. (№ 11)

Во-вторых, нечестное поведение может оказаться рискованным мероприятием и не только не привести к желаемым результатам, но и повлечь за собой негативные последствия.

Я сдавала русский язык. Как-то у меня с ним не очень ладится, и я подготовила шпаргалки. Но я не воспользовалась, потому что были строгие надзиратели, и я боялась

достать шпаргалку. Я знала, что последствия таковы, что меня могли выгнать с экзаменов. То есть не из-за того, что какие-то чистые умыслы у меня были в голове и не воспользовалась, а не воспользовалась, потому что боялась последствий. (№ 5)

В рамках данного режима великие — это те студенты и преподаватели, которые получают выгоду при минимальных усилиях, а малые — те, кто предоставляет такую возможность. Парадигматическим испытанием здесь является оценка пользы, определяющаяся через соотношение выгоды и усилий (издержек), затраченных для ее получения, которое может быть определено, например, через cost-benefit анализ или вычисление функции полезности.

Индустриальный режим

Принципом эквивалентности в индустриальном режиме является эффективность, а это значит, что оправдание и критика в рамках данного режима применительно к высшему образованию основываются на рассуждениях о полезности образования для будущей профессиональной деятельности. Критика нечестного поведения в рамках данного режима основывается на невозможности получить необходимые знания и навыки для успешного выполнения своих рабочих обязанностей. Студенты упоминают, что академическое мошенничество приводит к получению неквалифицированного специалиста, который не сможет работать по специальности, и что факт отсутствия требуемых компетенций будет обнаружен работодателем, несмотря на наличие диплома.

Бездумное скачивание работ лишает студентов всякой возможности самостоятельно мыслить, излагать собственные мысли, работать с поиском, нахождением информации, ее преобразованием. То есть студент всех практических навыков лишается при скачивании, <...> а потом в итоге он получает диплом, который не отражает его фактических способностей. С этим дипломом он идет дальше, и это неправильно. (№ 10)

*Студент должен сам доходить до каких-то там знаний, сам выполнять задания, чтобы больше узнавать подробностей, чтобы занятия были более **эффективные**. Иначе человек просто ничему не научится по окончании университета. Получается, что сделал одно для галочки, сделал другое для галочки, и на выходе получается ненастоящее. Какой смысл учиться студенту, если он сам не делает? Можно тогда отчислиться и пойти работать. (№ 9)*

При этом некоторые варианты нечестных практик студенты находят приемлемыми даже придерживаясь точки зрения о необходимости получить знания и навыки в университете. Это подготовка шпаргалок, которая расценивается не как мошенничество, а как один из способов подготовиться к зачету или экзамену.

Шпаргалки, на мой взгляд, помогают подготовиться к предмету, потому что в любом случае, когда я готовлю эти шпаргалки, я читаю информацию. <...> А кто-то считает, что шпаргалки — это показатель труда, что человек даже соизволил написать, он проделал работу. (№ 3)

А если вы заранее готовите билет, то есть пишете шпаргалки, основываясь на литературе, которую проходите в университете, то есть на учебниках, то, по-моему, это полезные вещи. Каждый должен писать шпаргалки, потому что это единственный раз, когда многие заглянут в этот учебник и что-то прочитают. (№ 11)

Студенты, оправдывающие нечестное поведение в рамках данного режима, делают это через критику существующей системы образования и указание на то, что знания и навыки, получаемые в университете, бесполезны, поскольку они не применяются на рабочем месте. В частности, критикуется количество теоретических знаний, даваемых в университете, которые, по мнению студентов, излишни, и не помогают понять особенности их профессиональной деятельности, научиться чему-то полезному.

Много воды, практики нет, только теория, то, что преподают, это на 80 % никак не связано с моей будущей работой. Получить вышку обязательно необходимо. Просто нужно больше практики давать людям, а не просто теория. Теоретиков слишком много. На практике никто не может ее реализовать. (№ 7)

Бывают предметы, в которых тебе этот предмет не пригодится, но сдать-то его все равно нужно. Если он никак не повлияет на твое будущее, я считаю это [академическое мошенничество] нормально. Главное в нашей в стране, в наших вузах — это сдать предмет. (№ 2)

В рамках данного режима великие — это те, кто получают пользу от пребывания в университете для будущей профессиональной деятельности, а парадигматическое испытание, выявляющее великих, — это успешность трудоустройства после окончания вуза. Согласно данному режиму, успешность трудоустройства отражает знания и навыки, приобретенные студентом в ходе обучения, что демонстрирует эффективность проведенного времени в вузе.

Логика критики и оправдания нечестного поведения: обобщенная картина

В таблице 3 представлено обобщение логик критики и оправдания нечестного поведения для каждого режима, которые мы встретили в интервью.

Таблица 3. **Логика критики и оправдания нечестного поведения по режимам**

	Критика	Оправдание
<i>Режим вдохновения</i>	Нечестное поведение плохо, потому что мешает заинтересоваться в предмете, получить удовольствие от его изучения, приводит к негативным эмоциям	Нечестное поведение хорошо, потому что помогает получить оценку по неинтересному предмету, справиться с негативными эмоциями (стрессом) на экзамене

	Критика	Оправдание
<i>Домашний режим</i>	Нечестное поведение плохо, потому что оно нарушает традиции и противоречит ценностям, которым научили в семье и школе	Нечестное поведение хорошо, потому что оно соответствует традициям в семье и школе, способствует поддержанию доверительных отношений
<i>Режим славы</i>	Нечестное поведение плохо, потому что в случае обнаружения оно испортит репутацию	Нечестное поведение хорошо, потому что оно позволяет получить одобрение родителей, преподавателей, студентов за хорошие оценки
<i>Гражданский режим</i>	Нечестное поведение плохо, потому что оно приносит вред человеку, группе, обществу	Нечестное поведение хорошо, потому что это взаимовыручка, помощь «ближнему», представителю своей группы
<i>Рыночный режим</i>	Нечестное поведение плохо, потому что оно рискованно, может привести к негативным последствиям	Нечестное поведение хорошо, потому что оно позволяет достичь цели (получить оценку) меньшими усилиями и временем
<i>Индустриальный режим</i>	Нечестное поведение плохо, потому что оно мешает приобрести знания и навыки, необходимые для работы	Нечестное поведение хорошо, потому что вуз не учит знаниям и навыкам, полезным для работы

Заключение

В рамках данной статьи мы попытались выйти за пределы понимания нечестного поведения как чего-то «плохого», поскольку предполагали, что оценочная компонента, заложенная в этот концепт в большинстве теоретических работ [Crowne, Spiller, 1998; Meng et al., 2014], больше соответствует восприятию преподавателей и администрации университета, чем студентов, что может обуславливать низкую эффективность мер по борьбе с академическим мошенничеством [Chirikov, Shmeleva, Loyalka, 2019; Corrigan-Gibbs et al., 2015]. Одна из основных гипотез была связана с тем, что, возможно, преподаватели и администрация, с одной стороны, и студенты, с другой стороны, говорят на разных «языках» или «частотах», что делает аргументы сторон нерелевантными друг другу. Соответственно, возможность компромиссов невозможна без понимания того, что лежит в основе соответствующих аргументаций, принципов критики и оправдания. На основе полуструктурированных интервью с российскими и британскими студентами мы попытались понять, в каких ситуациях нечестное поведение кажется студентам приемлемым, оправданным и справедливым, а в каких случаях оно критикуется. Для анализа интервью использовались теоретико-методологические принципы проекта социологии критической способности Л. Болтански и Л. Тевено, а также выделенные ими режимы справедливости.

Проведенный анализ позволил выявить вариативность режимов обсуждения, представленных в репертуаре студентов в отношении практик нечестного поведения. В дискуссиях студенты по-разному определяют значение соответствующих практик и их функций в учебном процессе. Мы показали, что шесть режимов критики и оправдания, предложенные Л. Болтански и Л. Тевено, в целом подходят для анали-

за публичных суждений студентов о нечестности во время обучения в университете. Применение этой концепции не только позволяет ответить на вопрос, почему меры, апеллирующие к ценностям студентов и столь популярные в вузах, в настоящий момент недостаточны, но и увидеть направления для разработки новых мер.

В рамках режима вдохновения студенты считают оправданным использовать мошеннические практики, если преподаватель или учебный материал неинтересны им. Или же если процедуры контроля приносят негативные эмоции и нечестное поведение — единственный способ справиться с ними. Если студенты руководствуются принципом эквивалентности режима вдохновения, то меры борьбы с академическим мошенничеством, апеллирующие к ценностям честности, такие как кодексы чести, будут для них малоэффективны. Направлением для разработки новых мер может стать использование практик, вызывающих сильные негативные эмоции у студента во время или после академического мошенничества. Например, карательные меры или строгий контроль. Или, наоборот, интерактивные методы преподавания и интересные задания, при которых у студента не будет необходимости прибегать к нечестным практикам. Стоит отметить, что результаты данного исследования только позволяют сформулировать гипотезы о возможной эффективности мер, проверка которых возможна в последующих исследованиях.

Студенты, руководствующиеся в своих суждениях принципом эквивалентности домашнего режима, принимают решения на основании их представления о правильном, сформированном семьей и школой, а также от положения людей в иерархии доверия. Поэтому вуз имеет небольшое влияние на их решение вести себя нечестно, что может стать одной из причин низкой эффективности мер борьбы с академическим мошенничеством, существующих на данный момент в университетах.

Для студентов, руководствующихся принципом эквивалентности режима славы, меры борьбы с академическим мошенничеством, апеллирующие к ценностям, будут, скорее всего, иметь низкую эффективность, поскольку для них важнее создание положительного образа себя в глазах других любыми способами. Поэтому для таких студентов могут быть действенными меры строгого контроля, а также наказания, связанные с ухудшением репутации студента: рассказать родителям, вывесить портрет на «доску позора» и т. д.

Студенты, руководствующиеся принципом эквивалентности гражданского режима, оправдывают нечестное поведение, считая его благом для своей группы. Возможно, для них больший эффект будут иметь меры коллективного наказания за академическое мошенничество и строгий контроль за соблюдением честности. При этом обычно в вузах академическое мошенничество, если и наказывается, наказывается индивидуально, и группа не несет ответственность за поведение одного ее члена. Соответственно, при широком распространении принципов эквивалентности данного режима наличие коллективного, а не индивидуального наказания за проступок может оказаться более эффективной мерой по борьбе с нечестностью.

В рамках рыночного режима нечестное поведение считается оправданным, если оно способствует более быстрому и легкому достижению цели. Здесь также, скорее всего, будут неэффективны такие меры, как этические кодексы, групповые дискуссии и любые другие меры, которые нацелены на то, чтобы убедить студента что списывание и плагиат в университете — это плохо. Возможно, более

действенными окажутся меры строгого контроля и наказания, которые будут препятствовать легкому достижению цели через использование нечестных практик.

Наконец, индустриальный режим критики и оправдания нечестного поведения подчеркивает важность эффективности полученных в вузе знаний и навыков и их полезности на рынке труда. Соответственно, нечестные практики считаются справедливыми, если образование в университете рассматривается бесполезным для будущей профессиональной деятельности. Поэтому можно предположить, что единственным эффективным способом борьбы с нечестностью в рамках этого режима будет работа с учебным материалом, увеличение его прикладной полезности, прояснение студентам того, как полученные знания и навыки они будут использовать в будущей работе по специальности. Соответственно, меры строгого наказания и апеллирования к ценностям не будут работать для учащихся, руководствующихся данным режимом критики и оправдания.

Таким образом, использование концепции Л. Болтански и Л. Тевено применительно к оправданиям и критике нечестного поведения в университете позволило увидеть разные точки зрения на причины совершения нечестных поступков и их справедливости, а также сформулировать гипотезы о том, почему существующие меры по борьбе с академическим мошенничеством демонстрируют низкую эффективность. В качестве дальнейших шагов можно отметить следующие: необходимо разработать инструмент, позволяющий количественно оценить распространенность каждого режима оправдания, и провести количественную оценку распространенности данных режимов; выработать меры, которые бы апеллировали к каждому из принципов эквивалентности (или к самым распространенным), а также оценить эффективность этих мер.

В заключение необходимо отметить ряд ограничений и особенностей представленного исследования, которые должны быть учтены для корректной интерпретации представленных результатов. Во-первых, важно подчеркнуть методологические ограничения, связанные с изучением сензитивных тем, к которым относится обсуждение участия в практиках академического мошенничества. Представленные в тексте нарративы могут быть подвержены эффекту социальной желательности и не отражать реальное поведение информантов. В этом контексте выделенные режимы критики и оправдания нужно рассматривать как дискурсивные практики конструирования значений и способов публичного обсуждения практик академического мошенничества, а не как объективные фиксации механизмов принятия решений о вовлечении в эти практики. Во-вторых, необходимо отметить ограничения, связанные с особенностями данных, на которые мы опираемся. Большая часть информантов представляла высокоселективные вузы, практики и установки которых могут отличаться от тех, которые распространены в менее селективных университетах. В связи с этим можно предположить наличие альтернативных моделей обсуждения в тех вузах, которые не попали в выборку. В-третьих, используя данные по России и Великобритании, в данном исследовании мы не ставим цель по сравнению отношения академического мошенничества в этих двух странах. Ключевой задачей исследования было составление обобщенной классификации разных режимов критики и оправдания, представленных в репертуаре студентов разных стран, и разработка концептуальной модели, применимой в разных нацио-

нальных контекстах. Наконец, важно подчеркнуть, что выделенные режимы критики и оправдания нужно рассматривать как своего рода «идеальные типы» в веберовском понимании, которые в реальных дискурсивных практиках могут смешиваться и по-разному использоваться в зависимости от ситуации. В этом контексте отдельным направлением дальнейших исследований может стать обсуждение факторов, связанных с обращением к тому или иному режиму критики и оправдания.

Список литературы (References)

Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / пер. с англ. Н. Савельевой, О. Журавлева; под ред. А. Бикбова // Логос. 2011. № 1. С. 76—102.

Boltanski L., Chiapello E. (2011) The New Spirit of Capitalism. *Logos*. No. 1. P. 76—102. (In Russ.)

Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов / пер. с фр. О. В. Ковенева; под ред. Н. Е. Копосова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Boltanski L., Thévenot L. (2013) De la Justification les Économies de la Grandeur. Moscow: New Literary Observer. (In Russ.)

Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности / пер. с англ. К. А. Виноградовой; под ред. А. В. Тавровского // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 3. С. 66—83.

Boltanski L., Thévenot L. (2000) The Sociology of Critical Capacity. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 3. No. 3. P. 66—183. (In Russ.)

Вагнер Р. Вслед за «Оправданием»: репертуар оценки и социология современности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 3. С. 112—128.

Wagner P. (2000) After “Justification”: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 3. No. 3. P. 112—128. (In Russ.)

Ковенева О. В. Французская прагматическая социология: от модели «градов» к теории «множественных режимов вовлеченности» // Социологический журнал. 2008. Т. 14. № 1. С. 5—21.

Koveneva O. V. (2008) French Pragmatic Sociology: from Model of “Worlds” to “Theory Multiple Regimes of Engagement”. *Sociological Journal*. Vol. 14. No. 1. P. 5—21. (In Russ.)

Наумова Е. Социология «градов» Л. Болтански и Л. Тевено и «режимы вовлеченности» в капитализм // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 3. С. 246—251.

Naumova E. (2014) L. Boltanski and L. Thévenot’s Sociology of “Worlds” and “Regimes of Engagement” with Capitalism. *Russian Sociology Review*. Vol. 13. No. 3. P. 246—251. (In Russ.)

Радаев В. В. Новый институциональный подход: построение исследовательской схемы // Экономическая социология. 2001. Т. 4. № 3. С. 109—130.

Radaev V. V. (2001) Perspective of the New Institutionalism: Constructing an Analytical Scheme. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 4. No. 3. P. 109—130. (In Russ.)

Хархордин О. В. Прагматический поворот: социология Л. Болтански и Л. Тевено // Социологические исследования. 2007. № 1. С. 32—41.

Kharkhordin O. V. (2007) Pragmatic Turn: Sociology of L. Boltanski and L. Thévenot. *Sociological Studies*. No. 1. P. 32—41. (In Russ.)

Altbach P. G. (2015) What Counts for Academic Productivity in Research Universities? *International Higher Education*. No. 79. P. 6—7. <https://doi.org/10.6017/ihe.2015.79.5837>.

Burr V., King N. (2012) “You’re in Cruel England Now!”: Teaching Research Ethics through Reality Television. *Psychology Learning & Teaching*. Vol. 11. No. 1. P. 22—29. <https://doi.org/10.2304/plat.2012.11.1.22>.

Chapman K. J., Davis R., Toy D., Wright L. (2004) Academic Integrity in the Business School Environment: I’ll Get by with a Little Help from my Friends. *Journal of Marketing Education*. Vol. 26. No. 3. P. 236—249. <https://doi.org/10.1177/0273475304268779>.

Chirikov I., Shmeleva E., Loyalka P. (2019) The Role of Faculty in Reducing Academic Dishonesty among Engineering Students. *Studies in Higher Education*. P. 1—17. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1616169>.

Cizek G. J. (2003) *Detecting and Preventing Classroom Cheating: Promoting Integrity in Assessment*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Corrigan-Gibbs H., Gupta N., Northcutt C., Cutrell E., Thies W. (2015) Measuring and Maximizing the Effectiveness of Honor Codes in Online Courses. In: *Proceedings of the Second ACM Conference on Learning@Scale*. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2015. P. 223—228. <https://doi.org/10.1145/2724660.2728663>.

Cronan T. P., Mullins J. K., Douglas D. E. (2018) Further Understanding Factors that Explain Freshman Business Students’ Academic Integrity Intention and Behavior: Plagiarism and Sharing Homework. *Journal of Business Ethics*. Vol. 147. No. 1. P. 197—220. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2988-3>.

Crown D. F., Spiller M. S. (1998) Learning from the Literature on Collegiate Cheating: A Review of Empirical Research. *Journal of Business Ethics*. Vol. 17. No. 6. P. 683—700. <https://doi.org/10.1023/A:1017903001888>.

Denisova-Schmidt E., Huber M., Leontyeva E. (2016) On the Development of Students’ Attitudes Towards Corruption and Cheating in Russian Universities. *European Journal of Higher Education*. Vol. 6. No. 2. P. 128—143. <https://doi.org/10.1080/21568235.2016.1154477>.

Ferguson K., Masur S., Olson L., Ramirez J., Robyn E., Schmalink K. (2007) Enhancing the Culture of Research Ethics on University Campuses. *Journal of Academic Ethics*. Vol. 5. No. 2. P. 189—198. <https://doi.org/10.1007/s10805-007-9033-9>.

Grimes P. W. (2004) Dishonesty in Academics and Business: A Cross-Cultural Evaluation of Student Attitudes. *Journal of Business Ethics*. Vol. 49. No. 3. P. 273—290. <https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000017969.29461.30>.

Higbee J. L., Thomas P. V. (2002) Student and Faculty Perceptions of Behaviors That Constitute Cheating. *NASPA Journal*. Vol. 40. No. 1. P. 39—52. <https://doi.org/10.2202/1949-6605.1187>.

Ives B., Giukin L. (2020) Patterns and Predictors of Academic Dishonesty in Moldovan University Students. *Journal of Academic Ethics*. Vol. 18. No. 1. P. 71—88. <https://doi.org/10.1007/s10805-019-09347-z>.

Jeergal P. A., Surekha R., Sharma P., Anila K., Jeergal V. A., Rani T. (2015) Prevalence, Perception and Attitude of Dental Students Towards Academic Dishonesty and Ways to Overcome Cheating behaviors. *Journal of Advanced Clinical & Research Insights*. Vol. 2. No. 1. P. 2—6. <https://doi.org/10.15713/INS.JCRI.32>.

Kerschbamer R., Neururer D., Sutter M. (2016) Insurance Coverage of Customers Induces Dishonesty of Sellers in Markets for Credence Goods. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 113. No. 27. P. 7454—7458. <https://doi.org/10.1073/pnas.1518015113>.

Khan Z. R., Balasubramanian S. (2012) Students Go Click, Flick and Cheat... E-Cheating, Technologies and More. *Journal of Academic and Business Ethics*. Vol. 6. P. 1—26.

Löfström E., Trotman T., Furnari M., Shephard K. (2015) Who Teaches Academic Integrity and How do They Teach It? *Higher Education*. Vol. 69. No. 3. P. 435—448. <https://doi.org/10.1007/s10734-014-9784-3>.

Lupton R. A., Chaqman K. J. (2002) Russian and American College Students' Attitudes, Perceptions and Tendencies Towards Cheating. *Educational Research*. Vol. 44. No. 1. P. 17—27. <https://doi.org/10.1080/00131880110081080>.

Magnus J. R., Polterovich V. M., Danilov D. L., Savvateev A. V. (2002) Tolerance of Cheating: An Analysis across Countries. *The Journal of Economic Education*. Vol. 33. No. 2. P. 125—135. <https://doi.org/10.1080/00220480209596462>.

Maloshonok N., Shmeleva E. (2019) Factors Influencing Academic Dishonesty among Undergraduate Students at Russian Universities. *Journal of Academic Ethics*. Vol. 17. No. 1. P. 313—329. <https://doi.org/10.1007/s10805-019-9324-y>.

McCabe D. L., Treviño L. K. (1993) Academic Dishonesty: Honor Codes and Other Contextual Influences. *The Journal of Higher Education*. Vol. 64. No. 5. P. 522—538. <https://doi.org/10.1080/00221546.1993.11778446>.

McCabe D. L., Trevino L. K., Butterfield K. D. (2002) Honor Codes and Other Contextual Influences on Academic Integrity: A Replication and Extension to Modified Honor Code Settings. *Research in Higher Education*. Vol. 43. P. 357—378. <https://doi.org/10.1023/A:1014893102151>.

Meng C. L., Othman J., D'Silva J., Omar Z. (2014) Ethical Decision Making in Academic Dishonesty with Application of Modified Theory of Planned Behavior: A Review. *International Education Studies*. Vol. 7. No. 3. P. 126—139. <https://doi.org/10.5539/IES.V7N3P126>.

Miller A. D., Murdock T. B., Grotewiel M. M. (2017) Addressing Academic Dishonesty among the Highest Achievers. *Theory Into Practice*. Vol. 56. No. 2. P. 121—128. <https://doi.org/10.1080/00405841.2017.1283574>.

Murdock T. B., Miller A. D., Goetzinger A. (2007) Effects of Classroom Context on University Students' Judgments about Cheating: Mediating and Moderating Processes. *Social Psychology of Education*. Vol. 10. No. 1. P. 141—169. <https://doi.org/10.1007/s11218-007-9015-1>.

Phau I., Kea G. (2007) Attitudes of University Students Toward Business Ethics: A Cross-National Investigation of Australia, Singapore and Hong Kong. *Journal of Business Ethics*. Vol. 72. No. 1. P. 61—75. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9156-8>.

Preiss M., Klein H. A., Levenburg N. M., Nohavova A. (2013) A Cross-Country Evaluation of Cheating in Academia — A Comparison of Data from the US and the Czech Republic. *Journal of Academic Ethics*. Vol. 11. No. 2. P. 157—167. <https://doi.org/10.1007/s10805-013-9179-6>.

Pulvers K., Diekhoff G. M. (1999) The Relationship between Academic Dishonesty and College Classroom Environment. *Research in Higher Education*. Vol. 40. No. 4. P. 487—498. <https://doi.org/10.1023/A:1018792210076>.

Reshetar R., Pitts M. F. (2020) General Academic and Subject-Based Examinations Used in Undergraduate Higher Education Admissions. In: Oliveri M. E., Wendler C. (eds.) *Higher Education Admissions Practices: An International Perspective*. New York, NY: Cambridge University Press. P. 237—255. <https://doi.org/10.1017/9781108559607.014>.

Taylor-Bianco A., Deeter-Schmelz D. (2007) An Exploration of Gender and Cultural Differences in MBA Students' Cheating Behavior: Implications for the Classroom. *Journal of Teaching in International Business*. Vol. 18. No. 4. P. 81—99. https://doi.org/10.1300/J066v18n04_05.

True G., Alexander L. B., Richman K. A. (2011) Misbehaviors of Front-Line Research Personnel and the Integrity of Community-Based Research. *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*. Vol. 6. No. 2. P. 3—12. <https://doi.org/10.1525/jer.2011.6.2.3>.

Wagner P. (1999) After Justification: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity. *European Journal of Social Theory*. Vol. 2. No. 3. P. 341—357. <https://doi.org/10.1177/13684319922224572>.

Whitley Jr. B. E., Keith-Spiegel P. (2001) *Academic Dishonesty: An Educator's Guide*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. <https://doi.org/10.4324/9781410604279>.

Yukhymenko-Lescroart M. A. (2014) Ethical Beliefs Toward Academic Dishonesty: A Cross-Cultural Comparison of Undergraduate Students in Ukraine and the United States. *Journal of Academic Ethics*. Vol. 12. No. 1. P. 29—41. <https://doi.org/10.1007/s10805-013-9198-3>.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.928



Е. А. Каплан*, К. Ю. Ерицын

РАБОТА И УЧЕБА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ: КОНФЛИКТ ИЛИ ФАСИЛИТАЦИЯ?

Правильная ссылка на статью:

Каплан Е. А., Ерицын К. Ю. Работа и учеба у студентов вузов: конфликт или фасилитация? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 395—423. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.928>.

For citation:

Kaplan E. A., Eritsyin K. Y. (2020) University Students Combining Working and Studying: Conflict or Facilitation?. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 395—423. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.928>. (In Russ.)

* Елизавета Каплан — выпускница бакалавриата факультета социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург; победитель Конкурса студенческих исследовательских работ в области социологии «Дипломник года 2019» ВЦИОМ — второе место в номинации «Лучшая дипломная работа бакалавра». Подробнее о конкурсе здесь: https://konkurs.wciom.ru/proektykonkursy/konkurs_diplomov/arkhiv_s_2013_goda/konkurs_diplomov_2019/.

**РАБОТА И УЧЕБА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ:
КОНФЛИКТ ИЛИ ФАСИЛИТАЦИЯ?**

КАПЛАН *Елизавета Алексеевна* — бакалавр социологии, младший специалист по персоналу, ЗАО «Фарм-Холдинг», Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: eliz.caplan2015@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5820-336X>

ЕРИЦЯН *Ксения Юрьевна* — кандидат психологических наук, научный сотрудник Института психологии, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: kсения.eritsyan@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4400-0593>

Аннотация. На основании данных опроса студентов одного из федеральных университетов Санкт-Петербурга ($N = 948$) и полуструктурированных интервью с работающими студентами ($N = 14$) исследуются условия, при которых совмещение обучения и работы студентами очных отделений вузов сопряжено с негативными последствиями для учебы и благополучия студентов, а также обстоятельства, при которых совмещение двух ролей, напротив, приносит пользу и повышает эффективность выполнения обеих ролей.

В результате исследования выявлено, что с большей вероятностью совмещают учебу и работу студенты, менее удовлетворенные получаемой специальностью и с более низкой субъективной оценкой благополучия внешней среды. В то же время уровень их психологического благополучия и социальной поддержки выше. Совмещающие обучение и трудовую деятельность студенты

**UNIVERSITY STUDENTS COMBINING
WORKING AND STUDYING: CONFLICT
OR FACILITATION?**

*Elizaveta A. KAPLAN*¹ — Bachelor's Degree in Sociology, Junior HR Specialist
E-MAIL: eliz.caplan2015@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5820-336X>

*Ksenia Yu. ERITSYAN*² — Cand. Sci. (Psychology), Researcher at the Institute of Psychology
E-MAIL: kсения.eritsyan@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4400-0593>

¹ Pharm Holding, St Petersburg, Russia

² Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The paper is based on the data of a survey among students from a St Petersburg multispecialty university and semi-structured interviews and investigates the conditions under which combining working and studying negatively impact full-time students and, on the contrary, the circumstances that bring them benefits. According to the findings, those students who are less satisfied with their university, their profession and living conditions are more likely to combine working and studying. In addition, they have higher levels of mental well-being. Students combining work and study tend to more often miss classes but this has no impact on their performance. Effects differ depending on the group of students combining jobs and studies: girls and lower-year students are more likely to have a work-study conflict. Work-study facilitation is more typical of those students who deliberately strive to get the desired profession as well as those who have higher

чаще пропускают занятия, однако это не сказывается на их успеваемости. Эффекты совмещения работы и учебы связаны с рядом факторов. Конфликт между двумя сферами более свойствен студентам младших курсов и девушками возрастает с увеличением рабочей нагрузки. Фасилитация работы и учебы более характерна для студентов, осознанно выбравших изучаемую специальность и трудоустроенных по получаемой профессии. В результате анализа полуструктурированных интервью были определены три группы стратегий совмещения: поддерживаемые работодателем, поддерживаемые системой обучения, и стратегии самоменеджмента учащегося.

Ключевые слова: совмещение учебы и работы, удовлетворенность обучением, успеваемость студентов, благополучие, студенты вузов

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-29-02438/17 «Психологические, социальные и средовые ресурсы здоровья учащихся разных ступеней образования в современной России», 2017—2019 гг.

Введение

Все больше учащихся выходят на рынок труда во время очного обучения в университете. Также увеличивается количество часов, которые студенты уделяют трудовой деятельности [Янбарисова, 2014; Cinamon, 2016]. По данным Мониторинга экономики образования доля студентов, совмещающих работу и учебу, в 2017 г. составила 52 %¹. Студенты пытаются приобрести опыт работы во время обучения, предполагая, что их ценность на рынке труда будет выше, если они будут обладать не только теоретической подготовкой, но и профессиональным опытом [Mills, Lingard, McLaughlin, 2009; Рудаков, 2018].

mental well-being levels. The analysis of the interviews helped to detect two types of strategies to combine two spheres: institutionally-supported strategies and self-management strategies.

Keywords: combining work and study, satisfaction with education, student performance, well-being, university students

Acknowledgments. The article is funded under RFBR grant no. 17-29-02438/17, “Psychological, social and environmental health-related resources of students at different stages of education in modern Russia”, 2017–2019.

¹ Мониторинг экономики образования. Индикаторы МЭО — 15 волна (2017 год). Доля студентов, совмещающих учебу и работу. 2017 // НИУ ВШЭ. URL: https://memo.hse.ru/data/2018/03/27/1164887577/2017_ind_stud_VO_4_.pdf (дата обращения: 25.08.2020).

Совмещение ролей студента и работника традиционно осмысливается в терминах конфликта между ними. Исследователи рассматривают учебу как основную деятельность студента, а работу — как препятствие для успешного обучения [Константиновский, Чередниченко, Вознесенская, 2009; Darolia, 2014], а также источник других негативных последствий, связанных со здоровьем и благополучием учащихся [Owen, Kavanagh, Dollard, 2018]. Подобное отношение к совмещению учебы с работой прослеживается и в предложениях российских органов власти, например, в инициативе обязать родителей материально поддерживать своих детей в период очного обучения в вузе². При таком подходе предполагается, что студенты вынуждены работать, и основным мотивом выступают испытываемые студентом материальные трудности.

Другие исследователи предполагают, что работа не обязательно мешает учебе и может приносить студенту иные преимущества, помимо материальных. Полученные данные показывают, что половина работающих студентов трудоустроиваются, т. к. хотят компенсировать разрыв между компетенциями, получаемыми в вузе, и потребностями рынка труда³. При определенных условиях работа вполне может способствовать как более высокой успеваемости, так и лучшим показателям психического благополучия студентов [Янбарисова, 2014; Cinamon, 2016; Creed, French, Hood, 2015].

Существующий сегодня в научной литературе массив российских и зарубежных данных о том, при каких условиях совмещение учебы и работы приводит к условно позитивным и условно негативным эффектам, пока достаточно разнороден. Исследователи используют разные методические подходы для оценки данных взаимосвязей и зачастую приходят к противоположным выводам. При этом большинство найденных закономерностей, пока фрагментарных, эмпирически не были проверены в российском социокультурном контексте.

В настоящей статье ставится задача выявить, при каких условиях в России совмещение работы и учебы студентами вузов сопряжено с негативными последствиями для учебы и благополучия студентов, а при каких совмещение двух ролей, напротив, не связано с выраженными затруднениями, а приносит пользу и повышает эффективность выполнения обеих ролей.

В отличие от предыдущих исследований, мы рассматриваем позитивные последствия совмещения ролей студента и работника не только как функцию от совокупности внешних обстоятельств (характеристик работы и учебы, социально-экономического положения и пр.), но и как результат активного поиска и использования студентом тех или иных стратегий совмещения двух ролей. До настоящего момента стратегии совмещения трудовой деятельности и учебы оставались фактически без внимания исследователей, поэтому в рамках данной работы была поставлена задача определить основные группы таких стратегий.

² Глава Минюста высказался за введение минимального размера алиментов // ТАСС. 2019. 13 февраля. URL: <https://tass.ru/obschestvo/6109790> (дата обращения: 04.09.2020).

³ Мониторинг экономики образования. Индикаторы МЭО — 15 волна (2017 год). Мотивы занятости студентов вузов, совмещавших учебу с работой // НИУ ВШЭ. 2017. URL: https://memo.hse.ru/data/2018/03/27/1164887565/2017_ind_stud_VO_5_.pdf (дата обращения: 25.08.2020).

Первый раздел статьи содержит обзор теорий совмещения работы и учебы. Во втором разделе на основании количественного срезового исследования будет показано, какие различия существуют между работающими и неработающими студентами. Третий раздел, основанный на тех же эмпирических данных, сфокусирован на выделении факторов и последствий конфликта и фасилитации работы и учебы у работающих студентов. В заключении на материалах полуструктурированных интервью будут рассмотрены стратегии, используемые студентами для более эффективного совмещения работы и учебы.

Теоретические модели совмещения работы и учебы

Существуют две гипотезы, по-разному объясняющие процессы, происходящие при совмещении ролей. Первая из них — *гипотеза дефицита* (*scarcity hypothesis*) — основывается на том, что у индивида есть ограниченное фиксированное количество времени, а также психической и физической энергии, которое можно распределять между различными ролями [Greenhaus, Beutell, 1985]. Использование этих ресурсов в одной из ролей ведет к уменьшению их количества, доступного для использования в другой роли, что неизбежно влечет за собой ролевой конфликт и стресс. Эта гипотеза наиболее распространена в исследованиях совмещения [Creed, French, Hood, 2015; Greenhaus, Powell, 2006]. Согласно этой модели студенты, работая, будут уменьшать количество ресурсов, которые они могли бы вложить в учебу, провоцируя таким образом противоречие между обучением и трудовой деятельностью [Derous, Ryan, 2008]. Конфликт работы и учебы (*work-school conflict*) определяется как степень, в которой работа препятствует выполнению студентом требований и обязанностей, связанных с учебой [Markel, Frone, 1998].

Вторая гипотеза — *гипотеза расширения ресурсов* (*expansion approach*) — предполагает, что ресурсы индивида жестко не ограничены и могут расширяться [Marks, 1977; Sieber, 1974]. Это позволяет не только совмещать множество ролей, но и использовать ресурсы из одной области для увеличения успешности в другой. Ряд исследований последних лет показал, что не всегда работа мешает учебе, в определенных условиях происходит фасилитация (*work-school facilitation*), когда совмещение обучения и работы помогает студенту учиться эффективнее [Cinamon, 2016; Creed, French, Hood, 2015]. Фасилитация учебы и работы определяется как степень, в которой вовлеченность в трудовую деятельность способствует улучшению качества выполнения роли учащегося [Butler, 2007].

Данное исследование основано на сбалансированном подходе, при котором предполагается, что оба феномена — и конфликт, и фасилитация — возможны при совмещении обучения и работы [Broadbridge, Swanson, 2006; Greenhaus, Powell, 2006].

При построении теоретической модели конфликта и фасилитации за основу была взята модель конфликта и фасилитации работы и учебы А. Батлера (см. рис. 1) [Butler, 2007]. Эта модель была расширена с учетом результатов российских и зарубежных исследований, а также дополнительных гипотез, учитывающих личностные характеристики студента и возможную динамику отношения студента к получаемой специальности. Мы исходим из предположения, что конфликт и фасилитация работы и учебы будут связаны с:

- характеристиками работы: рабочая нагрузка и направление обучения студента [Янбарисова, 2014];
- мотивационно-личностными характеристиками студента: наличие выраженной жизненной цели и отношение к получаемой специальности: осознанность выбора программы обучения, удовлетворенность профессией и университетом, изменение представлений о профессии в процессе обучения и карьерные устремления;
- наличием/отсутствием социальной поддержки [Cinamon, 2016].
- возможными последствиями совмещения: посещение занятий, успеваемость и благополучие студентов.

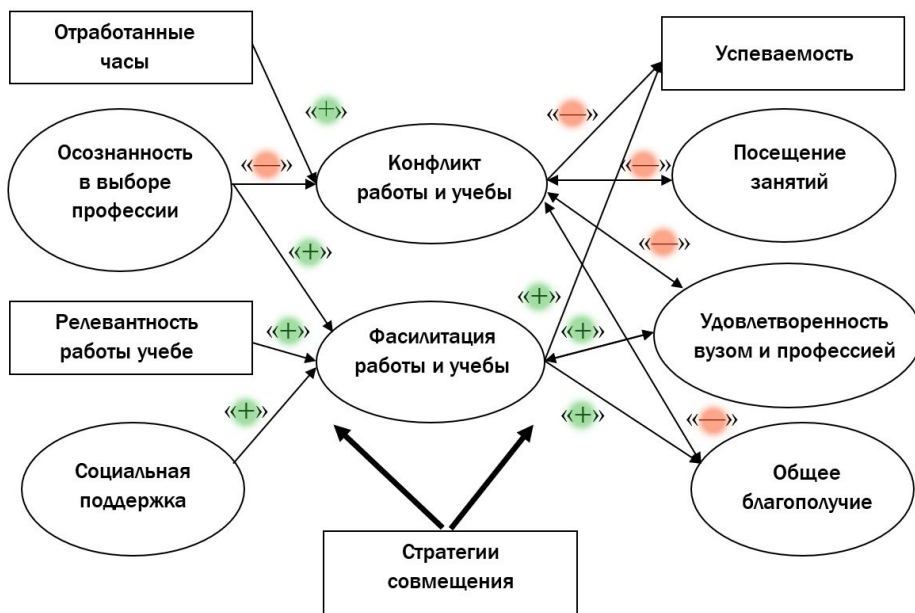


Рис. 1. Модель конфликта и фасилитации, «-» — негативная взаимосвязь, «+» — позитивная

Количественный этап исследования

Участники исследования

Исследование базируется на данных онлайн-опроса студентов педагогического университета Санкт-Петербурга (N = 948), который был проведен в октябре 2018 г. В рамках данного исследования под студентами мы понимали всех обучающихся вузе на очном отделении, включая студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и специалитета. Респонденты переходили по ссылке, распространяемой по внутрикорпоративным каналам, и заполняли анкеты на условиях анонимности.

В полученной выборке преобладают женщины (88 %) (что близко к распределению среди всех студентов вуза — 79%). Были опрошены студенты 19 факультетов.

Более подробная информация о выборке исследования и распределении ключевых показателей представлена в Приложении 1.

Использованные переменные

Конфликт работы и учебы, фасилитация работы и учебы, а также посещаемость были измерены с использованием впервые адаптированных для использования на русском языке шкал из работы А. Батлера [Butler, 2007]. Все вопросы измерялись с помощью пятиочечной шкалы Ликерта. Шкала конфликта работы и учебы включала такие утверждения, как «из-за работы я иду в университет уставшим», «задачи и обязанности на работе мешают мне выполнять учебные задания». Фасилитация работы и учебы была измерена с помощью следующих переменных: «задания, которые я выполняю на работе, помогают мне решать личные и практические задачи в университете», «консультация с кем-то на работе помогает решать проблемы в университете». Посещаемость измерялась через оценку согласия респондента со следующими утверждениями: «я прогуливал(а) несколько пар в неделю», «я пропускал(а) целый день пар без уважительной причины». Полные варианты всех используемых шкал и их психометрические характеристики представлены в Приложении 2.

Помимо этого, в опросе была получена информация о социально-демографических характеристиках студентов (возраст, пол, факультет и курс обучения, приехали ли они поступать из другого города/страны или проживают в Санкт-Петербурге, учатся ли они на бюджетной или контрактной основе, оценка уровня дохода), характеристики трудоустройства (среднее количество часов в неделю, которое проводят на работе).

Также были изучены общий уровень благополучия студентов и оценка благополучия по отдельным сферам жизни, оценка уровня социальной поддержки, целеустремленность студентов и удовлетворенность профессией и вузом. Полная информация об используемых переменных, и шкалах и способе их расчета для использования в регрессионных моделях приведена в Приложении 2.

Анализ количественных данных

Для анализа связи между трудоустройством и остальными переменными была построена логистическая регрессионная модель. Зависимой переменной являлось совмещение учебы с работой (1, если студент совмещает учебу с работой, 0 — если нет). Независимыми переменными выступили: пол, курс обучения, удовлетворенность вузом и профессией, посещаемость, психологическое благополучие, благополучие окружающей среды, физическое благополучие, целеустремленность, социальная поддержка, доход, успеваемость, семейное положение, форма договора (платная/бюджетная).

Для проверки теоретической модели исследования (рис. 1) также были рассчитаны модели линейной регрессии, показывающие взаимосвязь изучаемых переменных с конфликтом и фасилитацией работы и учебы. В качестве независимых переменных для обеих моделей использовались: пол, курс, связь работы с получаемой профессией, психологическое благополучие, физическое благополучие, благополучие окружающей среды, социальная поддержка, удовлетворенность

вузом и профессией, профессиональные ориентации до поступления в вуз, изменение представлений о профессии, место проживания до поступления, количество рабочих часов в неделю, доход, успеваемость.

Качественный этап

Для качественной части исследования в апреле 2019 г. было собрано 14 полуструктурированных интервью. Использовалась целевая выборка, критерием отбора были параметры совмещения учебы с работой: работа по профессии и нет, прекращение трудовой деятельности или учебной деятельности из-за конфликта и успешное совмещение. Среди информантов было равное число мужчин и женщин, средний возраст составил 21,4 года. Все респонденты являлись на момент исследования студентами 4 курса бакалавриата, так как предполагалось, что учащиеся этого возраста уже попробовали работать, а иногда сменили и несколько мест трудоустройства. В то же время они были больше включены в учебу по сравнению со студентами магистратуры и аспирантуры.

Основной целью данной части исследования было выявление различных стратегий, которые используют студенты для совмещения работы и учебы. С целью повышения разнородности выборки и вероятности учета разнообразных стратегий для участия в исследовании отбирались студенты различных вузов — как многопрофильных, так и специализированных (медицинских, технических и пр.). Направления подготовки респондентов также были разными. Они включали экономические специальности, международные отношения, лечебное дело, журналистику, социологические и технические направления подготовки.

Гайд интервью включал в себя вопросы о факторах выбора университета и направления подготовки, возникающих сложностях в учебе, мотивах трудоустройства и стратегиях совмещения работы и обучения, степени контроля времени и графика работы, последствиях совмещения учебы с работой и планах на будущее. Интервью проводились с помощью платформы Skype, с согласия респондентов велась диктофонная запись.

Анализ интервью проводился с помощью интерпретативного феноменологического анализа (IPA), разработанного Д. Смитом [Smith, 1995]. Этот метод позволяет выявить, как индивиды интерпретируют (make sense) свои жизненные опыты. Он совмещает в себе принципы феноменологического, герменевтического и идеографического подходов [Pietkiewicz, Smith, 2014]. Метод IPA описательный, в результате его использования исследователь получает информацию о том, как феномены появляются, как индивиды воспринимают их и говорят о них.

Результаты. Количественный этап

Совмещение работы и учебы

В итоговой выборке работают 41,5% студентов, трудоустроенные студенты в среднем уделяют работе 20,8 часов в неделю, ($Me = 20$, $SD = 14,198$). С увеличением курса обучения доля учащихся, вовлеченных в трудовую деятельность, растет (см. рис. 2).

Для определения изменения вероятности совмещения работы с учебой были рассчитаны предельные эффекты логистической модели (см. табл. 1).

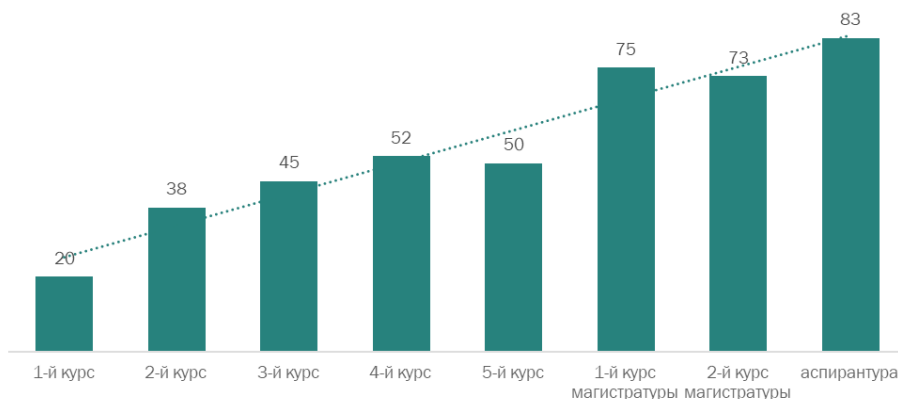


Рис. 2. Доля трудоустроенных студентов по курсам обучения, %

Анализ показал, что чем выше курс обучения, тем с большей вероятностью студенты трудоустроены. Возможно несколько объяснений этой взаимосвязи. Учащиеся бакалавриата на первых курсах обучения адаптируются к новой среде, и у большинства из них основная задача — влиться в процесс [Credé, Niehorster 2012]. Студенты магистратуры и аспирантуры уже имеют диплом о высшем образовании, а значит, им легче устроиться на достойную должность, кроме того они старше и более вероятно их отделение от родительской семьи и переход на самостоятельное обеспечение. Также магистерские и аспирантские программы более приспособлены для совмещения, по сравнению с бакалаврскими [Рощин, Рудаков, 2014].

Вероятность совмещения обучения с работой меньше для учащихся, удовлетворенных вузом и получаемой специальностью, вне зависимости от того, хотели бы они поменять место обучения или нет. Возможно, выход на рынок труда — это способ поиска альтернативных карьерных возможностей, изменение профессиональной направленности при неудовлетворенности получаемой специальностью.

В отличие от данных С. Рощина и В. Рудакова [там же], в нашем исследовании контрактная или бюджетная форма обучения не связаны с вероятностью совмещения. Возможно, обучение студентов оплачивают их родители, и они не ищут работу чаще, чем студенты, обучающиеся на бюджетной форме. Модель также не показала значимость дохода семьи для вероятности совмещения. Эти выводы соотносятся с результатами других исследований, также показавших отсутствие связи между материальным положением родителей и совмещением студентами учебы с работой [Константиновский, Чередниченко, Вознесенская, 2009; Beerkens et al., 2011].

Тем не менее вероятность совмещения связана с более низкой субъективной оценкой благополучия внешней среды. Таким образом, работа сама по себе может являться стратегией изменения благосостояния, понимаемого в широком смысле, и выбирают данную стратегию студенты с более высоким уровнем психологического благополучия (более удовлетворенные собой, с ровным эмоциональным фоном и пр.). Однако с целеустремленностью и физическим благополучием (работоспособность, удовлетворенность сном, отсутствие болей) вероятность совмещения учебы и работы не связана.

Наличие оплачиваемой работы более характерно для студентов с более высоким уровнем социальной поддержки, что согласуется с результатами ряда исследований [Басюк, Польская, 2015; Константиновский, Чередниченко, Вознесенская, 2009].

Совмещающие студенты вероятнее пропускают занятия, что соотносится с результатами других исследований [Butler, 2007; Markel, Frone, 1998]. В то же время не было обнаружено значимой связи между нахождением на рынке труда и успеваемостью в вузе. Незначительное влияние трудоустройства на успеваемость было показано и в других эмпирических исследованиях [Роцин, Рудаков, 2014; Beerkens, Mägi, Lill, 2011; Rothstein, 2007]. Возможны несколько различных объяснений для отсутствия данной взаимосвязи, имеющих отношение как к характеристикам студентов, так и к характеристикам их мест работы и учебы. Так, на рынок труда могут выходить наиболее успешные с точки зрения навыков учебы и самоменеджмента студенты, а менее успешные в этом отношении студенты прерывают либо работу, либо обучение. Нельзя также исключить, что уровень нагрузки в университете может быть невысоким, и поддерживать высокую успеваемость можно и при небольших временных затратах. П. Бабкок и М. Маркс пришли к выводу, что современные студенты стали посвящать значительно меньше времени учебе чем их сверстники в прошлом: 40 часов в неделю в 1961 г. снизились до 27 часов в 2003 [Babcock, Marks, 2011]. Таким образом, рабочие часы могут не отнимать время, необходимое студенту для обучения, а занимать часы, которые могли быть потрачены на отдых или другие неакадемические активности. Наконец, студенты осознанно могут выбирать такие места работы, которые позволят им сохранить уровень успеваемости.

Таблица 1. Логистическая регрессионная модель факторов совмещения (N = 948)

(Intercept)	Marginal Effects
Курс	0,0668***
Пол ^I	
Мужской	0,0703
Семейное положение ^{II}	
Вдовец (вдова)	0,4643**
Разведен(а)	-0,0063
Состою в зарегистрированном браке	0,1084
Состою в фактическом (незарегистрированном) браке	-0,0144
Успеваемость ^{III}	
Отличная	0,2163
Удовлетворительная	0,1674
Хорошая	0,1842
Форма договора ^{IV}	
Договорная	-0,0541
Доход ^V	
В принципе, могу накопить на квартиру или автомобиль.	0,2108
Денежных средств иногда не хватает на самое необходимое.	0,1693
Дохода хватает на нормальную жизнь, можно кое-что откладывать, в том числе, для приобретения вещей длительного пользования.	0,0633
На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды и обуви уже проблематична.	0,1127

(Intercept)	Marginal Effects
Удовлетворенность вузом и профессией ^{vi}	
Не стал(а) бы получать высшее образование	0,1019
Тот же вуз и другой факультет (институт)	-0,0721
Тот же вуз и тот же факультет (институт)	-0,0771*
Тот же факультет (институт), но другой вуз	-0,1302*
Посещаемость	-0,0264***
Психологическое благополучие	0,0378***
Физическое благополучие	0,0134
Благополучие окружающей среды	-0,0346***
Целеустремленность	-0,0027
Социальная поддержка	0,0237*

ⁱ База сравнения: женский.

ⁱⁱ База сравнения: холост (не замужем) (и никогда не состоял(а) в официальном браке).

ⁱⁱⁱ База сравнения: неудовлетворительная.

^{iv} База сравнения: бюджетная.

^v База сравнения: в настоящее время могу ни в чем себе не отказывать.

^{vi} База сравнения: другой вуз и другой факультет.

Chi-square (df = 8) = 7,6388, p-value = 0,4695.

Pseudo McFadden R-square = 0,173.

Pseudo Nagelkerke R-square = 0,282.

*** p-value < 0; ** p-value < 0,001; * p-value < 0,01.

Факторы конфликта учебы и работы

Основным предиктором конфликта между работой и учебой выступает рабочая нагрузка (см. табл. 2), что соотносится с результатами зарубежных исследований [Markel, Frone, 1998; Butler, 2007; Creed, French, Hood, 2015; Cinamon, 2016; Owen, Kavanagh, Dollard, 2018]. Большой уровень конфликта испытывают студенты старших курсов, вероятно, потому что работают больше часов в неделю ($F(7) = 4,4263$, $p\text{-value} = 0,006173$).

Модель не показала связи конфликта с тем, работает ли студент по получаемой специальности или нет, как и с большинством переменных, характеризующих отношение к получаемой специальности (удовлетворенность вузом, получаемой специальностью, связь специальности с профессиональными ориентациями до поступления в вуз). Однако студенты, которые за время обучения стали лучше относиться к получаемой специальности, демонстрируют более высокий уровень конфликта при совмещении работы и учебы.

У мужчин конфликт между работой и учебой меньше, чем у женщин, хотя характеристики работы в контексте ее интенсивности ($t(66,341) = -0,39004$, $p\text{-value} = 0,6978$) и связи с направлением подготовки, у мужчин и женщин не различаются ($X\text{-squared}(1) = 1,8524$, $p\text{-value} = 0,1735$).

Наконец, местные студенты в большей степени переживают конфликт между учебой и работой, чем иногородние студенты. Мы предполагаем, что одним из возможных объяснений повышенного конфликта может быть необходимость местных

студентов вкладывать время еще и в семейную сферу, поэтому конфликт между работой и обучением ощущается острее.

Таблица 2. *Линейная регрессионная модель факторов, взаимосвязанных с конфликтом работы и учебы*

(Intercept)	B	P
	21,67715	8,83e-10***
Пол ^I		
Пол мужской	-1,57466	0,011297*
Курс	0,40027	0,001290**
Количество рабочих часов в неделю	0,09012	1,43e-08***
Посещаемость учебных занятий	-0,23815	4,73e-05***
Связь работы с получаемой специальностью ^{II}		
Нет	-0,13388	0,773569
Физическое благополучие	-0,57017	0,000214***
Психологическое благополучие	0,17351	0,196680
Благополучие окружающей среды	-0,22661	0,062772
Социальная поддержка	0,05336	0,667745
Доход ^{III}		
В принципе, могу накопить на квартиру или автомобиль. Денежных средств иногда не хватает на самое необходимое.	1,19440	0,564653
Дохода хватает на нормальную жизнь, можно кое-что откладывать, в том числе, для приобретения вещей длительного пользования.	2,87410	0,135627
	0,76985	0,654740
	1,51623	0,391653
На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды и обуви уже проблематична.		
Успеваемость ^{IV}		
Отличная	-4,55413	0,035469*
Удовлетворительная	-4,47058	0,034899*
Хорошая	-4,47226	0,035150*
Удовлетворенность вузом и профессией ^V		
Не стал(а) бы получать высшее образование	-1,10642	0,304265
Тот же вуз и другой факультет (институт)	0,35763	0,629941
Тот же вуз и тот же факультет (институт)	0,29240	0,611981
Тот же факультет (институт), но другой вуз	0,88488	0,273450
Профессиональные ориентации до поступления ^{VI}		
До поступления не имел(а) выраженных профессиональных интересов	-0,82775	0,221711
Осознанно стремился(лась) к получению этой профессии	-0,95166	0,053256
Хотел(а) получить совсем другую профессию	-0,66363	0,426026
Изменение представлений о профессии ^{VII}		
Представление о профессии изменилось в худшую сторону	-1,82214	0,016216*
Не изменилось	-1,64346	0,002277**

(Intercept)	<i>B</i>	<i>P</i>
		21,67715
Место проживания до поступления ^{VIII}		
Местный студент	1,08633	0,015865*
Observations	393	
R ² /adj, R ²	0,34/0,296	

^I База сравнения (женский).

^{II} База сравнения: да.

^{III} База сравнения: в настоящее время могу ни в чем себе не отказывать.

^{IV} База сравнения: неудовлетворительная.

^V База сравнения: другой вуз и другой факультет.

^{VI} База сравнения: выбрал(а) одну из профессий той сферы, к которой испытывал интерес.

^{VII} База сравнения: изменилось в лучшую сторону.

^{VIII} База сравнения: иногородний.

*** p-value < 0; ** p-value < 0,001; * p-value < 0,01.

Как конфликт работы и учебы связан с благополучием студента?

Основной негативной стороной высокого уровня конфликта является его связь с физическим состоянием студента. В качественной части исследования многие студенты рассказывали, что выполняют учебные работы по ночам, а также что бывают ситуации, когда им приходится выбирать между работой или учебой. Все это ведет к тому, что недосып и стресс от «горящих дедлайнов» истощают физические ресурсы учащихся. Количественный анализ показывает, что студенты, испытывающие конфликт между работой и учебой, демонстрируют более низкий уровень физического благополучия и оценивают обстоятельства своей жизни негативнее. Такой результат подтверждается данными некоторых западных исследований [Owen, Kavanagh, Dollard, 2018; Park, Sprung, 2013].

Конфликт негативно связан и с образовательными достижениями: более высокий уровень конфликта коррелирует с более редким посещением студентами учебных занятий, и ассоциирован с неудовлетворительной успеваемостью. Такие же результаты были получены в ряде исследований [Butler, 2007; Markel, Frone, 1998].

Факторы фасилитации учебы и работы

В результате регрессионного анализа было выявлено, что фасилитация работы и учебы не связана с актуальной удовлетворенностью получаемой специальностью и изменением представлений о профессии в процессе обучения (см. табл. 3). Однако учащиеся, осознанно выбравшие профессию, которой обучаются, и те, чья работа связана с получаемой специальностью, демонстрируют более высокий уровень фасилитации. Поскольку такие студенты чаще работают по получаемой специальности они вероятно заинтересованы как в образовании, так и в получении практических знаний и навыков работы по специальности [Янбарисова, 2014]. Навыки и опыт, полученные во время работы, воспринимаются студентами как более релевантные получаемой специальности и поэтому будут способствовать высокой производительности в учебе [Greenhaus, Powell, 2006]. Как и в случае

с конфликтом, у мужчин уровень фасилитации между учебой и работой выше, чем у женщин.

Не было выявлено взаимосвязи фасилитации с характеристиками личного и учебного благополучия студентов: физическим и психологическим благополучием, успеваемостью и посещаемостью учебных занятий. Уровень фасилитации также не связан с социально-демографическими характеристиками студентов (курсом обучения, доходом, местом проживания до поступления), благополучием окружающей среды, социальной поддержкой и количеством часов, затрачиваемым на работу.

Таблица 3. *Линейная регрессионная модель факторов, связанных с фасилитацией учебы и работы*

Фасилитация работы и учебы		
(Intercept)	<i>B</i>	<i>P</i>
	-0,3620146	0,89536***
Пол ^I		
Пол мужской	1,3268988	0,00759**
Курс	0,0539837	0,58443
Количество рабочих часов в неделю	0,0218956	0,07851
Посещаемость учебных занятий	0,0116774	0,80062
Связь работы с профессией ^{II}		
Нет	-2,51034	5,78e-11***
Физическое благополучие	0,1377539	0,25892
Психологическое благополучие	0,1676396	0,11875
Благополучие окружающей среды	0,0004252	0,99651
Социальная поддержка	0,1800137	0,07062
Доход ^{III}		
В принципе, могу накопить на квартиру или автомобиль.	1,5080623	0,36302
Денежных средств иногда не хватает на самое необходимое.	0,8373219	0,58594
Дохода хватает на нормальную жизнь, можно кое-что откладывать, в том числе, для приобретения вещей длительного пользования.	1,0579025	0,44206
На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды и обуви уже проблематична.	0,3293436	0,81581
Успеваемость ^{IV}		
Отличная	1,9828250	0,25089
Удовлетворительная	2,0651950	0,22174
Хорошая	2,1156475	0,21148
Удовлетворенность вузом и профессией ^V		
Если выбирать заново, то не стал(а) бы получать высшее образование	-0,5262399	0,54074
Если выбирать заново, то тот же вуз и другой факультет (институт)	0,3155325	0,59480
Если выбирать заново, то тот же вуз и тот же факультет (институт)	-0,4051566	0,37931
Если выбирать заново, то тот же факультет (институт), но другой вуз	1,1635708	0,07196

Фасилитация работы и учебы		
(Intercept)	<i>B</i>	<i>P</i>
	-0,3620146	0,89536***
Профессиональные ориентации до поступления ^{VI}		
До поступления не имел(а) выраженных профессиональных интересов	-0,5743661	0,28857
Осознанно стремился(лась) к получению этой профессии	1,0889453	0,00578**
Хотел(а) получить совсем другую профессию	-0,8141136	0,22202
Изменение представлений о профессии ^{VII}		
Представление о профессии изменилось в худшую сторону	-0,0452921	0,94016
Не изменилось	-0,0231748	0,95678
Место проживания до поступления ^{VIII}		
Местный студент	-0,2020000	0,57318
Observations	393	
R ² / adj. R ²	0,293 / 0,2416	

^I База сравнения: женский.

^{II} База сравнения: да.

^{III} База сравнения: в настоящее время могу ни в чем себе не отказывать.

^{IV} База сравнения: неудовлетворительная.

^V База сравнения: другой вуз и другой факультет.

^{VI} База сравнения: выбрал(а) одну из профессий той сферы, к которой испытывал интерес.

^{VII} База сравнения: изменилось в лучшую сторону.

^{VIII} База сравнения: иногородний.

*** p-value < 0; ** p-value < 0,001; * p-value < 0,01.

Результаты. Качественный этап Стратегии совмещения

Для сглаживания или предотвращения конфликта работы и учебы студенты используют различные стратегии совмещения. Условно их можно разделить на три группы: стратегии, поддерживаемые работодателем, стратегии, поддерживаемые системой обучения, и стратегии самоменеджмента учащегося.

Стратегии, поддерживаемые работодателем

Учащиеся дневного отделения бакалавриата выбирают работу с гибким графиком, где есть возможность его контролировать. Учащиеся устраиваются на работу с условием, что, если учебе необходимо будет уделить больше внимания, они будут отдавать ей приоритет над работой. Работодатели идут студентам навстречу: предоставляют возможность самим выбрать рабочие дни, изменять рабочий график (взять отгул, а потом закрыть эти часы в выходной или другой день или поменяться сменами с коллегами), взять учебный отпуск.

...У нас есть возможность брать учебный отпуск, если, допустим, на сессии не справляешься. И я могу просто, например, сказать, что у меня сегодня экзамен, и я приду чуть попозже или, например, я эти часы отработаю — на выходных из дома или как-то...

Ну, они же знают, кого берут, я студентка, они понимают, что я не смогу всю неделю сидеть в офисе, поэтому все нормально. (Женщина, классический университет, ассистент аудитора)

Стратегии, поддерживаемые образовательным учреждением

В некоторых учебных заведениях могут существовать локальные, поощряемые администрацией стратегии совмещения студентами работы и учебы. В целом в вузах используются неформальные практики совмещения, не закрепленные в официальных документах университета. Однако в одном из изученных случаев университет давал студентам возможность официально трудоустроиться по специальности с санкционированной отработкой пропусков занятий и ограничением количества рабочих часов. Все это может способствовать снижению конфликта, и согласуется с результатами регрессионного анализа: работа по специальности позитивно взаимосвязана с фасилитацией.

У нас такое дело, что если ты пропускаешь универ из-за работы, то тебе надо отработывать. Вот, поэтому в принципе никаких потерь, потому что нам разрешают работать официально на 0,5 ставки, это, допустим, четыре смены в месяц. Ну, понятно, что кое-кто шаманит где-то в двух местах на 0,5, кто-то там устраивается на ставочку. Я в принципе от этого вреда не вижу, даже если на ставку работать, то это типа семь с половиной, восемь смен в месяц. (Мужчина, медицинский университет, медбрат)

Другой стратегией разрешения конфликта при совмещении может быть перевод на вечернюю или заочную форму. Он встречается в тех вузах, в которых есть иные помимо очной формы обучения.

...Мне приходилось гнаться за двумя зайцами и выбирать, куда я иду. Конечно же, работа была в приоритете. Несмотря на то, что мне тоже шли на встречу и говорили «сходи на пары, сходи, потом придешь все сделаешь», вот... Но оставаться допоздна на работе не хотелось, и я приняла решение, что я больше не хочу ставить под угрозу свою учебу... то есть, как сказать... в жертву приносить учебу, поэтому пришлось сменить график именно учебы. (Женщина, творческий институт, специалист отдела по воспитательной работе)

Однако возможны и поощряемые некоторыми вузами полуформальные стратегии совмещения, которые по мнению респондентов приводят к ухудшению качества образования. Работающим студентам могут предоставляться платные услуги, позволяющие сдать экзамен по предмету, занятия по которому студент пропускал из-за совмещения.

Грубо говоря, я откладываю деньги на сдачу экзаменов, но при этом мне надо заплатить деньги, чтобы получить дополнительные курсы. Вот эта покупка курса, она дает тебе возможность сдать экзамен. Я расставляю приоритеты, что я могу, грубо говоря, сдать сам, где-то заплатить... дополнительные курсы. Короче, здесь надо общаться с преподавателем лично. Потому что есть некоторые, которые типа хотят, чтобы ты

ходил на пары, другие — которым вообще пофиг ходишь ты или нет. То есть в этом плане совмещение учебы с работой дает плюс [студент учится на бюджетной форме обучения] (Мужчина, технический университет, пробоотборщик)

Стратегии самоменеджмента студента

В основе данной стратегии — ранжирование приоритетов и планирование. Респонденты ведут ежедневники, строят графики распределения времени. В каких-то случаях информанты оценивают свою учебную занятость как основную и подстраивают рабочую нагрузку именно под нее, в других случаях рабочие потребности имеют такой же приоритет, как и учебные.

Да, всегда меняется [график]. По семестрам. Потому что основной мой график — это учеба, его я никак не могу поменять. (Женщина, классический университет, репетитор)

Я просто расставляю приоритеты... Ну, есть предметы, которые, на мой взгляд, важно посещать, а есть предметы, которые — опять же, на мой взгляд, — можно не посещать, а где-то дистанционно самостоятельно разобрать то, что ты не разобрал на паре. Также с работой, есть определенные дни, когда действительно надо, ты можешь выйти и помочь выручить, кого-то заменить. А есть дни, когда, ну... наверно, лучше сходить на учебу или побыть дома с близкими, то есть ну нужно просто вовремя осознавать и правильно расставлять приоритеты. (Женщина, классический университет, официантка)

Также студенты практикуют разделение работы и учебы — каждый день посвящен лишь одной из ролей. Личной жизни и отдыху в такой стратегии отводятся учебные дни.

Какие-то дни выделяю, чтобы посидеть дома, чтобы поехать съездить сделать свои какие-то дела, там... То есть работа у меня 12 часов идет, да, согласен здесь день пройден такой... знаешь, профукан день. Но с учебой у меня дни, бывает, в 12 заканчиваются, а там уже — пожалуйста, занимайся личной жизнью. (Мужчина, технический университет, пробоотборщик)

Не назначать все в один день, ну, то есть работу, учебу и вот эту вот... стараться, чтобы если ты на работе, то ты в этот день на работе и никуда там стараться ни на учебу, никуда не дергаться. А учеба, она все равно у нас либо в первой половине дня, либо во второй, поэтому для встреч это никак не мешает, вот. (Мужчина, медицинский университет, медбрат)

Одной из упоминаемых стратегий является выполнение заданий для университета в ночное время, если учащиеся не успевают выполнить их днем. Это может объяснять полученный в рамках количественного исследования факт, что конфликт совмещения связан со снижением физического здоровья студентов.

...Я старалась все успевать, но единственное, из-за того, что у меня времени ни на что не хватало, мне приходилось по учебе делать, там писать курсовую и какие-то работы

выполнять ночью. То есть у меня сон уменьшался. А так на учебе это в целом не отразилось. (Женщина, экономический университет, официант-кассир)

Заключение

Исследование показало, что потребность в трудоустройстве у студентов вузов существует. В среднем каждый второй студент имеет оплачиваемую работу, и с каждым курсом обучения доля студентов, совмещающих эти две роли, увеличивается. Вероятно, интервенции в этой сфере должны быть направлены на снижение вреда от существующих между двумя сферами противоречий и повышение эффективности от их совмещения.

Наше исследование показало, что с большей вероятностью совмещают работу и учебу студенты, менее удовлетворенные вузом, профессией и условиями жизни. В то же время таких студентов характеризует более высокий уровень психологического благополучия. Совмещающие студенты чаще пропускают занятия, однако имеют сходные с другими студентами показатели успеваемости. Таким образом, само по себе совмещение работы и учебы не связано однозначно с какими-либо выраженными негативными исходами для студентов.

Между работой и учебой могут быть как отношения конфликта, так и отношения фасилитации, соотношение которых различается у разных групп студентов. Так, конфликт более характерен для учащихся младших курсов и для женщин. Среди мужчин же наблюдается более низкий уровень конфликта и более высокий уровень фасилитации при сходных характеристиках работы. Подобная взаимосвязь ранее не была описана в зарубежных исследованиях. Возможно, мужчины могут использовать более эффективные стратегии совмещения. Нельзя также исключить что работодатели и преподаватели по-разному относятся к совмещающим учебу и работу студентам. Данные гипотезы могут быть проверены в будущих работах по этой проблематике.

Количественный анализ подтвердил основную часть выдвинутых в теоретической модели взаимосвязей. Конфликт работы и учебы в наибольшей степени связан с таким объективным параметром, как рабочая нагрузка: чем больше часов студент посвящает работе, тем выше вероятность выраженного конфликта между двумя сферами. Отношения конфликта между работой и учебой связаны с более низкими показателями физического благополучия студента, а также более низкой посещаемостью занятий.

Фасилитация работы и учебы более характерна для случаев, когда работа связана с получаемой специальностью. Осознанность в выборе будущей специальности также связана с большей фасилитацией. Поэтому качественная и заблаговременная профориентационная работа со школьниками может быть не только одним из потенциально эффективных способов повышения качества обучения, но и снижения вреда от совмещения учебы с работой.

В тоже время ряд гипотез не нашли своего подтверждения. Так, конфликт между работой и учебной оказался не связан с большинством переменных, характеризующих отношение студента к обучению, а фасилитация этих двух сфер жизни напрямую не связана с социальной поддержкой, благополучием и с успеваемо-

стью — теми факторами, которые, как мы предполагали, являются позитивными факторами успешного совмещения.

Студенты используют различные стратегии совмещения обучения и трудовой деятельности, и в ряде случаев они позволяют студентам эффективно выполнять обе роли. Часть подобных стратегий может быть охарактеризована как стратегии самоменеджмента. В то же время они могут быть более (например, планирование) или менее (например, выполнение обязанностей за счет времени на сон и отдых) конструктивными. Помимо этого можно выделить группу институционально поддерживаемых стратегий, которые выражены в официальной или фактической поддержке работающих студентов вузом или работодателем. Поддержка студента может быть фактором конкурентного преимущества для работодателя: среди прочих студенты выберут того, кто предоставит им гибкий график и возможности для совмещения.

Официальная поддержка совмещения со стороны вуза — менее распространенное явление. Нам известно лишь об официальной возможности для студентов-медиков после 3 курса и получения сертификата, работать на половину ставки в больницах⁴ и таким образом совмещать обучение в вузе с трудоустройством. Тенденция сокращения ведущими вузами вечерней и заочной форм обучения, прежде распространенных форматов получения образования для работающих лиц, также будет препятствовать получению качественного образования теми студентами, для которых по каким-либо причинам работа представляет большую ценность, чем учеба. В то же время фасилитация совмещения с помощью неофициальных коррупционных механизмов в России очевидно широко распространена [Гезалова, Васильева, Дмитриева, 2017]. Отметим, что опыт переживания системой образования пандемии COVID-19 показал, что, по крайней мере для ряда специальностей, перевод части занятий в формат, не требующий физического присутствия студентов, вполне возможен.

Одним из вариантов подхода к удовлетворению студенческой потребности в совмещении учебы и работы является разработка образовательных программ, официально подразумевающих такую возможность, как в ситуации с медицинскими вузами. Такие инновации могут быть полезны для уплотнения связей между академической и профессиональной сферой, повышения качества образования, более плавного перехода со студенческой скамьи на рынок труда. Также подобные программы могут препятствовать выпадению из учебного процесса студентов, не имеющих достаточной финансовой поддержки со стороны семьи.

Можно выделить несколько направлений дальнейших исследований, которые позволят преодолеть ограничения представленной работы. Во-первых, данная работа построена на срезовых данных, что не позволяет говорить о каких-либо причинно-следственных связях. Следует отметить, что данное ограничение свойственно подавляющему большинству как российских, так и зарубежных работ

⁴ Приказ Минздрава России от 27.06.2016 N 419н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2016 N 42977).

по данной проблематике, поэтому, с учетом уже накопленных данных, проведение масштабного лонгитюдного исследования представляется наиболее актуальной задачей. Помимо прочего, данный тип исследований позволит также учесть те случаи, когда совмещение привело к отказу от одной из ролей (студента или работника). Включение в анализ студентов, обучающихся в российских регионах, а также в вузах с существенной специализацией (творческих, военных, медицинских и пр.) также будет способствовать расширению представлений об эффектах совмещения учебы и работы.

Во-вторых, представляется перспективным расширение ряда используемых в количественных исследованиях переменных. Одним из подобных направлений может стать формирование более дифференцированных показателей для измеряемых переменных (например, в отношении академической успешности, уровня дохода и отношения к обучению). еще одним направлением исследования могло бы стать изучение стратегий совмещения, используемых студентами. Сформулированная в рамках данной работы предварительная классификация стратегий может служить первым шагом для разработки подобного измерительного инструмента.

В-третьих, отсутствие в нашем исследовании связей между конфликтом и фасилитацией и наличием дополнительной третьей роли (супруга или родителя) связано, вероятно, с небольшим абсолютным числом состоящих в браке студентов и студентов-родителей. Отдельным ограничением исследования является существенное преобладание девушек в выборке. Увеличение выборки или заведомое включение в исследование большей доли семейных студентов и студентов-мужчин, возможно, приведет к иным содержательным результатам.

Список литературы (References)

- Басюк А. В., Польская А. И. Работающий студент // Бизнес-образование в экономике знаний. 2015. № 1. С. 5—7.
- Basyuk A. V., Polskaya A. I. (2015) Employed Students. *Business Education in the Economy of Knowledge*. No. 1. P. 5—7. (In Russ.)
- Гезалова А. М., Васильева А. В., Димитриева, Е. Н. Коррупция в высших учебных заведениях России // Экономические исследования и разработки. 2017. № 12. С. 140—150.
- Gezalova A. M., Vasilyeva A. V., Dimitrieva E. N (2017) Corruption in Higher Educational Institutions of Russia. *Economic Development Research Journal*. No. 12. P. 82—93. (In Russ.)
- Жуковская Л. В., Трошихина Е. Г. Шкала психологического благополучия К. Рифф // Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 2. С. 82—93.
- Zhukovskaya L. V., Troshikhina E. G. (2011) K. Ryff's Scale of Psychological Well-Being. *Psychological Journal*. Vol. 32. No. 2. P. 82—93. (In Russ.)
- Константиновский Д. Л., Чередниченко Г. А., Вознесенская Е. Д. Работающий студент: мотивы, реальность, проблемы. М.: ФИРО, 2009.
- Konstantinovskiy D. L., Cherednichenko G. A., Voznesenskaya E. D. (2009) Employed Students: Motives, Reality, Problems. Moscow: FIRO. (In Russ.)

Рощин С. Ю., Рудаков В. Н. Совмещение учебы и работы студентами российских вузов // Вопросы образования. 2014. № 2. С. 152—179. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-2-152-179>.

Roshchin S. Yu., Rudakov V. N. (2014) Combining Work and Study by Russian Higher Education Institution Students. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 2. P. 152—179. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-2-152-179>. (In Russ.)

Рудаков В. Н. Навыки и компетенции, приобретаемые студентами во время обучения в вузе: соответствие потребностям рынка труда // Мониторинг экономики образования. 2018. № 13 (79). URL: [https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470102/iam_13_2018\(79\).pdf](https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470102/iam_13_2018(79).pdf) (дата обращения: 04.09.2020).

Rudakov V. N. (2018) Skills and Competencies Acquired by Students during Their Studies at the University: In Accordance with the Needs of Labor Market. *Monitoring of Education Markets and Organizations*. No. 13 (79). URL: [https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470102/iam_13_2018\(79\).pdf](https://memo.hse.ru/data/2018/04/19/1150470102/iam_13_2018(79).pdf) (accessed: 04.09.2020). (In Russ.)

Янбарисова Д. М. Работа во время учебы в вузах Татарстана: влияет ли она на успеваемость? // Вопросы образования. 2014. № 1. С. 217—237.

Yanbarisova D. M. (2014) Combining Work and Study in Tatarstan Higher Education Institutions: How Academic Performance Is Affected? *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 1. P. 217—237. (In Russ.)

Babcock P., Marks M. (2011) The Falling Time Cost of College: Evidence from Half a Century of Time Use Data. *Review of Economics and Statistics*. Vol. 93. No. 2. P. 468—478. https://doi.org/10.1162/REST_a_00093.

Beerkens M., Mägi E., Lill L. (2011) University Studies as a Side Job: Causes and Consequences of Massive Student Employment in Estonia. *Higher Education*. Vol. 61. No. 6. P. 679—692. <https://doi.org/10.1007/s10734-010-9356-0>.

Broadbridge A., Swanson V. (2006) Managing Two Roles: A Theoretical Study of Students' Employment Whilst at University. *Community, Work and Family*. Vol. 9. No. 2. P. 159—179. <https://doi.org/10.1080/13668800600586878>.

Butler A. B. (2007) Job Characteristics and College Performance and Attitudes: A Model of Work-School Conflict and Facilitation. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 92. No. 2. P. 500—510. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.2.500>.

Cinamon R. G. (2016) Integrating Work and Study among Young Adults: Testing an Empirical Model. *Journal of Career Assessment*. Vol. 24. No. 3. P. 527—542. <https://doi.org/10.1177/1069072715599404>.

Creed P. A., French J., Hood M. (2015) Working While Studying at University: The Relationship between Work Benefits and Demands and Engagement and Well-Being. *Journal of Vocational Behavior*. Vol. 86. P. 48—57. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.002>.

Credé M., Niehorster S. (2012) Adjustment to College as Measured by the Student Adaptation to College Questionnaire: A Quantitative Review of Its Structure and

Relationships with Correlates and Consequences. *Educational Psychology Review*. Vol. 24. No. 1. P. 133—165. <https://doi.org/10.1007/s10648-011-9184-5>.

Darolia R. (2014) Working (and Studying) Day and Night: Heterogeneous Effects of Working on the Academic Performance of Full-Time and Part-Time Students. *Economics of Education Review*. Vol. 38. P. 38—50. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.10.004>.

Derous E., Ryan A. M. (2008) When Earning is Beneficial for Learning: The Relation of Employment and Leisure Activities to Academic Outcomes. *Journal of Vocational Behavior*. Vol. 73. No. 1. P. 118—131. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.02.003>.

Greenhaus J. H., Beutell N. J. (1985) Sources of Conflict between Work and Family Roles. *Academy of Management Review*. Vol. 10. No. 1. P. 76—88. <https://doi.org/10.5465/amr.1985.4277352>.

Greenhaus J. H., Powell G. N. (2006) When Work and Family are Allies: A Theory of Work-Family Enrichment. *Academy of Management Review*. Vol. 31. No. 1. P. 72—92. <https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379625>.

Kocalevent R. D., Berg L., Beutel M. E., Hinz A., Zenger M., Härter M., Nater U., Brähler E. (2018) Social Support in the General Population: Standardization of the Oslo Social Support Scale (OSSS-3). *BMC Psychology*. Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.1186/s40359-018-0249-9>.

Markel K. S., Frone M. R. (1998) Job Characteristics, Work—School Conflict, and School Outcomes among Adolescents: Testing a Structural Model. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 83. No. 2. P. 277—287. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.83.2.277>.

Marks S. R. (1977) Multiple Roles and Role Strain: Some Notes on Human Energy, Time and Commitment. *American Sociological Review*. Vol. 42. No. 6. P. 921—936. <https://doi.org/10.2307/2094577>.

Mills A., Lingard H., McLaughlin P. (2009) Measuring Work-Study Engagement in Built Environment Undergraduate Education in Australia. In: *International Proceedings of the 45th Annual Conference in Association with CIB-W89 Building Education Research*. Gainesville, FL: Associated Schools of Construction. P. 1—10.

Owen M. S., Kavanagh P. S., Dollard M. F. (2018) An Integrated Model of Work—Study Conflict and Work—Study Facilitation. *Journal of Career Development*. Vol. 45. No. 5. P. 504—517. <https://doi.org/10.1177/0894845317720071>.

Park Y., Sprung J. M. (2013) Work—School Conflict and Health Outcomes: Beneficial Resources for Working College Students. *Journal of Occupational Health Psychology*. Vol. 18. No. 4. P. 384—394. <https://doi.org/10.1037/a0033614>.

Pietkiewicz I., Smith J. A. (2014) A Practical Guide to Using Interpretative Phenomenological Analysis in Qualitative Research Psychology. *Psychological Journal*. Vol. 20. No. 1. P. 7—14. <https://doi.org/10.14691/CPJ.20.1.7>.

Rothstein D. S. (2007) High School Employment and Youths' Academic Achievement. *Journal of Human Resources*. Vol. 42. No. 1. P. 194—213. <https://doi.org/10.3368/jhr.XLII.1.194>.

Sieber S. D. (1974) Toward a Theory of Role Accumulation. *American Sociological Review*. Vol. 39. No. 4. P. 567—578. <https://doi.org/10.2307/2094422>.

Smith J. A. (1995) Semi-Structured Interviewing and Qualitative Analysis. In: Smith J. A., Harré R., Langenhove L. (eds.) *Rethinking Methods in Psychology*. London: Sage. P. 9—26. <https://doi.org/10.4135/9781446221792.n2>.

Приложение 1

Ключевые характеристики выборки

	Все студенты (N = 948)		Работающие (N = 393)		Не работающие (N = 555)	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Возраст	20,68	4,69	21,72	4,73	19,66	2,85
Посещаемость	16,82	3,69	15,81	3,97	17,53	3,31
Фасилитация	—	—	7,8	4,17	—	—
Конфликт	—	—	9,4	4,67	—	—
Физическое благополучие	12,32	1,7	12,39	1,79	12,27	1,63
Психологическое благополучие	13,22	2,23	13,42	2,23	13,07	2,22
Социальные взаимоотношения	14,39	3,12	14,53	3,24	14,29	3,04
Благополучие окружающей среды	13,96	2,39	13,62	2,56	14,2	2,23
Социальная поддержка	9,33	1,89	9,51	1,9	9,2	1,87
Целеустремленность	60,83	11,67	61,66	11,76	60,24	11,58
Среднее количество отработанных часов в неделю	—	—	20,75	14,2	—	—

Характеристики выборки по социально-демографическим параметрам

% студентов	Все студенты	Работающие	Не работающие
Мужчины	12	13,5	10,8
Бюджет	60,3	68,2	54,8
Контракт	39,7	31,8	45,2
1 курс	27,2	13	37,3
2 курс	22,4	20,6	23,6
3 курс	18,9	20,6	17,6
4 курс	19,8	24,7	16,2
5 курс	0,4	0,5	0,4
1 курс магистратуры	6,4	11,7	2,7
2 курс магистратуры	4,3	7,6	2
Аспирантура	0,6	1,3	0,2
Отличная	21,9	26,5	18,7
Хорошая	60,2	56,2	63,1
Удовлетворительная	16,7	16,3	16,9
Неудовлетворительная	1,2	1	1,3

% студентов	Все студенты	Работающие	Не работающие
В настоящее время могу ни в чем себе не отказывать	2,6	1,5	3,4
В принципе, могу накопить на квартиру или автомобиль	2,6	3,3	2,2
Дохода хватает на нормальную жизнь, можно кое-что откладывать, в том числе, для приобретения вещей длительного пользования	57,5	52,7	60,9
На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды и обуви уже проблематична	31,2	34,6	28,6
Денежных средств иногда не хватает на самое необходимое	6,1	7,9	4,9
Холост	83	78	86,5
В незарегистрированном браке	10,5	11,5	9,9
В зарегистрированном браке	5,4	8,7	2,9
Разведен(а)	0,6	0,8	0,5
Вдова(ец)	0,5	1	0,2
Дети			
Есть/Нет	3/97	6/94	0,9/99,1
Место проживания до поступления			
СПб и ЛО	66,3	64,1	67,9
Иной город/область	33,7	35,9	32,1
Работа связана с учебой			
Да/Нет	-	51/49	-
Насколько выбранная вами профессия соответствовала Вашим профессиональным интересам?			
Осознанно стремился(лась) к получению этой профессии	32,4	32,8	32
Выбрал(а) одну из профессий той сферы, к которой испытывал интерес	50,3	46,3	53,2
Не имел(а) выраженных профессиональных интересов	11,8	13,3	10,8
Хотел(а) получить совсем другую профессию	5,5	7,6	4
Ваше представление о профессии за время обучения в вузе			
Не изменилось	69,3	65,4	72,1
Изменилось в лучшую сторону	18,7	20,6	17,3
Изменилось в худшую сторону	12	14	10,6
Если бы Вам пришлось заново выбирать место получения высшего образования, Вы бы предпочли			
Тот же вуз и тот же факультет (институт)	50	47,8	51,5
Тот же вуз и другой факультет (институт)	13,6	12	15
Тот же факультет (институт), но другой вуз	10,7	9,2	11,7
Другой вуз и другой факультет (институт)	21,7	26,2	18,6
Не стал(а) бы получать высшее образование	4	4,8	3,2

% студентов	Все студенты	Работающие	Не работающие
<i>После окончания обучения Вы планируете работать</i>			
В сфере педагогики по специальности, по которой обучаюсь	45,8	42,7	47,9
В сфере педагогики, но не по изучаемой специальности	10,9	13	9,4
По изучаемой специальности, но не в сфере педагогики	31,5	29,5	33
Не по изучаемой специальности и не в сфере педагогики	11,8	14,8	9,7

Приложение 2

Методики исследования

1. Шкалы фасилитации, конфликта и посещения

Итоговые баллы по каждой шкале рассчитываются как сумма баллов по каждому показателю. Минимальный балл — 4, максимальный балл 20.

Конфликт работы и учебы

Оцените степень своего согласия со следующими утверждениями...

От 1 — абсолютно не согласен до 5 — полностью согласен

1. Из-за работы я иду в университет уставшим.
2. Задачи и обязанности на работе мешают мне выполнять учебные задания.
3. Я меньше времени уделяю учебе и учебным заданиям из-за работы.
4. Моя работа отнимает время, которое я бы предпочел посвятить учебе и выполнению домашних заданий.

Батлер [Butler, 2007: 5] указал хорошую надежность шкалы (альфа Кронбаха = 0,88) и валидность (негативная связь с фасилитацией и посещением университета). Альфа в исследовании Крида и коллег [Creed, French, Hood, 2015: 4] равна 0,82. В настоящем исследовании составила 0,88.

Фасилитация работы и учебы

Оцените, как часто случается, что...

От 1 — никогда/очень редко до 5 — всегда/очень часто.

1. Задания, которые я выполняю на работе, помогают мне решать личные и практические задачи в университете.
2. Навыки, которые я использую на работе, бывают полезны для задач, которые я решаю в университете.
3. Консультация с кем-то на работе помогает решать проблемы в университете. Минимальный балл — 3, максимальный балл — 15.

В оригинальном исследовании альфа Кронбаха равна 0,85, а валидность подтверждается корреляцией с другими учебными конструктами, такими как удовлетворенность обучением [Butler, 2007, стр 5]. Альфа в исследовании Крида и коллег [Creed, French, Hood, 2015, стр.4] составила 0,73. В настоящем исследовании альфа равна 0,83.

Посещаемость

Как часто в этом семестре случилось так, что...

От 1 — никогда/очень редко до 5 — всегда/очень часто

1. Я прогуливал(а) несколько пар в неделю (обратный порядок).
 2. Я посещал(а) все пары в течение недели.
 3. Я пропускал(а) целый день пар без уважительной причины (обратный порядок).
 4. В течение недели я пропускал(а) все пары по конкретному предмету (обратный порядок).
- Минимальный балл — 4, максимальный балл 20.

Альфа Кронбаха равна 0,86, шкала показывает позитивную связь с фасилитацией и учебным усердием [Butler, 2007, стр.5]. На данных настоящего исследования альфа составила 0,66.

2. Уровень дохода

Доход респондентов измерялся через следующий показатель: «Какие возможности дает Ваш личный (или семейный) доход для удовлетворения Ваших потребностей (потребностей Вашей семьи)?». Использовалась шкала:

1. «Денежных средств иногда не хватает на самое необходимое»,
2. «На ежедневные расходы денег хватает, но покупка одежды и обуви уже проблематична»,
3. «Дохода хватает на нормальную жизнь, можно кое-что откладывать, в том числе, для приобретения вещей длительного пользования»,
4. «В принципе, могу накопить на квартиру или автомобиль»,
5. «В настоящее время могу ни в чем себе не отказывать».

3. Успеваемость

Успеваемость была оценена вопросом «Вашу успеваемость можно охарактеризовать как ...» самими респондентами по шкале «Неудовлетворительно», «Удовлетворительно», «Хорошо», «Отлично».

4. Среднее количество отработанных часов в неделю

Для измерения использовался открытый вопрос «Сколько в среднем часов в неделю Вы работаете?».

5. Общее благополучие студента

Для измерения благополучия учащихся был использован «Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL) — BREF»⁵, состоящий из 26 вопросов. Вопросы оценивались по пятибалльной шкале Ликерта. Опросник оценивает благополучие в следующих сферах жизни: физической — 7 вопросов (пример: «Достаточно ли у Вас сил для повседневной жизни?»), психологической — 6 вопросов (пример: «Насколько Вы удовлетворены жизнью?»), социальных взаимоотношений — 3 вопроса (пример: «Насколько Вы удовлетворены поддержкой, которую оказывают Вам друзья?»), окружающей среды — 9 вопросов (пример: «Насколько Вы удовлетворены своими жилищными условиями?»). Каждая из сфер была использована как отдельная переменная при построении моделей.

6. Социальная поддержка

Использовалась «Шкала социальной поддержки Осло (OSSS — 3)» [Kocalevent et al., 2018], состоящая из трех вопросов:

1) Сколько человек настолько близки Вам, что Вы можете рассчитывать на них в случае возникновения серьезных личных проблем?

Шкала: 1 — никто; 2 — 1 или 2; 3 — от 3 до 5; 4 — 6 и более.

⁵ ВОЗ | Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL-BREF). URL: https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/ru/ (дата обращения: 03.08.2020).

2) Насколько люди внимательны к тому, что Вы делаете?

Шкала: 1 — не проявляют ни внимания, ни интереса; 2 — недостаточно внимательны и заинтересованы; 3 — не знаю; 4 — проявляют некоторую заинтересованность; 5 — очень внимательны и заинтересованы;

3) Насколько легко Вам получить практическую помощь от соседей в случае необходимости?

Шкала: 1 — очень трудно, 2 — трудно; 3 — возможно; 4 — легко; 5 — очень легко.

Итоговые баллы по шкале рассчитываются как сумма баллов по каждому показателю. Минимальный балл — 3, максимальный балл 14.

7. Целеустремленность

Для измерения была применена субшкала «Цели в жизни» из опросника «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф [Жуковская, Трошихина, 2011], состоящая из 14 вопросов. Вопросы оценивались по шкале Ликерта от 1 — «полностью не согласен» до 6 — «полностью согласен». Примеры вопросов: «Я не имею четкого осознания того, чего я пытаюсь достичь в жизни», «Мне доставляет удовольствие строить планы на будущее и работать над их воплощением в жизнь».

8. Отношение к обучению и получаемой специальности

Четыре вопроса использовались для анализа отношения студентов к университету и получаемой профессии, все они включались в модели отдельно. Первый измерял соответствие выбранного направления обучения профессиональным предпочтениям на этапе поступления в вуз. Вопрос имел следующую формулировку «Вспомните период, когда вы выбирали университет для обучения. Насколько выбранная вами профессия соответствовала Вашим профессиональным интересам?», варианты ответа: 1 — осознанно стремился(лась) к получению этой профессии, 2 — выбрал(а) одну из профессий той сферы, к которой испытывал интерес, 3 — не имел(а) выраженных профессиональных интересов, 4 — хотел(а) получить совсем другую профессию.

Второй вопрос оценивал, изменились ли профессиональные предпочтения за пройденный период обучения «Ваше представление о профессии за время обучения в вузе...» 1 — не изменились, 2 — изменились в лучшую сторону, 3 — изменились в худшую сторону.

Третий вопрос выявлял соответствие получаемой специальности профессиональным предпочтениям. Он имел формулировку «После окончания обучения Вы планируете работать...» и четыре варианта ответа в разной комбинации, например, 1 — в сфере педагогики, по изучаемой специальности, 2 — в сфере педагогики, но не по изучаемой специальности.

Четвертый вопрос оценивал удовлетворенность обучением: 1) специальностью 2) местом обучения. Он звучал как «Если бы Вам пришлось заново выбирать место получения высшего образования, Вы бы предпочли...» и включал пять вариантов ответа, где пятый не стал(а) бы получать высшее образование, и четыре комбинации вуза и факультета (тот же или другой вуз, тот же или другой факультет).

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.810



Д. И. Колыгина, А. В. Капуза

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕНАМ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ ИКТ

Правильная ссылка на статью:

Колыгина Д. И., Капуза А. В. Сопротивление переменам среди учителей начальной школы как фактор использования ими ИКТ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 424—444. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.810>.

For citation:

Kolygina D. I., Kapuza A. V. (2020) Primary School Teachers' Resistance to Change as a Factor Behind Their Use of ICT. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 424—444. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.810>. (In Russ.)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕНАМ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК ФАКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ ИКТ

КОЛЫГИНА Дарья Игоревна — студентка второго курса магистратуры, стажер-исследователь Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: dariakolygina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8621-7689>

КАПУЗА Анастасия Васильевна — научный сотрудник Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: akapuz@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4982-5663>

Аннотация. Множество исследований информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании показывают, что для их успешного применения в образовательном процессе необходимо учитывать характеристики ключевых агентов образования — учителей. В данной работе исследуется связь между индивидуальными характеристиками учителей начальной школы, в частности сопротивления переменам, и использованием ими ИКТ в учебном процессе. Для этого были проанализированы данные опроса 347 учителей третьих классов. Проведенное структурное моделирование показало, что навыки ИКТ учителей положительно связаны с использованием ИКТ на уроках, при этом сопротивление переменам является

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' RESISTANCE TO CHANGE AS A FACTOR BEHIND THEIR USE OF ICT

*Daria I. KOLYGINA*¹ — Master's Degree second-year student; Intern Researcher at the International Laboratory for Evaluation of Practices and Innovations in Education of the Institute of Education
E-MAIL: dariakolygina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8621-7689>

*Anastasia V. KAPUZA*¹ — Researcher at the International Laboratory for Evaluation of Practices and Innovations in Education of the Institute of Education
E-MAIL: akapuz@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4982-5663>

¹ National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract. Many studies of information and communication technologies (ICT) in education show that in order to successfully apply them it is important to take into account the characteristics of the key agents in education – teachers. The work examines the relationships between individual characteristics of primary school teachers, in particular, their resistance to change, and their use of ICT in the teaching process. The authors analyze the data of a survey conducted among 347 third-grade teachers. Structured modelling shows that the teachers' ICT skills are positively related to the use of ICT tools in the classroom; however this relationship is mediated through resistance to change. At the same time, the level of resistance to change is negatively related to the use of ICT tools in class-

медиатором этой связи. В то же время уровень сопротивления переменам отрицательно связан с использованием ИКТ на уроках и никак не связан с использованием ИКТ в личных целях. Таким образом, даже обладая навыками ИКТ, учителя не стремятся применять их в классе и менять свою рутинную профессиональную деятельность. Это важно учитывать при внедрении инноваций в образовательный процесс, также необходимо обратить особое внимание на преодоление такого внутреннего барьера к инновациям, как сопротивление переменам среди учителей.

Ключевые слова: ИКТ, начальное образование, сопротивление переменам, учителя, структурное моделирование

Благодарность. Статья подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

Информационно-коммуникационные (ИКТ) технологии активно проникают в нашу жизнь, это касается и сферы образования. В исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об использовании цифровых технологий в образовании отмечается общемировой тренд, связанный с резким ростом доступности ИКТ в школах в 2003—2012 гг. [OECD, 2016]. Если в 2003 г. в школах разных стран в среднем не хватало компьютеров и программного обеспечения, то в 2012 г. директора большинства образовательных учреждений отмечали, что в их школах нет проблем с материально-техническими ресурсами. Так, по данным на 2012 г., в среднем по ОЭСР на одного ученика приходилось 0,2 компьютера [ibidem].

Считается, что в России идет третья волна информатизации школ [Королева, 2016]. Первая волна была связана с образовательными реформами 1980-х го-

rooms and has no relationship to their use for personal purposes. Thus, even teachers with ICT skills are still reluctant to use them as part of teaching and to make changes to their routine classroom activities. This should be paid attention to when bringing innovation to school. It is also important to stress that teachers' resistance to change as an inner barrier to innovations should be overcome.

Keywords: ICT, primary education, resistance to change, teachers, structural modeling

Acknowledgments. The article was prepared within the framework of the HSE University Basic Research Program and funded by the Russian Academic Excellence Project '5-100'.

дов, и основным ее результатом можно считать появление информатики в списке школьных предметов. Цели второй волны, начало которой пришлось на следующее десятилетие, изменялись от массовой компьютеризации школ до масштабного внедрения электронных дневников, учебников и т. д. Однако до сих пор не во всех учебных заведениях используются системы электронного учета, часто учителям приходится делать двойную работу и заполнять как электронные формы отчетности, так и привычные бумажные дневники и журналы [там же]. Эти первые 25 лет информатизации российских школ пронизывала концепция создания единого образовательного пространства, которое должно быть наполнено компетентными педагогическими кадрами [Цветкова, 2010].

Третья волна информатизации, начавшаяся в 2010-е годы, характеризуется противоречивыми особенностями. С одной стороны, переход к этому этапу, в отличие от предыдущих волн, инициирован не предписаниями уровня федеральных целевых государственных программ, а внешними обстоятельствами, которые продиктовало время и которые невозможно игнорировать: ввиду повсеместного распространения персональных компьютеров, увеличения скорости интернета, появления доступных мобильных устройств с широким функционалом почти каждый школьник обзавелся персональным гаджетом [Королева, 2016]. С другой стороны, к середине 2010-х годов часть уже имеющейся в школах материально-технической базы, появившейся в течение первой и второй волн, устарела, требовала обновления и не соответствовала сформировавшемуся запросу на наличие в школах устройств с примерно такими же техническими характеристиками, которыми обладают компьютеры учащихся [Лазарев, 2010].

На данный момент в России неоднозначная ситуация с обеспечением цифровыми образовательными ресурсами. С одной стороны, индекс изменений с 2003 по 2012 гг., основанный на данных PISA, в оснащенности школ образовательными ресурсами показывает, что Россия находится на четвертом месте [OECD, 2016]. Для России значение этого индекса равно 1,10, а среднее по ОЭСР — 0,36. С другой стороны, некоторые исследователи отмечают, что существует запрос на обновление материально-технической базы [Караваев, Баканов, Титлов, 2016]. Таким образом, опираясь на данные ОЭСР о школьных ресурсах, ситуацию с материально-технической базой в российских школах можно оценивать скорее положительно.

Такие же противоречия отмечаются в исследованиях использования учителями ИКТ в школе. Согласно результатам международного мониторинга TALIS-2013, российские учителя сообщают, что в их классах ученики намного чаще используют ИКТ, чем это делают дети в других странах [OECD, 2016, p. 74]. Также, по этим же данным опроса учителей, российские педагоги лидируют по показателю участия в различных формах повышения квалификации в сфере ИКТ [там же: 74]. Однако учителя могут быть склонны демонстрировать социальную желательность в опросах об используемых практиках в зависимости от важности исследования, и поэтому необходимо рассматривать информацию из различных источников [Капуза, Тюменева, 2016; Pipere, Lepik, 2013; Brackett et al., 2011; Карданова, Пономарева, 2014]. Так, по данным PISA-2012, значение индекса использования ИКТ в школах для России — -0,32, это означает, что имеющиеся ресурсы используются реже,

чем в среднем в странах ОЭСР [OECD, 2016]. Данный индекс был составлен на основании ответов учащихся на вопрос о том, как часто они использовали ИКТ для различных целей на уроках. Кроме того, несмотря на частое участие педагогов в обязательном повышении квалификации, в исследованиях было показано существование запроса российских учителей на развитие ИКТ-компетенций [Козина, Пинская, Пономарёва, 2016]. Отсюда следует, что работа с технологиями остается для большинства учителей профессиональным вызовом.

Возникает вопрос: что обуславливает такую разницу между достаточной технической оснащённостью школ и неоднозначными данными об использовании ИКТ?

Считается, что интенсификация использования ИКТ в образовании объясняется не только техническим оснащением школ. Теоретические модели, объясняющие внедрение и использование инноваций и технологий, включают в себя как внешние, так и внутренние факторы. С первыми связаны не только материальная база, но и возможность доступа к этой базе, наличие дополнительного времени, техническая поддержка и т. д., а со вторыми — установки, убеждения, практики и сопротивление переменам [см. Bingimlas, 2009]. Кроме того, исследования показывают, что внутренние факторы могут играть даже более значительную роль. Например, в работе [Drossel, Eickelmann, Gerick, 2017] выявлено, что ресурсные характеристики школы связаны с частотой использования ИКТ в наименьшей степени, а более важным фактором является отношение учителей к использованию ИКТ.

Среди внутренних факторов прежде всего выделяются навыки использования ИКТ и профессиональное обучение, которые положительно связаны с использованием учителями ИКТ [Chen, 2010; Petko, 2008; Christensen, Knezek, 2002; Knezek, Christensen, Fluke, 2003; Knezek et al., 2000; Levine, Donitsa-Schmidt, 1998; Mac Callum, Jeffrey, Kinshuk, 2014; Sipilä, 2010]. Существуют и другие аспекты, связанные с использованием ИКТ среди учителей: возраст учителя [Teo, 2008; Yaghi, 2001], уверенность в собственных силах [A Review of..., 2004] и сопротивление переменам или же открытость новому [A Review of..., 2004; Bingimlas, 2009].

Хотя отношение учителей к инновациям и присущее им сопротивление переменам часто рассматриваются как возможный барьер на пути интеграции ИКТ в образование [Watson, 1999; Earle, 2002; Schoepp, 2005; Cox et al., 1999; Gomes, 2005], роль этих характеристик остается малоизученной. С одной стороны, сопротивление переменам может быть всего лишь маркером других проблем, связанных с интеграцией технологий в обучение, например недостатка навыков работы с ИКТ или поддержки [Bingimlas, 2009]. В этом случае устранение таких первичных трудностей нивелирует связь сопротивления переменам учителя и использования им ИКТ в образовании. С другой стороны, сопротивление переменам может быть самостоятельной личностной характеристикой учителя [Oreg, 2003], опосредующей связь между его навыками и фактическим использованием ИКТ. В таком случае школьная среда предоставляет благоприятные условия для проявления склонности к рутине.

Российские исследования, раскрывающие тему использования ИКТ учителями, как правило, не учитывают личностные характеристики педагогов. В то же время противоречия между материальным обеспечением российских школ и использо-

ванием учителями ИКТ в образовании указывают на необходимость подобных исследований. Таким образом, целью настоящей работы является определение роли сопротивления переменам в связи между навыками использования ИКТ и использованием ИКТ на уроках. Для того чтобы продемонстрировать важность школьного контекста, мы также проверили роль сопротивления переменам в связи между навыками и использованием ИКТ и реального использования ИКТ учителями в личных целях.

Методология

Выборка

В работе использованы данные, собранные во время проведения совместного эксперимента НИУ ВШЭ и сервиса «Яндекс.Учебник» «Исследование эффективности использования цифровой образовательной платформы „Яндекс.Учебник“». В двух регионах России была сделана выборка школ, в которых, согласно отчетам, были третьи классы и не менее десяти компьютеров в кабинетах информатики. В эти школы были разосланы приглашения участвовать в исследовании прогресса третьеклассников по предметам (использование «Яндекс.Учебника» не было основанием для отбора и не было заявлено в цели исследования). В первой волне, до начала эксперимента, в 346 откликнувшихся на приглашение школах наряду с тестированием учащихся было проведено анкетирование их учителей. В анкетировании приняли участие 347 учителей третьих классов. Также была собрана дополнительная информация о материально-техническом обеспечении школ.

Переменные

В качестве зависимых переменных были выбраны шкалы «Использование ИКТ на уроках математики» (альфа Кронбаха = 0,61, содержит 6 суждений), и «Использование ИКТ в личных целях» (альфа Кронбаха = 0,75, содержит 11 суждений), основанные на соответствующих шкалах исследования ICILS¹ (см. Приложение 1, Приложение 2). Для задач анализа шкалы перекодированы в обратном порядке и стандартизированы.

В качестве тестируемых независимых переменных были использованы «Навыки использования ИКТ» (см. Приложение 3) и «Сопротивление переменам» (см. Приложение 4). Шкала «Навыки использования ИКТ» (альфа Кронбаха = 0,85) состоит из вопроса «Насколько хорошо Вы можете использовать ИКТ для следующих целей...» и девяти утверждений с вариантами ответа от 1 (не умею это делать и вряд ли смогу научиться) до 6 (отлично делаю сам(а) и могу объяснить другим). Для анализа шкала была стандартизирована.

Шкала «Сопротивление переменам» [Oreg, 2003] состоит из 15 утверждений с вопросом «Оцените высказывания по степени своего согласия с ними» и вариантами ответа от 1 (полностью не согласен) до 6 (полностью согласен). Альфа Кронбаха составила 0,79, для анализа шкала была стандартизирована.

¹ International Computer and Information Literacy Study (Международное исследование компьютерной и информационной грамотности).

Переменными контроля выступили возраст учителя, тип населенного пункта (*город — не город*), тип образовательного учреждения (*обычная школа — лицей/гимназия*), скорость интернета в образовательном учреждении (*Мбит/с., деленное на 10*), а также количество компьютеров, доступных для использования третьеклассниками. Описательная статистика по переменным представлена в таблице 1.

Таблица 1. *Описательная статистика*

Переменные	Количество наблюдений	Среднее	Стандартное отклонение
Использование ИКТ на уроках математики	347	0,00	1,00
Использование ИКТ в личных целях	347	0,00	1,00
Навыки использования ИКТ	347	0,00	1,00
Спротивление переменам	347	0,00	1,00
Возраст учителя	347	45	9,2
Тип населенного пункта (1 — город)	344	0,49	0,50
Тип населенного пункта (0 — не город)	344	0,51	0,50
Тип образовательного учреждения (1 — лицей/гимназия)	344	0,12	0,33
Тип образовательного учреждения (0 — обычная школа)	344	0,88	0,33
Скорость интернета (Мбит/с), делённая на 10	344	2,48	2,88
Количество компьютеров	343	11,06	9,90

Стратегия анализа

Для ответа на поставленный исследовательский вопрос применено структурное моделирование (SEM). Было построено несколько моделей для оценки роли сопротивления переменам учителя как медиатора в связи между навыками ИКТ и использованием ИКТ на уроках (см. рис. 1). В первой модели оценивалась связь между уровнем владения навыками ИКТ учителя и использованием им ИКТ на уроках математики с сопротивлением изменениям учителя в качестве медиатора. Во второй модели наоборот — уровень владения навыками ИКТ выступал медиатором связи между сопротивлением переменам учителя и его использованием ИКТ на уроках математики. Затем в каждую из этих моделей были добавлены контрольные переменные (третья и четвертая модель соответственно). Модели 5—8 — это те же четыре модели, но с использованием ИКТ учителем в личных целях в качестве зависимой переменной.

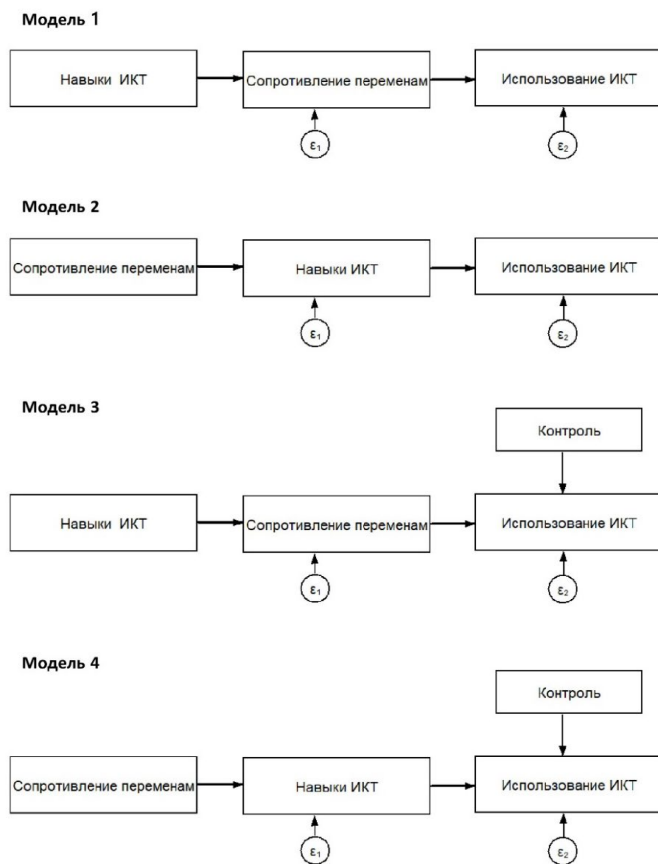


Рис. 1. Используемые структурные модели

Для каждой из зависимых переменных было проведено сравнение моделей. Для общей оценки модели были использованы индексы соответствия модели: root mean square error of approximation (RMSEA), standardized root mean square residuals (SRMR), приемлемые значения которых должны быть менее 0,1, а также comparative fit index (CFI) и Tucker Lewis index (TLI), ожидаемые значения которых больше 0,9. Для сравнения моделей были использованы информационные критерии AIC [Akaike, 1974] и BIC [Schwarz, 1978], так как модели были не вложенные (non-nested). Использование этих критериев не позволяет тестировать значимость различий между моделями, хотя существует подход, которого мы будем придерживаться далее, в котором уменьшение индекса BIC на 6 единиц считается значительным доказательством в пользу выбора этой модели [Raftery, 1995].

Результаты

Результаты показывают, что во всех тестируемых моделях навыки ИКТ учителей отрицательно связаны с уровнем их сопротивления переменам (см. табл. 2). При этом обе этих переменных значимо связаны с использованием учителями ИКТ

на уроках математики: навыки — положительно, сопротивление переменам — отрицательно. Значимость и направление связи не меняются в зависимости от проверяемого медиатора и сохраняются при контроле характеристик школы и учителя. Что касается самих характеристик, то важно отметить, что материально-техническое оснащение не играет той важной роли для использования ИКТ на уроках математики, которую следовало бы ожидать: количество компьютеров, доступное для использования учениками класса, в котором преподает учитель, незначимо связано с использованием ИКТ на уроках, а скорость интернета показывает небольшую, но значимо отрицательную связь. В то же время учителя в городских школах используют практики, задействующие ИКТ на уроках, значительно чаще, чем в негородских, а с типом школы использование ИКТ не связано. Важно также отметить, что возраст учителя также не связан с его практикой использования ИКТ — по крайней мере, при контроле его навыков и сопротивления переменам.

Таблица 2. Результаты структурного моделирования для моделей с использованием учителем ИКТ на уроках в качестве итоговой зависимой переменной

	Модель 1		Модель 2		Модель 3		Модель 4	
Зависимая переменная	Сопротивление переменам	Использование ИКТ на уроках	Навыки	Использование ИКТ на уроках	Сопротивление переменам	Использование ИКТ на уроках	Навыки	Использование ИКТ на уроках
Независимые переменные								
Навыки ИКТ	-0,26*** (0,05)	0,23*** (0,05)		0,23*** (0,05)	-0,26*** (0,05)	0,24*** (0,06)		0,24*** (0,06)
Сопротивление переменам		-0,12** (0,05)	-0,26*** (0,05)	-0,12** (0,05)		-0,13** (0,05)	-0,27*** (0,05)	-0,13** (0,05)
Возраст						0,00 (0,01)		0,00 (0,01)
Количество доступных компьютеров						-0,01 (0,01)		-0,01 (0,01)
Тип школы (гимназия)						0,06 (0,17)		0,06 (0,17)
Тип населенного пункта (город)						0,30** (0,12)		0,30** (0,12)
Скорость интернета						-0,05*** (0,02)		-0,05*** (0,02)

	Модель 1		Модель 2		Модель 3		Модель 4	
Зависимая переменная	Сопротивление переменам	Использование ИКТ на уроках	Навыки	Использование ИКТ на уроках	Сопротивление переменам	Использование ИКТ на уроках	Навыки	Использование ИКТ на уроках
Независимые переменные								
Константа	–0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–0,13	–0,01	–0,13
	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,05)	(0,27)	(0,05)	(0,27)
<i>N</i>	347	347	347	347	339	339	339	339

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки;

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$.

Так как модели 1 и 2 состоят из небольшого количества параметров, их оценка затруднена и поэтому мы не будем их рассматривать и сравнивать (см. табл. 3). Что же касается моделей с контрольными переменными, то данные лучше описывает модель 3, в которой сопротивление переменам является медиатором между навыками ИКТ и использованием на уроках. По сравнению с моделью 4, где навыки — медиатор связи между сопротивлением и использованием ИКТ, эта модель имеет меньшие показатели AIC и BIC, а остальные характеристики находятся в пределах или близко (как TLI) пороговых значений.

Таблица 3. Сравнение моделей с использованием учителем ИКТ на уроках в качестве итоговой зависимой переменной

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
RMSEA	0	0	0,049	0,124
SRMR	0,113	0	0,034	0,048
CFI	1	1	0,935	0,691
TLI	1	1	0,831	0,197
AIC	2912,417	2912,417	10041,116	10063,305
BIC	2939,363	2939,363	10087,028	10109,217

В отличие от использования ИКТ на уроках, частота использования учителями ИКТ в личных целях никак не связана с сопротивлением учителя переменам (см. табл. 4). В то же время навыки связаны с частотой использования даже немного сильнее, чем в предыдущих моделях. Из контекстных характеристик единственной значимой становится возраст преподавателя — даже при контроле уровня навыков более старшие учителя менее склонны пользоваться ИКТ в личных целях.

Таблица 4. Результаты структурного моделирования для моделей с использованием учителем ИКТ в личных целях в качестве итоговой зависимой переменной

	Модель 5		Модель 6		Модель 7		Модель 8	
Зависимая переменная	Сопротивление переменам	Использование ИКТ в личных целях	Навыки	Использование ИКТ в личных целях	Сопротивление переменам	Использование ИКТ	Навыки	Использование ИКТ в личных целях
Независимые переменные								
Навыки	−0,26*** (0,05)	0,36*** (0,05)		0,36*** (0,05)	−0,26*** (0,05)	0,33*** (0,05)		0,33*** (0,05)
Сопротивление переменам		−0,02 (0,05)	−0,26*** (0,05)	−0,02 (0,05)		−0,04 (0,05)	−0,27*** (0,05)	−0,04 (0,05)
Возраст						−0,01** (0,01)		−0,01** (0,01)
Количество доступных компьютеров						0,00 (0,01)		0,00 (0,01)
Тип школы (гимназия)						−0,09 (0,16)		−0,09 (0,16)
Тип населенного пункта (город)						0,09 (0,11)		0,09 (0,11)
Скорость интернета						0,02 (0,02)		0,02 (0,02)
Константа	−0,00 (0,05)	0,00 (0,05)	0,00 (0,05)	0,00 (0,05)	0,00 (0,05)	0,46* (0,26)	−0,01 (0,05)	0,46* (0,26)
N	347	347	347	347	339	339	339	339

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки;

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$.

Даже учитывая незначимость связи сопротивления переменам и использования учителем ИКТ в личных целях, существуют различия в моделях (см. табл. 5). Моделью с лучшими показателями — так же, как и в случае с использованием ИКТ на уроках математики в качестве зависимой переменной, — является модель 7 с сопротивлением переменам в качестве медиатора. Другими словами, даже для использования ИКТ в личных целях представляется важным учитывать такую индивидуальную характеристику учителя, как сопротивление переменам.

Таблица 5. Сравнение моделей с использованием учителем ИКТ в личных целях в качестве итоговой зависимой переменной

	Модель 5	Модель 6	Модель 7	Модель 8
RMSEA	0	0	0,049	0,124
SRMR	0	0	0,034	0,05
CFI	1	1	0,948	0,738
TLI	1	1	0,864	0,318
AIC	2891,837	2891,837	10022,594	10044,783
BIC	2918,782	2918,782	10068,506	10090,695

Выводы

Настоящее исследование, посвященное использованию учителями ИКТ на уроках математики, продемонстрировало, что сопротивление переменам является фактором, достаточно хорошо объясняющим связь между имеющимися у учителей навыками ИКТ и их фактическим использованием в образовательном процессе. Даже обладая высоким уровнем навыков использования ИКТ, учителя не стремятся их применять на работе, меняя при этом привычный процесс обучения.

В то же время для использования приобретенных навыков ИКТ в личных целях такая черта учителей, как сопротивление переменам, не становится барьером. Можно предположить, что в личных целях учителя сами определяют степень комфорта (интенсивности) использования тех или иных нововведений, и такое использование имеет низкую рутинизацию. Образовательный же процесс для них — набор крайне рутинных практик, и изменить их гораздо сложнее вследствие высоких требований к результатам, для достижения которых в настоящее время не требуется никаких значительных изменений.

Крайне важно отметить, что в настоящем исследовании не удалось выявить значимость материально-технического обеспечения школы для интенсивности использования учителем ИКТ на уроках. Для образовательной политики это может означать, что вложения в увеличение количества быстроустареваяющих технических средств в школе, так и в повышение квалификации учителей (по крайней мере в том формате, в котором оно происходит в настоящее время) достигли своего предела, и для интенсификации информатизации важно воздействовать на другие факторы. Как уже было отмечено, более актуальной видится проблема качественного обновления, актуализации и модернизации существующей материально-технической базы для повышения возможностей ее использования и удовлетворения потребности учителей в менее формальном и более практико-ориентированном повышении квалификации [Караваев и др., 2016, Агранович и др., 2016].

Из других потенциальных барьеров, которые ранее исследователи выделяли в качестве факторов использования ИКТ в учебных целях, значимым оказался

только тип населенного пункта — в городах учителя значительно чаще используют различные цифровые средства. В то же время возраст учителя, который показывал отрицательную связь в исследованиях [Teo, 2008; Yaghi, 2001], при контроле склонности учителя к рутине никак не связан с использованием им ИКТ на уроках, а с использованием в личных целях — очень слабо, хотя и отрицательно.

Таким образом, настоящая работа поддерживает подход к рассмотрению сопротивления переменам как к личностной характеристике учителя, играющей самостоятельную роль во внедрении различных изменений в образовании [Oreg, 2003]. При реализации образовательных политик необходимо не только проводить переобучение учителей, но и оставлять пространство для применения полученных навыков, делая изменения более мягкими и комфортными для внедрения. Например, устанавливая сроки перехода, когда учитель может больше времени посвятить работе с новыми технологиями в ущерб остальной своей деятельности, и осуществлять практическую методологическую поддержку на местах, как, например, происходит при внедрении различных бизнес-систем, таких как 1С и SAP. Кроме того, может быть полезно включить успешность внедрения различных инновационных технологий в систему внешней оценки деятельности преподавателей.

Список литературы (References)

Капуза А. В., Тюменева Ю. А. Надежность и структура шкалы социальной желательности TALIS: оценка в рамках современной теории тестирования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 6. С. 14—29. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.6.02>.

Kapuz A. V., Tyumeneva Yu. A. (2016) Reliability and Dimensionality of the TALIS Scale of Social Desirability: Evidence from the Item Response Theory. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 14—29. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.6.02>. (In Russ.)

Караваев А. В., Баканов М. В., Титлов А. Ю. Проблема материально-технического реформирования современного российского образования в контексте его качества // Образовательное пространство детства: исторический опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. статей и материалов / под общ. ред. О. Б. Широких. Коломна: ГСГУ, 2016. С. 190—194.

Karavaev A. V., Bakanov M. V., Titlov A. Yu. (2016) The Problem of Logistical Aspect of Quality of Modern Russian Educational System Reform. In: Shirokikh O. B. (ed.) *Educational Society of Childhood: Historical Experience, Problems, Perspectives*. Kolomna: State Social and Humanitarian University. P. 190—194. (In Russ.)

Карданова Е. Ю., Пономарева А. А. Исследование убеждений и представлений учителей математики об обучении математике в основной школе // Качество образования в Евразии. 2014. № 2. С. 115—130.

Kardanova E. Yu., Ponomareva A. A. (2014) Comparative Study on Mathematics Teachers' Beliefs and Practices in Secondary School. *Education Quality in Eurasia*. No. 2. P. 115—130. (In Russ.)

Козина Н. С., Пинская М. А., Пономарёва А. А. Профессиональное развитие учителей // Российские учителя в свете исследовательских данных: коллективная монография / отв. ред. И. Д. Фрумин, В. А. Болотов, С. Г. Косарецкий, М. Карной. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. С. 127—149.

Kozina N. S., Pinskaya M. A., Ponomareva A. A. (2016) Professional Development of Teachers. In: *Russian Teachers in a View of Research Data*. Moscow: Higher School of Economics Publishing House. P. 127—149. (In Russ.)

Королева Д. О. Всегда онлайн: использование мобильных технологий и социальных сетей современными подростками дома и в школе // Вопросы образования. 2016. № 1. С. 205—224.

Koroleva D. O. (2016) Always Online: Using Mobile Technology and Social Media at Home and at School by Modern Teenagers. *Educational Studies*. No. 1. P. 205—224. (In Russ.)

Лазарев В. С. О национальной инновационной системе в образовании и задачах научного обеспечения ее развития // Проблемы современного образования. 2010. № 5. С. 3—12.

Lazarev V. S. (2010) About National Innovative System in Education and Tasks of Scientific Assurance of Its Development. *Problems of Modern Education*. No. 5. P. 3—12. (In Russ.)

Цветкова М. С. 25 лет информатизации российских школ // Современные наукоемкие технологии. № 12. 2010. С. 82—83.

Tsvetkova M. S. (2010) 25 Years of Informatization of Russian Schools. *Modern High Technologies*. No. 12. P. 82—83. (In Russ.)

A Review of the Research Literature on Barriers to the Uptake of ICT by Teachers (2004) Coventry: BECTA ICT Research. URL: <http://dera.ioe.ac.uk/id/eprint/1603>.

Akaike H. (1974) A New Look at the Statistical Model Identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*. Vol. 19. No. 6. P. 716—723. <https://doi.org/10.1109/tac.1974.1100705>.

Bingimlas K. A. (2009) Barriers to the Successful Integration of ICT in Teaching and Learning Environments: A Review of the Literature. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*. Vol. 5. No. 3. P. 235—245. <https://doi.org/10.12973/ejmste/75275>.

Brackett M. A., Reyes M. R., Rivers S. E., Elbertson N. A., Salovey P. (2012) Assessing Teachers' Beliefs about Social and Emotional Learning. *Journal of Psychoeducational Assessment*. Vol. 30. No. 3. P. 219—236. <https://doi.org/10.1177/0734282911424879>.

Chen R. (2010) Investigating Models for Preservice Teachers' Use of Technology to Support Student-Centered Learning. *Computers & Education*. Vol. 55. No. 1. P. 32—42. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.11.015>.

Christensen R., Knezek G. (2001) Instruments for Assessing the Impact of Technology in Education. *Computers in the Schools*. Vol. 18. No. 2—3. P. 5—25. https://doi.org/10.1300/J025v18n02_02.

Cox M., Preston C., Cox K. (1999) What Factors Support or Prevent Teachers from Using ICT in Their Classrooms? Paper Presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton, September 2—5. URL: <https://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001304.htm> (accessed: 04.09.2020).

Drossel K., Eickelmann B., Gerick J. (2017) Predictors of Teachers' Use of ICT in School — the Relevance of School Characteristics, Teachers' Attitudes and Teacher Collaboration. *Education and Information Technologies*. Vol. 22. No. 2. P. 551—573. <https://doi.org/10.1007/s10639-016-9476-y>.

Earle R. S. (2002) The Integration of Instructional Technology into Public Education: Promises and Challenges. *ET Magazine*. Vol. 42. No. 1. P. 5—13.

Gomes C. (2005) Integration of ICT in Science Teaching: A Study Performed in Azores, Portugal. Recent Research Developments in Learning Technologies.

Knezek G., Christensen R., Fluke R. (2003) Testing a Will, Skill, Tool Model of Technology Integration. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Chicago, IL, 21—25 April. Chicago, IL. 21—25 April.

Knezek G., Christensen R., Hancock R., Shoho A. (2000) Toward a Structural Model of Technology Integration. Paper Presented at the Annual Hawai'i Educational Research Association Conference, University of Hawaii, Honolulu, HI, 12 February. Honolulu, HI. 12 February.

Levine T., Donitsa-Schmidt S. (1998) Computer Use, Confidence, Attitudes, and Knowledge: A Causal Analysis. *Computers in Human Behavior*. Vol. 14. No. 1. P. 125—146. [https://doi.org/10.1016/S0747-5632\(97\)00036-8](https://doi.org/10.1016/S0747-5632(97)00036-8).

Mac Callum K., Jeffrey L., Kinshuk (2014) Factors Impacting Teachers' Adoption of Mobile Learning. *Journal of Information Technology Education: Research*. Vol. 13. P. 141—162. <https://doi.org/10.28945/1970>.

OECD (2016) Digital Technologies in Education. Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264265097-en>.

Oreg S. (2003) Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 88. No. 4. P. 680—693. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.4.680>.

Petko D. (2008) Oversold — Underused Revisited: Factors Influencing Computer Use in Swiss Classrooms. In: Zumbach J., Schwartz N., Seufert T., Kester L. (eds.). *Beyond Knowledge: The Legacy of Competence. Meaningful Computer-based Learning Environments*. Dordrecht: Springer. P. 121—122. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8827-8_18.

Pipere A., Lepik M. (2013) Job Satisfaction, Beliefs and Instructional Practice: The Case of Latvian and Estonian Mathematics Teachers. *Electronic Journal of Research*

in Educational Psychology. Vol. 11. No. 1. P. 167—192. <https://doi.org/10.25115/EJREP.V11I29.1562>.

Raftery A. E. (1995) Bayesian Model Selection in Social Research. *Sociological Methodology*. Vol. 25. P. 111—163. <https://doi.org/10.2307/271063>.

Schoepp K. (2005) Barriers to Technology Integration in a Technology-Rich Environment. *Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives*. Vol. 2. No. 1. P. 1—24.

Schwarz G. (1978) Estimating the Dimension of a Model. *Annals of Statistics*. Vol. 6. No. 2. P. 461—464. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344136>.

Sipilä K. (2010) The Impact of Laptop Provision on Teacher Attitudes Towards ICT. *Technology, Pedagogy and Education*. Vol. 19. No. 1. P. 3—16. <https://doi.org/10.1080/14759390903579257>.

Teo T. (2008) Pre-Service Teachers' Attitudes Towards Computer Use: A Singapore Survey. *Australian Journal of Educational Technology*. Vol. 24. No. 4. P. 413—424. <https://doi.org/10.14742/ajet.1201>.

Watson G. (1999) Barriers to the Integration of the Internet into Teaching and Learning: Professional Development. Paper Presented at the Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies, Singapore, March 1—5. Singapore. March.

Yaghi H. M. (2001) Subject Matter as a Factor in Educational Computing by Teachers in International Settings. *Journal of Educational Computing Research*. Vol. 24. No. 2. P. 139—154. <https://doi.org/10.2190/9YWV-DDUL-7G4F-6QVX>.

Приложение 1. Использование ИКТ в личных целях

Как часто Вы используете компьютер, смартфон или планшет для следующих целей?

Выберите один вариант ответа в каждой строке

	Каждый день или почти каждый день	1—2 раза в неделю	1—2 раза в месяц	Никогда или почти никогда
	1	2	3	4
Ищу в интернете информацию о местах, куда можно сходить	(46,11%)	(26,94%)	(13,26%)	(14,70%)
2) Читаю в интернете про вещи, которые мне хочется купить	(49,57%)	(37,18%)	(10,09%)	(3,17%)
3) Читаю новости в интернете	(8,36%)	(12,97%)	(28,82%)	(49,86%)
4) Ищу в интернете информацию про то, что мне интересно	(1,73%)	(9,51%)	(35,16%)	(53,60%)
5) Смотрю видео в интернете, чтобы научиться что-то делать	(10,09%)	(31,12%)	(40,50%)	(17,29%)
6) Играю в игры	(87,32%)	(6,92%)	(3,75%)	(2,02%)
7) Ищу и слушаю музыку в Интернете	(35,16%)	(33,14%)	(23,92%)	(7,78%)
8) Смотрю фильмы или сериалы онлайн	(50,72%)	(31,70%)	(14,99%)	(2,59%)
9) Провожу время в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.)	(23,63%)	(23,05%)	(32,56%)	(20,75%)
10) Пишу заметки (на сайтах, в блоге, в пабликах и др.)	(59,94%)	(28,82%)	(8,07%)	(3,17%)
11) Работаю с почтой	(3,17%)	(4,90%)	(18,16%)	(73,78%)

Примечание. В скобках указано процентное распределение ответов респондентов.

Приложение 2. Использование ИКТ на уроках

Как часто в этом учебном году Вы делаете следующее для тестируемого класса?

Выберите один вариант ответа в каждой строке

	Каждый день или почти каж- дый день	1—2 раза в неделю	1—2 раза в месяц	Никогда или почти никогда
	1	2	3	4
А. ПО МАТЕМАТИКЕ				
Готовите презентации для уроков	(2,02%)	(16,43%)	(51,59%)	(29,97%)
Ищете в Интернете задания для подготовки уроков	(1,44%)	(5,48%)	(44,09%)	(48,99%)
Даёте учащимся домашние задания на онлайн-платформах (Учи.ру, ЯКласс и т. д.)	(49,57%)	(33,43%)	(13,26%)	(3,75%)
Даёте учащимся в ходе урока задания на онлайн-платформах (Учи.ру, ЯКласс и т. д.)	(65,42%)	(25,65%)	(7,49%)	(1,44%)
Проводите контрольные и проверочные работы на онлайн-платформах (Учи.ру, ЯКласс и т. д.)	(78,10%)	(19,02%)	(2,59%)	(0,29%)
Используете задания электронных учебников на уроках или в домашней работе	(60,81%)	(18,16%)	(15,56%)	(5,48%)
Б. ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ				
Готовите презентации для уроков	(1,73%)	(16,43%)	(52,74%)	(29,11%)
Ищете в Интернете задания для подготовки уроков	(1,44%)	(6,92%)	(40,06%)	(51,59%)
Даёте учащимся домашние задания на онлайн-платформах (Учи.ру, ЯКласс и т. д.)	(52,45%)	(31,70%)	(13,26%)	(2,59%)
Даёте учащимся в ходе урока задания на онлайн-платформах (Учи.ру, ЯКласс и т. д.)	(66,28%)	(26,22%)	(6,63%)	(0,86%)
Проводите контрольные и проверочные работы на онлайн-платформах (Учи.ру, ЯКласс и т. д.)	(77,81%)	(18,73%)	(3,17%)	(0,29%)
Используете задания электронных учебников на уроках или в домашней работе	(61,67%)	(17,87%)	(15,27%)	(5,19%)

Примечание. В скобках указано процентное распределение ответов респондентов.

Приложение 3. Развитость навыков ИКТ

Насколько хорошо Вы можете использовать ИКТ для следующих целей?

Выберите один вариант ответа в каждой строке

	1 Не умею это делать и вряд ли смогу научиться	2	3	4	5	6 Отлично делаю сам(а) и могу объяснить другим
Поиск в интернете ресурсов для преподавателей	(0,00%)	(1,44%)	(5,48%)	(17,00%)	(25,36%)	(50,36%)
2) Общение на форумах или социальных платформах (например, wiki или блоги)	(10,66%)	(23,05%)	(21,33%)	(16,14%)	(14,41%)	(14,41%)
3) Создание презентаций с простой анимацией (например, в PowerPoint)	(1,15%)	(3,46%)	(2,31%)	(12,10%)	(21,61%)	(59,37%)
4) Онлайн-покупки или платежи	(9,51%)	(15,85%)	(12,97%)	(12,10%)	(20,17%)	(29,39%)
5) Подготовка уроков, требующих использования ИКТ учениками	(0,86%)	(2,02%)	(5,76%)	(13,83%)	(31,99%)	(45,53%)
6) Использование таблиц (например, в Microsoft Excel) для записи или анализа данных	(2,02%)	(5,19%)	(11,82%)	(19,88%)	(31,12%)	(29,97%)
7) Оценка успеваемости учащихся	(0,58%)	(1,73%)	(3,46%)	(15,85%)	(31,99%)	(46,40%)
8) Совместная работа с другими пользователями в онлайн-сервисах (например, Google Docs, OneDrive)	(12,97%)	(21,33%)	(22,48%)	(15,85%)	(15,85%)	(11,53%)
9) Установка программ на компьютер	(20,46%)	(19,31%)	(17,00%)	(17,58%)	(14,99%)	(10,66%)

Примечание. В скобках указано процентное распределение ответов респондентов.

Приложение 4. Сопротивление переменам

Оцените высказывания по степени своего согласия с ними.

**В каждой строке выберите один ответ от 1 (категорически не согласен) до 6 (полностью согласен).
В соответствующей ячейке строки обведите кружок**

	1 (категорически не согласен)	2	3	4	5	6 (полностью согласен)
1) Я бы скорее предпочел испытывать скуку, чем пережить сильное удивление от непредвиденного события	(43,52%)	(16,71%)	(17,29%)	(13,26%)	(5,48%)	(3,75%)
*2) В целом, изменения — это хорошо	(0,58%)	(1,73%)	(9,80%)	(23,63%)	(32,56%)	(31,70%)
3) Если бы у меня был выбор между днем, наполненным привычными делами, и днем, полным непредвиденных событий, я бы однозначно предпочел первое	(6,92%)	(13,26%)	(27,09%)	(22,19%)	(14,99%)	(15,56%)
*4) Всякий раз, когда у меня устанавливается рутинный (привычный) образ жизни, я ищу способ привнести изменения в мою жизнь	(1,44%)	(6,92%)	(16,14%)	(22,77%)	(27,67%)	(25,07%)
5) Я предпочитаю стабильный распорядок дня изменениям в моей жизни,	(27,38%)	(37,75%)	(21,33%)	(8,36%)	(3,75%)	(1,44%)
6) В основном я негативно оцениваю различные изменения	(3,46%)	(7,49%)	(20,75%)	(22,19%)	(26,51%)	(19,60%)
7) Мне больше нравится заниматься знакомыми делами, чем пробовать что-то новое	(23,34%)	(31,70%)	(23,92%)	(11,24%)	(6,63%)	(3,17%)
*8) Мне нравится чувство новизны и изменений в моем привычном образе жизни	(17,87%)	(23,92%)	(21,61%)	(20,46%)	(10,37%)	(5,76%)

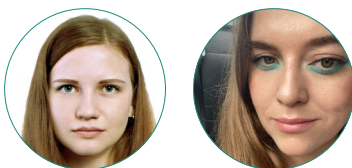
	1 (категорически не согласен)	2	3	4	5	6 (полностью согласен)
9) Когда меняются планы — это настоящая проблема для меня	(2,31%)	(7,20%)	(19,88%)	(25,65%)	(27,09%)	(17,87%)
10) Когда меня вынуждают что-то изменить, я склонен сопротивляться этому, даже если думаю, что эти изменения к лучшему	(7,78%)	(22,77%)	(27,67%)	(20,75%)	(15,27%)	(5,76%)
11) Если я что-то спланировал, то вряд ли поменяю свои планы	(17,00%)	(23,34%)	(26,22%)	(13,26%)	(12,39%)	(7,78%)
12) Я часто чувствую себя некомфортно при изменении чего-либо, даже если изменения могут в перспективе улучшить мою жизнь	(19,60%)	(27,38%)	(22,77%)	(15,85%)	(8,93%)	(5,48%)
13) Мне нелегко менять свое мнение	(10,37%)	(22,77%)	(28,82%)	(21,04%)	(10,95%)	(6,05%)
*14) Я часто меняю свое мнение	(12,97%)	(31,12%)	(23,34%)	(18,44%)	(8,65%)	(5,48%)
15) Мои взгляды очень последовательны на протяжении долгого времени	(3,17%)	(9,22%)	(19,31%)	(29,39%)	(25,94%)	(12,97%)

Примечание. В скобках указано процентное распределение ответов респондентов;

* — обратные утверждения.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1599



Е. В. Быкова, Т. А. Чиркина

СВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК УЧИТЕЛЯ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ

Правильная ссылка на статью:

Быкова Е. В., Чиркина Т. А. Связь характеристик учителя с академической резильентностью учащихся // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 445—460. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1599>.

For citation:

Bykova E. V., Chirkina T. A. (2020) Relationship between Teacher's Characteristics and Academic Resilience among Students. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 445—460. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1599>. (In Russ.)

СВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК УЧИТЕЛЯ С АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ

БЫКОВА Елена Валерьевна — выпускница, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: ekars11@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-7760-6105>

ЧИРКИНА Татьяна Александровна — младший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: tchirkina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7719-3985>

Аннотация. Работа посвящена исследованию резильентных учащихся, то есть учащихся, которые вопреки низкому социально-экономическому положению демонстрируют высокие образовательные результаты. Мы изучаем отношения между учителями и учениками в школе, характеристиками учителя в связи с шансами стать резильентными для учеников. В работе используются данные лонгитюдного проекта «Траектории в образовании и профессии», включающего результаты опроса учащихся и учителей в рамках международных исследований TIMSS-2011 и PISA-2012. Поскольку в 2012 г. приоритетным направлением PISA была математическая грамотность, резильентность измерялась исходя из баллов, полученных по математике. Кроме того, в связи с этим в работе отдельно изучены взаимоотношения учащихся с учителем математики. В качестве метода статистического анализа использована логистическая регрессия с кластерной

RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER'S CHARACTERISTICS AND ACADEMIC RESILIENCE AMONG STUDENTS

*Elena V. BYKOVA*¹ — Graduate Student
E-MAIL: ekars11@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-7760-6105>

*Tatiana A. CHIRKINA*¹ — Junior Research Fellow at the Laboratory for University Development
E-MAIL: tchirkina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7719-3985>

¹ National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract. The paper examines student resilience, i.e. resilience in students who, despite poor social and economic situation, demonstrate high academic performance. The authors attempted to study the relationship between school teachers and students, characteristics of a teacher related to his/her chances to build student resilience. The study is based on the longitudinal project titled “Trajectories in Education and Careers” which includes the results of a survey among students and teachers as part of TIMSS-2011 and PISA-2012. As the PISA 2012 focus was mathematical literacy, the resilience was measured in terms of scores in mathematics. Thus, the paper also considers the relationships between a student and a mathematics teacher. The authors used logistic regression with cluster-based correction as a method of statistical analysis. The results show that student-teacher relationships are an important predictor for student academic performance. Howev-

коррекцией. Результаты показывают, что взаимоотношения с учителями являются важным предиктором образовательных результатов учащихся. При этом высокой успеваемости в большей степени способствует личный характер отношений с учителями, нежели атмосфера взаимоотношений между учащимися и учителями в целом. В отношениях с учителем математики для учащегося важно знать, чего от него ждет учитель математики, и понимать его. Также вероятность стать резильентным значимо выше в тех случаях, когда преподаватели слушают учащегося, относятся к нему справедливо и готовы оказать необходимую помощь. Кроме того, учащиеся в лицеях и гимназиях чаще становятся резильентными, чем учащиеся в обычных школах. Это можно объяснить, например, различиями в образовательных программах, особой атмосферой в лицеях и гимназиях, а также большей заинтересованностью в успехе учащихся и их родителей.

Ключевые слова: академическая резильентность, измерение академической резильентности, успеваемость учащихся, социально-экономическое положение и успеваемость

Благодарность. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 г.

Введение

Большое количество исследований демонстрирует связь между социально-экономическим положением (СЭП) учащегося и его академическими достижениями [Sirin, 2005; White, 1982; Caldas, Bankston, 1997]. Учащиеся из семей с высоким СЭП, как правило, показывают более высокие образовательные результаты [Bond, 1981; Chiu, Chow, 2015]. Однако существуют ученики, которые вопреки своему неблагоприятному СЭП достигают высоких результатов. Таких учащихся называют академически резильентными [OECD, 2018].

er personal character of relationships impacts academic performance positively to a greater extent than the atmosphere in student-teacher relationships in general. What is important for a student in his/her relationship with a mathematics teacher is to understand what the teacher expects from him/her. Chances to be resilient is higher when teachers listen to students, treat them fairly and are always there to help. In addition, students from a gymnasium or a lyceum (vocational school) are more likely to become resilient than students from common schools. This may be caused by different school curriculum, specific atmosphere in lyceums and gymnasiums, as well as parents' interest in children's performance.

Keywords: academic resilience, measuring academic resilience, student academic performance, student social and economic situation and performance

Acknowledgments. The study was part of HSE Basic Research Program (2020).

Исследования академической резильентности направлены на преодоление неравенства в образовании. Они важны, поскольку позволяют выделить факторы, связанные с высокими достижениями, которые не характерны для учащихся из семей с низким СЭП. Поддержка резильентных учащихся помогает сократить разрыв в образовательных результатах между учащимися с разным СЭП. Кроме того, резильентные учащиеся с большой вероятностью продолжают обучение в высшем учебном заведении и впоследствии становятся квалифицированными специалистами и занимают соответствующие должности [Causa, Johansson, 2009; OECD, 2018]. Все это в дальнейшем способствует социальной мобильности и повышению уровня жизни резильентных учащихся.

Факторы резильентности можно разделить на две категории: связанные с учащимися и связанные с образовательной организацией [Coronado-Hijón, 2017]. Характеристики учителя относятся к факторам второй группы. В таких случаях часто анализируются характеристики, связанные с отношениями учителей и учеников. Исследования показывают положительную связь между вероятностью стать резильентным и тем, насколько хорошо ладят ученик и учителя [Agasisti, Longobardi, 2014], насколько учитель уверен в успеваемости учащихся [Sandoval-Hernández, Białowolski, 2016; Erberber et al., 2015], справедливо ли отношение учителя к ученикам [Agasisti, Longobardi, 2017], а также какова степень поддержки со стороны учителя [Borman, Overman, 2004]. А. Клем и Дж. Коннелл показали, что успеваемость ученика можно повысить через изменение степени поддержки и вовлеченности учителя [Klem, Connell, 2004]. Отечественные исследователи отмечают роль в успеваемости стажа работы, наличия у учителя общей педагогики как специализации, предпочитаемых им типов заданий [Тюменева, Хавенсон, 2012], квалификационной категории [Пинская, Тимкова, Обухова, 2009; Ястребов и др., 2013], ожиданий по отношению к обучающимся [Пинская, Тимкова, Обухова, 2009].

Все перечисленные аспекты положительно связаны с высокой успеваемостью учащихся. Основная цель нашего исследования — изучить взаимосвязь характеристик учителей с резильентностью учащихся в исследовании PISA. Резильентность целесообразно изучать в контексте исследования «Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся» (PISA — Programme for International Student Assessment), поскольку оно предоставляет информацию о способности учащихся решать задачи, приближенные к реальной жизни, и не ограничивается школьной программой. Кроме того, учащиеся, демонстрирующие высокие результаты в PISA, чаще продолжают обучение в высших учебных заведениях и показывают высокую успеваемость во время обучения в них [OECD, 2018; Fischbach et al., 2013].

Настоящее исследование имеет ряд особенностей. Во-первых, мы выбрали характеристики, которые касаются отношений между учителем и учеником в школе. Несмотря на важность изучения академической резильентности, существует относительно небольшое число российских работ, посвященных этой теме [Пинская, Хавенсон, Чиркина, 2017; Пинская и др., 2017; Пинская и др., 2018]. В то же время, как было показано выше, именно характеристики учителей и их взаимодействие с учениками во многом определяют образовательные результаты.

Во-вторых, часть используемых данных была получена непосредственно от учителей в рамках лонгитюдного проекта «Траектории в образовании и профессии»¹. Дизайн PISA не предполагает проведение опроса учителей, в результате чего исследователи часто используют опосредованные источники информации об учителях, например опрос администрации, источники государственной статистики [Agasisti, Longobardi, 2017], что в свою очередь может не раскрывать в полной мере значимость учительских характеристик. Используя данные лонгитюдного исследования, мы можем восполнить недостаток исследований резильентности в связи с характеристиками учителей, измеренными напрямую.

В следующем разделе обсудим определение академической резильентности и способы выделения резильентных учащихся. После этого обратимся к исследованиям, посвященным изучению связи между образовательными результатами учеников и характеристиками учителей. Затем представим методологический раздел и результаты работы.

Понятие резильентности и подходы к ее измерению

В исследованиях образования изучается преимущественно академическая резильентность. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет академическую резильентность как характеристику учащихся, преуспевающих в школе, несмотря на то что они находятся в социально и экономически неблагоприятных условиях [OECD, 2013: 40]. Определение резильентности, используемое в контексте непосредственно исследований Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), также предлагается ОЭСР: академическая резильентность — это «способность пятнадцатилетних учащихся с неблагоприятным СЭП показывать в PISA определенные результаты (в отношении чтения, математики и естествознания), что способствует их социальной активности и позволяет реализовать возможность непрерывного обучения» [Agasisti et al., 2018: 4]. Большинство современных исследователей, изучающих академическую резильентность, придерживаются этого определения.

В рамках исследования PISA используется три метода определения принадлежности учащихся к категории резильентных: международный (резильентность определяется одинаково для всех стран), национальный (внутри определенной страны) и по ключевым навыкам. В первых двух подходах для выделения резильентных учащихся отбираются нижние 30% (или 25%) всех учащихся по индексу социального статуса, а среди них отбираются верхние 30% (или 25%) по академическим результатам. Эта процедура проводится либо для всех стран сразу (международный метод), либо для одной конкретной страны (национальный метод), в зависимости от целей дальнейшего анализа. При использовании метода ключевых навыков к резильентным относят учеников, которые, несмотря на низкое СЭП, достигают определенного уровня (уровня 3) по всем трем предметным областям исследования PISA [OECD, 2011: 22—25; OECD, 2018: 97—101].

Многие исследования, посвященные академической резильентности, для выделения категории резильентных учащихся используют подходы международных исследований PISA (например, [Önder, Uyar, 2018; Cheung et al., 2014]).

¹ Траектории в образовании и профессии // НИУ ВШЭ. URL: <https://trec.hse.ru/> (дата обращения: 12.08.2020).

Текущее исследование не предполагает сравнение России с другими странами, поэтому наилучшим вариантом для достижения поставленных целей представляется национальный способ измерения резильентности в PISA. Для обеспечения достаточного количества наблюдений выделяются верхние 30 % в качестве границы для отбора учащихся по успеваемости.

Связь характеристик учителей и высокой успеваемости учащихся

Важность характеристик учителей обусловлена в первую очередь ролью фигуры учителя для успеваемости ученика [Rockoff, 2004]. А. Клем и Дж. Коннелл исследовали учащихся из младшей и средней школы США и выяснили, что вовлеченность и поддержка учителей в значительной степени способствуют академическим успехам учащихся [Klem, Connell, 2004].

Исследование Ю. Тюменевой и Т. Хавенсон показало, что характер связей между характеристиками учителя и успешностью учащегося в исследовании TIMSS различается в зависимости от предметной области учителя [Тюменева, Хавенсон, 2012]. Среди формальных характеристик учителей положительный эффект на академические достижения был обнаружен только в отношении наличия общей педагогики как специализации для учителей физики. Для естественных наук также имеет большое значение опыт преподавателя, в то время как для математики большой стаж учителя снижает уровень достигнутых в TIMSS результатов.

Еще одной характеристикой, привлекающей внимание исследователей, является процент учителей различных категорий в школе. Г. Ястребов и коллеги, исследуя связь качества преподавательского состава и успехов учащихся в сдаче Единого государственного экзамена, выяснили, что результаты ЕГЭ по математике и русскому языку положительно коррелируют с долей учителей высшей категории в школе; по русскому языку — с долей учителей первой категории [Ястребов и др., 2013]. Кроме того, результаты ЕГЭ по математике отрицательно коррелируют с долей учителей-пенсионеров в школе.

Исследователей интересует не только доля учителей с разными квалификационными категориями, но и в целом соотношение количества учителей и учеников в школе. М. Барбер и М. Муршед исследовали 25 школьных систем мира (ОЭСР) [Барбер, Муршед, 2009]. Всеми странами ОЭСР были предприняты попытки повысить качество образования путем уменьшения количества учеников в классе и увеличением числа учителей. Однако лишь в редких случаях это привело к положительным результатам, а уровень преподавания, как отмечают авторы исследования, перекрывает все эффекты изменения соотношения «учитель — ученик». Авторы отмечают также, что «единственный способ улучшить результаты — это повысить качество преподавания» [Барбер, Муршед, 2009: 33].

Исследуя школы с различными результатами в Международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS-2006, М. Пинская, Т. Тимкова и О. Обухова пришли к выводу, что учителя, преподающие в школах с высокими результатами, отличаются профессиональным мастерством [Пинская, Тимкова, Обухова, 2009]. Такие учителя регулярно применяют на уроках положительную обратную связь. При этом в школах, показывающих более низкие результаты

в PIRLS-2006, работают учителя с заниженным уровнем ожиданий по отношению к обучающимся, также они не проводят регулярную работу с наиболее успевающими детьми.

В исследованиях академической успешности учащихся с низким СЭП и собственно резильентности затрагиваются вопросы значимости характеристик учителя, в том числе отражающих взаимоотношения учителя и ученика. В исследовании факторов резильентных школ М. Пинской и коллег [Пинская и др., 2018] выявлено, что для успеха учителя важна его способность пробудить интерес к предмету. По мнению самих учеников, важна не только способность и готовность учителя пробудить интерес к занятиям, но и способность интересно и профессионально преподнести учебный материал и в случае необходимости оказать ученику помощь.

Важность способности учителя помочь ученику и поддержать его подтверждается зарубежными работами. У. Ахмед и коллеги [Ahmed et al., 2018] показали, что поддержка и руководство со стороны учителей-предметников могут существенно помочь учащимся справляться с учебой, работой в классе и домашними заданиями. Авторы исследования отмечают также, что прямая поддержка и содействие со стороны учителей способствуют повышению уровня академической резильентности. Благодаря поддержке со стороны учителей учащиеся стремятся быть эффективнее в учебной деятельности и повышают свою активность в академической сфере.

В работе [Agasisti, Longobardi, 2014] приводятся данные о том, что почти все резильентные учащиеся находятся в хороших отношениях с учителями, то есть отношения с учителем способствуют повышению резильентности учащихся. Авторы исследования предполагают, что учителя резильентных учащихся больше общаются с ними по поводу возникающих трудностей и хорошо ладят с учениками.

Приведенные выше исследования позволяют заключить, что характеристики учителей потенциально могут привести к улучшению успеваемости учащихся, которые уже относятся к резильентным, а также к формированию академической резильентности у учащихся с низким СЭП, которые пока не относятся к этой категории [Önder, Uyar, 2018]. Поддержка со стороны учителей — ключевой компонент, представляющий школьный социальный капитал [Ngai, Cheung, Ngai, 2012], который особенно важен для учащихся с низким СЭП, испытывающих недостаток ресурсов дома [Пинская и др., 2018]. Выводы исследований факторов резильентности в перспективе могут быть использованы для улучшения не только академических, но и социально-экономических результатов учащихся, таких как выпуск из средней школы, поступление в вуз, получение высокооплачиваемой работы, а также сохранение физического и психического здоровья.

Методология

Данные

В работе используются данные проекта «Траектории в образовании и профессии». Исследование началось в 2011 г. с участия восьмиклассников в Международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2011 (4893 ученика, 210 школ, 229 классов, 222

учителя). При этом выборка строилась по кластерному типу, что предполагает опрос целого класса. В рамках данного исследования опрашивались и учителя математики, преподающие в этих классах. В 2012 г., в девятом классе, эти же учащиеся были опрошены в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA-2012 (4399 учеников, 208 школ, 227 классов). Таким образом, в работе используются данные национальной выборки школьников в восьмом и девятом классах, а также данные опросов учителей.

Переменные

В качестве образовательных достижений рассматриваются результаты учащихся по математике в PISA. Высокими считаются достижения, относящиеся к верхним 30 % распределения (538 баллов и выше).

В качестве индикатора социально-экономического положения используется профессиональный статус родителей [Хавенсон, 2016]. Данный показатель учитывает престижность профессии, уровень образования родителей и уровень оплаты труда в рамках профессии. Переменная является интервальной, высокие значения по которой говорят о престижности профессии, и наоборот [OECD, 2018: 177]. Учащиеся, которые относятся к нижним 30 % распределения данной переменной, были отнесены к группе с низким социально-экономическим положением.

В данном исследовании ученик определяется как резильентный, если он получил по математике балл, равный или превышающий 538, и относится к группе с низким социально-экономическим положением.

Для анализа были сконструированы четыре индекса. Первый касается отношений учащихся с большинством преподавателей в классе в целом и составлен на основании ответов учащихся на вопросы анкеты PISA. Второй индекс также основан на суждениях из анкеты учащегося PISA, но касается отношений конкретного ученика с преподавателями. Третий индекс — отношения ученика с преподавателем математики. Он составлен из суждений, включенных в анкету исследования TIMSS для учащегося. Четвертый индекс — выгорание учителя — отражает степень разочарованности учителя в своей работе, неудовлетворенность, утрату энтузиазма. Данные взяты из анкеты для учителей исследования TIMSS. На каждое из суждений учащиеся или учителя выражали степень согласия по 4-балльной шкале Ликерта. Значение индекса представляет собой сумму полученных баллов по всем суждениям, включенным в данный индекс. Список всех суждений и индексов представлен в таблице 1.

Кроме того, в моделях мы контролировали характеристики учителя, ученика и школы: стаж работы учителем (полный педагогический стаж к концу года), наличие у учителя общей педагогики среди основных областей профессионального образования, пол учащегося, тип школы (гимназии и лицеи или обычные школы). Описательная статистика переменных представлена в таблицах 2 и 3.

В работе с помощью логистической регрессии с кластерной коррекцией оценивались шансы учащихся с низким социально-экономическим положением стать резильентными. Зависимая переменная — бинарная, соответствующая тому, является ли ученик с низким СЭП резильентным (1) или нет (0).

Таблица 1. **Описательная статистика индексов**

Переменная	Полностью согласен (%)	Согласен (%)	Не согласен (%)	Полностью не согласен (%)	N (чел.)
Анкета учащегося PISA	Индекс «Отношение учащихся с большинством преподавателей»				
Учащиеся ладят с большинством преподавателей	34	57	9	0	1079
Большинство преподавателей интересуются жизнью учащихся	16	54	29	1	1079
Анкета учащегося PISA	Индекс «Отношение ученика с преподавателями»				
Большинство моих преподавателей действительно слушают то, что я говорю	24	55	20	1	1079
Если мне нужна дополнительная помощь, я получу ее от моих преподавателей	33	54	10	3	1079
Большинство моих преподавателей относятся ко мне справедливо	27	57	14	2	1079
Анкета учащегося TIMSS	Индекс «Отношение с учителем математики»				
Я знаю, что ждет от меня мой учитель	38	46	13	3	1079
Я легко понимаю моего учителя	30	42	24	4	1079
Анкета учителя TIMSS	Индекс «Выгорание учителя»				
Я доволен своей профессией учителя	47	50	2	1	205
Мне нравится быть учителем в этой школе	58	41	1	0	205
У меня было больше энтузиазма, когда я начал работать, нежели теперь	27	27	28	17	205
Как учитель я выполняю важную работу	77	22	1	0	204
Я планирую работать учителем настолько долго, насколько это возможно	47	44	7	2	205
Я разочаровался в профессии учителя	0	7	35	58	205

Таблица 2. **Описательная статистика интервальных переменных**

Переменная	Среднее	Станд. откл.	Максимум	Минимум	N
Балл учащихся по математике в PISA	467	74	696	195	1079
Педагогический стаж учителя	24	10	47	1	204

Таблица 3. **Описательная статистика бинарных переменных**

Переменная		Процент	N
Наличие общей педагогики как основной области профессионального образования учителя	Да	54	207
	Нет	46	
Тип школы	Гимназии, лицеи	15	200
	Обычные	84	
Пол учащегося	Юноши	50	1079
	Девушки	50	

Результаты логистической регрессии

В таблице 4 представлены результаты логистической регрессии. В первой модели рассматривается связь различных аспектов взаимоотношений преподавателей и учащихся с вероятностью ученика стать академически резильентным. Вторая модель дополнительно учитывает характеристики школы, учителя и ученика.

Таблица 4. **Результаты логистической регрессии**

Переменные	Модель 1 Odds ratio	Модель 2 Odds ratio
Отношение учащихся с большинством преподавателей	0,84 (0,11)	0,87 (0,12)
Отношение ученика с преподавателями	1,33*** (0,16)	1,29*** (0,11)
Отношение с учителем математики	1,20* (0,12)	1,22* (0,12)
Выгорание	1,07 (0,05)	1,05 (0,05)
Пол (девушки)		0,71* (0,15)
Стаж работы учителя		1,01 (0,01)
Гимназии, лицеи		3,58*** (1,37)
Профиль образования учителя (Общая педагогика)		1,12 (0,28)
Constant	0,00*** (0,00)	0,00*** (0,00)
N, чел.	680	671

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$.

Коэффициенты в таблице — отношения шансов. В скобках указана ошибка измерения.

Взаимоотношения с учителями в школе в целом статистически незначимы. Такой результат может свидетельствовать о том, что обобщенные характеристики взаимодействий не раскрывают в полной мере атмосферу в классе, которая по результатам зарубежных исследований оказывается значима для образовательного успеха учеников [Agasisti, Longobardi, 2014; Agasisti, Longobardi, 2017]. Другим объяснением может быть то, что для результатов учащихся большее значение имеет характер личного общения с учителем. Результаты показывают, что межличностные отношения ученика с учителем математики значимо связаны с шансами стать резильентным. В случаях, когда учащийся знает, чего от него ждет учитель математики, и понимает его, вероятность иметь высокую успеваемость повышается. При этом показатель профессионального выгорания учителей незначимо связан с шансами стать резильентным для ученика.

В модель 2 были добавлены контрольные переменные. Индексы, соответствующие отношению большинства преподавателей с учениками и степени выгорания учителя, по-прежнему статистически незначимы. В остальном результаты также остаются прежними. Отношения ученика с учителями играют важную роль в образовательных результатах: учащийся с большей вероятностью станет резильентным, если преподаватели слушают его, относятся справедливо и готовы оказать необходимую помощь.

Педагогический стаж учителя и наличие у него общей педагогики как специализации незначимо связаны с резильентностью. Отчасти это может объясняться тем, что большой опыт работы и педагогическая квалификация отражаются в способах взаимоотношения учителей с учениками, эффекты которых уже были учтены в моделях. Кроме того, эти переменные могут быть тесно связаны друг с другом. В результате в моделях, где включены все перечисленные переменные, эффект от стажа и специализации не прослеживается.

Значимым предиктором оказался тип школы: при прочих равных учащиеся в лицеях и гимназиях чаще становятся резильентными, чем учащиеся в обычных школах. Значимой оказалась также связь с полом учащегося: юноши имеют больше шансов стать резильентными, чем девушки.

Заключение и обсуждение результатов

В работе рассматриваются факторы высокой успеваемости среди учащихся с низким социально-экономическим положением, то есть резильентности. В частности, мы уделяем внимание характеристикам учителя и взаимоотношения с учениками. С использованием данных лонгитюдного проекта «Траектории в образовании и профессии», которые содержат результаты опроса учащихся и учителей математики в восьмом и девятом классах школы, мы рассмотрели связь взаимоотношений учителей с результатами учеников в исследовании PISA.

В рамках анализа мы использовали логистическую регрессию для оценки шансов учащихся стать резильентными. Мы построили две модели: 1) с включением индексов взаимодействия учителей и учащихся; 2) с добавлением контрольных характеристик. Результаты показывают, что межличностные отношения ученика со всеми учителями (и с учителем математики в частности) значимо связаны с шансами стать резильентным. Учащиеся с низким СЭП показывают

более высокие результаты, если преподаватели их слушают, относятся к ученикам справедливо, а в случае необходимости готовы оказать помощь. В отношениях с учителем математики важно, чтобы учащийся понимал своего учителя и знал, чего он от него ждет.

Кроме того, при прочих равных учащиеся в лицеях и гимназиях чаще становятся резильентными, чем учащиеся в обычных школах. Это можно объяснить прежде всего различиями в образовательных программах: в лицеях, гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется более глубокая профильная подготовка [Коган, Кутейницына, Прудникова, 2014]. Кроме того, в таких образовательных учреждениях, как правило, обучаются более мотивированные и заинтересованные в получении образования дети, родители которых стремятся дать им университетское образование [Каспржак, 2010]. Дети и родители отмечают особую атмосферу и обстановку в гимназиях, которая может способствовать высоким академическим достижениям [Стрельцов, 2014].

Пол также значимо положительно связан с вероятностью стать резильентным. Юноши имеют больше шансов стать резильентными, чем девушки. Это может быть связано с более низкой самооценкой девушек в области математики, которая сказывается на образовательных результатах [Reis, Park, 2001] и необходимостью прикладывать больше усилий для достижения высоких результатов. Одаренные в области математики девушки чаще связывают свои академические успехи с приложенными усилиями, чем юноши [Hong, Aquí, 2004].

Полученные нами результаты согласуются с результатами исследований, проведенных ранее в других странах [Agasisti, Longobardi, 2017; Borman, Overman, 2004; Ahmed et al., 2018; Ngai, Cheung, Ngai, 2012]. Взаимоотношения с учителями являются важным предиктором образовательных результатов учащихся. В случаях, когда учащиеся характеризуются недостатком различного рода ресурсов в семье, школа может стать институтом, где эти ресурсы пополняются. Учитель как ключевой агент передачи знаний может играть решающую роль для таких учеников, поэтому характеру отношений следует уделять особое внимание и реализовывать внутри школы меры, направленные на сближение и улучшение взаимопонимания между учителями и учащимися.

Список литературы (References)

Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильно высокого качества обучения в школах: Уроки анализа лучших систем школьного образования мира / пер. с англ. // Вопросы образования. 2008. № 3. С. 7—60.

Barber M., Mourshed M. (2008) Consistently High Performance: Lessons from the World's Top Performing School Systems. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 3. С. 7—60. (In Russ.)

Каспржак А. Г. Три источника и три составные части российского гимназического образования // Вопросы образования. 2010. № 1. С. 281—299.

Kasprzhak A. (2010) Three Sources and Three Components of Gymnasium Education in Russia. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 1. P. 281—299. (In Russ.)

Коган Е. Я., Кутейницына Т. Г., Прудникова В. А. Региональная модель управления общеобразовательными программами повышенного уровня // Вопросы образования. 2014. № 3. С. 197—222. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-3-197-222>.
Kogan E. Ya., Kuteynitsyna T. G., Prudnikova V. A. (2014) Regional Model of Advanced-Level General Education Program Management. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 3. P. 197—222. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2014-3-197-222>. (In Russ.)

Пинская М. А., Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А., Михайлова А. М. Резильентные школы: высокие достижения в социально неблагополучном окружении. Информационный бюллетень «Мониторинг экономики образования». № 21 (120). М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017. URL: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/212443117.pdf> (дата обращения: 02.09.2020).

Pinskaya M. A., Khavenson T. E., Chirkina T. A., Mikhailova A. M. (2017) Resilient Schools: High Performance in Socially Deprived Environments. *Monitoring of Education Markets and Organizations*. No. 21 (120). Moscow: National Research University Higher School of Economics. URL: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/212443117.pdf> (accessed: 02.09.2020). (In Russ.)

Пинская М. А., Тимкова Т. В., Обухова О. Л. Может ли школа влиять на уровень читательской грамотности младших школьников? По материалам анализа результатов PIRLS-2006 // Вопросы образования. 2009. № 2. С. 87—107.

Pinskaya M. A., Timkova T. V., Obukhova O. L. (2009) Can the School Influence the Reading Skills of Young Children? Analyzing the Results of PIRLS-2006. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 2. P. 87—107. (In Russ.)

Пинская М. А., Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А. «Резильентные» школы и школьники. Билет на ковчег: вносит ли школа вклад в резильентность ученика? // Образование и социальная дифференциация: колл. монография / отв. ред. М. Карной, И. Д. Фруммин, Н. Н. Кармаева. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. С. 183—202.

Pinskaya M. A., Khavenson T. E., Chirkina T. A. (2017) Resilient Schools and Students. Ticket to the Ark: Does the School Contribute to Student Resilience? In: Karnoy M., Frumin I. D., Karmaeva N. N. (eds.) *Education and Social Differentiation*. Moscow: National Research University Higher School of Economics. P. 183—202. (In Russ.)

Пинская М. А., Хавенсон Т. Е., Косарецкий С. Г., Звягинцев Р. С., Михайлова А. М., Чиркина Т. А. Поверх барьеров: исследуем резильентные школы // Вопросы образования. 2018. № 2. С. 198—227. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-198-227>.

Pinskaya M. A., Khavenson T. E., Kosaretsky S. G., Zvyaginцев R., Mikhailova A., Chirkina T. (2018) Above Barriers: A Survey of Resilient Schools. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 2. P. 198—227. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2018-2-198-227>. (In Russ.)

Стрельцов А. А. Гимназии и лицеи наших дней: какими они были на исходе XX века // Проблемы современного образования. 2014. № 1. С. 63—78.

Streltsov A. A. (2014) Innovative Secondary Schools in Modern Russia: An Excursion into Their Late 20th Century History. *Problems of Modern Education*. No. 1. P. 63—78. (In Russ.)

Тюменева Ю. А., Хавенсон Т. Е. Характеристики учителей и достижения школьников. Применение метода first difference к данным TIMSS-2007 // Вопросы образования. 2012. № 3. С. 113—140. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2012-3-113-140>.
Tyumeneva Y. A., Khavenson T. E. (2012) Teacher Characteristics and Student Performance at School. Applying the First Difference Method to TIMSS 2007 Data. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 3. P. 113—140. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2012-3-113-140>. (In Russ.)

Хавенсон Т. Е. Качество ответов школьников на вопросы о социально-экономическом положении семьи // Социологический журнал. 2016. Т. 22. № 4. С. 74—89. <https://doi.org/10.19181/socjour.2016.22.4.4808>.

Khavenson T. E. (2016) Quality of School Age Children Reports on Family's Socio-Economic Status. *Sociological Journal*. Vol. 22. No. 4. P. 74—89. <https://doi.org/10.19181/socjour.2016.22.4.4808>. (In Russ.)

Ястребов Г. А., Бессуднов А. Р., Пинская М. А. Косарецкий С. Г. Проблема контекстуализации образовательных результатов: школы, социальный состав учащихся и уровень депривации территорий // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 188—246. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2013-4-188-246>.

Yastrebov G. A., Bessudnov A. R., Pinskaya M. A., Kosaretsky S. G. (2013) The Issue of Educational Results' Contextualization: Schools, Their Social Structure and a Territory Deprivation Level. *Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow*. No. 4. P. 188—246. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2013-4-188-246>. (In Russ.)

Agasisti T., Avvisati F., Borgonovi F., Longobardi S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged Students Succeed in PISA. *OECD Education Working Papers*. No. 167. <https://doi.org/10.1787/e22490ac-en>.

Agasisti T., Longobardi S. (2014) Inequality in Education: Can Italian Disadvantaged Students Close the Gap? *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. Vol. 52. P. 8—20. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2014.05.002>.

Agasisti T., Longobardi S. (2017) Equality of Educational Opportunities, Schools' Characteristics and Resilient Students: An Empirical Study of EU-15 Countries Using OECD-PISA 2009 Data. *Social Indicators Research*. Vol. 134. No. 3. P. 917—953. <https://doi.org/10.1007/s11205-016-1464-5>.

Ahmed U., Umrani W. A., Qureshi M. A., A. Samad (2018) Examining the Links between Teachers Support, Academic Efficacy, Academic Resilience, and Student Engagement in Bahrain. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*. Vol. 5. No. 9. P. 39—46. <http://doi.org/10.21833/ijaas.2018.09.008>.

Bond G. C. (1981) Social Economic Status and Educational Achievement: A Review Article. *Anthropology & Education Quarterly*. Vol. 12. No. 4. P. 227—257. <https://doi.org/10.1525/aeq.1981.12.4.05x1811q>.

- Borman G. D., Overman L. T. (2004) Academic Resilience in Mathematics among Poor and Minority Students. *The Elementary School Journal*. Vol. 104. No. 3. P. 177—195. <https://doi.org/10.1086/499748>.
- Caldas S. J., Bankston C. (1997) Effect of School Population Socioeconomic Status on Individual Academic Achievement. *The Journal of Educational Research*. Vol. 90. No. 5. P. 269—277. <https://doi.org/10.1080/00220671.1997.10544583>.
- Causa O., Johansson Å. (2009) Intergenerational Social Mobility. *OECD Economics Department Working Papers*. No. 707. <https://doi.org/10.1787/223106258208>.
- Cheung K.-C., Sit P.-S., Soh K.-C., leong M.-K., Mak S.-K. (2014) Predicting Academic Resilience with Reading Engagement and Demographic Variables: Comparing Shanghai, Hong Kong, Korea, and Singapore from the PISA Perspective. *The Asia-Pacific Education Researcher*. Vol. 23. No. 4. P. 895—909. <https://doi.org/10.1007/s40299-013-0143-4>.
- Chiu M. M., Chow B. W.-Y. (2015) Classmate Characteristics and Student Achievement in 33 Countries: Classmates' Past Achievement, Family Socioeconomic Status, Educational Resources, and Attitudes Toward Reading. *Journal of Educational Psychology*. Vol. 107. No. 1. P. 152—169. <https://doi.org/10.1037/a0036897>.
- Coronado-Hijón A. (2017) Academic Resilience: A Transcultural Perspective. *Procedia — Social and Behavioral Sciences*. Vol. 237. P. 594—598. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.013>.
- Erberber E., Stephens M., Mamedova S., Ferguson Sh., Kroeger T. (2015) Socio-economically Disadvantaged Students Who Are Academically Successful: Examining Academic Resilience Cross-Nationally. *Policy Brief*. No. 5. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED557616.pdf> (accessed: 02.09.2020).
- Fischbach A., Keller U., Preckel F., Brunner M. (2013) PISA Proficiency Scores Predict Educational Outcomes. *Learning and Individual Differences*. Vol. 24. P. 63—72. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.10.012>.
- Hong E., Aquí Y. (2004) Cognitive and Motivational Characteristics of Adolescents Gifted in Mathematics: Comparisons among Students with Different Types of Giftedness. *Gifted Child Quarterly*. Vol. 48. No. 3. P. 191—201. <http://doi.org/10.1177/001698620404800304>.
- Klem A. M., Connell J. P. (2004) Relationships Matter: Linking Teacher Support to Student Engagement and Achievement. *Journal of School Health*. Vol. 74. No. 7. P. 262—273. <http://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2004.tb08283.x>.
- Ngai S. S., Cheung C., Ngai N. (2012) Effects of Service Use, Family Social Capital and School Social Capital on Psychosocial Development Among Economically Disadvantaged Secondary School Students in Hong Kong. *International Journal of Adolescence and Youth*. Vol. 17. No. 2—3. P. 131—148. <https://doi.org/10.1080/02673843.2012.656191>.

- OECD (2011) *Against the Odds: Disadvantaged Students Who Succeed in School*. Paris: PISA, OECD Publishing. <http://doi.org/10.1787/9789264090873-en>.
- OECD (2013) *PISA 2012 Results: Excellence Through Equity (Volume II). Giving Every Student the Chance to Succeed*. Paris: PISA, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264201132-en>.
- OECD (2018) *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*. Paris: PISA, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264073234-en>.
- Önder E., Uyar Ş. (2018) Factors Affecting the Academic Achievement in Socioeconomically Disadvantaged Students. *Peğem Eğitim ve Öğretim Dergisi [Peğem Journal of Education and Instruction]*. Vol. 8. No. 2. P. 253—280. <https://doi.org/10.14527/pegegog.2018.011>.
- Reis S. M., Park S. (2001) Gender Differences in High-Achieving Students in Math and Science. *Journal for the Education of the Gifted*. Vol. 25. No. 1. P. 52—73. <https://doi.org/10.1177/016235320102500104>.
- Rockoff J. E. (2004) The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data. *American Economic Review*. Vol. 94. No. 2. P. 247—252. <http://doi.org/10.1257/0002828041302244>.
- Sirin S. R. (2005) Socioeconomic Status and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review of Research. *Review of Educational Research*. Vol. 75. No. 3. P. 417—453. <http://doi.org/10.3102/00346543075003417>.
- Sandoval-Hernández A., Białowolski P. (2016) Factors and Conditions Promoting Academic Resilience: A TIMSS-Based Analysis of Five Asian Education Systems. *Asia Pacific Education Review*. Vol. 17. P. 511—520. <https://doi.org/10.1007/s12564-016-9447-4>.
- White K. R. (1982) The Relation between Socioeconomic Status and Academic Achievement. *Psychological Bulletin*. Vol. 91. No. 3. P. 461—481. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.91.3.461>.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.921



Т. Н. Канонир, А. А. Куликова, Е. А. Орел

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ШКОЛЕ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Правильная ссылка на статью:

Канонир Т. Н., Куликова А. А., Орел Е. А. Лонгитюдное исследование субъективного благополучия в школе у учащихся младших классов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 461—479. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.921>.

For citation:

Kanonire T. N., Kulikova A. A., Orel E. A. (2020) Longitudinal Study of School-Related Subjective Well-Being among Primary School Students. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 461—479. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.921>. (In Russ.)

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В ШКОЛЕ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

КАНОНИР Татьяна Николаевна — Dr. Psych., доцент Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: tkanonir@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0001-5606-8379>

КУЛИКОВА Алёна Александровна — кандидат наук НИУ ВШЭ об образовании, младший научный сотрудник Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: aponomareva@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4296-3521>

ОРЕЛ Екатерина Алексеевна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: eorel@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9100-0713>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики субъективного благополучия учащихся начальной школы. Благополучие рассматривается как сложный конструкт, включающий в себя удовлетворенность школой, чувства по отношению к школе, сотрудничество и/или враждебные отношения с одноклассниками, а также субъективное физическое благополучие. На данных двух срезов мониторинга, проведенных на одних и тех же учениках в третьем и четвертом классах ($N = 865$) школ горо-

LONGITUDINAL STUDY OF SCHOOL-RELATED SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Tatjana N. KANONIRE¹ — Dr. Psych., Assistant Professor at the Institute of Education

E-MAIL: tkanonir@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0001-5606-8379>

Alena A. KULIKOVA¹ — PhD in Education, Junior Research Fellow at the Institute of Education

E-MAIL: aponomareva@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4296-3521>

Ekaterina A. OREL¹ — Cand. Sci. (Psych.), Senior Research Fellow at the Institute of Education

E-MAIL: eorel@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9100-0713>

¹ National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Abstract. The article presents the results of a study on the dynamics of subjective well-being among primary school students. Well-being is considered as a complex construct encompassing satisfaction with school, feelings about school, cooperation and/or hostile relations with peers as well as subjective physical well-being. The authors use the data of two evaluations of the tracking study conducted among the same third-grade and fourth-grade students ($N = 865$) who go to school in million-plus cities. The study shows that the level of subjective

да-миллионника было показано, что уровень субъективного благополучия в промежутке от девяти до десяти лет снижается по всем показателям, кроме блока «Отношения со сверстниками» и физического благополучия. Также были зафиксированы гендерные различия: мальчики менее удовлетворены школой, чаще сталкиваются с враждебностью и испытывают больше негативных эмоций по отношению к школе, чем девочки. Полученные результаты согласуются с данными предыдущих исследований и позволяют уточнить и расширить представления о благополучии в младшем школьном возрасте, так как большинство работ, нацеленных на школьный контекст, было выполнено на подростках.

Ключевые слова: субъективное благополучие, младший школьный возраст, начальная школа, лонгитюдные данные

Благодарность. В данной научной работе использованы результаты проекта «Динамика развития ребенка в период его обучения в начальной школе», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 г.

Введение

Мировое образовательное сообщество все чаще называет субъективное благополучие одной из самых важных целей современного образования, наравне с академическими достижениями и ориентацией на навыки XXI века [OECD, 2018]. Поэтому оно все чаще становится объектом изучения в различных международных и национальных мониторингах качества образования. Вопросы о субъективном благополучии подростков включены в анкеты некоторых международных сравнительных исследований (например, в PISA 2018 г.). Однако информации о субъективном благополучии в контексте образования, необходимой для полного понимания его структуры, динамики и вклада в различные достижения учащихся в кратко- и долгосрочной перспективе, все еще недостаточно.

well-being decreases on all subscales among students aged nine to ten years, excepting the “relationship with peers” subscale and physical well-being. Gender differences were also detected: boys are less likely to be satisfied with school, experience hostility more often and have more negative emotions regarding school than girls. The obtained results are consistent with the data of the previous studies and give more specific information about children’s well-being in primary school because most of the previous studies devoted to school topic used a sample of adolescents.

Keywords: subjective well-being, primary school students, longitudinal data, primary school

Acknowledgments. The results of the project "Dynamics of children development during the primary school", carried out within the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University) in 2017, are presented in this work.

Существуют разные подходы к определению благополучия. *Субъективное благополучие* определяется как субъективная вера индивида в то, что его жизнь приятна и хороша [Wilson, 1967]. Традиционно выделяют когнитивный и эмоциональный компоненты: удовлетворенность жизнью, позитивный и негативный аффект [Bradburn, 1969; Andrews, Withey, 1976; Diener, 1984].

Сегодня можно наблюдать всплеск интереса к исследованиям изменения уровня субъективного благополучия в детском и подростковом возрасте, так как, похоже, уровень восприятия своего благополучия в этот возрастной период распределен нелинейно и не совпадает с тем, что можно наблюдать на взрослой популяции, когда, согласно Р. Камминсу [Cummins, 1995; 2010], уровень субъективного благополучия в западных культурах стремится к определенной стабильности и среднее значение сохраняется в районе 75 баллов по 100-балльной шкале. Исследования указывают на то, что с началом подросткового возраста уровень субъективного благополучия начинает снижаться (например, [Viñas et al., 2014; Casas, Gonzalez-Carrasco, 2019; Shek, Liang, 2018]). Скорее всего, такое снижение уровня субъективного благополучия является следствием особенностей развития в подростковом возрасте, а именно физиологических, психологических и социальных изменений [Goldbeck et al., 2007]. Представляется важным зафиксировать эти изменения в уровне субъективного благополучия для учета в последующих исследованиях, а также анализа механизмов субъективного благополучия и обуславливающих его факторов. Однако лонгитюдных исследований, позволяющих судить о динамике субъективного благополучия в детском и подростковом возрасте, пока еще очень мало.

Большинство данных о субъективном благополучии детей и подростков получено с помощью одного и того же инструментария (например, [Diener et al., 1985; Cummins et al., 2003; Huebner et al., 2006]), что является преимуществом, так как позволяет сопоставить полученные результаты. Эти опросники состоят из небольшого количества пунктов и, если даже пытаются оценить благополучие в определенном контексте, делают это одним-двумя утверждениями, то есть не описывают различные характеристики исследуемого контекста. Однако субъективное благополучие — это сложный феномен, для которого требуется разностороннее оценивание [Huebner, 1994; Konu, Rimpela, 2002; Канонир, 2019]. Во-первых, таким образом можно собрать больше информации; во-вторых, детям, особенно младшего возраста, намного легче оценить свою удовлетворенность, например школой и различными ее аспектами, чем всей своей жизнью в целом. Подход, в котором благополучие рассматривается как сложный конструкт и измеряется с помощью нескольких шкал, дает возможность лучше планировать конкретные интервенции, если таковые необходимы. Фокус на школе позволяет оценить субъективное благополучие в контексте, в котором дети проводят большую часть своего времени и значимость которого будет возрастать с переходом в основную школу. В данном исследовании предлагается анализировать субъективное благополучие в контексте школы как многокомпонентный конструкт, который включает в себя удовлетворенность школой, чувства по отношению к школе, сотрудничество и враждебные отношения с одноклассниками, а также физическое субъективное благополучие [Kanonire, Federiakin, Uglanova, 2020; Канонир, 2019].

Субъективное благополучие у детей и подростков: возрастные особенности

Большинство исследований, позволяющих судить о возрастных различиях между детьми и подростками разного возраста, указывают на снижение уровня субъективного благополучия после 12—13 лет. Сравнительное исследование с включением выборок из Испании ($N = 2900$) и Бразилии ($N = 1588$) показало снижение уровня субъективного благополучия в промежутке с 12 лет до 15, похожее снижение зафиксировано и в Чили ($N = 843$) у подростков 14—16 лет [Casas et al., 2012]. Такое же понижение и с использованием того же инструментария исследователи фиксировали в другом исследовании подростков 12—16 лет ($N = 1483$) [Viñas et al., 2014]. Исследование на немецких подростках с фокусом на общую удовлетворенность и удовлетворенность разными областями своей жизни, такими как здоровье, семья, друзья и др. ($N = 1274$), показало, что наблюдается постепенное снижение как общей удовлетворенности, так и удовлетворенности различными областями своей жизни у подростков 11—16 лет. Исключение составили отношения с друзьями, удовлетворенность которыми осталась неизменной [Goldbeck et al., 2007]. Исследование на выборке китайских подростков также фиксирует более высокий уровень удовлетворенности и низкую частоту негативных переживаний у младших подростков 13 лет ($N = 221$), по сравнению с подростками 16 лет ($N = 140$) [Tian et al., 2013]. Результаты исследования на выборке из Бразилии также фиксируют снижение уровня субъективного благополучия у детей 11—13 лет по сравнению с детьми 9—10 лет ($N = 2135$) [Schütz, Bedin, Sarriera, 2019].

В ответ на критику по поводу ограничений предыдущих исследований, связанных с достаточно небольшими выборками (даже если общая выборка исследований большая, подвыборки на каждый возраст не очень велики), разнообразием используемых инструментов оценивания субъективного благополучия и недостаточным количеством исследований детей младше 11—12 лет, было проведено масштабное международное исследование субъективного благополучия детей и подростков [Rees, Main, 2015]. В рамках второй волны этого исследования были собраны данные более 53 000 детей из 15 стран в возрасте от 8 до 12 лет. Для оценивания субъективного благополучия в этом исследовании использовались три краткие версии наиболее распространенных опросников и один общий вопрос; кросс-культурная сопоставимость инструментария была обоснована. Такое количество опросников, направленных на измерение одного и того же конструкта, было сделано с целью проверить согласованность результатов, полученных разными способами. Результаты этого исследования показали, что почти во всех странах, участвовавших в исследовании, наблюдается тенденция к повышению уровня субъективного благополучия у детей десяти лет по сравнению с детьми восьми лет. В то же время у детей 12 лет происходит снижение уровня субъективного благополучия по сравнению с десятилетними. Авторы исследования склонны связывать это понижение с особенностями развития, а не с изменениями в социальной ситуации, например при переходе из начальной в основную школу, так как опрос детей проходил не по возрастным группам, а по году обучения и уже потом были выделены возрастные когорты [Casas, Gonzalez-Carrasco, 2019]. Однако

это масштабное исследование является срезовым и не позволяет в полной мере судить об индивидуальной динамике.

На сегодняшний день доступны данные ограниченного числа лонгитюдных исследований, позволяющих судить о динамике изменений уровня субъективного благополучия с учетом индивидуальных особенностей респондентов. Например, исследование испанских подростков в возрасте от 10 до 15 лет ($N=940$) с интервалом в один год показало снижение уровня благополучия по всем используемым в исследовании показателям [González-Carrasco et al., 2017]. Результаты лонгитюдного исследования китайских подростков, уровень удовлетворенности жизнью которых оценивали в течение шести лет ($N=3328$), согласуются с результатами, полученными в других странах в срезовых исследованиях: в течение шести лет наблюдается постепенное и последовательное снижение уровня удовлетворенности жизнью [Shek, Liang, 2018].

В России до сих пор проводилось сравнительно небольшое количество исследований субъективного благополучия школьников, однако большинство из них направлено на изучение благополучия в разных контекстах. Эти исследования используют «Многомерный опросник удовлетворенности жизнью» Хюбнера [Huebner, 1994], которая несколько раз переводилась на русский язык. Так, С. А. Водяха [Водяха, 2013] на выборке 572 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет показал, что удовлетворенность школьной жизнью падает от младшего к старшему подростковому возрасту во всех сферах, кроме дружеских отношений. Это согласуется с приведенными выше международными данными, однако нельзя не отметить, что в работе С. А. Водяхи отсутствуют указания на название инструментария и его психометрические характеристики, поэтому воспринимать этот вывод стоит с известной степенью осторожности.

Адаптация на русский язык и психометрическая проверка опросника Хюбнера была проведена параллельно двумя разными командами исследователей. Так, Т. Н. Канонир, И. Л. Углонова и Д. А. Федерякин [Канонир, Углонова, Федерякин, 2018] провели исследование на выборке в 1729 учащихся третьих классов и продемонстрировали, что их вариант шкалы Хюбнера хорошо подходит для учащихся младшего школьного возраста. Параллельно О. А. Сычев и коллеги опубликовали свой вариант опросника Хюбнера, апробированный для детей 9—11 лет [Сычев и др., 2018], и также показали его хорошие психометрические характеристики. К сожалению, в этих двух исследованиях авторы ставили перед собой цель проверить качество инструмента, поэтому не анализировали возрастную динамику. В настоящем исследовании этот пробел будет частично ликвидирован.

Субъективное благополучие у детей и подростков: гендерные различия

Исследования фиксируют различия между девочками и мальчиками в оценке своего уровня субъективного благополучия: мальчики показывают более высокий уровень субъективного благополучия, чем девочки [Moksnes, Espnes, 2013]. Л. Голдбек и коллеги выявили у девочек более низкий уровень общей удовлетворенности жизнью и удовлетворенности своим здоровьем, чем мальчики [Goldbeck et al., 2007]. Интересно, что гендерные различия появляются после того, как начинает снижаться уровень удовлетворенности, а снижение для девочек более

выраженное [Michel et al., 2009; González-Carrasco et al., 2017]. Лонгитюдное исследование в Алжире показывает различия в пользу девочек по шкалам удовлетворенности школой [Tiliouine, Rees, Mokaddem, 2019]. В этом же исследовании не наблюдаются гендерные различия в уровне удовлетворенности друзьями [ibidem], несмотря на то что они фиксировались в возрасте восьми лет, когда девочки показывали более высокий уровень удовлетворенности своими отношениями со сверстниками, чем мальчики [Michel et al., 2009]. Согласно результатам этого же исследования, как у мальчиков, так и у девочек растут показатели по шкале принятия сверстниками.

Таким образом, на основе предыдущих исследований можно зафиксировать несколько моментов. Несмотря на большой интерес к теме возрастных изменений уровня субъективного благополучия в детском и подростковом возрасте, все еще недостаточно лонгитюдных данных, позволяющих судить о динамике изменений.

Инструменты оценивания разнообразны, но большинство ученых используют короткие версии опросников общего субъективного благополучия или с учетом разных контекстов: Students' Life Satisfaction Scale, Personal Well-Being Index, Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction. Опросники с учетом контекста обычно включают очень ограниченное число утверждений на каждый из них. Возможно, если бы субъективное благополучие оценивалось более детально, наблюдалась бы другая картина. Поэтому в данном исследовании субъективное благополучие будет рассмотрено как многокомпонентный конструкт, который включает в себя удовлетворенность школой, чувства по отношению к школе, сотрудничество и враждебные отношения с одноклассниками, а также физическое субъективное благополучие. Для контроля устойчивости результатов, полученных разными инструментами оценивания, наравне с более детальным оцениванием субъективного благополучия в школе мы также включили две шкалы из «Многокомпонентного опросника удовлетворенности жизнью» Хюбнера для школьников.

Последние данные международного исследования субъективного благополучия [Rees, Main, 2015] зафиксировали снижение уровня субъективного благополучия в возрасте между 10 и 12 годами, что подтверждается исследованиями, включающими в свои выборки детей младше 12 лет. К тому же гендерные различия в уровне субъективного благополучия также обнаруживаются с 12 лет, то есть тогда, когда уровень субъективного благополучия начинает снижаться. Мы же в своем исследовании решили начать с более раннего возраста и проанализируем два среза, полученных на одних и тех же учащихся, которых мы наблюдали в течение третьего и четвертого класса. Если мы зафиксируем снижение уровня благополучия в конце начальной школы, будет возможно отделить эффекты, связанные с особенностями развития в данном возрастном периоде, от резких изменений социальных условий, который можно наблюдать при переходе из начальной в основную школу.

Исследовательские вопросы:

- Какова динамика уровня субъективного благополучия в школе у младших школьников в конце начальной школы (четвертый класс) по сравнению с их уровнем удовлетворенности в середине начальной школы (третий класс)?

- В чем заключаются гендерные различия в уровне субъективного благополучия в середине (третий класс) и в конце начальной школы (четвертый класс)?

Инструмент и процедура

Для оценивания субъективного благополучия использовался «Опросник субъективного благополучия в школе», разработанный и апробированный авторами исследования на большой русскоязычной выборке учащихся третьих классов. Валидность и надежность инструмента были обоснованы в предыдущих исследованиях [Kanonire, Federiakın, Uglanova, 2020; Социальные и эмоциональные навыки..., 2018], а именно, была обоснована конструктивная и конвергентная валидность; проведен анализ функционирования ответных категорий (применялась современная теория тестирования, IRT); проведен анализ надежности каждой шкалы опросника; проводился анализ дифференцированного функционирования заданий по полу (DIF). Результаты показали, что теоретически ожидаемая факторная структура и взаимосвязи между шкалами данного опросника и шкалами «Многокомпонентного опросника удовлетворенности жизнью» Хьюбнера для школьников [Huebner, 1994; адаптация: Канонир, Углонова, Федерякин, 2018] подтвердились на эмпирических данных. Все шкалы опросника показали приемлемые показатели надежности. Все утверждения и ответные категории опросника обладают удовлетворительными психометрическими характеристиками и одинаково функционируют для мальчиков и девочек в третьем классе.

Опросник включает в себя несколько блоков в соответствии с теоретической моделью:

1. Субъективное благополучие в школе измеряется с помощью русскоязычной версии «Краткого опросника субъективного благополучия в школе» (Brief Adolescents' Subjective Well-Being in School Scale, [Tian, Wang, Huebner, 2015]), который включает в себя две шкалы: удовлетворенность школой ($\kappa = 8$; «У меня хорошие отношения с учителями», максимально возможный балл 32, надежность 0,8), оценивается по четырехбалльной шкале «полностью не согласен — полностью согласен», и аффект по отношению к школе, то есть то, как ребенок чувствует себя в школе ($\kappa = 3$; «Находясь в школе, я испытываю приятные чувства», максимально возможный балл 12, надежность 0,6), оценивается по четырехбалльной шкале «никогда — всегда».
2. Отношения со сверстниками измеряются с помощью двух шкал русскоязычной версии опросника «Дружеские отношения в классе» [Turilova-Mišćenko, Raščevska, 2008]: шкалой сотрудничества ($\kappa = 6$; «Я обсуждал школьные дела с одноклассниками», максимально возможный балл 24, надежность 0,7) и шкалой враждебности ($\kappa = 6$; «Одноклассники меня обзывали», максимально возможный балл 24, надежность 0,8). Утверждения оцениваются по четырехбалльной шкале «никогда — всегда».
3. Субъективное физическое благополучие оценивается двумя утверждениями, которые формируют индекс физического субъективного благополучия: «За последнюю неделю как часто ты чувствовал себя полным сил?» и «Как ты оцениваешь свое здоровье?». Максимально возможный балл — 10.

Также использовалась русскоязычная версия шкалы удовлетворенности школой ($\kappa = 6$; максимально возможный балл 24, надежность 0,78) и шкалы удовлетворенности друзьями ($\kappa = 6$; максимально возможный балл 24, надежность 0,85) «Многокомпонентного опросника удовлетворенности жизнью» Хюбнера для школьников (МОУЖШ) [Huebner, 1994; в адаптации: Канонир, Углова, Федерякин, 2018]. Утверждения оцениваются по четырехбалльной шкале «никогда — почти всегда».

Выборка и процедура

Исследование основано на лонгитюдных данных, собранных в 2015—2017 гг. в школах города-миллионника из центральной части России. Участие принимали одни и те же учащиеся третьих и четвертых классов девяти школ. Выборка учащихся третьих классов составила 1140 человек в возрасте от 8 до 10 лет ($M = 8,86$; $SD = 0,40$), из них 50 % девочки. Через год те же учащиеся участвовали в повторном опросе. В четвертом классе выборка составила 1464 человека в возрасте от 9 до 11 лет ($M = 9,93$; $SD = 0,37$), из которых 50 % девочки. После слияния данных за два года и исключения пропущенных значений итоговая выборка составила 865 человек (51 % — девочки).

Опрос проводился фронтально в бланковой форме в присутствии администраторов тестирования в первой половине учебного года. Для всех участников выборки было получено информированное согласие родителей или законных представителей.

Результаты

В связи с отсутствием нормального распределения результатов по рассматриваемым шкалам для сравнения средних значений по группам и оценки значимости различий применялись непараметрические критерии сравнения средних. Для сравнения результатов учащихся в разных классах использовался критерий Уилкоксона (Wilcoxon) для связанных выборок. Для сравнения результатов в зависимости от пола был использован непараметрический критерий Манна — Уитни (Mann — Whitney) для несвязанных выборок. В обоих случаях дополнительно был рассчитан показатель размера эффекта — коэффициент d Козна (Cohen's d) для определения практической значимости и силы полученных различий.

В первую очередь остановимся на сравнении результатов школьников в середине и в конце обучения в начальной школе (в третьем и четвертом классах). Результаты сравнения представлены в таблице 1.

На основании данных, представленных в таблице 1, можно заключить, что по всем шкалам были обнаружены значимые статистические различия. Однако размер эффекта для шкал блока «Отношения со сверстниками», а также для шкалы «Удовлетворенность друзьями» (МОУЖШ) и для индекса физического благополучия — очень небольшой (менее 0,2), это говорит о том, что показанные различия не несут практической значимости и не должны быть проинтерпретированы как различия. По обеим шкалам «Удовлетворенность школой» и по шкале «Аффект по отношению к школе» размер эффекта выше: учащиеся в третьем классе немого больше удовлетворены и лучше относятся к школе, нежели учащиеся в четвертом классе.

Таблица 1. Результаты сравнения средних по шкалам субъективного благополучия в 3 и 4 классе (Критерий Уилкоксона, W)

	Значения средних (ст. откл.)		W	Знач.	Размер эффекта (Cohen's d)
Удовлетворенность школой	3 кл.	27,69 (3,61)	177 378	<,001	0,224
	4 кл.	26,67 (4,81)			
Аффект по отношению к школе	3 кл.	9,12 (2,00)	155 055	<,001	0,256
	4 кл.	8,50 (2,16)			
Сотрудничество	3 кл.	15,22 (3,69)	120 694	<,001	-0,128
	4 кл.	15,81 (3,82)			
Враждебность	3 кл.	9,64 (3,15)	102 935	<,001	-0,157
	4 кл.	10,23 (3,63)			
Субъективное физическое благополучие	3 кл.	8,07 (1,74)	116 975	,004	0,109
	4 кл.	7,85 (1,79)			
Удовлетворенность школой (МОУЖШ)	3 кл.	19,22 (3,48)	179 988	<,001	0,246
	4 кл.	18,23 (3,87)			
Удовлетворенность друзьями (МОУЖШ)	3 кл.	20,39 (3,50)	104 056	,003	-0,060
	4 кл.	20,65 (3,88)			

Далее перейдем к сравнению результатов мальчиков и девочек внутри каждой возрастной группы. Результаты представлены в таблицах 2 и 3.

Для подвыборки третьего класса были получены статистически значимые различия между мальчиками и девочками по обеим шкалам «Удовлетворенность школой», по шкале «Аффект по отношению к школе» и «Враждебность». По шкалам «Сотрудничество», «Удовлетворенность друзьями» (МОУЖШ) и индексу субъективного физического благополучия мальчики не отличаются от девочек. Размер эффекта для шкал, по которым были получены значимые различия, средний (от 0,3 до 0,4 по модулю), что говорит о том, что полученные различия имеют практическую значимость. К четвертому классу данная тенденция сохраняется, но различия чуть менее сильные. Результаты даны в таблице 3.

Таблица 2. Результаты сравнения средних по шкалам субъективного благополучия в зависимости от пола, 3 класс (критерий Манна — Уитни, U)

	Значения средних (ст. откл.)		U	Знач.	Размер эффекта (Cohen's d)
	М.	Ж.			
Удовлетворенность школой	М.	26,96 (3,67)	69 809	<,001	-0,396
	Ж.	28,36 (3,44)			
Аффект по отношению к школе	М.	8,88 (2,01)	79 875	<,001	-0,245
	Ж.	9,36 (1,97)			
Сотрудничество	М.	15,18 (3,79)	92 118	0,843	-0,027
	Ж.	15,28 (3,58)			
Враждебность	М.	10,33 (3,37)	70 493	<,001	0,419
	Ж.	9,03 (2,8)			
Субъективное физическое благополучие	М.	8,02 (1,77)	88 266	0,459	-0,061
	Ж.	8,12 (1,7)			
Удовлетворенность школой (МОУЖШ)	М.	18,84 (3,57)	82 078	0,003	-0,207
	Ж.	19,56 (3,36)			
Удовлетворенность друзьями (МОУЖШ)	М.	17,80 (4,12)	85 839	0,047	-0,117
	Ж.	18,62 (3,62)			

Различия по индексу физического благополучия, шкале «Сотрудничество» и шкале «Удовлетворенность друзьями» (МОУЖШ) так же незначимы, как и в третьем классе. Различия по обеим шкалам «Удовлетворенность школой», по шкале «Аффект по отношению к школе» и «Враждебность» сохраняются. Мальчики в четвертом классе, так же как и в третьем, менее удовлетворены школой, чаще сталкиваются с враждебностью и испытывают больше негативных эмоций по отношению к школе, чем девочки.

Надо отметить, что в данном исследовании разные инструменты, показывают согласованные результаты. Наглядно результаты представлены на рисунках 1—7.

Таблица 3. Результаты сравнения средних по шкалам субъективного благополучия в зависимости от пола, четвертый класс (критерий Манна — Уитни, U)

	Значения средних (ст. откл.)		U	Знач.	Размер эффекта (Cohen's d)
	М.	Ж.			
Удовлетворенность школой	М.	26,15 (5,05)	80 784	0,002	-0,202
	Ж.	27,13 (4,52)			
Аффект по отношению к школе	М.	8,33 (2,08)	81 445	,013	-0,152
	Ж.	8,66 (2,22)			
Сотрудничество	М.	15,59 (3,9)	87 236	0,191	-0,093
	Ж.	15,96 (3,75)			
Враждебность	М.	10,87 (3,85)	71 642	<,001	0,353
	Ж.	9,6 (3,26)			
Физическое благополучие	М.	7,86 (1,87)	91 553	0,590	0,009
	Ж.	7,85 (1,74)			
Удовлетворенность школой (МОУЖШ)	М.	17,80 (4,12)	81 924	0,005	-0,211
	Ж.	18,62 (3,62)			
Удовлетворенность друзьями (МОУЖШ)	М.	20,41 (3,88)	83 709	0,024	-0,108
	Ж.	20,83 (3,92)			

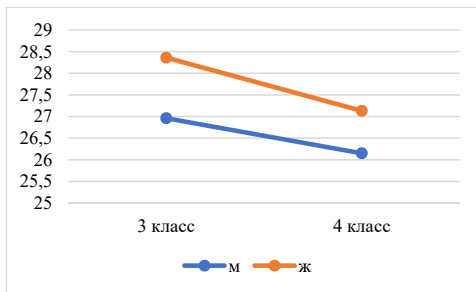


Рис. 1. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе.
Шкала «Удовлетворенность школой»

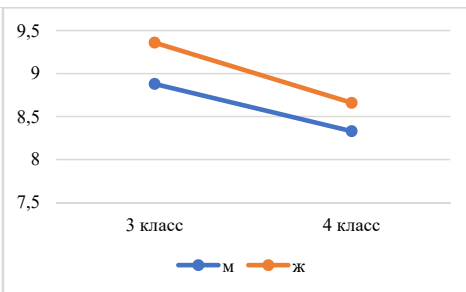


Рис. 2. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе.
Шкала «Аффект по отношению к школе»

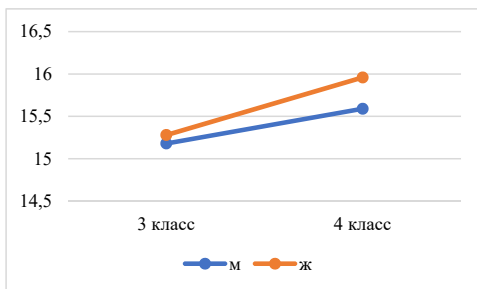


Рис. 3. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе.
Шкала «Сотрудничество»

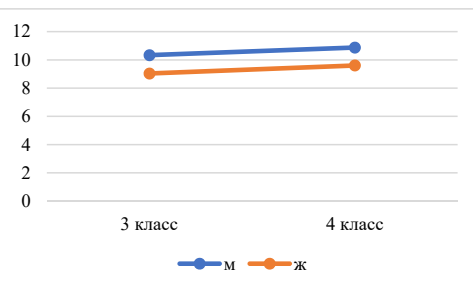


Рис. 4. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе.
Шкала «Враждебность»

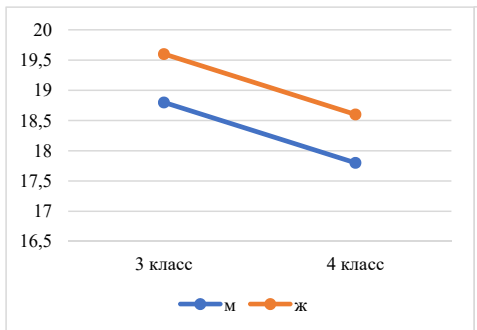


Рис. 5. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе.
Шкала «Удовлетворенность школой» (МОУЖШ)

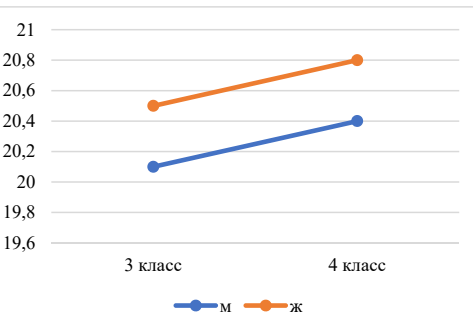


Рис. 6. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе.
Шкала «Удовлетворенность друзьями» (МОУЖШ)

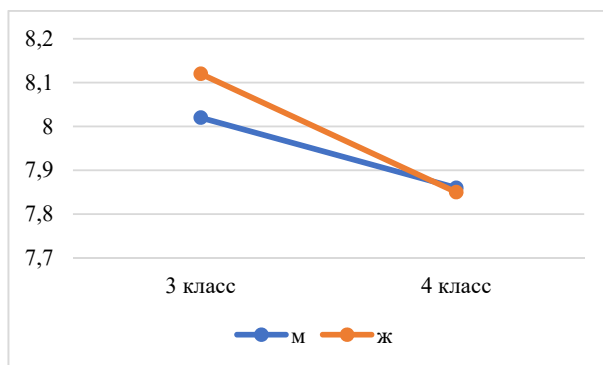


Рис. 7. Средние значения для мальчиков и девочек в 3 и 4 классе. Индекс субъективного физического благополучия

Обсуждение результатов

Целью данного исследования было ответить на вопросы о том, какова динамика уровня субъективного благополучия в школе у младших школьников в конце начальной школы по сравнению с их уровнем удовлетворенности в середине начальной школы и в чем заключаются гендерные различия в уровне субъективного благополучия в середине и в конце начальной школы. Результаты исследования показывают, что у учащихся в четвертом классе значительно понижается удовлетворенность школой и количество позитивных эмоций, переживаемых в школе, по сравнению с их собственными субъективными представлениями в третьем классе. Другими словами, можно зафиксировать снижение уровня благополучия в период между девятью и десятью годами. Данный результат согласуется с результатами предыдущих исследований [Casas, Gonzalez-Carrasco, 2019; Schütz, Bedin, Sarriera, 2019] и указывает на то, что понижение уровня благополучия может начинаться уже в 10—11, а не в 12—13 лет. Такие индикаторы субъективного благополучия в школе, как удовлетворенность отношениями с друзьями, сотрудничество и враждебность в отношениях с одноклассниками, показывают тенденцию к повышению с возрастом, но размер эффекта статистически значимых различий недостаточен для обоснованных выводов и интерпретаций. Другие исследования также не фиксировали снижения удовлетворенности отношениями с друзьями (см., например, [Goldbeck et al., 2007]). Однако с учетом того, что в данном исследовании отношения с одноклассниками оценивались не в контексте удовлетворенности ими, а с позиции их качества, то можно предположить, что с переходом в подростковый возраст можно будет наблюдать динамику и по этим показателям. Также, если в последующих исследованиях будет наблюдаться рост сотрудничества с одноклассниками и увеличение уровня враждебности, целесообразно поставить вопрос о том, характерно ли увеличение уровня этих показателей для одних и тех же респондентов, или у одних подростков повышается уровень сотрудничества, в то время как другие ощущают на себе негативное отношение одноклассников. В целом согласованность результатов, полученных в разных ис-

следованиях и на разных выборках, может свидетельствовать о динамике уровня субъективного благополучия, обусловленной именно возрастными изменениями.

Так же как и другие исследователи, мы зафиксировали гендерные различия в уровне субъективного благополучия у мальчиков и девочек. Однако, в отличие от предыдущих работ [Moksnes, Espnes, 2013; Goldbeck et al., 2007], девочки и в третьем классе, и в четвертом показывают более высокий уровень удовлетворенности школой и лучше себя чувствуют в школе, чем мальчики, хотя размер эффекта в четвертом классе меньше, чем в третьем. Возможно, это связано с тем, что мы фокусируемся на детях более младшего возраста, чем в большинстве проанализированных исследований. Например, в работе [Michel et al., 2009] с участием детей от 8 до 16 лет показано, что различия между мальчиками и девочками начинают проявляться с переходом в более старший возраст. В последующих исследованиях важно отслеживать изменения уровня благополучия девочек и мальчиков, так как, возможно, уровень благополучия девочек при переходе в подростковый возраст может существенно понизиться в сравнении с мальчиками, что в основном связывают с более острым переживанием физиологических и гормональных изменений, происходящих в пубертатный период у девочек [Goldbeck et al., 2007; Michel et al., 2009]. Мальчики и девочки не показали различий в уровне сотрудничества с одноклассниками ни в третьем, ни в четвертом классе, а уровень враждебности в отношениях с одноклассниками у девочек существенно ниже, чем у мальчиков как в третьем, так и в четвертом классе, что согласуется с предыдущими исследованиями детей более старшего возраста [Tiliouine, Rees, Mokaddem, 2019].

Несогласованность результатов относительно различий в уровне субъективного благополучия между девочками и мальчиками может указывать на роль социальных факторов, обуславливающих эти различия. Возможно, начальная школа в России чуть более комфортна для девочек, чем для мальчиков, например в контексте предъявляемых требований, ожиданий от «хорошего ученика», организованности физической среды. Соответствуя ожиданиям общества, девочки получают больше положительной обратной связи, что важно для формирования самооценки и оценки своего благополучия [Moksnes, Espnes, 2013]. К тому же, чаще встречаясь с проявлениями враждебности в отношениях с одноклассниками, мальчики могут воспринимать школьную среду как менее дружелюбную.

Уровень субъективного физического благополучия не показал изменений в течение года, а также девочки и мальчики одинаково оценивали свое самочувствие. Возможно, этот показатель, будучи индикатором субъективного благополучия в школе, не подвержен возрастной динамике или она появляется при переходе в подростковый возраст, когда начинают происходить физиологические изменения.

Таким образом, результаты данного исследования фиксируют понижение субъективного благополучия в начальной школе по некоторым показателям, что может быть следствием возрастных особенностей и должно учитываться при проведении дальнейших исследований, особенно со срезовым дизайном. Проведя еще один или несколько срезов на тех же респондентах, в последующих исследованиях можно изучить возрастную динамику субъективного благополучия

при переходе в подростковый возраст, а также с учетом средовых изменений, например при переходе из начальной школы в основную. Интересным представляется и дальнейшее исследование гендерных различий в уровне субъективного благополучия в начальной школе, а также анализ связанных с ними возможных средовых факторов.

Отметим, что проведенное исследование носит констатирующий характер и его результаты могут послужить основой для постановки новых исследовательских вопросов, в частности о контекстных факторах, связанных с изменением уровня субъективного благополучия в школе. Например, таких как характеристики школы и класса, место проживания ребенка, культура и социальные установки участников образовательного процесса, особенности взаимодействия в семье, наличие травмирующего опыта у ребенка и др.

Список литературы (References)

Водяха С. А. Особенности психологического благополучия старшеклассников // Психологическая наука и образование. 2013. Т. 18. № 6. С. 114—120.

Vodyaha S. A. (2013) Features of Psychological Well-Being of Upper-Form Pupils. *Psychological Science and Education*. Vol. 18. No. 6. P. 114—120. (In Russ.)

Канонир Т. Н., Углонова И. Л., Федерякин Д. А. Адаптация и валидизация шкал удовлетворенности школой и друзьями «Многокомпонентного опросника удовлетворенности жизнью для школьников» // Современная зарубежная психология. 2018. Т. 7. № 3. С. 64—74. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070306>.

Kanonire T. N., Uglanova I. L., Federiakin D. A. (2018) Adaptation and Providing Validity Evidence for the Satisfaction with School Subscale and Satisfaction with Friends Subscale of “Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale”. *Journal of Modern Foreign Psychology*. Vol. 7. No. 3. P. 64—74. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070306>. (In Russ.)

Канонир Т. Н. Субъективное благополучие в школе и отношения с одноклассниками у учащихся начальной школы с разным уровнем учебных достижений // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 16. № 2. С. 378—390. <https://doi.org/10.17323/1813-8918-2019-2-378-390>.

Kanonire T. N. (2019) Subjective Well-Being of Primary School Students with Different Achievement Levels. *Psychology. Journal of Higher School of Economics*. Vol. 16. No. 2. P. 378—390. <https://doi.org/10.17323/1813-8918-2019-2-378-390>. (In Russ.)

Социальные и эмоциональные навыки, мотивация и субъективное благополучие учащихся начальной и основной школы: оценивание и результаты. Технический отчет по исследовательскому проекту «Проведение исследования личностного и социального развития, мотивации и субъективного благополучия учащихся начальной школы». М.: Институт образования НИУ ВШЭ, 2018.

Social and Emotional Skills, Motivation and Subjective Well-Being of Primary School Students: Assessment Tools Development and Results. Technical Report on Scientific Project “Study of Personal and Social Development, Motivation, and Subjective Well-Being of Primary School Students”. Moscow: Institute of Education, HSE, 2018.

Сычев О. А., Гордеева Т. О., Лункина М. В., Осин Е. Н., Сиднева А. Н. Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьников // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 6. С. 5—15. <https://doi.org/10.17759/pse.2018230601>.
Sychev O. A., Gordeeva T. O., Lunkina M. V., Osin E. N., Sidneva A. N. (2018) Multi-Dimensional Students' Life Satisfaction Scale. *Psychological Science and Education*. Vol. 23. No. 6. P. 5—15. <https://doi.org/10.17759/pse.2018230601>. (In Russ.)

Andrews F. M., Withey S. B. (1976) *Social Indicators of Well-Being: America's Perception of Life Quality*. New York, NY: Plenum Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-2253-5>.

Bradburn N. M. (1969) *The Structure of Psychological Well-Being*. Chicago, IL: Aldine Publishing Company.

Casas F., González-Carrasco M. (2019) Subjective Well-Being Decreasing with Age: New Research on Children Over 8. *Child Development*. Vol. 90. No. 2. P. 375—394. <https://doi.org/10.1111/cdev.13133>.

Casas F., Sarriera J. C., Alfaro J., González M., Malo S., Bertran I., Figuer C., da Cruz D. A., Bedin L., Paradiso A., Weinreich K., Valdenegro B. (2012) Testing the Personal Wellbeing Index on 12—16 Year-Old Adolescents in 3 Different Countries with 2 New Items. *Social Indicators Research*. Vol. 105. No. 3. P. 461—482. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9781-1>.

Cummins R. A. (1995) On the Trail of the Gold Standard for Subjective Well-Being. *Social Indicators Research*. Vol. 35. No. 2. P. 179—200. <https://doi.org/10.1007/BF01079026>.

Cummins R. A. (2010) Subjective Wellbeing, Homeostatically Protected Mood and Depression: A Synthesis. *Journal of Happiness Studies*. Vol. 11. No. 1. P. 1—17. <https://doi.org/10.1007/s10902-009-9167-0>.

Cummins R. A., Eckersley R., Pallant J., van Vugt J., Misajon R. (2003) Developing a National Index of Subjective Wellbeing: The Australian Unity Wellbeing Index. *Social Indicators Research*. Vol. 64. No. 2. P. 159—190. <https://doi.org/10.1023/A:1024704320683>.

Diener E. (1984) Subjective Well-Being. *Psychological Bulletin*. Vol. 95. No. 3. P. 542—575. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542>.

Diener E., Emmons R. A., Larsen R. J., Griffin S. (1985) The Satisfaction with Life Scale. *Journal of Personality Assessment*. Vol. 49. No. 1. P. 71—75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13.

Goldbeck L., Schmitz T. G., Besier T., Herschbach P., Henrich G. (2007) Life Satisfaction Decreases During Adolescence. *Quality of Life Research*. Vol. 16. No. 6. P. 969—979. <https://doi.org/10.1007/s11136-007-9205-5>.

González-Carrasco M., Casas F., Malo S., Viñas F., Dinisman T. (2017) Changes with Age in Subjective Well-Being Through the Adolescent Years: Differences by Gender. *Journal of Happiness Studies*. Vol. 18. No. 1. P. 63—88. <https://doi.org/10.1007/s10902-016-9717-1>.

Huebner E. S. (1994) Preliminary Development and Validation of a Multidimensional Life Satisfaction Scale for Children. *Psychological Assessment*. Vol. 6. No. 2. P. 149—158. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.6.2.149>.

Huebner E. S., Seligson J. L., Valois R. F., Suldo S. M. (2006) A Review of the Brief Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale. *Social Indicators Research*. Vol. 79. No. 3. P. 477—484. <https://doi.org/10.1007/s11205-005-5395-9>.

Kanonire T., Federiakina D. A., Uglanova I. L. (2020) Multicomponent framework for students' subjective well-being in elementary school. *School Psychology*. (In Press.) <https://doi.org/10.1037/spq0000397>.

Konu A., Rimpela M. (2002) Well-Being in Schools: A Conceptual Model. *Health Promotion International*. Vol. 17. No. 1. P. 79—87. <https://doi.org/10.1093/heapro/17.1.79>.

Michel G., Bisegger C., Fuhr D. C., Abel T. (2009) Age and Gender Differences in Health-Related Quality of Life of Children and Adolescents in Europe: A Multilevel Analysis. *Quality of Life Research*. Vol. 18. No. 9. P. 1147—1157. <https://doi.org/10.1007/s11136-009-9538-3>.

Moksnes U. K., Espnes G. A. (2013) Self-Esteem and Life Satisfaction in Adolescents—Gender and Age as Potential Moderators. *Quality of Life Research*. Vol. 22. No. 10. P. 2921—2928. <https://doi.org/10.1007/s11136-013-0427-4>.

OECD (2018) PISA 2018. Draft Analytical Frameworks. May 2016. Paris: PISA, OECD Publishing. URL: <https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf> (accessed: 02.09.2020).

Rees G., Main G. (2015) Children's Views on Their Lives and Well-Being in 15 Countries: An Initial Report on the Children's Worlds Survey, 2013—14. York: Children's Worlds Project (ISCWeB). URL: <https://www.york.ac.uk/inst/spru/research/pdf/ChildrensWorlds.pdf> (accessed: 02.09.2020).

Shek D. T. L., Liang L.-Y. (2018) Psychosocial Factors Influencing Individual Well-Being in Chinese Adolescents in Hong Kong: A Six-Year Longitudinal Study. *Applied Research in Quality of Life*. Vol. 13. No. 3. P. 561—584. <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9545-4>.

Schütz F. F., Bedin L. M., Sarriera J. C. (2019) Subjective Well-Being of Brazilian Children from Different Family Settings. *Applied Research in Quality of Life*. Vol. 14. No. 3. P. 737—750. <https://doi.org/10.1007/s11482-018-9609-0>.

Tian L., Liu B., Huang S., Huebner E. S. (2013) Perceived Social Support and School Well-Being among Chinese Early and Middle Adolescents: The Mediational Role of Self-Esteem. *Social Indicators Research*. Vol. 113. No. 3. P. 991—1008. <https://doi.org/10.1007/s11205-012-0123-8>.

Tian L., Wang D., Huebner E. S. (2015) Development and Validation of the Brief Adolescents' Subjective Well-Being in School Scale (BASWBSS). *Social Indicators Research*. Vol. 120. No. 2. P. 615—634. <https://doi.org/10.1007/s11205-014-0603-0>.

Tiliouine H., Rees G., Mokaddem S. (2019) Changes in Self-Reported Well-Being: A Follow-Up Study of Children Aged 12—14 in Algeria. *Child Development*. Vol. 90. No. 2. P. 359—374. <https://doi.org/10.1111/cdev.13132>.

Turilova-Miščenko T., Raščevska M. (2008) Psychometric Properties of Classmates' Friendship Relationships Questionnaire. *Baltic Journal of Psychology*. Vol. 9. No. 1, 2. P. 129—140. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/1317/BalticJournPsychol-2008-Vol-9_No-1-2.pdf#page=129 (accessed: 02.09.2020).

Viñas F., González M., Malo S., Garcia Y., Casas F. (2014) Temperament and Personal Wellbeing in a Sample of 12 to 16-Year-Old Adolescents. *Applied Research Quality Life*. Vol. 9. No. 2. P. 355—366. <https://doi.org/10.1007/s11482-013-9242-x>.

Wilson W. (1967) Correlates of Avowed Happiness. *Psychological Bulletin*. Vol. 67. No. 4. P. 294—306. <https://doi.org/10.1037/h0024431>.

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1261



Л. М. Дробижева

СМЫСЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН

Правильная ссылка на статью:

Дробижева Л. М. Смыслы общероссийской гражданской идентичности в массовом сознании россиян // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 480—498. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1261>.

For citation:

Drobizheva L. M. (2020) The Meanings of All-Russian Civic Identity in Russian Mass Consciousness. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 480—498. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1261>. (In Russ.)

СМЫСЛЫ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН

THE MEANINGS OF ALL-RUSSIAN CIVIC IDENTITY IN RUSSIAN MASS CONSCIOUSNESS

ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических наук, руководитель Центра исследования межнациональных отношений, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия; профессор департамента социологии факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-MAIL: drobizheva@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2869-5388>

Leokadiya M. DROBIZHEVA^{1,2} — Dr. Sci. (Hist.), Head of Center for the Study of Interethnic Relations; Professor at the School of Sociology, Faculty of Social Sciences

E-MAIL: drobizheva@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2869-5388>

¹ Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

² National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia

Аннотация. На материалах мониторингового исследования Федерального агентства по делам национальностей, выполненного Всероссийским центром изучения общественного мнения по общероссийской выборке (2000 респондентов), анализируется значимость интегрирующих представлений об общем государстве, территории, историческом прошлом, культуре, гражданских ценностях. Показано, что российская идентичность формировалась не только государством, но и усилиями самого общества. В современных условиях наиболее широко распространен тип государственной идентичности, связанный со страновыми и территориальными представлениями, и меньше — историко-культурный и гражданский.

Идентифицирующие паттерны динамичны и корреспондируют в представлениях людей. Акцентируются множественность идентичностей и совмещение российской и этнической идентично-

Abstract. Based on the data of a tracking study initiated by the Federal Agency for Ethnic Affairs and conducted by the Russian Public Opinion Research Center with a Russian nationwide sample of 2,000 respondents, the paper analyzes the importance of collective representations of a common state, territory, historical past, culture and civic values. The study shows that the Russian identity was not only formed by the state but also by the efforts of society itself. Today the type of national identity related to country-specific and territorial representations is the most common, whereas the historical cultural and civic type is less widespread.

The identifying patterns are dynamic and consistent with people's representations. The paper puts an emphasis on multiple identities and a combination of Russian and ethnic identities and shows that the variability in the Russian identity content is manifested to a greater extent in the assessment of how important the identification based on a common state is

стей. Показано, что вариативность содержания российской идентичности в наибольшей мере проявляется в оценке значимости идентификации на основе общего государства и в наименьшей — исторического прошлого. Содержание российской идентичности сходно среди жителей городов и сел, выделяются только крупные города, жители которых большее значение придают исторической и культурной составляющей. Доля людей, ощущавших связь с гражданами России, увеличилась с 84% в 2016 г. до 91% в 2019 г. Среди людей с сильной (актуальной) идентичностью несколько больше молодых и образованных, ориентированных на межэтническое согласие и доверие, но при этом не более трети россиян чувствуют ответственность за судьбу страны. Задачей государства и общества является формирование гражданского сознания, ответственности за позитивную направленность общероссийской идентичности.

Ключевые слова: общероссийская гражданская идентичность, интегрирующие представления, идентификаторы общероссийской идентичности, государственно-гражданская идентичность

and to a lesser extent in the historical past. The content of the Russian identity is similar among the inhabitants of urban and rural areas; only large cities stand out as their inhabitants pay more attention to historical and cultural components. The share of those who have a sense of connection to the Russian citizens has increased from 84% in 2016 to 91% in 2019. Of persons with strong (relevant) identity, there is a slightly bigger share of young and well-educated persons who are oriented towards interethnic accord and trust; however, at most one-third of Russians feel responsibility for the country's future. One of the tasks of the state and society is to form a civic consciousness, responsibility for an upward trend in the Russian nationwide identity.

Keywords: All-Russian civic identity, integrating representations, identifiers of all-Russian identity, national and civic identity

Введение

Обсуждение проблем российской идентичности актуализировалось в 2012 г. в связи с принятием Стратегии государственной национальной политики до 2025 г.¹ (далее — Стратегия), когда дебатировалось включение в нее понятия «многонациональный российский народ (российская нация)», и впоследствии в 2017—2018 гг. в связи с готовящимися изменениями в Стратегию. Программа реализации Стратегии в качестве одного из первых показателей включает в себя укрепление единства многонационального народа России (российской нации),

¹ Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года // Президент России. 2012. 19 декабря. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (дата обращения: 04.08.2020).

общероссийской гражданской идентичности. Тема общероссийской идентичности актуализировалась еще и в связи с внесением поправок в Конституцию РФ. Связанные с этим дискуссии обострили восприятие обществом политических и научных терминов, одной из причин чего является использование в научном и публичном пространстве разных терминов — государственная, гражданская, российская, русская, общероссийская идентичность, с наделением их в чем-то сходными и в то же время различающимися смыслами. В такой ситуации важно разделять и разъяснять значения этих понятий, а для этого необходимо изучать смыслы, которые вкладывают россияне в понимание своей идентичности.

Изучение общероссийской гражданской идентичности ведется специалистами разных областей. Инициатором таких исследований был В. А. Тишков, опубликовавший в 1989 г. статью «О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений», после которой российская идентичность рассматривалась в этнополитическом фокусе, главным образом в соотношении с этнической идентичностью [Тишков, 1989]. В середине 1990-х годов социологи стали изучать общероссийскую гражданскую идентичность в ряду других коллективных макроидентичностей как индикатор состояния общества, солидарных тенденций в ней [Данилова, 2000; Гудков, 2004]. В 2000-е годы социологи сделали попытку показать российскую идентичность через раскрытие таких аспектов, как патриотичность, распространность демократических ценностей, ориентация на рыночные отношения [Российская идентичность..., 2005], а также изучили, как соотносятся гражданская, этническая и региональная идентичности [Гражданская, этническая и региональная..., 2013]. В то же время политологи разрабатывали понятия государственной, гражданской идентичности, показали, как формировались представления о гражданской идентичности в мировой политической науке, проанализировали ее интерпретацию в разных странах [Перегудов, Семененко, 2008; Паин, Федюнин, 2017]. Этносоциологи исследовали содержание и динамику общероссийской и этнической идентичностей, их соотношение, интенсивность и конфликтность, возможности их совмещения, влияние гражданской идентичности на межэтнические (межнациональные) отношения [Дробижева, 2008]. В западной социологии основные проблемы национальных идентичностей обсуждались в связи с притоком инокультурных мигрантов, с определением места этнонациональных сообществ (шотландцы, баски) и иммигрантских меньшинств, с вопросами соотношения республиканского равенства и коллективных «культурных прав», считавшихся ранее частным делом, с соединенностью европейского гражданства и национальных гражданств [Плассро, 2018: 22—23; Col, 2013; Swann et al., 2009].

В российском обществе в публичном и междисциплинарном научном пространстве споры фокусировались вокруг трех вопросов: можно ли российскую идентичность называть гражданской? какие в ней солидаризирующие смыслы? как она соотносится с этнической идентичностью? Цель данной статьи — раскрыть солидаризирующие представления, смыслы общероссийской идентичности и оценить, имеют ли теоретические представления и доктринальные формулировки общероссийской идентичности основание в массовом сознании. В статье будут проанализированы сложившиеся определения общероссийской гражданской идентичности в официальном доктринальном пространстве и представления

об интегрирующей идентичности в массовом сознании, в его пространственном и социально-демографическом измерении.

Идентичность граждан страны рассматривается нами как отождествление себя с общностью, представления о ней, эмоциональное переживание этих представлений (гордость, патриотизм) и готовность к действию. Предметом нашего анализа являются объединяющие представления россиян при их идентификации как граждан России. Этот комплекс представлений, образов формируется в процессе социализации людей институтами общества, государства, семьей, сферой образования, СМИ, интернет-ресурсами. Формирование интегрирующей связи граждан не только задача государства, но и потребность общества, заинтересованного в самопонимании, а в какие-то моменты — и в значимой солидарности.

Методология и методы

В методологии исследования мы исходим из нескольких подходов. Социально-психологическое направление анализа опиралось на идеи Г. Тэджфела, Дж. Тернера, Д. Г. Мида, Э. Эриксона, Ч. Тилли [Tajfel, Turner, 1986; Mead, 2015; Erikson, 1963; Тилли, 2010]. Идентификацию мы рассматриваем как динамичный, интерактивный процесс. Российская идентичность — коллективная, поэтому нам важны идеи М. Вебера [Weber, 1968] о коллективных представлениях, убеждениях, целях, ценностях, символах, формирующих идентичность, а также идеи Т. Парсонса [Parsons, 1991] о политических акторах и интересах участников интеграции, конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана [Бергер, Лукман, 1995], идея множественной идентичности — особенно в эпоху текучей современности [Бауман, 2008], коммуникативная концепция К. Дейча [Deutsch, 1969] об отношениях между обществом и государством, теория социального факта Э. Дюркгейма [Дюркгейм, 2008] и активистско-деятельностный подход М. Арчер, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, В. Ядова [Archer, 1998; Giddens, 1991; Habermas, 1984; Ядов, 1995]. Таким образом, наша методология является синтезированной, именно она дает возможность представить изучаемую идентичность динамичной, включенной в социальные и политические контексты и в социокультурном ракурсе.

Эмпирической базой исследования были два источника:

1. Количественное исследование, выполненное ВЦИОМ по заказу ФАДН России осенью 2019 г. в рамках реализации социологического мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений².

В исследовании опрашивались респонденты старше 18 лет, постоянно проживающие/зарегистрированные на территории России. Объем выборочной совокупности — 2000 человек. Репрезентативная выборка строилась на основании данных Росстата (переписи населения за 2010 г.) и включала 200 кластеров (точек отбора), была многоступенчатой, стратифицированной и случайной с элементами целенаправленного отбора. Выборка репрезентирует население РФ в целом и национальности в соответствии с их представленностью в отобранных кластерах. Опрос проводился в форме личных интервью по месту жительства респондента методом CATI (на планшетах).

² В разработке программы опроса и написании отчета автор принимала участие.

Инструмент опроса помимо других показателей включал показатели общероссийской гражданской, региональной, этнической и религиозной идентичности.

2. Качественные интервью с экспертами, полученными в ходе исследований межнациональных (межэтнических) отношений, проведенные Центром исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН совместно с национальным агентством «Информационный центр при главе республики Саха (Якутия)» и Центром по изучению дискриминации, экстремизма и ксенофобии РТ (на базе Казанского федерального университета) в 2019 г. Экспертами выступали специалисты, работающие в сфере межэтнических отношений, преподаватели вузов, работники управленческих структур, журналисты, представители общественных объединений. Всего было взято 30 полуструктурированных интервью в республиках и 20 — в Москве. В гайдах интервью экспертов просили ответить, какие смыслы они вкладывают в понимание гражданской идентичности; что респонденты имеют в виду, называя государство объединяющим в российской идентичности; что они видят общего в российской культуре, способного объединить людей разных национальностей; что в истории способно служить интегрирующим в российской идентичности. Вопросы были направлены на раскрытие содержания смыслов общероссийской идентичности, ее составляющих (см. [Межнациональные отношения..., 2019]).

В гипотезах мы исходим из того, что институциональные паттерны, официальные, доктринальные нормы, определения и элитные дискурсивные практики — динамичны, ситуативны, а реальные нормы и практики в повседневной жизни могут с ними не во всем совпадать и даже находиться в противоречии. Это отражается в социальных представлениях и чувствах. В массовом сознании закрепляются конструируемые паттерны, опирающиеся на исторически сложившиеся в повседневной практике людей представления.

Представления о себе формируются в противопоставлении с другими и зависят от конкретных ситуаций, от поддерживаемых государством и обществом паттернов, от акцентирования особенностей или сходства внутри «образа мы» и между ним и другими. В исследованиях общероссийской идентичности мы стремимся представить и дискурс официальный, и разных политических сил, и сложившихся представлений людей [Гражданская, этническая и региональная..., 2013]. В данной статье мы сосредоточимся на оценках представлений, объединяющих россиян в их идентичности.

Представления о российской идентичности в официальном дискурсе и массовом сознании

В Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. с изменениями, внесенными Указом Президента РФ в декабре 2018 г., общероссийская гражданская идентичность (гражданское самосознание) определяется как «осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценностям российского общества»³. Это определение российской гражданской

³ Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года // Президент России. 2012. 19 декабря. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (дата обращения: 04.08.2020).

идентичности соответствует положениям Конституции РФ 1993 г. и правовым актам, принятым в России⁴.

Идентичность в таком определении — это не только лояльность государству, его правовым нормам, но и консолидация с гражданами страны, их готовность участвовать в принятии политических решений и брать ответственность за дела в стране. Гражданская идентичность опирается как на институты гражданского общества, так и на вовлеченность граждан в различные формы самоорганизации (НКО, волонтерская работа, инициативы местных сообществ). Она является отражением в сознании граждан политической нации. Общероссийская идентичность включает не только государственную, гражданскую составляющую, но и историко-культурную, опирается на историческую память народа и представления об общих элементах в культуре и ценностях [Гражданская, этническая и региональная..., 2013]. В Стратегии государственной национальной политики говорится: «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты... современное российское общество объединяет единый культурный код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации... интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру»⁵.

Естественно, нормативное определение — это не какая-то закреплённая в сознании людей структура, такой мы ее видим только в дискурсивных категориях. Представления в сознании людей могут в чем-то совпадать, а в чем-то различаться, элементы таких представлений могут перекрещиваться друг с другом (например, идентификация по государству и территории, по территории и стране). И важно понимать, какие смыслы имеют реальные основания в представлениях людей.

Поэтому в исследовании ФАДН — ВЦИОМ выясняли масштабы идентификации с гражданами России, актуализацию общероссийской идентичности. Индикатором служили ответы респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, насколько часто, иногда или никогда вы ощущаете общность с гражданами России?» По результатам опроса ФАДН — ВЦИОМ, 91 % жителей России идентифицируют себя как граждане России, при этом 67 % ощущают общность с гражданами России часто⁶.

Затем мы выясняли основания, по которым люди идентифицируют себя с гражданами России. Полученные результаты дают основания представить содержательное наполнение консолидирующих представлений в общероссийской идентичности. При ответе на вопрос, что больше всего их объединяет с другими гражданами России, респонденты чаще называли общее государство (56 %) (см. рис. 1).

⁴ Автор принимала участие в разработке данного понятия как член Совета по Проблемам этничности и межнациональных отношений при Президиуме РАН и член рабочей группы Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

⁵ Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года // Президент России. 2012. 19 декабря. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (дата обращения: 04.08.2020).

⁶ Существенно выросли с 2016 г. показатели актуальной российской идентичности с 36 % до 67 %, то есть на 31 п. п. Но надо иметь в виду, что это общероссийское исследование и доминируют в нем русские.



Рис. 1. Консолидирующие индикаторы в российской идентичности, в % от опрошенных

В количественном опросе у нас не было возможности спросить, что люди имеют в виду, называя категорию «общее государство» объединяющим фактором. В интервью с экспертами присутствовал такой нарратив:

...Понимают гражданскую идентичность как гражданскую принадлежность. (Общественный деятель, Москва)

...Граждан объединяет само государство... У нас государственность усиливается... Гражданская идентичность — она больше ассоциируется с какими-то правовыми вещами, соблюдением законов. (Специалист в сфере межнациональных отношений, Казань)

Государство люди видят объединяющим потому, что они живут по законам этого государства. (Специалист — эксперт в области права, Москва)

Академик В. А. Тишков писал о лояльности государству как одном из важнейших показателей российской идентичности [Тишков, 2009: 560—561]. Политолог М. В. Ремизов, наоборот, сомневался, что государство может быть объединяющим фактором. Его довод состоял в том, что была империя, которую сменила советская власть, советское государство, а потом и оно сменилось, а с предшествующими поколениями нас соединяет культура⁷. Это расхождение в общественном дискурсе достаточно принципиальное. Если в российской идентичности доминирует культура, то тогда она не соответствует доктринальным документам — Стратегии государственной национальной политики и Конституции РФ 1993 г., где присут-

⁷ Нужен ли закон о российской нации народам России и русскому народу в частности? Выпуск программы «Что делать?» // Телеканал «Россия — Культура». 2016. 3 декабря. URL: https://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1433092/brand_id/20917/ (дата обращения: 03.08.2020).

ствуует государственно-гражданская составляющая, поэтому полученные в ходе опроса данные о значимости государства как интегратора имели принципиальное значение.

Вторым по значимости объединяющим фактором является русский язык (46%). Возможно, это четко осознаваемый идентификатор, потому что общение людей разных национальностей на русском — очевидно наблюдаемая повседневная практика. Отметим, что и в общероссийских опросах Института социологии 2015 г. этот фактор был столь же значимым [Дробижева, Рыжова, 2015].

Далее по частоте выбора идут «территория, родная земля, природа» (40%). Представления о территории в известной мере корреспондируют с восприятием территории государства. Но из бесед с интервьюируемыми было очевидно, что нередко территория совмещается с представлением о стране, хотя это и не тождественные понятия.

Я россиянин... гражданин страны, я же живу на территории России. (Журналист, Москва)

Я идентифицирую себя со своей страной в ее границах, с ее природой. (Преподаватель вуза, Казань)

Есть чувство родины, своей страны... (Ученый, преподаватель, Москва)

Образы страны, территории, Родины часто объединяются в восприятии респондентов, особенно когда они сравнивают себя с другими. Они обычно возникают в сравнительной перспективе: «мы среди других», «мы не такие, как они» или, наоборот, «да, мы такие же, как другие страны».

Следующие объединяющие представления связаны с историей и культурой. Лишь 38% респондентов считают представления об историческом прошлом одним из основных объединяющим россиян основанием. Разность поколенческого и социально-политического восприятия событий людьми делает пока мало интегрирующим историческое прошлое, хотя во время интервью встречались следующие мнения:

История, территория, культура — они наполнены смыслами, эмоциями, вот как раз они объединяют людей страны. (Эксперт-специалист, Казань, 2019)

Ощущение сопричастности к большой стране с великой историей — это важный фактор, чтобы чувствовать себя гражданами России. (Специалист, Якутия, 2019)

Культуру в качестве одного из трех наиболее важных объединяющих для граждан России признаков назвали 34% респондентов. Эксперты также говорят о культуре как об объединяющем факторе: «наше культурное наследие», «искусство, литература», «Пушкин, Достоевский, Толстой это — то, с чем мы входим в мировую культуру» (журналист, Москва), «...у нас была общая культура — Шукшин, Айтматов, Расул Гамзатов... теперь не знаю, наверное, должна быть» (преподаватель, Казань).

Важный индикатор гражданской составляющей российской идентичности — ответственность за дела в стране, ее назвали 27 % респондентов. У этнополитологов есть сомнения, можно ли общероссийскую идентичность считать гражданской, поскольку гражданское общество нельзя считать сложившимся [Паин, Федюнин, 2017]. Анализ идентифицирующих представлений свидетельствует о невысоких показателях гражданского сознания, но в интервью с экспертами встречались мнения: «быть россиянином <...> быть активным гражданином — значит участвовать в жизни своего города, своего района. Жизнь страны, ее судьба зависит от ее жителей» (общественный деятель, Якутск), «есть некие общегосударственные цели, мы должны видеть, что есть общие цели, и как сограждане стремиться их решать» (эксперт-специалист, Казань). Гражданское сознание связано и с выполнением норм и правил, которые не были включены в опросный лист, и потому вопрос этот требует дальнейшего изучения. Но очевидно, что в массовом сознании общероссийская идентичность опирается не только на историю и культуру. Символы государства — флаг и герб — среди важных индикаторов российской идентичности назвали совсем немногие.

Далее рассмотрим некоторые факторы, которые могут определять разнообразие восприятия консолидаторов российской идентичности.

Общность и разнообразие идентификационных представлений в разных пространствах

Рассмотрим различия в восприятии объединяющих факторов в разных пространствах: этнических, по месту проживания, типу поселения, возрасту, профессиональной деятельности и образованию. Опрос, проведенный ВЦИОМ, был общероссийским, однако в нем репрезентативно были представлены русские, а люди других национальностей могут быть рассмотрены только как объединенные в один кластер. Как и можно было ожидать, для русских «общее государство» имеет меньшее объединяющее значение, чем для представителей иных национальностей: 55 % против 62 % (см. рис. 2). В российских республиках это основание — еще более распространенный индикатор российской идентичности. В опросах Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН в 2010—2018 гг. в Башкортостане, Карелии, Татарстане, Саха (Якутии) этот фактор называли 75 %—80 % респондентов.

В представлении русских для объединения более значим русский язык (возможно, из-за статусности или обсуждения языковых проблем в республиках) и несколько важнее общие обычаи, культура и праздники. Люди других национальностей реже выбирали этот пункт. Отметим, что категория «культура» многогранна, одни респонденты подразумевают под этим ответом искусство и литературу, другие — нормы поведения.

По результатам опроса, такой индикатор гражданской идентичности, как чувство ответственности за судьбу страны, выбрали 27 %. Значимость этого индикатора среди людей разных национальностей практически не различается.

Если рассмотреть содержательное наполнение общероссийской идентичности по федеральным округам, то различия наиболее заметны по таким основаниям, как «общее государство» и «ответственность за дела в стране» (см. табл. 1).

Возможно, более низкая интегрированность по категории «общее государство» в Северо-Западном федеральном округе связана с большими запросами населения по отношению к государственным институтам. В этом округе немного больше (так же, как и в ЦФО) идентификация на основе русского языка.

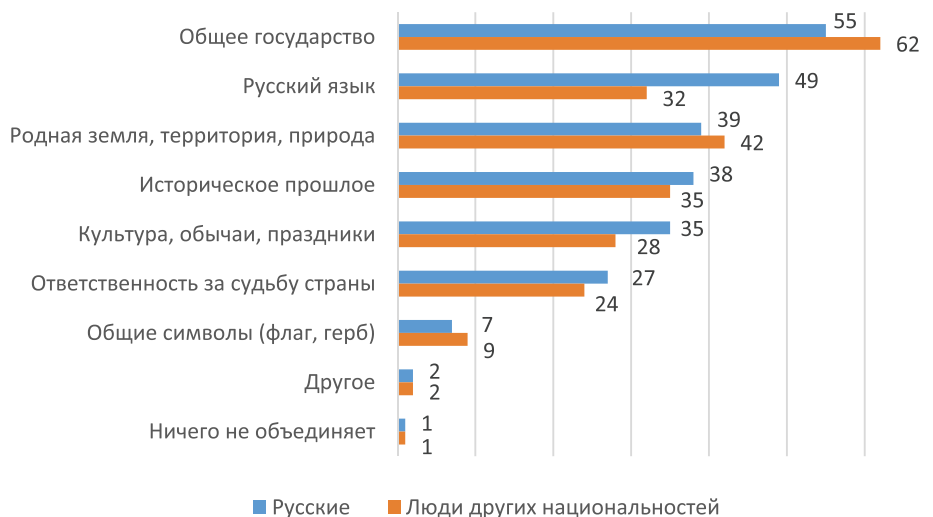


Рис. 2. Различия в распространённости консолидаторов российской идентичности в представлениях русских и людей других национальностей, в % от опрошенных

Таблица 1. **Консолидирующие индикаторы общероссийской идентичности по федеральным округам, в % от опрошенных**

Ответы на вопрос: «Что Вас объединяет с гражданами России?»	ДФО	ПФО	СЗФО	СКФО	СФО	УФО	ЦФО	ЮФО
Общее государство	59	56	44	74	62	63	55	48
Ответственность за судьбу страны	24	30	26	9	27	33	27	27
Историческое прошлое	37	35	35	39	40	36	38	43
Родная земля, территория, природа	53	47	37	37	41	41	33	40
Русский язык	47	41	52	35	45	36	54	46
Культура, обычаи, праздники	41	34	38	18	33	28	37	35
Общие символы (флаг, герб)	4	6	7	20	8	5	5	7
Ничего не объединяет	0	1	1	0	1	0	1	1
Другое	0	1	2	0	1	1	0	1
Затрудняюсь ответить	0	1	2	2	0	2	2	2

Казалось бы, в ЦФО и СЗФО с более высокой степенью урбанизации территории и большей долей людей с высшим образованием должен быть более значим идентификатор именно гражданской идентичности — ответственность за дела в стране. Но он в этих округах на среднем по стране уровне, за исключением Северо-Кавказского федерального округа (9%). Возможно, такие невысокие показатели гражданской ответственности за судьбу страны в республиках СКФО связаны с постконфликтным синдромом, протестными эмоциями против того, что люди из этих республик за пределами своего региона нередко воспринимались в негативных образах, а возможно, в силу локализации общественного сознания. Показатель ответственности за судьбу страны чуть выше в Уральском федеральном округе (33%) и Приволжском Федеральном округе (29%), что, возможно, связано с общей гражданской активностью в этих регионах. Менее различается по округам выбор такого идентификатора российской идентичности, как «историческое прошлое».

Дополнительного изучения требует вопрос, почему наиболее сильные интеграторы — общее государство, русский язык, «территория, родная земля» — больше различаются по округам (в пределах 18—20 п.п), чем другие, менее значимые интеграторы российской идентичности — историческое прошлое, символы (флаг, герб) и ответственность за судьбу страны (в пределах 4 п.п.).

Содержание общероссийской идентичности у жителей городов и сёл принципиально не различается: и у тех, и у других доминирует государственная идентичность (см. табл. 2).

Таблица 2. Консолидирующие индикаторы общероссийской идентичности в селах и городах с разной численностью населения, в % от опрошенных

Ответы на вопрос: «Что Вас объединяет с гражданами России?»	Города более 1 млн чел.	Города от 500 тыс. до 1 млн чел.	Города от 100 до 500 тыс. чел.	Города от 50 до 100 тыс. чел.	Города менее 50 тыс. чел.	ПГТ	Сёла
Общее государство	60	49	57	59	56	59	54
Ответственность за судьбу страны	26	25	27	27	29	35	24
Историческое прошлое	43	39	42	40	32	28	33
Родная земля, территория, природа	41	43	32	35	42	42	45
Русский язык	56	37	44	47	44	44	42
Культура, обычаи, праздники	34	39	34	28	37	30	32
Общие символы (флаг, герб)	6	10	7	6	7	6	8
Ничего не объединяет	1	0	1	1	0	1	1
Другое	1	1	1	1	1	0	1
Затрудняюсь ответить	0	1	2	1	1	0	2

Консолидирующие индикаторы в разных типах поселений достаточно сходны. После общего государства на втором или третьем месте в городах разного типа респонденты называли русский язык, историческое прошлое или территорию. На четвертом-пятом местах — культура, обычаи, праздники. Только в городах от 500 тыс. до 1 млн человек культура, история и язык имеют практически равные значения (37 %—39 %), поэтому в них ответственность за судьбу страны стоит на четвертом месте, хотя по значимости уступает показателям в других городах.

По численным значениям и ранжированию индикаторов, объединяющих в российской идентичности, жители сёл, поселков городского типа и небольших городов очень незначительно отличаются от жителей более крупных поселений. Только индикатор «родная земля, территория, природа» более распространен среди жителей сёл (45 % при 32 %—43 % в городах). Города с населением более 1 млн выделяются относительно более высокими показателями идентификации по государству и общему русскому языку. По всем другим показателям города разного типа достаточно схожи.

Представления о российской идентичности не сильно различаются среди людей разных возрастов. Однако молодежь в возрасте 18—24 лет чаще, чем все другие, идентифицирует себя с гражданами России по признаку общего государства (см. рис. 3).

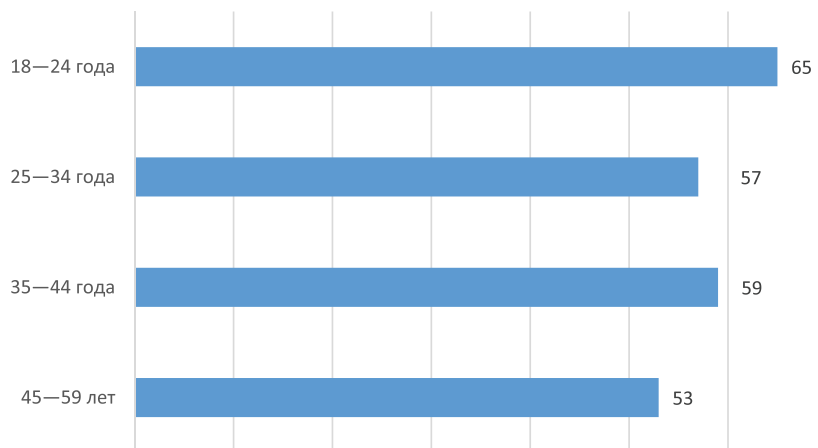


Рис. 3. Государство как идентификатор в возрастных группах, в % от опрошенных⁸

В других возрастных группах заметных различий в выборе конкретных идентификаторов с гражданами России нет. Несколько выделяются люди в возрасте 45—59 лет, они реже выбирают такие основания, как культура, обычаи, традиции (их выбрало 32 %, в то время как среди молодых возрастных групп их выбирали 37 %—40 %). Люди среднего возраста пережили период зрелого осмысления своей идентичности в годы, которые многие называют вслед за П. Штомпкой периодом травм для стран постсоветской системы, когда пересматривались и события про-

⁸ Выбор в вопросе: «Что Вас больше всего объединяет с гражданами России?» ответа «общее государство».

шлого, и ценности, и культурное наследие. Индикатор гражданской составляющей российской идентичности — «ответственность за судьбу страны» — выбрали не более четверти во всех группах.

Насколько связаны уровень образования и объединяющие представления общероссийской идентичности? Вопреки ожиданиям, существенных различий в представлениях людей разного уровня образования в том, что их объединяет с гражданами России, по данным опроса не обнаружилось. Более образованные отличаются несколько более частым выбором такого интегратора, как культура, обычаи, праздники (на 7 п. п. в сравнении с имеющими начальное и неполное среднее образование) и значительно более частым выбором общего исторического прошлого в качестве объединяющего основания (на 19 п. п. в сравнении с людьми, имеющими неполное среднее и неполное высшее образование).

При анализе данных обращает на себя внимание то, что рейтинг значимости консолидирующих индикаторов российской идентичности у людей с разным уровнем образования одинаковый, кроме имеющих высшее образование. Среди них большее значение получило историческое прошлое. В каком значении они понимают это объединяющее историческое прошлое, требует дополнительного изучения.

Значимое разнообразие представлений об объединяющих факторах общероссийской идентичности зафиксировано у людей, различающихся по профессиональной деятельности. Среди квалифицированных рабочих больше на 10 п. п. выбравших историческое прошлое, а среди неквалифицированных — на 6 п. п. больше выбравших государство как объединяющее в российской идентичности (см. табл. 3). В целом рабочие на 12—18 п. п. реже, чем специалисты бюджетной сферы (врачи, учителя, библиотекари, научные сотрудники), выбирали культуру и общее государство (последнее касается квалифицированных рабочих). У квалифицированных рабочих низкие значения выбора государства как интегрирующего фактора российской идентичности. Возможно, это связано с тем, что современным государством они, в отличие от советского прошлого, не выделяются как особо почитаемый класс. К тому же часть рабочих меняли специализацию, работают не на современных производствах и ощущают неравенство [Фадеев, 2017].

Таблица 3. Интегрирующие факторы российской идентичности по профессиональным группам, в % от опрошенных

Что Вас объединяет с гражданами России	Квалифицированный рабочий	Неквалифицированный рабочий	Служащие без высшего образования	Специалист с высшим образованием в коммерческом секторе	Специалист с высшим образованием — бюджетник
Общее государство	53	60	57	60	61
Ответственность за судьбу страны	22	22	26	26	26
Историческое прошлое	39	29	40	39	49
Родная земля, территория, природа	39	43	41	43	44

Что Вас объединяет с гражданами России	Квалифицированный рабочий	Неквалифицированный рабочий	Служащие без высшего образования	Специалист с высшим образованием в коммерческом секторе	Специалист с высшим образованием — бюджетник
Русский язык	41	40	51	56	44
Культура, обычаи, праздники	34	28	41	36	46
Общие символы (флаг, герб)	8	10	6	3	3
Ничего не объединяет	1	0	3	1	0
Другое	1	2	0	0	0
Затрудняюсь ответить	2	1	1	0	0

Заключение

Состояние общества, благополучие народа, экономический рост, качество жизни — все это во многом зависит от того, насколько граждане чувствуют свою общность и ответственность за судьбу своей страны. Исследования показывают, что российская идентичность становится не только масштабнее, но и актуализируется. Число людей, отвечающих, что они часто ощущают связь с гражданами России, растет: в 2016 г. — 36 %, в 2019 — 67 %. Возможно, причина этому — сравнение себя с другими (Украиной, США, сюжеты о которых не сходят с телеэкранов), а также сопоставление своей жизни с прошлым советским опытом. Это подтверждает вывод Ю. Хабермаса: государство формирует идентичность, но и общество известным образом порождает свою идентичность [Хабермас, 1999: 8].

Гипотеза о несовпадении дискурсивных практик и реальных представлений нашла подтверждение в данном исследовании. Некоторые публичные политики и ученые считают, что нас не может объединять государство в силу его изменения в 1917 г. и 1991 г.⁹ или в силу непопулярности его институтов (суды, парламенты) [Паин, Федюнин, 2017]. Однако тех, кто не идентифицирует себя с гражданами страны, по данным опроса, не более 10 %, а по общему государству идентифицируют себя 56 %. Как показали результаты опроса, россиян объединяют прежде всего представление об общем государстве, русский язык, а также «территория, родная земля, природа». Затем следуют историческое прошлое и культура. Таким образом, в частной жизни человек живет своими повседневными заботами, но это не ослабляет его связь с обществом, с государством, и эта связь в той или иной мере проявляется в его идентичности.

Исследование подтвердило, что общероссийская идентичность в большей степени государственная, и это проявляется в первую очередь в ее функции интеграции полиэтничного общества. Около трети респондентов — люди с гражданским типом идентичности. Возможно, эта доля и больше, потому что идентификатором граждан-

⁹ Нужен ли закон о российской нации народам России и русскому народу в частности? Выпуск программы «Что делать?» // Телеканал «Россия — Культура». 2016. 3 декабря. URL: https://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1433092/brand_id/20917/ (дата обращения: 03.08.2020).

ской идентичности выступает не только выбор позиции «ответственность за судьбу страны», но и в известной мере лояльность конституционным нормам. Таким образом, общероссийская идентичность по результатам количественных опросов в основном государственно-гражданская. Примерно у трети россиян историко-культурная идентичность, она наполняется преимущественно представлениями об общем историческом прошлом и культуре, праздниках, обычаях. Естественно, такая типологизация условна и у большинства совмещаются какие-то фрагменты представлений и о стране, государстве, территории, и о культуре, истории. Это — типологизация распространенности идентичностей, а не типов людей с той или иной идентичностью.

Исследованием зафиксирована довольно сильная вариативность представлений о государственной идентификации по месту проживания. Это может интерпретироваться как сигнал дистанцированности, но, судя по степени урбанизированности жителей округов, население которых выделило этот фактор как не столь значимый для них, такая оценка может быть связана с более высокими запросами к деятельности государственных институтов.

Вопреки ожиданиям, образование вносит дифференциацию только в более частый выбор (на 19 п. п.) «исторического прошлого» как объединяющего среди людей с высшим образованием. Поколение, взросление которого пришлось на 2000-е годы, не выделяется в своих представлениях, объединяющих с гражданами России. Только самые молодые (18—24 года) несколько чаще называли объединяющим «общее государство».

Хотя общероссийская идентичность не сильно варьируется по поколениям и среди людей с разным уровнем образования и социально-профессиональной деятельности, анализ корреляции по критерию Хи-квадрат Пирсона фиксирует, что эта идентичность связана и с возрастом, и с образованием. Заметнее это проявляется среди тех, кто часто ощущает связь с гражданами России, — среди россиян с актуальной идентичностью. Они несколько моложе, образованнее, чаще ориентированы на межэтническое согласие, доверие людям, справедливость, равенство возможностей, что фиксируется результатами данного опроса ВЦИОМ.

Для лучшего понимания смыслов, которые вкладывают люди при идентификации себя с гражданами России, необходимо дополнительное их изучение качественными методами. Респонденты чаще говорят о Родине, об общих для всех событиях, воспоминаниях об Отечественной войне, послевоенных трудностях, и реже — о морально-этических установках, совершенствовании наших общественных отношений, гуманном отношении между людьми, доверии, долге. И в этом плане глубинные интервью подтверждают нашу гипотезу о несовпадении институциональных паттернов и реальных практик повседневной жизни.

Государственные институты выполняют свою миссию по формированию национально-государственной идентичности. Корректируются программы школьного образования в соответствии с государственными документами, на телевидении появились специальные программы, разъясняющие Стратегию государственной национальной политики, меняется язык СМИ, журналисты чаще используют понятие нации в значении политической, а не этнокультурной общности, там, где есть возможность, избегают дистанцирующих понятий — национализм, этническая группа. Но если государственные институты действительно ориентированы на укрепление

российской гражданской идентичности, то граждане должны почувствовать заботу о себе, увидеть, что государство гарантирует соблюдение их прав, оценивает их труд по достоинству. Государственный дискурс сильно ориентирован на героизацию исторического прошлого. Этим бывают озабочены все государства. Но эффект в формировании общих исторических объединяющих представлений пока проявляется только в оценке событий Великой Отечественной войны. Исследование показывает, что надо искать новые явления и события, способные выполнять интегрирующую функцию, чаще показывать возможность совмещения общероссийской идентичности с другими идентичностями, в том числе с позитивной этнической, региональной идентичностью. Это может сделать наше общество гуманнее и справедливее.

Список литературы (References)

- Бауман З. Текущая современность / пер. с англ. С. А. Комарова. СПб.: Питер, 2008. Bauman Z. (2008) *Liquid Modernity*. Saint Petersburg: Piter. (In Russ.)
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / пер. с англ. Е. Руткевич. М.: Медиум, 1995. Berger P., Luckmann T. (1995) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Moscow: Medium. (In Russ.)
- Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М.: РОССПЭН, 2013. Drobizheva L. M. (ed., 2013) *Civic, Ethnic and Regional Identity: Yesterday, Today, Tomorrow*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Гудков Л. Д. Негативная идентичность. Статьи 1997—2002 годов. М.: Новое литературное обозрение: ВЦИОМ-А, 2004. Gudkov L. D. (2004) *Negative Identity. Articles 1997—2002*. Moscow: New Literary Observer; VCIOM-A. (In Russ.)
- Данилова Е. Н. Изменения в социальных идентификациях россиян // Социологический журнал. 2000. № 3—4. С. 76—86. Danilova E. N. (2000) *Changes in the Social Identifications of Russians*. *Sociological Journal*. No. 3—4. P. 76—86. (In Russ.)
- Дробижева Л. М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. М.: Институт социологии РАН, 2008. Вып. 7. С. 214—228. Drobizheva L. M. (2008) *National-Civic and Ethnic Identity: Problems of Positive Compatibility*. In: Gorshkov M. K. (ed.) *Russia is Reforming. A Yearbook*. Moscow: Institute of Sociology of the RAS. No. 7. P. 214—228. (In Russ.)
- Дробижева Л. М., Рыжова С. В. Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России // Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 9—24. <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.05.03>. Drobizheva L. M., Ryzhova S. V. (2015) *Civic and Ethnic Identity and Perception of the Preferable State in Russia*. *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 9—24. <https://doi.org/10.17976/jpps/2015.05.03>. (In Russ.)

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с франц., составл., вступ. ст. и примеч. А. Гофмана. М.: Терра — Книжный клуб, 2008.
Durkheim É. (2008) *Sociology. Its Subject, Method, and Purpose*. Moscow: TERRA — Book Club. (In Russ.)

Межнациональные отношения в республиках Российской Федерации: пример Татарстана и Саха (Якутии). Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ) / под ред. Л. М. Дробижевой, С. В. Рыжовой. № 1. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. <https://doi.org/10.19181/INAB.2019.1>.

Drobizheva L. M., Ryzhova S. V. (eds., 2019) *Interethnic Relations in Republics of Russian Federation: An Example of Tatarstan and Sakha (Yakutia)*. Information and Analytical Bulletin (INAB). No. 1. Moscow: FCTAS RAS. <https://doi.org/10.19181/INAB.2019.1>. (In Russ.)

Паин Э. А., Федюнин С. Ю. Нация и демократия: перспективы управления культурным разнообразием. М.: Мысль, 2017.
Pain E. A., Fedyunin S. Yu. (2017) *Nation and Democracy: Cultural Diversity Management Perspectives*. Moscow: Mysl. (In Russ.)

Перегудов С. П., Семенов И. С. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и российские реалии. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
Peregudov S. P., Semenenko I. S. (2008) *Corporate Citizenship: Conceptions, International Practice and Russian Circumstances*. Moscow: Progress-Traditsiya. (In Russ.)

Плассро И. Гражданство/национальность на востоке и западе Европы: культурные заимствования или концептуальный тупик? // Свои и чужие. Метаморфозы идентичности на востоке и западе Европы / под ред. Е. И. Филипповой, К. Ле Торривеллека. М.: Горячая линия — Телеком, 2018. С. 10—27.

Plassro I. (2018) *Citizenship/Nationality in Eastern and Western Europe: Cultural Borrowing or Conceptual Deadlock?* In: Filippova E. I., Le Torrivellek K. (eds.) *Ours and Others. Metamorphoses of Identity in the East and West of Europe*. Moscow: Goryachaya Liniya — Telecom. P. 10—27. (In Russ.)

Российская идентичность в условиях трансформации: Опыт социологического анализа / отв. ред. М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. М.: Наука, 2005.
Gorshkov M. K., Tikhonova N. E. (eds., 2005) *Russian Identity under the Conditions of Transformation: An Experience of Sociological Analysis*. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650—2000 гг. / пер. с англ. А. А. Калинина. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2010.
Tilly Ch. (2003) *Contention and Democracy in Europe, 1650—2000*. Moscow: HSE Publ.

Тишков В. А. Национальная идентичность (о смысле дебатов) // Вестник российской нации. 2009. № 1. С. 107—117.
Tishkov V. A. (2009) *National Identity (on the Sense of Debates)*. *Bulletin of Russian Nation*. No. 1. P. 107—117. (In Russ.)

Тишков В. А. О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений // Советская этнография. 1989. № 5. С. 3—15.

Tishkov V. A. (1989) On new Approaches in the Theory and Practice of Interethnic Relations. *Soviet Ethnography*. No. 5. P. 3—15. (In Russ.)

Фадеев П. В. Факторы, обуславливающие межэтнические установки рабочей молодежи // Социология образования. 2017. № 5. С. 127—135.

Fadeev P. V. (2017) Factors Conditioning Interethnic Attitudes of Working Youth. *Sociology of Education*. No. 5. P. 127—135. (In Russ.)

Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Донецк: Донбасс, 1999.

Habermas J. (1999) In the Search for National Identity. Philosophical and Political Articles. Donetsk: Donbass. (In Russ.).

Ядов В. А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995. № 3—4. С. 9—20.

Yadov V. A. (1995) Social and Socio-Psychological Mechanisms of the Formation of a Person's Social Identity. *World of Russia*. No. 3—4. P. 9—20. (In Russ.)

Archer M. (1998) The Dubious Guarantees of Social Science: a Reply to Wallerstein. *International Sociology*. Vol. 13, № 1. P. 5—17.

Col A. (2013) Beyond Devolution and Decentralisation: Building Regional Capacity in Wales and Brittany. Manchester: Manchester University Press.

Deutsch K. (1969) Nationalism and Its Alternatives. New York, NY: Knopf.

Erikson E. H. (1963) Childhood and Society. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Giddens A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press. 256 p.

Mead G. H. (2015) Mind, Self, and Society: The Definitive Edition. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Habermas J. (1984) The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society: Vol. 1. Boston: Beacon Press.

Parsons T. (1991) The Social System. London: Routledge.

Swann W. B., Gómez Á., Seyle D. C., Morales J. F., Huici C. (2009) Identity Fusion: The Interplay of Personal and Social Identities in Extreme Group Behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 96. No. 5. P. 995—1011. <https://doi.org/10.1037/a0013668>.

Tajfel H., Turner J. C. (1986) The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In: Worchel S., Austin W. G. (eds.) *Psychology of Intergroup Relations*. Chicago, IL: Nelson-Hall. P. 7—24.

Weber M. (1968) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. New York, NY: Bedminster Press.

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1260



Е. Ю. Щеголькова

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКАХ РОССИЯН: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Правильная ссылка на статью:

Щеголькова Е. Ю. Межэтнические отношения в оценках россиян: социологический анализ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 499—520. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1260>.

For citation:

Shchegolkova E. Yu. (2020) Interethnic Relations in the Assessments of Russians: a Sociological Analysis. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 499—520. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1260>. (In Russ.)

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКАХ РОССИЯН: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЩЕГОЛЬКОВА Елена Юрьевна — научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: le_na_3@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6982-6674>

Аннотация. Статья ставит целью представить комплексную оценку межэтнических отношений в России, ориентируясь на основные целевые показатели, утвержденные в государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». На основе результатов социологического мониторинга Федерального агентства по делам национальностей России, реализованного Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2019 г., рассматривается оценка населением межнациональных отношений в стране в целом, в областях, краях, республиках, населенных пунктах разного типа. Анализируются установки людей по отношению к представителям другой национальности, факторы, определяющие межэтнические установки, готовность горожан и сельских жителей к взаимодействию с людьми другой национальности в разных сферах, причины, определяющие наличие или отсутствие дискриминации по национальному признаку.

Результаты исследования позволяют говорить о благожелательном межнациональном климате в стране: 78 % россиян оценивают межэтнические отношения в стране как доброжела-

INTERETHNIC RELATIONS IN THE ASSESSMENTS OF RUSSIANS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Elena Yu. SHCHEGOLKOVA¹ — Research Fellow
E-MAIL: le_na_3@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6982-6674>

¹ Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Abstract. The article aims to provide a comprehensive assessment of the interethnic relations in Russia with an emphasis on the key target indicators set by the state program “Implementation of State National Policy”. Based on the results of a tracking study initiated by the Russian Federal Agency for Ethnic Affairs and carried out by the Russian Public Opinion Research Centre in 2019, the article examines interethnic relations, as viewed by the population in general, in the oblasts, krais, republics, different types of localities across Russia. The analysis touches upon people’s attitudes towards other ethnicities, factors behind interethnic attitudes, readiness of urban and rural area inhabitants to interact with people of other ethnicities in different areas, and reasons defining the presence or absence of ethnicity-based discrimination.

The findings point to a favorable interethnic climate domestically: 78% of Russians consider that interethnic relations in Russia are favorable or normal; 87% of respondents do not have negative attitudes towards people of other ethnicities; 96% have not experienced ethnicity-related hostility. Using a scale of social distance to study interethnic relations the author has studied the

тельные и нормальные, зафиксированные межэтнические установки респондентов демонстрируют позитивный тренд — 87 % опрошенных не испытывают негативных чувств к людям иных национальностей и 96 % не чувствуют враждебного отношения к себе по этническому признаку. На основе метода изучения межэтнических отношений с помощью шкалы социальной дистанции исследовалась готовность к межэтническим взаимодействиям в трудовой и неформальной сферах. При общей благоприятной ситуации в межэтнических отношениях в статье обращается внимание на необходимость предупреждения межэтнических напряжений — обеспечения социальных лифтов, социальной справедливости, соблюдения прав граждан.

Ключевые слова: межэтнические отношения, межэтнические установки, межнациональное согласие, этнический негативизм, этнические убеждения

readiness for interethnic interactions in labor and non-formal spheres. The article highlights that with a generally favorable interethnic situation there is still a need to make more efforts aimed at promoting social elevators, ensuring social justice and respecting the rights of citizens to prevent interethnic tensions.

Keywords: interethnic relations, interethnic attitudes, interethnic accord, ethnic negativism, ethnic prejudice

Благоприятное развитие межэтнических отношений в условиях многонациональной страны является одним из важных факторов политической стабильности. В связи с этим особую актуальность приобретает социологический анализ состояния межэтнической ситуации в стране, а также межгрупповые отношения русских с людьми других национальностей, механизмы формирования межэтнических установок и пути создания условий наибольшего благоприятствования для межнационального согласия.

Реализация Стратегии государственной национальной политики РФ повысила спрос на изучение и представление общественному мнению результатов воплощения в жизнь ее целей и задач. Гармонизация межэтнических отношений, этнокультурное развитие народов, обеспечение прав и свобод независимо от этничности, расы и религии — относятся к числу первоочередных целей государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.¹ Поэтому

¹ Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года // Президент России. 2012. 19 декабря. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512> (дата обращения: 24.07.2020); Подписан Указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года // Президент России. 2018. 7 декабря. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/news/59348> (дата обращения: 24.07.2020).

социологическое изучение факторов и условий поддержания межэтнического согласия, предупреждение межэтнической напряженности — актуальные научные задачи, реализация которых имеет глубокую общественно-политическую значимость.

Межэтническим отношениям и установкам, поиску механизмов и путей их стабилизации посвящены работы представителей разных научных дисциплин. Осуществление анализа современных межэтнических отношений возможно на базе знаний, накопленных в зарубежной науке (У. Томас, Ф. Знанецки, Г. Олпорт, Т. Петтигрю, Л. Тропп и др.), а также на основе отечественных теоретических и эмпирических исследований в области этнологии, этносоциологии, этнополитологии, этнической психологии. Обращаясь к российской этносоциологии, можно выделить следующие основные направления исследований: проблемы межэтнических конфликтов, межэтнической напряженности и поиск способов их разрешения и поддержания межнационального согласия; вопросы взаимоотношений регионов и федерального центра; изучение социально-культурной дистанции при взаимодействии этнических групп, социально-психологических проблем этничности — национального самосознания, этнической идентификации и межэтнических стереотипов; анализ процессов миграций и адаптации мигрантов к новой социокультурной среде (Ю. В. Арутюнян, Е. А. Варшавер, Л. М. Дробижева, И. М. Кузнецов, Н. М. Лебедева, В. И. Мукомель, Э. А. Паин, С. В. Рыжова, Г. И. Солдатова, Т. Г. Стефаненко, З. В. Сикевич, В. А. Тишков и др.). Опыт этих исследований трудно переоценить, изучая межэтнические взаимодействия в современном обществе.

Большое количество исследований в области межэтнических отношений регулярно представляют ведущие центры изучения общественного мнения — ВЦИОМ, Фонд «Общественное мнение», «Левада-Центр» и другие исследовательские организации. Но число работ, поднимающих проблему особенностей межэтнических отношений и тенденций их развития в российских регионах и при этом ориентирующихся на целевые показатели государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики»², ограничено. Эти вопросы мы рассмотрим в статье, используя результаты наиболее представительных опросов общественного мнения в Российской Федерации.

Цель данной статьи — содействовать гармонизации межнациональных отношений посредством представления научно обоснованного анализа данных социологического мониторинга.

В соответствии с обозначенной целью определим следующие задачи исследования:

- получить оценку общего состояния межнациональной ситуации в Российской Федерации;
- выявить основные проблемы и факторы, влияющие на состояние межнациональных отношений;

² Данная программа направлена на практическую реализацию Стратегии государственной национальной политики. Постановление от 29.12.2016 № 1532 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» // Федеральное агентство по делам национальностей. 2016. 29 декабря. URL: http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/028/454/original/Государственная_программа.pdf?1484236417 (дата обращения: 24.07.2020).

- объяснить использование тех или иных индикаторов для оценки межнациональных (межэтнических) отношений, исходя из накопленного в мировой науке опыта.

О методологии изучения межэтнических установок

Межэтнические отношения изучаются через установки в концепции Г. Олпорта, развитой его последователями — Т. Петтигрю, Л. Тропп и др. в теориях контакта и коммуникации [Варшавер, 2015]. В ходе исследований было установлено, что контакты способны позитивно влиять на межгрупповые отношения при соблюдении некоторых условий. Например, они должны носить тесный и продолжительный, а не случайный характер. Контакты приводят к положительным результатам, если группы обладают сходным статусом; важен благоприятный социально-политический климат, обеспечиваемый властями и СМИ. Контакты между группами дают позитивный результат, если опыт был приятным для членов обеих групп; позитивным межгрупповым отношениям способствует совместная работа или какие-то общие цели [Amir, 1969]. Т. Петтигрю и Л. Тропп, обобщая данные исследовательских ситуаций в различающихся этнокультурных и политических контекстах, выделили основные объясняющие этнические предубеждения переменные, действие которых было неодинаковым в разных странах и при разных типах контактов: переменные социального контекста; показатели, характеризующие социальные, социально-демографические позиции контактирующих групп; политические переменные; персональные переменные; переменные, связанные с идентичностью; показатели, описывающие субъективно воспринимаемую угрозу; переменные, связанные с персональным опытом [Pettigrew, Tropp, 2011: 156—171]. Благоприятное изменение установок возможно на основе расширения межэтнического общения людей с благоприятными установками на контакт [Солдатова, 1998: 13]. Негативизм уменьшается на основе межгруппового сотрудничества с общими целями и задачами. С теорией контактов корреспондирует коммуникативная концепция К. Дойча, полагающая, что общие ценности преодолевают этническую односторонность, а объединению групп на межнациональном и межкультурном уровнях способствует увеличение объемов и разнообразия контактов.

В отечественной социологии чаще всего выделяются контакты производственного, дружеского, соседского и семейного уровней общения. И здесь одним из центральных понятий, характеризующих степень близости или отчуждения социальных групп, является понятие социальной дистанции, анализ которой одними из первых осуществили Г. Зиммель, Т. Парк, Э. Берджесс. Жесткость и размерность социальной дистанции, взаимопроникновение характеристик групп служат показателями состояния общества, степени равенства групп, качественными индикаторами социальной справедливости, социальной и этнической толерантности. Понятие культурной дистанции было введено английскими психологами А. Фэрнхемом и С. Бочнером, которые использовали идею классификации культур по степени их различий [Furnham, Bochner, 1986]. Для изучения социально-культурной дистанции наиболее распространена шкала Богардуса [Bogardus, 1959]. Мы использовали шкалу, адаптированную для изучения межэтнического согласия, готовности к разным видам межнациональных контактов. Она позволяет оценить отношения

людей разных национальностей друг к другу в различных сферах взаимодействия. Социальная дистанция увеличивается от опосредованных межгрупповых контактов до непосредственных межличностных взаимодействий, готовности принять людей других национальностей как: граждан страны, жителей региона, населенного пункта, начальника, коллеги по работе, соседа, близкого друга, супруга (супругу). Если человек готов к семейному или дружескому общению, то тем более он расположен к другим видам социальных контактов.

Мы рассматриваем межнациональные (межэтнические) отношения как взаимодействие людей разных национальностей (этничности) на личностном уровне в различных сферах трудовой, культурной и общественно-политической жизни, принимая во внимание их динамичность и изменчивость в зависимости от разных факторов. В статье мы используем понятие «межнациональные отношения» в значении «межэтнические» в соответствии с тем, как они именуется в Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г. Анализируя результаты мониторинга по ее реализации, мы говорим о межличностном уровне отношений, отношениях между людьми разной национальности.

Ученые различных дисциплинарных и концептуальных направлений все больше единодушно проявляют относительно необходимости учета разных факторов в межнациональных отношениях [Дробужева, 2017; Солдатова, 1998]. На состояние и характер межнациональных отношений влияют: исторические, культурные, социальные, политические, ситуативные и социально-экономические обстоятельства. Также значение имеют уровень межкультурной контактности и сложившиеся межэтнические установки, характеризующиеся ориентацией на взаимодействие с людьми другой культуры или религии.

В своей исследовательской стратегии мы, с одной стороны, руководствовались общепринятой в мировой науке и практике необходимостью учета разных факторов в межнациональных отношениях, а с другой — целевыми показателями, зафиксированными в госпрограмме «Реализация государственной национальной политики».

Для анализа межнациональных отношений были применены следующие показатели:

- оценка межнациональных отношений не только в регионе, но и в населенном пункте проживания;
- готовность принять людей иной национальности как жителей города, села и как граждан России; готовность принять человека другой национальности в качестве партнера в трудовом коллективе, как начальника, соседа, близкого друга, супруга;
- отсутствие/наличие чувства неприязни к людям другой национальности;
- отсутствие/наличие дискриминации по этническому признаку в оценках людей разных национальностей.

Мы используем данные мониторингового опроса, реализованного ВЦИОМ по заказу ФАДН России осенью 2019 г.³, который является репрезентативным для взрослого населения Российской Федерации и охватил 2000 респондентов. Также

³ Автор статьи принимала участие в разработке дизайна опросного листа и в написании отчета.

эмпирической базой данной статьи стали общероссийские опросы ФОМ 2018 г., ВЦИОМ 2016 г. и 2018 г., Института социологии ФНИСЦ РАН за 2015—2018 гг. по сопоставимым вопросам, которые дают возможность проследить динамику.

Общая оценка состояния межнациональных отношений

Данные общероссийских опросов за 2016—2018 гг. демонстрируют благоприятный тренд в сфере межнациональных отношений. Так, по опросам ФАДН России, в конце 2016 г. 66 % считали, что отношения между людьми разных национальностей за последний год не изменились, 17 % считали, что они улучшились, и 11 % — скорее ухудшились и ухудшились, при 6 % затруднившихся с оценкой [Хайкин, Бережкова, 2016]. По данным седьмой волны мониторинга ФНИСЦ РАН, сфера межнациональных отношений не беспокоила 37 % респондентов [Российское общество..., 2017]. Тенденцию к снижению актуальности проблемы межнациональных отношений подтверждали и данные ФОМ за апрель 2018 г.: тревогу и опасения межнациональные конфликты в стране вызывали у 19 % россиян — против 25 % в 2015 г.⁴ Насколько эта сфера тревожит россиян сейчас? По данным опроса ФАДН — ВЦИОМ 2019 г., доля тех, кто считает напряженность, конфликтность между людьми разной национальности или вероисповедания важной проблемой, составляет 70 %. По степени значимости эта проблема уступает другим насущным проблемам, таким как беспокойство по поводу безопасности граждан, качества здравоохранения, низкого уровня жизни, равенства перед законом (90 %—94 %). В регионах исследования ФАДН — ВЦИОМ 2019 г. меньшее беспокойство вызывает только проблема роста числа мигрантов (53 %).

Оценка населением страны межнациональной ситуации представлена на рисунке 1⁵.



Рис. 1. Оценка отношений между людьми различных национальностей в области/крае/республике, 2019, %

⁴ По данным опроса ФОМ, проведенного в апреле 2018 г. См.: Тревоги и опасения // ФОМ. 25 апреля. 2018. URL: <http://fom.ru/Nastroeniya/14011> (дата обращения: 25.06.2018).

⁵ Здесь и далее в рисунках использованы данные мониторингового опроса, реализованного ВЦИОМ по заказу ФАДН России осенью 2019 г.

Межнациональные отношения в своей области, крае или республике 78% россиян оценивают как спокойные (22% — как доброжелательные, 56% — как нормальные, бесконфликтные). В сравнении с общероссийским уровнем 2018 г. этот показатель снизился на 8 п. п. за счет сокращения доли респондентов, оценивших отношения как нормальные (86% по опросу ВЦИОМ 2018 г., из них 22% оценили отношения как доброжелательные).

Проблемы в межнациональных отношениях, напряженность и конфликты отмечают 17% опрошенных.

В большинстве федеральных округов позитивные оценки ситуации преобладают над негативными (см. рис. 2).

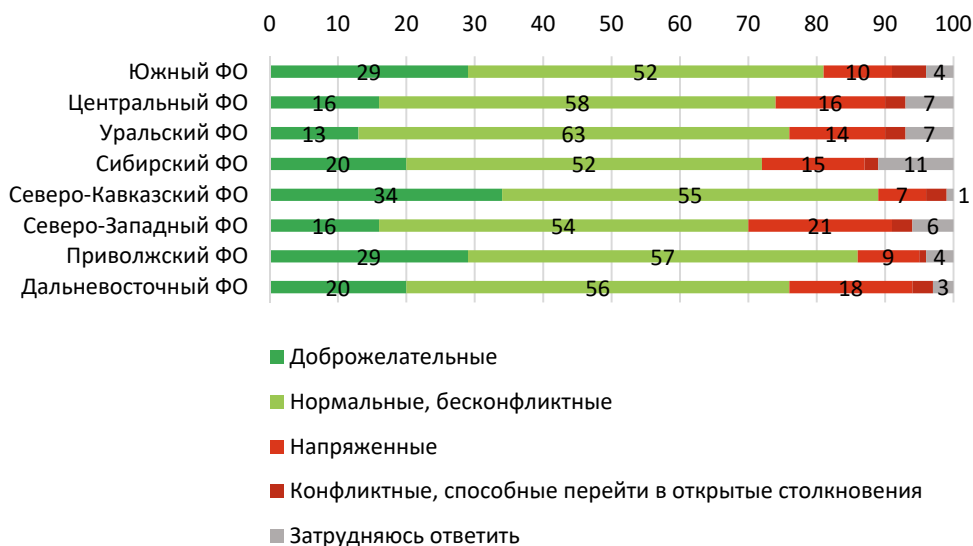


Рис. 2. Оценка отношений между людьми различных национальностей в области/крае/республике, 2019, %, по округам

Самыми высокими оценками доброжелательности, по данным опроса ВЦИОМ, отмечены Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа, что может быть связано с особенностями социально-культурных и социально-экономических условий. Исключение в преобладании позитивных оценок межнациональных отношений над негативными составляют Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа.

Опрошенные разных национальностей оценивают отношения внутри области, края, республики как нормальные, но при этом нерусские чаще оценивают отношения как доброжелательные, и в два раза реже — как напряженные и конфликтные. Русские чаще других говорят о напряженных, конфликтных и даже взрывоопасных отношениях (18%), но в подавляющем большинстве случаев оценки и русских, и групп населения других национальностей позитивные (см. рис. 3).

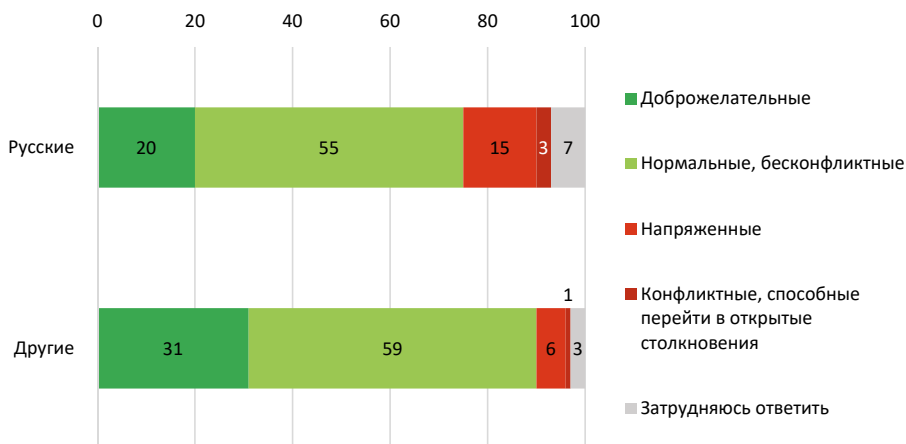


Рис. 3. Зависимость оценок межнациональных отношений в области, крае, республике от национальности, 2019, %

Оценки материального положения своей семьи не являются определяющими в ощущении комфортности межнационального климата в целом. Они влияют только на позитивные оценки межнациональных отношений: чем выше оценки собственного материального положения, тем чаще респонденты называют межнациональные отношения доброжелательными, а не просто нормальными (см. рис. 4).

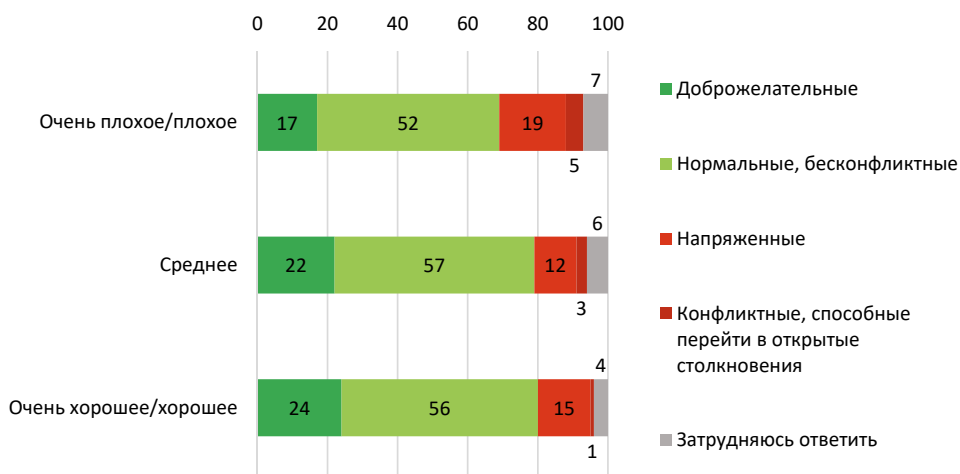


Рис. 4. Зависимость оценок межнациональных отношений в области, крае, республике от оценки материального положения, 2019, %

Стабильность межнациональных отношений в своем населенном пункте респонденты оценивают на том же уровне, что и положение в области, крае, республике (см. рис. 5).

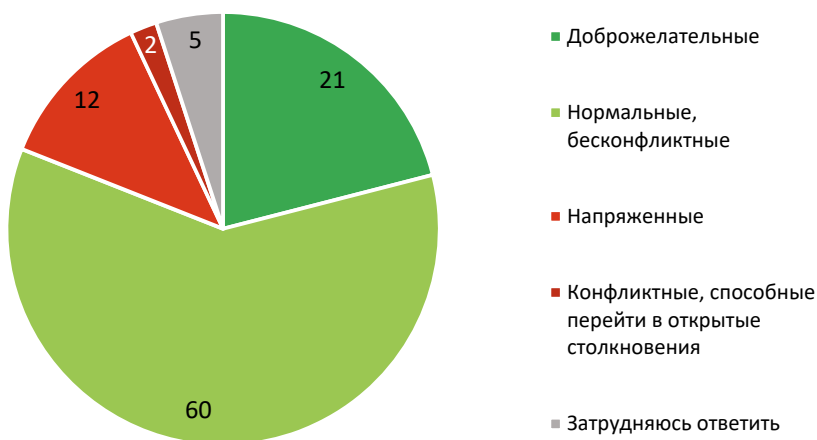


Рис. 5. Оценка отношений между людьми различных национальностей в населенном пункте, 2019, %

Преобладающая по численности доля респондентов (81 %) склоняется к положительной оценке ситуации. 21 % опрошенных считают, что ситуацию в межнациональных отношениях в том населенном пункте, где они живут, можно охарактеризовать как доброжелательную, способствующую общественному согласию, а 60 % — как нормальную и бесконфликтную. При этом 12 % по всему массиву говорят о напряженности ситуации.

Таким образом, представленные данные не позволяют зафиксировать существенную дифференциацию оценок ситуации в стране в целом и в населенном пункте. По опыту региональных исследований ФНИСЦ РАН установлено, что оценки ситуации на уровне населенного пункта ожидаемо лучше, чем на уровне региона, страны в целом. Такое соотношение оценок объяснялось тем, что ситуацию в целом респонденты в какой-то степени оценивают, основываясь на публикациях в СМИ, интернет-контенте, сообщениях в мессенджерах (например, WhatsApp, Viber), а характеристики межэтнических отношений в пункте проживания респондентов носят более конкретный характер и основаны на собственном опыте.

В аналогичных оценках опрошенных в разных по величине населенных пунктах наблюдается большая вариативность (см. рис. 6).

Очевидна закономерность — оценка межнациональных отношений в месте проживания тем лучше, чем меньше населенный пункт. Более благоприятна ситуация в сельских населенных пунктах. В городах с населением более 1 млн человек, где проживают представители различных национальностей, межэтнические отношения оцениваются более тревожно: почти четверть респондентов чувствуют разную степень напряженности. Таким образом, жители городов-миллионников и сельское население демонстрируют разные тенденции в оценках межнационального климата.

Две трети опрошенных разных национальностей оценивают межнациональные отношения в своем населенном пункте как нормальные, бесконфликтные (см. рис. 7).

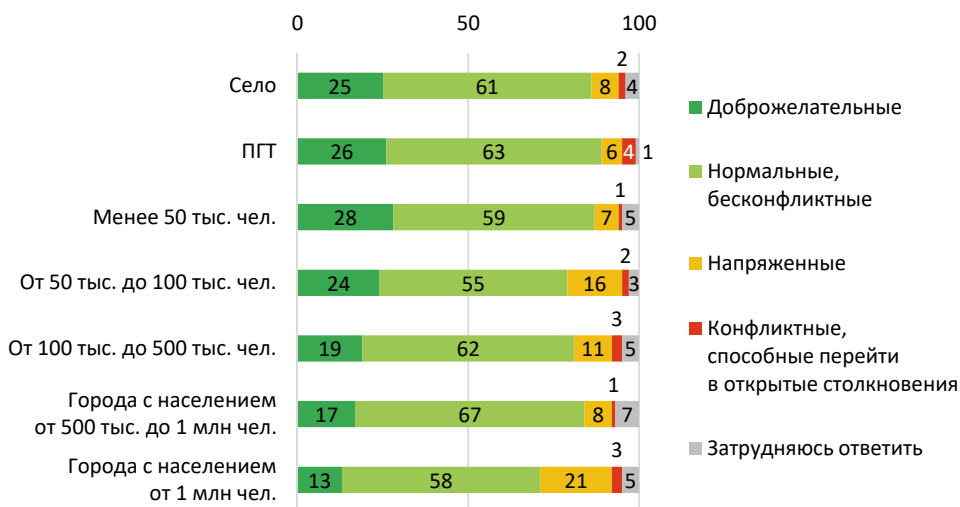


Рис. 6. Оценка межнациональных отношений в разных по типу населенных пунктах, 2019, %

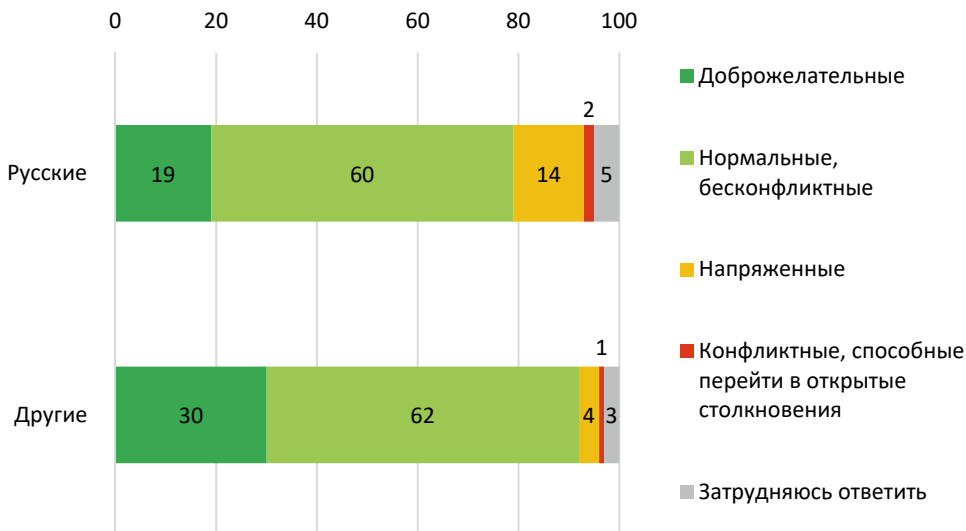


Рис. 7. Оценка отношений между людьми различных национальностей в населенном пункте в зависимости от национальности, 2019, %

Основной разброс мнений наблюдается в оставшейся одной трети русских и нерусских респондентов. 30% людей, не относящих себя к русским, склонны оценивать сложившиеся межэтнические отношения доброжелательно. Русские же разделились в своих позитивных и негативных оценках практически поровну — 19% и 14% соответственно. То, что русские оценивают межнациональные отношения несколько хуже, а люди других национальностей лучше — неплохой при-

знак. Такие благожелательные оценки людей, которые находятся в меньшинстве и теоретически могут чаще сталкиваться с нежелательным отношением к себе, свидетельствуют о благоприятном состоянии межнационального климата.

Эти оценки ситуации на местах подкрепляются данными о вероятности серьезных конфликтов на межнациональной почве в населенных пунктах. 75 % респондентов считают невозможными межнациональные столкновения в своем городе, селе. 17 % россиян отметили, что подобные события возможны и скорее возможны (6 % и 11 % соответственно). Причем в ответах участников исследования других национальностей несколько чаще наблюдаются оптимистичные оценки, чем у русских (82 % и 74 % соответственно).

Отношение к межнациональному взаимодействию в разных сферах жизни (социально-культурная дистанция)

Учитывая атомизацию повседневной жизни, при которой позитивные примеры общения способствуют формированию благоприятных межэтнических установок, мы проанализировали готовность россиян к общению с людьми иной национальности в разных сферах деятельности, используя для этого принятую в мировой социологии шкалу Богардуса (см. табл. 1).

*Таблица 1. Готовность жителей РФ в целом к разным видам межнациональных контактов, 2019 г., %**

Вы бы согласились или не согласились, чтобы человек другой, отличной от Вашей, национальности стал...	Согласен	Не согласен	Затрудняюсь ответить
...гражданином России	71	21	8
...жителем Вашей области/своего края/своей республики	74	20	6
...жителем Вашего города	74	20	6
...Вашим начальником	53	37	10
...Вашим коллегой, партнером по работе	72	18	10
...Вашим соседом по дому	74	21	5
...Вашим близким другом	70	32	8
...Вашим супругом/супругой	45	43	12

*В таблице использованы данные мониторингового опроса, реализованного ВЦИОМ по заказу ФАДН России осенью 2019 г.

В отношении большинства видов контактов зафиксирована устойчиво высокая готовность к взаимодействию — на уровне 70%—74%. Ожидаемо менее открыты респонденты близкому родственному общению (45%).

У опрошенных не очень дифференцирована дистанция в общении в зависимости от опосредованности контакта — она одинакова как для гражданина страны, так и для соседа по дому. Дистанция снижается только в случае особо чувствительных сфер общения, к которым кроме традиционно закрытой семейной сферы можно отнести и область взаимодействия начальника и подчиненного — готовы работать под началом человека иной национальности не более 53%.

Наименьший уровень дистанции демонстрируют жители Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, отличающихся интенсивностью и разнообразием этноконтактных ситуаций. Для населения субъектов остальных федеральных округов характерна сравнимая степень настороженности к межнациональным взаимодействиям, варьирующаяся на уровне от 25 % до 50 %.

Респонденты разных национальностей отличаются друг от друга степенью готовности к взаимодействию (см. табл. 2).

Таблица 2. Готовность русских и жителей других национальностей к разным видам межнациональных контактов, 2019 г., %*

Вы бы согласились, чтобы человек другой, отличной от Вашей, национальности стал...	Русские	Другие
...гражданином России	69	84
...жителем Вашей области/своего края/своей республики	70	88
... жителем Вашего города	70	87
...Вашим начальником	51	68
...Вашим коллегой, партнером по работе	71	81
...Вашим соседом по дому	72	83
...Вашим близким другом	68	83
...Вашим супругом/супругой	43	60

* В таблице использованы данные мониторингового опроса, реализованного ВЦИОМ по заказу ФАДН России осенью 2019 г.

Не наблюдается снижения готовности к взаимодействию по мере увеличения степени приватности контактов у респондентов в зависимости от национальности — и русские, и представители других национальностей демонстрируют сходные закономерности социального дистанцирования и довольно высокую открытость к межнациональному общению. Как граждан России людей иных национальностей готовы принять 69 % русских и 84 % опрошенных других национальностей, большинство готовы дружить и соседствовать с людьми другой национальности. Большая избирательность проявляется в отношении к близким семейным контактам, что подтверждает общую тенденцию.

Респонденты других национальностей демонстрируют более высокую по сравнению с русскими готовность к взаимодействию во всех выделенных сферах (на уровне 80 %—70 %). Это может быть связано с тем, что они сами или их родители приехали в страну, в регион работать, понимая, что им надо будет трудиться в другой этнической среде, то есть они потенциально были готовы к межкультурному общению. Для значительной части проживающих в моноэтнических районах проблема межэтнического общения актуализируется в связи с миграционным притоком, который повышает уровень этноконтактности.

Несколько иная тенденция с отношением к производственным контактам. Очевидное большинство готовы трудиться вместе с людьми другой национальности, а половина русских (51 %) и еще больше представителей других национальностей (68 %) готовы принять человека отличной от своей национальности как своего начальника. Сопоставимый уровень социальной дистанции в области

семейных и деловых контактов позволяет сказать, что взаимоотношения в этих сферах очень чувствительны, хотя и находятся под влиянием разных факторов.

Таким образом, среди опрошенных выделяется *значительная доля людей — от 50 % до 70 % — для контактов разного уровня приватности, обладающая уверенно позитивными установками на межэтническое взаимодействие в разных сферах*. Следует отметить, что в федеральных округах, отличающихся частотой реальных этноконтактов, фиксируется разный уровень социальной дистанции — минимальный для полиэтнических регионов и максимальный для регионов с доминированием русских.

Степень межнациональной толерантности

Когда люди отвечали на вопросы об отношении к межнациональным контактам, для многих некоторые сферы взаимодействия представлялись как проективные ситуации, а не реальность. Отвечая на поставленные прямо вопросы об испытываемых чувствах, человек может проявлять реальную установку и даже готовность к действию. Отсутствие или наличие негативного отношения к людям иных национальностей мы рассматриваем как индикатор состояния межэтнических отношений.

Перед респондентами ставился вопрос: «Вы лично испытываете раздражение или неприязнь по отношению к представителям каких-то национальностей?» (см. рис. 8).

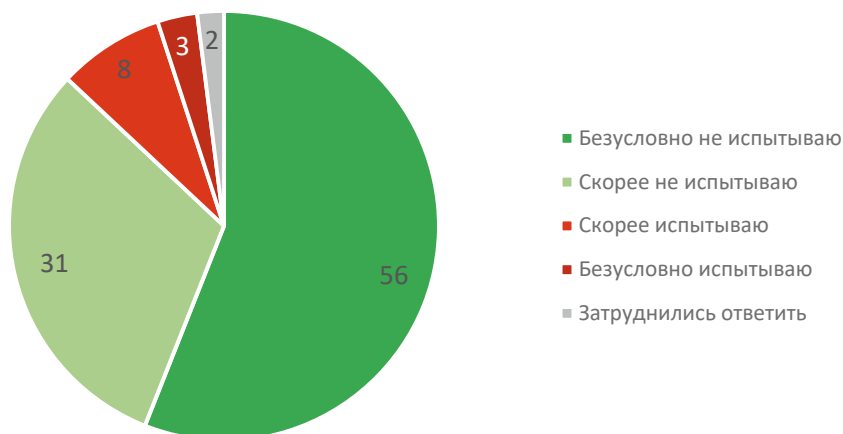


Рис. 8. Испытывают или не испытывают неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности, 2019, %

Раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности испытывает каждый десятый россиянин (11 %); 87 % населения таких чувств не испытывает, то есть преобладающая часть опрошенных характеризуется устойчивым отсутствием враждебности к «иным», «другим».

По данным опросов ведущих центров изучения общественного мнения, уровень межнациональной неприязни с 2014 г. снижался. Средняя по стране доля

людей, с недоверием и неприязнью относящихся к представителям той или иной национальности, составляла 17 % при 6 % затруднившихся⁶. Открытая межнациональная напряженность, выражающаяся в чувствах неприязни к представителям каких-то национальностей, и по результатам седьмой волны мониторинга ФНИСЦ РАН (2017 г.) не была велика. Согласно данным этого исследования, открыто испытывали эти чувства 9% опрошенных россиян, а 51% согласились с тем, что они «иногда испытывают» такие чувства [Дробижева, 2018: 210]. По результатам опросов ВЦИОМ в 2017 и 2018 гг., таких было 86% и 89% соответственно, то есть в последние три года это соотношение стабильно.

Следует отметить, что предпочтение позиций этнической симпатии/антипатии отнюдь не говорит о склонности респондента к дружбе или враждебности по отношению к людям других национальностей. Это может свидетельствовать о склонности к оценочным суждениям о представителях тех или иных национальностей, а также о наличии определенных признаков ксено- или этнофобии.

Ситуация в федеральных округах РФ, по опросу ФАДН — ВЦИОМ 2019 г., в основном констатируется в общем тренде, когда положительные установки (разной интенсивности) к людям иной национальности были на уровне 82%—97%, а негативные суммарно не превышают 14%. Максимальный для данного массива, но не критичный на фоне общероссийских данных, уровень негативного отношения к другим этническим группам зафиксирован в ЦФО, что свидетельствует об актуализированной значимости этнической категоризации в повседневной современной жизни у жителей центральных регионов России.

Для анализа показателей отношения людей к иным национальностям сравним ответы русских и участников опроса других национальностей (см. рис. 9).

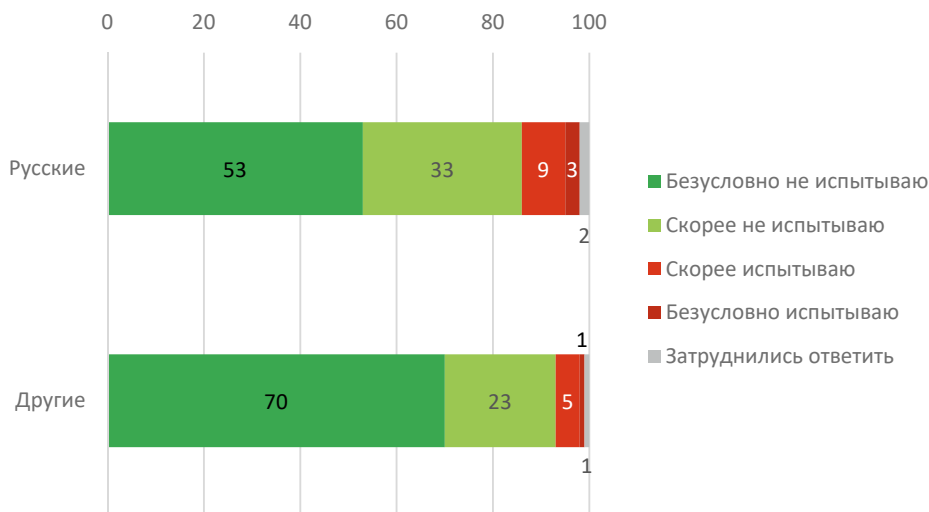


Рис. 9. Доля ощущающих неприязнь к людям других национальностей в зависимости от национальности, 2019, %

⁶ По данным опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ФАДН России в апреле 2016 г.

«Безусловно не испытывали» — ответили чуть более половины русских. Самый высокий уровень безусловно позитивных межэтнических установок демонстрируют жители страны иных национальностей. Русские испытывают негативные чувства в два раза чаще (12%), чем представители других национальностей (6%). Возможно, это связано с тем, что люди других национальностей заинтересованы в позитивном восприятии себя и при опросах занимали более комплиментарные позиции, если интервьюер был русским. Наблюдаются значительные доли людей с неуверенной позицией, прямо не признающихся в испытываемых негативных чувствах к людям других национальностей (до 1/3 выбравших вариант «скорее не испытываю»). Они потенциально могут пополнить ряды негативистов, принимая во внимание, насколько изменчивы оценочные суждения под влиянием разных обстоятельств.

Россияне разных возрастов и с разным уровнем образования объединены общим вектором благоприятных межэтнических установок (положительное отношение на уровне 86%—88%). При зафиксированном уровне достоверной связи⁷ отношение к представителям других национальностей у респондентов с разным уровнем образования существенно не различается, что не подтверждает представления о большей этнической толерантности людей с высшим образованием. Образование расширяет мировоззрение, повышает понимание других культур, однако не является гарантией от предубежденности, так как уровень образования действует в сочетании с другими факторами.

На основании проанализированных данных мы можем говорить о тенденции к снижению негативизма с повышением возраста — респонденты в самой молодой возрастной когорте 18—24 года более осторожны в своих однозначно благоприятных установках по сравнению с людьми 60 лет и старше (51% и 63% соответственно). Это наблюдение представляется важным ввиду распространенного в общественном сознании стереотипа относительно доминирования среди молодежи этнонегативизма. Молодежь в большей степени, чем зрелые члены общества, подвержена выбору радикальных моделей поведения; поиски собственной идентичности приводят к четкой категоризации, делению на «своих» и «чужих», что служит благоприятной почвой для пропаганды экстремистских и националистических идеологических установок. Поэтому формирование в среде молодых людей разных национальностей позитивного тренда в оценке межнациональных отношений — одно из ключевых условий их гармонизации.

Чаще других испытывают неприязнь и недоверие к людям других национальностей:

- те, кто оценивает свое материальное положение как «очень плохое» (29%);
- те, кто испытывает неприязнь по отношению к трудовым мигрантам (34%);
- те, кто поддерживает этноцентричные установки (37%).

Чем хуже оценки собственного материального положения, тем чаще респонденты склонны искать «козла отпущения» среди людей других национальностей. Этнические предубеждения характерны для людей с этноцентричными установками и мигратофобскими настроениями.

Межэтнические установки респондента оказывают непосредственное воздействие на его оценку отношений между людьми разных национальностей. Те, кто

⁷ χ^2 Пирсона на уровне $\leq 0,01$

испытывает чувство неприязни к людям других национальностей, на 18—20 процентных пунктов реже оценивают межнациональные отношения в регионе и в месте проживания как нормальные и бесконфликтные. В сумме больше 40 % «негативистов» характеризуют отношения как напряженные и конфликтные против десятой части носителей позитивных установок⁸.

Люди с негативными межэтническими установками чаще считают возможными серьезные межэтнические конфликты. Всего полагающих, что в ближайшее время возможны серьезные конфликты на национальной почве в том месте, где они живут, по России 17 %, но среди тех, кто неприязненно относится к людям других национальностей, их 39 %, а среди толерантных — 14 %⁹.

Определенный риск представляет и тот факт, что среди тех, кто с неприязнью относится к людям других национальностей, выше доля людей, готовых в случае конфликта отстаивать интересы «своих» любыми средствами, чем среди носителей толерантных установок (53 % и 40 % соответственно), что увеличивает вероятность напряженностей, связанных с гиперболизированной этнической мобилизацией.

Оценка уровня дискриминации по национальному признаку

Высокая доля оценивающих положительно межнациональные отношения, конечно, не означает, что никаких противоречий нет, и люди не сталкиваются с какими-то отрицательными явлениями. Комплексно оценивая состояние межнациональных отношений, используют дополнительные показатели, позволяющие выделить разные формы проявления этнического негативизма, а именно ощущение недоверия или неприязни к себе, нарушение прав или ограничение возможностей из-за национальности.

Вопрос «Испытывали Вы лично или не испытывали в течение последнего года по отношению к себе неприязнь, враждебное отношение из-за своей национальности?» отражает социальное самочувствие людей и фиксирует общий фон отношения к людям иной национальности в данной локальной среде, что дает дополнительную информацию о межнациональной ситуации в стране и является одним из факторов, влияющих на ее оценку респондентами.

Доминирующая часть жителей России не ощущают неприязни к себе по национальному признаку (96 %). В целом с проявлениями по отношению к себе враждебного отношения, открытой неприязни со стороны окружающих сталкивался в течение прошедшего года каждый двадцать пятый россиянин (4 %). Причем и русские, и представители других национальностей становятся объектами демонстрации недружественного отношения со стороны окружающих в равной степени. Отсутствие очевидной разницы в ответах жителей разных федеральных округов и населенных пунктов позволяет говорить об относительной стабильности межнациональной ситуации во всех территориальных образованиях.

Хотя доля испытывающих неприязнь к себе из-за своей национальности относительно невелика на фоне всего массива опрошенных, если перевести эти доли в абсолютные величины, то на это следует обратить внимание. Кто эти люди,

⁸ χ^2 Пирсона на уровне $\leq 0,00$.

⁹ Коэффициент связи этих признаков фиксируется критерием χ^2 Пирсона — 0,000.

выбравшие ответ «Да, испытывал в течение последнего года по отношению к себе неприязнь из-за своей национальности»?

Чаще неприязнь к себе на этнической почве фиксируется среди:

- жителей Центрального федерального округа (30%), городов с населением более 1 млн человек (27%) и сёл (25%);
- людей в возрасте 45—59 (25%) и старше 60 лет (30%) с высшим и неполным высшим образованием (37%);
- работающих (46%) и оценивающих свое материальное положение как среднее (49%);
- активных пользователей интернета (66%).

Ощущение негативного отношения к себе, связанное с эмоциональным восприятием межнациональных отношений, отражает социальное самочувствие людей, выявляя наиболее уязвимые группы населения. Так, чаще других неприязнь к себе испытывают люди, живущие в стрессовых обстоятельствах большого города, чувствующие социально-экономическую ущемленность жители сёл, респонденты в активном трудовом возрасте, стремящиеся сохранить свои позиции в условиях жесткой конкуренции, а также пенсионеры, ощущающие общую неуверенность в связи с изменением своего статуса занятости.

Что же касается случаев, открытого проявления враждебности со стороны окружающих в связи с национальной принадлежностью респондентов, то они, как правило, носят спонтанный характер и чаще всего возникают на улице (46%), в общественных местах (30%), в транспорте (18%). Интересно, что среди тех, кто в принципе сталкивался с проявлением вражды по отношению к себе в связи со своей национальностью, отметили, что практически одинаково ощущают ее и на работе (13%), и в ходе прямых контактов вне формальных групп (общение с соседями 11%), и в процессе виртуального общения (10%). У представителей разных национальностей неодинаковы ситуации, в которых они ощущают неприязнь к себе. У русских это улица (48%), общественные места (28%) и транспорт (23%), а у представителей других национальностей в равной степени (по 39%) отмечены улица и общественные места, а также общение с соседями (17%).

Уровень ощущаемой враждебности к себе по признаку этничности влияет на отношение к людям иной национальности — каждый третий, хоть раз в течение года испытывавший неприязнь к себе, зеркально отражает ее на людей других национальностей. И наоборот, каждому десятому носителю негативных межнациональных установок присуще ожидание угрозы со стороны людей иной национальности.

Ответы на вопрос «Вам лично приходилось за последний год сталкиваться с нарушением прав или ограничением возможностей из-за Вашей национальности при поступлении на работу и продвижении в карьере, при обращении в государственные учреждения, при получении образования?» фиксируют факты нарушения прав и могут оцениваться как ощущение дискриминации по этническому признаку (см. рис. 10).

В 2019 г. более половины опрошенных россиян (50%—56%) дискриминации по национальному признаку не подвергались. 40%—50% не могут подтвердить или опровергнуть факты нарушения своих прав в той или иной сфере, поскольку не были в такой ситуации. Лишь 4% заявили, что испытывали притеснения из-за национальности в трудовой сфере.

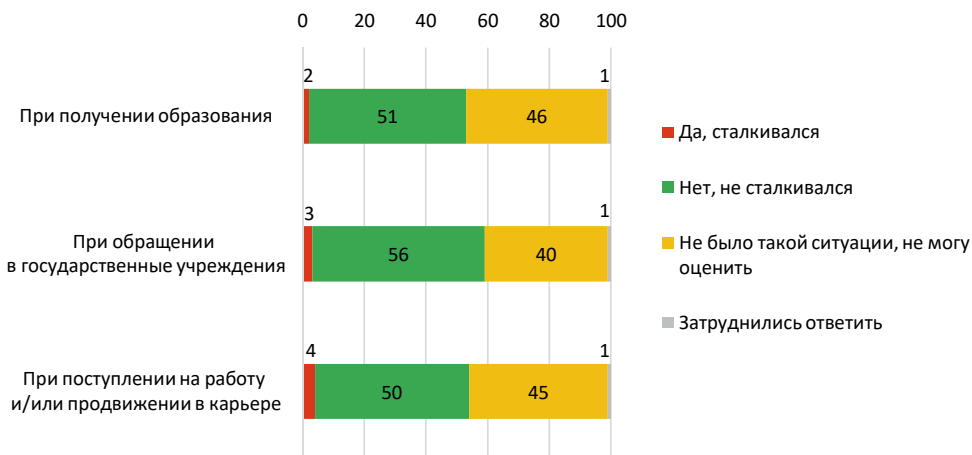


Рис. 10. Ответы на вопрос: «Приходилось ли Вам за последний год сталкиваться с нарушением Ваших прав или ограничением возможностей из-за Вашей национальности при поступлении на работу/продвижении в карьере, при обращении в государственное учреждения, при получении образования?», 2019, %

Различий в оценках дискриминационных практик в образовательной сфере и при обращении в государственные учреждения между людьми разных национальностей нет. Среди русских меньше ощущающих нарушение прав и возможностей из-за национальности при устройстве на работу, чем среди людей других национальностей. Возможно, среди этих респондентов оказались и приезжие, связывающие эти нарушения с меньшей оплатой труда, процедурами оформления вида на жительство, получением работы и т. д. Можно также предположить, что на деловую сферу межнациональных отношений проецируются проявления неуважительного отношения к национальным особенностям, которое чаще всего встречается в бытовой сфере.

Любопытно, что гораздо чаще об испытанных ими притеснениях говорили те, кто ощущает неприязнь к себе из-за своей национальности (от 8 % до 15 % в разных ситуациях); а также в два раза больше тех, кто считает, что Россия должна быть государством только русских людей (5 %—7 %).

Респонденты, оценивающие свое материальное положение как плохое, говорят о дискриминации в трудовой сфере и при обращении в государственные учреждения несколько чаще (6 %), чем те, кто оценивает свое материальное положение как среднее или хорошее (3 %). Такое же распределение наблюдается среди людей, в разной степени довольных своей жизнью — отсутствие удовлетворенности сопровождается более частым упоминанием дискриминации по национальности (6 %), чем позитивные оценки (3 %). Напрашивается вывод, что ощущения ущемлений по признаку национальности находятся во взаимодействии с общей неудовлетворенностью и поиском в связи с этим виновных, которыми чаще всего оказываются люди других национальностей.

Выводы

Межнациональные отношения в России — это проекция общей политической, социально-экономической обстановки в стране, поэтому показатели их динамичны. Имеющиеся данные позволили нам провести социологический анализ состояния межнациональных отношений в оценках россиян на основе выделенных показателей и получить следующие выводы.

При высоком уровне значимости для респондентов проблем, связанных с напряженностью, конфликтностью между людьми разной национальности или вероисповедания, мы фиксируем в равной степени благожелательные оценки межнационального климата как на уровне населенного пункта (81%), так и на уровне регионов в целом (78%). Проблемы в межнациональных отношениях — напряженность, конфликты, обозначенные не более 17% опрошенных, подтверждают, что между представителями разных национальностей присутствует некая настороженность. Высокими оценками доброжелательности отмечены Северо-Кавказский, Южный и Приволжский федеральные округа. Значительной динамики в сравнении с прошлым годом не наблюдается. Респонденты разных национальностей оценивают отношения как нормальные. Можно отметить, что русские чаще, чем граждане других национальностей, характеризуют отношения как напряженные, и реже как доброжелательные. Пусть доля таких респондентов небольшая, но русские — доминирующее в стране большинство, и от их оценок ситуации и настроений во многом зависит общий фон межнациональных отношений.

Результаты опроса показывают, что в обществе существуют представления разной полярности, и о стабильном климате межнациональных отношений нам позволяет говорить преобладание позитивных межэтнических установок. Данные последних трех лет демонстрируют отсутствие роста числа россиян, чувствующих раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности. Уверенное большинство опрошенных (87%) не подтверждает наличие таких негативных чувств к другим. Также в сравнении с данными прошлого года осталась высокой доля людей, не испытывавших враждебного отношения к себе из-за своей национальности — 96%. Важным показателем состояния межнациональных отношений является то, что с фактическими нарушениями прав или ограничением возможностей по национальному признаку не встречалось подавляющее большинство респондентов. В двухлетней динамике эти данные по стране удерживаются на уровне 91%—93% (данные ВЦИОМ для ФАДН России за 2017—2018 гг.).

При общей благоприятной ситуации в сфере межнациональных отношений нельзя не отметить моменты, требующие внимания. Тревожным представляется установленный опросом факт, что неприязненное отношение к людям тех или иных национальностей чаще встречается у молодежи 18—24 лет и не дифференцировано у людей с разным уровнем образования. Таким образом, с одной стороны, уровень образования не является гарантией от предубежденности, с другой стороны, юный возраст хоть и не обязательное условие формирования негативных этноустановок, но остается в определенной степени зоной риска. Выявленная в ходе анализа взаимосвязь между ощущением неприязни из-за

своей национальности к себе и отношением к другим сигнализирует о необходимости уделить особое внимание мерам профилактики неуважения к другим среди населения, чтобы избежать распространения негативных межэтнических установок. Склонность к негативизму по отношению к представителям других национальностей чаще фиксируется среди менее обеспеченных людей, чувствующих свою ущемленность и недовольных жизнью. В условиях сложной экономической ситуации очаги латентной социальной напряженности способны транслироваться в чувствительную сферу межнациональных отношений. Этноцентристские настроения также работают на поддержку негативных установок по отношению к людям других национальностей. В этой связи важно внимательно относиться к используемым в информационном пространстве категориям и определениям: избегать те, которые провоцируют неприязнь у определенной части населения и усугубляют деление на «своих» и «чужих», грамотно подавать информацию, способную возбудить ксенофобные и этнофобные настроения. В содержании информационных сообщений по возможности элиминировать национальную (этническую) ангажированность событий, а если и выделять какие-то этнонациональные черты, то акцентировать преимущественно те, которые объединяют людей, ориентируют на общее развитие.

Таким образом, зафиксированные доброжелательные оценки существующих межнациональных отношений, преобладание уверенно позитивных установок на межэтническое взаимодействие в разных сферах, низкая доля людей, с раздражением относящихся к представителям той или иной национальности и ощущающих неприязнь к себе, отсутствие дискриминационных практик по национальному признаку комплексно способствуют гармонизации межнациональных отношений. Для поддержания межнационального согласия в современном российском обществе надо снимать предубеждения, и прежде всего по отношению к согражданам — людям разных национальностей, опираясь на демократические нормы, поддерживать сохранение этнокультурного разнообразия российских народов, не допускать дискриминации и ущемления прав людей по этническому, расовому и религиозному принципу.

Список литературы (References)

Варшавер Е. А. Теория контакта: обзор // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 5. С. 183—214. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.5.13>.

Varshaver E. A. (2015) Contact Theory: Review. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 183—214. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.5.13>. (In Russ.)

Дробижева Л. М. Межнациональные (межэтнические) отношения в России в зеркале мониторинговых опросов ФАДН и региональных исследований // Вестник российской нации. 2017. № 4. С. 107—127.

Drobizheva L. M. (2017) International (Interethnic) Relations in Russia in the Mirror of Monitoring Surveys of Federal Agency for Ethnic Affairs (FADN) and Regional Studies. *Bulletin of Russian Nation*. No. 4. P. 107—127. (In Russ.)

Дробижева Л. М. Российская идентичность и межэтнические отношения // Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / [М. К. Горшков и др.]; отв. ред. М. К. Горшков, В. В. Петухов. М.: Весь Мир, 2018. С. 194—216.

Drobizheva L. M. (2018) Russian Identity and interethnic relations. In: Gorshkov M. K. et al. *Twenty-Five Years of Russian Transformations: Experience of Sociological Analysis*. Ed. by M. K. Gorshkov, V. V. Petukhov. Moscow: Ves Mir. P. 194—216. (In Russ.)

Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.

Soldatova G. U. (1998) *The Psychology of Interethnic Tension*. Moscow: Smysl. (In Russ.)

Хайкин С. Р., Бережкова С. Б. Социологический мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам национальностей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 5. С. 97—110. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.5.07>.

Khaykin S. R., Berezhkova S. B. (2016) Sociological Monitoring of Inter-Ethnic and Inter-Confessional Relations of the Federal Agency for Ethnic Affairs. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 97—110. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.5.07>. (In Russ.)

Amir Y. (1969) Contact Hypothesis in Ethnic Relations. *Psychological Bulletin*. Vol. 71. No. 5. P. 319—342. <https://doi.org/10.1037/h0027352>.

Bogardus E. S. (1959). *Social distance*. Los Angeles, CA: University of Southern California Press.

Furnham A., Bochner S. (1986) *Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments*. London; New York, NY: Methuen, 1986.

Pettigrew T. F., Tropp L. R. (2011) *When Groups Meet: The Dynamics of Intergroup Contact*. New York, NY: Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203826461>.

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.1266



Е. М. Арутюнова

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЯН: АКТУАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ

Правильная ссылка на статью:

Арутюнова Е. М. Языковые проблемы в представлениях россиян: актуализация и новые контексты // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 521—532. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1266>.

For citation:

Arutyunova E. M. (2020) Language Problems as Viewed by Russians: Actualization and New Contexts. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 521—532. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1266>. (In Russ.)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЯН: АКТУАЛИЗАЦИЯ И НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ

АРУТЮНОВА Екатерина Михайловна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, Москва, Россия
E-MAIL: 981504@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9002-1491>

LANGUAGE PROBLEMS AS VIEWED BY RUSSIANS: ACTUALIZATION AND NEW CONTEXTS

Ekaterina M. ARUTYUNOVA¹ — Sci. (Soc.), Leading Senior Researcher
E-MAIL: 981504@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-9002-1491>

¹ Institute of Sociology of RAS, Moscow, Russia

Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных проблем языковой политики и практики в России в последние несколько лет. Использованы данные массового опроса по репрезентативной общероссийской выборке, проведенного ВЦИОМ по заказу ФАДН России, а также материалы социологических исследований в республиках Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), реализованных Центром исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН. В контексте актуализации вопросов статуса русских и русского языка в общественно-политическом пространстве показано, что в общероссийской гражданской идентичности русский язык как идентификатор значим для почти половины россиян и уступает только общему государству. Важный вывод состоит в том, что русский язык как идентификатор общероссийской гражданской идентичности значим для русских в гораздо большей мере, чем для людей других национальностей, и усиление его позиций в правовом поле может иметь дестабилизирующее влияние на межэтническое согласие. В контексте языковых противоречий в образовании в статье выявлена преобладающая установка россиян в целом на добровольное

Abstract. The article analyzes the modern problems related to the recent language policies and practices in Russia. The study is based on the data from a nationwide survey of a representative sample conducted by VCIOM and commissioned by the Federal Agency for Ethnic Affairs, as well as materials of sociological studies carried out by the Center for the Study of Inter-Ethnic Relations (Russian Academy of Sciences) in Tatarstan, Bashkortostan and Sakha (Yakutiya). The paper actualizes the issues related to the status of the ethnic Russians and the Russian language in social and political context and shows that in terms of all-Russian civic identity the Russian language is crucial to almost half of Russians, being second only to the state in general. The author concludes that the Russian language as an essential part of the all-Russian civic identity is more important to the ethnic Russians than to people of other ethnicities, and strengthening its positions within the legal framework can have an unsettling impact on interethnic accord. In terms of language contradictions in education the article reveals that voluntary study of a republic's state languages is a dominant setting in the views of Russian citizens, and it was examined for the first time using a Russian nationwide sample.

изучение государственных языков республик, впервые изученная на общероссийской выборке.

Ключевые слова: языковая политика, языковые противоречия, общероссийская идентичность, образование, российские республики

Keywords: language policy, language conflict, all-Russian identity, education, Russian republics

Языковые проблемы в представлениях россиян: актуализация и новые контексты

Сфера языковых взаимодействий, языковой политики в России снова стала актуальной — фактически впервые настолько актуальной после подъема национальных движений рубежа 1980-х — начала 1990-х годов. Именно тогда отчетливо проявилась роль этнических языков не просто как ключевых маркеров этнической идентичности, но и как важнейших символов желаемого национального возрождения для этнических элит некоторых республик.

Текущая актуализация языковой политики возникла в ином общественно-политическом контексте, связанном с определением и акцентированием задач этнополитики в стране в 2010-е годы. Стратегия государственной национальной политики (принятая в 2012 г., затем с поправками в 2018 г.) в качестве приоритета указывает «укрепление гражданского единства, гражданского самосознания» как основы российской нации, вместе с тем подчеркивая «системообразующую» и «объединяющую» роль русского народа¹. Среди ее задач есть и непосредственно связанные с языками, в частности сохранение и развитие русского языка и языков народов России. Государственный на всей территории РФ статус русского языка (при подчеркивании государственных гарантий равноправия языков народов России) закреплен Конституцией страны, Законом РФ «О языках народов Российской Федерации» от 1991 г., а также Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 2005 г. Акцентирование вопросов русского языка как государственного отчетливо проявляется и в воссоздании в 2014 г. Совета по русскому языку при Президенте РФ, к которому, как правило, привлекается широкое внимание СМИ и общественности. Наконец, роль русского языка затрагивалась при обсуждении поправок к Конституции РФ. Президент В. Путин назвал русский язык не только языком межнационального общения, но и «фундаментальной ценностью нашей страны» и «государствообразующим фактором»². Обновленная Конституция РФ определяет статус русского языка как «языка государствообразующего народа» (ст. 68)³.

¹ Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями от 6 декабря 2018 г.) // ГАРАНТ.РУ. URL: <http://base.garant.ru/70284810/#ixzz629WA7YeT> (дата обращения: 07.08.2020).

² Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели // ТАСС. 2020. 13 февраля. URL: <https://tass.ru/politika/7757159> (дата обращения: 07.08.2020).

³ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3ed9a4d68072c2f9d74767edb4d4d2ea1def6e9f/ (дата обращения: 10.08.2020).

Одновременно результатом и драйвером таких изменений этнополитического дискурса относительно статуса русских и русского языка стало возрастание значимости этнической идентичности русского большинства с начала 2000-х годов, которая при этом вполне совмещается с российской идентичностью [см. Дробижева, 2010: 52]. Распространенность и актуализация этнической идентичности у русских зафиксированы исследованием ВЦИОМ по заказу Федерального агентства по делам национальностей в 2019 г., которое стало основным эмпирическим источником нашей статьи, на том же уровне, что и в целом у представителей других национальностей в выборке (75 % часто чувствуют близость с людьми своей национальности и еще 19 % — иногда). Среди прочих факторов, объединяющих с людьми той же национальности, россияне чаще всего выбирают именно язык: по данным Института социологии РАН, в 2015 г. 75 % респондентов давали такой ответ, причем русские — чаще, чем люди других национальностей обобщенно (76 % и 68 % соответственно) [Российское общество и вызовы времени, 2015: 189]. Иначе говоря, этническая идентичность русских фиксируется на высоком уровне, и один из важнейших ее символов в массовом сознании — русский язык.

Языковой теме в разных аспектах посвящены многочисленные научные работы, среди которых нам особенно важны следующие: исследования, рассматривающие многообразие языковых политик и языкового поведения в различных исторических, социальных, этнических контекстах (см., например, [Языковая политика в контексте..., 2015]), описывающие трансформации языковой политики и сопутствующей терминологии в России (см., например, [Тишков, 2019]), посвященные роли представлений о языках в поддержании позитивного характера межэтнических отношений (см., например, [Губогло, 2003]), предлагающие значимые для нас теоретические рамки исследований этничности, в том числе роли языка в ней (см., например, [Этнические группы..., 2006]). Актуализация проблемы изучения языков в республиках России привела к росту числа исследований, учитывающих политические и этносоциальные дискурсы (см., например, [Смерть языка..., 2020]).

В качестве теоретических рамок работы использован синтезированный подход к пониманию этничности. Мы рассматриваем язык не только как один из маркеров этнических границ, которые становятся менее гибкими в случае конфликтного взаимодействия (согласно конструктивизму в понимании Ф. Барта) [см. Этнические группы..., 2006], но и как возможный инструмент для достижения определенных целей элит (инструментальный подход).

В нашем анализе мы используем расширенное и адекватное современным языковым и политическим процессам понимание языковой политики как действий государства, так и деятельности «иных акторов, вовлеченных в принятие решений и реализацию конкретных программ в ходе реформ языка и образования — т. н. символических элит, а также всех тех носителей конкретного языка, которые самостоятельно решают: поддерживать ли нововведения или сопротивляться им» [Соколовский, Филиппова, 2018: V]. Общероссийская гражданская идентичность определена в Стратегии государственной национальной политики как «осознание гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а также приверженность базовым ценно-

стям российского общества»⁴, и мы придерживаемся этой трактовки. Этническую идентичность мы понимаем как процесс и результат социальной категоризации, отождествление себя с этнической группой/категорией, групповые представления о своем языке, культуре, территории, эмоционально окрашенное восприятие собственной этничности, а также групповые интересы и солидарность с людьми своей национальности [Гражданская, этническая..., 2013: 16].

В статье на эмпирическом материале рассматривается несколько аспектов актуальных языковых проблем в представлениях жителей России — о месте русского языка среди объединяющих россиян факторов, о значимости для россиян языковых и культурных проблем среди прочих, а также о статусе языков в конкретных правовых и культурных пространствах республик. Обращение к этим проблемам обусловлено необходимостью углубления понимания картины представлений россиян о роли языка и языков в идентичности и повседневной жизни.

Использованы количественная и качественная методологии анализа. Главным источником эмпирических данных стали некоторые результаты «Социологического мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений», проведенного ВЦИОМ по заказу Федерального агентства по делам национальностей при участии Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН в 2019 г. Автор статьи принимала участие в разработке дизайна исследования и в написании научно-аналитического отчета. Массовый опрос реализовался в форме личных интервью по месту жительства респондентов методом СAPI. Репрезентативная для взрослого населения РФ выборка строилась на основании данных Росстата (переписи населения за 2010 г.) и включила в себя 200 кластеров. Выборка многоступенчатая, стратифицированная и случайная с элементом целенаправленного отбора, объем 2000 человек.

В статье также использованы материалы экспертных интервью⁵ по рассматриваемым темам, выполненных в ходе реализации совместных проектов Института социологии ФНИСЦ РАН, ГБУ РС(Я) Национальное агентство «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)», Центра по изучению дискриминации, экстремизма и ксенофобии РТ (на базе КФУ) в 2019 г.

Русский язык как консолидатор общероссийской гражданской идентичности

Русский язык как государственный — один из важнейших идентификаторов общероссийской гражданской идентичности: по результатам опроса ВЦИОМ 2019 г., почти половина опрошенных (46 %) выбирает его как то, что роднит со всеми гражданами России. В этом смысле русский язык уступает только общему государству (56 %).

О русском языке эксперты говорят и как об инструменте коммуникации, особенно важным в силу пространственной протяженности страны, и как о символе общности:

⁴ Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями от 6 декабря 2018 г.) // ГАРАНТ. РУ. URL: <http://base.garant.ru/70284810/#ixzz629WA7YeT> (дата обращения: 07.08.2020).

⁵ Всего в ходе указанных проектов в Саха (Якутии) и Татарстане проведено 45 интервью, материалы которых частично использованы при анализе в данной статье. Экспертами были представители этнокультурных организаций, учителя, преподаватели вузов, чиновники.

Русский язык обязательно нужен, потому что это язык, который скрепа, благодаря которому мы друг друга понимаем. (Эксперт, Республика Саха (Якутия), потомок смешанного брака)

В России связующим идет русский язык. Когда иностранцы летят на самолете из Москвы до Якутска, они плачут порой, потому что так много территории, все летишь-летишь, и до Урала там много всего, а после Урала есть поселения, но их мало. Территория не освоена, но на ней все же живут разные национальности, конфессии. Сказать, что давайте все будем говорить на своем языке — это будет неправильно. Территория, все-таки, это... Есть субъект Российской Федерации, а есть Российская Федерация, и это русский язык. (Эксперт, Республика Саха (Якутия), русский)

Элементарно, у меня в паспорте написано на русском языке. Вот он, главный мой идентификатор. Гражданский. Краснокожий вот этот паспорт. И там написано на русском языке. (Эксперт, Республика Саха (Якутия), саха-якут)

Выбор русского языка как интегратора общероссийской идентичности стабилен: по данным исследования Института социологии РАН, в 2015 г. 49 % опрошенных выбирали государственный язык как то, что роднит со всеми россиянами⁶ [Российское общество и вызовы времени, 2015: 182].

По материалам анализируемого опроса ВЦИОМ, в 2019 г. для самой молодой возрастной когорты (18—24 года) русский язык как объединяющий со всеми россиянами фактор важен больше, чем для представителей других возрастов: 54 % у молодежи против 41 %-50 % у остальных. Отметим, что для молодежи более, чем для других, значим и идентификатор «общее государство», и в этом контексте чаще выбираемый молодежью русский язык, вероятно, выступает для них в значительной мере символом и компонентом государственности страны.

Поскольку в выборке подавляющее большинство респондентов русские, именно они определяют такую высокую значимость русского языка как идентификатора (49 % у русских). Респондентов других национальностей (в совокупности) русский язык роднит со всеми согражданами заметно реже — 32 %, для них более значим фактор общего государства (56 %, для сравнения у русских — 55 %), иначе говоря, для русских российская идентичность имеет выраженное культурное измерение.

Хотя русский язык как государственный — это значимый символ для части общества, вопросы сохранения и поддержания культуры, языка, традиций и обычаев российских народов не настолько существенны в представлениях людей, как социально-экономические и насущные проблемы, находящиеся на вершине иерархии проблем⁷. Тем не менее 57 % опрошенных ответили, что сохранение культуры и языка — очень важная проблема, еще 27 % — что довольно важная, причем без статистически значимых различий у русских респондентов и в совокупности у респондентов других национальностей.

⁶ Среди вариантов ответов присутствовал именно «государственный язык».

⁷ Для сравнения, среди многих предложенных вариантов наиболее важными для россиян стали такие проблемы, как качество здравоохранения (80 % считают очень важной проблемой и 14 % — довольно важной), безопасность граждан (75 % и 19 %), низкий уровень жизни значительной населения (73 % и 18 %).

Восприятие статусов государственных языков республик в образовании

В исследовании также было замерено отношение россиян к вопросу обязательности или добровольности изучения государственных языков республик в школах. Постановка вопроса связана с еще одним полем актуализации языковой тематики — языковыми противоречиями в образовании в отдельных республиках⁸. До 2018 г. в школах Татарстана, Башкортостана, Чувашии и Коми все школьники в обязательном порядке изучали вторые государственные языки республик — в разных объемах, в разных условиях и с различным восприятием этой обязанности в каждой республике. В Башкортостане и Татарстане было довольно выраженным недовольство родителей качеством обучения и снижением часов на изучение русского языка в сравнении с федеральным стандартом, часть родителей не поддерживали саму обязательность изучения татарского и башкирского языков в школах с обучением на русском языке. Ситуация (уже не в первый раз) привлекла к себе внимание федерального центра, и в итоге на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 20 июля 2017 г. в Йошкар-Оле президент России В. В. Путин заявил: «...Русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации»⁹. Последовали прокурорские проверки школ в республиках, в татарстанских школах были выявлены нарушения, в частности уменьшение количества часов на изучение русского языка в сравнении с федеральным стандартом. Летом 2018 г. после длительной подготовки были приняты поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они внесли существенные изменения в изучение государственных и родных языков: государственные языки республик теперь изучаются добровольно, родные языки изучаются в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, а русский язык стало возможным выбрать в качестве родного для изучения в рамках дисциплины «Родной язык». В республиках это было воспринято по-разному, в том числе сформировались и активизировались защитные позиции в дискурсах сторонников обязательного изучения государственных языков и увеличения количества часов на изучение родных языков после принятия поправок в закон об образовании. В целом частью этнических активистов изменения рассматриваются как часть ассимиляционной политики федеральной власти¹⁰.

⁸ Более детальный анализ языковых противоречий как конфликта в республиках в 2017—2018 гг. см. в: [Арутюнова, 2019].

⁹ Заседание Совета по межнациональным отношениям. 20.07.2017, Йошкар-Ола // Президент России. 2017. 20 июля. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/55109> (дата обращения: 07.08.2020).

¹⁰ См., например: «Кризис разбудил национальные чувства народов России». Закон против родных языков уничтожит национальные регионы // KAZAN FIRST. 2018. 22 мая. URL: <https://kazanfirst.ru/articles/465692> (дата обращения: 07.08.2020).

На этом фоне отметим, что добровольное изучение государственных языков республик поддерживали не только местные русские, но и татары и башкиры. Так, в 2017 г. приблизительно равные доли башкир, татар и русских (45 %, 53 % и 46 % соответственно) в Башкортостане поддерживали добровольное изучение башкирского языка в русскоязычных школах [Арутюнова, 2018: 32]. Почти четверть татар (23 %) поддерживали добровольное изучение татарского языка в школах Татарстана в 2019 г. В этнических активистских дискурсах такой выбор зачастую воспринимается как вынужденная ориентация людей своей национальности на другой, более крупный язык, который явственно преобладает. Мы полагаем, что такую ориентацию на добровольность изучения государственных языков республик у татар, башкир и людей других национальностей стоит трактовать и с точки зрения прагматической мотивации, часто преобладающей над символической ценностью своего языка, и с точки зрения права на добровольный выбор языка.

Общероссийская выборка заданного объема не позволяет проанализировать ситуации в отдельных республиках, но есть возможность выявить мнения как россиян в целом, так и русских, составляющих большинство в выборке. На общероссийской выборке такие замеры отношения к обязательности/добровольности изучения государственных языков республик проведены впервые.

Большая часть опрошенных (65 %) полагают, что государственные языки в республиках должны изучаться, но добровольно — теми, кто этого желает (см. табл. 1). По сути это тот вариант, который реализуется в настоящее время с принятием поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Эти представления в массовом сознании можно трактовать как вполне открытую установку на принятие и необходимость поддержания многообразия (языки народов республик должны быть в школах), но при этом на свободный выбор родителей, изучать ли их детям эти языки. Очевидно, что в подавляющем большинстве регионов жители не погружены глубоко в специфические республиканские ситуации с их особыми правовыми и управленческими контекстами в области языковой политики и этнополитики в целом, то есть полученные ответы — это проективные результаты, часть представлений о том, как должна быть устроена многокультурная страна с федеративным устройством.

Как позитивный результат можно рассматривать тот факт, что радикально не принимающую поликультурность установку «Никаких других государственных языков республик, кроме русского, в школе не нужно изучать» поддерживают всего 4 % — в целом по выборке и среди русских.

Позицию добровольности чаще поддерживают в самой молодой возрастной когорте — 74 %, в старших — 60 %—67 %.

Отдельно остановимся на том, что мнения русских и обобщенно людей других национальностей практически не различаются (см. табл. 1) — 66 % среди русских и 63 % среди людей других национальностей поддерживают мнение о необходимости добровольного выбора, изучать ли государственные языки республик.

В принципе, про добровольно — я согласен, что не нужно навязывать язык, его иначе никто не выучит. Это должно быть, если родитель считает, что его ребенок должен учить свой родной язык, то да, конечно. (Эксперт, Татарстан, татарин)

Таблица 1. **Отношение к статусу государственных языков республик в школах республик, %**

	Русские	Другие	Всего
В российских республиках, кроме русского, есть свои государственные языки (например, татарский в Татарстане, башкирский в Башкортостане). Сейчас по закону изучение этих языков в школах является добровольным. Какое мнение об изучении государственных языков в школах республик Вы скорее поддерживаете?			
Государственные языки в республиках должны быть обязательным предметом для всех школьников независимо от национальности	21	24	21
Государственные языки в республиках должны изучаться, но добровольно, теми, кто желает	66	63	65
Государственные языки в республиках должны быть обязательными только для школьников национальности, дающей название республикам	6	6	6
Никаких других государственных языков республик, кроме русского, в школе не нужно изучать	4	4	4
Другое	0	1	1
Затрудняюсь ответить	3	2	3

Источник: Социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений. Исследование проведено ВЦИОМ по заказу ФАДН при участии Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН в 2019 г.

21 % русских поддерживают точку зрения, что государственные языки республики должны изучать все школьники вне зависимости от национальности, и в этом русские и опрошенные других национальностей (обобщенно) не различаются.

Когда я училась, у нас шесть часов татарского языка было — больше, чем русского. И я не скажу, что я его любила. Но мне кажется, все-таки, пусть не шесть, но изучение татарского два-три раза в неделю — это хорошо было бы, и чтобы оно было обязательным, и имело практическую цель. (Эксперт, Татарстан, русская)

Поддержка этой позиции сильно отличается у людей разных национальностей (а также среди людей одной национальности, но живущих в республике и вне ее). Например, в 2019 г. 33 % татар в Татарстане поддерживали обязательность изучения татарского языка всеми школьниками в республике вне зависимости от национальности, и еще 23 % выступали за это, если бы было меньше часов на татарский, то есть более половины опрошенных так или иначе были за обязательность изучения татарского. В этом же году в Республике Саха (Якутия) более половины якутов (54 %) полагали, что якутский язык должен быть обязательным для всех школьников в республике [Межнациональные отношения..., 2019: 57]. Однако именно в Татарстане, Якутии и некоторых других республиках использование этнических языков в образовании имеет давние традиции (обучение на языке саха для желающих в Саха (Якутии), обязательное для всех изучение татарского в Татарстане с 1991 по 2018 гг.), здесь особенно остро реагировали на изме-

нение федерального законодательства об образовании. Напротив, поддержка позиций обязательного изучения была бы ниже у людей в тех республиках, где такого обязательного изучения не было и/или обязательность не была зафиксирована в республиканском законодательстве, то есть не стала привычной еще и в правовом поле. В итоге усредненный вариант сходен с позицией русских, однако в данном исследовании мы не располагаем возможностями подтвердить это предположение.

С другой стороны, поддержка русскими обязательного изучения государственных языков республик по общероссийской выборке в исследовании ФАДН — ВЦИОМ — 21 %, по сути, она сходна с мнениями русских в отдельных республиках, пусть и с некоторыми нюансами: в 2019 г. 27 % русских в Татарстане выступали за обязательное изучение татарского (из них 21 %, если бы на него отводилось меньше часов) и 16 % русских — в Республике Саха (Якутии).

Итак, в восприятии людей языковые процессы и язык важны: русский язык — один из значимых для общероссийской гражданской идентичности факторов, а поддержка языков и культур народов России хотя и не приоритетна, но все же очень важна. Вместе с тем различия в восприятии русского языка как идентификатора общероссийской гражданской идентичности у русских и представителей других национальностей, на наш взгляд, не позволяют говорить о необходимости усиления статуса русского языка в правовом пространстве. Такое усиление в контексте языковых противоречий может быть воспринято националистически ориентированными этническими активистами во многих республиках как усиление ассимиляционной направленности российской этнополитики — притом что задачи формирования российской гражданской нации и без того непросто воспринимаются в отдельных частях общества. Такому восприятию может способствовать и интерпретация активистами поддержки большинством россиян добровольности в изучении государственных языков республик, если ее рассматривать как отказ республикам в имевшихся степенях свободы. Сама по себе преобладающая установка на добровольное изучение государственных языков в республиках при необходимости для школ предоставлять такой выбор — это вполне ожидаемый результат, в том числе и потому, что большинству россиян мало знакомы языковые проблемы и контексты других регионов, и в целом это позитивная установка, но дальнейшее акцентирование роли русского языка в государственных документах может играть дестабилизирующую роль для межэтнического согласия в нашей стране.

Список литературы (References)

Арутюнова Е. М. Этноязыковые проблемы и перспективы в образовательной сфере российских республик (на примере Башкортостана) // Социологические исследования. 2018. № 4. С. 25—35. <https://doi.org/10.7868/S0132162518040037>.
Arutyunova E. M. (2018) Ethno-Linguistic Problems and Prospects in Educational Sphere of the Russian Republics (the Case of Bashkortostan). *Sociological Studies*. No. 4. P. 25—35. <https://doi.org/10.7868/S0132162518040037>. (In Russ.)

Арутюнова Е. М. Языковой конфликт в разных измерениях: кейсы Татарстана и Башкортостана // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 1. С. 98—120. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.25.1.6281>.

Arutyunova E. M. (2019) Language Conflict in Various Dimensions: The Cases of Tatarstan and Bashkortostan. *Sociological Journal*. Vol. 25. No. 1. P. 98—120. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.25.1.6281>. (In Russ.)

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М.: РОССПЭН, 2013.

Drobizheva L. M. (ed.) (2013) Civic, Ethnic and Regional Identity: Yesterday, Today, Tomorrow. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)

Губогло М. Н. Русский язык и толерантность. М.: Старый сад, 2003.

Guboglo M. N. (2003) Russian Language and Tolerance. Moscow: Staryi sad. (In Russ.)

Дробижева Л. М. Идентичность и этнические установки русских в своей и иноэтнической среде // Социологические исследования. 2010. № 12. С. 49—58.

Drobizheva L. M. (2010) Identity and Ethnic Russian in Their Installation and Another Ethnic Environment. *Sociological Studies*. No. 12. P. 49—58. (In Russ.)

Межнациональные отношения в республиках Российской Федерации: пример Татарстана и Саха (Якутии). Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ) / под ред. Л. М. Дробижевой, С. В. Рыжовой. № 1. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. <https://doi.org/10.19181/INAB.2019.1>.

Drobizheva L. M., Ryzhova S. V. (eds.) (2019) Interethnic Relations in Republics of Russian Federation: An Example of Tatarstan and Sakha (Yakutia). Information and Analytical Bulletin (INAB). No. 1. Moscow: FCTAS RAS. <https://doi.org/10.19181/INAB.2019.1>. (In Russ.)

Российское общество и вызовы времени. Книга вторая / отв. ред. М. К. Горшков, В. В. Петухов. М.: Весь Мир, 2015.

Gorshkov M. K., Petukhov V. V. (eds.) (2015) Russian Society and Challenges of the Time. Vol. 2. Moscow: Ves' Mir. (In Russ.)

Смерть языка — смерть народа? Языковые ситуации и языковые права в России и сопредельных государствах / отв. ред. Е. И. Филиппова, С. В. Соколовский. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН: Горячая линия — Телеком, 2020. <https://doi.org/10.33876/978-5-9912-0836-9-2019-1-259>.

Filippova E. I., Sokolovskiy S. V. (eds.) (2020) The Death of the Language — the Death of the Ethnos? Language Situations and Language Rights in Russia and Neighboring Countries. Moscow: N. N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences; Goryachaya Liniya — Telecom. <https://doi.org/10.33876/978-5-9912-0836-9-2019-1-259>. (In Russ.)

Соколовский С. Филиппова Е. Языковое многообразие и социальное согласие: непростое взаимодействие // Языковая политика, конфликты и согласие / отв. ред. С. В. Соколовский, Е. И. Филиппова. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2018.

Sokolovskiy S., Filippova E. (2018) Language diversity and social consent: a complex interaction. In: Sokolovskiy S. V., Filippova E. I. (eds.) *Language Policy, Conflicts and Reconciliation*. Moscow: N. N. Miklukho-Maklai Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences. (In Russ.)

Тишков В. А. Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия категорий и практик) // Полис. Политические исследования. 2019. № 3. С. 127—144. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.08>.

Tishkov V. A. (2019) Language Situation and Language Policy in Russia (Revising Categories and Practices). *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 127—144. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.08>. (In Russ.)

Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий / под ред. Ф. Барта; пер. с англ. И. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2006.

Barth F. (ed.). (2006) *Ethnic Groups and Social Boundaries. The Social Organization of Cultural Differences*. Moscow: Novoe Izdatelstvo. (In Russ.)

Языковая политика в контексте современных языковых процессов. М.: Азбуковник, 2015.

Language Policy in the Context of Contemporary Language Processes. (2015) Moscow: Azbukovnik. (In Russ.)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИССЛЕДОВАНИЕ

DOI: 10.14515/monitoring.2020.4.735



Е. Е. Тиникова

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧНОСТИ И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ХАКАСИИ

Правильная ссылка на статью:

Тиникова Е. Е. Особенности этничности и межэтнических отношений в городской и сельской среде Хакасии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 533—548. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.735>.

For citation:

Tinikova E. Y. (2020) Features of Ethnicity and Interethnic Relations in Urban and Rural Areas in Khakassia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 533—548. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.735>. (In Russ.)

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧНОСТИ И МЕЖ-ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ ХАКАСИИ

ТИНИКОВА Елена Евгеньевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела международных и межрегиональных связей, Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, Абакан, Россия

E-MAIL: lena.tinikova@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5501-8940>

Аннотация. В статье представлен анализ влияния городского образа жизни на происходящие в республике Хакасия этнические процессы: этническую консолидацию, мобилизацию и размывание этнической идентичности хакасов. Автор исследует этническую трансформацию хакасов-горожан на основе сопоставления их с русским городским населением региона, а также с хакасами, проживающими в сельской местности. Эмпирическую базу исследования составили материалы опроса, проведенного в 2018 г. в Республике Хакасия. Совокупный размер выборки — 1500 человек. Исходя из задач исследования, выборка формировалась из двух частей. Для изучения адаптационных процессов было опрошено 1000 бывших сельских жителей (русской и хакасской национальностей), проживающих в городских поселениях Хакасии; для сравнения уровня этнического самосознания среди городских и сельских хакасов было опрошено 500 хакасов, проживающих в сельской местности. Основной метод опроса — формализованное интервью. Проведенный анализ подтвердил наличие различий в развитии этничности и межэтнических отноше-

FEATURES OF ETHNICITY AND INTERETHNIC RELATIONS IN URBAN AND RURAL AREAS IN KHAKASSIA

Elena Ye. TINIKOVA¹ — Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow at the Department for International and Inter-regional Relations

E-MAIL: lena.tinikova@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-5501-8940>

¹ Khakass Research Institute of Language, Literature and History, Abakan, Russia

Abstract. The article provides an analysis of the impact that urban lifestyles have on ethnic processes (ethnic consolidation, mobilization and erosion of the Khakass ethnic identity) in the Republic of Khakassia. The author examines the transformation of the urban Khakass communities by comparing them with the Russian urban populations in the region and the Khakass people living in rural areas. The study is based on the materials of a survey conducted in the Republic of Khakassia in 2018 (a sample size of 1,500 people). The sample consisted of two parts: (1) 1,000 former rural inhabitants (Russian and Khakass ethnicities) now living in Khakass urban localities were interviewed to study adaptation processes; (2) 500 Khakass living in rural area were interviewed to compare the levels of ethnic self-consciousness between those Khakass living in urban areas and those living in rural areas. A structured interview was used as the main survey technique. The analysis proves that there are differences in the development of the ethnicities and interethnic relations in urban and rural communities. This may be related to the impact of urbanization on the Khakass national identity, customs and the

ний в городской и сельской средах региона. Это связано с влиянием урбанизации на национальную хакасскую культуру, традиции и мировоззрение коренного народа республики. В городе процесс этнической консолидации хакасов выражен более отчетливо, это своего рода реакция на «агрессивную» полиэтническую городскую среду, в которой хакасы вынуждены быстрее интегрироваться, забывая о существующих субэтнических различиях. Этномобилизационные процессы в городе выражаются также в форме актуализации этнической идентичности для городских жителей: в городе она более значима для хакасов, чем в сельской местности.

Ключевые слова: урбанизация, этнические процессы, хакасы, межэтнические отношения, город

Благодарность. Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук (№ МК-6401.2018.6).

Введение

В России в начале XXI века понятия *урбанизация* и *урбанистическое общество* стали одними из центральных для описания современной реальности. Со временем оба понятия обросли разнообразными теоретико-концептуальными значениями. Можно даже говорить о процессе их идеологизации, так как в разных странах и культурах, а также историко-политических обстоятельствах они приобретали диаметрально противоположные коннотации. Например, среди сторонников идей социального прогресса урбанизация оценивается как явление прогрессивное, следовательно, однозначно положительное. Антиглобалисты, напротив, рассматривая урбанизацию сквозь призму глобализации, неизбежно подвергают ее критике. Ученые, дискутируя о критериях, формах, этапах урбанизации, моделях урбанизационного развития различных стран и регионов мира, лишь усугубляют ситуацию, предлагая новые трактовки этих понятий. Вместе с тем очевидный интерес как со стороны общества, так и со стороны профес-

worldview of the republic's indigenous people. Ethnic consolidation among the Khakass appears to be more pronounced in urban areas; this might be a reaction to the “aggressive” poly-ethnic urban environment the Khakass people need to integrate into more intensively putting aside their sub-ethnic differences. Ethnic mobilization in the urban environment is also manifested in the way that the urban dwellers actualize their ethnic identity: in urban areas ethnic identity is much important to the Khakass people than in rural areas.

Keywords: urbanization, ethnic processes, interethnic relations, city, the Khakass

Acknowledgments. The work is supported by the grant of the RF President for the State Support of Young Russian Scientists (no. MK-6401.2018.6).

сиональных ученых к процессам урбанизационного развития свидетельствует об актуальности данной тематики.

В широком смысле в современной науке *урбанизация* рассматривается как определенный этап исторического развития, на котором происходит переход из сельского состояния в городское в связи с индустриальным развитием и модернизацией всех сфер жизни общества. Поэтому перед учеными стоят задачи изучения не только количественных параметров урбанизации, но и всех социокультурных процессов, с ней связанных. Культурологический и антропологический подходы в российской урбанистике — относительно молодые направления научных исследований, история которых начинается лишь около 20 лет назад. Поэтому различные трансформации отдельных социальных групп, в том числе и этнических, в условиях урбанизации стали предметом научных исследований не так давно — несмотря на то, что Макс Вебер еще столетие назад писал о поглощении городом этнической идентичности. Вторили ему и такие известные социологи-теоретики как М. Арчер, М. Элброу и Э. Гидденс, полагавшие, что в условиях глобализации и урбанизации этничность перманентно элиминируется.

Мысль о невозможности сохранения традиционных устоев жизни в городской среде также поддерживают исследователи Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Например, известный российский ученый В. А. Тишков на примере Москвы показывает, как происходит растворение национальностей и культур в пользу русскоязычной российской культуры и русской идентичности. В ходе этого процесса происходит утрата этнической культурной традиции, которая гораздо сильнее у человека, проживающего в сельской местности [Тишков, 2010: 41]. С такой позицией не согласна директор Центра исследований межнациональных отношений Института социологии РАН Л. М. Дробижева. По ее мнению, этническая идентичность в городах представлена не меньше, чем в сельской среде, при этом этническая подвижность здесь более выражена, и в городе гораздо чаще, чем в селе, встречаются люди, имеющие потребность в этнической солидарности, либо испытывающие негативные чувства по отношению к людям иной национальности [Дробижева, 2013]. Е. В. Соловьев подчеркивает двойственный характер влияния урбанизации на развитие этносов. С одной стороны, городская урбанизированная среда создает более благоприятные условия для роста этнического самосознания, с другой — ведет к этнической ассимиляции и даже к формированию целого ряда предпосылок межэтнических конфликтов горожан, связанных с неравномерностью в уровне урбанизации различных этносов, следовательно, с доступностью благ городской цивилизации. В целом, исследователь полагает, что в условиях урбанизации этничность не утрачивается, «она становится городской и в чем-то уже постмодернистской» [Соловьев, 2012: 79].

В национальных регионах урбанизация сопровождается угрозой ассимиляции коренных народов. Под этнической ассимиляцией понимается процесс усвоения представителями различных национальностей языка, культуры, обычаев, традиций той этнической среды, в которой они проживают. Теория ассимиляции в своем развитии прошла несколько этапов: от популярности до забвения и пересмотра в начале XXI века [Костенко, 2014]. Автор данной статьи придерживается концепции ассимиляции, предложенной Е. Моравска, которая

полагает, что существуют разные способы и уровни вовлечения этнических групп в доминирующее сообщество.

В Сибири главными научными центрами по изучению этнического аспекта урбанизации сегодня являются Улан-Удэ, Иркутск, Новосибирск и Якутск [Стась, 2017: 247—248]. К сожалению, в Хакасии подобного рода исследования отсутствуют. В 2018—2019 гг. коллектив ученых из Хакасии под руководством автора данной статьи в рамках реализации проекта «Социальная адаптация хакасов в городских условиях в постсоветский период (1991—1917 годы)», поддержанного грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, разработал региональную модель адаптационных процессов в городских поселениях Хакасии среди коренного населения. Каркасом всего научного исследования является характеристика особенностей трансформации этнической структуры городского населения региона. В данной статье представлены основные результаты исследования, внимание в ней сфокусировано на общих трендах и на специфике участия хакасского этноса в урбанизационных процессах. Связаны эти процессы с этническими особенностями воспроизводства и миграционной подвижности населения, социально-экономической ситуацией, этнополитическими процессами и другими факторами.

Статья подготовлена на основе статистических данных Всесоюзной переписи населения 1989 г., Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г. и материалах текущего учета населения, представленных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (<http://www.gks.ru>) в разделе «Демография».

Дополнительным источником эмпирических данных исследования стали материалы социологического опроса, проведенного в Республике Хакасия в 2018 г. В опросе приняли участие 1500 человек. В исследовании применялись детерминированные методы построения выборки. Связано это было с отсутствием точных данных обо всех характеристиках генеральной совокупности, так как информация о численности хакасов и русских и их демографическом составе среди городских и сельских жителей региона не отражается ни в текущем статистическом учете населения, ни в материалах Всероссийских переписей населения. В связи с этим основными методами построения выборки стали квотная выборка и выборка по принципу «снежного кома»; квоты по полу и возрасту были заданы с учетом данных Всероссийской переписи населения 2010 г. о социально-демографических характеристиках населения региона. Основным методом опроса являлось формализованное интервью. Количественный анализ проведен с помощью программы SPSS.

Анализ и систематизация исторических и статистических материалов позволили выявить основные тренды развития этнических процессов в городских поселениях Республики Хакасия. Теоретической и методологической базой исследования стали принципы историзма, объективности и системности. Анализ статистических сведений позволил охарактеризовать количественные параметры урбанизации хакасов, сравнительно-исторический метод применялся при сопоставлении фактов и процессов, происходивших в разных регионах страны, для описания особенностей этнической трансформации хакасского этноса.

Уровень урбанизированности хакасского этноса

Распад Советского Союза, годы реформ, социально-экономического и демографического кризисов негативно повлияли на численность хакасов. За двадцать лет их количество в регионе увеличилось всего примерно на 700 человек: в 1989 г. в Хакасии проживало 62,9 тысяч, а в 2010 г. — 63,6 тысяч хакасов.

В настоящее время в республике между отдельными районами сохранились различия в типе воспроизводства хакасов: в центральных и северных районах рождаемость ниже, общий коэффициент смертности выше, а детской смертности — ниже, чем на юге. Эти более урбанизированные районы ближе южных к завершению переходного периода в развитии семьи. Однако различия между территориальными группами хакасов менее значимы, чем в целом между хакасами и русскими [Кривоногов, 2011: 15].

Процесс этнической консолидации хакасов не завершен, сегодня сохранились значительные различия между четырьмя хакасскими субэтносами: сагайцами, качинцами, кызыльцами и койбалами. Урбанизационные процессы среди хакасских субэтносов также не отличаются однородностью. Например, более многочисленные и ориентированные на миграцию за пределы своей этнической территории сагайцы преобладают в городских поселениях Хакасии.

Урбанизация хакасов началась значительно позже восточнославянских народов, проживающих в регионе. В начале XXI века хакасский этнос остается относительно слабоурбанизированным: доля хакасов-горожан так и не достигла рубежа в 50%. Согласно устоявшейся классификации этносов по уровню их урбанизированности, к категории этносов с несостоявшимся урбанизационным переходом относятся те, в которых доля городского населения близка к урбанизационному переходу и составляет от 45,1% до 49,9%, а также этносы с удельным весом городского населения менее 45%. Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала, что хакасы относятся именно к последнему типу этносов. По мнению исследователей, «в условиях стабилизации роста урбанизации в стране темпы роста численности городского населения среди этносов данной группы высоки» [Черкасов, 2013: 9]. Связано это с замедлением темпов роста городского населения в целом по России: в период с 1989 г. по 2010 г. доля горожан в стране выросла всего на 0,3%.

Действительно, темпы урбанизации хакасов сегодня опережают средний показатель по стране: если в 1989 г. 35,6% хакасов проживали в городских поселениях республики, то в 2010 г. их доля составила 37,2%.

В связи со сравнительно поздним включением хакасов в процессы урбанизации в регионе, они вписались в уже сложившиеся города, где преобладало русское население, не сформировав собственные городские поселения. Большая часть городского коренного населения сегодня проживает в Абакане — более 70% всех городских хакасов Хакасии (28,2% всех хакасов республики).

Хакасы-мигранты достаточно быстро адаптируются в городе, так как сегодня уже достаточно сложно провести четкую границу между городом и селом: «сельская» среда больше не является типично сельской, особенно если речь идет о крупных селах или расположенных близко с городскими поселениями. Жители таких сел часто бывают в городе, нередко работают там.

Проведенные среди хакасов социологические опросы свидетельствуют о том, что коренное сельское население республики имеет достаточно широкую и объективную информацию о городском образе жизни. Это обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, многие респонденты имеют опыт проживания в городе в период получения среднего специального или высшего профессионального образования. Во-вторых, значительная часть респондентов работали или сейчас работают в городе. В-третьих, миграции в города привели к тому, что подавляющее большинство респондентов в сельской местности имеют близких родственников в городах (98,2% опрошенных в селе хакасов) [Кривоногов, 2011: 22]. Контакты с городскими родственниками и друзьями способствуют распространению урбанистических форм культуры в сельской местности.

Влияние урбанизации на образ жизни хакасов

Урбанизация всегда сопровождается изменением образа жизни людей, проживающих не только в городской местности, но и на селе. Понятие «образ жизни» трактуется в науке неоднозначно, это связано с существованием различных методологических подходов и во многом зависит от целей конкретных исследований. В данной статье под образом жизни понимается совокупность таких характеристик, как возможности организации труда, быта и досуга человека [Зарукина, 2017: 137]. В связи с этим анализ модификации образа жизни хакасов в условиях интенсивной стадии урбанизации выполнен на основе следующих показателей: сфера занятости населения, распределение свободного времени, жилищно-бытовые условия.

Образ жизни современного человека во многом определяется характером его трудовой деятельности. Многие хакасы, мигрировавшие в городские поселения, ставят перед собой цели, связанные именно с трудоустройством. Причиной переезда становится отсутствие работы в деревне и желание найти работу в городе (22,7% респондентов), желание жить лучше, больше зарабатывать (18,5%). Треть опрошенных сельских хакасов не удовлетворены своей нынешней работой.

Ученые уже давно отмечают наличие профессионально-отраслевой специализации между русским и хакасским населением республики. Социологический опрос 2003 г. показал, что русские были заняты в основном в отраслях тяжелой промышленности с хорошей оплатой и богатой социальной базой, в то время как хакасы преимущественно работали на мелких предприятиях легкой и пищевой промышленности с невысокой заработной платой [Остапенко, 2003: 4]. В результате большинство хакасов (85%) были не удовлетворены своим материальным положением, среди русских этот показатель был ниже — 64% [Анайбан, Тюхтенева, 2006: 5]. В этих условиях хакасы ощущали социально-экономическое неравенство между собой и русскими, и это проявлялось, по их собственной оценке, в том числе, в разных возможностях социального роста.

За следующие 15 лет ситуация в сфере занятости в республике изменилась. Связано это в первую очередь с изменением структуры экономики региона: рост предприятий сферы обслуживания и торговли привел к тому, что сегодня большинство опрошенных вне зависимости от национальности трудятся именно в этой сфере — 19,8%. В то же время разница между сферами трудовой деятельности

городских и сельских хакасов сохраняется. В связи с бурным ростом жилищного строительства в городах региона, особенно в столичном Абакане, многие городские хакасы сегодня трудятся в строительной отрасли (10,9% респондентов). В сфере обслуживания занят каждый четвертый хакас-горожанин. В сельской местности только каждый десятый хакас трудоустроен в сфере обслуживания, зато каждый третий — в социальной сфере в области образования, культуры и здравоохранения. Сельские хакасы чаще городских работают в транспортной сфере (4,8% против 1,1%). В основном их деятельность связана с грузоперевозками, а также с пассажироперевозками в частном порядке. Востребованность такой работы во многом обусловлена слабой транспортной доступностью отдаленных районов Хакасии. По понятным причинам многие хакасы — сельские жители заняты в сфере сельского хозяйства.

Для сферы труда в городах, особенно в столичном Абакане, характерны существенные профессионально-квалификационные диспропорции, которые зачастую не оправдывают ожидания прибывших из села хакасов. Так, городские хакасы чаще, чем сельские, трудятся в качестве рабочих (39,2% против 30,4%), а также в качестве служащих среднего звена (27,6% против 25%).

Влияние урбанизации особо сказывается на распределении свободного времени хакасов. В городах, где у населения больше материальных возможностей и широкий выбор досуговых занятий, свободное время хакасов отличается значительным разнообразием. В первую очередь это проявляется в доступности активного внедомашнего досуга. Например, пятая часть городских хакасов сегодня в свободное время предпочитают ходить в кино, 12,9% встречаются в кафе с друзьями, 8,7% посещают театры, музеи, филармонию, 7,8% занимаются шопингом, 4,6% проводят время в развлекательных центрах. Также городские хакасы чаще сельских занимаются спортом (11,5% против 5,4%).

Сельские жители, лишенные подобных возможностей, предпочитают проводить свободное время дома, занимаясь домашними делами и воспитанием детей (63%), а также с друзьями, выезжая на природу (16,2%). Сельские хакасы больше читают, чем горожане: 16,8% жителей села в качестве основной досуговой деятельности назвали чтение книг, газет и журналов, 2,2% регулярно посещают библиотеку. Практически равное количество городских и сельских хакасов в свободное время ходят на танцы и дискотеки, а также выбирают такие домашние развлечения, как прослушивание музыки, просмотр телевизора, проведение времени в интернете.

Отличительной особенностью повседневного досуга городских хакасов, таким образом, является возможность проводить время вне дома. Это сказывается на степени удовлетворенности жителей городской и сельской местности проведением своего досуга: не удовлетворены своим досугом сегодня 31% сельских и 20,9% городских хакасов.

Существенные различия между городскими и сельскими хакасами наблюдаются в жилищно-бытовой сфере. Нормой комфортности жилищных условий является обеспеченность жильем 40,1 м² и более на человека [Ларина, Кибытаева, 2018: 44], однако ни в городской, ни в сельской местности Хакасии общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, не соответствует указанному показателю: на селе она составляет 22 м², в городе — 24,6 м².

Сельский жилищный фонд менее благоустроен: водопроводом оснащена всего треть общей площади всего жилищного фонда, ваннами — 18,8%, горячим водоснабжением — 20,2%, водоотведение зачастую производится не централизованно (76,6%). Таким образом, городское жилье по основным показателям комфортности до сих пор значительно опережает сельское.

Несмотря на стирание границ между городом и селом и распространение городских форм культуры и быта, город по-прежнему отличается от деревни большей развитостью социально-экономической сферы, опережает ее по уровню материального достатка жителей, разнообразию досугового пространства, жилищно-бытовому комфорту. Все это свидетельствует о сохранении различий в городском и сельском образе жизни в Республике Хакасия.

Этническая идентичность хакасов в городской и сельской среде

Урбанизационные процессы среди коренного населения Хакасии способствуют резкому учащению контактов тюркского народа с окружающим населением, что влечет за собой перманентную межэтническую интеграцию и ассимиляцию. Обозначенные процессы модифицируют этническую идентичность хакасов, особенно если речь идет о метисах, рожденных в смешанных браках.

В 2018 г. с целью определения факторов и уровня адаптации хакасов к городским условиям в Хакасии был проведен этносоциологический опрос. Для эмпирического исследования были выбраны представители двух основных этнических групп — хакасов и русских. В общей сложности в республике было опрошено по 500 городских хакасов и русских, а также 500 сельских хакасов, имеющих опыт проживания в городе, но вернувшихся обратно в сельскую местность.

Для выявления позиции этнической идентичности в иерархии групповых идентичностей хакасов в опросник был включен вопрос: «Кем Вы ощущаете себя в первую очередь?». 30% всех хакасов вне зависимости от места их проживания указали категорию этнической принадлежности. При этом ответы на поставленный вопрос среди городских и сельских хакасов различались. В городе ответ «хакас/хакаска» был вторым по популярности (36,4% опрошенных) после ответа «житель Республики Хакасия» (62,6%), в то время как на селе категория национальности фигурировала лишь у 23,6% респондентов и значительно уступала таким вариантам ответа, как «житель Республики Хакасия» (69,4%) и «сельский житель» (51,2%). Подобного рода ситуация уже была описана в отношении бурятского этноса. Исследователи объясняют данный феномен «более высокой интенсивностью в городе этномобилизационных процессов и большей вовлеченностью людей в них, что и выражается в актуализации этнической идентичности», а также «действием психологических защитных механизмов» [Амоголонова, Елаева, Скрынникова, 2005: 124]. Интересно, что городские хакасы при этом чаще, чем сельские, не ощущают себя частью своего народа: 5,8% опрошенных в городе против 5% на селе.

Респондентам также был задан вопрос: «Что роднит Вас с людьми Вашей национальности?» Он позволил зафиксировать некоторые опорные точки идентификации, значимые символы солидарности. Городские хакасы среди предложенных в анкете параметров этнической принадлежности наиболее важными посчитали

культуру, традиции и обряды своего народа (57,9%), далее в порядке убывания за ними следовали язык (52,7%), родная земля и природа (38,8%), историческое прошлое (29,8%), территория (23,1%), внешний облик (17,3%). Приоритетным параметром этнической идентичности сельских хакасов оказался язык (56,8%), на втором месте — культура, традиции, обряды (53,8%), остальные ответы шли в том же порядке, что и у городских жителей, но с разной степенью значимости: родная земля и природа (51,2%), историческое прошлое (28,8%), территория (25,8%), внешний облик (13,2%).

Наиболее сильным этнодифференцирующим признаком считается язык [Дагбаев, 2010: 136]. Исследования 1970—1980-х и 2000-х гг. [Дробижева, 2017] зафиксировали наличие приоритетной значимости языка над другими ответами по предложенной шкале. Между тем в Хакасии, где численность хакасов на протяжении XX — начала XXI веков колебалась в районе 12%, несмотря на юридическое признание равноправного функционирования русского и хакасского языков в качестве государственных, хакасский язык так и не стал повсеместно использоваться. Хакасский язык сегодня занесен в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО. Неуклонно сокращается число хакасов, говорящих на родном языке. В динамике это можно проследить на основе сопоставления двух этносоциологических опросов 2007 г. и 2018 г. Если в 2007 г. совершенно свободно владели родным языком чуть менее половины опрошенных хакасов — 42% [Грошева, 2007: 64], причем преимущественно проживающих в сельской местности, то сегодня их количество сократилось до 35,5% (среди городских хакасов — 37,6%, среди сельских — 33,4%). В 2007 г. пятая часть коренного населения говорила на хакасском языке с большими затруднениями, каждый десятый вообще не говорил на нем. Сегодня эти показатели выросли до 23,3% и 15,5% соответственно. Если на бытовом уровне дома хакасский язык использует каждый четвертый сельский респондент и каждый пятый городской, то в производственной сфере почти во всех возрастных и социально-профессиональных группах основным языком общения является русский. Мы предполагаем, что популярность ответа «язык» среди хакасов, скорее всего, обусловлена психологическим отношением к нему, а не реальным его применением в жизни. Этноинтегрирующая функция хакасского языка у горожан сместилась с первого на второе место. Хакасы в этом отношении не уникальны: подобная ситуация, например, была описана в отношении молдаван еще в 1990-е гг. [Губогло, 1998: 729—733].

Культуру, традиции и обряды своего народа указали как основной признак этнической принадлежности большинство городских хакасов, однако 24,3% из них не знают и не отмечают хакасских праздников, а также не готовят блюда хакасской кухни. Среди популярных хакасских праздников у горожан были названы Тун Пайрам (34,4%) и Чыл Пазы (31,0%). Национальные блюда, которые городские хакасы готовят дома, это суп-угре (42,5%), хан (21,1%), потхы (20,9%).

Еще одним важным для хакасов маркером этнической идентификации являются антропологические признаки. Внешнее отличие хакасов от основной массы горожан европейской внешности значительно затрудняет их адаптацию в городской среде. Есть основания полагать, что зачастую именно внешний облик, а не остальной набор культурных и политических характеристик, делает значимой

межгрупповую дистанцию [Тишков, 1997: 25]. Это особенно заметно в городской среде, где многие хакасы не знают ни родного языка, ни обычаев и традиций своего народа.

Решающую роль при этнической самоидентификации человека, безусловно, играет семья: то воспитание и те ценности, которые она закладывает. Ярким примером являются дети, рожденные в смешанных браках. Метисы могут определять свою национальную принадлежность не только по линии отца, но и по линии матери. При этом они опираются не столько на свой внешний облик, на уровень приобщенности к национальной культуре, сколько на этнические установки, которые были заложены родителями [Григорьев, Даровских, 2016].

Несмотря на рост численности городского населения хакасской национальности в постсоветский период, их доля среди горожан республики остается незначительной. В 1989 г. она составляла 5,5%, в 2002 г. — 6,2%, в 2010 г. — 6,8%. Конечно, в этих условиях внешние отличия хакасов бросаются в глаза. Антропологические признаки как одни из наиболее значимых в процессе этнической идентификации сегодня практически не исследованы. Во многом это связано со сложностью изучения данной темы, а также обусловлено идеологическими причинами.

Представления о характере межэтнических отношений среди городских хакасов

Проведенный в рамках настоящего исследования в 2018 г. социологический опрос позволяет оценить характер межэтнических отношений глазами коренных жителей республики, проживающих в городских поселениях. Социологические исследования под руководством Ю. М. Аксютин 2013—2015 гг., проведенные с целью изучения процессов трансформации структуры идентичности жителей в национальных республиках Южной Сибири (Тыве, Хакасии и Алтае), также затрагивали проблемы оценки характера межэтнических отношений [Аксютин, 2016]. Сопоставление результатов этих исследований позволяет проследить динамику развития представлений жителей республики о ситуации в области межнациональных отношений.

Еще шесть лет назад респонденты описывали межнациональные отношения в Хакасии как благоприятные. Среди хакасов подобных взглядов придерживались более половины опрошенных (58,2%). Ситуация во многом изменилась в 2014 г., когда многие жители страны столкнулись с экономическими трудностями. Тогда опрос показал, что уже 58,6% хакасов чувствуют наличие скрытой межнациональной напряженности в республике, а доля тех, кто благоприятно оценивал межэтнические отношения, снизилась до 24,1%. Год спустя ответы респондентов во многом совпали с ответами предыдущих лет, ситуация в сфере межэтнических отношений принципиально не поменялась. Сами респонденты среди причин обострения межнациональной напряженности называли бытовой национализм, миграцию из других районов страны и зарубежья, в меньшей степени — экономические и политические проблемы.

Опрос 2018 г. показал, что более половины жителей республики хакасской национальности (51%) охарактеризовали состояние межнациональных отношений в Хакасии как спокойное. Сельские жители чаще (53,6%), чем городские

(47 %) выбирали такой вариант ответа. Это связано с тем, что этнический состав сел, как правило, более однороден, поэтому этнические конфликты здесь почти не наблюдаются. Между тем, влияние средств массовой информации и растущая связь с городом сказываются на настроении жителей села, поэтому здесь все-таки достаточно высока доля тех, кто отмечает наличие межнациональной напряженности в регионе (46,4 %).

Интересно проследить зависимость ответов на поставленный вопрос от социально-демографических параметров респондентов, а также от рода их деятельности. Женщины-хакаски, проживающие в городе, чаще, чем мужчины, характеризовали отношения между русскими и хакасами в регионе как стабильные. Возможно, это связано в целом с психическими особенностями представителей мужского пола, так как для них, например, в меньшей степени характерна эмпатия [Кулакова, 2013: 133]. Также мужчины больше вовлечены в социальную жизнь, у них выше конкурентность в трудовой сфере, они чаще сталкиваются с представителями других национальностей на работе, что может приводить к конфликтным ситуациям.

О наличии связи между оценкой характера межнациональных отношений в регионе и статусом занятости свидетельствует анализ распределения мнений в зависимости от рода деятельности респондентов-хакасов. Так, большинство домохозяйек (63,6 %) и безработных (73,1 %) считают, что межнациональная ситуация в регионе спокойная. В то же время большинство служащих среднего звена (52,3 %) и студентов (64 %) полагают, что межнациональное напряжение в городских поселениях ощутимо. Служащие высшего звена (руководители и начальники отделов) реже замечают наличие межэтнических разногласий (45,5 %). Между тем, именно среди респондентов с высшим образованием ответы о наличии межэтнической напряженности встречаются чаще (57,9 % опрошенных хакасов). Это может быть связано с большей информированностью данной категории лиц по национальному вопросу: возможно, они больше интересуются политикой и склонны к анализу последних событий, в том числе и в исследуемой нами области.

Помимо описанного, мы наблюдаем и возрастные различия: респонденты в возрасте 25—34 лет чаще остальных чувствуют наличие межнациональной напряженности в республике (51 %).

В рамках социологического опроса были сформулированы еще несколько вопросов, относящихся к сфере межэтнических отношений:

1. Приходилось ли Вам испытывать ущемление прав из-за Вашей национальности? Ответ должен был быть однозначным: *да* или *нет*.
2. Какими, по Вашему мнению, будут межнациональные отношения через пять лет в Хакасии?
3. Испытываете ли Вы или не испытываете чувство гордости за свой народ?

Сопоставление ответов на предложенные вопросы среди городских хакасов и русских свидетельствует о большей озабоченности коренного населения республики национальным вопросом: 15,2 % русских, проживающих в городе, отметили, что им безразличны вопросы национальной принадлежности, среди хакасов этот показатель был значительно ниже — всего 5,8 %.

К сожалению, опрос показал, что почти каждый третий хакас, проживающий в городе, хотя бы раз в жизни сталкивался с ущемлением своих прав по нацио-

нальному признаку. Здесь, конечно, следует учитывать, что реальная ситуация и ее оценка не всегда соответствуют друг другу, тем не менее эта цифра является серьезным сигналом того, что в среде городских хакасов высока доля лиц, склонных воспринимать негативные ситуации в своей жизни сквозь призму межнациональных отношений в республике. В целом, хакасы более склонны подчеркивать уникальность своей национальности (52,5%), чем русские (35,6%). При этом они чаще испытывают чувство гордости за свой народ: среди городских хакасов своим этносом гордятся 88,7% опрошенных, среди сельских хакасов — 91,2%, а среди городских русских — 82,2%. Совсем не испытывают чувства гордости за свой народ 5,4% опрошенных русских горожан, 2,2% хакасов-горожан, 2% сельских хакасов.

Городские жители в целом более скептически настроены в отношении перспектив развития межнациональных отношений в регионе. Лишь каждый десятый городской житель и хакаской, и русской национальностей полагает, что межнациональные отношения в Хакасии через пять лет станут лучше, в то время как на селе в этом убеждены 20% опрошенных. Вместе с тем 11,2% опрошенных русских горожан считают, что межнациональные отношения в республике только ухудшатся, среди хакасов доля подобных ответов значительно ниже: 6,2% в городе и 7,4% на селе. В целом большинство респондентов уверены, что ситуация в сфере межнациональных отношений останется прежней.

Заключение

В ходе проведенного исследования автор выявил несколько векторов развития этничности и межэтнических отношений в городской и сельской среде Республики Хакасия.

Во-первых, несмотря на то, что процесс этнической консолидации хакасов до сих пор не завершен, границы между хакасскими субэтносами в городе стираются значительно быстрее, чем в деревне. В условиях полиэтнической городской среды хакасы вынуждены быстрее интегрироваться, забывая о существующих субэтнических различиях. В городе растет количество межсубэтнических браков, которые все чаще одобряются со стороны коренных жителей.

Во-вторых, ассимиляционные процессы в городе обостряют проблему этнической идентичности хакасов. Исследование показало, что для хакасов-горожан этническая идентичность актуализирована в большей степени, чем для жителей села. Этот процесс идет в русле общероссийского развития этнических процессов в городской среде. В публикациях Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН уже было показано, что в городе этническая идентичность более значима, чем в сельской местности [Дробижева, 2013]. Город как агрессивная для этничности среда стимулирует процесс этнической мобилизации, это влечет за собой стремление защитить свой народ, огородиться от «враждебной» среды.

В-третьих, городские хакасы чаще, чем сельские хакасы и городские русские, воспринимают окружающую среду как агрессивную, а также ощущают наличие межэтнического социального неравенства. Это неравенство фактически проявляется в данных официальной статистики, которая фиксирует существование этносоциальной стратификации в социально-профессиональной и политической

сферах. Данные социологического опроса свидетельствуют также о том, что уровни материального достатка хакасов и русских в городе ощутимо разнятся.

В целом, на основе проведенного в работе анализа можно сделать вывод о том, что урбанизация не только оказывает влияние на национальную хакасскую культуру и традиции, но также формирует новые социальные стратегии поведения хакасов, предугадать последствия которых пока невозможно.

Список литературы (References)

Аксютин Ю. М. Влияние трансформации структуры идентичности жителей регионов постсоветской России на характер межэтнических отношений (на примере Тувы, Хакасии, Алтая) // Новые исследования Тувы. 2016. № 2. С. 162—174.

Aksiutin Yu.M. (2016) Transformation of Personal Identity Structure in the Regions of Post-Soviet Russia and Its Impact on Interethnic Relations: Cases of the Republics of Tuva, Khakassia and Altai. *The New Research of Tuva*. No. 2. P. 162—174. (In Russ.)

Амоголонова Д. Д., Елаева И. Э., Скрынникова Т. Д. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (постсоветский период). Иркутск: Радян, 2005.

Amogolonova D. D., Elaeva I. A., Skrynnikova T. D. (2005) Buryat Ethnicity in the Context of Socio-Cultural Modernization (Post-Soviet Period). Irkutsk: Radian. (In Russ.)

Анайбан З. В., Тюхтенева С. П. Этнокультурная адаптация населения Южной Сибири (современный период). М.: Институт востоковедения РАН, 2008.

Anayban Z. V., Tyukhteneva S. P. (2008) Ethno-Cultural Adaptation of the Population of Southern Siberia (Modern Period). Moscow: Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. (In Russ.)

Григорьев С. И., Даровских О. В. Социокультурное разнообразие метисов и некоторые аспекты реализации их жизненных возможностей в системе социальных институтов Республики Алтай начала XXI века // Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 1. С. 28—38.

Grigoriev S. I., Darovskikh O. V. (2016) The Sociocultural Diversity of the Metis and Some Aspects of Realization of Their Vital Opportunities in System of Social Institutes of Altay Republic in the Early XXIst Century. *Living Standards of the Population in the Regions of Russia*. No. 1. P. 28—38. (In Russ.)

Грошева Г. В. Этничность в научном и политическом дискурсе современной Хакасии (конец XX — начало XXI века) // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 303. С. 61—68.

Grosheva G. V. (2007) Ethnicity in the Scientific and Politic Discourse of the Contemporary Khakasiya (The End of the 20 — the Beginning of the 21st Century). *Tomsk State University Journal*. No. 303. P. 61—68. (In Russ.)

Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. М.: Языки славянской культуры, 1998.

Guboglo M. N. (1998) Languages of Ethnic Mobilization. Moscow: Yazyki slavyanskoj kultury. (In Russ.)

Дагбаев Э. Д. Бурятская этническая идентичность: между традицией и модернизацией // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 6. С. 134—141.
Dagbaev E. D. (2010) Buryat Ethnic Identity: Between Tradition and Modernization. *Bulletin of the Buryat State University*. No. 6. P. 134—141. (In Russ.)

Дробижева Л. М. Исчезает ли этничность в городской среде? Некоторые ответы на загадки большого города // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 3. С. 73—83.
Drobizheva L. M. (2013) Does Ethnicity Remain in the Urban Environment? Some Answers to the Mysteries of the Big City. *University Proceedings. Volga Region. Social Sciences*. No. 3. P. 73—83. (In Russ.)

Дробижева Л. М. Этническая идентичность // Идентичность: Личность, общество, политика: Энциклопедическое издание / отв. ред. И. С. Семенов. М.: Весь мир, 2017. С. 417—422.

Drobizheva L. M. (2017) Ethnic Identity. In: Semenenko I. S. (ed.) *Identity: The Individual, Society, and Politics. An Encyclopedia*. Moscow: Ves Mir. P. 417—422. (In Russ.)

Зарукина Е. В. Городская инфраструктура и образ жизни горожан: проблемы проектирования // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2017. № 1—1. С. 136—140.
Zarukina E. V. (2017) Infrastructure and Way of Life in the City: Design Problems. *Bulletin of the Faculty of Management of St. Petersburg State Economic University*. No. 1—1. P. 136—140. (In Russ.)

Костенко В. В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 3. С. 62—76.

Kostenko V. V. (2014) Migration Theories: from Assimilation to Transnationalism. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. XVII. No. 3. P. 62—76. (In Russ.)

Кривоногов В. П. Хакасы в начале XXI века: современные этнические процессы. Абакан: Хакаское книжное издательство, 2011.

Krivotnogov V. P. (2011) Khakass People at the Beginning of the XXIst Century: Modern Ethnic Processes. Abakan: Khakass Publishing House. (In Russ.)

Кулакова К. А. Формы гендерных отношений и их проявления // Психология в экономике и управлении. 2013. № 2. С. 131—135.

Kulakova K. A. (2013) Forms of Gender Relations and Their Manifestations. *Psychology in Economics and Management*. No. 2. P. 131—135. (In Russ.)

Ларина Т. Н., Кибятаева А. Н. Статистический анализ факторов улучшения жилищных условий населения городской и сельской местности Оренбургской области // Статистика и экономика. 2018. Т. 15. № 3. С. 40—49. <http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2018-3-40-49>.

Larina T. N., Kibyaeva A. N. (2018) Statistical Analysis of Factors of Housing Improvement for Urban and Rural Population of the Orenburg Region. *Statistics and Economics*. Vol. 15. No. 3. P. 40—49. <http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2018-3-40-49>. (In Russ.)

Остапенко Л. В. Социально-экономические аспекты адаптации русских и хакасов к условиям трансформирующегося общества (по материалам этносоциологиче-

ского исследования в Хакасии). Информационно-аналитический бюллетень № 1. М.: Институт этнологии и антропологии РАН: Центр по изучению межнациональных отношений, 2003.

Ostapenko L. V. (2003) Socio-Economic Aspects of Adaptation of Russians and the Khakass to the Conditions of a Transforming Society (on Materials of Ethno-Sociological Research in the Republic of Khakassia). Information and Analytical Bulletin No. 1. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences: Center for the Studies of Interethnic Relations. (In Russ.)

Соловьев Е. В. Урбанизация и этногенез // Марийский юридический вестник. 2012. Вып. 9. С. 74—81.

Solovyev E. V. (2012) Urbanization and Ethnogenesis. *Mary Law Vestnik*. No. 9. P. 74—81. (In Russ.)

Стась И. Н. Этничность в процессе урбанизации России: современная историография проблемы // Проблемы и перспективы социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера / отв. ред. С. А. Герасимова. Ханты-Мансийск: Формат, 2017. С. 246—256.

Stas I. N. (2017) Ethnicity in the Process of Urbanization of Russia: Modern Historiography of the Problem. In: Gerasimova S. A. (ed.) *Problems and Prospects of Socio-Economic and Ethno-Cultural Development of Indigenous Peoples of the North*. Khanty-Mansiysk: Format. P. 246—256. (In Russ.)

Тишков В. А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах / отв. ред. М. Б. Олкотт, В. А. Тишков, А. В. Малашенко. М.: Московский центр Карнеги, 1997. С. 15—43.

Tishkov V. A. (1997) Identity and Cultural Borders. In: Olcott M. B., Tishkov V. A., Malashenko A. V. (eds.) *Identity and Conflict in Post-Soviet States*. Moscow: Moscow Carnegie Center. P. 15—43. (In Russ.)

Тишков В. А. Мировые мегаполисы и проблемы межэтнического согласия // Жизнь национальностей. 2010. № 3. С. 41—47.

Tishkov V. A. (2010) World Megacities and Problems of Interethnic Harmony. *Life of Nationalities*. No. 3. P. 41—47. (In Russ.)

Черкасов А. А. Мониторинг этнических аспектов урбанизации в России на основе ГИС-технологий: автореф. ... дис. кан. геогр. наук. Ставрополь, 2013.

Cherkasov A. A. (2013) Monitoring of Ethnic Aspects of Urbanization in Russia on the Basis of GIS-Technologies. Extended Abstract of the PhD Dissertation in Geography. Stavropol. (In Russ.)



